Расцвет и упадок государства

Политическая наука - 1

Мартин ван Кревельд

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Институт государства (state), как он существует в наше время, обладает целым рядом свойств, которые мы считаем само собой разумеющимися. Государство является корпорацией в исконном смысле этого слова — обладает собственным юридическим лицом, отличным от личности правителей; включает в себя правительственный аппарат и совокупность граждан (подданных), но не совпадает ни с тем, ни с другим; имеет четко определенные границы и существует только при условии признания другими государствами и т.д. Но институт такого рода — довольно позднее явление в истории человечества, и нет никаких оснований считать его вечным. Мартин ван Кревельд, известный израильский историк и военный теоретик, описывает процесс зарождения, вызревания и расцвета государства-корпорации. Значительная часть книги посвящена кризису этого института, происходящему на наших глазах. Причина — в потере государством легитимности ввиду его неспособности исполнять взятые на себя обязательства по поддержанию правопорядка, защите от внешних угроз и обеспечению населения «социальными благами». Упадок государства может в обозримом будущем привести к радикальной трансформации всего современного мира.

Книга будет полезна политикам, общественным и государственным деятелям, философам и историкам, военным экспертам и специалистам в сфере безопасности, а также всем интересующимся фундаментальными проблемами современности.

- Мартин ван Кревельд
  - ОТ ИЗДАТЕЛЯ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - 1. ДО ГОСУДАРСТВА: от ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН до 1300 г. н.э.
  - 2. ЗАРОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА: 1300-1648 гг.
  - 3. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ: 1648 — 1789 гг.
  - 4. ГОСУДАРСТВО КАК ИДЕАЛ: 1789–1945 гг.
  - 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА: 1696–1975 гг.
  - 6. УПАДОК ГОСУДАРСТВА: 1975 г. — ...
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВА
- notes
  - 1
  - 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90

- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134

- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178

- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222

- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266

- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310

- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354

- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398

- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442

- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486

- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530

- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574

- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618

- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662

- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706

- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750

- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794

- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838

- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882

- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897
- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926

- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941
- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965
- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970

- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981
- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985
- ○ 986
- ○ 987
- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996
- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001
- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009
- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014

- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025
- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029
- ○ 1030
- ○ 1031
- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035

Мартин ван Кревельд
Расцвет и упадок государства

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Серию «Политическая наука» издательско-образовательного проекта «Навигатор» продолжает книга современного израильского историка Мартина ван Кревельда «Расцвет и упадок государства», первоначально вышедшая на английском языке в 1999 г. Этот автор уже знаком русскоязычному читателю по книге «Трансформация войны», вышедшей в прошлом году в рамках нашего проекта (в серии «Военная мысль»). В новой книге он убедительно демонстрирует, что процесс происходящей в наше время «трансформации» не ограничивается военной сферой, но затрагивает всю совокупность общественно-политических институтов человечества, получивших развитие в тот относительно недавний период истории, который принято называть Новым временем.

Институт государства (*state*), как он существует в наше время, обладает целым рядом свойств, которые мы считаем само собой разумеющимися. Государство является корпорацией, т.е. обладает собственным юридическим лицом, отличным от личности правителей; включает в себя правительственный аппарат и совокупность граждан (подданных), но не совпадает ни с тем, ни с другими; имеет четко определенные границы и существует только при условии признания другими государствами и т.д. Но такого рода институт — довольно позднее явление в истории человечества, и нет никаких оснований считать его вечным. В своей книге Мартин ван Кревельд на основе богатого исторического материала описывает процесс зарождения, вызревания и расцвета государства-корпорации.

Значительная часть книги посвящена кризису этого института, происходящему на наших глазах. Причины этого кризиса, по мнению автора, в конечном итоге сводятся к потере государством легитимности ввиду его неспособности исполнять взятые на себя обязательства по поддержанию правопорядка, защите от внешних угроз и обеспечению населения «социальными благами». Упадок государства может в обозримом будущем привести к радикальной трансформации всего современного мира.

Разные страны, народы, социальные группы и территории, утверждает М. ван Кревельд, по-разному переживут эту трансформацию. Для одних могут открыться возможности для беспрецедентного развития и процветания, других ожидает стагнация, а третьих — деградация и жалкое существование. Если автор прав, — а его аргументы представляются весьма

убедительными, — то возможность попадания в первую группу зависит в том числе и от своевременного осмысления происходящих процессов. Именно поэтому редакционный совет проекта счел целесообразным выпуск настоящего издания на русском языке для читателей, живущих в России и других постсоветских странах.

При чтении представляемого вашему вниманию русского персподл необходимо иметь в виду следующее.

Первое замечание касается перевода английских терминов *state* и *government.* Хотя принято переводить их соответственно как *государство* и *правительство,* общеизвестно, что такой перевод не вполне отражает содержание соответствующих понятий. Под правительством носители русского языка обычно понимают исполнительную ветвь власти, по крайней мере если речь идет о современном государстве. В английских текстах термин *government* гораздо шире, и им обозначается аппарат власти и управления в целом, т.е. включая другие ветви; поэтому зачастую *government* следует переводить как государство (например, в таких словосочетаниях, *как governmental regulation* — «государственное регулирование», ит.п.), а также власть, властный аппарат, правление и т.п. Наоборот, английское *state* обозначает сущность, гораздо более абстрактную, чем обозначается русским словом *государство.*

Более того, автор данной книги использует слово *state* в еще более узком смысле, а именно для обозначения конкретной исторической разновидности политической организации общества, возникшей в Европе лишь в Новое время.

Принимая во внимание сказанное выше и во избежание недоразумений на протяжении всего текста настоящего перевода русское слово *государство* означает только абстрактное государство-корпорацию Нового времени.

Второе замечание относится к имеющемуся в книге аппарату библиографических ссылок. Как правило, при наличии русского перевода той или иной работы, мы по возможности заменяли ссылки на иноязычные издания ссылками на русский эквивалент. Однако в ряде случаев из-за особенностей перевода возникали смысловые разночтения между русскоязычным и иноязычным вариантом. В этих случаях мы оставляли ссылку на то издание, на которую ссылается автор, либо снабжали ее редакционным комментарием.

Мы надеемся, что русское издание книги М. ван Кревельда «Расцвет и упадок государства» сыграет свою роль в идущих ныне дискуссиях о перспективах глобального и национального развития.

Валентин Завадников, Председатель редакционного совета проекта «Навигатор»

Июль, 2006 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Государство, бывшее с середины XVII в. самым значимым и характерным институтом в современном мире, переживает упадок. Повсеместно — от Западной Европы до Африки — многие существующие государства вольно или невольно либо объединяются в более крупные союзы, либо распадаются. Независимо от того, распадаются они или объединяются, уже сейчас многие их функции перехватываются различными организациями, которые, какой бы ни была их природа, определенно не являются государствами.

Если рассуждать глобально, мировая система движется от собрания отдельных, территориально целостных, суверенных, юридически равных государств к иным, более иерархичным и во многих отношениях более сложным структурам. Что касается отдельных государств, есть весомые причины считать, что многие из них скоро либо не захотят, либо не смогут контролировать и охранять политическую, военную, экономическую, социальную и культурную жизнь своих граждан в той степени, в которой это осуществлялось до сих пор. Ясно без слов, что все эти изменения затрагивают каждого человека, живущего сейчас на планете. В некоторых местах изменения пройдут мирно, но в других они приведут (и на самом деле уже приводят) к потрясениям столь же глубоким и, возможно, столь же кровавым, как и те, которые сотрясали человечество при переходе от Средних веков к современному миру. Будут ли изменения желательными, как надеются одни, или нежелательными, как боятся другие, нам еще предстоит увидеть.

В этой работе я попытаюсь заглянуть в будущее государства, изучая его прошлое: предысторию формирования государства, его рост, созревание, апофеоз и пути распространения по всему миру. В главе 1 рассказывается о периоде (фактически охватывающем большую часть письменной и в особенности дописьменной истории), когда не существовало государства и, по крайней мере первоначально, даже правительства как организованной власти, которую одни лица осуществляют в отношении других. Глава 2 охватывает период от примерно 1300 г. (расцвет христианского мира — *Res Publica Christiana*) до 1648 г. (Вестфальский договор) . В ней показывается, как государство поднялось из Средних веков, одержав победу в борьбе с церковным и имперским универсализмом, с одной стороны, и с феодальным и городским партикуляризмом — с другой. В главе 3 повествование продолжается, охватывая период от 1648 г. до эпохи Французской

революции. Этот период привел к отделению государства от «гражданского

общества» и к созданию многих наиболее характерных для государства институтов, иключая бюрократию и ее статистическую инфраструктуру, вооружепиые силы, полицейский аппарат и тюрьмы. И главе 4 объясняется, как государство, открыв для себя силу национализма, впервые провозглашенного Мезером, Гердером и другими, превратилось из инструмента поддержания правового порядка и светское божество. Речь пойдет о том, как, накопив предельную мощь путем завоевания контроля над умами своих граждан и систематического облегчения их кошельков, государства использовали эту силу, чтобы столкнуться друг с другом (1914—1915) и воевать в таких масштабах и с такой убийственной энергией, которая практически подвела их к грани самоуничтожения. В главе 5 описывается распространение института государства от места его первоначального бытования в Западной Европе на другие части земного шара, включая Восточную Европу, британские колонии в Северной Америке и Австралии, испанские и португальские колонии в Латинской Америке и, наконец, страны Азии и Африки. Последняя по порядку, но не по важности, глава 6 посвящена силам, которые в настоящее время подрывают государства по всему миру и которые, скорее всего, уже при жизни нынешнего поколения приведут многие государства к краху (как в случае с Югославией), к частичному отказу от суверенитета и к интеграции с другими государствами (как в Европе) или к децентрализации и ослаблению контроля над гражданами (если бы, например, республиканская партия осталась верной своему «Договору с американским народом» 1994 г.).

Как легко заметить, втиснуть столь обширную тему в одну книгу было очень непростой задачей. Тем, что я вообще смог это сделать, я прежде всего обязан моей спутнице жизни, Дворе Леви. Она была вынуждена выдерживать мои постоянные приступы черного отчаяния, и если бы не ее неустанная поддержка и преданность, эта работа никогда не была бы закончена. Я также хочу поблагодарить профессоров Габриэля Германа и Беньямина Кедара из Иерусалимского еврейского университета за частичное или полное прочтение моей работы, ее обсуждение со мной, внесение предложений и указание на ошибки, которые в противном случае ускользнули бы от меня. И главным образом я хочу выразить свою признательность моим приемным детям, Ади и Иона-тану Леви, за то, что все эти годы они были со мной. Эту книгу я с любовью посвящаю им.

1. ДО ГОСУДАРСТВА: от ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВРЕМЕН до 1300 г. н.э.

Существует множество определений понятия «государство». В данной работе я не претендую на единственно верное понимание этого термина, просто такое определение является наиболее удобным для наших целей. Итак, государство *(state)* — это *абстрактная* сущность, которую нельзя увидеть, услышать или потрогать. Эта сущность не идентична правителям или подданным: ни президент Клинтон, ни гражданин Смит, ни даже собрание всех граждан, действующих сообща, не могут претендовать на то, что они *являются* государством. С другой стороны, государство включает в себя их всех и претендует на то, чтобы стоять над всеми ними.

Иными словами, государство, будучи отделено и от его членов, и от его правителей, является корпорацией, так же как *inter alia*[1] ими являются университеты, профсоюзы и церкви. Как и любая корпорация, оно имеет своих директоров, служащих и пайщиков. Самое главное — государство является корпорацией в том смысле, что оно выступает юридическим лицом *(persona),* из чего следует, что оно имеет права и обязанности, а также может заниматься различными видами деятельности, *как если бы* оно являлось живым существом из плоти и крови. Государство отличается от других корпораций тем, что оно, во-первых, санкционирует все корпорации, но само получает санкцию (признание) исключительно со стороны других образований той же природы, что и оно само; во-вторых, определенные функции (известные в обществе как атрибуты суверенитета) могут выполняться только им самим; и в-третьих, оно осуществляет эти функции на определенной территории, где его полномочия эксклюзивны и всеобъемлющи.

Государство, понимаемое таким образом, как и корпорация, частным случаем которой оно является, — это сравнительно недавнее изобретение. На протяжении большей части истории, и особенно доисторического периода, существовали правительства, но не государства; на самом деле идея государства как корпорации (в противоположность просто группе, собранию или сообществу людей, объединившихся и живущих по общим законам) в то время не была известна. Эти догосударственные политические сообщества, возникавшие в столь разных цивилизациях, как Европа, Ближний Восток, Центральная и Южная Америка, Африка и Восточная Азия, отличались большим

многообразием, тем большим, что они нередко вырастали друг из друга, завоевывали друг друга и сливались друг с другом, производя бесконечное множество форм, по большей части гибридных. Тем не менее, упрощая и опуская множество промежуточных типов, эти образования можно разделить на следующие классы: 1) племена без правителей, 2) племена с правителями (вождества *(chiefdoms)*)[2], 3) города-государства, 4) империи (сильные и слабые).

Племена без правителей

Племена без правителей, также называемые сегментарными или ацефальными («безглавыми») обществами, представлены некоторыми известными нам простейшими сообществами. До того, как колонизация земель белым человеком привела к их уничтожению, во многих частях света встречались так называемые групповые *(band)* сообщества, как то: австралийские аборигены, эскимосы Аляски, Канады и Гренландии и бушмены Калахари. Другие сообщества, о которых здесь пойдет речь, были несколько крупнее и их политическое устройство было несколько более сложным. К ним относятся некоторые восточно-африканские нильские племена, такие как ануаки, динка, масаи и нуэры, получившие известность благодаря антропологическим исследованиям Эванса-Притчарда[3], обитатели высокогорий Новой Гвинеи и Микронезии и большинство индейских племен (хотя и не все племена) Северной и Южной Америки.

Основной их общей чертой являлось то, что «правительство» начиналось и заканчивалось в пределах большой семьи, рода или клана. Вышестоящими были исключительно мужчины, старшие или родители, включая родителей мужа или жены («начальниками» могли быть родственники любого пола в зависимости от того, отправлялась невеста жить в семью жениха или наоборот), а подчиненными были женщины, младшие и дети (включая зятя и невестку). Таким образом, вся власть, все права и обязанности, короче говоря, все социальные взаимоотношения, которые были институализированы и выходили за рамки дружбы, определялись исключительно в пределах рода. Родство играло столь важную роль в формировании структуры общества, что в тех случаях, когда не существовало настоящих родственных связей между его членами, вместо них изобретались фиктивные и ставились ему на службу. Люди либо усыновляли друг друга, либо создавали вид псевдокровной связи, известной как гостевая

дружба, при которой люди относились друг к другу как братья. В племени нуэров эта система была разработана до такой степени, что женщина могла в определенных целях «считаться» мужчиной[4].

В пределах родовой группы позиция индивида по отношению ко всем остальным очень четко определялась его полом, возрастом и семейным положением. Напротив, те, кто по той или иной причине не были окружены сетью родственников (например, чужаки из других племен или во многих местах — незамужние матери), оказывались в маргинальном положении в обществе или изгоями, не обладающими вообще никаким положением. Великолепный пример нам дает библейская история о Руфи. Руфь, по рождению моавитянка, вышла замуж за израильтянина, который поселился в ее родной стране. После смерти мужа вдова вместе со свекровью Наоми покинула Моав и отправилась в Израиль. Однако до тех пор, пока она не была признана и интегрирована в семью своего мужа, выйдя замуж еще раз за одного из его родственников, ее положение оставалось крайне уязвимым. Она не только была низведена до положения попрошайки, но как одинокая женщина могла быть подвергнута любым оскорблениям и унижениям по прихоти окружающих.

Ввиду отсутствия какой-либо институализированной власти кроме той, которая существовала в пределах большой семьи, племена, о которых мы говорим, были эгалитарными и демократическими. Каждый взрослый мужчина считался (и считал сам себя) равным всем остальным; ни у кого не было *права* приказывать другим, судить других или требовать выплат от кого бы то ни было. «Общественные» или «публичные» задачи, т.е. те, которые выходили за рамки возможностей одной семейной группы, — такие как отправление религиозных обрядов, охота на крупную дичь, рыбалка в открытом море, вырубка леса и, как мы вскоре увидим, ведение войны — осуществлялись не правителями и управляемыми, а предводителями и их последователями[5]. Действующими военными единицами были так называемые воинские братства или мужские союзы. Во многих обществах, хотя и не во всех, каждое братство имело собственные тотемное животное, символ и священные атрибуты, такие как музыкальные инструменты, маски, праздничные одежды и т.д. Люди верили, что эти предметы или, по меньшей мере инструкции по их производству, были даны им богами. Предметы хранились под стражей в специально отведенных местах, и часто считалось опасным, если посторонние, особенно женщины и дети, дотрагивались до них или даже просто смотрели на них[6].

Принадлежность к братству не зависела от свободного

выбора человека, но передавалась по наследству. Каждые несколько лет проводилась церемония: старики уходили, а на их место приходили молодые, по большей части связанные друг с другом узами родства. Они занимали свое место в братстве, пройдя через определенные ритуалы[7]. Внутри каждого братства руководящая роль обычно передавалась от отца к сыну. Тем не менее хорошее происхождение мало помогало, если человек не обладал необходимым набором личных качеств. Среди них — определенный возрастной ценз, красноречие, храбрость, опыт и, возможно, самое важное — подтвержденное на практике умение совершать различные действия, которые составляют *raison d'etre*[8] братства. Во многих обществах в этот список также входила репутация человека, владеющего магией, например, способность магически привлечь дичь в нужный момент и тем самым обеспечить хороший охотничий сезон.

В племени как сообществе не существовало права как свода правил, созданного людьми (и следовательно, подверженного изменениям), формально утвержденного и предписывающего людям и группам определенное поведение. Вместо этого мы находим обычаи: неопределенное количество неписаных правил, часть которых имеет своим источником религию, а другая часть — магию.

Эти правила охватывали все стороны жизни — от сексуальной морали до раздела наследства. Современного разделения публичной сферы (регулируемой правом) и частной (где предполагается, что люди свободны поступать, как им заблагорассудится, будь то введение хозяйства или составление завещания) не существовало. Например, обычай диктовал, что юноша *обязан* пройти необходимые инициационные ритуалы и претерпеть соответствующие страдания, чтобы приобрести статус взрослого мужчины, вступить в воинское братство, к которому принадлежали другие члены его семьи, и получить право на вступление в брак. Молодожены были *обязаны* поселиться вместе с семьей жениха или же с семьей невесты. Калым *должен* был быть разделен между всеми мужчинами, входящими в семью невесты, каждый из которых имел право на свою долю.

Ввиду отсутствия государства как юридического лица, против которого могло быть совершено преступление, не существовало и разделения между уголовным и гражданским правом. Действительно, неоднократно говорилось, что в таких обществах существует деликт[9], но не существует преступления[10]. Тем не менее гражданское правонарушение могло быть направлено не только против людей, но и против духов предков и различных божеств, которым поклонялась данная группа, — например, в

таких случаях, как инцест или святотатство. Божествами были невидимые и, как правило, злобные существа, обитающие в воздухе и принимающие вид ветра, молнии и облаков; или же они могли воплощаться в камнях, деревьях, ручьях и других предметах. Какой бы ни была их форма или избранное место обитания, они хотели, чтобы их права уважали. Если им была нанесена обида, они могли отомстить: наслать засуху, болезни или бесплодие не только на виновного, но и на всех его родственников или просто на любого другого человека.

Хороший пример того, как это было устроено, опять предоставляет Библия, на сей раз в книге Левит, которую можно воспринимать как кодификацию ранних племенных обычаев. Большая часть книги посвящена «нечистоте», особенно (хотя и не только) нечистоте сексуального характера — менструации, преждевременной эякуляции и тому подобным явлениям. За каждым предписанием следует указание, как в случае нарушения его нужно искупать, и объяснение, что Господь ревностно следит за такими вещами и не потерпит нечистоты в Своем народе. Небольшие нарушения не влекли за собой серьезного наказания и устранялись индивидуальным применением таких средств, как временная изоляция от общины, очищение, молитва и принесение жертвы. Однако серьезные грехи, такие как инцест, назывались *tevel* (мерзость). Они влекли за собой смертную казнь, обычно через сожжение, или, как вариант, в тексте говорится, что преступника следует «отрезать» от его народа (что означало уничтожение). Таким образом, хотя уголовного права как отдельной категории не существовало, определенные действия считались вредоносным и не только для людей, но и для Бога, а через Его гнев — для всей общины, поэтому, если не предпринять соответствующих мер, они могли иметь тягчайшие последствия.

Как показывает этот пример, племенные обычаи иногда нарушались, а не воспринимались как присущие природе вещей и соблюдаемые автоматически[11]. В более простых «групповых» *(band)* обществах в подобных случаях глава дома рассматривал и решал дело, в то время как у более развитых восточно-африканских скотоводов и северо-американских индейцев эту роль брал на себя деревенский совет. Совет состоял из старейшин — не просто пожилых людей, а тех, кто прошел определенные ритуалы, дающие им право на их положение. Считалось, что люди, прошедшие эти ритуалы, приближены к духам и являются хранителями коллективной мудрости общины. И даже в этом случае принадлежность к соответствующей возрастной группе сама по себе не давала человеку права выступать на совете; каждый член совета должен относиться к числу старших по

возрасту, но не каждый старший мог быть членом совета или, если он даже им был, не каждый мог претендовать на внимание. Для того чтобы стать «старшим с правом голоса», он должен был иметь репутацию человека благочестивого и мудрого, а также он должен был продемонстрировать особые успехи в поддержании мира среди членов его собственной семьи. Как говорят в суданском племени берти, «тот, кто не может укрепить ограду своего загона, не должен пытаться укрепить ее у соседа»[12].

Инициатива сбора совета принадлежала сторонам, вовлеченным в спор, или еще чаще — одному из их родственников, забивших тревогу и ставших созывать родню на помощь. Собираясь в назначенном месте (часто в тени священного дерева), совет выслушивал непосредственных участников конфликта, а также свидетелей, в качестве которых привлекались их родственники. В случае причинения невидимого вреда (т.е. когда существовало подозрение, что неприятность имела причину в колдовстве), для того чтобы найти виновного, призывался прорицатель, после чего обвиняемого или подозреваемого заставляли пройти испытание — выпить яд или опустить руку в кипящую воду — чтобы определить его или ее вину[13]. Межличностные разногласия (вплоть до убийства) улаживались преимущественно путем осуществления возмездия (зуб за зуб, око за око), возмещения убытков или компенсации. В последнем случае расценки диктовались обычаем: столько-то за смерть или ранение мужчины, столько-то за женщину или за юношу. Все это, правда, имело силу, только если человек посягнул на человека из другого рода или клана; за нанесение вреда члену своего рода платы не полагалось.

Поскольку у старейшин не было централизованной исполнительной или полицейской власти, единственной санкцией, имевшейся в их распоряжении, была способность убедить членов группы соблюсти их указания и привести в исполнение решение совета. На деле решающее значение имело личное положение человека и количество родственников, которых можно было позвать на помощь: так же как и во всех других обществах, сильные и влиятельные люди могли выпутаться из той ситуации, в которой слабые и не имеющие связей имели неприятности. В маленьком, тесно сплоченном сообществе, где все хорошо друг друга знали, было не так уж сложно поддерживать дисциплину и при необходимости наказывать отдельных индивидов. Однако предпринимать подобные меры против лиц, имеющих многочисленную родню, готовую постоять за своего родича, было не так просто, поскольку это могло легко привести к разделению группы на враждебные лагеря, к

междоусобице, за которой следовал распад. Опять же, примеры тому можно привести найти в Библии: в книге Судей описывается, как попытка наказать членов колена Вениаминова за надругательство над женщиной привела к полномасштабной гражданской войне.

Отсутствие централизованной власти также определяло форму и природу еще одного вида деятельности, обычно ассоциирующегося с государством, а именно — ведения войны[14]. В некоторых изолированных и менее развитых обществах эта функция едва ли существовала; вместо войны происходили ритуализированные схватки между индивидами с использованием тупого оружия или вообще без него. Так было у австралийских аборигенов, где соперники сражались друг с другом с палками в руках. То же самое относится к эскимосам, у которых две стороны обменивались насмешливыми песнями перед общественным собранием до тех пор, пока одна или вторая не уступала, после чего ее соперник провозглашался победителем. Но большинство обществ, особенно в Восточной и Центральной Африке, в Новой Гвинее, Микронезии и Южной и Северной Америке, не удовлетворялось такими дружелюбными столкновениями между своими. Используя воинские братства в качестве организационной основы, они совершали набеги против членов других кланов, родов или племен, которые мало отличались от актов кровной мести.

Самой важной целью войны было отомстить за физические увечья, за нанесение ущерба собственности (например, домашнему скоту или огородам), за оскорбление чести и за воровство (включая похищение или соблазнение женщин). Другой целью был захват добычи, которая, опять же, включала не только вещи, но и женщин, достигших брачного возраста, и детей, которых можно будет ввести в собственный род и тем самым усилить его. От Папуа и Африки до Северной и Южной Америки огромное значение имели символические трофеи, которые приносила война: уши, скальпы, головы врага и т.п. После того как эти трофеи высушивали, коптили или солили, их можно было либо носить на себе, либо украсить ими свое жилище. Как и в более развитых обществах, человек, обладающий такими символами, мог обменять их на общественное положение, на сексуальную благосклонность, на семейные союзы и на товары. Поэтому роль, которую война играла в жизни людей, часто была очень велика: и латинское слово *populus* и германское *folk* изначально означали и «народ» и «армию». Среди индейцев североамериканских равнин мужчин называли «храбрецами», а в библейский книге Исход понятие «член войска» было синонимом

понятию «взрослый мужчина». В отсутствие централизованного института принятия решений войну как таковую можно было бы определить не столько как осознанный политический акт, сколько как характерный вид деятельности взрослых мужчин в отведенный для этого период времени, если они не были заняты чем-то еще[15].

Вместе с тем, именно из-за того, что каждый взрослый мужчина был воином, военная структура ограничивалась группами для совершения набегов. Ни в коем случае не следует понимать братства как постоянные, специализированные вооруженные силы или даже как народное ополчение. Это были просто союзы мужчин, большую часть времени пребывавшие в спячке, но пробуждавшиеся к жизни, когда этого требовали обстоятельства, и когда лидеру удавалось убедить своих последователей, что есть повод для сражения. Нередко группы, совершающие набеги, могли содержать сами себя на протяжении недель и преодолевать огромные расстояния, чтобы затруднить преследование. Они так же могли наказывать своих членов, ломая их оружие (тяжелое оскорбление), применяя телесные наказания или даже приговаривая к смерти. Но когда боевые действия заканчивались, братства неизменно распускались, и вожди лишались своей власти. Например, так было в племенах чероки с их так называемыми красными вождями, так же было у пуэбло, дживаро, динка и масаи[16]. Ни в одном из этих обществ не существовало системы ренты, дани или налогов, которые приводили бы к перераспределению богатства и тем самым — к появлению класса людей, у которых было бы достаточно досуга, чтобы они могли обучаться войне и вести войну в качестве основного занятия.

В некоторых обществах, например у бушменов, институционализированная религия почти не играла никакой роли, и каждый глава дома одновременно являлся жрецом. Однако в большинстве случаев общество признавало религиозным лидером шамана, пророка или жреца, чья власть выходила за пределы отдельного рода. Вопреки мнению Карла Маркса, основное отличие человека от животного состоит не в том, что человек занимается производством средств к существованию[17], а в том, что человек понимает идею инцеста, пусть даже соответствующий запрет иногда и нарушается. Во всем мире неизвестно ни одного случая, чтобы в родовых группах, в которых люди проводили большую часть своей жизни, существовал обычай заключать браки между собой. Напротив, они искали себе партнеров в других подобных группах, как правило, имеющих с ними родственную связь, но не слишком близкую.

Кроме того, божества требовали от людей поклонения, угрожая и противном случае наслать несчастья. В Австралии, Африке и Америке два этих социальных фактора обусловливали необходимость периодически проводить собрания или праздники. В зависимости от своей религиозной значимости и от количества привлеченных людей праздник мог длиться от трех дней до двух недель. На время празднества провозглашалось перемирие, и царил мир, т.е. не проводились набеги друг на друга, что позволяло членам различных кланов собраться вместе для молитвы, жертвоприношения, совместной трапезы, общения и обмена женщинами (на постоянной основе, т.е. для заключения браков, или на временной, при более свободных общественных нравах) и другими подарками. В дополнение к практической и религиозной функциям праздник также давал людям возможность укрепить свое коллективное единство в качестве общины. То же самое происходит и в других обществах вплоть до сегодняшнего дня.

Ведущий празднества обязательно был мужчиной, хотя и мог использовать женщин в качестве помощниц при выполнении своих обязанностей. Его положение можно описать как сочетание роли мудреца, пророка и верховного жреца. По происхождению он должен был принадлежать роду, который по традиции считался самым приближенным к главному божеству племени. Чтобы занимать такое положение, необходимо было хорошо знать традиционные племенные практические сведения, астрономию, магические ритуалы, медицину и т.д. Всех этих знаний можно было достичь только путем долгого ученичества. Жрецы должны были подготовить себе преемников из членов своих семей — сыновей или племянников. При этом преемственность не осуществлялась автоматически, ее должны были подтвердить старейшины жреческих родов, которые выбирали кандидата, по их мнению, наиболее подходящего. Например, в восточно-африканских племенах шиллук и меру он носил титул *reth* или *mugwe*[18] соответственно.

После того как жрец занимал свое положение, его наделяли особыми отличительными знаками, подобающими должности: раскраска тела, головной убор, особая одежда, посохи форма жилища. На него так же могло налагаться табу, например, запрет стричь волосы, касаться определенных предметов, которые считались нечистыми, есть определенные виды пищи или жениться на определенных категориях женщин. Его влияние зиждилось на представлении, что плодородие земель, плодовитость скота и людей зависели от выполнения ритуалов, которые мог выполнять только он, благодаря своему

происхождению и обучению у предшественников. Как однажды сказал шаман из Баквейна (ныне Мали) исследователю Дэвиду Аивингстону, «благодаря моей мудрости, женщины становятся дородными и лоснящимися»[19]. Таким образом, существовала прочная связь между благополучием племени и его личным благополучием. Жрецы несли ответственность за своевременность определенных атмосферных явлений, например, дождя, без которого «не будет пастбищ у скота, коровы не будут давать молока, а наши дети исхудают и умрут, наши жены сбегут в другие племена, которые делают себе дождь и имеют зерно, и в результате все племя рассеется и пропадет»[20]. Если они не справлялись со своим долгом, их могли низложить, а на их место поставить кого-то другого.

Известны случаи, когда могущественные жрецы использовали свои предполагаемые магические силы, чтобы превратить свое влияние во власть и стать *de facto* вождями племени. Они выступали в качестве посредников, улаживали споры, представляли свой народ перед чужеземцами и подстрекали к действиям против других групп, включая организацию восстаний против имперских властей, в колониальную эпоху. И хотя из-за сакрального характера своего положения жрецы не могли выполнять функцию военных командиров или принимать участие в сражениях, они часто проводили церемонии начала и завершения войны, считавшиеся необходимыми соответственно в качестве санкции на предстоящее кровопролитие и в качестве средства примирения. За свое служение они могли получать дары в виде еды, так как часть подношений божествам специально откладывалась для жрецов. Их вознаграждение так же могло включать в себя одежду, услуги — например, помощь при постройке жилья, а в некоторых обществах — женщин.

Тем не менее жрецы, сколь бы важным ни было их положение, не устанавливали обычаев, а лишь объясняли их и интерпретировали в соответствии с конкретным случаем. Они имели право требовать подчинения себе не больше, чем любой другой человек. Они не облагали людей налогами, не имели организованной свиты, которая могла бы приводить в исполнение их желания, и не могли осуществлять командование во время войны. Их оружием были убеждение и посредничество, а не принуждение; и поскольку санкции, которые они могли наложить, были исключительно сверхъестественной природы, их власть была гораздо слабее, чем власть вождя или любого другого правителя в обычном смысле этого слова. Из описания пророком Самуилом тех порядков, которые установит надлежащим образом помазанный и коронованный царь, можно понять, чего он сам,

будучи пророком, сделать не мог: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его; и он поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, ткали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши, и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстенаете вы тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда»[21].

Племена с правителями (вождества)

Поскольку общественная структура племен без правителей была практически идентична структуре большой семьи, клана или рода, такие племена непременно были маленькими и редко насчитывали больше нескольких тысяч человек. Хотя, возможно, гоббсовское описание таких обществ, постоянно живущих в состоянии войны всех против всех, является преувеличенным, эти общества, безусловно, были децентрализованы, и те из них, которые находились хотя бы ступенью выше, чем групповые сообщества, часто были раздираемы междоусобицами. Военные действия были маломасштабными, и потери были невелики. Однако на протяжении существенных промежутков времени они могли представлять собой важный фактор мужской смертности.

Образ жизни этих племен, независимо от того, основывался ли он на охоте и собирательстве, скотоводстве, временном садоводстве или комбинации этих видов деятельности, требовал низкой плотности населения, широких свободных пространств и кочевого или полукочевого образа жизни. Поскольку развитых средств связи не существовало, присущая такому обществу тенденция к разделению и дезинтеграции была еще сильнее. Дезинтеграция должна была предотвращать доведение междоусобиц до крайней степени кровопролития, наблюдавшейся в обществах с более развитой системой правительства. И в этом

смысле такая система была не только недостатком, но и благом.

Что в военное, что в мирное время такие общества не были способны к согласованным действиям в масштабах, превосходящих уровень мужского братства; редкое исключение — просуществовавшая недолгое время Лига ирокезов на американском северо-востоке — только подтверждает правило. Небольшая численность населения, общая собственность на средства производства, такие как земля, лес и вода, и относительное экономическое равенство также препятствовали специализации и разделению труда, кроме того, которое во всех обществах основано на возрасте и поле. Поскольку каждое домашнее хозяйство в удовлетворении своих хозяйственных нужд практически полностью полагалось на себя, уровень жизни и развитие технологий оставались на уровне простого выживания. Какими бы ни были старинные добродетели, которые приписывали таким обществам западноевропейцы со времен Руссо и Дидро, с точки зрения исторических фактов они были и есть (те, которые еще выжили) наименее успешные из всех человеческих обществ. Только в тех регионах, где они не сталкивались с более развитыми формами правления — таких как Австралия, отдельные части Восточной Африки и равнины Северной Америки, — племена без вождей могли обитать на больших территориях и поддерживать свой образ жизни. Во всех других местах им суждено было быть оттесненными в джунгли, как в Южной Америке и Центральной Африке, в пустыни — как в Южной Африке, или на арктические пустоши — как в Гренландии, Канаде и на Аляске. И только на территориях с неблагоприятными условиями для существования некоторые из них могли существовать еще совсем недавно[22].

Напротив, племена с правителями, называемые также вождествами, можно найти во многих уголках мира. К их числу относятся многие общества Юго-Восточной, Западной и Южной Африки, а также множество других в Юго-Восточной Азии, Полинезии, на Гавайях и в Новой Зеландии. Дополнительные примеры нам дает история, повествуя о племенах, разрушивших микенскую цивилизацию и правивших Грецией во время «темных веков», примерно между 1000 и 750 г. до н.э. Затем существовало множество готских, франкских и других германских племен со времени заката Римской империи (т.е. речь идет не о племенах времен Тацита, которые, по-видимому, походили скорее на племена без правителей), вплоть до становления империи Каролингов в VIII в. н.э. К этому же типу относятся скандинавские племена на протяжении X в. н.э., иными словами, непосредственно перед тем, как они были обращены в

христианство и перешли к более централизованным формам правления.

Вождества, в соответствии со своим названием, управлялись вождями — индивидами, возвышавшимися над другими людьми и имевшими *право* повелевать им. Это право неизменно основывалось на предполагаемом божественном происхождении вождя, что, в свою очередь, естественным образом предполагало наследование титула от отца к сыну. Тем не менее принцип, при котором старший потомок мужского пола в семье автоматически наследовал власть, действовал довольно редко. Причиной тому было то, что большинство этих обществ являлись полигамными обществами *par excellence*[23], подобными современной Саудовской Аравии (которая до 1930-х годов являлась просто рыхлым собранием племен, управляемых вождями, непрерывно находящимися в состоянии войны друг с другом). Без сомнений, одна из причин полигамии — постельные удовольствия: со времен короля Соломона с его тысячью женами до времен председателя Мао с его служанками удовлетворение сексуальных аппетитов всегда было привилегией правителей. И чем выше был статус правителя, тем больше у него было жен[24]. При этом женщины, благодаря своему труду, представляли собой также источник богатства: обратите внимание на многочисленных «женщин, умелых прядильщиц», которые переходили из рук в руки на страницах поэм Гомера. Женщины из знатного рода или те, которые отличались особой красотой, также были символом статуса их владельцев.

Естественным результатом многоженства было большое количество детей, которые, когда приходило время, могли выступать кандидатами на наследование власти. Порождаемый этим потенциальный конфликт делался еще более острым, поскольку женщины принадлежали разным классам: некоторые были официальными женами вождя, другие были наложницами, третьи могли быть служанками, пленницами или рабынями, которых использовали для деторождения в дополнение к другим их обязанностям. Хотя некоторые женщины могли иметь детей в результате временных связей, большинство зачинало их от главы семьи, будучи членами его домохозяйства в том или ином качестве. Ввиду наличия множества градаций разница между законными и незаконными детьми была далеко не всегда четкой.

На практике решающей становилась личная способность претендента быть лидером, а также, в первую очередь, кем была его мать. Как правило, первая или главная жена вождя происходила из семьи, занимавшей высокое положение в обществе. Будучи формально отданной мужу своим родом, она

проходила через свадебный обряд, а затем наблюдала, как ее отпрыск наслаждался первенством над другими. Когда умирал старый правитель и ему на смену приходил один из его сыновей, мать наследника становилась довольно важной персоной, поскольку ее сын был обязан своим положением ей. Именно в этом узком смысле можно сказать, что положение в этих обществах определялось по материнской линии. Опять же приведем пример из Библии, в этот раз из 3-й и 4-й книги Царств. Когда новый правитель в Израиле или Иудее восходил на трон, имя его матери заносилось в анналы — обычно в первый и последний раз, если только она не превышала своих полномочий и не пыталась властвовать сама. В германских королевствах эпохи раннего Средневековья, так же как в некоторых африканских и восточно-азиатских вождествах, вождь имел обыкновение при жизни выбирать одного из своих сыновей и назначать своим преемником. Чтобы быть уверенным в том, что его воля будет соблюдена, назначалось также нечто вроде совета по регентству, состоящего из дворцовых должностных лиц[25].

Общество, не считая вождя, обычно разделялось на два слоя или класса. Первой шла привилегированная группа, небольшая по численности в сравнении с численностью всего населения и состоящая из членов большой семьи, клана или рода вождя. Они были наделены особыми правами, такими как доступ к вождю, за их ранение или смерть выплачивались гораздо большие суммы компенсации и на них не распространялись некоторые виды наказаний, считавшиеся унизительными. Часто им было позволено носить особые отличительные знаки, одежду или татуировки (последнее имело место в регионах с благоприятным климатом, где одежда роли не играла). Положение этих индивидов в обществе обычно очень четко определялось их родственными связями с вождем, т.е. тем, были ли они его сыновьями, дядьями, братьями, племянниками, родней со стороны жены и т.д. Обычно именно из этих людей вождь выбирал правителей провинций. С другой стороны, именно потому, что эти люди имели определенное право на престолонаследие, их редко назначали на высшие должности при дворе, такие как *majordomo* или начальник телохранителей.

Ниже королевской линии, рода или клана находился гораздо более многочисленный класс простолюдинов, таких как труженики *(thetes)* в Древней Греции (также известные под разными другими уничижительными прозвищами, например, *kakoi* — «плохие»), «смерды» в племенах натчез и многие другие. Они подвергались дискриминации в самых разных формах: например, им нельзя было владеть скотом (племена хуту в

Бурунди и Руанде), ездить верхом на коне (мелким фермерам в дохристианской Скандинавии), нельзя было носить головные уборы из перьев (в обеих Америках) или носить оружие (во многих местах по всему миру). Если человек, относящийся к высшему классу, ранил или убивал простолюдина, пострадавший или его семья получали очень небольшую денежную компенсацию или не получали ее совсем. Если же, наоборот, представитель высшего класса был ранен или убит простолюдином, виновного наказывали с особой жестокостью. Люди, принадлежащие к низшему классу, не состояли в родственных узах с вождем. Наоборот, для вождя или его родственников вступить в брак с представителем низшего класса, кроме как в чрезвычайно необычных обстоятельствах, считалось поступком недостойным, оскверняющим и даже опасным. В частности, в Африке с ее долгой историей миграции племен, расселений и завоеваний правители и подданные, как правило, принадлежали к разным этническим группам. Они зачастую имели разные обычаи и даже говорили на разных языках.

Несмотря на пропасть, разделявшую простолюдинов и элиту, первые считались подданными этого вождя и до тех пор, пока сообщество сохраняло целостность, сами себя считали таковыми. Они были обязаны вождю своей верностью и на самом деле «принадлежали» ему, т.е. прямо или косвенно (через посредство наместников, о которых я расскажу позже) они были «его» людьми. Таким образом, вождества вводили новый, революционный принцип правления. Кровные узы продолжали играть важную роль в определении того, кто какие права на кого имеет. Это имело место в высших слоях общества, т.е. среди членов клана вождя. Но то же самое относилось и к низшим классам. Основной единицей, в рамках которой проходила жизнь большинства из них, оставалась расширенная семья, модифицированная лишь более или менее строгим надзором «сверху». То, что вождества основывались не только на кровных узах, позволило сильнейшим из них установить обезличенное управление и достичь значительного увеличения численности. С ростом населения появилось хотя бы некоторое разделение труда между разными группами, такими как земледельцы, пастухи, рыбаки, и даже появилось небольшое количество специалистов, не связанных с производством, такие как торговцы, ремесленники и жрецы. Для нашего исследования представляется особенно важным то, что в этих условиях можно было достичь гораздо большей концентрации политической, экономической и военной власти.

Авторитет вождя в разных племенах сильно разнился. Вождь

мог быть немногим более значимой фигурой, чем верховный жрец, о роли которого мы писали в предыдущем разделе: он проводил религиозные церемонии, получал подношения, использовал эти подношения для вербовки некоторого количества помощников и управлял своим народом, используя свою магическую силу для вознаграждения или наказания.

Поворотный момент настал тогда, когда члены высшего класса или, по крайней мере, некоторые из них, достаточно возвысились, чтобы отказаться от физического труда. В Древней Греции примерно 1200 года до н.э. эта стадия еще не наступила: легенда гласит, что когда глашатай царя Агамемнона был послан, чтобы созвать участников Троянской войны, он нашел Одиссея пашущим поле. Во времена Тацита эта стадия *была* достигнута в германских племенах, а незадолго до 1000 г. н.э. — в Скандинавии.

К числу наиболее могущественных из известных нам вождеств относятся Ангколе, Бунйоро и Буганда (Восточная Африка), Да-гомей (Западная Африка) и Зулу (Южная Африка) в XIX в., где вожди развились до уровня настоящих монархов. Своим могуществом они отчасти были обязаны сверхъестественным силам. Они считались священными и обычно жили отдельно от остальных людей; чем дольше существовало вождество, тем в большей степени это было так. Часто на них были наложены табу, запрещающие им есть определенные виды пищи, принимать определенные позы (например, преклонять колени), дотрагиваться до определенных веществ или даже ходить по земле. Подобные табу касались их регалий, таких как пуповины, жезлы, головные уборы, троны и барабаны. Предполагалось, что все эти предметы наделены магической силой, которая при правильном использовании могла принести благо, например, вызвать дождь или излечить от болезни, а в ином случае к ним опасно было прикасаться или даже смотреть на них. Часто специальная коллегия жрецов охраняла эти предметы и заботилась о них, принося жертвы и т.п.

Самые могущественные вожди имели власть над жизнью и смертью своих подданных, которые должны были приближаться к вождю только ползком на животе, если им вообще было это позволено. Когда вождь путешествовал или когда его переносили с места на место в его носилках, заговорить с вождем без разрешения или посмотреть ему в лицо считалось преступлением, караемым смертью. Тем не менее, поскольку от вождей ожидалось соблюдение диктуемых религией обычаев, нельзя сказать, что они стояли выше закона, не говоря уже о том, чтобы издавать законы подобно абсолютным монархам. Вместе с тем, их приказы,

распоряжения и запреты на самом деле представляли собой единственный источник позитивного законодательства, существовавший в такого типа сообществах. Вожди также выполняли роль верховной судебной и верховной исполнительной власти в одном лице.

В тех случаях, когда контролируемая территория была достаточно велика, вождь занимал место на вершине пирамиды, состоящей из подчиненных региональных вождей — наместников. Кроме случаев, когда вождь смещал наместников, что случалось, если те совершали проступок или становились угрозой, статус наместника передавался от отца к сыну — здесь сходство с феодализмом становится уже очевидным. Наместники представляли собой уменьшенную копию вождя и вовсе не были специалистами по управлению. Они содержали собственный двор, господствовали над народом своей провинции и выполняли обязанности, подобные обязанностям вождя, хотя и подвергались определенному контролю вышестоящей инстанции. Время от времени их вызывали ко двору верховного вождя — выполнить долг перед ним и заседать в его совете.

Генеалогическое исследование наместников, вероятно, показывало бы, что большинство из них состоит с вождем в родственных отношениях; в противном случае это указывало бы на то, что завоевание и покорение территории произошло недавно. Как правило, вожди проводили продуманную политику укрепления структуры правительства путем создания семейных связей. Они посылали младших родственников править отдаленными провинциями и отдавали в жены своим подчиненным женщин из королевского дома, тем самым выстраивая правящую страту, члены которой были связаны друг с другом и кровью, и интересом. Практика обучения отпрысков наместников мужского пола при дворе, для чего их часто забирали из семьи по достижении возраста от шести до девяти лет, представляла собой очередной шаг в этом направлении. Расчет был на то, что со временем такое воспитание сделает из них верных сторонников вождя, которые смогут приносить пользу в качестве управляющих провинциями или придворных должностных лиц. Вместе с тем, они служили заложниками хорошего поведения своих отцов, как это имело место и в других обществах, подобных Риму периода ранней империи или феодальной Японии.

Кроме персонала, описанного выше, вожди и наместники имели в распоряжении собственных вассалов. Хотя последние не были близкими родственниками, они тоже считались домочадцами (англосаксонский термин *huyscarls* — «домашние

храбрецы», хорошо объясняет их положение) и служили вождю в разных качествах. Чтобы ими было проще управлять, их часто набирали из чужеземцев. Иными словами, это были люди, захваченные в плен еще детьми, или беженцы из других племен. В отдельных случаях они ели за одним столом с вождем, в буквальном смысле слова, как это делали скандинавские воины до того, как введение более иерархичных форм правления при Олафе Святом вскоре после 1000 г. побудило «королей» (или, пользуясь более точным переводом, «мужей знатного рода») переместиться сначала на возвышение, а затем и за отдельный стол в стремлении к большему уединению[26]. Или же, как во многих африканских, азиатских и полинезийских обществах, им выделяли некоторое количество царского скота и/или участок земли для возделывания членами их семей.

Как становится совершенно ясно из скандинавских хроник и саг, лояльность починенных — будь то кровные родственники, наместники или свита — зависела в значительной степени от умения вождя распределять материальные ценности в виде пищи, одежды, скота, земли, а в некоторых обществах — сокровищ и женщин, достигших брачного возраста. Часть этих благ была военной добычей, другая же часть непосредственно принадлежала вождю. Однако большая часть его собственного имущества имела своим источником идею о том, что именно он, совершая необходимые ритуалы и принося правильные жертвы, отвечал за сохранение плодородности земли и за обеспечение хорошего урожая; кроме того, именно вождь раздавал свободную землю тем, у кого ее не было. Таким образом, кто бы ни возделывал землю, ни выращивал на ней скот и ни использовал ее ресурсы иным способом, он был обязан отдавать вождю часть продуктов своего труда.

Так, вождества стали первыми политическими объединениями, которые ввели ренту, дань или налоги (в большинстве догосу-дарственных обществ, за исключением классических городов-государств, эти три вида обложения не имели четких отличий друг от друга) — иными словами, принудительные односторонние выплаты, изымающие благосостояние из рук управляемого большинства и концентрирующие его в руках правящего меньшинства[27].

Конкретная природа выплачиваемых благ зависела от вида имевшихся природных ресурсов, а также от обычаев. Везде выплата дани состояла прежде всего из доли урожая основной сельскохозяйственной культуры, будь то хлебные злаки, рис, таро или маниока. Затем шли престижные предметы, ценные породы домашних животных и рыбы, отдельные части крупной дичи,

такие как голова, шкура или хвост, которые часто использовались для украшения вождя, чтобы выделить его положение, а в некоторых обществах — и женщины[28]. Некоторые вождества, древние и современные, использовали примитивную форму денег в виде небольших предметов, которые не были предназначены для непосредственного потребления, и которые было легко накапливать и хранить. Это могли быть китовые зубы (Тихоокеанский регион), тигровые когти (Африка), бусы из раковин вампум (Северная Америка) и раковины каури (во многих разных регионах). Все это могло быть использовано для выплат вождю, чьи запасы, как правило, были самыми большими, а также для других коммерческих целей. Наконец, вождества, вступавшие в контакт с более развитыми городскими цивилизациями, часто были знакомы с металлическими деньгами. Такие деньги можно было получить путем торговли— как, например, в случае с браслетами *manila,* которые были принесены в Западную Африку португальцами и использовались в качестве денег при осуществлении небольших торговых операций вплоть до 1940-х годов. Однако встречались случаи, когда в вождествах создавались собственные деньги — как это делали в XI в. скандинавские вожди в подражание Византии[29].

Часть дани в хранилище вождя вносили непосредственно жители его личных владений. Остальная часть населения платила наместникам, которые собирали дань, забирали свою долю (в основном столько, сколько они могли унести, но при этом не навлечь на себя гнев вождя), а остальное передавали «наверх». И вождь, и наместники имели дополнительные источники дохода, проистекающие из их права вершить правосудие, такие как судейское вознаграждение, штрафы, имущество осужденных, а зачастую и взятки. Очень часто существовала своего рода система лицензирования, благодаря которой вожди всех уровней могли требовать и получать плату за предоставление привилегий своим подданным. В их число входили права держать рынки, заниматься торговлей на большие расстояния, совершать набеги на другие племена (в этом случае вождь обычно требовал себе часть добычи) и т.д. Короче говоря, практически не существовало такого вида экономической деятельности, в который не был бы вовлечен вождь и с которого он не имел бы своей доли.

Часть богатства, приобретенного таким образом, тратилась вождем и его домочадцами. Отличительной чертой и привилегией людей, причастных к власти, всегда были безудержные траты — и на красивых женщин, и на дорогих ездовых животных, и на многое другое. Остальное богатство хранилось в специальных постройках, которые либо представляли

собой часть резиденции вождя, либо были рассредоточены в разных стратегических точках по всем его владениям. По определенным праздникам, а также при чрезвычайных обстоятельствах, таких как голод, наводнение или засуха, двери кладовых открывались и содержимое извлекалось, чтобы накормить народ, — иногда это осуществлялось в форме ритуального пира. Такая щедрость помогала укрепить связь между правителем и подданными. Вместе с тем, этот жест можно воспринимать и как меру предосторожности, так как в чрезвычайных обстоятельствах то, что не раздавалось по доброй воле, могло быть взято силой. В этом смысле передача богатства была не односторонней, а взаимной. От Полинезии до Африки возможность использовать систему таким образом могла быть одним из основных оправданий ее существования.

Но самое главное — богатство вождя могло быть использовано для приобретения сторонников: так оно формировало основу для установления, осуществления и усиления власти любого рода. Складывавшиеся в результате политические образования были гораздо более централизованными и сплоченными, чем племена без вождей. Они были крупнее и насчитывали начиная с сотен и до десятков тысяч, а иногда, хоть и редко, — до сотен тысяч человек населения. Существует даже мнение, что активная эксплуатация природных ресурсов населением была одним из важнейших факторов, приведших к становлению вождеств и вследствие этого—к появлению собственно правительства[30]. В таких обстоятельствах могли стать необходимыми разделение страны на провинции и строительство или расчистка хотя бы нескольких дорог, соединяющих провинции с центром. Последний становился более крупной деревней, чем все остальные. Кроме резиденции вождя, там находились жилища его родственников и слуг, а также храм божества, от которого происходил вождь.

Некоторые вождества, особенно доисторические, которые, вероятно, и возвели мегалиты, разбросанные по сельской местности Британии[31], занимались крупномасштабным строительством, преимущественно в религиозных и военных целях. Были созданы системы гонцов; посланники вождя имели отличительные знаки, вроде пальмовых ветвей или жезлов, которые делали их неприкосновенными и наделяли их правом получать питание и другие услуги от местного населения. Основу необходимой рабочей силы обычно составляли личные слуги вождя. Однако некоторые из самых могущественных африканских вождеств, таких как южноафриканское племя зулу под властью их величайшего «царя» Шака, обладали и другим, потенциально

много большим источником рабочей силы. Речь идет о следующей системе: члены определенных возрастных групп за получение надела земли и за разрешение вступить в брак обязаны были отслужить определенный срок, и далеко не всегда вождь честно отпускал их после того, как они исполнили свои обязанности перед ним[32].

Каким бы ни был источник трудовых ресурсов, последние также использовались для полицейской работы и для войны. Таким образом, мы находим здесь не только воинов, но и вооруженные силы, состоящие из класса людей, которые благодаря своему возрасту или положению занимаются организованным насилием, и хотя бы некоторые из них всегда находятся в распоряжении вождя. Насколько мы можем проследить их историю, как, например, в случае зулу, основатели вождеств были военачальниками, которые имели в своем распоряжении собственные силы. Их преемники, больше доверяя религии и меньше доверяя силе как средству удержания власти, либо назначали на военные должности наместников, либо выбирали других лиц из своего ближайшего окружения. Иногда существовала иерархия военных формирований — от королевской охраны до отрядов призывников и местных вооруженных формирований. Последние, как показывает пример крестьянского ополчения *(fyrd)* в эпоху раннего Средневековья, состояли из необученных или полуобученных людей, и мобилизо-вывались только в случае крайней необходимости.

Опираясь на силу или угрозу применения силы, вождества были в состоянии ввести иерархию вместо равенства, постоянную власть вместо временного лидерства, обложение вместо получения более или менее добровольных подношений и правосудие, часто усиленное жестокими наказаниями, вместо простого возмещения убытков и компенсации, выплачиваемой в результате посредничества деревенского совета. Вдобавок к участию вождей и их подчиненных в обычных актах кровной мести, набегах и рейдах, приносящих добычу, вождества принесли такие явления, как завоевания, покорение земель и господство одной группы над другой[33]. Все эти факторы означали, что граница между теми, кто принадлежал вождеству, и теми, кто ему не принадлежал, становилась четче, тем более что оседлый образ жизни связывал как индивидов, так и группы, делая для них более сложным уход из-под защиты одного вождя под защиту другого.

Более сильная организация, большее количество населения и большая возможность для согласованных действий — все это давало вождествам преимущества по сравнению с племенами без

правителей. Однако то, что они часто могли изгнать с территорий или покорить племена без вождей, не должно заслонять от нас тот факт, что у них были свои ограничения. Самым важным из них была тенденция к разделению внутри племени из-за системы управления через наместников или «подчиненных вождей», передающих свой пост по наследству, и из-за способов престолонаследия. И в библейские времена, и в Скандинавии XI в., и вплоть до Африки, Азии и Полинезии XIX в. смерть вождя часто служила сигналом к началу гражданской войны. Соперничающие кандидаты на престол боролись друг с другом всеми возможными способами, от убийства до полномасштабных боевых действий. Их матери также были вовлечены в борьбу, поскольку в случае поражения их могла ждать смерть, а в некоторых обществах — унижение, например, определение их в гарем победителя. Наместники могли воспользоваться возможностью для отделения — перестать выплачивать дань, узурпировать права своего господина и добиться независимости. Кроме того, в схватку могли вмешаться вожди соседних племен, в стремлении усилить собственную власть.

Эти факторы объясняют, почему очень немногие вождества, древние или современные, смогли просуществовать дольше, чем жизнь нескольких поколений. В тех, которым это удавалось, большинство правителей приходило к власти, победив в гражданской войне и вырезав родственников проигравшего претендента[34]. Такая «система», если к ней прибегали слишком часто и заходили слишком далеко, вполне могла привести к тому, что развитие общества останавливалось и вождества возвращались на уровень децентрализованных племен без правителя[35]. Для того чтобы построить стабильную, долговременную политическую организацию и избежать регулярного истребления социальной элиты, необходимо было ввести новые принципы правления. С одной стороны, необходимо было урегулировать наследование верховной власти, а с другой — предотвратить передачу положения наместника по наследству.

Города-государства

Общества, описанные нами до сих пор, имели исключительно сельский характер. Их члены были кочевниками или полукочевниками, как это имело место во многих племенах без правителей вплоть до наших дней, либо же они жили в деревнях, которые были более или менее постоянными поселениями. Так или иначе, средства к существованию они добывали исключительно при помощи охоты, собирательства, скотоводства, рыбалки и земледелия, по большей части находившихся на уровне простого выживания. Только в некоторых, самых развитых, вождествах существование двора и правящего аристократического класса создало спрос на предметы роскоши и таким образом позволило появиться экономической специализации и несельскохозяйственным профессиям. Некоторые вождества, например, древние готы и некоторые племена в Западной Африке в XIX в., были знакомы с письменностью, хотя обычно письменность заимствовалась извне и использовалась специально обученными людьми преимущественно в религиозных целях. Тем не менее людей, полностью задействованных в специальностях, не связанных с производством продуктов питания (часто они являлись членами отдельной наследственной касты), было чрезвычайно мало по сравнению с общей численностью населения.

Но города — другое дело. Город можно определить как постоянное поселение с домами, построенными из долговечного материала, такого как камень или кирпич. В городе есть храм, рыночная площадь, подобная греческой *агоре* и римскому форуму, а также строение или группа строений, предназначенных для правительства, и значительное число жителей, более не зависящих исключительно от сельского хозяйства как основного занятия[36]. Владея искусством письма или хотя бы ведения учета, они занимаются ремеслом, обработкой и торговлей, включая торговлю с удаленными местами там, где это позволяли условия (обычно при наличии доступа к водным путям). Начиная уже со времен позднего неолита, по всему миру, включая Китай, Индию и Ближний Восток, возникло большое число поселений такого типа. С задержкой в несколько тысячелетий они возникли также в Центральной и Южной Америке.

С политической точки зрения города можно разделить на три типа. Вероятно, большинство городов управлялось мелкими вождями. Правитель на Ближнем Востоке назывался *лугалем,* в

Микенах — *ванаксом,* в Индии — *кшатрием*[37]*;* в библейской книге Иисуса Навина мы видим, что каждый из десятков завоеванных израильтянами городов управлялся «царем», хотя нигде точно не указывается, какой властью он обладал. Такой тип города отличается от вождества главным образом более разработанной правительственной системой и усложненной социальной структурой. К социальным группам аристократов и простолюдинов добавилась группа назначаемых руководителей — которые, поскольку они должны были владеть грамотой, были уже не просто подчиненными вождями, а также добавился отдельный класс несвободных людей или рабов. Их хозяевами могли быть правитель, частные лица и иногда храм.

Города второго типа вообще не представляли собой независимого сообщества. Они были частью более крупных политических образований, в которых они служили либо столицами, либо провинциальными центрами. Так, насколько мы можем судить, обстояло дело в Месопотамии, объединенной Саргоном примерно в 2350 г. до н.э., в Китае со времен первых имперских династий, в Индии в период централизованной империи (320—185 гг. до н.э., 320—500 и 1526—1707 гг. н.э.) и в доколумбовой Латинской Америке на всем историческом промежутке, на котором мы можем проследить ее историю[38].

Наконец, третий тип представляет собой самоуправляющиеся города. Этот тип мог существовать в преддинастической Месопотамии, но в основном ограничивался средиземноморским побережьем. Только в таких самоуправляемых городах греки, римляне и, возможно, также этруски и финикийцы (карфагеняне) могли прийти к новому принципу правления; только здесь такая форма правления сохранялась достаточно долго — на протяжении веков — и стала частью «классического» мира. О политической системе этрусков, которые оставили о себе очень мало документов, почти ничего не известно. О Карфагене мы знаем, что это был настоящий город-государство, и Аристотель планировал включить его конституцию в свою ныне утерянную коллекцию из 158 таких документов. И это практически все, что мы знаем, и за это нам следует благодарить Рим, который хорошо постарался, уничтожив не только город, но и записи, которые могли бы пролить свет на историю и правительственное устройство Карфагена. Поэтому данный раздел будет посвящен исключительно Греции и Риму.

Каким образом классические города-государства выросли из общин, которые, наверняка, им предшествовали, практически неизвестно. Если предположить, как это делалось в недавних исследованиях[39], что эти общины изначально состояли из

сообществ, возглавляемых «большим человеком», в которых правительство большей частью ограничивалось управлением домохозяйством, в какой-то момент времени там могло иметь место то, что греческие авторы впоследствии называли *synoikysmos,* или «объединение домов». Как там ни обстояло дело, с этого момента правительство больше не ограничивалось «большой семьей», как в племенах без вождей, и не сосредоточивалось в руках одного-единственного человека, как в вождествах. Напротив, города-государства рассматривались как коллективные предприятия и управлялись многими людьми. Для наших целей не имеет значения, был ли тот или иной город-государство олигархией, как большинство городов при зарождении и многие из них — на протяжении долгого периода времени после этого, или же он преобразовался в демократию. Неважно также, представляла ли собой элита, из которой происходили правители в первом случае, настоящую аристократию (как они любили говорить о себе) или просто олигархов, которые были обязаны положением своему богатству (как обычно считали их оппоненты). Независимо от того, насколько они были многочисленны и каков был источник их власти, выдающейся чертой классических городов-государств было то, что их граждане сами *назначали* определенных лиц из своего же круга, чтобы те правили ими. Эти лица действовали (или предполагалось, что они будут действовать) от имени сообщества, а не ради своих личных целей. Другими словами, мы говорим не столько о правителях, сколько о чиновниках.

Можно посмотреть на этот предмет и по-другому. Общества с политическими системами, о которых мы говорили до сих пор, а также империи и феодальные общества, которые я опишу в следующем разделе, не знали различия между «правительственной властью» и «собственностью», или, по крайней мере, это различие не было четким[40]. Не важно, был ли правитель слабым или сильным, но он правил (т.е. возглавлял, приказывал, издавал указы, судил, облагал налогами и при необходимости наказывал) теми, кто был «его», независимо от того, были ли эти люди членами его рода, вождями низшего ранга (наместниками), его сторонниками, домашней челядью, вассалами, арендаторами или рабами (которые, в виде военнопленных, существовали и в ряде более развитых вождеств). Это означает, что «политической» власти в современном смысле этого слова не существовало, и, конечно, не было и соответствующего термина. Во всех этих обществах было некоторые люди, которые властвовали над всеми остальными, будь то просто главы рода, «большие люди» или полновластные

вожди. Однако все они без исключений правили не в качестве «публичных» должностных лиц, а в качестве индивидов, которые благодаря своему полу, возрасту, божественному происхождению или сочетанию всех этих признаков считались вознесенными над остальными и тем самым *заслуживающими* власти.

Ситуация в классических городах-государствах была совершенно иной. Конечно, и греческий полис (насколько позволяет судить доступная нам информация), и римская республика долгое время сохраняли следы предыдущей системы. В обоих случаях граждане не составляли единое целое, но подразделялись на «демы», «фратрии», «курии», «центурии» и «племена», которые, по крайней мере в Риме, голосовали *en bloc*[41]. Кроме того, ни в том, ни в другом случае граждане не были организованы на основе кровных уз и поэтому могли спокойно жениться на дочерях друг друга. Тем более городские сообщества не основывались на какой бы то ни было форме «владения» одного человека другим. Напротив, в Греции и Риме «правительство» *(arche, imperium)* определялось как форма власти одних людей над другими, которые, в отличие от членов семьи и рабов, были равны *(homoioi)* перед законом и *не* «принадлежали» друг другу ни в каком смысле. Так была проведена очень четкая граница между частной *(idios, res privata)* и публичной *(demosios, res publica)* сферами. Внутри дома *(oikos, domus)* общественные взаимоотношения основывались на праве владения, осуществляемом главой семейства *(pater familias)* над зависимыми от него лицами, как связанными, так и не связанными с ним кровно (в последнем случае речь идет о рабах), которые, естественно, не были «лицами своего права» (имели ограниченную правоспособность). За стенами дома существовали политическая власть или правительство.

Насколько мы можем предположить, таких структур, как *полис,* еще не существовало в Микенской цивилизации, простиравшейся на территории Южной Греции вдоль Эгейского моря на протяжении второго тысячелетия до нашей эры. Не встречаются они и в «Илиаде» Гомера, которую населяли исключительно вожди *(basileis)*, члены их родов и их по большей части анонимные сторонники[42]. Указания на их существование впервые встречаются в другом, предположительно более позднем эпосе — «Одиссее», написанном незадолго до 700 г. дон.э., и предположительно изображающем социальное устройство за век или два до этого[43]. В ней есть отрывок, где Телемах, сын героя, придя к Менелаю, сообщает хозяину, что он пришел «не за общим народным, за собственным делом». Как будто специально, чтобы убедить читателя в приходе «дивного нового мира», поэт

прибегает к подобной тер-минологи и еще в двух местах. Во втором отрывке тот же Телемах говорит женихам своей матери, которые разоряли его наследство, что это дом его отца Одиссея, а не «публичное место»[44][45].

Еще одно доказательство возникновения полиса как нового типа политического образования дает надпись, найденная на Крите и датированная второй половиной VII в. до н.э. В ней граждане Дрероса торжественно постановили и объявили, что магистрат с титулом «kosmos» не имеет права вторично занимать этот пост, пока не пройдет десять лет, иначе его лишат гражданских прав и «все, что он делал *как kosmos* [курсив добавлен.], будет считаться недействительным и ничтожным». Отметим различие между должностью, которая является временной, и человеком, который ее занимает и который продолжит жить своей частной жизнью, после того как его полномочия закончатся. В настоящее время это является самым ранним из известных нам прямых упоминаний магистратов[46].

Разработка зрелой теории разделения власти и собственности — по-видимому, самого важного политического изобретения во все времена — заняла, вероятно, не одно столетие. При этом более ранние представления, смешивавшие то и другое, изживались нелегко. В Афинах, например, только во время реформ Солона в 594/3 г. до н.э. было отменено долговое рабство и была проведена четкая грань между свободными (гражданами) и несвободными (рабами); в Риме та же реформа была проведена еще позже. Последним значимым политическим теоретиком, который, глядя назад в историю, хотел править городом, как *если бы* он был расширенным домохозяйством, был Платон в диалоге «Государство». За это его критиковал Аристотель, который совершенно справедливо указал, что семья и город представляют собой абсолютно различные институты, и что социальные принципы, лежащие в основе одного, неприменимы к другому[47]. Используя Платона в качестве мишени для критики, Аристотель, писавший примерно в середине Г/ в. до н.э., посвятил первую часть своей «Политики» и основном детальному исследованию этого различия[48]. Он был совершенно прав, поместив это в начало своей книги. В сравнении с этой идеей, все прочие конституционные установления, которые он обсуждает в книге — или которые существовали в каждодневной жизни различных городов-государств — имели второстепенное значение, можно сказать, почти никакого.

Правительственные органы в городах-государствах не соответствовали нашему привычному разделению на исполнительную, законодательную и судебную власти[49].

Вероятно, самым важным отдельным институтом было общественное собрание. По-видимому, Рим был уникален тем, что в нем было не одно собрание, а целых четыре, каждое из которых охватывало особую часть населения, голосовало по своей системе и приобретало особую конституционную значимость по отношению к трем остальным в различные исторические периоды. В других местах существовало единое собрание, включающее в себя всех граждан, т.е. взрослых мужчин, не являвшихся ни частью домохозяйства других (т.е. рабами), ни чужеземцами. Собрание сходилось по требованию председательствующих магистратов, либо регулярно, через определенные промежутки времени, либо когда этого требовали обстоятельства. В Афинах — единственном городе, о котором у нас есть такая информация, —по-видимому, проходило около 40 собраний в год. Основной функцией собрания было принятие законов, называвшихся в Греции *потог,* а в Риме — *leges,* но оно также избирало должностных лиц и имело право окончательного решения по вопросам войны и мира. Наконец, в Афинах и, возможно, и в других греческих городах собрание имело право отправлять в изгнание путем остракизма граждан, бывших, по его мнению, политически опасными.

Следующим по важности институтом после собрания были различные должностные лица (магистраты). Хотя многие из них определялись жребием, самые важные неизменно были выборными. За редкими исключениями, срок пребывания в должности составлял один год. Только в Спарте так называемые цари правили пожизненно, но даже здесь они были не более, чем наследственные чиновники, чья власть была строго ограничена и подчинена надзору специальной группы из пяти *эфоров*[50]. Кроме созыва собрания, о чем только что упоминалось, магистраты отвечали за ведение повседневных городских дел. В число последних входило командование в случае войны (греческие *стратеги* и *полемархи,* римские *консулы* и *диктаторы;* последний был временным командующим, избиравшимся на шесть месяцев), распоряжение финансами (римские *quaestores),* возведение общественных зданий и надзор за рынками (римские *aediles),* а также отправление правосудия и поддержание внутреннего порядка (римские консулы и преторы). В Греции при этом ставилась цель дать возможность как можно большему числу граждан по очереди быть и правителями, и управляемыми (в Риме, где аристократические традиции были более влиятельны и имели более длительную историю, такая цель ставилась редко). Поэтому число магистратов, особенно тех, кто занимал незначительные посты, такие как надзор за рынками и

поддержание улиц в чистоте, зачастую было довольно большим.

Хотя подробности до конца не ясны, военные истоки правительственных институтов выдает тот факт, что, вероятно, все города требовали от своих граждан прохождения военной службы и участия в определенном количестве военных кампаний, прежде чем выдвигать свою кандидатуру на публичную должность. Также во многих городах, скорее всего, был установлен минимальный возраст, до достижения которого нельзя было быть избранным, хотя из этого правила в случае крайней необходимости могли делаться исключения (подобно тому, как в Риме нарушалось правило, согласно которому магистратам было запрещено занимать дважды одну и ту же должность). В отличие от практики, принятой в современных правительственных организациях, в большинстве случаев здесь, по-видимому, не было обязательной служебной лестницы, которую должен пройти человек, прежде чем он мог достичь вершины — поскольку, во избежание тирании, ни один магистрат не имел власти над другими, правительство было диффузным. Опять же единственным известным исключением был Рим. В нем существовала высоко структурированная *cursus honorum*[51], или карьера почестей, которая возносила честолюбивого политика из самого скромного положения на высшие посты. Римские магистраты также обладали *coercitio*[52] (властью осуществлять принуждение) — властью, название которой говорит само за себя и которой не имели их греческие коллеги. Тем не менее даже в Риме два консула имели равные права. Нельзя было проводить никакой политики, кроме как по согласию обоих; это привело к абсурдному соглашению, по которому до определенного момента во время Второй Пунической войны консулы руководили армией через день поочередно. Более того и именно поскольку римское правительство было таким сильным, было сочтено необходимым назначать специальных магистратов — трибунов, чтобы защитить плебеев от эксцессов со стороны их правителей, а также предоставить им хотя бы небольшую возможность участия в управлении.

Еще одной особенностью этой системы было то, что жрецы также ежегодно менялись. Хотя и в Афинах, и в других городах некоторые семьи монополизировали жреческие функции, жречество, как правило, не было наследственным и профессиональным: жрецы были просто чиновниками, которым выпала работа служить городским божествам и ублажать их. Каждый храм, божество и богослужебная функция имели собственную коллегию жрецов, которые отвечали за свой участок; Рим стоял особняком, поскольку там существовала позиция

pontifex maximus — верховного жреца, который имел власть над официальной религией в целом. Поскольку жрецы отвечали за различные проклятия, предсказания и предзнаменования, позволяющие или запрещающие определенные действия, то они, в одиночку или в составе коллегии, могли влиять и действительно влияли на политику остальных правительственных органов. Например, они решали, подходит ли тот или иной день для закладки храма, заключения союза или участия в сражении. Тем не менее система была такова, что их влияние не было постоянным и институциализированным. Конфликт между политической организацией и церковью, часто возникавший в других обществах, здесь был, таким образом, практически невозможен[53].

Третьим органом, составляющим правительство города-государства, был *bouJe, или* совет. В Спарте он был известен под названием *gerousia* и, как очевидно из названия, имел своим истоком племенной совет старейшин. То же самое справедливо и в отношении других городов. Хотя мы уже не можем проследить конкретных шагов эволюции этого института, известно, что в описываемые нами времена советы большинства городов потеряли свой аристократический характер и уступили место системе, при которой должностные лица назначались по жребию и служили в течение обычного периода длиной в один год. Только в Риме сенаторов назначали *ex officio*[54] из бывших магистратов, которые отслужили свой срок. Если сенаторов не дисквалифицировали цензоры (два должностных лица, избиравшиеся раз в пять лет, чьими обязанностями были оценка имущественного положения и надзор за поведением каждого гражданина), то они сохраняли свой пост пожизненно.

Основной функцией совета была подготовка законопроектов для представления перед собранием, а также надзор за работой магистратов путем проверки их счетов и выслушивания жалоб. В Греции он обычно был наименее важной частью правительства, но в Риме это был основной резервуар, где накапливался политический опыт республики. Влияние Сената на политические дела, внутренние и внешние, было огромным. Помимо выполнения вышеупомянутых функций, он заменил народное собрание тем, что принимал послов зарубежных правителей; Сенат имел право отменить гражданские права, объявив чрезвычайное положение *(tumultus)*. Известен один случай, когда он использовал технические нарушения для объявления консульских выборов недействительными и тем самым вынудил провести новые[55]. Но даже в Риме во времена его расцвета во II в. до н.э. власть *(auc-toritas)* Сената не была формализована. В

отличие от современного парламента Сенат не принимал законов; самое большее, что он мог делать, это совещаться и издавать *consulta* (в дословном переводе — «советы») магистратам. Однако он не мог отдавать им приказы или требовать от них отчета, не говоря уже о том, что Сенат не мог отменять решений собрания граждан, которое всегда обладало суверенитетом, если здесь вообще уместен этот термин.

Наконец, как и приличествует сообществу, освободившемуся от власти одного индивида, город не имел единой судебной системы. Не существовало ни апелляционного суда (решения, принятые единожды, были окончательными), ни министра юстиции, ни верховных судей. Вместо этого было множество не связанных между собой судов, собиравшихся ежедневно и часто имевших названия по зданиям или местам, где проходили заседания, такие как Новый Суд, Треугольный суд, Малый суд и т.д. Решение о том, какое дело в каком суде должно рассматриваться, принималось должностными лицами, специализировавшимися на этой деятельности, такими как афинские *archontes* и *themosthetai* и римские преторы. Членами судов были простые граждане. Как современные присяжные заседатели, они работали на разовой основе, не имея никакой специальной подготовки. В Афинах, по крайней мере со времен Перикла, они получали скромную плату за свою службу, по-видимому, едва ли достаточную для обеспечения финансовой состоятельности.

Система присяжных предполагала, что значительная часть населения была вовлечена в осуществление правосудия. Так, в Афинах собрание каждый год выбирало резерв из 6000 потенциальных присяжных заседателей. Для того чтобы предотвратить взяточничество, решение о том, кто будет служить в каждом из судов в тот или иной день день, принималось по жребию при помощи специально сконструированной машины[56]. Такая система означала, что исполнительная и судебная власть были разделены, а не находились в руках одних и тех же людей, как это обычно было в ранних и в большинстве поздних обществ вплоть до современности. В этом отношении классический город-государство стал первым и на очень долгое время единственным политическим обществом, изъявшим судебную власть из рук правителя (правителей). Ни один магистрат, ни даже римские консулы, имевшие гораздо больше власти, чем все остальные, в античном городе-государстве не имели права приговорить к смертной казни гражданина в мирное время до того, как ему сперва была дана возможность представить дело перед судом граждан, который в ряде случаев мог быть представлен либо

советом, либо народным собранием. В Риме это право, справедливо названное Цицероном краеугольным камнем свободы, было известно как *provocatio*.

За отсутствием государства как юридического лица *(persona),* против которого могли совершаться преступления, наше современное различие между гражданским и уголовным правом здесь неприменимо[57]. Не имело никакого значения, касалось ли дело, рассматриваемое в суде, раздела наследства или убийства. Дела разделялись по другому принципу: касались они только индивидов или всего сообщества, как в случае растраты, измены, неблагочестия, а в Риме— еще и оскорбления величия *(magestas)* римского народа. В делах первого типа иск мог подать только пострадавший (понесший ущерб) или, если он уже был мертв, — его родственники. Во втором случае иск мог подать любой гражданин, пожелавший того. В результате иногда этим пользовались для того, чтобы избавиться от нежелательных лиц, как в случае с Сократом, самым известным из таких обвиненных. Кроме того, люди, вовлеченные в политику, могли убедить кого-нибудь подать обвинение такого рода против своих оппонентов — метод, известный как доносительство[58]. В процедурном отношении различие состояло в том, что при разбирательстве «политических» правонарушений количество присяжных заседателей было гораздо большим — 501 или, в особых случаях, вплоть до 1001. И даже в таких делах не было назначенного государством обвинителя в современном смысле слова.

Поскольку классические города-государства управлялись большинством, а не меньшинством, в них не было создано ни специализированного персонала, ни большого административного аппарата, ни регулярных вооруженных сил. Принципиальным было то, что любой гражданин мог стать магистратом, за очень небольшими исключениями (так в некоторых городах определенные священнические должности закреплялись за членами определенных семей). После длительной борьбы патрициев с плебеями такой порядок был установлен даже в Риме. Не предпринималось даже попыток подготовить профессионалов в таких областях, как полицейская деятельность, счетоводство, дипломатия и т.п. По-видимому, администрирования было на удивление мало. Как бы то ни было, изначально считалось, что сами законы были даны богами и доступны только в форме устной традиции. Еще долгое время после того, как такие взгляды ушли в прошлое и законы были опубликованы (в Риме это произошло в 451 г. до н.э., когда были изготовлены и выставлены в форуме 12 бронзовых табличек), вся необходимая бумажная работа выполнялась, вероятно, лично

магистратами. Они не получали жалования, самое большее — небольшие выплаты на расходы. Поскольку у магистратов не было своего штата (кроме одного-двух секретарей в Афинах), они часто использовали для административной работы членов своих семей, рабов, а также родственников, имеющих политические амбиции.

Вместе со светским характером правительства фактическое отсутствие бюрократии в современном смысле слова означало, что греческие и римские магистраты прежде всего являлись публичными фигурами, в отличие от многих типов правителей, существовавших раньше и позже. Сам факт, что они должны были пройти выборы, делал их таковыми. С получением должности они ежедневно оказывались на виду у всех, поскольку постоянно ходили по различным общественным местам в центре города. В лучшем случае у них был скромный телохранитель, подобный римским *lictores,* сопровождавшим консулов и преторов. Однако ничто не мешало людям обращаться к ним на улицах, чтобы подать ходатайство или жалобу. Перикл однажды предоставил светильник одному напавшему на него гражданину и отправил его домой в сопровождении собственного раба. Большинство своих обязанностей магистраты выполняли на открытых пространствах агоры и форума и в окружавших их общественных зданиях. Остальные обязанности они, скорее всего, выполняли в тишине у себя дома[59].

То же, что было справедливо в отношении администрации, можно было сказать о вооруженных силах. И в Греции, и в Риме по окончании войны бойцы, включая командующих и офицеров, просто рассеивались и расходились по домам. Когда начиналась новая война, ответственные за это дело магистраты назначали место, подобное Марсовому полю *(Campus Maritus)* в Риме, где оглашали список горожан и осуществляли воинский набор. Сначала они брали добровольцев и только потом обращались к другим гражданам, которые еще не участвовали в требуемом законом количестве военных кампаний. В Риме и, возможно, в других местах каждый раз, когда осуществлялся набор, люди должны были заново приносить присягу, причем не Республике, а лично командующему консулу. Если последний погибал во время кампании, церемония повторялась перед его преемником. Граждане-солдаты, которые, конечно, не носили униформу, должны были прийти с собственным оружием, для чего они были разделены на имущественные классы[60]. Поскольку война считалась народным делом, люди не получали платы за службу, самое большее — иногда им могли выделяться деньги на пропитание.

Таким образом, вооруженные силы города-государства, известные как *stratos* или *exercitus,* правильнее всего было бы назвать вооруженной массой. Подобно ополчению в племенах без вождей и в отличие от регулярных армий, такие воинства не были четко выделены из совокупности граждан вообще. Они не существовали в качестве отдельной организации и, следовательно, не могли развить военный *esprit de corps*[61]. Могли использоваться и использовались наемники, особенно в Греции со времен Пелопонесской войны, когда необходимы были специальные войска, такие как отряды лучников, пращников и копьеметателей. Но наемники, будучи зачастую высокопрофессиональными воинами, по определению не были гражданами. Они не являлись частью политической структуры города-нанимателя, наоборот, с ними старались расплатиться и распустить как можно быстрее, выпроводив как можно дальше. Только в Спарте существование илотов — класса наследственных рабов, которые выполняли основную производительную работу, — давало гражданам свободное время и позволило сделать войну своей национальной специализацией, в результате чего, по словам Плутарха, они были «непревзойденными мастерами и знатоками войны»[62]. В других местах война в основном велась мало-обученными любителями — недостаток, который отметил Платон в своем «Государстве» и против которого яростно выступал[63].

Примечательно, имея в виду искусство, которое развили в себе в особенности некоторые римляне, что эта система распространялась также и на командующих. Их положение зависело от их способности быть избранными народом, поэтому они были прежде всего политиками и только во вторую очередь — военными. Нам совершенно неизвестно, имел ли Никий, командовавший несколькими кампаниями и в конце концов избранный афинянами руководить самой большой военной экспедицией в их истории, специальную подготовку, соответствующую своей должности. Но даже такой солдат из солдат, как римский консул Тит Квинций Флами-ний, который в 197—196 гг. до н.э. нанес поражение Македонии и завоевал Грецию, не имел специальной офицерской подготовки. Вместо этого он «научился командовать другими тогда, когда командовали им самим»[64]. В большинстве городов-государств на протяжении почти всей их истории система неоплачиваемых непрофессиональных солдат сильно ограничивала их способность проводить военные операции вдали от дома, а также завоевывать и покорять другие города[65].

Не обладая ни развитой бюрократией, ни регулярной армией,

города-государства в основном могли обходиться без прямого налогообложения своих граждан. В случае военной необходимости мог быть введен специальный налог, особенно на собственность или же в виде подушевого налога. Если военный конфликт затягивался, это могло стать очень обременительным; например, в 215 г. до н.э римский Сенат удвоил сумму взносов от каждого гражданина и перенес дату сбора на более ранний срок. Но даже в таких случаях преимущественно демократическая и эгалитарная природа сообщества означала, что всегда существовала тенденция переложить бремя на слабейших, то есть на классы, не имеющие права голоса. Ярчайший пример этого — попытка римского Сената обложить налогом богатых вдов во время Второй Пунической войны. Это вызвало протест со стороны женщин, которые заявили, что, не принадлежа к числу граждан и не будучи в ссоре с Ганнибалом, они не обязаны оплачивать расходы города[66].

В мирное время расходы правительства обычно финансировались за счет рыночных сборов и доходов от функционирования судебной системы в виде штрафов и конфискуемого имущества. На религиозные цели использовались средства от продажи остатков приносимых в жертву животных, а также от финансовых операций храмов, выполнявших функцию депозитариев и одалживавших деньги под процент. Города, которые, к своему счастью, имели на своей территории шахты, могли сдавать их гражданам в аренду для эксплуатации, а доходы использовать на общественные нужды (такие как афинский флот, построенный по совету Фемистокла) или просто распределять между гражданами. Некоторые более космополитические города, такие как Коринф, могли полагаться на таможню, портовые сборы и платежи, вносимые иностранцами за право проживания и торговли. Наконец, некоторые из них могли управлять другими городами. В обмен на предлагаемую «защиту» они получали дань. Так было в Афинах, установивших господство над остальными членами Делосско-Аттического союза и использовавших собранные с них деньги, чтобы платить гребцам и поддерживать свое военно-морское господство в Эгейском море.

Однако гораздо более важным источником дохода в античных городах-государствах, как в Греции, так и в Риме, были так называемые литургии. Лучше всего их можно определить как взносы, которые делали богатые горожане на определенные цели. Это могла быть постановка пьесы, материальное обеспечение спортивного зала — «гимназиума», возведение общественного здания, постройка или даже укомплектование военного корабля[67]. Литургии тому или иному человеку назначали

ответственные магистраты на основании списка имущественного положения граждан, принимая во внимание, естественно, и выплаты, сделанные в прошлом. В отличие от современной благотворительности литургии не были добровольными, а являлись гражданским долгом, избежать которого можно было только указав на кого-нибудь другого, кто имел больше, но отдал меньше. В определенном смысле это были выплаты, делаемые богатыми для того, чтобы защитить свою собственность, которая иначе могла быть экспроприирована бедными[68], но справедливости ради следует сказать, что осуществление таких платежей считалось почетным. Многие пожертвования были увековечены в надписях, оставленных благодарными получателями или самими дарителями. Часто граждане платили больше, чем от них требовалось, чтобы добиться популярности, влияния и — в случае вполне возможного привлечения к суду — определенной доли симпатии присяжных заседателей. И действительно, своими знаниями по этому вопросу мы во многом обязаны случаям подобного рода.

Огромное разнообразие источников дохода означало, что едва ли хотя бы в некоторых городах имелась единая общественная казна, в которую шли все деньги и которая, в свою очередь, была бы ответственна за осуществление всех общественных платежей. Рим, в котором не было литургий и в неизвестный нам момент времени была создана сокровищница *(aerarium),* был исключением из этого правила. Однако даже здесь магистраты часто несли на себе бремя публичных расходов, включая те, которые мы сегодня отнесли бы к военным расходам, выплачивая деньги из своего кармана. Например, во время войны с Ганнибалом диктатор Квинт Максим Фабий Кунктатор использовал свои личные ресурсы, чтобы выкупить некоторых пленных римлян. Когда сын Сципиона Африканского (который в то время был де-факто главнокомандующим) был захвачен во время войны против Антиоха в 190 г. до н.э., именно он, а не Республика, предложил выкуп за освобождение[69].

Чем богаче становился Рим и чем больше увеличивался разрыв между богатыми и бедными, тем больше для достижения публичных целей использовались частные средства и частные вооруженные силы, сформированные из родственников и клиентов. Система достигла расцвета при таких фигурах, как Красе и Помпей, которые в 73 — 71 гг. до н.э. использовали личные ресурсы для подавления восстания Спартака, завоевав тем самым благодарность Сената и народа. В последующие два десятилетия их примеру последовал Юлий Цезарь, первоначально — второстепенный аристократ, который сделал себе состояние,

сперва разгромив пиратов на Средиземном море, а потом завоевав Галлию, которую Сенат назначил ему в качестве его провинции. Эти три человека, вместе взятые, достигли такой власти и популярности, что смогли подорвать и в конце концов уничтожить Республику.

Здесь, как и в других местах, финансовая система, насколько мы можем проследить ее, преимущественно функционировала *ad hoc*. Собрание утверждало определенные суммы, которые развёрстывались между классами в соответствии с их способностью платить и собирались на конкретные цели. По большей части это делалось не регулярно, а лишь тогда, когда этого требовала ситуация. Собранные деньги хранились в фонде, посвященном какому-либо богу; таким фондом был сам аэрарий, расположенный в храме Сатурна на Капитолии. В 431 г. до н.э., ввязавшись в рискованное предприятие, известное как Пелопонесская война, афиняне выпустили резолюцию, согласно которой тот, кто, кроме как в случае чрезвычайного положения, предложит тронуть резерв в 5000 талантов, хранившийся в храме Афины, будет приговорен к смерти. Независимо от места хранения денег, они контролировались ответственным магистратом или магистратами. По-видимому, так и не было предпринято даже попытки создать централизованную учетную систему, объединяющую различные фонды, не говоря уж о всеобъемлющем бюджете.

Все классические города-государства, до тех пор пока они не попадали под господство внешней державы или не становились жертвой тирана (в таких случаях, собственно говоря, полис прекращал существование), пользовались свободой *(eleutheria, libertas)* как во внешних делах, так и во внутренних. Во внешней политике «свобода» означала нечто весьма близкое к современному понятию суверенитета. Граждане поклонялись своим собственным богам и жили по собственным законам, т.е. пользовались *автономией (autonomia);* их судили в собственных судах, в которых председателями были выбранные ими магистраты, а присяжными — такие же горожане; они не подлежали обложению и не выплачивали принудительную дань *(phoros, tributuni)*; и для обеспечения всего вышеперечисленного они не были вынуждены терпеть у себя присутствие иностранного гарнизона[70]. Свобода во внутренних делах означала, что граждане имели право участвовать в политической жизни, считались равными перед законом и в нормальных обстоятельствах не должны были платить слишком много прямых налогов. Если исключить переворот, организованный тираном, обычно с помощью чужеземных наемников, от появления

автократического правительства город-государство защищала только что описанная сложная система сдержек и противовесов.

Грандиозный вклад классического города-государства в политическую жизнь заключался прежде всего в отделении личности правящего магистрата от должности, которую он занимал, и в превращении последней во временную и выборную. Таким образом, они открыли метод, позволявший свободно мобилизовать способности каждого гражданина на благо всего политического сообщества, а также, в принципе, но зачастую и на практике, могущий приводить к смене правительства, не прибегая к заговорам, гражданской войне и вообще насилию любого рода. С тех пор их пример нередко замалчивался, а в некоторые периоды даже считался опасным. В России царь Николай I (1825—1855) зашел столь далеко, что потребовал убрать все упоминания о «республике» и «республиканстве» из учебников и книг, посвященных классическому миру. Вот как описывался античный город-государство в его лучшие времена: «И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. [...] Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным»[71].

Империи сильные и слабые

Сообщества, о которых мы говорили до сих пор, были относительно небольшими. В случае с племенами без правителей они были такими благодаря комбинации факторов, включая экономику, основанную на охоте, собирательстве, рыболовстве, скотоводстве и подсечном земледелии; кочевой или полукочевой образ жизни, которого требовали эти виды деятельности; большие свободные пространства; а также слабость самого

правительства. Все это означало, что как только группа или племя превышали определенный критический размер, они обычно распадались. Главы младших кланов могли пойти своим путем и начать самостоятельную жизнь, хотя, возможно, все еще признавали различные культурные, религиозные и семейные узы, которые привязывали их к материнской группе.

Вождества обычно вырастали больше, чем племена без вождей, в этом случае количество людей, которых можно было контролировать из единого центра, было ограничено отсутствием администрации, использующей письменность. Как уже отмечалось, вытекавшая из этого нестабильность усиливалась за счет превалирующей полигамной системы, которая часто приводила к тому, что правители порождали многочисленных отпрысков. Если заранее не было предпринято очень тщательных мер, каждый раз, когда вождь умирал, наступал кризис в наследовании власти, что вело народ к беспорядкам и давало возможность подчиненным вождям отделиться.

Что касается городов-государств, то они были небольшими по определению. Граждане каждого из них считали себя отдельным народом, произошедшим от одного рода и поклоняющимся одним и тем же богам[72]. Хотя греческие города-государства признавали свою общую культурную идентичность, они чрезвычайно неохотно принимали чужестранцев — вплоть до эпохи эллинизма, когда с подчинением большинства из них более крупным политическим образованиям различия между ними уменьшились. Кроме того, независимо от того, много или мало людей обладало политическими правами, основой города-государства была прямая система правления, в которой в той или иной степени принимали участие все. Такая система предполагала отсутствие таких граждан, которые жили бы слишком далеко от гражданского центра, где собиралось собрание и вокруг которого обычно группировались общественные здания города, такие как храмы, суды, театры и т. д. — скажем, расстояние от жилища до центра человек мог преодолеть за день пешком. Так, население Афин, крупнейшего после Сиракуз греческого города-государства, в период расцвета составляло 250 000 человек. Из них, возможно, 30 000—40 000 были гражданами. Остальные были родственниками граждан или неродными их домочадцами (рабами). Все они жили на территории, не большей чем 600 кв. миль. Другие города-государства были гораздо меньше. Часто они насчитывали лишь несколько тысяч или даже сотен граждан, что ярко иллюстрируется тем фактом, что остров Крит был поделен между не менее чем 50 различными городами.

Напротив, империи, даже самые ранние, часто были могущественными организациями. Некоторые могли существовать на протяжении веков или даже тысячелетий. В первую очередь это относится к Древнему Египту и Древнему Китаю, которые были этнически однородными и развили политические системы, можно сказать, полностью соответствующие своим культурам. И однородные, и неоднородные империи часто покрывали сотни тысяч, если не миллионы, квадратных миль территории и насчитывали миллионы и десятки миллионов подданных, насколько их вообще можно было сосчитать. Например, империя инков имела протяженность с севера на юг более 2000 миль и насчитывала от 6 до 8 млн жителей. Римская империя в эпоху расцвета включала в себя современные Италию, Югославию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Армению, Сирию, Месопотамию (в течение недолгого периода в правление Траяна), Палестину, Египет, северные провинции Ливии, Тунис, Алжир, Марокко, Испанию, Францию, Британию, Южную Германию, Швейцарию, а также частично Австрию и Венгрию. Количество людей, живших под имперским правлением, по различным оценкам составляло от 50 до 80 миллионов человек. В Китае организация, известная как империя, даже доказала свою способность управлять населением, которое за тысячелетия выросло до сотен миллионов, хотя контроль не всегда был полным и время от времени прерывался периодами децентрализации, дезорганизации и мятежей.

Происхождение древнейших империй, таких как китайская и египетская, неизвестно. Большинство остальных империй рождалось, когда одно вождество завоевало соседние. Большинство самых примитивных из них в действительности правильнее было бы считать разросшимися вождествами. Так было с империями инков и ацтеков, которые были обязаны своим происхождением ряду исключительно одаренных воинов-вождей: унаследовав власть от прежнего правителя, они продолжали расширять подконтрольную территорию во всех возможных направлениях, используя членов своих собственных племен для создания нового правящего класса. Ассирийская, Вавилонская, Персидская, Арабская, Монгольская, Оттоманская империи также брали начало в завоевании одним вождем одного племени многих других племен.

В отличие от вышеупомянутых империй, Рим вырос непосредственно из города-государства, и даже в начале IV в. н.э. Константин все еще мог претендовать на то, что он «отомстил тирану за *res publica*» (имелся в виду Максентий, претендент на императорский трон)[73]. К последним десятилетиям II в. до н.э.

Рим, хотя все еще и сохранявший старую республиканскую систему правления, разросся до такой степени, что он стал насчитывать сотни тысяч граждан[74]. С приходом к власти двух братьев Грак-хов, претендовавших на роль социальных реформаторов, система начала разрушаться. С тех пор как так называемая Союзническая война 90—89 гг. до н.э. эмансипировала итальянских союзников Рима и наделила их римским гражданством, практиковать эту систему стало абсолютно невозможно. Когда граждане стали исчисляться несколькими миллионами и оказались рассеяны по всему полуострову, реальная власть перешла в руки римской толпы. Толпа продолжала организовываться в разные собрания, на которых председательствовали демагоги. Последние, используя раздачу хлеба и организацию зрелищ, могли управлять толпой так, как им было угодно. Как было сказано выше, эти демагоги на протяжении полувека боролись друг с другом, пока тот, кто мобилизовал самую большую и эффективную армию, не сделал себя в конце концов императором.

Во главе каждой империи стоял (что неудивительно) единственный император. В начале IV в. н.э. Диоклетиан попытался разделить Рим между двумя императорами, известными как *au-gusti,* каждому из которых был назначен наследник, чтобы занять их место, когда придет срок. Но эта попытка провалилась, как только сам Диоклетиан оставил бразды правления, и, по-видимому, подражателей ему не нашлось. Как в Риме, так и в Китае некоторые императоры пытались регулировать престолонаследие, назначая собственных сыновей, настоящих или приемных, соправителями еще при своей жизни. В Оттоманской империи для того, чтобы многочисленные сыновья императоров не становились центром интриг, их воспитывали в отдельной части дворца, называемой «клеткой»[75]. Когда новый султан приходил к власти, обычно первым делом он приказывал задушить всех своих братьев. Члены императорской семьи, принадлежавшие к женскому полу, если они занимали достаточно высокое положение, также могли играть роль в престолонаследии. Женщины либо организовывали интриги, чтобы добиться власти для своих сыновей, либо, пережив одного мужа-императора, выходили замуж за его преемника, тем самым дополнительно подтверждая его императорский статус. Одна византийская принцесса в X в. вышла замуж за трех императоров подряд.

Как и вожди, большинство императоров (многие из которых как раз и вышли из вождей) утверждало, что они обязаны своим положением той или иной связи с божеством. Это справедливо

даже для Рима — вероятно, самой секуляризованной империи из всех. Уже Цезарь занял должность верховного понтифика *(pon-tifix maximus)*, а его преемник Август позволял строить храмы самому себе если не в самом Риме, то в провинциях. Непосредственные преемники Августа продолжили эту практику, и каждого из них Сенат сразу после смерти официально провозглашал божественным (если они вели себя подобающе при жизни). Адриан объявил, что ведет преемственность от Аполлона, а Марка Аврелия считали способным вызвать дождь[76]. Процесс завершился тем, что Барий Авит Бассиан в 218 г. н.э., восходя на престол, отождествил себя с сирийским богом Элгабалом. С этого момента вплоть до христианизации империи при Константине каждый император по должности *(ex officio)* был богом и требовал, чтобы ему поклонялись как богу и в провинциях, и в самом Риме.

Если римским императорам потребовалось время, чтобы достичь статуса божества, то в других местах связь императоров с богами была очевидна с самого начала. Некоторые были сами воплощенными богами, как у древних египтян и инков, поклонявшихся Солнцу, которое было весьма популярно в качестве предка императорских фамилий; то же самое имело место в Китае, где император был сыном Неба *(Tien)*. Различные системы, существовавшие в других местах, неизменно подразумевали немалую степень сверхъестественной поддержки. Так, императоры Месопотамии, хотя явно и не претендовавшие на божественный статус, часто в произведениях искусства изображались лицом к лицу с богами, получающими божественные указания. Арабские халифы вели свое происхождение от Мухаммеда. Как «предводители верных» они использовали свое положение для управления не только светского, но вдобавок и религиозного. То же самое можно сказать и об османских султанах. Даже когда император, как в Византии, не был ни богом, ни потомком пророка, он действовал как фактический глава церкви, и сложно сказать, какая из его функций, светская или религиозная, была важнее. В действительности, возможно, лишь западно-христианские императоры не объединяли в своих руках светскую и религиозную власть, но даже здесь первый среди них — Карл Великий — считал себя также и главой церкви. Соответственно, он назначал епископов, созывал церковные соборы и в общем навязывал свою волю при решении таких вопросов, как праздники и молитвы, не обращая особого внимания на римского папу[77].

Какими бы в точности ни были отношения императоров с богами, все императоры были абсолютными правителями,

соединявшими в своей персоне исполнительную, законодательную и судебную власть. Не могло возникнуть даже вопроса о конституционных ограничениях в виде разделения властей; как гласят латинские пословицы, *salus principis lex est* («закон — это то, что хорошо для императора») и *princes legibus solutus est* («император стоит над законом»). Подобным же образом эллинистические правители были *nomos empsychos* («одушевленным законом») и правили как физическими телами людей, так и их религиозными верованиями. Для того чтобы показать, что в действительности означает абсолютная власть, Антиох III однажды отдал собственную жену замуж за своего сына, Антиоха IV. Армии, которая была созвана, чтобы засвидетельствовать такое событие, он объяснил свои действия следующим образом: «У них, так как они молоды, могут быть скоро дети. Этим я не ввожу у вас никаких персидских обычаев или обычаев других народов, а устанавливаю следующий общий для всех закон: "Всегда справедливо то, что постановлено царем"»[78].

В плане идеологии большинство империй разработало доктрины, целью которых было укрепить подданных в их подчинении властям предержащим. Так, в Китае эту роль играло конфуцианство в двух своих формах: «отеческой» и «правовой»[79]. Первая представляла империю огромной семьей, где младшие и подчиненные обязаны были быть почтительными к старшим и лучшим, а вторая подчеркивала роль дисциплины и предписывала суровые наказания тем, кто нарушал равновесие предписанной Небом социальной структуры. В Арабской, Оттоманской и Персидской империях, начиная с VII в., похожую роль играл ислам (само это слово означает « подчинение»), который в ряде своих разновидностей делал акцент на фатализме, покорности и послушании. Наконец, древние философские системы, такие как кинизм, эпикурейство и стоицизм, выросли на руинах независимого города- государства и лучше всего могут быть поняты как реакция на эллинистический или римский деспотизм. Так, киники учили, что человеку, чтобы компенсировать потерю свободы, следует отказаться от всего, чем он обладает, и уйти из мира. Эпикурейцы предлагали человеку подобным же образом уйти в частную жизнь и сосредоточиться на получении удовольствий. Стоицизм, напротив, делал акцент на терпении, служении ближнему, а если жизнь становилась слишком невыносимой, предлагал самоубийство как способ уйти в тот мир, куда не могла дотянуться даже длинная рука императора[80]. Со временем на место всех этих идеологий пришло раннее христианство, которое, по словам его основателя,

оставило кесарю кесарево, позволив верующему озаботиться спасением собственной души[81].

До тех пор пока императоры вели себя достойно, их правление могло быть благотворным. Однако всегда существовала опасность, что по необходимости, из-за жадности или просто безумия они перестанут себя вести таким образом, и в этом случае результаты будут плачевными, в особенности для их ближайшего окружения. Уже в Древнем Египте мы находим рассказ об одном чиновнике, который случайно дотронулся до фараона и испытал огромное облегчение от того, что не был за это наказан[82]. Точно так же библейской Эсфири очень повезло, что после того, как она пришла к Ксерксу, не спросив дозволения, ей сохранили жизнь. В Китае должностные лица часто носили тяжелые покровы, чтобы легче переносить порку, которой они могли подвергнуться и которая могла полностью вывести человека из строя на несколько недель. От Ближнего Востока до доколумбовой Латинской Америки мы находим свидетельства впечатляющих наказаний, которым императоры часто подвергали своих подчиненных, вызвавших их неудовольствие. В Риме, по свидетельствам историка Светония, боязнь императора часто доводила людей до самоубийства как средства самозащиты, при этом они оставляли все свое имущество императору[83]. Короче говоря, император мог сделать абсолютно все в отношении любого своего подданного, и наоборот, если он решал не обрушивать на них никаких жестокостей, это считалось исключительно милостью с его стороны *(indulgentia)*[84].

В то время как императоры представали перед своим подданными как вызывающие трепет, действительно почти божественные существа, другим следствием их положения была претензия на управление всем миром. Современное государство воспринимает себя одним из суверенных образований наряду с другими, но империи по определению не могли признать наличие равных себе. Обращая взор за пределы своих границ, они видели не другие политические сообщества, имеющие право на независимое существование, но лишь варваров, которые в худшем случае доставляли неприятности, а в лучшем — не стоили того, чтобы их завоевывать. Уже в Месопотамии ранние аккадские императоры утверждали, что правят «четырьмя частями небес». Эту традицию переняли их ассирийские и вавилонские преемники, вплоть до персидского «царя царей». Император Китая носил титул правителя «всего, что есть под небом», в то время как Рим отождествлял себя с ойкуменой *(oikoumene* — греческое слово, означающее «обитаемый мир»), которая, как считалось, простиралась от Британских островов до реки Тигр[85].

Это понятие было позднее подхвачено Карлом Великим, который, как и его преемники, носил с собой державу (сферу), символизирующую его статус. Все они, как и императоры доколумбовой Мексики и Перу[86], утверждали, что являются законными правителями всей Вселенной[87].

Поскольку такие утверждения не соответствовали реальности, они порой могли приводить к комическим результатам. Так, Су-лейман Великолепный однажды снисходительно написал Франциску I Французскому: «Ваши просьбы о помощи [против Карла V] были услышаны у подножья Нашего трона». Отказавшись признать королеву Елизавету Английскую в качестве равной, русский царь Иван IV Грозный называл ее «пошлой (т.е. обыкновенной. — *Авт.)* девицей». Еще в первые десятилетия XVIII в. дипломаты из европейских государств, добиваясь аудиенции в правительстве Порты, должны были создавать видимость, что они обращаются к вышестоящему, надевая поверх своей одежды турецкую . На Дальнем Востоке, когда японская делегация посещала китайскую столицу того времени, японцам надо было демонстрировать свою независимость, используя речь, неподобающую для подданных, каковое оскорбление китайцы великодушно «прощали» (в том случае, конечно, если они хотели сохранить добрые отношения), приписывая такое поведение предполагаемому незнанию гостями правильных форм речи.

Кроме религии, двумя столпами, поддерживающими имперское правление, были, с одной стороны, армия, а с другой — бюрократия. По-видимому, немногие империи зашли так далеко, как Рим, где титул «Император», т.е. победоносный командующий, неизменно возглавлял список имперских должностей, но связь между политическим господством и военной мощью всегда была очевидной. По сравнению с описанными ранее типами политической организации вооруженные силы империй были огромными. Эти силы состояли не просто из групп воинов, личных вассалов или народного ополчения. Нет, это были регулярные войска, для которых военная служба была выбрана в качестве жизненной карьеры, которыми командовали профессиональные офицеры, и которые получали плату централизованно из имперской казны. Их численность могла достигать сотни тысяч солдат — но здесь важно отметить, что очень низкое социальное и экономическое развитие большинства империй (лишь немногие из них просуществовали до периода промышленной революции, а те, которые дожили до этого времени, как Оттоманская и Китайская империи, при столкновении с более развитыми цивилизациями

угасли в течение нескольких десятилетий) не давало держать на военной службе более 1-2% населения. Так, в Риме, далеко не самой слаборазвитой империи, во времена расцвета насчитывалось всего 300 000 солдат, и когда в эпоху поздней империи эта цифра удвоилась, экономика не выдержала такой нагрузки. В других империях цифры были, вероятно, еще ниже.

Более того, издержки на постоянную армию были такими, что большинство империй содержало только сравнительно небольшое число регулярных войск; даже в Риме, который зашел дальше других в этом отношении, первое, что сделал, например, Веспасиан, отправляясь покорять Иудею в 66 г. н.э, так это набрал наемников[88]. В других случаях персидские «бессмертные», китайская императорская гвардия, янычары в Оттоманской империи обычно не насчитывали едва и двух десятков тысяч воинов. Эти военные единицы выполняли тройную функцию: постоянной армии, столичного гарнизона и полицейских сил, ответственных за подавление внутренних восстаний. Между тем большая часть армии не состояла из регулярных формирований, а действовала на основе своего рода феодального договора. Люди предоставляли свои услуги на временной основе за выделение участков земли или освобождение от налогов, как это было в случае османских сипахи. Или же войска состояли из людей, призванных на короткий срок, которые могли быть использованы только для защиты своих родных провинций, как было в некоторые периоды китайской истории, а также у инков. Что касается военного флота, то он был еще более дорогим предприятием. Лишь немногие империи в истории могли построить флот военных кораблей и содержать его на протяжении долгого времени. Обычным решением было полагаться на прибрежные города, которые во время войны предоставляли должным образом переоборудованные корабли и корабельные команды.

Гражданская бюрократия, резко отделявшая себя от армии, состояла из образованных людей *(literati)*. Первоначально это были, по всей вероятности, жрецы, владевшие священным искусством письма. Так было в Египте, где письмо, которое они использовали, до сих пор известно как иератическое (жреческое), в Месопотамии (Аккадской и Вавилонской империях), а также среди ацтеков и инков. Позднее бюрократия стала формироваться из высших классов общества. Встав на первую ступень служебной лестницы, дальнейшее продвижение происходило обычно в рамках достаточно регулярной системы, дополняемой, разумеется, семейными связями, а также имперскими *ira et studio*[89]. Только в Китае со времен династии Тянь существовала

система экзаменов, жестко соблюдаемая в качестве механизма отбора[90]. Теоретически, любой (кроме определенных классов осужденных преступников) мог выдвинуть свою кандидатуру. На практике время и расходы, необходимые для подготовки к экзаменам, были такими, что только сыновья чиновников или богатых купцов могли это себе позволить. Тем не менее эта система препятствовала созданию наследственной аристократии, для чего в действительности она и была разработана.

Поскольку столкновение между бюрократами и военным командованием могло оказаться фатальным для режима, первой заботой каждого императора было тщательно отделить их друг от друга. После того, как эта цель была достигнута, количество администраторов, назначенных императором, было зачастую на удивление небольшим. И в Риме и в китайской империи Минь бюрократические посты, непосредственно подконтрольные императору, насчитывали менее чем 10 000 человек — причем в последнем случае это количество чиновников управляло населением, насчитывающим около 150 млн человек[91]. Конечно, каждый римский чиновник и каждый мандарин имели в качестве помощников честолюбивых членов своей семьи, приближенных и рабов (или нередко вольноотпущенников), которые питались с их стола, находились у них под рукой и могли использоваться для исполнения рутинных обязанностей, выполнения поручений и т.п. Но при этом их общая численность оставалось ограниченной и не идет ни в какое сравнение с современными административными системами.

Так же как сам император совмещал в своем лице различные функции, служащие императора были и администраторами, и судьями одновременно. Хотя римские сенаторы в эпоху ранней империи все еще имели право быть судимыми только судом равных, идея, что эти две функции должны быть разделены, является в основном современным европейским достижением, датируемым не ранее XVII или даже XVIII в.

Помимо этих обязанностей, самой важной задачей, возлагавшейся на любого чиновника, был сбор налогов от лица императора. Везде двумя самыми важными налогами были налог на землю, представлявший собой долю урожая, и подушный налог. В некоторых более примитивных империях, например, у ацтеков[92], инков[93], а также в ранних китайских империях[94], налоги выплачивались натурой. В других местах натуральные повинности обычно обращались в деньги, естественно, по ставкам, установленным властями. К этим источникам дохода прибавлялись имперские монополии. От доколумбовой Америки до Рима и Китая монополии касались, как правило, самых ценных

товаров, включая соль (определенное количество которой должно было быть закупленным каждой семьей ежегодно), изделия из металла, драгоценные камни, определенные виды кожи, меха и перьев, а в Риме — знаменитый бальзам, который производился на берегах Мертвого моря. В большинстве регионов шахты, леса, реки и озера считались собственностью империи; в некоторых империях то же касалось определенных пород животных, считавшихся особо ценными либо из-за цены на вырабатываемые из них продукты, либо просто из-за того, что они были крупными и, следовательно, охота на них была особо престижным занятием. Все эти разнообразные виды ресурсов или эксплуатировались людьми, непосредственно назначенными императором — чиновниками, слугами и рабами, или, что более вероятно, сдавались в аренду тому, кто предлагал самую высокую цену, и разрабатывались на основе долевого участия в прибыли.

Перечень собранной дани, составленный ассирийским царем Тиглатпаласаром III (правившим в 745—727 гг. до н.э), включал «золото, серебро, олово, железо, слоновьи шкуры, слоновую кость, многоцветную одежду, льняную одежду, сине-пурпурное и красно-пурпурное дерево, клен, самшит, все разновидности драгоценностей… небесных птиц с крыльями сине-пурпурного цвета, лошадей, мулов, рогатый скот, овец, верблюдов, верблюдиц и их потомство»[95]. Имея в своем распоряжении эти и другие источники дохода, многие императоры могли составить себе впечатляющее состояние; Август, например, объявил весь Египет императорским имением и закрыл его для членов правящего, т.е. сенаторского, класса. Запрещенный город в Пекине, как и *domus aurea*[96] Нерона, скрывал неслыханные богатства; сокровища, накопленные правителями ацтеков и инков, стали легендой. Когда Александр Великий вошел в столицу Персии в 330 г. до н.э., он обнаружил в сокровищнице Дария 50 000 талантов золота (по меркам конца XX в. их ценность исчислялась бы суммой от 1,8 до 3 млрд долл.) — и это не считая несметного количества серебра и других драгоценностей, накопленных за примерно два с половиной века.

Следует отметить, что ввиду отсутствия абстрактного института государства эти богатства принадлежали лично императору или, как минимум, находились в его личном распоряжении. Как во всех догосударственных политических системах, за исключением города-государства, император *должен* был быть самым богатым человеком на своей территории. Любые соперники в этом плане были *ipso facto*[97] опасны и подлежали уничтожению. В Византии, Китае и других империях иногда предпринимались попытки разделить две палаты, в которые

стекались бы два типа поступлений — от налогов и от императорской «частной» собственности. Подобным же образом создавались две палаты для отделения расходов на содержание дворца от расходов на армию и администрацию. Но на практике это разделение редко удавалось поддерживать. Так, римские и китайские императоры постоянно прощали выплату налогов регионам, пострадавшим от стихийных бедствий; заслуженные таким образом восхваления за проявленную щедрость были бы неуместны, если бы суммы, о которых идет речь, не воспринимались подданными как предназначенные для собственного кармана правителя. И наоборот, когда деньги были необходимы для войны или для других целей, императоры очень часто прибегали к своим «частным» ресурсам. Они продавали столовое серебро, закладывали дворцы и поместья и даже женили своих детей на лицах, предложивших самую высокую цену. Когда Карл V нуждался в деньгах для войны с протестантами в Германии, он использовал приданое, которое получил его сын Филипп, женившись на португальской принцессе[98]. Господствующая система была емко охарактеризована римским историком Тацитом при описании ситуации, когда однажды, во время правления императора Тиберия, Сенат проголосовал за перевод денег из старого республиканского аэрария в императорский фиск[99]: «как будто это имело значение»[100].

То, что было справедливо в отношении императорского имущества (сложно сказать, какой термин здесь наиболее уместен), относилось также к армии и бюрократии. И та, и другая состояли из людей императора и служили ему, а не государству; одни служили ему как частному лицу, другие — в его публичном качестве. На практике различие между первыми и вторыми, как правило, стиралось. С целью добавить блеска двору некоторые из высших императорских сановников занимались удовлетворением личных нужд императора: подносили императорскую чашу, следили за императорским гардеробом, надзирали за конюшней и т.п. Напротив, дворцовые слуги, не важно, свободные или рабы, которых можно было купить и продать, часто использовались для решения «общественных» задач, включая командование императорскими телохранителями и занятие таких жизненно важных административных должностей, как секретарь императора. Иногда соответствующий персонал состоял из евнухов, взятых из императорского гарема (который был не только местом, где содержались женщины императора, но вдобавок включал такие институты, как монетный двор и арсенал). Так было, помимо прочих, в Персидской, Византийской, Арабской, Османской и Китайской империях.

Как показывают военные кампании византийского генерала Нарсеса и китайского адмирала Чжен Хэ (оба были евнухами), правление домочадцев не обязательно было менее компетентным или более коррумпированным, чем осуществляемое постоянной администрацией. Однако оно осуществлялось в обход элиты высокородных и образованных *literati,* которые считали, что их посты узурпированы и доступ к императору контролируется людьми, к которым они относились со смесью страха и презрения. Будучи низведенными до полного политического бессилия, они находили выход своему раздражению в писательстве. Этим, вероятно, объясняется дурная слава, которую часто приобретало правление домочадцев императора в глазах как современников, так и многих последующих историков[101].

Независимо от того, были служащие свободными людьми или нет, члены как администрации, так и армии, разумееется, были преданны императору. Их присяга была адресована императору лично и должна была приноситься повторно каждый раз при восхождении преемника на трон. В ответ они, вполне естественно, могли ожидать тех или иных императорских щедрот. Многие императоры, чтобы обеспечить неизменную лояльность высшей администрации и служащих, периодически дарили им подарки, и ценность каждого подарка тщательно отмеривалась в соответствии с рангом получателя, так чтобы не обидеть остальных. Смешение частного и общественного усугублялось тем, что многие члены класса собственников, особенно купцы, также отвечали за сбор налогов (особенно дани, выплачиваемой товаром) и лично несли ответственность за доставку дохода в императорскую казну. Если казна истощалась, купцов и чиновников силой принуждали предоставить ссуду. Так смешивались императорская служба и частное предпринимательство. В отсутствие абстрактного института государства вся структура представляла собой фактически гигантскую систему вымогательства, в рамках которой император вместе со своими слугами, каким бы ни был их точный статус, «стригли» все остальное население.

Абсолютная власть императора, с одной стороны, и отсутствие четкого различия между частным и публичным, с другой, означало, что единственным институтом, более или менее свободным от деспотического вмешательства, была официальная религия или церковь. Часто она имела свою систему налогообложения, параллельную императорской, как, например, у инков. В других местах церковь владела обширными имениями, которые уступали только императорским, как в раннесредневековой Европе. Даже там, где император по

совместительству являлся главой официальной религии, как в большинстве империй, эти факторы давали ей определенную автономию. Конечно, ресурсы, которые оказывались ей доступны благодаря этой автономии, часто пробуждали алчность императоров, всячески стремившихся завладеть этими богатствами. С другой стороны, тот факт, что императоры были обязаны своим положением религии, обычно требовал вести себя по отношению к ней осмотрительно. Открытое столкновение с церковью могло навлечь большие неприятности. Многие императоры, которые так поступали, заканчивали плохо, как, например, египетский император Аменхотеп IV (Эхнатон), попытавшийся поставить новых богов на место старых. Селевкид Антиох III был убит в 187 г. до н.э. после ограбления им храма Ваала. По-видимому, одной из причин легкого успеха испанцев в Перу был тот факт, что как раз перед прибытием Писарро и его людей император Инка Атахуальпа поссорился с жрецами при попытке уменьшить расходы на поклонение императорским мумиям, от которого жрецы выигрывали больше всего[102]. Напротив, относительная безопасность, предоставляемая храмом, часто превращала его в то место, куда во множестве спешили обычные люди, чтобы отдать на хранение свое имущество. Это позволяло храму осуществлять банковские операции и постепенно превращаться в коммерческий центр; менялы, которых Иисус изгнал из иерусалимского храма, по-видимому, были обычным зрелищем[103].

Другими факторами, способными наложить ограничения на власть императора, были время и расстояние. Ввиду крайней степени централизации политической системы, когда вооруженные силы империи проигрывали в сражении, завоевание ее огромных территорий порой было относительно нетрудным делом и могло быть произведено за весьма короткое время. Однако, как показывают завоевания Александра и монголов, управлять завоеванными империями было гораздо сложнее, при этом чем менее этнически однородной была империя, тем больше было трудностей. Пытаясь справиться с этими затруднениями, империи-долгожители оставили после себя материальные следы в ландшафте в виде массивных «общественных» (читай: построенных по инициативе империи, а иногда и оплаченных ею) сооружений. Китайцы и римляне славятся своими укреплениями, которые они возводили вдоль границ. Персы, римляне и инки преуспели в качестве строителей дорог, акведуков и мостов. Ни доколумбовскую Мексику, ни Египетскую, ни различные месопотамские империи невозможно себе представить без систем каналов, которые были построены и использовались для

ирригации и транспортировки грузов. Как хвастал Тиглатпаласар: «Я прорыл Канал Патти… и заставил журчать его обильные воды»[104]. Менее прочными и долговечными, но не менее важными для поддержания целостности империи были системы гонцов, которые соединяли провинции со столицей, и, как в случае с Римом, могли доставлять императорские указы до самых отдаленных провинций в течение 1-4 месяцев[105], а также проводить время от времени переписи населения.

В эллинистическом Египте, судя по одному дошедшему до нас документу, система императорского контроля, ставшая возможной благодаря этим средствам, была такой жесткой, что даже проститутка, желающая работать по своей специальности в своем городе хотя бы один день, должна была подать прошение на лицензию и, предположительно, заплатить за нее[106]. Византийские императоры неоднократно пытались регулировать экономику, предписывая все — от времени открытия магазинов до цен на различные товары[107]. Инки даже разработали специальную систему записей, состоящую из разноцветных узелков *quippu,* предназначенную для налогообложения. По свидетельству Гарсиласо де ла Вега, бывшего сыном испанского конкистадора и инкской принцессы и, следовательно, знакомого с местной культурой, императорская информационная система была столь всепроникающей, что давала возможность фиксировать каждый фунт маиса и каждую пару сандалий, произведенных на территории империи[108].

Вместе с тем, есть указания на то, что императорские записи часто были полны пробелов, и что результаты попыток сбора информации были в лучшем случае посредственными. Например, когда Ксеркс отправился покорять Грецию в 490 г. до н.э., он ничего не знал о существовании второго по богатству человека в своем царстве — такого богатого, что он мог содержать императорскую армию (по одному из источников, насчитывавшую полтора миллиона человек) на свои частные средства, когда армия проходила через его имения[109]. Хотя эллинистический Египет как наследник тысячелетнего имперского правления представлял собой, вероятно, одну из самых жестко управляемых империй, Птолемей IV Филопатер однажды обнаружил, что не может определить, действительно ли он предоставил городу Соли определенные привилегии (освобождение от размещения в нем войск), как утверждали горожане[110]. Относительно Рима и династии Минь в Китае даже утверждалось, что отсутствие хороших карт, хороших « баз данных» и хороших средств связи делало их императоров пассивными, и они могли иметь дело только с тем, что происходило непосредственно рядом с ними,

или же ограничивались в основном выполнением ритуальных функций[111]. Конечно, трудно себе представить, как человек столь предприимчивый, как Сеп-тимий Север, начавший свою карьеру младшим офицером, мог оставить активный образ жизни, взойдя на императорский трон в 193 г. н.э. С другой стороны, ясно, что ни один император не мог знать всего, и что эти ограничения зачастую представляли собой серьезное ограничение их возможности управлять.

На практике из-за проблемы времени и расстояния и из-за ограничений на получение информации многие императоры предпочитали иметь дело не с индивидами, а с целыми сообществами — племенами, вождествами, деревнями, городами и даже подчиненными королевствами. В Теночтитлане и Куско ацтеки и инки использовали в качестве основных ячеек общества не семьи, а кварталы, известные под названиями *calpullin* и *alyu* соответственно[112]; за пределами столиц их правление также было непрямым и осуществлялось посредством подчиненных племенных вождей, которых они завоевали. В Китае первоначально существовала так называемая восьмиколодезная система, в которой крестьянские семьи назывались «колодцами»[113], а Рим долгое время предоставлял администрирование многим сотням автономных городов-государств, а также многочисленным подчиненным царям. Вместо того, чтобы подсчитывать все население, империи предпочитали проводить перепись, считая за единицу домашнее хозяйство или домашний очаг. И то и другое образование, как правило, состояли из членов «семьи», как являющихся, так и не являющихся родственниками, в результате чего определить точный поправочный коэффициент для администрации того времени было так же сложно, как и для последующих историков.

Недостатки, присущие таким административным системам, также объясняют, почему многие империи отказывались от введения единой правовой системы для всех жителей. Многие из них, образовавшись первоначально в результате завоеваний, были неоднородны по определению; поэтому до тех пор, пока подданные подчинялись указам и платили налоги, большинство императоров не требовали большего и оставляли их в покое. Не считая того, что многие, а возможно, и большинство тех, кто был вовлечен в управление империей, никогда не фигурировали в императорских платежных ведомостях, данная система означала, что должностные лица, исполняющие свои обязанности, часто сталкивались не с индивидами, а с разного рода организованными сообществами. Это, вероятно, ослабляло их власть и во многих случаях должно было сводить управление к

процессу торга.

Другой фактор, работавший в том же направлении и накладывавший практические ограничения на власть императора, имел финансовую природу. В истории не было ни одной империи, которая дошла бы в своем развитии до создания единственной казны (будь то «публичной» или «частной»), куда стекались бы все доходы и которая, в свою очередь, осуществляла бы все выплаты. Важнейшая причина этого состояла в том, что, учитывая расходы на транспортировку металлических денег и соответствующий риск, большая часть сумм, полученных от налогообложения, всегда оставалась в провинциях и использовалась на покрытие местных расходов. В еще большей степени это относилось к натуральным выплатам: большинство оставалось на складах в провинциях, не говоря уж о *corvees*[114] или о принудительном труде, которым должно было заниматься население, работая в императорских имениях, возводя и поддерживая имперские инженерные сооружения, предоставляя транспортные и другие услуги должностным лицам империи. Каждый из этих факторов означал, что лишь небольшая часть собранных сумм или затраченного труда достигала столицы и поступала в свободное распоряжение императора. Остальное оставалось в местах происхождения или рядом с ними и если и приносило ему выгоду, то лишь косвенно и лишь в той степени, в какой он контролировал местных чиновников.

Чтобы не дать местным должностным лицам идти своим путем и использовать императорские ресурсы в личных целях, императоры применяли различные способы. Можно было не дать чиновникам обрасти связями на местах, постоянно перемещая их между постами и провинциями. В эллинистическом Египте, по-видимому, существовала двойная администрация, т.е. одна группа бюрократов отвечала за сбор налогов, а другая надзирала за первой[115]; в других местах часто встречались разъездные инспекторы, такие как римские *quaestores* (позднее замененные на *agentes rerum)* и китайские выездные секретари, носившие различные титулы, но выполнявшие одну и ту же функцию[116]. Ассирийские цари периода расцвета имели обыкновение назначать евнухов — «ничьих сыновей» — на управление вновь завоеванных городов[117], метод, который, вероятно, имел дополнительное преимущество в виде унижения побежденных.

Хотя каждый из этих методов давал практическое решение проблемы, ни один не мог решить ее раз и навсегда. Инспекторов, выездных или постоянных, люди на местах могли обмануть или подкупить. Перевод чиновников с одного места на другое просто означал, что у них не было времени освоиться в своем округе, что

вело к увеличению власти глав местных сообществ за счет центра. Использование евнухов, очевидно, не позволяло семьям консолидировать власть в своих руках, но угрожало потерей стабильности по другим причинам. Короче говоря, император мог сделать свою власть абсолютной в пределах собственной столицы. Но в целом, чем дальше находилась та или иная провинция, тем тяжелее было проводить в ней императорскую волю.

В таких обстоятельствах всегда существовала опасность того, что подчиненные власти, будь то религиозные или светские, используют в своих целях любые затруднения, которые испытывает центр (часто войну или кризис престолонаследия), для того, чтобы прекратить подчиняться императору и отделиться. В частности, провинциальные губернаторы могли использовать экономические ресурсы, находящиеся в их распоряжении, чтобы создать свои вооруженные силы, в то время как военачальники могли использовать свои войска для овладения экономической базой. Задачу обоим часто облегчали самоуправляющиеся сообщества, имевшиеся в составе большинства империй. Если покоренные племена не были физически перемещены с их исконных территорий и не отправлены в изгнание, что было обычной практикой и у ассирийцев, и у инков[118], то они зачастую представляли собой готовый материал для возникновения феодализма. Конечным результатом мог быть распад империи и замена ее на гораздо более децентрализованную хотя и весьма иерархичную систему правления[119]. На самом деле, феодализм как таковой может рассматриваться просто как политическая структура, возникающая при падении империи в несчастливый для нее час. Так было в Западной Европе в Средние века, в Египте и Китае в различные междинастические периоды, а также во многих других обществах, включая Персию, Византию, Индию и Японию в разные моменты их истории[120].

Как только появлялся характерный для феодализма класс воинов-правителей, он тратил серьезные усилия на создание военных дружин, а также оборонительных сооружений, позволявших открыто не повиноваться императору. Поскольку каждый лорд стремился сделать свои владения возможно более независимыми, он закрывал глаза на постепенную деградацию и распад централизованной системы сбора информации, транспорта и обороны. Бюрократия — а вместе с ней в значительной степени необходимая грамотность среди людей, не принадлежащих к религиозным классам, — почтовая служба, переписи, даже самые элементарные транспортные средства исчезали. Ни в один период истории европейские дороги не были

столь плохи, а связь столь затрудненной, как в Средние века с их множеством соседствующих друг с другом княжеств. Регулярные вооруженные силы тоже таяли, вплоть до того, что превращались просто в горстку слуг, питавшихся на императорской кухне, во время его переездов из одной своей резиденции в другую. Права, принадлежавшие ранее императору, такие как право использования и получения доходов от экономических ресурсов (рудников, лесов и т.д.), налогообложение и чеканка монеты децентрализовывались и переходили в руки многочисленных лордов и баронов.

Возникновение феодализма сопровождалось разрушением имперской идеологии. На ее место приходила система, которая гораздо больше внимания уделяла коллективным правам аристократии, с одной стороны, и религиозного истеблишмента — с другой. По представлениям Фомы Аквинского — вероятно, величайшего и, безусловно, наиболее систематичного из всех средневековых «политологов» , — правительство было создано не людьми и не для людей, а являлось неотъемлемой частью божественного порядка. Как таковое оно представляло собой бесшовную ткань, в которой каждый человек и каждый класс имел свое отведенное место и которая не допускала произвольного вмешательства «сверху»[121]. Чем сильнее был император, тем в большей степени привилегии, которыми обладали люди, институты или классы, считались императорским даром, который он мог было забрать обратно по своей воле; но в феодальных обществах привилегии становились привязаны к своим владельцам, которые таким образом приобретали некие «конституционные» гарантии, практически отсутствовавшие в империях[122].

Как только воины-губернаторы переставали быть назначаемыми императором и как только им удавалось добиться превращения своих должностей в наследственные, процесс достигал своего логического завершения и империя де-факто приходила к своей кончине, продолжая жить лишь в названии. Получившаяся в результате структура не основывалась ни на семейных узах (хотя такие узы были важны при формировании людьми союзов), ни на бюрократических распоряжениях. Вместо этого она основывалась на сети отношений вассальной верности, которая связывала каждого представителя аристократии как с вышестоящими, такие нижестоящими. Давая клятву, вассалы вверяли себя своим господам и соглашались служить им советом, оружием и при необходимости финансовой помощью. В ответ они получали защиту, землю для того, чтобы содержать себя, собственных вассалов, сколько подобало их положению, и права,

которые давались вместе с землей, в виде ренты и различных трудовых повинностей, и которые раньше принадлежали императору и его представителям. Люди, находившиеся ниже по социальной лестнице, жившие на земле и обрабатывавшие ее, становились *glebi adscripti* (привязанными к земле). Ими правил лорд манора практически безо всякого вмешательства императора.

Многочисленные переходы от централизованной империи к децентрализованному феодальному режиму и обратно показывают, что эти две системы не были так уж далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд. В отличие от племен без правителей и городов-государств, империи, и слабые, и сильные, носили отчетливый иерархический характер и имели определенного верховного главу, даже когда он становился чисто номинальным в результате феодализации. В отличие от ситуации в вождествах, эти иерархии просто не были основаны на этнической идентичности и семейных узах, но использовали довольно хорошо развитые бюрократические системы и постоянную армию в одном случае и вассальную верность в другом. В то время как императоры концентрировали всю власть в своих руках, насколько позволяли практические соображения, феодализм возникал, когда какой-либо кризис приводил к передаче императорских прерогатив его солдатам и администраторам, которые сливались в единый наследственный класс. Но при этом отношения между публичной и частной сферами оставались теми же, что и раньше, и заметно отличались от ситуации в городах-государствах и от той, которая существует в современном государстве. В следующем разделе природа этих отношений будет рассмотрена подробнее.

Ограничения безгосударственных обществ

Небольшой обзор, представленный выше, не охватывает все разнообразные типы политических сообществ, существовавшие до появления государства. Чтобы обзор был полным, необходимо было бы упомянуть другие, в основном промежуточные типы — так называемые общества «больших людей» *(big-men societies)* или ранговые общества[123], существовавшие в разные периоды королевства разных размеров и форм, стоящие где-то посередине между вождествами и бюрократическими империями. Империи, завоевывая племена без вождей, часто превращали эти племена в вождества, требуя, чтобы был указан единственный лидер,

который нес бы ответственность за такие вопросы, как внутреннее администрирование и сбор налогов. С другой стороны, чтобы предотвратить восстания, они часто «обезглавливали» подчиненные вождества и возвращали их на стадию родового общества. Города-государства также с большой вероятностью сталкивались с эрозией своих конституций при покорении соседей или при завоевании извне, пока они раньше или позже не переставали существовать как независимые самоуправляемые сообщества. Ни одно из этих сообществ не представляло новых принципов управления, но просто было той или иной комбинацией уже описанных типов. Остается только указать на некоторые политические, социальные и экономические результаты, вытекавшие из структуры догосударственных обществ.

В отсутствие государства как отдельного юридического лица большинство исторически существовавших обществ было не в состоянии провести четкое разграничение между властью и собственностью в их различных формах. Имевшее место в результате этого смешение сфер публичного и частного приводило к всевозможным парадоксам, как, например, утверждение Аристотеля, что варвары, которые не жили в самоуправляемых *poleis,* но подчинялись воле правящих ими вождей или королей, были «по природе» рабами[124]. В Риме в первые века новой эры мы сталкиваемся с таким любопытным фактом: почтовая система *(cursus puhlicus)* отнюдь не была публичной, ею мог пользоваться только император или те, кто действовал от его имени. Средневековая Европа ударилась в другую крайность. С крушением Рима публичная сфера (т.е. все, что принадлежало императору) практически исчезла. В средневековой латыни термин *dominium* (от do-*mus* — дом или резиденция) означал либо частную собственность государя, либо страну, которой он правил[125]; и действительно, юристы часто спорили о правильном использовании этого слова. В то же время слово «частный» (privy) означало то место, куда даже короли ходят в одиночку.

Справедливости ради надо отметить, что проблемы не проявлялись в той же форме в греческих городах-государствах и в Римской республике. Последняя ближе подошла к тому, чтобы быть «государством», нежели остальные пре-современные политические образования. И Рим, и современное государство в состоянии отделить функции правительства от частной собственности индивидов, которые временно занимали должности и действовали в качестве магистратов. Чтобы быть избранным, обычно (хотя и не обязательно) требовались большие

расходы; однако правители не обязательно были самыми богатыми гражданами из всех. Многие города так же содержали специальные коллегии, такие как афинские *logistai* и римские *censores,* чьей функцией было следить за тем, чтобы растраты не приводили к нарушению границ между частным и публичным[126]. Два величайших греческих и римских государственных деятеля, Перикл и Сципион Африканский, имели некоторые проблемы в этом отношении. Первый из них, дабы избежать подозрений в тайном сговоре со своими спартанскими родственниками во время Пелопоннесской войны, счел необходимым передать свою собственность полису. Политическая карьера Сципиона Африканского так никогда и не восстановилась после обвинения в том, что во время Сирийской войны 191 — 189 гг. до н.э. он со своим братом использовали в личных целях деньги царя Антиоха[127].

Как показывает факт упорядоченной передачи власти при смене магистратов, система позволяла правителю покинуть свой пост, не теряя при этом все, и, что на самом деле есть одно и то же, позволяла подданным менять своих правителей, не прибегая к переворотам, бунтам, восстаниям и любого рода насилию. Самые большие города-государства (Рим, Афины и в первые века своей письменной истории — Спарта) были способны поддерживать гражданский мир. Избегая регулярных потерь человеческих жизней и собственности, к которым часто в других местах приводили политические изменения, они встали на путь успеха.

За исключением примера с полисом, правительства в безгосударственных сообществах часто не имели практически никакой власти, как в племенах без правителей и при феодализме в его наиболее рыхлой, децентрализованной форме. Или же они были, наоборот, деспотическими, как в случаях с наиболее жестко управляемыми вождествами и империями. В этих обществах законодательная, судебная и исполнительная власть была сосредоточена в руках одного правителя; в результате единственным «законным» ограничением власти, не считая технических трудностей и постоянной возможности восстания, была религия, главой которой он был в качестве потомка бога или представителя бога на земле. Писавший в 80-х годах XVII в. Джон Локк, пожалуй, первым отметил[128], что оба вида политических сообществ имели гораздо больше общего, чем казалось на первый взгляд. При всей своей противоположности ни одно не могло, да и не пыталось гарантировать безопасность жизни или собственности индивидов.

При феодализме любой человек, владеющий чем-либо, был вынужден *ipso facto* вдобавок быть воином, тем самым нарушая

принцип разделения труда и накладывая ограничения на экономическую эффективность. При имперском режиме, какими бы масштабными ни были экономические достижения, почти всегда они принимали форму не предприятий, ориентированных на рынок, а деятельности, связанной с правительством, — как это имело место в случае с откупами (занятие, которое в Риме и Китае часто позволяло сколотить крупное состояние), контрактами на строительство «общественных» сооружений вроде укреплений или акведуков от имени императора, арендой императорских имуществ, таких как леса или рудники, снабжением армии. В конечном счете успех такого рода был возможен только до тех пор и в той степени, в какой предприниматель был в фаворе у правителя. В ином случае люди вынуждены были обращаться к неэкономическим средствам, чтобы накапливать и защищать свою собственность. Это можно было делать, вкладывая средства в строительство крепостей, оружие и военный эскорт, чем и европейские и японские лорды занимались в очень больших масштабах; можно было поступить на императорскую службу, как это происходило на протяжении тысячи лет китайской истории со времен династии Хань; или же можно было искать убежище в религии и вверить свое имущество защите храма. Теоретически, хотя не всегда на практике, первая и вторая их этих альтернатив взаимно исключали друг друга. Третья же часто могла сочетаться — и сочеталась — с любой из предыдущих.

Как сказал Адам Смит, оборона страны гораздо важнее богатства[129]. Отсутствие безопасности (не важно, происходила она от слабости правительства или от его чрезмерной силы; в империях с их гетерогенным этническим составом и удаленными провинциями часто сочетались оба фактора) препятствовало накоплению людьми излишков и возникновению устойчивого экономического роста *per capita*[130]. Несмотря на спорадические попытки, ни одно из этих обществ не смогло создать бумажных денег или заметно продвинуться к созданию чего-то подобного центральному банку. Проще говоря, полностью отсутствовала уверенность в способности и желании правительства выполнять свои обязательства; не случайно на иврите слово, означающее «пускать деньги по ветру» происходит от термина, первоначальное значение которого было «публичная казна» (по-гречески *timaion*)[131]. В свою очередь, это означало, что несмотря на выдающуюся изобретательность, часто проявляемую людьми, технологический прогресс был затруднен, запаздывал или подавлялся. Не нужно и говорить об отсталости в этом отношении племен без вождей и вождеств; это непосредственно

привело к их разрушению, которое до сих пор происходит во многих местах мира под именем модернизации. Более важным и менее известным фактом было то, что вплоть до первой половины XIX в. Малая Азия при османском правлении была настолько отсталой, что там не было ни мощеных щебнем дорог, ни колесных транспортных средств любого рода. В отсутствие карт расстояния измерялись количеством часов, затраченных на перемещение, и, следовательно, варьировались в зависимости от качества дорог[132]; и даже первый типографский станок был установлен там лишь в 1783 г.[133]

То же самое относится даже к наиболее развитым из этих обществ, таким как ранний императорский Рим, Китай эпохи Минь и Индия при Великих Моголах. Все это были центры утонченных цивилизаций, способных проектировать и возводить огромные «общественные» сооружения. Все они создавали литературные и художественные произведения, непревзойденные по качеству и блеску. И при этом, за небольшим исключением купеческого класса, который сам по себе зависел от правителя, большая часть этих произведений предназначалась двору, его слугам и фаворитам. Часто они создавались в императорских мастерских или императорскими мастерами; имя Мецената, одного из придворных и друга Августа, стало нарицательным для обозначения покровителей художников. Цивилизация, а вместе с ней все ее удобства, исчезала стоило выйти за пределы двора, столицы и провинциальных административных центров. Ни одна империя не смогла выйти за пределы ситуации, когда 90% всего населения проживало на земле, часто делило свое жилище с «домашними» животными и тяжелым трудом могло обеспечить себе существование, очень близкое к уровню простого выживания[134].

Что касается городов-государств, они были по определению маленькими, при этом, имея весьма скромные перспективы достижения экономического преуспевания, очень ревностно относились к своей независимости и предпочитали автаркию[135]. Теоретически идеальный город-государство, будучи самодостаточным, не нуждался в торговле и мог сохранять неизменной конституцию, переданную гражданам предками. На практике наиболее процветающие города-государства, такие как Афины, Коринф, Сиракузы и Карфаген, использовали свое географическое положение для развития обширной сети торговых связей. Как, в частности, показывает пример Афин, такие города были зачастую открыты переменам, полны свежих идей и способны обеспечить своим гражданам то, что они считали комфортным жизненным уровнем; однако в конечном итоге их

процветание имело предел, поскольку в их распоряжении были только примитивные технологии связи и транспорта. Единственным исключением из этого правила был Рим, где, благодаря его военному мастерству, создавались огромные состояния за счет военной добычи и дани[136].

Города-государства смогли распространить свою власть лишь в незначительной степени отчасти из-за того, что они отказывались давать гражданство чужестранцам, отчасти же потому, что натурализация слишком большого их числа инородцев неизбежно привела бы к потере принципов демократии, на которых они основывались. Если они все же пытались выйти за эти пределы, то более крупные политические образования, которые они создавали, терпели крах, как это произошло с Афинами и Спартой. В долгосрочном плане они не могли сохранить свое правление над не желающими этого подданными. Другой возможный исход состоял в том, что их покоряла империя, подобно тому как греческие города-государства захватила Македония (и как, возможно, случилось с додинастической Месопотамией), или же они сами вставали на путь Римской республики — к империи и деспотизму. Здесь стоит отметить, что, несмотря на уникальное происхождение Римской империи, влияние римского деспотизма на экономику было таким же, как и в любом другом месте. Уже во II в. н.э. города потеряли свою автономию, как только для надзора за их финансами и обеспечения уплаты налогов туда были назначены императорские прокураторы. Постепенно власть забирали из рук магистратов, так что их единственной оставшейся функцией стала оплата литургий. Прошло еще 100 лет, и требования правительства стали так сильно давить на общество, что превратились в угрозу не только благосостоянию, но и городской жизни в целом. Особенно на Западе, где города были более молодыми и менее укоренившимися, в результате жители вынуждены были бежать в сельскую местность[137].

Наконец, язык, который используют древние историки, ясно дает понять, что ни греки, ни римляне никогда не воспринимали государство как абстрактную сущность, отделенную от его граждан. Там, где мы могли бы сказать «государство», они писали «общество» или «народ»; наконец, именно историк Фукидид написал, что «город — это люди», а юрист Цицерон дал определение республике *(res publica)* как «собранию людей, живущих по закону»[138]. Так, пред-современная мысль, независимо от уровня развития и от того, в какой цивилизации она бытовала, не смогла дать идею корпорации как абстрактного юридического лица, отделенного от ее должностных лиц и членов. Это помогает

объяснить роль религии в таких обществах, поскольку в отсутствие корпораций как в публичной, так и в частной жизни многие их функции, такие как права собственности и обеспечение легитимности власти, приписывались столь же невидимым божествам. Поскольку государства не существовало, единственный путь к построению политического образования крупнее, чем вождества и города-государства, пролегал через создание империи со всеми ее несовершенствами. При таком понимании вопроса государство *(state)* представляет собой второе важнейшее изобретение в истории политической жизни после придуманного в Греции разделения собственности и правления. Конкретная природа и функции этого института мы обсудим позднее; сейчас же мы сконцентрируемся на процессе, который привел к его появлению из недр феодализма и из глубин Средних веков.

2. ЗАРОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА: 1300-1648 гг.

Западноевропейская феодальная система, возникшая после крушения империи Каролингов (представлявшей собой недолговечную попытку навести порядок в том хаосе, который воцарился с разрушившим Рим нашествием варваров), была децентрализованной даже в сравнении с подобными режимами в других регионах. При феодализме правительство не было ни «публичным», ни сконцентрированным в руках одного монарха или императора; вместо этого оно было распределено между многочисленными неравноправными правителями, связанными друг с другом узами вассальной верности и относившимися к правительственным функциям так же, как к своим личным имениям. Однако ситуация в Западной Европе еще более усложнялась исключительным положением, которое там занимала церковь.

В то время как в большинстве империй положение императора усиливалось тем, что он вел свое происхождение от бога или его пророка, в западном христианском мире правитель не был ни тем, ни другим. То же касалось Византии, но там положение спасало то, что за границами империи не было политически независимых греко-православных общин. На Западе же примерно с 1000 г. всегда существовали значимые страны и регионы, как Ирландия, Англия, Северная Испания, Скандинавия и Польша, которые хотя и были христианскими и, следовательно, подчинялись власти папы, не приносили вассальной присяги императору.

Еще больше усложняло положение то, что светская и религиозная столицы находились в разных местах. У Византии и Османской империи был Константинополь, у инков — Куско со всеми его дворцами и храмами, но европейские императоры постоянно перемещались с одного места на другое. Большую часть времени они находились либо в понимаемой широко Германии, которая в то время включала современные Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Лотарингию, Эльзас, Швейцарию и Богемию, либо в Северной или Южной Италии. Это означало, что в Средние века папа Римский был недосягаем не только для императора, но и для любого светского правителя. В отличие от аналогичных религиозных должностных лиц прочих империй папа имел собственные владения — хотя они никогда не были в безопасности, и он вынужден был делить в них свою

власть с влиятельными аристократическими семьями, такими как Колонна и Орсини. Он имел собственные вооруженные силы в форме военных орденов, для которых являлся верховным сюзереном, хотя эти силы были невелики и рассредоточены малыми группами почти по всей христианской Западной Европе, Средиземноморью и Ближнему Востоку[139].

Наконец, империя Каролингов была уникальна тем, что государственная религия была старше самой империи и в целом ряде отношений находилась значительно выше ее по развитию. Церковь унаследовала язык западной Римской империи, а также многие ее юридические и политические традиции. На протяжении нескольких веков церковь обладала фактической монополией на грамотность, в результате чего без ее услуг не мог обойтись ни один светский правитель, владения которого были сколько-нибудь обширными и который мог реально надеяться превратить их в нечто большее, чем просто вождество или феодальное поместье. Попытка Карла Великого разрешить эту проблему, введя школы и образование, была недолговечной. Во времена мадьярского и норманнского завоеваний в IX—X вв. церковь и в особенности монастыри остались практически единственными центрами, где могло выжить что-то, хотя бы отдаленно напоминающее упорядоченную цивилизацию. Имущество церкви не было сконцентрировано в каком-то одном месте, а состояло из множества зданий и поместий, разбросанных по всей Европе. Поэтому она вынуждена была создать сложный финансовый, юридический и административный аппарат, способный преодолеть время и расстояние. Еще в 1300 г. этот аппарат значительно превосходил любую подобную структуру, имевшуюся у светских правителей.

Эти факторы объясняют, почему после смерти Карла Великого его статус религиозного главы был утерян. Все его преемники ссорились друг с другом и часто призывали церковь выступить посредником. В благодарность за это они предоставляли ей (или она оказывалась в состоянии взять себе) привилегии гораздо большие, чем имела религия в любой другой цивилизации. Примерно с 1100 г. церковь обладала, помимо власти формулировать и толковать Божественный Закон, правом назначать и продвигать по службе собственных должностных лиц; неподсудностью духовенства светскому суду; правом судить и наказывать свое духовенство, а также мирян в тех случаях, когда дело касалось заботы о душе; правом предоставлять убежище беглецам, спасающимся от светского правосудия; правом освобождать подданных от присяги, данной своим правителям; и, вдобавок во всему, огромными земельными владениями,

отдельной системой налогообложения и кое-где — правом чеканить монету. Не только высшие прелаты почти всегда принадлежали к знати, но, как и другие феодалы, церковь могла раздавать и получать бенефиции. Почти по всей Европе церковные домены и даже княжества существовали бок о бок с их светскими эквивалентами; главным различием было то, что церковный принцип наследования был не от отца к сыну (в данном случае — всегда незаконному), но часто от дяди к племяннику. Так церковь интегрировалась в феодальную систему, поддерживаемая этой системой и, в свою очередь, поддерживая ее.

Власть церкви была на пике в период между эпохой Григория VII (1073—1085) и Климента IV (1265—1268). Григорий VII схватился с императором Генрихом IV по вопросу о праве назначения епископов, отлучил Генриха от церкви, освободил его вассалов от клятвы верности, разжег против него восстание и, в конце концов, вынудил его отправиться в Каноссу, где Генрих, стоя на коленях, публично покаялся в своих грехах[140]. Климент IV мобилизовал большую часть Европы, развязал целую серию войн и не успокоился, покуда не увидел казнь последнего потомка Генриха, шестнадцатилетнего императора Конрада. Претензии духовенства на верховную власть становилось все смелее и смелее, в томчислев области закона. Уже Иннокентий III (1198—1216) провозгласил, упрочивая более ранние достижения церкви, что папа имеет право судить всех, но не может быть судимым никем. Иаков из Витербо (ум. 1308) применял иной подход: он доказывал, что светское правительство было запятнано первородным грехом и может достичь совершенства только под надзором церкви. Жиль Римский (1246—1316) заявлял светским правителям, что «ваши владения принадлежат церкви больше, чем вам». Кульминация наступила в 1302 г., когда папа Бонифаций VIII издал свою знаменитую буллу *Unam Sanctam Ecclesiam.* Цитируя Иеремию — «Я поставил тебя в сей день над народами и царствами» (Иер 1, 10) — он провозглашал в булле, что светская власть должна осуществляться *ad nutum et patientiam sacerdotis* — «по указанию и с согласия священства»[141].

Как отмечалось выше, центробежные тенденции, присутствовавшие в большинстве империй, привели некоторые из них к распаду: особенно справедливо это утверждение в отношении таких случаев, как позднеимперский Рим, где внешнее давление совпало с внутренним и в результате сделало ситуацию неуправляемой. Другие империи, особенно древнеегипетская, китайская и японская, смогли преодолеть, иногда и неоднократно, феодальную раздробленность и, после более или

менее продолжительного периода, восстановить централизованную власть. Только в Европе позиция церкви была столь сильна, что вместо того, чтобы заново подчиниться императорской власти, она боролась с последней до возникновения патовой ситуации. В результате феодализм, вместо того чтобы прийти к довольно быстрому концу, длился почти целое тысячелетие и дал свое имя целой исторической эпохе. Что еще более важно для нашего исследования, империи больше не удалось возродиться. В зазорах между двумя великими вселенскими организациями выросли великие монархии, которым много позже суждено было превратиться в государства.

Борьба против церкви

Когда в 1170 г. люди, посланные королем Англии Генрихом II убили примаса Англии, архиепископа Томаса Беккета, в его собственном соборе, результатом стало серьезное поражение королевской партии. Как только прелат умер, его могила стала объектом паломничества, на ней же начали свершаться чудеса, и через два года его официально объявили святым. Король не только вынужден был публично покаяться, но степень его поражения показывает тот факт, что Англию наводнил поток папских указов, касающихся каждого аспекта правления страной, включая, в частности, право духовенства быть судимым только представителями духовенства[142]. Сын Генриха, второй человек по линии наследования, зашел еще дальше. Король Иоанн (1199—1216) большую часть своего царствования сражался с Филиппом Августом Французским за Анжу и Мэн. Пытаясь получить все доступные ресурсы, он присвоил доходы церкви, но оказался беспомощным, когда папа Иннокентий III в качестве возмездия аннулировал избрание его кандидата на важнейший церковный пост в стране. Спор, достигший апогея в 1213 г., разрешился только тогда, когда Иоанн согласился ввести в эту должность человека папы взамен своего. Король дошел до того, что сделал Англию папским феодом, который он получил обратно за плату 1000 серебряных марок в год.

Через 90 лет после этого поражения подобный случай произошел во Франции, но разрешился он по-другому. Папская затянувшаяся, хотя в конечном счете и победоносная, борьба против империи усилила зависимость церкви от дома Капетингов, и в конце XIV в. король Филипп IV Красивый стал самым могущественным властителем в христианской Европе. Он

и Бонифаций VIII поссорились из-за денег, как часто бывает с правителями. В начале возник вопрос о праве французского духовенства вывозить денежные средства за пределы королевства, а затем — о собственном праве короля облагать духовенство налогом. Едва папа уступил в этом вопросе (что он сделал в 1297—1298 гг., надеясь в обмен получить поддержку в других делах), как разразился другой спор, на этот раз о праве короля увольнять и судить епископов, совершивших преступление. В лице Иоанна Парижского (ум. 1306) Филипп нашел священнослужителя, который защищал совершенство светского управления так же рьяно, как папа отрицал[143]. Когда ситуация стала критической, король и его советники провели секретное заседание в Лувре. Там они сфабриковали всевозможные обвинения против Бонифация, от незаконного занятия Святого престола до ереси[144]. Одного из них, Гийома де Ногаре, отправили в Рим проверить, можно ли раздуть восстание против папы среди дворянских семей, имеющих власть в городе. Летом 1303 г. он вместе с отрядом вооруженных людей ворвался в резиденцию папы, захватил его в плен и избил.

Хотя Бонифаций умер вскоре после этого случая, спор ни в коей мере не был завершен. Его преемник Бенедикт XI правил всего несколько месяцев, но когда тиару принял Климент V, Филипп, на сей раз действительно контролировавший ситуацию, принудил его отменить действие *Unam Sanctam* на территории Франции. Летом 1307 г. Климент, собиравшийся возглавить церковный собор, который должен был состояться в Туре, отправился во Францию. Там ему пришлось безучастно наблюдать за тем, как король организовал серию показательных процессов, на которых рыцари Храма (тамплиеры) обвинялись во всем, от ереси до гомосексуализма.

Все военные силы, которые имела церковь на территории Франции, были уничтожены, командующие казнены, крепости и доходы захвачены и присоединены к королевским владениям. Не желая порывать отношений во время всех этих разбирательств, Климент остался во Франции. В 1309 г. он избралв качестве своей резиденции Авиньон, который хоть и являлся папским поместьем, но был окружен французскими землями; и тем самым папа сам сделал себя пленником короля. На протяжении последующих 70 лет все папы были французами и без исключения — ставленниками французской короны. Международный статус папства сильно пострадал, поскольку любая мера, предложенная или осуществленная папой, автоматически получала поддержку французского, испанского и шотландского духовенства и столь же автоматически отвергалась английским, венгерским, итальянским

и, прежде всего, имперским духовенством[145].

В 1356 г. эти ссоры привели к потере папой права участвовать в процессе выборов императора. Вскоре после возвращения папы в Рим, случившегося в 1378 г., последовала Великая схизма. Она была вызвана тем, что население Рима настаивало, чтобы наследник Григория XI, умершего в 1378 г., был не очередным французом, а итальянцем, как и они сами[146]. Схизма длилась 30 лет и регулярно приводила ко всеобщему посмешищу, когда два или даже три папы яростно спорили друг с другом по поводу того, кто из них есть истинный наместник Христа, а кто, напротив, антихрист. Сложно даже представить себе то положение, в котором оказалось папство в те годы. Папа Урбан VI так боялся заговоров, что подвергал пыткам и казнил собственных кардиналов, когда его выдворили из Рима и он странствовал по югу Италии. Папа Иоанн XXIII был обвинен в убийстве, изнасиловании, содомии и инцесте (более серьезные обвинения были скрыты) перед тем, как, переодевшись арбалетчиком, вынужден был бежать с собора в Констанце, а его имя было вычеркнуто из всех официальных списков понтификов. Постоянно отлучая от церкви и свергая друг друга, папы призывали светских правителей вмешаться на их стороне, чтобы вести войну и осаждать противников в их средоточии власти в Риме и Авиньоне. Делая это, они давали возможность этим правителям получить от церкви всевозможные уступки.

Еще долгие годы после того, как с избранием Мартина V (1417) схизма прекратилась, ее наследие продолжало влиять на отношения светского и церковного правительства. Такие зрелища, как избрание и низложение пап, заново поставили вопрос о том, чья власть выше: папы или церковного Собора[147]. Хуже того, современники привыкли, что один человек может одновременно и носить тиару, и быть еретиком. В 1438 г. сторонники концилиаризма продемонстрировали, на что они способны, низложив Евгения IV и избрав на его место Феликса V. Лишь десять лет спустя возникший раскол был преодолен; и неудивительно, что последующие папы проводили церковные соборы, испытывая священный ужас. На протяжении следующего столетия (в действительности до начала Контрреформации) распри в церкви были на руку светским властителям. Когда бы ни назревал конфликт с церковью, например, по поводу налогообложения, французские и испанские правители могли обратиться к папе за помощью; напротив, когда они имели дело с римской папской курией, они угрожали вызвать собрание прелатов королевства или — в Англии — созвать парламент. Призывы к патриотизму духовенства и противопоставление его

претензиям «чужестранного» (или — во Франции — «ультрамонтанского») Рима были хорошим способом получить их поддержку, особенно по поводу приходов. И со временем это получалось все лучше и лучше.

В первой половине пятнадцатого века папство продолжало получать все новые удары. Как показывают движения альбигойцев, вальденсов, катаров и лоллардов, в Средние века ереси, даже крупномасштабные, организованные, поддерживаемые целыми социальными группами, были нередким явлением[148]. Однако восстание гуситов 1419— 1436гг. отличалось от них: оно впервые смогло объединить большую часть традиционно христианского народа ради выступления против официальной религии. Сам Гус совершил ошибку, доверившись мнимой безопасности, которую ему обещали, и в итоге окончил жизнь на костре. Император и правители германских земель подвергли последователей Гуса жестоким гонениям. И все же его идеи не были забыты. Гуситская *(Utraquisf)* церковь под защитой части чешской знати продолжала действовать в Богемии[149]. Практика этой церкви, особенно в отношении языка богослужения (чешский, а не латынь) и использования вина в таинстве евхаристии (которое пили и священник и прихожане), существенно отличалась от практики Рима, и все же Рим вынужден был терпимо относиться к ней в последующие примерно два века. Значительная часть церковной собственности была конфискована той же самой знатью и более не возвращена. Наконец, легкость, с которой это движение смогло получить распространение от места его зарождения по всей Саксонии, в Мекленбурге и вплоть до побережья Балтийского моря, стала предвестницей грядущей Реформации.

Тем временем основы светской власти церкви подверглись нападкам со стороны новой гуманистической науки, возникшей в Италии. Ключевым ее понятием было восхищение всем классическим, что само по себе предполагало утверждение возможности упорядоченной — даже процветающей и интеллектуально превосходящей — цивилизации без помощи христианской веры. Один из первых симптомов того, что гуманизм и его сторонники, взявшись за дело, могли сделать для уменьшения влияния церкви, появился в 1440 г. О точном происхождении и значении так называемого «Константинова дара», одного из главных документов, который использовало папство, чтобы оправдать свои претензии на монархическую власть над Римом, Италией и Западом, спорили как минимум с X в.[150]; и наконец Лоренцо Балла, использовав хорошее знание классической латыни, завершил этот спор, показав, что «Дар» —

это подделка VIII в., причем не очень искусная. Балла, считавший, как и многие его итальянские современники, официальную церковь источником порока, политического раскола и войны, стал знаменитым в одночасье. Он завершил свое выступление, выразив надежду на то, что поскольку намерения церкви отныне разоблачены, принадлежащие ей земли будут быстро секуляризированы, а функции церкви ограничатся духовной сферой, которая единственно ей и принадлежит.

К тому времени становление важнейших монархий было уже свершившимся фактом. Короли либо проводили свои решения через парламент, как в случае с английскими статутами *Praemunire*[151] (1351) и французскими прагматическими санкциями (1439), либо договаривались с действующим папой и подписывали конкордат. Какая бы процедура ни использовалась, она неизменно вела к потере церковью финансовой независимости и к подпада-нию церковной собственности под королевское налогообложение. Уже Эдуард!! (1307 — 1327) сумел вытянуть из церкви больше денег, чем из своих вассалов-мирян, и это только одна из вех на данном пути[152]. В 1366 г. Иоанн Гонт, действуя от имени Ричарда II, официально аннулировал статус Англии как папского феода; когда король, достигнув совершеннолетия, обратился к Риму :»а помощью в споре с дворянством, этот акт был использован как дополнительное основание к его низложению. Во Франции назначение иностранцев на вакантные церковные должности было запрещено в 1439 году, хотя этот запрет стал окончательным только в 1516 г. ЛюдовикХ1 (1461 — 1483) имел список из 600 важнейших церковных приходов, которые были объявлены находящимися под его исключительным контролем, и таким образом он усилил свою власть над духовенством и получил возможность осуществлять патронаж; поставив их над светскими сторонниками, он сделал их еще одним инструментом королевского правительства, известного своей коррумпированностью[153]. Наконец, в Испании король Фердинанд, который вместе со своей женой называл себя «Католическим», назначил себя главой различных воинских орденов, по мере того, как между 1477 и 1498 гг. соответствующие посты освобождались. В 1531 г. Папа Адриан VI принял это действие как *fait accompli*[154] и утвердил его. Это принесло короне землю и доходы; однако всего лишь десять лет спустя Карл V последовал примеру своего французского коллеги и решительно запретил иностранцам занимать церковные посты в стране.

Другие права духовенства, такие как апелляция к папе против королевского правосудия, так же были урезаны. Во Франции

после окончания Столетней войны Людовик XI запретил инквизиции преследовать еретиков кроме как по его личному указанию. Он настоял, чтобы каждый приговор церковного суда повторно рассматривался парижским парламентом *(parlement)*. Чтобы предотвратить заговоры духовенства против него, Людовик XI запретил священнослужителям выезжать за пределы страны, не получив предварительно разрешения. Франциск I (1515—1547) заставил духовенство присягать ему на верность, так же как это делали все остальные подданные, еще на ступень приблизившись к отмене исключительности их положения. Тем временем в Англии в самом начале правления Генриха VIII впервые за 200 лет была проведена всеобщая перепись, определившая, какая собственность принадлежала, а какая не принадлежала церкви (а также какие церкви имели право предоставлять убежище). Некоторые дела, например, составление и исполнение завещаний, были изъяты из-под юрисдикции церкви. Один вид преступлений, ранее подпадавший под церковную юрисдикцию —а именно, клевета, — был отменен, за исключением случаев, когда она была направлена против короля. Здесь, как и в других случаях, церковные власти отныне полностью зависели от взаимодействия с королевскими чиновниками в отношении исполнения приговоров, которые они выносили в делах, все еще остающихся под их юрисдикцией. Это касалось даже консервативных Португалии и Испании; говорили, что не существовало ни одного института, столь всеобъемлюще подчиненного королевскому контролю, как испанская инквизиция. Так или иначе подходили к концу старые добрые времена, когда каждый верховный прелат и каждый аббат высшего ранга имели собственные тюрьмы[155].

Еще более важным поворотным пунктом в триумфе монархов над церковью стала Реформация. Одной из причин, по которой, в частности, Лютер, самого начала завоевал гораздо более серьезную поддержку, чем предыдущие реформаторы, было именно его утверждение, что его движение не несло революционных черт; он верил, что религии непозволительно вторгаться в сферу светской власти[156]. Эта позиция привела его к написанию обвинительных трактатов против крестьянской войны 1525 г., и в 1530 г. она была формализована, когда вместе со своим соратником Мелан-хтоном он написал Аугсбургское вероисповедание и процитировал там слова Христа о том, что Его Царство не от мира сего. Другие ведущие реформаторы, особенно Цвингли, Кальвин, Бусер и Бе-за, посвящали некоторые или все свои работы светским правителям того времени, надеясь получить помощь в распространении своих взглядов[157].

Как только улеглись страхи государей, касающиеся

политических последствий протестантизма, он быстро распространился. Его победа была, пожалуй, наиболее полной в Шотландии, скандинавских странах и в Англии, хотя в последнем случае процесс занял больше времени и завершился по-другому. Однако он охватил значительные части Германии, Богемии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Франции и исторических Нидерландов (включавших территорию современных Нидерландов, Бельгии и Люксембурга). Принимало ли течение форму лютеранства, цвинглианства, кальвинизма, англиканства или (шотландского) пресвитерианства, там, куда оно доходило, его сторонники отрекались от повиновения папе. Кроме того, они распустили монастыри как духовные центры церкви и, осуществив крупномасштабную конфискацию церковной собственности, в большой мере ограничили ее экономическую власть.

Процесс изъятия собственности у церкви принимал различные формы. В Германии целые княжества были подвержены секуляризации. Самый примечательный случай произошел в 1525 г. Альберт Бранденбург-Ансбахский, наняв Лютера в качестве советника, использовал свое положение магистра Тевтонского ордена чтобы полностью присвоить его себе. Так он создал новое политическое образование, которое достигало протяженности 120 на 200 миль и стало известно в истории как герцогство Пруссия[158]. В других местах речь шла в основном об изъятии церковных ценностей, как во время движения «низвержения идолов», охватившего Нидерланды в 1566 г. В Швеции король Густав Ваза постановил, что каждая церковь в стране должна пожертвовать по одному колоколу в пользу казны. Но, что важнее всего, Реформация дала возможность правителям заполучить церковные угодья, которые в некоторых странах насчитывали 25—30% всей земли. Арендаторы, работавшие на земле, часто содействовали этому, радуясь возможности избавится от монахов и священников, которые славились особой требовательностью в отношении арендной платы и других прерогатив землевладельца. После конфискации угодья продавались за наличные деньги или, хотя и реже, сдавались в аренду подрядчикам. Так или иначе результатом было увеличение королевских доходов — иногда в несколько раз, как это было в Англии, благодаря чему Генрих VIII стал первым монархом, который был богаче, чем все его магнаты вместе взятые, а также обеспечение институциональной поддержки реформ, которые стало гораздо сложнее отменить, как только они стали влиять на наполнение людских карманов.

Более того, хотя десятки тысяч монахов и монахинь были

просто выброшены с земель и оставлены без средств к существованию, оставшуюся часть духовенства необходимо было обеспечивать.

Традиционно священники являлись членами особой вселенской организации, которая заботилась о них, раздавая им бенефиции. Теперь они либо становились королевскими слугами, обязанностью которых, в силу обстоятельств, было заботиться о человеческих душах, как это было в лютеранских странах, либо им не позволяли вмешиваться в дела правительства, хотя они и сохраняли некоторую автономию в отношении своей внутренней организации и избрания священников, как это было в кальвинистских странах. В последнем случае правители, хотя они официально не назначали себя главами церкви, возлагали на себя ответственность надзирать за ее деятельностью, включая образование (как мирян, так и священников), обряды и молитвы. В лютеранских странах правительство часто заходило еще дальше и после консультаций с придворными теологами само публиковало новые догматы веры. В Англии Генрих VIII, который был не лютеранином, не кальвинистом, а просто двоеженцем с абсолютистскими склонностями, отменил независимость церкви *и* выпустил целый сборник обязательных вероучительных положений, которые его подданные должны были изучать и исповедовать. С 1539 г. сомневаться в его намерениях больше не приходилось, когда он обязал духовенство поменять старый перевод Библии на новый, отмеченный королевской печатью. На обложке была изображена группа людей, дружно кричавших *vivat rex*[159][160].

Продолжая признавать авторитет папы, католические правители не заходили столь далеко в этом отношении. Но хотя неприкосновенность духовенства и его судебные права оставались куда более обширными, чем при протестантском правлении, многие из них ужесточили контроль над религией; в Империи право на это было санкционировано Аугсбургским миром (1555) [161]. Превратив нужду в добродетель, они использовали необходимость воевать за «истинную» религию как удобный предлог для того, чтобы присоединить церковные феодальные владения, конфисковать собственность и обложить налогами, как сделал КарлУ в 1520 г., когда он превратил добровольные взносы *tercio reale* и *Cruzada* в постоянные обязательные сборы. Франциск I, в свою очередь, постановил, чтобы все церковные имения стоимостью больше 100 000 ливров были проданы, а доходы от продажи были переданы в королевскую казну. Его преемники превратили вымогательство в искусство. Церковную собственность регулярно конфисковывали и так же регулярно

продавали обратно ее первоначальным владельцам; как описал этот процесс Мишель де Лопиталь, канцлер с 1560 по 1568 г., «все, чем оно [духовенство] обладает, принадлежит королю», который может продать это в любое время, «никого не информируя об этом»[162]. К концу столетия Филипп II Испанский, образец благочестия, довел кастильскую церковь до бедности, забирая половину ее доходов. Его доход от церкви был равен тому доходу, который он получал от Нового Света в качестве хозяина самой большой и богатейшей заморской империи в истории[163].

Следуя примеру герцога Баварского, католические правители один за другим учреждали советы, в которых миряне неизменно были в большинстве, для контроля за делами церкви, включая распределение должностей и бенефиций. Да и вопросы веры не были оставлены в покое. Карл V, хотя он и был лично тверд в старой вере, проложил этот путь: между 1520 и 1543 гг. его богословы неустанно находились в поиске доктрины, которая, удовлетворив и католиков, и протестантов, могла бы быть объявлена обязательной для них для всех. Во Франции, имеющей свои независимые традиции, где уже в XIV в. считалось, что по доктри-нальным вопросам решающее слово принадлежит Сорбонне, попытка Тридентского собора дать новое определение католической религии была встречена с тревогой. Непрерывно росло количество французских книг о соотношении прав короля и церкви. В 1549 г. Пьер Питу в *Libertes de I'eglise gallicane* объявил, что на территории королевства светская власть папы не имеет силы, а его духовная власть ограничена тем, что получило одобрение короля. Когда Мария Медичи, невеста Генриха IV (1598—1610), попросила его принять постановления Тридентского собора в качестве свадебного подарка, ей было приказано больше никогда не вмешиваться в дела государства. Вернемся к Филиппу II: хотя он и не устанавливал вероучительных принципов, но утвердил свою власть так, что папские буллы не могли быть опубликованы в его многочисленных владениях без его предварительного одобрения.

По мере того, как светские правители ужесточили контроль над церковью, произошли изменения и в рядах правительственных служащих. Воодушевленные распространением светского гуманизма, миряне, начиная с XV в., все больше и больше приобретали возможность получения такого же хорошего образования, как и церковники. Со временем это положило конец ситуации, при которой правители зависели от «клерков» (т.е. клириков) в своей администрации. Например, Томас Уолси, уволенный в 1525 г., был последним кардиналом,

занимавшим пост лорда-канцлера Англии. Его преемник, Томас Мор, носил власяницу под одеждой, но тем не менее он прежде всего был юристом, чей путь наверх вел через парламент, Судебные Инны и череду деловых операций, сделавших его богатым. Последующие английские монархи обычно старались не назначать церковников на государственные посты: это не было позволено даже Уильяму Лоду, который, будучи архиепископом Кентерберийским, играл главную роль в гонениях на пуритан и других диссидентов при Карле I. Здесь, как и в других протестантских странах, представители знати отказывались от независимого образа жизни и шли на королевскую службу, чтобы продвинуться. Во второй половине XVI в. они в несчетных количествах наводнили университеты, чтобы изучать, помимо прочих предметов, вновь созданную «политическую» науку, основателями которой были Боден и Юст Липсий[164].

Католические правители, хоть и позднее, но тоже последовали за ними. В Испании кардинал Гранвель, служивший своему господину более 20 лет и умерший на своем посту в 1586 г., оказался последним в своем роде. Главным министром Филиппа III был герцог Лерма. Филипп IV назначил графа Оливареса и после него — дона Луиса Мендеса де Харо. Только Франция, во времена Екатерины Медичи (1559—1589) и Генриха IV (1589-1610) продвигавшаяся в этом направлении, была исключением из общего правила. В течение 37 лет, с 1624 до 1661 г., страной правили два кардинала в красных шапочках, Ришелье и Мазарини, выступающие от имени Людовика XIII и молодого Людовика XIV соответственно. При этом следует отметить, что никто не смог бы быть ревностнее Ришелье в деле защиты «государства» от Римской церкви (а также в занятии множества должностей), вплоть до того, что его считали настоящим основателем этого государства. Но, как бы то ни было, этот опыт больше не повторился. Первое, что сделал Людовик XTV, достигнув совершеннолетия, — положил конец правлению духовенства. Будучи сам себе первым министром, он подыскивал себе советников из мирян, таких как Кольбер и Лувуа.

Тем временем сама идея того, что упорядоченное правление зависит от его санкционирования религией, подверглась нападкам. Макиавелли, рассуждая о Римской республике, которой он восхищался, предположил, что один из секретов политической стабильности состоит в использовании высшими классами религии для удержания масс в узде[165]. Истинность или неистинность их верований не имела значения; для него религия была не пропуском в рай, но *virtu* (доблестью), которую лучше всего можно определить как сочетание патриотизма и

смелости, которое было основой правительства и оправдывало его. Голос Макиавелли не был единственным: через три года после того, как он написал «Государя», Томас Мор опубликовал «Утопию» (1516). В ней описывалась воображаемая политическая система, в которой царит религиозная терпимость, не приводящая к беспорядку или другим неприятным последствиям любого рода. Единственным исключением были атеисты, которые отрицали, что человек обладает вечной душой, но даже их не трогали до тех пор, пока они публично не выражали своих взглядов. Если бы не тот факт, что Мор был известен своей любовью к сатире, мы вполне могли бы назвать его первым подлинным представителем модерна. Но, принимая это во внимание, сложно сказать, всерьез ли Мор выдвинул такое предложение. Он сам был очень религиозным человеком, который во время своей деятельности в качестве лорда-канцлера преследовал еретиков со всей яростью, на которую был способен. В конце концов, он пожертвовал собой, защищая католицизм от Генриха VIII.

В любом случае его идее было суждено захватить разные страны, особенно Францию и Нидерланды. Когда Франция с 1561 г. оказалась в состоянии гражданской войны, религиозная терпимость рассматривалась вождями гугенотов в качестве способа самозащиты от католического большинства. Дополнительная поддержка этой идеи пришла от школы мысли, известной как *poli-tiques* (изначально противопоставлявшихся *fanatiques),* которые надеялись использовать ее для преодоления религиозных разделений[166]. Два короля, Карл IX (1560-1574) и Генрих III (1574-1589) заигрывали с ней время от времени, как и их мать, бывшая реальной силой, стоящей за троном[167]. Несмотря на то, что Генрих III был набожным католиком, он в итоге назначил своим преемником протестанта Генриха Наваррского, настроив против себя многих своих подданных, но четко поставив требования правления страной выше требований религии. Сам король Наваррский в душе, возможно, был скептиком; однако, как показывает его знаменитая острота о Париже, который стоит мессы, он был готов следовать внешним формам, если это служило его целям. Он обратился в католичество и взошел на трон под именем Генриха IV. Следующим его шагом было прекращение религиозных гонений, развязанных его предшественниками, и провозглашение религиозной терпимости в Нантском эдикте, который на 90 лет превратил Францию в настоящую мозаику из католических и протестантских общин. В эпоху правления Генриха IV его фактотумом и главным советником был гугенот, герцог де Сюлли,

фигура, с которой мы еще встретимся.

В Нидерландах различия в вероисповедании были такими же глубокими, как везде, но на севере их смягчала отчаянная борьба за независимость против Испании. Вильгельм Молчаливый, будучи первым лидером восстания, делал все, что было в его власти, чтобы сохранить единство. Это объясняет, почему в конце 1560-х — начале 1570-х годов он оказался сторонником формального равенства между католической и кальвинистской церквями. Однако их взаимное недоверие, особенно со стороны крайних кальвинистов, известных под именем *Predikanten,* ограничило его успех. В 1573 г. католики, жившие в северных провинциях, потеряли право на богослужение, хотя попыток лишить их свободы совести не предпринималось. Здесь, как и в большинстве стран, прошли века, прежде чем все формы религиозной дискриминации были отменены, преступления против религии изъяты из сводов законов, и церковь отделена от государства, не говоря уже о лишении церкви главенствующего положения в таких областях, как социальное обеспечение и образование.

При том что правители католических и протестантских стран воевали во имя своих вероисповеданий, требования политики и торговли вынуждали их иметь дело друг с другом на равных. Практика обмена постоянными представителями появилась после заключения мира в Лоди (1454) в Италии, где правители имели дело друг с другом постоянно, и им не мешали никакие культурные различия. Оттуда эта практика распространилась на такие страны, как Испания, Франция и Англия, чьи короли часто полагались на опыт чиновников итальянского происхождения[168]. Когда Реформация разделила Европу на воюющие лагеря, развитие в направлении современной дипломатической службы было прервано; однако примерно с 1600 г. политические реалии снова взяли свое, и эволюция в этом направлении продолжилась. Когда послы прибывали к зарубежному двору, первый вопрос, который должен был быть решен — это право их (и их сотрудников) молиться по-своему. В большинстве случаев эта просьба удовлетворялась, сначала в порядке частного, а затем все в большей степени и публичного богослужения[169].

К тому времени и католические и тем более протестантские правители начали воспринимать свои церкви просто как одно из государственных ведомств. В католических странах многие привилегии и льготы духовенства сохранялись вплоть до Французской революции, но в протестантских странах, особенно в Пруссии, Швеции и Англии (где Генрих VIII называл духовенство

«нашими подданными только наполовину»[170]), различия между ним и мирянами очень скоро исчезли. Хотя большинство образованных людей, вероятно, продолжало верить в божественное право королей и в их право и долг заботиться о духовном благополучии подданных[171], здесь изменения тоже витали в воздухе. Возможно, самую радикальную позицию мы находим в Англии, где Томас Гоббс опубликовал «Левиафана» в 1651 г. Находясь под влиянием Галилея, Гоббс стремился основать свою политическую систему на современной ему физике, исключая любые влияния, кроме тех, которые можно увидеть, почувствовать и измерить. Он первый объявил, что вера в Бога (если Он существует) не имеет отношения к политике. Что касается внешних форм, Гоббс следовал Макиавелли, который рекомендовал добиваться того, чтобы подданные практиковали религию, предписанную сувереном, как наилучшим образом приспособленную для поддержания общественного порядка. Во время гражданской войны в Англии Гоббса преследовали как скрытого еретика, и он вынужден был бежать за границу. Однако, и это свидетельствует о смене общепринятых взглядов, хотя Протекторат и был связан с пуританством, при Кромвеле ему позволили вернуться. С этого момента и до самой смерти (он умер намного позже Реставрации, т.е. еще одного глобального изменения в религиозной политике) ему было позволено мирно жить на королевскую пенсию, хотя и запрещено публиковаться (его богохульные взгляды отчасти списывались на чуму 1666 г.).

Папство тоже меняло свой характер. Становление великих монархий не прошло незамеченным к югу от Альп. Оно привело пап к пониманию того, что их будущее связано с территориальными владениями, на которых они могут быть абсолютными правителями, независимыми от кого-либо другого. Построение такого «княжества» началось при «ужасном» (по словам Якоба Буркхардта) Сиксте *IV* (1471 —1484). Уступив Людовику XI то, что он не мог сохранить, т.е. право облагать налогом церковные доходы и контролировать бенефиции, он купил поддержку или, как минимум, нейтралитет Франции в его конфликтах с другими итальянскими правителями. Полученной передышкой Сикст IV воспользовался, чтобы захватить крепости семьи Колонна и убить их лидера, тем самым разрушив их власть и установив папское правление над городом Римом раз и навсегда. Однако попытки Сикста IV продолжить цепь интриг и убийств, чтобы заполучить контроль над Флоренцией, были прерваны его смертью. Его непосредственный преемник, Иннокентий VIII, был весьма неумел и не смог продвинуться дальше. Преемник Иннокентия, Александр VI (испанец Родриго

Борджиа) оказался вовлечен в серию франко-испанских войн, разразившихся после завоевания французами Италии в 1494 г. и длившихся вплоть до 1559 г. Ловко меняя союзников в критические моменты, он обеспечил себе дальнейшую возможность расширения своей власти. Однако его целью было не столько усилить Папское государство *per se,* сколько обеспечить своих родственников, главным образом своего сына Чезаре, владениями, которые он раздавал направо и налево.

Затем пришел черед племянника Сикста, папы-воина Юлия II (1503—1513). Заключив союз с Испанией, величайшей державой того времени, он надел доспехи и, лично взяв на себя командование, провел кампанию в центральной Италии. Чезаре Борджиа был схвачен, продан в Неаполь и отправлен в Испанию, где погиб в стычке. Земли, потерянные Римом при Александре VI, были возвращены, а также аннексированы еще некоторые части Романьи. Когда вслед за Юлием последовали сначала Лев X (1513-1523), а затем Климент VII (1523-1535), оба — члены семьи Медичи, это выглядело так, как будто Флоренции и всей Тоскане было суждено принять папское правление. Этого не случилось, и разграбление Рима войсками Карла V (1527) показало, что опасности, угрожавшие Папскому государству, не исчезли. Тем не менее с этого времени вплоть до наполеоновских войн Риму удавалось удерживать за собой статус независимого политического образования, в котором безоговорочно правил папа. Его границы продержались еще дольше, оставаясь неизменными три с половиной века, и исчезли только в 1859 г. после объединения Италии.

Тем не менее в определенном смысле построение такого государства оказалось обоюдоострым оружием. Папы того времени, вынужденные набирать и содержать отряды наемников, были известны своей продажностью больше, чем когда бы то ни было до, и, по-видимому, после. Соответственно, они продавали индульгенции (обещая спасти грешников от чистилища) и увеличили в 4 раза число должностей, предназначенных на продажу; они перекачивали деньги из местных церковных организаций в Рим, в особенности из Германии, где не было ни одного монарха, который мог бы их защитить[172]. Все это вызвало гнев верующих — Лютер во время своего визита в Рим в 1510 г. непосредственно наблюдал папскую коррупцию — и со временем помогло Лютеру и его соратникам-реформаторам приобрести сторонников. Тем временем рассуждения Гвиччардини и Макиавелли показывают, что люди той эпохи стали привыкать воспринимать церковь в терминах исключительно политической власти. Первый обвинил Папское

государство в том, что оно перестало иметь какое-либо отношение к христианству, преследуя собственные мирские цели. Второй видел его как государство среди государств, ничем не примечательное, кроме исключительного лицемерия.

В обстоятельствах того времени использование интриг, огня и меча для создания жизнеспособного Папского государства было неизбежным. Вселенская церковь была сохранена, поскольку ее глава был избавлен от господства мирских владык. Однако последующие Папы испытывали затруднения в том, чтобы сочетать свою роль наместника Христа с ролью мирского правителя[173]; по прошествии времени их влияние на международные дела стало соответствовать размеру территории, которой они правили, и вооруженным силам, которыми они располагали. Это означало, что с середины XVII в. Папское государство имело очень небольшое значение за пределами Италии. Как однажды спросил Сталин: «А сколько дивизий у папы?» Что касается местных церковных организаций, независимо от того, были они реформированы или нет, так или иначе они стали подчиняться государственным властям. Лишившись независимой власти, они вынуждены были выживать под властью государства, с которым они часто вступали в тесный союз. Даже если духовенство и их институты все еще противопоставляли себя государству, как это порой случалось, они неизбежно делали это в пределах своего государства или путем бегства в другое государство, где они искали убежища. Времена, когда они обладали собственными политическими образованиями, ушли в прошлое.

Борьба против Империи

В то время, как короли побеждали в борьбе против церкви, Священная Римская империя тоже отступала перед их натиском. Ее позиция была ослаблена в борьбе за инвеституру; с конца XI в. до начала XIV в. едва ли был хотя бы один император, который не был бы отлучен от церкви в какой-то момент своего правления. Тем временем баланс военной власти менялся. В битве при Бувине (1214) Филипп II Август Французский отразил предпринятую императором Оттоном IV последнюю серьезную попытку вернуть время назад, в эпоху Карла Великого. Затем, после смерти императора Конрада IV в 1254 г., последовало длительное междуцарствие, в течение которого трон был свободен. К тому времени, когда Рудольф I Габсбург взошел на

престол в 1273 г., это привело к крушению какой бы то ни было реальной власти империи за пределами большой Германии. Именно в этот период короли Арагона, Венгрии и Богемии, воспользовавшись тем, что претенденты на трон сражались друг с другом, приняли императорскую державу и так называемую закрытую корону в качестве символов своей власти.

Даже та «помощь», которую Священная Римская империя иногда получала от папства в борьбе с монархами, могла обернуться ответным огнем. Так, Бонифаций VIII в рамках своей кампании длиною в жизнь, которую он вел против Филиппа IV, попытался заинтересовать Альберта I Габсбурга во французском троне. Хотя его предложение было вежливо отклонено, папа продолжал настаивать на том, что французский король подчиняется императору[174]. Один юрист среди советников Филиппа ответил на это, введя в употребление высказывание *rex in regno suo im-perator est* (король является императором в своем королевстве). Со временем это высказывание получило широкое хождение не только во Франции, но и в других странах[175].

Вместе с тем, эта фраза сама по себе отражала высший статус империи во всех делах, которые, выходя за пределы отдельных королевств, влияли на весь христианский мир. Какой бы туманной ни была ее реальная власть, империя как наследник Рима в сознании людей оставалась вполне живой; так было не только в Центральной Европе, но и в Италии, где люди отчаянно искали способ противопоставить что-то власти церкви. Всего лишь десять лет спустя после того, как Бонифаций выпустил *Unam Sanctam,* Данте Алигьери (1265—1321) опубликовал *De monarchia*[176]. Задуманная автором как его прозаический *magnum opus*[177], эта работа была направлена против коренных причин бесконечных войн, сотрясавших полуостров. Данте начинает с объяснения, что мирское правительство установлено Богом для того, чтобы контролировать людей, которые являются видом животных, обладающих волей. Далее он утверждает, что поскольку королевства не могут не вступать друг с другом в конфликты, необходима верховная светская власть, которая могла бы их рассудить; что вселенская монархия в действительности принадлежит римлянам и никому другому; и что верховный монарх должен быть равным папе, но никоим образом не подчинен ему.

Менее заинтересованными в римских делах, но еще более решительными в защите империи были два близких современника Данте, Марсилий Падуанский (1280—1343) и Уильям Оккам (1285— 1349). Первый был францисканским монахом, проведшим большую часть жизни в Париже. В те годы

папство яростно осуждало францисканцев за то, что они настаивали на бедности Христа и требовали, чтобы церковь следовала Ему в этом. Возможно, для того, чтобы защитить свой орден, Марсилий пошел на службу к Людовику Баварскому, когда тот пытался завоевать себе императорский трон. Шедевром Марсилия был трактат *Defensor Pacts,* в котором он доказывал, что император, а не папа, в первую очередь отвечает перед Богом за поддержание мира между людьми. Положение папы проистекает лишь из того, что он является епископом имперской столицы. Его миссия носит исключительно духовный характер, а это означает, что церковь не должна ни иметь собственности, ни пользоваться особыми привилегиями и льготами.

Трактат, написанный на латыни, но позже переведенный на французский, был прочитан папой Климентом V, который нашел в нем не менее 224 ересей и объявил его автора «зверем из преисподней». Это не помешало Оккаму, такому же францисканцу, как и Марсилий, и советнику Людовика, написать в своем трактате *Dialogus,* что император «превыше всех людей и господствует безраздельно». «Как бы много свобод ни пожаловал император французскому и другим королям, все же королевство Франция и другие не могут быть полностью отделены от империи, поскольку тогда империя была бы уничтожена»[178]. Далее в этом же труде Оккам, используя тот тип казуистики, с помощью которой он завоевал себе прозвище «непобедимый учитель», заявил, что все короли являются подданными императора, хотя последний в своей мудрости не постановил этого явно в виде указа.

На протяжении этого периода император номинально сохранял положение главы феодальной иерархии. Поскольку он получил свою власть непосредственно от Бога, его права были непреложны, а его указы теоретически были действительны во всем христианском мире. Как «римлянин» он стоял над всеми народами и имел право быть их судьей; повсеместно его имя продолжали упоминать в мессах. Когда бы император ни встречался с другим правителем, именно он имел первенство, что часто приводило к дипломатическим инцидентам. Например, король Карл VI Французский, которого посетил император, должен был каким-то образом защитить себя от опасности, потому что гость мог сесть на королевский трон, не спросив сначала разрешения[179]. Напротив, император во время визита к королю с большой вероятностью мог быть встречен заявлением, что он *не* имеет никакого превосходства. В качестве доказательства перед лицом императора могли взмахнуть мечом, как произошло с императором Сигиз-мундом (1433—1437), когда

тот прибыл в Англию; или же ему могли дать черную лошадь вместо белой, являвшейся символом сюзеренитета. С окончанием Средних веков эти ссоры не прекратились. Еще в 1677 г. в Неймегене французский и английский послы продемонстрировали традиционные комплексы неполноценности своих господ, настаивая на том, чтобы представители императора не имели первенства перед ними[180].

Положение императора все-таки имело некоторое практическое значение. В конце концов, он был единственным, кто мог делать королей; как однажды пошутил император Максимилиан (1493 — 1519), он действительно был «королем королей», поскольку все, кто теоретически находился под его властью, хотели бы стать королями (и бывали горько разочарованы, когда их запрос был отклонен, как это случилось с герцогом Карлом Смелым Бургундским в 1472 г.). Более того, в разное время в разных местах часто возникала необходимость в действиях, которые мог осуществлять только император. Так, Людовик Баварский присвоил себе право давать разрешение на брак за пределами дозволенной степени кровного родства, вместе со всем, что из этого следовало при разделе наследства и т.д.[181]; в Шотландии вплоть до правления Якова III (1460—1488) только император имел право назначать публичных нотариусов. Наконец, вплоть до 1356 г., когда короли Богемии, Польши и Венгрии ввели это правило в отношении себя, «оскорбление величества» *(luse majestu)* могло быть совершено только против императора. Таким образом, строго говоря, из всех смертных только император символизировал собой иной, высший закон по сравнению с тем, по которому разрешались тяжбы между людьми.

Все время, начиная с восхождения на престол Оттона I в 962 г., центром власти Священной Римской империи была Германия, где разные императоры имели собственные наследственные земли, главным образом в Австрии, Богемии, Тироле и Эльзасе. В отличие от других государей, чей статус примерно с 1300 г. стал наследственным, императоры продолжали быть избираемыми. Эта процедура была упорядочена Золотой буллой 1356 г., которая, среди прочего, лишила папу права участвовать в процессе, оставляя за ним лишь проведение церемонии коронации. Вместе с тем, сама булла представляла собой значительный шаг к ослаблению империи. Она давала, или скорее подтверждала, права семи князей, назначенных выборщиками (курфюрстами), такие как право на добычу полезных ископаемых (любые ресурсы, открытые на их территории, с тех пор принадлежали исключительно им), обложение таможенными пошлинами, налогообложение евреев и

в некоторых случаях — чеканка монеты. Важнее всего было то, что она отняла у их подданных право апелляции в императорский суд против решений их суда.

Но все же возможности князей усилиться за счет императора имели свои пределы. Император не только оставался единственным человеком, который обладал полномочием созывать императорские войска, но и контролировал находящиеся в его руках объекты общего пользования, такие как крепости дороги и реки. Булла, созданная курфюрстами и для курфюрстов, не изменила положения ни примерно 300 светских и духовных властителей разных рангов, ни 2000 рыцарей, получивших свои земли непосредственно от императора, ни 85 «вольных» имперских городов, разбросанных от Балтийского моря до Швейцарии, чья роль средоточий богатства и промышленных центров со временем только возрастала. Все они продолжали находиться под императорской юрисдикцией, осуществляемой сначала через «Домашний суд» (*Hofgerichf)*, а затем через Дворцовый суд *(Kammergerichf)* и Имперский верховный суд *(Reichsgericht)*, который заменил его в XV в. Однако император Максимилиан не добился большого успеха, пытаясь ввести имперскую налоговую систему и создать общую имперскую армию. Но, вместе с тем, постоянные попытки князей утвердить новую конституцию, которая позволила бы им получить больше независимости, были столь же неудачны. В то же время сам факт, что предпринимались попытки реформ, дал новую жизнь идее единой судьбы и единой власти, стоящей над властью отдельных государей.

В Италии так же признавалось владычество империи, хотя она и была вынуждена утверждать свое положение бесчисленными войнами. Из-за того, что папство боролось до последнего, чтобы не допустить объединение Италии, полуостров не получил сильной монархии, способной подчинить себе воюющие друг с другом города-государства или, по меньшей мере, упорядочить положение их правителей. Это не имело большого значения, пока последние избирались своими городскими сообществами, но зарождающийся капитализм и растущий разрыв между богатыми и бедными означали, что эпоха более или менее демократического правления подходила к концу. Начиная с приблизительно 1300 г., большинство городов были охвачены волной гражданских беспорядков, по мере того как средние классы, иногда поддерживаемые гильдиями, а иногда встречавшие их сопротивление, восставали против патрицианского правления[183]. По мере того, как к этой, часто весьма запутанной, борьбе присоединялись простолюдины и

крестьяне, они открыли путь к победе *condotierri*[184], например, принадлежащих к семействам Гонзага, Висконти и Сфорца, или успешных банкиров, таких как Медичи. Кем бы они ни были, они захватили власть, на которую не имели легитимного права, а это означало, что они нуждались в согласии императора для подтверждения своего статуса.

Помимо требования явного признания императорского верховенства обычно такое согласие можно было получить только за наличные деньги. Например, флорентийцы в 1355 г. смиренно попросили себе статус имперского викариата и даже выплатили за это 100 000 флоринов. В 1359 г. Галеаццо Висконти тоже заплатил 100 000 флоринов, чтобы получить признание в качестве герцога Милана. Амадей VIII стал герцогом Савойским в 1416 г., Джан-Франческо Гонзага — маркизом Мантуи В 1432 г. В 1437 г. даже Венеция, которая никогда ни при каких обстоятельствах не была частью Империи, желая узаконить свою власть над недавно завоеванными территориями (*terra ferma),* попросила признания в качестве имперского викариата и пообещала выплачивать 1000 дукатов в год. В 1452 г. император Фридрих III посетил Италию и обнаружил, что разные города соперничают друг с другом из-за того, кто окажет ему самые большие почести. Он продавал титулы, как селедку, и самой большой рыбиной стало присвоение герцогского титула Луиджи III Ман-туанскому. Еще в 1494 г. Лодовико Моро заплатил императору Максимилиану 100 000 флоринов (такова, видимо, была сложившаяся цена) за признание в качестве герцога Миланского. Конечно, эти и подобные сделки следует понимать не как пустую погоню за титулами, но как часть жестокой игры в реальную политику *(Realpolitik),* в которую играли друг с другом итальянские правители, а также некоторые зарубежные монархи. Вместе с тем, все это было бы невозможным, если бы не существовало реальных преимуществ от императорского признания, что, в свою очередь, служит проявлением юридической и практической власти, которой все еще обладал император.

Как показывают стихи, народные сказки и пророчества, в последней четверти XV в. идея империи как универсальной организации была еще жива в народном сознании[185]. В Германии и Италии, казалось, сам дух времени возлагал свои надежды на императора; в бесчисленных малоизвестных трудах к нему обращались как к единственному правителю, который мог бы, если бы только захотел, спасти христианский мир от многочисленных зол, осаждающих его. Всегда первой в списке приоритетов стояла победа над турками, которые доставляли

неприятности по всему средиземноморскому бассейну и угрожали восточным границам христианского мира на Балканах и в Венгрии. Затем следовало стремление положить конец церковной коррупции и заставить князей установить мир друг с другом, чтобы прекратились убийства и грабеж, а дороги стали безопасными для перемещения. В довершение всего еще жива была средневековая идея крестового похода, имевшая целью отвоевание Священного Гроба Господня в Иерусалиме. Опять же, именно император был тем человеком, который мог бы возглавить этот поход.

Насколько широко были распространены эти ожидания, можно судить по тому факту, что они нашли сочувствие там, где это менее всего ожидалось — во Франции. Конечно, различные авторы здесь полагались на французского короля, а не на германского или римского. Однако содержание этих упований и качества, приписываемые предполагаемому императору, имели удивительное сходство с тем, что говорилось в империи в то же самое время; здесь, как и везде, вопрос состоял лишь в том, какой именно государь сможет, реализуя *sacrum imperium*[186] в отношении *popu-lus praeelectus Christi*[187], будет вершить правосудие, объединит христианский мир и возглавит крестовый поход[188]. Возвращаясь к Германии и Италии, работы таких фигур, как кардинал Николай Кузанский и гуманист Эней Пиколомини (оба были советниками Фридриха III, а последний в 1503 г. был избран папой), доказали, что такие народные чаяния разделяла, по крайней мере, часть элиты, к тому же выводу приводит знаменитая поэма Ариосто «Неистовый Роланд» (*Orlando Furioso)*. Эти и другие работы того времени[189] помогают объяснить, почему, несмотря на слабость империи, большинство было не склонно предпринимать активных шагов, могущих привести к ее распаду. Удивительно, но это относится даже к независимо настроенным швейцарцам. Составляя часть империи, но отказываясь входить в состав наследственных земель, они воевали с Габсбургами, по крайней мере, с 1291 г. В начале XV в. был создан федеральный совет, объединивший различные округа (кантоны) в рыхлую конфедерацию и начавший их движение к созданию в конечном итоге государственности.

Тем не менее только после подписания Базельского мира (1499) они формально объявили себя свободными от подчинения имперскому закону.

Восхождение на трон императора Карла V в 1519 г. стало исторической вехой. С одной стороны, при коронации он был вынужден дать клятву, по которой князья впервые получали право голоса в имперских делах. Более того, на Вормсском сейме в 1521

г. был учрежден Имперский Совет *(Reichsregiment),* состоящий из 22 членов, которые должны были править в отсутствие императора и поддерживать мир. Вместе с этими внутренними реформами он обязал своего канцлера и учителя Мерку-рино Гаттинару подготовить два меморандума, оглашавших его права и обязанности в роли «вселенского» императора[190]. Карл был мастером пропаганды, и зрелище императора на совете не могло не произвести впечатление на современников; в любом случае советники французского короля, например, Жан Фо и Шарль де Грассэль, настойчиво старались доказать, что их господин не хуже императора и ни в коей мере не является императорским подданным. То же самое относится к Генриху VIII Английскому, который по случаю визита Карла в 1522 г. организовал *tableau vivant*[191], изображающую Карла Великого, протягивающего короны им обоим. В течение всего времени его правления «последний средневековый император», как его часто называют, предъявлял претензии на роль верховного арбитра среди христианских государей всех рангов. Он считал, что несет на себе такую же ответственность за поддержание веры и защиту ее от ереси, как и папа, и, конечно, считал себя вождем, которого сам Бог назначил возглавить борьбу христианского мира против неверных, которые, как случилось, достигли наибольшего могущества в те самые годы.

Дополнительную силу этим претензиям придавал тот факт, что, несмотря на потерю империей реальной политической силы за предыдущие два столетия, Карл находился в уникальном положении. По рождению он был просто герцогом Бургундии, т.е. территории, большая часть которой была потеряна его дедом в 1477 г. в пользу французской короны и которую не удалось вернуть ни ему, ни кому-либо из его преемников. Но серия счастливых и совершенно непредвиденных династических обстоятельств дала ему права на владение Испанией (вместе со всеми ее зависимыми территориями на севере и юге Италии), Германией, а также его родной Голландией. Из Испании, где только что было уничтожено последнее мусульманское княжество, он получил в свое распоряжение лучшие в мире войска, «докторов военной науки», как говорилось в пословице[192]. Из Испании, а также из Голландии и все в большей степени из Нового Света он получал финансовые ресурсы, с помощью которых можно было содержать эти войска[193].

Сам Карл, будучи добросовестным, хотя и несколько неповоротливым правителем, заботился прежде всего о сохранении своих Богом данных наследственных земель. Он

считал, что множество войн, которые он вел, были исключительно оборонительными; тем же, кто оказался запертым между его многочисленными территориями и понимал высокое достоинство императорского титула, эти войны подозрительно напоминали попытку заново восстановить вселенское правление *(monarchia mundi)*, во всей былой славе. Охватывая земной шар от Европы до Америки и Филиппин, власть Карла достигла зенита в 1525 г. когда после битвы при Павии он захватил в плен своего главного врага Франциска I и продиктовал ему свои условия. В 1527 г. его войска разграбили Рим и захватили в плен папу Климента VTI, показав тем самым всему миру, кто хозяин. Три года спустя он получил от того же папы императорскую корону в Болонье. Так вышло, что эта церемония была исполнена в последний раз.

Действительно решающий водораздел, по-видимому, был достигнут, когда Карл, уставший и понимавший собственную неспособность контролировать такое огромное государство, отрекся от престола в 1555—1556 гг. Он обдумал идею оставить все своему единственному законному сыну Филиппу, но, в конце концов, его сын получил Испанию (вместе с ее заморскими колониями), Сицилию, юг и север Италии и Нидерланды (включая территорию современных Бельгии и Люксембурга). Сама по себе империя вместе с императорским титулом отошла брату Карла, Фердинанду, который, нося титул короля римлян, выступал в качестве его наместника на протяжении трех прошедших десятилетий, а также правил собственными наследными землями Габсбургов. Две ветви Габсбургского дома имели много общего, объединенные своей ненавистью к Франции, протестантам и, конечно, туркам.

Постоянно вступая в браки друг с другом, они сохраняли близкие отношения на протяжении полутора веков, до тех пор пока война за испанское наследство (1702—1713), наконец, не возвела французского принца Бурбона на трон Мадрида. Тем не менее, как только империя лишилась испанских финансовых и военных ресурсов, какие бы мечты ни лелеяла Вена о восстановлении вселенской монархии, они были мертворожденными.

Хотя процедура, по которой императора избирали семь главных князей Германии, осталась неизменной, восхождение Фердинанда на трон обозначило еще один поворотный пункт. Верно, что имя Габсбургов ассоциировалось с императорским троном на протяжении веков, и действительно, никто кроме Габсбургов не нанимал его, начиная с 1438 г. И все же в 1519 г. два государя, не являвшиеся ни Габсбургами, ни немцами, —

Генрих VIII и Франциск I, — смогли выдвинуть серьезную претензию на трон. Франциска I даже пришлось останавливать при помощи взяток примерно на миллион талеров, которые банковский дом Фугге-ров из Аугсбурга заплатил курфюрстам от лица Карла. Теперь же сама легкость, с которой Карл смог передать бразды правления выбранному члену его семьи, положила конец этой ситуации, при которой теоретически любой христианин, независимо от национальности, мог стать императором. Фердинанд со своей стороны был одаренным правителем, который видел зловещие предзнаменования. Будучи не в состоянии заставить империю платить за его войны против турок, он обратился к своим наследным землям, заложив основы администрации, которая включала в себя первый единый тайный совет, первый единый апелляционный суд и подобным образом объединенные канцелярию и палату счетов. Его ныборы, как и выборы его преемника, можно воспринимать как начало процесса, в ходе которого империя, вопреки своему названию, постепенно повернулась от Германии к Дунаю и выкристаллизовалась в династическое государство, которое было вполне подобно другим и которое со временем получило известность под названием Австрия[194].

Ко времени, когда произошли эти события, Реформация шла полным ходом. Каких бы мест она ни достигала, протестантские правители, стремясь утвердить свою независимость, торопились отказать императору в каких бы то ни было особых правах, которыми он все еще обладал в отношении религии. В 1533 г. один из государей, Генрих VIII, в рамках усилий по установлению контроля над собственной церковью, нарушил все прецеденты, официально объявив «данное королевство Англия империей, признанной в мире». Легенды Артуровского цикла не предоставляли достаточных оснований для этой претензии, оставалось привлечь в качестве советников итальянских гуманистов. Их лидером был Полидор Вергилий, бывший папский чиновник, ответственный за сбор «лепты Св. Петра», который возвысился до архидьякона Уэльса. Гуманисты использовали свое искусство, чтобы создать целую серию сложных исторических подделок, показывающих Генриха «императором», чей титул происходил от титула другого, более древнего бритта — римского императора Константина[195]. Части этой работы, известной как «Английская история», впоследствии суждено было стать обязательным предметом чтения в школах. Вместе с императорским достоинством Генрих также присвоил себе титул «Величество». Его примеру вскоре последовал Франциск I, а поколение спустя —Филипп II, к испанским предкам которого

обращались просто «Высочество». Все трое так же приняли «закрытую» императорскую корону.

Вдобавок ко всему, европейская заморская экспансия начинала менять воззрения людей. Как с гордостью писал Карлу V Кортес в 1520 г., испанские завоевания были так велики и так многочисленны были новые подданные, что Испания заслужила звание новой империи, в добавление к старой. Возможность принятия на себя титула «император Индий» была исследована советниками Карла и была отвергнута[196]. Таким образом, именно владения Габсбургов в Центральной Европе вплоть до первой четверти XVIII в. продолжали называться просто «империя», а ее должностные лица — «империалистами». Тем не менее представление о верховной религиозно-политической конструкции, объединяющей христианский мир, но исключающей неверных, начало разрушаться, особенно потому, что нехристианский правитель — Сулейман Великолепный, султан Оттоманской империи, —был вовлечен в европейскую политику через союз, заключенный с Франциском I. На руинах империи примерно с 1550 г. стали подниматься как минимум два других политических образования — испанское и британское — которые, не будучи ни вселенскими, нив каком бы то ни было смысле римскими, благодаря обширности своих территорий требовали себе и, по мнению некоторых, заслуживали того же титула[197].

В 1598 г. герцог де Сюлли, якобы действуя от имени своего господина, Генриха IV, впервые предложил план, который, если бы он был принят, привел бы к кончине Священной Римской империи. Существовавший международный режим, при котором большинство правителей из-за древних феодальных уз так или иначе зависели друг от друга, по крайней мере, в отношении некоторых частей их стран, должен был быть отменен. Различные страны должны были быть консолидированы в рамках географических границ, при этом Европа оказывалась поделенной на 15 равных государств, каждое из которых обладало бы всеми атрибутами суверенитета. В свою очередь, они должны были объединиться в своего рода прототип Лиги наций. В отличие от своего наследника в XX в., это объединение не должно было находиться на одном фиксированном месте. Оно должно было собираться на годичный срок каждый раз в одном из городов, выбранном из списка, состоящего из 15 названий, и сочетать в себе функции, которые раньше выполняли империя и церковь: сражаться с турками, устанавливать международное право, разрешать споры, поддерживать мир и наказывать нарушителей. Сюлли определил, что вооруженные силы Лиги должны состоять ровно из 117 военных кораблей, 220 000 пехотинцев, 53 800

кавалеристов и 217 пушек — внушительная сила по стандартам XVII в. и более чем достаточная, чтобы держать в страхе любого из государств-членов. Из этой схемы, целью которой в определенном смысле было просто положить конец правлению Габсбургов в Германии и сделать Генриха IV арбитром Европы, ничего не вышло. Более того, есть сомнения, предлагалась ли она всерьез[198].

Ровно два десятилетия спустя Габсбурги, выведенные из терпения и спровоцированные вызовом, который бросали протестанты их трону, затеяли Тридцатилетнюю войну в последней попытке восстановить имперскую власть, если не во всей Европе, так хотя бы в Германии. Они начали с Богемии, где произошло восстание протестантской аристократии, и где их победа, после битвы при Белой Горе в ноябре 1620 г., оказалась быстрой и полной. Восемь лет спустя Фердинанд II (1610—1637), подойдя со своими войсками к Балтийскому морю, посчитал, что достиг достаточного прогресса, чтобы опубликовать Эдикт о реституции. В нем было указано, чтобы собственность, отнятая у церкви после Аугсбургского мира, должна быть возвращена прежним владельцам. Если по отношению к лютеранам еще допускалась терпимость, то кальвинисты подлежали изгнанию; одним росчерком пера император пытался таким образом восстановить свое право управлять религией не только в своих наследных землях, но и во всей империи. Однако, несмотря на то, что примерно треть населения Германии погибла, в итоге задача оказалась непосильна для Габсбургов. Сами их победы, особенно в Центральной Германии, кульминацией которых стало разграбление Магдебурга в 1631 г., напугали как католических, так и протестантских государей. Первые лишили императора поддержки вплоть до того, что вынудили его временно уменьшить свою армию, снять с должности главнокомандующего и искать мира. Вторые же были вынуждены искать помощи за пределами империи. Вначале вмешался Густав Адольф Шведский, затем — Людовик XIII Французский. Остальное сделали голландские деньги, и волна императорского завоевания была остановлена.

Вестфальский мир, завершивший войну в 1648 г., обозначил триумф монархов сразу и над империей и над церковью[199]. Имперская территория была поделена на части. Королевство Швеция забрало себе большую часть Балтийского побережья (правда, это приобретение оказалось недолговечным и позднее было потеряно в пользу Пруссии), король Франции получил значительную часть Эльзаса, которой суждено было остаться в его руках. Швейцарцы, которые в 1499 г. дистанцировали себя от имперского закона, наконец, отделились окончательно и

получили полную независимость, которую они сохраняют до сих пор. Что еще более важно с нашей точки зрения, сознательно или нет, но первая часть программы Сюлли была выполнена. Как только была проведена четкая линия между территориями, принадлежащими и не принадлежащими империи, император потерял всякие претензии на власть над другими правителями, которые он до тех пор имел. Западная и Центральная Европа была поделена между независимыми светскими монархами, хотя их число, расширенное за счет германских князей, которым было предоставлено «территориальное господство» *(Landeshoheit),* оказалось значительно больше 15. Те, кто находился в пределах империи, получили практически все привилегии суверенитета, включая право содержать собственные вооруженные силы, а также право, которое, по крайней мере теоретически, за ними до этого отрицалось: заключать союзы между собой и с зарубежными властями, «до тех пор пока они не направлены против императора». Все это сложное урегулирование гарантировалось двумя государями, не входящими в Империю —королями Франции и Швеции. Таким образом, было достигнуто положение, когда Империя, вместо поддержания мира среди других, сама стала нуждаться в защите.

Вестфальские соглашения были первыми, в которых, вопреки сложившимся обычаям, даже не упоминался Бог. Эдикт о реституции был отменен. *Terminus post quant*[200] для восстановления конфискованной церковной собственности был сдвинут с 1555 до 1624 г., а это означало, что любой переход собственности, произошедший между двумя этими датами, не мог быть отменен, и целые епископства оставались в руках светских правителей. Права, предоставленные лютеранским правителям по Аугсбургскому миру, были распространены на кальвинистских правителей, в результате чего вместо двух официальных религий теперь стало три. К какой бы церкви ни принадлежали правители, они имели власть регулировать общественное отправление религиозных культов на своих территориях; что касается личных верований подданных, то в соглашениях не было никаких обязательных положений по этому поводу, хотя настоятельно рекомендовалось проводить политику толерантности, которая, действительно, начала возникать во многих государствах в последующие десятилетия. Возможно, для того, чтобы подчеркнуть триумф политики над религией, правительство одного из княжеств — епископства Оснабрюк на севере Германии — поочередно было то католическим, то протестантским. Неудивительно, что Папа Иннокентий X, с которым не посоветовались, гневно обрушился на Вестфальские соглашения,

осудив их как «юридически ничтожные, незаконные, несправедливые, бесчестные, безнравственные, омерзительные, глупые, бессмысленные и бесполезные во веки веков»[201].

Однако с тех пор, как Карл V поднял знамя Контрреформации и объявил войну протестантам времена изменились. Хотя Вестфальские соглашения не могли предотвратить новых войн, в мире, который устал от религиозно мотивированных конфликтов и в котором империя была явно больше не в состоянии удержать свое даже в пределах Германии, выраженное в них мировоззрение было очень хорошо принято. Наступающий век Просвещения показал, что осознание культурного единства Европы было сильнее, чем когда-либо раньше. Вместе с тем, вселенская *Res Publica Christiana* прежних времен с ее двумя параллельными иерархическими правительствами была, наконец, мертва. Из хаоса войны возник и был готов занять ее место новый порядок, основанный на жестком балансе сил между великими государствами.

Борьба против аристократии

В то время как монархи приближались к победе в борьбе против универсализма церкви и империи, они также достигли серьезного продвижения в противостоянии феодальному партикуляризму. В действительности эти два процесса были взаимосвязаны. Хотя церковь являлась универсальной организацией, основа ее власти была локальной в форме епископств, церквей и аббатств, со всей принадлежащей им собственностью (включая источник всех богатств — людей, находящихся в зависимости), привилегиями и льготами. Напротив, хотя корни феодальной знати обычно носили локальный характер (у каждого лорда были свои имения и собственные замки), их положение преимущественно имело своим источником сеть отношений вассальной верности и семейных уз, которая простиралась за пределы отдельных королевств. Средневековые монархи составляли часть этой сети, что еще больше ухудшало положение. Вряд ли нашелся хотя бы один король, чьи владения полностью находились внутри границ его королевства (что бы это ни значило), король, чье королевство не было бы усеяно независимыми и полунезависимыми княжествами разного рода. Теоретически предполагалось, что короли были могущественнее, чем любой из их подданных, обладали большим доходом, большим количеством земель и большим количеством вассалов, которые могли бы служить ему в военное и мирное время. На практике они часто сами оказывались вассалами других людей в отношении какой-либо части своих земель. Еще в 1576 году Жан Б о ден в своих «Шести книгах о государстве» (Six *livres de la republique)* мог утверждать, что есть только один король — король Франции, который был сувереном на всех своих территориях и не был связан вассальной присягой другим лицам ни за одну из них; и, строго говоря, он был прав.

Быстрота, с которой укреплялось положение короля в этой неблагоприятной ситуации, не была одинакова в разных странах. Иногда в этом процессе происходили откаты, которые продолжались десятилетия и больше, и это означало, что страна, продвинувшаяся вперед, возвращалась обратно в состояние раздробленности, а зачастую — анархии и войны. Хороший пример того, как раннее движение к централизации могло развернуться обратно, дает Англия. Благодаря событиям 1066 г., после которых английские земли были фактически конфискованы

в пользу короны и раздавались по ее желанию, Вильгельм Завоеватель смог править Англией, держа ее в ежовых рукавицах. Он построил королевские замки, провел перепись населения (знаменитая «Книга Страшного суда») и стал посылать разъездных судей, которые обеспечивали выполнение его воли. Его сын Вильгельм Руфус, правивший с 1087 по 1100 г., сохранил достижения Завоевателя; но после смерти его второго сына, Генриха1, положение короля стало ухудшаться. В начале разразилась война за наследство между дочерью Генриха Матильдой и ее двоюродным братом Стефаном (1135— 1142). Конфликт разрешился с восхождением на престол сына Матильды Генриха II, но только после того, как он дал своим баронам хартию и заново подтвердил их права в 1154 г. Хотя Генриха II никак нельзя назвать слабым правителем, он, тем не менее, провел в Англии только 14 лет из 37. Его последние годы были омрачены восстанием его сыновей, сражаясь с которыми он и погиб.

Положение не улучшило то, что Ричард I Львиное Сердце (1189—1199) предпочел править *in absentia*[202]. Он начал свое царствование с того, что отправился в Крестовый поход на Святую Землю. Вернувшись в Европу, он попал в плен, из которого его пришлось выкупать. Не успел он вернуться домой, как вторично покинул Англию, чтобы воевать за свои владения во Франции, где он и встретил свою смерть. Брат Ричарда Иоанн (1199— 1216) попытался исправить вред, причиненный его предшественником с львиным сердцем, и вначале казалось, что он может в этом преуспеть. Однако после потери герцогства Нормандия *а* пользу французского короля в 1204 г. он мог полагаться только на доходы с английских земель. Пытаясь прижать своих баронов (и церковь, о чем мы уже писали), он поссорился с ними и был вынужден издать Великую хартию вольностей *(Magna Carta),* в которой он пошел на большие уступки знати, а также церкви и городам. Когда Иоанну наследовал Генрих III (1216—1272), положение монархии дошло до низшей точки. Некоторые его бароны приняли сторону французского дофина Людовика, когда тот пытался завладеть английской короной. Хотя эта попытка была пресечена, царствование Генриха закончилось так же, как и началось, — гражданской войной, и если Англия и была когда-либо близка к распаду, так это именно тогда — в 70-е годы XIII в.

Благодаря практике устраивать браки сыновей и дочерей с детьми иностранных государей все вышеназванные короли так же владели землями или хотя бы имели династические претензии в столь далеких друг от друга странах, как Франция, Священная Римская империя, Италия и Испания. В Средние века война,

которая велась отнюдь не от имени «народа», была для соперничающих аристократов всех рангов способом защитить или расширить свои владения[203]. Это требовало личного участия в битвах; и эта необходимость физического присутствия в бою объясняет, почему не только английские но и другие монархи имели обыкновение вести странствующий образ жизни, уводящий их далеко от центров их власти. Так, императоры Германии, когда не были в крестовых походах, проводили много времени в военных кампаниях в Италии. Некоторые французские монархи также отправлялись в крестовые походы, но даже если они этого не делали, они постоянно совершали объезд своих доменов, стремясь не допустить их раздела императором, королями Арагона, Кастилии, Наварры и Англии, графами Фландрскими, а после 1356 г. — также герцогами Бургундскими. Тогда еще не было даже намека на идеи о том, что территории любого правителя должны быть объединены на основе национальности подданных, что у территорий должны быть естественные границы и даже о том, что они должны быть сосредоточены в одном месте, а не разбросаны. В этих обстоятельствах движение к централизованной власти могло проходить только медленно, и, более того, прогресс в этом направлении мог быть только временным. Очень часто он вызывал обратную реакцию; с большой вероятностью рано или поздно подчинявшаяся королю местная знать восставала, объединяла силы с зарубежным захватчиком или делала и то и другое одновременно.

Однако в последние десятилетия XIII в. в воздухе запахло переменами. В Англии Эдуард I показал себя исключительно способным монархом. Положив конец восстаниям, которые мешали править его отцу, он заставил своих магнатов оставить военную службу в Уэльсе, Шотландии и Франции; Эдуард так же создал канцелярию, казначейство и королевскую судебную систему, в которых работали высококвалифицированные чиновники-профессионалы[204]. Его сын Эдуард II стал первым королем, который взошел на трон, не будучи избранным баронами. Хотя именно этому Эдуарду было суждено быть свергнутым, а впоследствии убитым собственной женой Изабеллой и ее любовником Мортимером[205], при *его* сыне, Эдуарде III, монархия заметно усилилась. К тому времени уже появилась и вошла в действие характерная английская формула: король должен править в парламенте. При ее помощи Эдуард смог получить значительные суммы денег, чтобы начать Столетнюю войну, намереваясь реализовать свои претензии на французский престол. Здесь нужно отметить, что повод для начала войны носил исключительно личный характер (хотя,

естественно, он обещал поделиться добычей со своими вассалами), нежели «общественный» или «национальный». Хотя Эдуард III вел войну и нерешительно, но все же во время его длительного правления (1327—1377) обошлось без баронских восстаний.

Усилия Плантагенетов, направленные на централизацию власти, лучше, чем героизм английских лучников, объясняют, как возглавляемая ими маленькая и слабая Англия могла соперничать с гораздо более крупной Францией[206]. Но все же когда Эдуард III умер, его сыну, Ричарду II, было всего десять лет. На протяжении многих лет он был бессилен перед различными дворянскими группировками, борющимися за возможность манипулировать короной в собственных интересах; низшая точка была достигнута, когда парламент, ведомый группировкой, известной как лорды-апел-лянты, отстранил от должности его канцлера (1386) и учредила комиссию из 11 человек для выполнения королевских полномочий от лица Ричарда[207]. Отвоевывая свою власть, Ричард совершил своего рода *coup d'etat*[208]. Объявив о своем совершеннолетии в 1389 г., он был полон решимости освободиться от правления баронов, сделав себя единственным, не связанным обычаем источником закона. Чтобы достичь своей цели, он подделал парламентские свитки *(Rolls of Parliament)*, отменил статуты, согласованные и принятые обеими палатами парламента, взял новую клятву со своих региональных представителей — шерифов — и отправил своих главных противников в изгнание, конфисковав все их земли.

Как показали последующие события, Ричард, как и его дед Эдуард III, пытался сделать слишком много и слишком быстро. В результате опять вспыхнуло восстание, и в 1399 г. он разделил судьбу Эдуарда II, будучи низложен и убит. При Генрихе IV и Генрихе V казалось, что монарх наконец сделал свою власть незыблемой, но это оказалось иллюзией. Генриху VI был всего год, когда в 1422 г. умер его отец. Официально его совершеннолетие так никогда и не наступило, но в 1437 г. он считался достаточно взрослым, чтобы править страной самостоятельно. Однако в основном его интересовали образование и религия. Вокруг него за власть грызлась знать, тем более, что один ее представитель, Ричард, герцог Йоркский, по праву первородства имел больше прав на трон, чем сам король. В период душевной болезни Генриха (1453—1454), вспыхнула вооруженная борьба между двумя ветвями английской королевской семьи — домом Йорков и домом Ланкастеров. Генрих, сам принадлежащий к Ланкастерам, был взят в плен йоркистами (1461). Когда герцог Йоркский умер, Генрих был

отрешен от трона в пользу сына герцога Йоркского, который взошел на трон под именем Эдуарда IV. Генрих повторно был освобожден, бежал в Шотландию в поисках убежища, вернулся в Англию в качестве символического лидера восстания против Эдуарда и в третий раз был взят в плен (1465). Пять лет он провел в заключении в Тауэре, был освобожден и восстановлен на троне могущественным аристократом графом Уорвиком («делателем королей»), потерпел поражение от войск Эдуарда IV и, наконец, в 1471 г. был казнен.

Но на этом так называемые Войны роз не прекратились. Хотя Эдуард IV один раз ненадолго уступил трон своему предшественнику в 1470 г., на следующий год ему удалось восстановить власть. Он смог мирно править и умереть в своей постели (1483). Не так сложилась судьба двух его сыновей, Эдуарда и Ричарда. Всего через несколько месяцев после его смерти они исчезли, очевидно, убитые их дядей Ричардом, герцогом Глостером, который вслед за этим взошел на престол как Ричард III. Не успел он пережить восстание знати, возглавляемое герцогом Букингемом, как в Уэльсе высадился новый претендент на трон — вернувшийся из французского изгнания Генрих Тюдор, сторонник и родственник Ланкастеров. Покинутый большинством своих сторонников, Ричард был разгромлен и убит в битве на Босвортском поле (август 1485 г.),и на трон взошел Генрих Тюдор под именем Генриха VII. Только тогда английская корона перестала быть объектом охоты для аристократических группировок.

При Генрихе VII и тем более при его потомках — Генрихе VTII и Елизавете I, королевская власть укрепилась настолько, что любые восстания уже не могли иметь никакого практического смысла. Главными инструментами королей стали Палата прошений *(Court of Requests),* Прерогативные суды *(Prerogative Courts')* и наводившая ужас Звездная палата, общей чертой которых было то, что они не применяли общее право. Если раньше их отцы и деды, вступив в конфликт с короной, собирали армии сторонников, то теперь аристократы в подобной ситуации подвергались обвинению в измене и казни. Используя конфискованные церковные земли для раздачи милостей, монархия смогла привязать к себе высшие круги знати[209]. Подлинным поворотным моментом стало восхождение на трон Карла I в 1625 г., когда впервые в английской истории новый король почувствовал себя настолько уверенно, что воздержался от того, чтобы одних аристократов, приближенных к его предшественникам, казнить, а других жестко приструнить. Когда в 1640-х годах снова разразилась гражданская война, состояние

аристократии к тому моменту уже полностью изменилось. Она больше не пыталась собрать своих сторонников для войны с королем. Большинство представителей знати, напротив, воевали на его стороне, впоследствии разделив с ним поражение, после которого их владения были конфискованы, а им самим пришлось отправиться в изгнание вместе с будущим королем Карлом II.

В отличие от своих английских коллег французские бароны никогда не доходили до свержения и казни своих королей; тем не менее установление реальной власти короля, так, чтобы он был не просто *primus inter pares*[210], а настоящим правителем, шло несколько по-другому и значительно медленнее. И население и территория Франции были значительно больше, чем в Англии, и, как результат, их сложнее было контролировать. Даже при идеальных условиях письмо, посланное из Парижа в какой-нибудь удаленный город, например, Тулузу или Бордо, могло идти от десяти до четырнадцати дней, и еще столько же времени уходило на то, чтобы получить ответ; к тому же обстоятельства редко складывались идеально. Не могло быть и речи о завоевании всей страны за один раз и о последующем перераспределении всех земель. Начав с королевского домена Иль-де-Франс, французское королевство собиралось по кусочкам на протяжении нескольких веков. На его территории всегда были независимые анклавы, а также провинции, чьи законы, традиции и даже язык сильно отличались друг от друга.

При таких обстоятельствах не могло быть и речи о создании единообразной администрации по английской модели. Такие короли, как Филипп 11(1179—1223), Людовик IX (1226-1270) и Филипп III (1270—1285) вынуждены были действовать очень осторожно. Они поддерживали баланс между привилегиями церкви, дворянства и городских сообществ, одновременно внимательно следя за соседями, которые были готовы воспользоваться любыми распрями, чтобы заполучить близлежащие города и провинции. Еще больше усложняло положение то, что французская система престолонаследия отличалась от английской. Вновь и вновь со-здавались обширные королевские апанажи, т.е. ненаследственные имения, для содержания младших братьев правящего монарха в размерах, считавшихся достойными их положения. Эти земли снова и снова становились источником проблем, и их приходилось возвращать обратно в королевство, иногда с применением силы. Тем не менее прогресс, измерявшийся увеличением числа королевских служащих, таких как сенешали, прево и бальи, был ощутим. Находясь на королевском жаловании (хотя на практике они стремились обзавестись земельными владениями и по

возможности стать дворянами), эти служащие осуществляли надзор за провинциальными делами, собирали налоги и в общем и целом были проводниками королевской воли.

Эти тенденции особо ярко проявились при Филиппе IV и его преемниках, Людовике X (1314—1316), Филиппе V (1316 — 1322), Карле IV (1322-1328) и Филиппе VI (1328-1350) в начале его правления. Эти короли начали урезать привилегии сеньоров, такие как право чеканки монеты; ввели римское право с заложенными в нем тенденциями к централизации[211]; назначали собственных советников для председательства в судах вновь присоединенных провинций и постепенно стали укреплять свое положение в качестве «источника правосудия», т.е. главы апелляционного суда, в который вассалы могли обратиться с исками против своих лордов и к которому в действительности последние и сами могли прибегнуть. Эти меры начали приносить свои плоды, когда в 1337 г. началась Столетняя война. Не будучи в состоянии предотвратить вторжение, королевские армии потерпели поражение при Креси (1346) и Пуатье (1356). Это дало сигнал многочисленным английским отрядам (некоторые из них подчинялись королю, а некоторые — нет) к началу ограбления беспомощного королевства. Они прошлись по обширным территориям не только на северо-западе, но и на юге и юго-западе. Самый знаменитый из их рейдов охватил ни много, ни мало 600 миль, большую часть Лангедока и закончился в Бордо с большой добычей. Тем временем французский король, не способный оказать помощь своим подданным, бессильно наблюдал, как его власть распадается.

Пошатнувшиеся основы французской монархии только начали восстанавливаться в последние десятилетия века, когда Англия в лице Генриха V обрела выдающегося воина. В 1415 г. он пересек Ла-Манш и нанес Франции поражение при Азенкуре. Вся Западная Франция оказалась в руках Генриха или в состоянии мира с ним; королевству угрожала реальная опасность быть поделенной между Англией и ее бургундскими союзниками. Сам Париж был потерян в 1419 г., а в 1422 г. договор в Труа сделал Генриха наследником французской короны. Последующее возрождение Франции произошло благодаря народу, представленному такими людьми, как Жанна д'Арк, которую называли Орлеанской Девой, а не правлению периодически страдающего приступами безумия Карла VI (1380—1422). Переломный момент наступил в 1435 г., когда Карл VII (1422—1461) заключил Аррасский договор и расколол англо-бургундский союз. В следующем году он смог вновь занять Париж, англичане, наконец, были изгнаны, их различные

французские союзники, такие как герцог Бретонский, были обузданы, и королевский контроль над всей страной был восстановлен.

После окончания Столетней войны задача восстановления авторитета французской короны пала на Людовика XI, с которым мы встречались последний раз в связи с тем, что он поставил прана монархии выше прав церкви. Первые годы его царствования едва ли можно было назвать благоприятными. Представители нысшей знати (включая его брата, Карла Французского) возобновили обычай восставать против короля во имя своих старинных свобод. Ведя интриги с королем Англии и с герцогом Бургундским, они создали так называемую Лигу общественного блага с целью поделить между собой правительство Франции, а также заново сформированную королевскую армию; положение короля достигло низшей точки в 1468 г., когда во время встречи с герцогом Бургундским он оказался фактически под домашним арестом. После окончания войны на унизительных условиях (обязательство выплаты восставшей знати огромного пенсиона), король смог начать восстановление своей власти. Он освободил высшую знать от обязанности приносить ему вассальную клятву как своему сеньору, тем самым избавившись от самой идеи взаимных феодальных обязательств; вместо этого он установил формулу, согласно которой все на равных являлись его подданными[212]. Количество сборщиков налогов увеличилось, и королевское налогообложение распространилось на новые территории, которые раньше были свободны от уплаты налогов. Провинциальные парламенты подпали под королевский надзор, и было положено начало формированию всеобъемлющего королевского кодекса законов с целью достигнуть большей централизации правосудия[213].

И все же самое главное достижение Людовика не было связано с его собственными действиями. В 1477 г. Карл Смелый, сражаясь со швейцарцами, пал в бою у стен Нанси. Он оставил единственную восемнадцатилетнюю дочь, Мари, которой вскоре стали угрожать восстания ее собственной знати во Фландрии, где она находилась в то время. «Девицу, попавшую в беду» спас молодой император Максимилиан, который в буквальном смысле слова прискакал на белом коне и женился на ней; но к тому времени, как он сделал это, большую часть ее наследных земель во Франш-Конте и Фландрии занял Людовик, и никакие действия Максимилиана и его преемников уже не могли этого изменить.

Хотя присоединение Бургундии не положило конец политике создания королевских апанажей, как бы то ни было, с тех пор отпала необходимость возвращать их в королевство с помощью

военной силы. Сын Людовика Карл VIII (1483—1498) и его преемник Людовик XII (1498—1515) посвятили себя не столько внутренним делам, сколько целой серии итальянских военных кампаний, с целью захватить для себя дополнительные королевства. То, что им это удалось, было в большой мере достижением их отца; когда коннетабль Бурбона, не зная, что период феодальной анархии завершился, поднял восстание в 1523 г. и вступил в сговор с Карлом V, он собрал очень мало сторонников, и с ним легко было справиться. Еще примечательнее, что даже захват в плен Франциска I в битве при Павии в 1525 г. и его последующее содержание в плену в Испании не вызвали никаких серьезных гражданских волнений.

Однако к концу царствования Франциска ситуация опять изменилась. Нуждаясь в деньгах для своих антигабсбургских кампаний, он стал проводить политику учреждения и продажи губернаторских постов в провинциях, по отдельности или по нескольку штук сразу, тем, кто предлагал наибольшую сумму. Как правило, покупателями оказывались представители высшей знати, такие как Гизы, Монморанси и Роганы. Как раз когда их былая феодальная власть перестала иметь какое-либо значение, они смогли добавить к своим частным ресурсам административные, такие как жалование и доходы от налоговых откупов; так же как веком раньше в Англии это вдохнуло в них новую жизнь и дало возможность возбуждать волнения[214].

В 1559 г., когда неожиданно умер Генрих II, раненый на рыцарском турнире, результаты этой политики стали очевидны. Он оставил после себя вдову со зловещей репутацией, Екатерину Медичи, и четырех сыновей, ни один из которых, как оказалось, не был способен ни править, ни оставить после себя наследника. К тому времени Франция, как и другие страны, была охвачена Реформацией. Католики и гугеноты, сражавшиеся друг с другом, искали себе лидеров среди знати в лице домов Гизов и Конде. Не успела закончиться война с Испанией договором в Като-Камбреси, как разразилась гражданская война. Она длилась около 40 лет и принесла разрухи не меньше, чем все остальные подобные события во французской истории.

Анархия достигла предела в 1589 г., когда был убит последний из сыновей Екатерины, Генрих III. Наследником теперь мог стать только дальний родственник, будущий Генрих IV, который сам был протестантом и потому неприемлемым для большинства кандидатом. Обе партии, сражаясь не на жизнь, а на смерть, призвали на помощь зарубежных правителей. Гугеноты постоянно получали из Голландии деньги, а из Англии — войска, посланные на защиту (а в действительности — для оккупации)

городов на побережье Атлантического океана. Католики, в свою очередь, использовали папских наемников, а также призывали вторгнуться во Францию князя Казимира из Палатината и Филиппа II Испанского, величайшего врага страны. Прошло еще девять лет и еще несколько крупных битв прежде, чем Генрих IV, который к тому времени сменил вероисповедание, смог установить свою власть над всей страной.

Утвердившись, царствование Генриха оказалось относительно спокойным. Оно не было полностью безопасным: знать составляла против него невероятное количество заговоров; большинство этих дворян было ревностными католиками, которые не могли забыть его протестантское происхождение или простить политику терпимости к гугенотам. Последний из этих заговоров закончился убийством короля; характер связи, вероятно, существовавшей между убийцей и аристократическими кругами, а также с Испанией, так никогда и не был прояснен[215]. То, что достижения Генриха носили в большей степени личный характер, нежели институциональный, доказала последующая бурная история правления его преемников, Людовика XIII (1610-1643) и Людовика XIV (1643-1715). И Ришелье и Мазарини видели в дворянах главных врагов короны, и делали все, что могли, чтобы призвать их к порядку. Они сносили их замки, находящиеся за пределами страны, пытались, хотя и безуспешно, запретить дуэли и периодически казнили главарей восстаний *pour encourager les* autres[216].

Хотя Ришелье иногда считается подлинным основателем французского государства, в действительности результаты его политики были посредственными. Два кардинала преуспели в том, чтобы их ненавидели, как мало кого из администраторов до или после; недовольство их политикой, подогретое отчасти настоятельной потребностью в налоговых поступлениях из-за вмешательства Франции в Тридцатилетнюю войну, а отчасти религиозной борьбой, было широко распространено. Бессчетное количество раз города и крестьянство восставали и находили себе лидеров среди высокой, а иногда и высшей знати. Многие дворяне все еще являлись губернаторами провинций, но тогда они нашли лишний повод для недовольства в виде королевской политики назначения дополнительного уровня чиновников — *интендантов*, которые назначались через их голову. Так или иначе за 40 лет по стране прокатилось не меньше 11 волн восстаний. Хотя не все они имели равное значение, но все их без исключения подстрекали, возглавляли или хотя бы участвовали в них влиятельные аристократы. Последняя волна получила известность под названием Фронда, и ее лидером был принц

Людовик Конде, чья фамилия Бурбон была достаточным доказательством его статуса. Фронда длилась с 1648 по 1653 г. и на время даже сумела поднять Париж против королевских войск.

Только когда Людовик XIV достиг совершеннолетия в 1661 г., наступил значимый поворот, и французская аристократия, наконец, была покорена, подобно тому, как за полтора века до того это произошло с английским дворянством. Систематически проводилась политика лишения знати постов провинциальных губернаторов и назначения на их места чиновников-интендантов. Сама суть статуса аристократии изменилась; завершая дело, начатое Генрихом IV, Кольбер с помощью великого *recherche de la noblesse*[217] отказал в признании любым титулам, кроме тех, в отношении которых имеются доказательства происхождения их от титулов, присвоенных королем. Тысячи дворян, особенно мелких, не имевших финансовых средств, чтобы отстаивать свои дела в провинциальных судах, потеряли таким образом свои титулы. Оставшиеся были лишены своих вооруженных последователей, самые влиятельные получили пенсионы и остались при дворе, чтобы король мог за ними присматривать. Сам Конде забыл о восстаниях, вернулся к повиновению и отдал свои выдающиеся военные таланты в распоряжение Людовика. Конец его жизни прошел в ухаживаниях за дамами в Версале. Его бывших соратников-аристократов вскоре можно было видеть носящими парики и соревнующимися за право носить королевский ночной горшок.

В то время как в Англии и Франции был все-таки только один король, не имевший себе соперников по титулу, в Испании было по-другому. Страна со сложным рельефом местности веками отвоевывалась, провинция за провинцией, в ходе военных действий против мусульман. Еще в 1479 г. она представляла собой не одно королевство, а два отдельных — Кастильское и Арагонское, законы и традиции которых были совершенно различны. Впервые некоторая стабильность в Кастилии была достигнута при Генрихе II, принадлежащем дому Трастамара (1369—1379). Его прозвища — Бастард и Братоубийца, дают достаточное объяснение происхождению его власти и представление о методах, которыми она была получена. Его сын Иоанн I (1379—1390) мало что представлял собой. Роль, которую в Англии сыграл Эдуард III, здесь выпала на долю Генриха III (1390—1406), сделавшего все, чтобы усилить власть короны за счет знати, учредив королевские институты, такие как совет и казначейство. Несмотря на это, ситуация оставалась сомнительной. Иоанн II (1406—1454) унаследовал власть отца, будучи ребенком. Все его царствование было заполнено

постоянными ссорами знати с его фаворитом, Альваро де Луна, что в итоге привело к необходимости вооруженного противостояния с аристократией и победе над ней в битве при Ольмедо (1445).

Победа при Ольмедо разрешила проблему только временно. Когда в 1454 г. трон занял Генрих IV, он получил де Луна в наследство, и вновь результатом стало несколько лет открытой гражданской войны, которая длилась до тех пор, пока фаворит не был свергнут и казнен. Хотя Генрих и был талантливым полководцем — в 1464 г. он отвоевал Гибралтар у мусульман — он оказался неспособен управляться со своей аристократией, так что на следующий год она восстала и заочно низложила его. Предлогом для ссоры было то, что Генрих хотел сделать наследницей престола свою несовершеннолетнюю дочь. Распространяя слухи о том, что Генрих — импотент и, следовательно, не мог был отцом инфанты, магнаты настаивали, чтобы трон был передан его сводной сестре Изабелле. Истинной причиной конфликта был, как обычно, страх знати перед централизацией власти, которая могла привести к размыванию их привилегий. В 18 лет Изабелла сама поставила в тупик как своих сторонников, так и противников, сбежав из дворца и тайно выйдя замуж за Фердинанда II Арагонского. Так, самое важное событие во всей испанской истории — объединение двух королевств на основе личной унии — произошло в результате дворцовых интриг и без согласия и даже без ведома короля, который, вроде бы, был самым могущественным на полуострове.

В Арагоне, как и везде в XV в., институты королевской власти переживали определенный подъем[218], но это не сделало его историю менее бурной, чем кастильская. Фердинанд I (1412 — 1416) сам был кастильским принцем. Он получил престол не по праву наследования, а путем избрания арагонской знатью, которая, разумеется, получила за это свой «кусок» в виде знаменитой коронационной клятвы, по которой повиновение аристократии обусловливалось хорошим поведением монарха. Альфонсо V (1416 —1458) был способным правителем, который тем не менее провел большую часть своего царствования в сражениях за установление своего владычества над Сицилией и Южной Италией, которую он унаследовал от своих предков. В 1442 г. под влиянием своей любовницы Лукреции де Аланьо он окончательно переместил свой двор в Неаполь. Его жена и брат, оставленные в Испании, были неспособны контролировать знать, которая поступала, как ей заблагорассудится, и своими фискальными запросами довели до восстания как города, так и крестьян.

Затем пришел черед Иоанна II. Через три года после восхождения на трон он был вынужден бороться с восстанием в Каталонии, самой сложной из всех провинций, где магнаты предложили корону Петру Португальскому. Когда Петр Португальский умер, по-прежнему недовольные аристократы обратились за помощью в борьбе против своего повелителя к французскому королю Людовику XI. Война длилась девять лет и чуть не стоила Иоанну короны, прежде чем она завершилась взятием Барселоны в 1471 г.; и, несмотря на это, результатом ее было не подавление аристократии, а, напротив, новое подтверждение ее привилегий и амнистия всем зачинщикам, за исключением одного, который был казнен. Сын Иоанна, Фердинанд II, который позже женился на Изабелле, получил свой начальный военный опыт в этих войнах. И кастильская знать поначалу также была не склонна принимать его как своего короля. Вместо этого они тоже призвали короля Португалии, который и сам имел династические претензии на трон. Не считая арагонского восстания, молодой чете потребовалось десять лет почти постоянных войн, в ходе которых Фердинанду суждено было совершить множество героических деяний, прежде чем их признали в обеих странах. Это не предотвратило нового крупного восстания аристокра-тиив 1486 г., на сей вызванного попытками католических королей вернуть себе земли, отторгнутые во время гражданских войн .

За этот период Испания переживала то, что можно было бы назвать процессом аристократизации[220]. Он состоял не только в том, что представители всех классов стремились подражать стилю жизни дворянства, но и в том, что сами дворяне наращивали свою эономическую мощь по мере того, как их численность уменьшалась, вплоть до того, что к 70-м годам XV в. в Кастилии оставалось только 15 крупнейших знатных фамилий, а в Арагоне — две[221]. 13 этих условиях превращение Кастилии и Арагона в одну страну истречало сопротивление представительных органов с обеих сторон и проходило крайне медленно. В 1507 г., после ожидавшейся смерти Изабеллы и неожиданной смерти одного из ее сыновей герцог Медина-Седония и граф Урена подняли восстание и стали угрожать разделом Испании на составляющие части. Фердинанд, используя четырехтысячную армию, снова смог взять верх. Однако к моменту его смерти в 1516 г. единственным заметным достижением в деле построения общих институтов было введение единой валюты.

При Карле V (известном в Испании под именем Карлос I) и его сыне Филиппе II земельные владения грандов достигли

гигантских размеров. В Саламанке, например, почти две трети населения и территории оказались под юрисдикцией аристократии. Только один магнат — маркиз Диего Лопес Пачеко — имел не менее 25 000 кв. км земли и 15 000 вассалов, которые приносили ему 100 000 дукатов в год; другой, герцог Инфантадо, был хозяином 800 деревень и сюзереном 90 000 вассалов[222].

И все же времена менялись. Хотя реконкиста была завершена, первые два короля династии Габсбургов нуждались в поддержке кастильского дворянства против городов и средних классов, которые дали выход своему недовольству в восстании комунерос в 1520—1521 гг. В обмен короли предоставили дворянам почти полный контроль над их владениями, включая сеньориальный суд и право содержать частные армии, способные держать иод контролем арендаторов. Усилив таким образом свои позиции, магнаты, наконец, примирились с королевским правительством. Некоторые из них поступили на службу к королю в качестве военачальников или губернаторов заморских провинций — следует отметить, что и в том, и в другом случае они находились весьма далеко от средоточия власти.

Не так обстояло дело в Арагоне, который, опять же благодаря в первую очередь аристократии, встал на путь к превращению в самую отсталую страну Западной Европы. Нигде более феодальные привилегии не были столь архаичны и обширны; на протяжении почти всего XIV в. доход короны от провинций был нулевым. Следуя старым традициям, гранды интриговали против своих северных соседей. Ситуация дошла до того, что, если посмотреть с позиции короля, то возникают сомнения, была ли эта провинция действительным активом или просто источником до-полнительных рисков, связанных с нестабильностью[223]. В 1591 г. разразилось еще одно восстание, которое Филиппу II пришлось подавлять с помощью четырнадцатитысячной армии[224].

Только после этого пришло время расплаты. Хотя ни одно из провинциальных учреждений не было упразднено, все они были реформированы так, чтобы быть проводниками королевской воли. Впервые король приобрел право назначать губернаторов не из арагонцев. Была разрушена монополия дворянства *najustitia*[225] — своего рода прототип конституционного суда, сохранившийся со Средних веков и предназначенный для защиты подданных от произвола правительства: его глава был заменен на королевского чиновника, а прочие его члены теперь подлежали отзыву по желанию короля. Наконец, Филипп усилил власть инквизиции (инструмента, чья польза в борьбе с политическими соперниками, а также с еретиками, была продемонстрирована в Кастилии),

предоставив ей новую укрепленную резиденцию и войска для защиты[226]. Таким образом, лишь незадолго до смерти Филиппа была решена задача поставить Арагон в один ряд с другими частями страны, а независимая власть дворянства была, наконец, сломлена, хотя это и не предотвратило дальнейших восстаний в XVII в.

В Англии, Франции и Испании борьба между короной и аристократией происходила примерно в одном направлении, и, раньше или позже, приводила к довольно сходным результатам: первая сторона конфликта намного повышала свой статус по сравнению со второй. Не так было в Германии, где ситуация была в корне иной. Хотя Священная Римская Империя была по-прежнему жива и как институт, и как идея — так сказать, в духовном смысле, — ее действительная власть переживала упадок со второй половины XIII в. — упадок, который Золотая булла 1356 г. лишь подтвердила. Слабость императоров следует объяснять различными факторами, среди которых не последним был сам размер стран, па управление которыми империя претендовала. Помимо этого, с одной стороны, сыграла свою роль борьба империи с церковью, а с другой — ее вовлеченность в многочисленные конфликты за пределами Германии. Самые влиятельные представители знати, вместо того чтобы терять свою независимость, сами смогли расширить и консолидировать свои территории и встать на путь построения со временем собственных государств.

Фактором, по-настоящему открывшим им дорогу к этому, стала Реформация. До того момента будущее Германии было сомнительным; в частности, один современный историк утверждал, что союз императора Максимилиана с южными городами Германии мог привести к построению единого государства[227]. В начале XVI в. города находились на пике своего могущества; как говорилось в стихотворении того времени, великолепие Аугсбурга, остроумие Нюрнберга, артиллерия Страсбурга и деньги Уль-ма правили миром[228]. К 20-м годам XVI в. все четыре города, а также многие другие, с энтузиазмом приветствовали Лютера и обратились в протестантство. Теперь именитые купцы и банкиры, которые управляли городами в своих экономических интересах, не хотели ничего, кроме мира и спокойствия. Нет ничего неожиданного в том, что они были готовы пойти на сотрудничество с Карлом V против земельной знати; хотя, как они повторяли императору, они не могли не обращать внимания на чувства простых людей и проводить его политику навязывания религиозного единообразия. Подумывал ли сам Карл уступить в религиозных мопросах, нам неизвестно.

Учитывая твердость его веры, скорее iscero, нет, не говоря уже о том, как могла терпимость к протестантам повлиять на статус вселенского императора, обладающего Богом установленной властью.

В первые два десятилетия царствования Карл был занят выполнением своих обязанностей в Испании, Венгрии, Италии и Северной Африке. Поэтому он вернулся в Германию только в 1543 — 1544 гг., полный решимости справиться с возникшими проблемами. Он привел с собой испанские отряды под командованием герцога Альба; в битве при Мюльберге в 1547 г. они с легкостью рассеяли слабо организованные войска, собранные Шмалькальд-ской лигой протестантских вождей. Но он опоздал на 20 лет. Он не смог ни восстановить свою власть над городами, ни принудить их к возвращению в католический лагерь; их поражение лишь расчистило дорогу князьям, поощряемым Генрихом II Французским. Буря разразилась в 1552 г., когда один из принцев, курфюрст Мориц Саксонский, повернул против Карла, застав его врасплох и вынудив его бежать из Инсбрука в Виллах в Каринтии. Карл сражался еще три года, почти не имея средств, столкнувшись с возобновившейся угрозой со стороны турок в Средиземноморье и со стороны Генриха II в Лотарингии. Но попытка восстановить императорскую власть была безнадежна, и, как мы знаем, император отрекся от престола в 1555 г. Тем временем князья, как католические, так и протестантские, пронеслись по стране как стадо разъяренных вепрей. Повсеместно они секуляризовывали церковную собственность и аннексировали города.

Методы, которыми сами князья установили контроль над своим дворянством, лучше всего демонстрирует Бавария[229]. В XV в. в результате бесконечных братоубийственных войн, разделов и переделов аристократия, представленная в сейме, осталась практически единственным институтом, который удерживал целостность страны. Ее власть достигла пика в период несовершеннолетия герцога Вильгельма IV (1508 — 1550), то есть в 20-егоды XVI в.; после этого она пошла на спад. Уязвимым местом сейма оказались огромные долги, в которые влезли сам Вильгельм и его преемник, Альбрехт V (1550—1579). Снова и снова эти долги угрожали полностью парализовать правительство, снова и снова сейм был вынужден их принимать. Тем временем давление герцогов в сочетании с крючкотворством делали невозможным ни содержание сеймом собственного налогового аппарата, ни наложение вето на принятие новых обязательств. Сейм также не мог предотвратить получение герцогами денег путем налогообложения своих крестьян и церкви

— в последнем случае под угрозой секуляризации имуществ. То, что Альбрехт имел деньги или хотя бы мог получить их в кредит лично или под поручительство сейма, позволило ему принимать к себе на службу только католиков. К моменту его смерти уже полным ходом шли баварская Контрреформация и формирование тесного союза между церковью и престолом.

Примеру Баварии рано или поздно (хотя, скорее, позже, чем раньше) последовали многие другие княжества, включая Пруссию, Саксонию, Гессен, Вюртемберг и Австрию. Однако между Пруссией и остальными частями Германии существовала разница. В Пруссии власть знати над крестьянством стала возрастать после 1550 г., когда было введено наследное крепостное право и подтверждены многие старые феодальные повинности[230]. Хотя крепостничество существовало и в других частях Германии, там в любом случае сохранялся класс свободных крестьян, и некоторые из них даже могли обеспечить себе скромный достаток. Более того, в других частях Германии полицейская и судебная власть аристократии была не столь обширна, как в Пруссии.

Процесс упрочения власти германских князей над более мелкой знатью был прерван Тридцатилетней войной, когда большинство из них было сведено к роли игрушек в руках значительно более могущественных правителей, чьи войска вторгались Германию со всех сторон. Впрочем, в 1648 г. этот процесс возобновился; люди того времени уже не хотели ничего, кроме закона и порядка. На сей раз пример подал Фридрих Вильгельм Прусский (1640— 1688). Прозванный великим курфюрстом, он установил налоги, чтобы набрать войско, а затем использовал это войско для давления ландтаг. Его преемник, Фридрих I, пожинал плоды этой политики и, получив разрешение императора, смог объявить себя королем Пруссии. Остальные германские князья вынуждены были удовлетвориться менее высокими титулами; в качестве компенсации они построили себе миниатюрные копии Версаля и соревновались между собой на предмет того, кто придумает более нелепую военную форму для своих солдат. Ландтаги не везде были побеждены; в частности, в Вюртемберге сословное представительство было по-прежнему живо и процветало. Однако, как подтвердил Вестфальский договор, в третьей четверти XVII в. те из бесчисленных германских княжеств, которые были слишком велики, чтобы считаться просто частной собственностью своих правителей, сами превращались в государства[231].

Победа монархов над знатью была в некоторой степени куплена за счет всего остального общества. Во всех странах,

кроме Англии, где революция 1688 г. подчинила все классы юрисдикции общего права, многие дворянские привилегии остались нетронутыми. Обычно с различными вариациями эти привилегии включали в себя особое правовое положение, т.е. право быть судимым только членами своего класса и освобождение от унизительных видов наказания; освобождение от определенных видов налогов, как прямых, так и косвенных, а также почти полная монополия на высшие должности в администрации, армии и суде. Кроме того, у них были такие символические *marques*[232], как право встречаться с сувереном лицом к лицу, носить меч, охотиться (право, уже не имевшее экономического значения для высших классов, но бывшее предметом зависти и недовольства лишенных его низших классов) и иметь семейный герб[233]. Неудивительно, что с того времени и до катаклизма 1789 г. (в действительности даже до потрясений 1848 г.), когда бы монархи ни оказывались под угрозой, дворянство принимало их сторону. Оно поддерживало их, сражалось вместе с ними и, как во Франции во время террора, порой умирало вместе с ними. Сделка знати с королевским престолом оказалась весьма успешной. Иногда, как в Пруссии и Испании, дворянство могло прекратить развитие городов, в то же время сохраняя и даже расширяя свои феодальные права на крестьян, населяющих их земли.

Однако ценой привилегий была потеря независимости. Аристократия превратилась из соперника короны в ее сторонника. Из людей, носящих доспехи, решающих, поддержать ли им дело короля, и сражающихся под собственными знаменами, почти сразу после 1648 г. они были превращены в «людей короля», одетых в униформу. После этой даты даже величайший нобиль в стране не мог надеяться на то, что ему удастся сыграть роль Уорвика, Гиза, Конде, Тилли или Валленштейна — не говоря уж о том, что поскольку Священная Римская империя находилась в упадке и некоторые короли присвоили себе «императорские» права, подтверждение старых титулов и создание новых само по себе стало королевской монополией. В течение XVIII в. с постепенной потерей знатью самостоятельного значения ее привилегии было все сложнее оправдать в глазах общества в целом. Но прежде чем их стало возможно упразднить, королевской власти необходимо было создать инструменты утверждения королевской власти.

Борьба против городов

Помимо церкви, империи и дворянства, существовал четвертый тип политического института, который было необходимо победить, прежде чем появилась возможность создания современного государства, — это городские сообщества. Многие из этих сообществ, особенно на юге Европы, сохранились со времен Древнего Рима; даже если народы и учреждения не сохранили преемственности с классическими временами, то осталось хотя бы местоположение городов, а иногда — улицы и укрепления. Другие города выросли стихийно, как центры сбыта в местах, удобных для торговли, например, недалеко от рудников, на пересечении путей или там, где реки вливались в озера или становились судоходными. Другие же, особенно в Германии, были искусственно созданными, основанными светскими или церковными князьями всевозможных рангов, которые, желая завязать торговлю, либо давали привилегии существующим сообществам, либо учреждали совершенно новые. Считается, что к 1340 г., т.е. перед тем, как города опустошила Черная Смерть, почти десятая часть населения Западной Европы, насчитывавшего 60 млн человек, жила в сотнях городов, хотя, чтобы получить такую цифру, любое поселение, где проживало более 5000 жителей, должно было быть включено в список[234].

С самого начала города были корпоративными образованиями. Какими бы привилегиями они ни обладали и каким бы способом они их ни получили, эти привилегии были даны не отдельным лицам, а всем гражданам, которые, будучи жестко отделены от сельского населения, обладали статусом «свободных» (т.е. не сервов). В этом смысле города противоречили самим принципам феодального правления, основанного на взамопереплетающихся правах нысших по отношению к низшим; тем не менее, с точки зрения монархов, стремящихся к централизованной власти, проблема, которую представляли собой города, почти не отличалась от аналогичной проблемы со знатью. Подобно тому, как любой аристократ был в определенной степени сам себе господином и обладал властью хоть и меньшей, но не отличавшейся по своей сути от королевской власти, так же и города имели собственные правительственные органы. В их число входил один или несколько избираемых главных магистратов, носивших самые разные титулы: эшевены (Франция и Нидерланды), консулы (Италия), шеффены (Германия) и рехидоры (Испания). Кроме того, в городах существовали разнообразные чиновники и муниципальный совет, и те, и другие — выборные, отдельная система муниципальных сборов, право самостоятельно производить оценку имущества для королевского

налогообложения, а иногда — собственный монетный двор, учреждение, одновременно являющееся доходным и имеющее символическое значение.

Наконец, города отличались от деревень тем, что помимо всех этих привилегий они имели собственные укрепления, стражу, отмечающую за поддержание общественного порядка, и собственные вооруженные силы в виде ополчения и — особенно в Италии — наемников[235]. В той или иной степени эта организация и эти вооруженные силы, поддерживаемые богатством, проистекающим из торговли и промышленности, позволили городам утвердить независимость как по отношению к своим основателям, так и по отношению к высшей власти, представленной королем. Эти возможности часто были так велики, что города объявляли и вели открытую войну.

Влияние городов, как и в случае со знатью, было не только локальным, но и дополнялось связями городов друг с другом, которые поддерживались независимо от территориальных границ. Одним из оснований, на которых зиждились подобные связи, были торговые отношения. Другим была общность институтов, поскольку вновь учреждаемые города получали извне или перенимали самостоятельно законы и политическое устройство уже существующих городов и остро реагировали на любые попытки лишить их этих институтов. Какой бы ни была основа их чувства солидарности, они часто заключали союзы или лиги для обеспечения безопасности на дорогах, поддержания мира и защиты своих интересов в вопросах беспошлинной торговли и т.п. Самыми знаменитыми были союзы, существовавшие в Северной Италии и в Германии. Первые были созданы уже в XII в. Они успешно сражались с германскими императорами при Легано в 1176 г. и вскоре пережили культурный расцвет, известный как Ренессанс. В Германии существовали Прирейнская лига, Швабский союз, Гейдельбергский союз и, конечно, Ганза. Последний союз достиг вершины в XIV— XV вв., когда в нем регулярно происходили собрания конгресса и, благодаря своей экономической и морской мощи, он мог на равных разговаривать с королями и императорами. В то время союз объединял около 100 торговых городов, разбросанных на огромной территории, начиная от Северной Голландии и далее по всему южному и восточному побережью Балтийского моря.

Самое главное — средневековые города часто имели возможность использовать в своих интересах конфликты между различными монархами, князьями и аристократами и даже вели собственную внешнюю политику. Имея укрепления, города могли перекрыть проезд с той или другой стороны, создавая тем самым

необходимость проведения долгой и дорогостоящей осады. Будучи центрами богатства и производственной деятельности, они могли требовать политических уступок в обмен на людей, деньги и оружие. Это влияние еще больше усилилось с появлением пороха, поскольку оружие стало слишком сложным. Теперь его уже не мог изготовить любой сельский кузнец, и оружие можно было раздобыть только в городах или в их предместьях. Как и следовало ожидать, чаще всего города требовали, с одной стороны, самоуправления, а с другой — освобождения от различных форм налогообложения. С этой точки зрения возвышение великих монархий по большей части можно рассматривать как историю попыток монархов уменьшить или отменить эту двойную привилегию.

Так же, как в случае со знатью, методы и темпы, которыми развивался этот процесс, сильно различались в разных странах. И точно так же результаты были в общем сходными в том смысле, что они означали установление сильной централизованной власти, возвышавшейся над всеми остальными политическими структурами. Легче всего удалось этого добиться в Англии. Благодаря отчасти ее островному положению, а отчасти — норманнскому завоеванию, Англия очень рано стала единой страной. Поэтому города не могли лавировать между королем и иностранными государями, как это происходило во многих других местах. С самого начала главным врагом городов была аристократия, необузданность которой угрожала мирной торговле. Их естественным союзником была корона; вскоре города объединились с королевской администрацией, взяв на себя несение тех обязанностей и решение тех задач, которые она в силу тех или иных причин решала не брать на себя[236]. Хотя во время гражданских войн, происходивших и последние годы правления Генриха III, в городах также появились некоторые признаки недовольства[237], они никогда не доходили до той черты, за которой недовольство перерастает в восстание. Напротив, уже в начале XIV в. сложилась ситуация, при которой, пыпустив соответствующее предписание суда лорда-канцлера, король и его чиновники могли заставить любой городок в любой части Англии исполнить необходимую службу.

Относительно подчиненное положение городов означало, что они могли сохранять старые хартии или получать новые, не создавая у центрального правительства ощущения угрозы[238]. Благодаря такому положению стало возможным непрерывное развитие городских институтов, которые в основе своей оставались неизменными до тех пор, пока великие реформы XIX в. не вырвали власть из рук городских олигархий. При поддержке

королевской власти городские чиновники сумели избежать яростных столкновений между гильдиями и патрициатом, имевших место в соответствующие периоды во всех других странах. Более того, положение городов объясняет, почему в средневековой Англии, хотя она и была подвержена восстаниям знати, подобно другим странам, уже со времен Эдуарда I эти восстания носили довольно поверхностный характер. Обычным способом, который аристократические партии использовали для получения контроля над короной, были дворцовые интриги. Временами они гонялись друг за другом по сельской местности, особенно на севере страны, где то одна, то другая сторона нередко могла призвать шотландцев, чтобы те тоже присоединились к драке. Учитывая невмешательство городов и ранний коллапс феодализма в Англии, они могли полагаться в своих ссорах только на личных слуг, а также добровольцев, которые могли присоединиться по собственному желанию. Поэтому численность участников всегда была невелика. Как бы они ни старались, им редко удавалось нарушить жизнь страны в целом. Даже в битве на Босвортском поле, положившей конец Войне Роз и принесшей трон дому Тюдоров, численность активных участников с обеих сторон составляла меньше 10 000 человек.

Только во время гражданской войны ситуация временно изменилась. Большинство историков согласны, что бунт против Карла I был инициирован нетитулованным мелкопоместным дворянством — землевладельцами, которые составляли не менее трех четвертей Палаты общин[239]. И все же именно города во главе с Лондоном обеспечили финансовую силу, а также подходящую идеологию в форме пуританизма. Готовность городов участвовать в войне означала, что она велась в гораздо больших масштабах и приносила больше разрушений, чем любая из предыдущих войн. Этому способствовало и то, что Англия к тому времени, благодаря упадку дворянства как военной силы, стала преимущественно открытой страной с небольшим количеством современных укреплений, способных выдержать серьезную атаку. Ситуацию спасло то, что в результате полутора веков правления могущественных Тюдоров контроль центрального правительства над всем королевством уже давно не ставился под сомнение. Протекторат, возникший в результате войны, был более сильным и более централизованным, чем монархия, место которой он занял. И именно Кромвель вывел Англию, бывшую гораздо меньше и слабее Франции или Испании, на тот путь, который привел ее к обретению в XVIII в. статуса великой державы.

Если английские города не создавали серьезных проблем для центральной власти, то в других странах, прежде всего в Италии и Германии, дело обстояло иначе. В Италии с ее римскими традициями города появились рано и, возможно, никогда полностью не исчезали. Хотя некоторыми из них управляли епископы, почти но всех случаях они не были основаны представителями феодальной знати и не управлялись ими[240]. С самого начала города резко выделялись на фоне сельской местности; они не были выделены из окружающих территорий путем предоставления привилегий, наоборот, самые сильные из них начали завоевывать окрестности для создания своих сельскохозяйственных и торговых пригородов. Бесконечные войны, развязанные в основном из-за торгового соперничества, разделяли города между собой. По мере того, как в результате этих войн маленькие города были оттеснены на обочину, выделились пять больших городов — Генуя, Венеция, Милан, Флоренция и Рим, которым удалось стать практически полностью независимыми политическими сообществами. Могущество городов, как в Италии, так и вне ее, достигло вершины во второй половине XV в. благодаря созданной ими сети торговых и банковских связей.

Однако власть над другими обычно имеет свою цену, и итальянские города не были исключением. Как это было хорошо известно самому выдающемуся флорентийскому историку Франчес-ко Гвиччардини, древние города-государства, такие как Спарта, Афины и Рим, были обязаны своим происхождением добровольному сожительству деревень. В частности Рим, проводивший политику завоеваний, смог сделать из своих итальянских подданных добровольных союзников, с которыми он делил радости и беды вплоть до «союзнической войны» 91 — 89 гг. до н.э. Не так было в средневековых итальянских городах. По мере того, как их власть становилась ощутимой за пределами крепостных стен, они не включали в состав корпорации граждан жителей сельских окрестностей, а также малых городов, попавших в орбиту их влияния. Вместо этого они просто стремились эксплуатировать их с помощью пошлин, налогов и различных других форм экономической дискриминации, предназначенной для того, чтобы предотвратить развитие промышленности[241]. Эти города не только не могли рассчитывать на то, что их подданные будут сражаться за них, но даже нуждались в собственных вооруженных силах, чтобы держать их в повиновении. Следовательно, они никак не могли создать национальную армию и вынуждены были полагаться на наемные войска. Наемники стоили дорого и, как правило, были

не склонны сражаться с должным рвением, не говоря уже о том, что периодически они восставали против своих хозяев и захватывали власть.

Результаты такой политики стали очевидны после 1494 г. В экономическом и культурном плане Италия превосходила другие страны; однако ни в количественном, ни в качественном отношении итальянские армии не могли сравниться с зарубежными, гораздо более сильными, которые вторглись на полуостров и стали воевать друг с другом на территории Италии. Нередко этих иностранцев с радостью приветствовала, как минимум, часть населения, которая стремилась (как в Пизе) заново восстановить свою независимость или (как во Флоренции) заменить олигархическое правительство на демократическое или наоборот. Почти на полвека Северная Италия превратилась в поле битвы. Здесь испанцы, французы и войска Священной Римской империи сражались друг с другом, и на каждой из сторон воевали яростные швейцарские наемники. По мере того, как они завоевывались то одними, то другими, город за городом терял свою независимость и подпадали под централизованное управление, только осуществляемое не национальным правительством, а правительствами других стран. Несмотря на надежды Макиавелли, высказанные в последней главе его «Государя», из пяти кандидатов только двум — Венеции и Риму — удалось выжить как независимым государствам. Венеция, экономическое могущество которой пошло на спад после 1550 г., была слишком мала, чтобы играть значительную роль, и вскоре превратилась в город из царства грез, нереальность которого так хорошо отражена в картинах Каналетто. Рим же, благодаря своей уникальной роли в церковной жизни, по-прежнему был полной противоположностью тому, чем могло бы быть и за что могло бы выступать итальянское национальное государство.

В Германии города были более многочисленны, и история их происхождения была более разнообразна, чем где бы то ни было. Некоторые, особенно на юге, имели очень древние корни, будучи основаны как римские колонии; другие, особенно на севере, были созданы абсолютно *ex novo*[242] в течение периода великой миграции на восток между XI и началом XIV в.[243] Для северных городов в целом и для городов, объединенных в Ганзу (изначально название имело значение *An-See* — «на море»), в частности, переломный момент в их судьбах настал во второй половине XV в. Перелом был связан с изменением мест обитания сельди, бывшей основным продуктом питания населения, а также с ростом экономической конкуренции со стороны голландцев, которая вела к экономическому упадку[244]. Если в Англии (и, как

мы увидим, во Франции) обычно король защищал города от худших бед, которые могла причинить знать, то в Германии император был слишком слаб и находился слишком далеко, чтобы играть эту роль, тем более, что средоточие его власти уже начало перемещаться в Богемию и на Дунай.

Так, уже в 1442 — 1448 гг. курфюрст Бранденбургский воспользовался спорами между патрициатом и гильдиями Берлина, чтобы лишить этот город права на самоуправление. Примерно с 1480 г. появляются сообщения о случаях, когда горожан лишали права давать убежище беглым крестьянам, когда их облагали пошлинами и даже заставляли выполнять разные повинности, такие как перевозка товаров, принадлежащих лорду. К 1500 г. в Бран-денбурге не осталось вольных городов; со временем эта система распространилась по всей Пруссии. Правовые различия между городом и селом были по большей части ликвидированы — все жители в равной степени подпали под деспотическое правление герцогов. К XVIII в. вместо того, чтобы дышать воздухом свободы и участвовать в торговой революции, которая сделала английские и французские города богатыми, любой прусский город, выбранный для расквартирования королевского гарнизона, считал это большой удачей.

Некоторые из членов Ганзы забили тревогу, столкнувшись вскоре после 1500 г. с новыми угрозами. Было проведено немало конгрессов, принимались различные схемы реформирования союза и придания ему более централизованного характера, включая создание того, чего ему не доставало больше всего — системы налогообложения и общей армии. Однако этого было слишком мало, и зашевелились они слишком поздно. Германские города, хотя и многочисленные, обычно были меньше, чем итальянские[245]. Окруженные многочисленными мелкими дворянскими угодия-ми, большинство городов так никогда и не смогло создать основу независимой власти, распространяя свое господство на сельские окрестности. В течение последующих 100 лет некоторые из них были просто аннексированы правителями Дании, Швеции и Пруссии — стран, с которыми ранее эти города могли иметь дело на равных. Другие, хотя и сохранили свой статус независимых вольных городов, однако потеряли политическую (но, как показывают примеры Франкфурта и Гамбурга, не обязательно экономическую) значимость. Тридцатилетняя война ударила по некоторым городам гораздо сильнее, чем по другим; однако, продемонстрировав военную немощь Ганзы, война не стала для нее похоронным звоном. Некоторые попытки возродить союз все же были предприняты

после 1648 г., но они не увенчались успехом[246]. Только на востоке Балтийского моря, где короли Польши оказались слишком слабы, чтобы играть роль, аналогичную роли германских князей, некоторые города, такие как Данциг, сохранили свои привилегии до XVIII в.

Города на юге Германии, контролировавшие важные торговые пути между Южной и Северной Европой и зачастую имевшие на своей территории ценные залежи полезных ископаемых, добились больших успехов в поддержании своего процветания, чем северогерманские города. Еще около 1500 г. казалось, что у них есть возможность принять швейцарскую модель, т.е. создать настоящий союз между городом и селом, который помог бы им противостоять вторжениям местных князей. Но, как и в Италии, эти планы были опрокинуты из-за олигархических особенностей мировоззрения местных торговых элит, которые заботились только о своих узко понятых интересах. Крестьянская война 1525 г. напугала южные города Германии. Оставленные императором, чья вовлеченность в множество дел по всему миру, естественно, не позволяла ему защитить германские города, с тех пор они, как правило, стали более склонны к сотрудничеству с князьями.

Как и на севере, некоторые города были полностью включены в состав княжеств и стали подчиняться прямому управлению княжеских назначенцев. Другие, сохраняя свободный или имперский статус, остались за бортом истории, лишившись основных торговых путей, которые переместились в Атлантику. Они погрузились в апатию, длившуюся до Французской революции и даже позже. Возможно, самыми удачливыми из них были те, которые были выбраны в качестве *Rezidenz,* или столиц новообразованных государств с единой территорией, — это такие города, как Мюнхен, Маннгейм и Кобленц[247]. Вена, откуда Фердинанд I управлял новым объединением наследственных земель, даже смогла достичь политико-экономического господства над всем бассейном Дуная. Однако за это пришлось, как всегда, заплатить свою цену. В 1521 — 1522 гг. после неудачного восстания привилегии Вены (включая право содержать свой монетный двор) были отменены. Городские выборы прекратились, а бургомистр (некий Зибенбургер) был казнен.

Франция и Испания оказались где-то посередине между этими крайностями. Во Франции отношения между короной и городами очень походили на отношения между короной и знатью. Некоторый прогресс в утверждении королевского контроля над теми и другими произошел в период правления Филиппа IV и позднее. Впрочем, как и в случае с аристократией, французские

короли потеряли свои города во время Столетней войны, когда многие из них, оказавшись между двух огней, были вынуждены сами вести переговоры и выбирать наилучшие условия из предложенных. Особенно в критический период войны, с 1415 до 1435 г., многие города вели себя так, как если бы они были самостоятельными политическими образованиями. Оставленные королем, они проводили собственную международную политику и часто применяли собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от мародерства со всех сторон. Но и после 1435 г. этому не было положен конец. Многие города оказались окруженными территорией заново объединенного королевства, и их судьба зависела от милости короля. Однако другие, особенно находившиеся у границ Бургундии, имели возможность продолжать свои старые игры.

С 1439 по 1559 г. французские короли, полностью не отрицая автономию своих *bonnes villes*[248], делали все, что было в их силах, чтобы сделать города послушными королевским требованиям, особенно в финансовом отношении[249]. Карл VII сам показал пример, восстановив королевские налоги, такие как *талья* (прямой налог) и *габель* (косвенный налог) для коммун, освобожденных от английского владычества, время от времени применяя силу для подавления тех, которые, подобно Лиону, отказывались платить[250]. Подобным же образом поступал Людовик XI, чтобы удостовериться, что города будут подчиняться королевскому суду, снабжать проходящие королевские войска и платить налоги. Учитывая, что его положение было значительно прочнее, чем положение его отца, он иногда заходил столь далеко, что сам назначал магистратов городов. Обычно, впрочем, его метод состоял в том, что совет представлял бальи список из трех имен на выбор. К концу его правления многие городские укрепления превратились в руины, а городские ополчения больше не созывались[251].

Как и в случае со знатью, французские города на некоторое время получили возможность вернуться к политической жизни в период религиозных войн. Французская Реформация, пришедшая из Женевы, отличалась от германской тем, что так по-настоящему и не затронула сельское население. Она оказала влияние преимущественно на аристократов (в том числе, и в особенности, на женщин благородного происхождения), с одной стороны, и на горожан — с другой. Время от времени католическое большинство, составляющее 90—95% населения, устраивало большую или малую резню соседей-гугенотов. Вынужденные защищать себя, начиная с 1560 г. последние превратили страну в настоящий архипелаг полунезависимых общин, каждая из

которых имела весьма развитые органы правления и вооруженные силы. Как показывает сам термин «Лига», и католические и гугенотские города вступали в союзы друге другом, атаюкес аристократами-единоверцами (иногда, когда преобладали корыстные интересы, и с теми, кто исповедовал другую веру). Все они периодически воевали друг с другом, порой вступая в союз с короной, порой борясь против короны, вплоть до заключения короля под стражу. Хотя открытая вооруженная борьба прекратилась при Генрихе IV, подспудно все оставалось по-прежнему. Независимость коммун была упрочена Нантским эдиктом, который, кроме дарования гугенотам свободы вероисповедания, позволил им иметь собственные укрепления и даже вооруженные силы. Эти привилегии объясняют, почему в период смуты с 1610 по 1661 г. города играли роль, подобную роли аристократии, и могли причинить монархии не меньше беспокойства.

В том, что касалось внутреннего управления городами, Генрих IV предпочел не предпринимать никаких революционных изменений. Существовавшая с XV в. система, по которой списки кандидатов на пост мэра представлялись на рассмотрение королю, оставалась в силе. Хотя Генрих мог иногда отвергнуть предложения своих подданных, это не всегда было результатом продуманной политики, поскольку в некоторых случаях было просто результатом неспособности самих городов представить согласованный список кандидатов. Двусмысленная позиция короля нашла отражение в мнении его современников насчет Парижа, самого важного города из всех. Некоторые считали, что Генрих никогда не вмешивался в дела города, другие — что он систематически пытался лишить его независимости. Истина была, скорее всего, где-то посередине. В Париже, как и в других городах, король показывал свою власть, когда того требовали угроза волнений или финансовые нужды. Время от времени он также считал необходимым не допустить занятия должности тем или иным своим известным противником, или же сам использовал должности как способ оказать кому-либо милость без каких бы то ни было затрат со своей стороны. В остальном, он предпочитал не вмешиваться в городские дела[252].

В долгосрочном плане гораздо большую опасность независимости городов представляли попытки секретаря казначейства Сюлли перевести городские финансы под свой надзор. В качестве условия получения санкции на сбор налогов он требовал от них раз и три года представлять свои финансовые отчеты; со временем это дало бы ему возможность эффективно контролировать городские финансы. Но на деле сложилось так,

что и Сюлли, и его господин сошли со сцены до того, как этот контроль был окончательно установлен, оставив эту задачу Мазарини в его поздние годы. Если говорить лишь о некоторых поворотных моментах, в 1655 г. налоговый бунт в Анжере привел к трехмесячной оккупации города королевскими войсками под началом *интендантов*. Система городских выборов, существовавшая на протяжении веков, была решительно ликвидирована, а *мэра* и *эшевенов* заменили королевские назначенцы. Экс-ан-Прованс после бунта 1658 г. разделил судьбу Анжера. Когда в том же году восстал Марсель, Мазарини обошелся с ним почти как с оккупированным городом; в нем расположились войска, часть стен была разрушена, городское ополчение распустили, горожан разоружили, построили новую цитадель, и сам титул *консула,* который традиционно носили избранные магистраты, был отменен. В 1692 г. Людовик XIV завершил этот процесс, положив конец выборам магистратов во всех французских городах. С тех пор городами правили *интенданты*[253].

В Испании, во многом благодаря войнам с мусульманами, вынуждавшим королей обращаться за поддержкой к городам, традиция городского самоуправления была столь же сильной, как везде[254]. Однако в последние десятилетия XV в. эти войны подошли к концу. Католические короли озаботились уменьшением независимости городов; города, в свою очередь, устали от анархии и были готовы к тому, чтобы ими управляли. Уже с XIV в. периодически в некоторые кастильские города направлялись *коррехидоры,* которые надзирали за городскими делами: в те дни, как и сегодня, произнесенная на любом языке фраза «Я послан правительством, и я здесь, чтобы помочь вам» была величайшей ложью. В 1480 г. было принято решение направить их во все города, где их еще не было, сделав эту должность постоянной. Будучи первоначально судебными должностными лицами, *коррехидоры* впоследствии получили вдобавок административную власть. Они действовали де-факто как королевские губернаторы, контролируя все аспекты деятельности городской администрации, включая, в частности, финансы. Пока Фердинанд и Изабелла были живы, такая система удовлетворяла обе стороны. Однако после их смерти Карл V во время его первого короткого пребывания в Испании в 1516—1519 годах использовал ее для награждения своих фаворитов, большинство из которых были иностранцами и плохо подходили для этой деятельности. Неудивительно, что в городах стало расти недовольство.

Когда Карл, стремясь добиться императорской короны, в 1519

г. повернулся к Испании спиной, города решили, что их время пришло. Среди средних классов и ремесленников десятилетиями назревало сопротивление аристократическому вмешательству; теперь же новые королевские налоги стали основанием для новых обид[255]. Знак к восстанию был подан в мае 1520 года, когда Толедо изгнал своего *коррехидора.* В следующем месяце бунт распространился на большинство городов Старой Кастилии. Один за другим они изгоняли королевских чиновников и сборщиков налогов (некоторые особо неудачливые по ходу дела были убиты) и провозгласили cotnunidad[256]. В июле представители четырех городов встретились в Авиле. Они учредили революционную *хунту,* которая изгнала регента Адриана Утрехтского из Вальядолида и поставила альтернативное правительство. Движение достигло кульминации в сентябре, когда хунта, на тот момент представленная 14 городами из 18 и опиравшаяся на собственную армию, провозгласила, что королевство выше короля и что они сами представляют королевство. После некоторых колебаний регент отреагировал тем, что кооптировал представителей высшей знати в правительство. Мобилизовав их силы, а также свои собственные, он нанес поражение восставшим в битве при Вильяларе в апреле 1521 г. Города по очереди были подвергнуты осадам пока, наконец, сам Толедо не был вынужден сдаться в октябре 1521 г.

Одновременно с кастильским движением *комунерос* в Арагоне действовали *германиас* (народные ассоциации), которые стремились вырвать контроль над городами из рук властей, хотя эти два движения никогда не взаимодействовали между собой. Как и в Кастилии, бунт в основном был поднят средним классом и был направлен в равной степени против возрастающей власти аристократии и против короны. И также, как в Кастилии, когда движение было подавлено, победителем из схватки вышла корона. Однако испанская королевская власть меньше, чем французская, преуспела в установлении равновесия между знатью и городами. В Арагоне города практически полностью были оставлены на милость грандов, которые на протяжении нескольких веков делали все возможное, чтобы превратить страну в средиземноморскую Польшу. В Кастилии поражение сделало их бессильными, дав Карлу V и Филиппу II возможность выжать из них все соки при помощи королевских монополий, экспортных пошлин, принудительных займов и неоднократных изъятий ввозимых драгоценных металлов[257]. Кастильскую экономику, за счет ресурсов которой мелись многолетние испанские военные кампании в Средиземноморье, а впоследствии и в Нидерландах, не мог спасти даже возрастающий приток серебра из Нового

Света. В 60-е годы XVI в. стали заметны первые признаки упадка городов, во многом обусловленного невыполнимыми требованиями королевского налогообложения, которому города не могли сопротивляться[258]. Их жалобные просьбы о послаблении ни к чему не приводили. Между 1600 и 1700 г. городское население Кастилии (кроме населения Мадрида) сократилось более чем наполовину[259], тем самым поставив Испанию на путь экономической и социальной отсталости, от которой она начала оправляться только после наполеоновского навоевания, а по большому счету — лишь в конце XX в.

Наконец, в двух странах, Швейцарии и Нидерландах, города не только не подчинились королевскому правительству, но сами оказались в состоянии взять верх. Самым большим достижением швейцарских городов было то, что они, в отличие от итальянских, никогда не лишались лояльности сельской округи — кантонов, которыми они правили[260]. Как заметил Макиавелли в *L'arte della Guerra*[261], после Форново в 1494 г. итальянские армии стали знамениты своей бесполезностью, поскольку рассыпались еще до того, как был нанесен первый удар. Иначе обстояло дело со швейцарскими армиями, которые за несколько прошедших столетий создали себе заслуженную репутацию смелых и даже свирепых. Как следствие, они могли противостоять попыткам Габсбургов подчинить их себе; позже они были столь же успешны, сражаясь с правителями Бургундии, Франции и Савойи. После этого они перешли в наступление и собрали из лоскутов разбросанных округов, связанных между собой лишь горными тропами, крепко сплоченную страну. Хотя официальное отделение от империи произошло только в 1648 г., задолго до этого Цюрих, Берн и прочие создали свободную конфедерацию, которая была практически независимой. Уже тогда она приняла политику вооруженного нейтралитета, столь характерную для страны в последующие века. Прервавшись только во время французских революционных войн, эта политика оставалась неизменной вплоть до 1847 г., когда разразилась скоротечная гражданская война, которая привела к созданию современного швейцарского государства.

Голландия, являвшаяся пестрым собранием провинций, управляемых многочисленными герцогами и графами, с 1384 г. попала под владычество Бургундского дома, который подчинил их одно за одним. Здесь имели место те же тенденции к централизации, которые преобладали в других странах; более того, на протяжении XV в. Бургундия в этом отношении шла впереди всех остальных монархий[262]. Направление, в котором развивались со-бытия, впечатляюще проявилось в 1540 г. Мария,

бабушка Карла V, столкнулась с угрозой ее правлению со стороны магистратов Гента, казнивших ее советников; в свою очередь, император, используя в качестве предлога бунт против налогообложения, казнил некоторых именитых горожан и отнял старинные городские привилегии, особенно касающиеся права собирать собственные налоги. Таким образом, мощь сообщества, которое столетиями доставляло бесконечные неприятности сперва французским королям, а затем предкам самого Карла, была сломлена и никогда больше не восстановилась, так как коммерческое лидерство перешло к Антверпену.

Однако в следующем поколении Филипп, сын Карла, перестарался, стремясь одновременно подавить Реформацию и ввести новые налоги — знаменитые *алькабала,* или десять пенсов. Точно так же как Карл вызвал отчуждение испанских городов, пригласив фламандских советников, Филипп достиг того же эффекта, когда прислал испанца (Николаса Перенота) в качестве преемника на должность правителя Нидерландов в 1565 г. на место своей сводной сестры Маргариты. Таким образом он сумел добиться того, что мало кому удалось из других правителей эпохи раннего Нового времени, а именно — формирования союза между городами и по крайней мере частью знати. Результатом этого союза, направившего свои усилия против Филиппа, стала война за независимость Нидерландов. Она продолжалась с 1568 по I 648 г. и почти полностью оплачивалась разбогатевшими к тому времени и процветающими городами Голландии и Зеландии.

Объединенные Провинции, появившиеся в результате Утрехтской унии 1579 г., имели номинального лидера в лице Вильгельма Молчаливого. После его убийства в 1584 г. должность *штатгальтера,* или генерал-лейтенанта, оставалась в руках его семьи; однако его преемники вовсе не были похожи на наследных королей, и каждый из них, прежде чем занять должность, должен был получить одобрение Генеральных Штатов. У этих принцев не было крупных личных ресурсов: Вильгельм Молчаливый, растратив свое состояние (изначально довольно скромное) на содержание армии на ранних этапах восстания, сам не оставил после себя ничего, кроме долгов. С другой стороны, у него и его преемников не было права вводить собственные налоги. И впоследствии Дом Оранских никогда не смог приблизиться к установлению абсолютного правления, к которому стремились монархи того времени. Более того, были периоды, например между 1650и 1672 гг., когда Провинции обходились вообще без *штатгальтеров.* В то же время города, представленные в Штатах, которых было не меньше 58, держали своих делегатов на очень коротком поводке. В этом смысле они *и были* государством[263].

Доминирующее положение голландского патрициата означало, что, как и в Швейцарии, эволюция в направлении современной унитарной централизованной государственности была остановлена или, по крайней мере, задержана. И все же примечательно, что ни одна из этих стран не пала жертвой своих гораздо более могущественных соседей. В одном случае это объяснялось уникальным географическим положением, а также продемонстрированной военной доблестью, которая, начиная с 1500 г., сделала швейцарцев лучшими наемниками для тех, кто мог себе позволить найм таковых. В другом случае причиной было исключительное богатство, позволявшее содержать эффективные вооруженные силы, в сочетании с более или менее постоянным, начиная с 1688 г., союзом с сильнейшей протестантской державой того времени.

С учетом этих двух примечательных исключений задача взятия городов под королевский контроль была в основном решена примерно к 1660 г. Как показывает пример Англии, муниципальные институты не подавлялись повсеместно; многие города продолжали пользоваться некоторой автономией в своем внутреннем управлении или «поддержании внутреннего порядка». Верно и то, что незначительные беспорядки, по большей части вызванные бедностью и безработицей, по-прежнему оставались частым явлением, особенно во Франции. Однако ни бунты, ни городское самоуправление более не были способны серьезно угрожать все возрастающей власти государства. За исключением предоставления персонала на такие маловажные посты, как ночные сторожа, надзиратели рынков и тюремщики, городское ополчение, которое в свои лучшие времена было способно противостоять королям и князьям, пришло в упадок. В Пруссии само слово «ополчение» *(militia)* после 1670 г. было запрещено к употреблению; в других местах этот термин стал объектом насмешек.

Консолидация территориальных государств означала и то, что городские укрепления, расположенные внутри страны, были заброшены (если не были намеренно разрушены) и вскоре превратились в руины. Остальные перешли из-под муниципального контроля в руки командиров королевских гарнизонов. Еще столетие спустя эти факторы революционным образом изменили роль, которую города играли в войне: из центров сопротивления, которые приходилось осаждать, они превратились в богатые и спокойные средоточия богатства, которые завоеватель, выиграв битву, мог занимать почти между делом[264]. Население было разоружено, и понятия «буржуазный» (т.е. «городской») и «воинственный» разошлись навсегда. За

исключением периодов гражданских войн, вроде той, что имела место во Франции после 1789 г., теперь не могло быть и речи о том, чтобы города отказывались признавать своих правителей или вели собственную независимую политику и союзе с зарубежными государями, не говоря уже об участии к военных операциях от своего имени.

Триумф монархов

Задним числом — таково преимущество историка — триумф монархов в рассматриваемый период представляется неизбежным. Возможно, самым важным фактором был продолжительный и, по-видимому, изначально заложенный конфликт между папой и императором, позволивший монархам прибегать к помощи одного против другого. Если бы император был одновременно главой официальной религии, как это было практически во всех других уголках света, где существовали аналогичные политические системы, то почти наверняка его власть оказалась бы подавляющей, и государство современного типа никогда не возникло бы. Однако религиозная реформа и фрагментация имперской политической власти шли рука об руку, достигнув кульминации в период Реформации. Практически независимо от того, поддерживали монархи реформу или нет, именно они извлекли из этого выгоду.

Как обычно свидетельствует список их титулов — а они почти псе без исключения были не только королями, но и маркизами и графами — первоначально сами монархи были просто крупнейшими аристократами, которые собирали свои земли по частям, пока однажды, почти незаметно, не оказывались во главе государства. В этом смысле вопрос о том, почему именно они преуспели в борьбе с остальными, бессмыслен. Он напоминает историю о филологе, который, проведя 20 лет в попытках выяснить, кто написал «Илиаду» и «Одиссею», в конце концов, пришел к заключению, что они были написаны не Гомером, а другим поэтом, чье имя также было Гомер. Это всего лишь другой способ сказать, что из примерно 500 претендентов, первоначально принявших участие в борьбе[265], некоторые оказались более успешными, чем их соперники, в учреждении институтов, мобилизации экономических ресурсов и в конвертировании этих ресурсов в гражданскую и военную власть. В итоге они стали господствовать над теми, кто признал их власть, нанеся поражение (а если необходимо — уничтожив) тем

соперникам, которые отказались подчиниться.

Как и в случае с папой и императором, с городами монархи также часто играли в игру «разделяй и властвуй». С одной стороны, в частности в Испании и Восточной Европе, оказалось возможным использовать знать для борьбы с городами и, если не уничтожить их полностью, то хотя бы остановить их развитие и сделать политически бессильными. В других местах преобладание над городами в большей степени достигалось путем использования внутренних раздоров: между богатыми и бедными, купцами и ремесленниками, теми, кто жил в стенах города, и теми, кто населял подвластную городам сельскую округу. Нередко монархи добивались этого с помощью прямого использования силы, как в Южной Германии. В других случаях это был почти незаметный процесс, в ходе которого королевские назначенцы постепенно урезали городскую демократию, брали на себя функции магистратов, вводили налоги от имени своего господина и подавляли случавшиеся время от времени бунты там и тогда, где и когда они имели место. О том, *входило ли в намерения* правителей, таких как Генрих IV Французский, положить конец независимости своих городов, ведутся бесконечные споры[266]. Но суть состоит в том, что в долгосрочном плане он, как и его предшественники и преемники, действовал именно в этом направлении.

Впрочем, если посмотреть на дело под другим углом, то ни дворянство, ни города не были побеждены столь решительно, как можно предположить на основе сделанного нами обзора. Как объяснялось выше, дворянство обычно сохраняло и свои привилегии, такие как освобождение от налогов, и почти полную монополию на высшие должности в правительстве. Горожане потеряли политическую независимость и, как члены третьего сословия, оказались исключены из числа людей, участвующих в деятельности правительства; однако в порядке компенсации экономическая система, которую обе эти силы поддерживали и от которой получали выгоду, смогла расцвести, как никогда ранее. Капитализм и монархия шли рука об руку, особенно в Западной Европе. Капитализм при помощи налогов или займов обеспечивал монархию финансовыми ресурсами. Монархия возвращала долг, предоставляя капиталистическим предприятиям военную защиту как внутри страны, так, впоследствии, и за ее пределами; кроме того, она одаривала горожан привилегиями, которые ставили в особое положение, значительно более высокое по сравнению сельскими жителями. По крайней мере, со второй половины XVII в. сильнейшие государства, за исключением лишь России, были ареной деятельности крупнейших и наиболее могущественных

капиталистических предпринимателей. Позднее, как написал Маркс в «Манифесте коммунистической партии», нередко становился уместным вопрос, кто кем владеет.

Победив своих соперников тем или иным способом, монархи пскоре начали менять способы ведения своих дел и представления себя миру. Одно из самых ранних и самых важных изменений произошло в военной сфере. Средневековые правители, отчасти ввиду личностной природы тогдашней политики, отчасти из-за предписаний рыцарского этоса, обычно командовали своими армиями лично и часто сражались в передних рядах лицом к лицу с врагом. Поэтому боевые потери среди них были нередки: некоторые погибали, другие попадали в плен и их необходимо было выкупать. Например, король Франции и его наследник были захвачены и плен в битве при Пуатье в 1356 г. Яков IV Шотландский был убит при Флоддене в 1513 г. Как уже упоминалось, битва при Павии в 1525 г. закончилась пленением короля Франциска I Французского. Соперник Франциска, Карл V, не отставая от него, сражался в рукопашном бою перед стенами Туниса в 1535 г., и под ним было убито несколько лошадей. Портрет императора в битве при Мюльберге кисти Тициана показывает его как совершенного христианского рыцаря, вросшего в седло (он действительно был иеликолепным всадником), с крепко сжатыми зубами и взглядом, пнимательно следящим за ходом битвы, хотя в этом конкретном случае отсутствуют свидетельства его личного участия в бою.

Напротив, благоразумный сын Карла Филипп II предпочитал управлять своими войнами в далеких землях, используя бюрократические методы: полагаясь на полевых командиров, которых он выбирал из числа высшей знати и которым давал подробные инструкции в письменном виде. Ко времени Тридцатилетней войны его подход стали разделять большинство основных монархов, повлеченных в нее, включая его сына и внука, Филиппа III и Филиппа IV, а также императора Фердинанда II и короля Якова I Английского. Единственным важным исключением был шведский король Густав Адольф. Военный гений *bona fide*[267], он настаивал на ведении операций в старом стиле и личном командовании в первых рядах. Неудивительно, что в конце концов он был убит и битве при Лютцене в 1632 г., когда в сопровождении всего двух или трех спутников он поскакал на помощь находящемуся в угрожаемом положении правому флангу.

В XVIII в. продолжилось сокращение числа королей, выступавшихв качестве командующих полевыми армиями. Единственными важными исключениями были потомок Густава

Адольфа

Карл XII и король Пруссии Фридрих II, но даже они больше не сражались в передних рядах, а осуществляли командование с безопасных позиций в тылу[268]. Чтобы компенсировать для себя потерю радости битвы, некоторые монархи в XVIII в., особенно Людовик XIV, появлялись при завершении осады, формально принимали командование и напускали на себя героический вид. Другие играли в оловянных солдатиков, в том числе русский царь Петр III, который даже брал их с собой в постель. Из трех императоров, присутствовавших при Аустерлице в 1805 г., только один, Наполеон Бонапарт, был военным человеком и эффективно командовал войсками. Двое других, российский император Александр I и австрийский Франц I, фактически только сопровождали войска и больше мешали своим подчиненным, чем помогали, но тут мы уже забегаем вперед.

С изменениями в военной сфере был связан переход от разъездного правительства к оседлому. Нет необходимости вспоминать такое далекое прошлое, как времена Иоанна Безземельного в Англии, который большую часть своего правления провел, странствуя по стране в сопровождении нескольких родственников и слуг, имея при себе сундук с казной и 200 собак. Людовик XI Французский, так же как и его современники императоры Фридрих III и Максимилиан I, был почти столь же мобилен. И светские, и духовные правители переезжали туда, где возникала проблема, которую необходимо было решить, а остальное время в зависимости от их предпочтений проводили в охоте на животных или на женщин. Максимилиан редко проводил больше одной ночи в одной кровати; в последние дни его жизни он дошел до такой бедности, что не мог найти даже владельца гостиницы, который принял бы его. Как показывает пример Карла VIII и Людовика XII, некоторые правители продолжали проводить многие годы вдали не только от своих столиц, но и от своих стран. Даже средневековое представление о монархах, отправляющихся в крестовый поход и оставляющих правление ради спасения души, не было полностью забыто, хотя с конца XIII в. дело постепенно было сведено к пустому позерству. Этим был навеян совет, данный Эразмом в «Воспитании христианского государя», насчет того, что лучше бы они сидели дома и заботились о благополучии своих подданных[269].

Когда примерно после 1550 г. правительство стало более централизованным, этот совет начали учитывать. Первым настоящим оседлым монархом был, как уже отмечалось, Филипп II. Он стремился править из-за своего рабочего стола, сгибаясь

под грузом работы и часто засыпая над бумагами. В Англии Елизавета провела большую часть своего царствования, путешествуя из одного загородного поместья в другое; для нее это было способом экономии денег: она жила в поместьях за счет своих баронов. Два ее преемника, Яков I и Карл I, выбрали иной стиль жизни. Вместе они наиболее близко подвели Англию к абсолютному правлению (1629— 1640 гг. были известны как периодличного правления); и, несчитая коротких перерывов, оба они предпочли оставаться в Лондоне или рядом с ним. По другую сторону Ла-Манша Екатерина Медичи и ее сыновья были такими же странствующими монархами, как и их предшественники, и часто месяцами находились в пути. Генрих IV, положив конец гражданской войне, обычно находился в Париже; однако Людовик XIII повернул вспять эту тенденцию и часто оставлял столицу на месяцы, чтобы проехаться с инспекцией по провинциям, развлечься, посетить бракосочетания своих родственников и наблюдать за сражениями (осуществлять военное командование он был неспособен). Затем пришел черед Людовика XIV. Последователь Коперника, он был первым французским монархом, который сделал так, чтобы его подданные вращались вокруг него, а не наоборот. Не зря он получил титул *le rot soleil*[270], и эти слова, и сам символ были выгравированы на стенах и мебели по всему дворцу.

Следствием нового положения монархов, поставленных гораздо выше простых смертных, стало то, что для них сузился выбор партнеров, с которыми можно вступать в брак. Короли в эпохи Средневековья и Возрождения обычно использовали семейные союзы, чтобы скрепить феодальные узы и прибавить к своим младениям новые территории; поэтому часто они вступали в брак с представителями зарубежной или местной высшей знати, такими как герцоги и графы. Например, английский король Ричард II рассматривал возможность союза с дочерью сеньора Милана, прежде чем посвататься к Анне Богемской, тоже принадлежавшей далеко не к королевскому роду. Король Франции Людовик XI женился на Шарлотте Савойской (1451), Карл VIII — на Анне Бретонской (1497), а французские короли в XVI в. — на дочерях герцогского дома Медичи. Когда провинции перестали рассматриваться как частная собственность, и большинство некоролевских семей уже не было правящими домами (за исключением Германии с ее бесконечным числом мелких княжеств), монархи стремились сохранить свой статус, вступая в брак только с равными себе. Результатом стал своего рода расизм; как сказала об этом леди Флеминг, которая в 1550 г. на недолгий срок имела привилегию быть любовницей

французского короля Генриха II, «королевская кровь нежнее и слаще любой жидкости»[271]. В конце XVIII в. даже русские цари, долгое время воспринимавшиеся в Европе как опоздавшие, стали следовать этому правилу, рассчитывая таким образом поставить себя выше любого, даже самого знатного из своих подданных. В других местах постоянные межродственные браки, которые практиковались целыми поколениями, порой приводили к явному вырождению.

Переход от разъездного правительства к оседлому сам по себе был отчасти результатом, а отчасти и причиной роста размеров и великолепия дворов. Прошли те дни, когда короля, например, Людовика IX, можно было встретить сидевшим под деревом и вершившим суд над собравшейся знатью. Чем дальше, тем больше росло великолепие двора и тем больше на него уходило расходов. Возглавили эту тенденцию бургундские герцоги, чей этикет при дворе стал предметом знаменитого описания Иоганном Хёйзингой[272]; сначала в Дижоне, позднее — в Генте даже расположить столовые приборы не так, как предписано, считалось оскорблением герцогского достоинства. Но именно это качество впоследствии было передано другим, включая Карла V, который провел свою юность, окруженный великолепием бургундского двора, а также Франциска I и Генриха VIII.

Между 1500 и 1700 гг. количество королевских слуг возросло до тысяч и даже десятков тысяч. Все, начиная с принцесс крови, которых можно иногда было встретить бегущими по дворцу с целью не пропустить какую-нибудь церемонию, где ожидалось их присутствие, и заканчивая самым скромным лакеем, подчинялись почти военной дисциплине, определявшей, кто и что должен делать, а также как, когда и кому. И эта дисциплина не могла бы поддерживаться, если бы сам всемогущий монарх не подчинялся ей, подобно пружине в часовом механизме. Как сказал о Людовике XIV герцог Сен- Симон, «имея календарь и часы, любой мог, находясь за триста миль, точно сказать, что он делает»[273]. Чтобы разместить всю эту свиту, было необходимо построить абсолютно новые дворцы. Первым из них был испанский Эскориал, расположившийся в самом центре Иберийского полуострова, что сделало его крайне удобным местом для целей, ради которых он задумывался. Затем появились французские Пале-Рояль и Версаль (изначально охотничье угодье, расширившееся до поселения с 150 000 обитателями); баварский Нимфенбург, австрийский Шёнбрун и прусский Шарлоттенбург, если упоминать только самые известные дворцы. Каждый отчасти был резиденцией, отчасти выполнял административные, а

отчасти церемониальные функции[274]. Каждый был окружен тщательно спланированным садом, где даже деревья подчинялись своему монаршему господину, принимая те или иные геометрические формы. Каждый дворец имел или вскоре получал особый список тех, чей статус делал их достойными посещения дворцов. Правители редко оставляли эти резиденции, только в случае государственной необходимости и вместе со всем двором: например, когда Людовик XV отправился из Версаля в другое место, он настоял на том, чтобы его невестка ехала вместе с ним, несмотря на серьезную болезнь. Подходили к концу дни, когда любой подданный мог хотя бы теоретически надеяться на встречу со своим королем лицом к лицу и возможность лично подать ему жалобу.

В христианской цивилизации сравнение монарха с Богом было подобно святотатству. Контрреформация положила конец ситуации, при которой короли, такие как Олаф Норвежский или Людовик IX Французский, могли одновременно быть и великими воинами, и святыми; однако гуманистическая ученость нашла ответ на этот вызов. Теперь, когда правители больше не могли быть причислены к лику святых, появилась возможность отождествлять их с целым сонмом божеств. Любимым выбором мужчин был Геркулес: этот титул переходил от одного монарха к другому, и Генриха IV Французского однажды, действительно, назвали «Гекулесом, правящим ныне». Обычно женским аналогом выступала богиня-охотница Диана; по-видимому, сравнение с Венерой, известной своими многочисленными прелюбодеяниями, считалось не вполне приличным. Наречение имени, королевские свадьбы, крестины, празднества и другие церемонии часто посещались различными божествами, в том числе Юпитером, Юноной, Аполлоном, Нептуном, Минервой и Вакхом, не говоря уже о бесчисленных нимфах, которых часто изображали молодые обнаженные женщины[275]. Те, кто создавал соответствующие полотна, скульптуры и *tableaux vivants*[276], основывались на специально составленных для этих целей справочниках, в которых имелись иллюстрации и содержалась информация о различных свойствах богов. Таким образом, европейские монархи могли быть запечатленными вместе с божествами, хотя и языческими и не принимаемыми слишком всерьез.

Триумф монархов над их различными соперниками нашел выражение также в том, как с них писали картины и лепили скульптуры. Средневековые короли вплоть до второй половины XV в. часто изображались среди благородных лордов во время совместной охоты или застолья. Других, более религиозных, можно было увидеть изображенными в молитве, с

преклоненными коленями, в компании их святых покровителей. Бесконечная пропасть отделяет эти работы от изображений времен Контрреформации и более поздних. Уже Вазари в конце своей жизни (он умер в 1574 г.) написал *Apotheosis* с герцога Козимо де Медичи. В течение последующих пятидесяти лет Рубенс, Веласкес и Ван Дейк (все трое — крайне успешные придворные живописцы) создавали обширные полотна, показывающие королевскую особу в одиночестве или в окружении исключительно членов семьи, на контрастном фоне, призванном усилить впечатление королевского величия — это мог быть сад, охотничьи трофеи или осада. Эти полотна висели во дворце, и самые большие из них были рассчитаны на *coups de tedtre*[277]: они демонстрировали посетителям августейшую особу монарха под разными углами зрения каждый раз, когда те заходили в новое здание или комнату. Другие, менее крупные работы, создавались для украшения королевских личных покоев или для подарка[278].

Средневековые правители часто помещали свои вертикальные скульптурные изображения внутри ниш в стенах церквей, а их могилы были украшены горизонтальными изображениями их самих и их жен. Во второй половине XV в. на место этих стилей начали приходить свободно стоящие бронзовые конные статуи величиной больше реального роста. Эти статуи не были заключены внутри зданий, напротив, они были призваны украшать собой общественные места. Эта мода пришла из Италии, где примером служила статуя Марка Аврелия, стоящая на Капитолии. Примерно в 1475 г. миланские правители Сфорца стали первыми из тех, кто заказал для себя конные статуи, хотя эти работы так никогда и не были завершены. Гораздо позже их примеру последовали в других странах, таких как Франция (Людовик XIII) и Пруссия (Великий курфюрст). Нередко чем менее воинственным был правитель, тем более героическим было его скульптурное изображение. Примером может служить статуя Карла I, изваянная в 1630 году Юбером ле Сюе. Хотя король изображался одетым и рыцарские доспехи, именно в то время сама эта забава, которая и любом случае давно уже потеряла какое-либо военное значение, вышла из употребления[279].

Как ни смотреть на все это, в век зарождения абсолютизма правители стали подниматься на сияющие высоты, едва ли достижимые и вряд ли даже представимые для их относительно скромных средневековых предшественников, включая недавно обнаружившуюся и пользующуюся большим спросом королевскую способность излечивать различные болезни прикосновением руки[280]. Разбив своих соперников или поставив их себе на

службу, короли получили беспрецедентную власть, по крайней мере теоретически. Однако на практике изолированные дворцы, которые короли строили для себя, огромное количество слуг, окружавших их, и множество церемоний, которых они требовали, свидетельствовали об обратном. Как мы увидим в следующей главе, при прочих равных условиях, чем более абсолютной становилась власть монарха, тем более он зависел от безличных бюрократических, военных и юридических механизмов, необходимых для передачи его воли всему обществу и проведения ее в жизнь. В конце концов эти механизмы оказались способными функционировать без монарха, и, более того, им было суждено отнять у него власть.

3. ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ: 1648 — 1789 гг.

Зародившаяся в недрах феодализма и восходящая к временам Римской империи система правления, которая появилась в Европе в 1331 — 1648 гг., в основном все еще носила личностный характер. Государства как абстрактной организации, обладающей собственным юридическим лицом, отличным от личности правителя, еще не существовало. Так, в Италии на рубеже XV—XVI вв. термин «государство» означал «правительственный аппарат»; например, Гвиччардини писал о «государстве Медичи» и «людях во Флоренции, стремившихся изменить государство»[281]. Поэтому неверно говорить, как это делали многие историки, что государство победило церковь, империю, знать и города. В действительности это было достижение автократически мыслящих королей или, как в Германии, правителей, имевших менее высокие титулы, но чье положение в их собственных обществах и по отношению к себе подобным носило монархический характер. Земли Лодовико Сфорца, Франциска I, Карла V и других были для современников маркизатами, графствами, герцогствами, королевствами и, конечно, империей. В каждом таком территориальном образовании могли существовать «сословия» (англ. *estates,* франц. *etats*): аристократия, духовенство и простолюдины. С другой стороны, то же самое слово в смысле «состояние» означало положение и ресурсы (особенно финансовые) каждого такого образования, которые могли составлять такую-то величину. Однако сами они стали называться государствами *(states)* только в первой половине XVII в.[282]

Те же самые современники продолжали средневековую традицию, представленную как церковными хрониками, так и *chansons de geste*[283], в которых история политических сообществ любого рода и размера представлялась почти исключительно в виде жизнеописания лиц, которые ими управляли. Для них не существовало развивающихся институтов, безличных сил и разнообразных факторов, которые в сочетании приводили к тому или иному результату. Самое большее, у них присутствовала средневековая идея колеса фортуны, вращение которого приводило к взлету или падению отдельных личностей, и которое теперь зачастую олицетворялось, как у Макиавелли, античной богиней судьбы Фортуной[284]. Как правило, действующими лицами выступали правители, члены их семей, их противники,

советники и, конечно, любовницы. Они либо заключали всевозможные союзы, либо воевали и интриговали друг против друга.

Согласно весьма популярной работе Юста Липсия *Politicorum sive civilis doctrinae libri sex*[285], еще в 1589 г. личное правление означало, что восстание могло быть вызвано тем, что у правителя не было детей, что его лицо было изуродовано или он страдал от неизлечимой болезни. Правителей, которые истощили казну, растратив все на какую-нибудь прихоть, или тех, чьи любовные интрижки определяли судьбу королевства, иногда критиковали за легкомыслие, но все же их достижения и потери в конечном итоге были только их достижениями и потерями, а не чьими-то еще. Конечно, правителям с давних пор нередко говорили, что для спасения их души (и предотвращения восстаний) нужно заботиться о благосостоянии своих подданных. Однако частое сравнение последних с отарой овец, которой владеет пастух и которая выращивается для его выгоды, говорит само за себя. Людовик XIV достиг того состояния ума, что смог различать собственную славу и благо государства *(etat),* которое он возглавляет, лишь после вступления на престол в 1660 г. По крайней мере, так он утверждал в своих мемуарах[286].

Иными словами, централизация власти сама по себе еще не равносильна созданию государства. Как показано в первой главе, со времен Древнего Египта во многих политических системах, известных как империи, власть была предельно централизована, по крайней мере, теоретически и в той степени, насколько позволяли технические средства. Неудивительно, что монархи в XVII в. целенаправленно стремились подражать Римской империи, нередко вплоть до деталей — в частности путем латинизации имен (например, Луи стал Людовиком), заимствования символики цезарей и пропаганды идеологии смирения и служения, известной как неостоицизм[287]. В то же время, реальная история абсолютистского государства есть не столько история деспотизма как такового, сколько история того, как в период между 1648 и 1789 гг. личность правителя и его «государство» отделились друг от друга настолько, что первый почти полностью потерял свою значимость и сравнении со вторым.

Этот процесс, который представляет собой почти исключительно западноевропейское явление и который распространился на другие континенты гораздо позже, будет описан нами в четыре этапа. Во-первых, мы проследим появление бюрократической структуры и то, каким образом она освободилась одновременно и от королевского контроля, и от

гражданского общества. Во-вторых, мы покажем, как эта структура укрепляла свою власть над обществом, определяя его территориальные границы, собирая всевозможную информацию о нем и облагая его налогами. В-третьих, мы должны разобраться с тем, каким образом при помощи бюрократии и налогов государству удалось создать вооруженные силы для использования вовне и внутри своей территории и таким образом установить монополию на применение насилия. В-чет-иертых, необходимо проследить то, как именно развитие политической теории одновременно сопровождало все эти изменения и оправдывало их.

Создание бюрократии

Ни один правитель, слабый или сильный, поставленный во главе политической единицы большей, чем семья, не может действовать без подчиненных, которые слушаются его и тем или иным образом зависят от него. В племенах без правителей положение жреца объяснялось во многом тем, что у него не было постоянных последователей, кроме членов его семьи и, возможно, одного-двух помощников; напротив, в вождествах и в империях авторитет правителя во многом зависел от количества людей, которые в качестве последователей, подчиненных, слуг или рабов составляли администрацию и выполняли отдаваемые им приказы. Таким образом, история политических сообществ, включая сообщество, именуемое государством, почти эквивалентна описанию того, как увеличивался штат исполнителей, как менялся способ их организации, каким образом они получали средства к существованию или вознаграждались за свои усилия. Кстати, этим же объясняется стремление большинства правителей, будь то китайские императоры или современные президенты, появляться на публике в сопровождении как можно большего числа лиц.

В исследуемый период времени важнейшим изменением была смена непрямого правления через феодальных лордов на прямое управление, осуществляемое от имени короля чиновниками, получающими жалованье. Попытки двигаться в этом направлении предпринимались еще со времен Филиппа Августа Французского (1179—1223), однако препятствия, связанные со временем, расстоянием и нерегулярным доходом самого короля, оказались непреодолимыми, и лишь в середине XV в. во время правления Людовика XI были достигнуты первые реальные успехи. К 1610 г.

— год смерти Генриха IV — процесс уже зашел достаточно далеко, чтобы французский юрист Шарль Луазо смог весьма точно определить разницу между двумя видами должностных лиц. Власть первых зиждилась на владении землей и теми правами, которые они имели по отношению к своим вассалам. Вторые же назначались королем, которому они служили за плату или безвозмездно. Следовательно, монарх мог по своему желанию перевести их на другую должность, продвинуть по службе или уволить.

Изначально королевские слуги сопровождали непосредственно монарха, о чем свидетельствуют их титулы. Они отвечали за различные подразделения королевского домохозяйства, такие как гардероб, кухня и конюшня; другие были хранителями печати или приглядывали за женскими покоями[288]. По мере того, как монархи расширяли свою власть за счет церкви, землевладельческой аристократии и городов, эти должностные лица из исполнителей, отвечающих за королевское имущество, превращались в правительственных чиновников. Например, обычным явлением было наделение управляющего замком (кастеляна) ответственностью за различные общественные работы, а также за общественную мораль, законы о роскоши и т.п. Хранитель гардероба оказывался ответственным за финансовые вопросы; канцлер, который первоначально был секретарем, — за повседневное функционирование правовой системы, а маршал, который изначально поддерживал порядок в рядах королевской стражи, становился главнокомандующим во время войны, поскольку монархи все меньше и меньше были склонны сами выступать в этой роли.

В принципе двор, состоящий попросту из прислуги большего и меньшего ранга, был независим от феодальной иерархии. Однако на практике они были тесно переплетены, поскольку, стремясь повысить авторитет своих слуг и одновременно придать двору дополнительный блеск, прислуга подбиралась из числа людей знатного происхождения. Чтобы всегда иметь под рукой необходимое число людей, сыновья феодальных лордов нередко представлялись ко двору, где они служили пажами и получали образование, подобающее их статусу. С другой стороны, люди менее знатного происхождения могли продвинуться за счет королевской службы и, в качестве королевской награды, влиться и феодальную аристократию путем заключения брака и получить таким образом имение вместе с крестьянами и соответствующими правами на них[289]. За исключением Англии, где большинство привилегий аристократии было отменено после 1688 г., две иерархии сохраняли свою кровосмесительную связь, пока

продолжал свое существование старый порядок *(ancien regime)*. Разделение произошло только после Великой Французской революции, но даже тогда в таких странах, как Пруссия и Австрия, правители нередко награждали своих приближенных, наделяя их дворянскими титулами.

В конце концов, экспансия королевского домохозяйства в другие сферы общества привела к его трансформации. Процесс превращения двора в институт публичной администрации прекратился, более того, в связи с его перегрузкой, вызванной количественным ростом и расширением круга обязанностей, ситуация стала меняться на противоположную. Королевский чиновник, который заведовал, скажем, финансовыми делами страны, не мог одновременно заниматься финансами дворца, а командующий армией не мог отвечать за королевскую охрану, в особенности, когда короли перестали принимать участие в сражениях. Таким образом, два вида функций разделились территориально. Относительно мелкие обязанности были переданы другим людям. Двор был, так сказать, проглочен собственными порождениями: он стал всего лишь одним из многих административных подразделений, в чьи задачи входило содержание монаршей особы, королевских резиденций, имущества и т.п.

Англия, возможно благодаря своей традиционно высокой степени централизации, стала первой страной, которой коснулись эти изменения. На протяжении XV в. и особенно после окончания Войны Алой и Белой Розы размеры королевского придворного хозяйства продолжали увеличиваться; после 1507 г. этому процессу весьма поспособствовали особенности характера Генриха VIII, который, в отличие от отца, предпочитал охотиться, сочинять музыку и флиртовать с женщинами, а не заниматься делами управления. Это стечение обстоятельств позволило канцлеру казначейства Томасу Кромвелю, занимавшему эту должность с 1532 по 1540 г., подготовить «революцию в государственном управлении»[290]. Свидетельством происходивших перемен служит тот факт, что большая печать стала официальным символом государства, а королевская печатка и личная печать потеряли свое значение и стали использоваться только в качестве личного королевского знака в переписке короля с родственниками и в иных подобных случаях. За Англией последовала Испания во время правления Филиппа II, вступившего на престол в 1556 г., затем Франция — во времена Ришелье, то есть в первые десятилетия XVII в. Смена ролей свидетельствовала о явной тенденции, ведущей к становлению современной бюрократии и, вместе с ней, — современного

обезличенного государства.

После того, как высшие административные чиновники стали не просто слугами, сопровождающими короля, они изменили свои титулы с простых секретарей, как это было еще при императоре Карле V, на государственных секретарей, что звучало более внушительно. Впервые представители Франции и Испании выступали под своими новыми титулами во время подписания Като-Кам-брезийского мира в 1559 г. Вскоре после этого мы видим Флоримона Роберте, известного в истории как *le pere des secretaires d'etat*[291] и ставшего третьим по счету официальным лицом, носящим такой титул, скрепляющим второй подписью указы, изданные сувереном[292]. Процесс постепенного обезличивания должности становится очевидным из того факта, что Роберте — как и Уильям Пейдж, занимающий аналогичную должность в Англии, — исполнял свои обязанности при правлении нескольких монархов подряд. Когда же, наконец, он был снят с должности Генрихом III в 1588 г., то счел необходимым написать инструкцию для своего преемника. Первый подробный учебник для государственных секретарей был написан в 1631 г. другим французом, Жаном де Силоном. Очевидным образом новое положение высших должностных лиц превращалось в постоянный институт.

Рост бюрократического аппарата также означал, что традиционное управление двором более не соответствовало своим задачам. Первый известный нам указ об управлении двором, послуживший образцом для подражания при дворах других государей, был издан во Франции Людовиком IX в 1261 г. Он определял обязанности поваров, слуг и другого персонала, ответственного за благополучие хозяина. Между 1600 и 1660 гг. эти указы были заменены или, скорее, дополнены новыми системами управления, указы о которых были опубликованы в таких странах, как Швеция, Англия и Пруссия. Обстоятельства появления подобных документов в разных странах были различными. В Швеции *Regeringsform* («Королевская форма»,) 1634 г. была обязана своим существованием канцлеру Оксенстьерна и необходимости решать вопросы в отсутствие правящего монарха в период несовершеннолетия Кристины, дочери Густава Адольфа. В Англии причиной послужили гражданская война и установление новой формы правления — протектората. В Пруссии при Великом Курфюрсте Фридрихе Вильгельме (1640—1688) это было необходимо с целью объединения территорий. По мере того, как новые провинции, некоторые из них весьма отдаленные, присоединялись к Бранденбургу, курфюрст стремился создать общую инфраструктуру — процесс, который в большом масштабе

был повторен при Марии Терезии Австрийской после поражения ее армии в прусских кампаниях в 1740—1748 гг.

В отличие от чиновников при предыдущих правителях, европейские бюрократы в ранний период Нового времени не были ни священниками, ни рабами, и не обязательно аристократами. Со временем их источники дохода тоже изменились; например, феодальная рента, т.е. раздача земель вместе с крестьянами в виде феода, как способ вознаграждения губернаторов и администраторов, потеряла значение ко второй половине XV в. Начиная с Франции и Папского государства, в большинстве стран этот способ был вытеснен системой, при которой должности продавались лицам, предложившим за них наивысшую плату. Хотя многие должности приносили жалованье, оно почти всегда было скудным по сравнению с ожидавшимся уровнем жизни и сопутствующими расходами, тем более что лица, занимавшие тот или иной пост, должны были производить эти расходы (включая содержание своих подчиненных или «семей») из собственного кармана. Многие правители это понимали, но не могли ничего изменить, поскольку сами были стеснены в средствах. Следовательно, они вынуждены были соглашаться на систему компенсации, связывая исполнение этой должности с определенными правами, соответствующими источниками вознаграждения и монополиями.

Система продажи должностей продолжала развиваться на протяжении XVI—XVII вв. Во Франции она достигла апогея при правлении Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XXV: все эти правители вынуждены были изыскивать средства для ведения войн, и поэтому они создавали новые должности сотнями и продавали их. Последним штрихом было введение в 1604 г. полетты[293], получившей свое название в честь государственного секретаря Поле. Должности превратились в частную собственность. В обмен на выплату годового взноса, который теоретически равнялся одной шестидесятой суммы, уплаченной чиновником при покупке должности, владелец получал гарантию того, что его не снимут с этого поста. Должности можно было покупать, продавать или, по желанию, иным образом передавать другим лицам. За исключением высших уровней иерархии, где выбор интендантов полностью зависел от королевской воли, методом продвижения по служебной лестнице было извлечение прибыли из обладания каждой должностью и использование ее для покупки более высокого поста и так далее, пока чиновник не добирался до самых высот.

Не существовало никаких препятствий тому, чтобы занимать несколько должностей одновременно. Например, Ришелье был в

этом деле мастером; он покупал и продавал посты до тех пор, пока в придачу к своей основной должности первого государственного секретаря (с жалованьем в 40 000 ливров в год) он не приобрел несколько губернаторских мест, а также откупов во многих провинциях (получая, таким образом, доход, исчислявшийся миллионами)[294]. Скупка должностей была одним из способов достижения власти и влияния, тем более если учесть тот факт, что король часто зависел от ссуд, получаемых у своих чиновников; с другой стороны, это объясняет, почему историки так часто затрудняются определить, кто за что отвечал. Должности могли передаваться по наследству (Монтескье, например, получил свой пост по наследству от дяди) и даже выступать в качестве приданого. Таким образом, они почти превратились в фамильные реликвии.

В двух странах, Англии и Пруссии, система покупки должностей не развилась до такой степени. В Англии, где существовал класс богатых землевладельцев, в 1361 г. была учреждена должность мирового судьи (закон о мировых судьях 1361 г.). Теоретически их назначал король, выбирая кандидатуру из местной знати, но на практике ко второй половине XV в. мировые судьи назначались по представлению лорда-канцлер а и лорда-хранителя печати, которые благодаря этому получили большую патронажную власть. Судьи работали бесплатно, выполняя административные обязанности и отвечая за поддержание общественного порядка в каждом графстве; текущие затраты покрывались при помощи «фондов», куда стекались средства от сборов, продажи лицензий, конфискованного имущества и т.п. Главным преимуществом этой системы, прельщавшим как монарха, так и парламент, было то, что ее функционирование не требовало больших затрат, чем и объясняется ее необычайная долговечность. Тем более что подчиненные судей, т.е. шерифы и судебные приставы, содержались за счет графств и приходов, а не за счет королевской казны. В результате Королевский суд, хотя и вершился от имени короля, имел к нему слабое отношение.

В Пруссии, напротив, дворянство было бедным и становилось псе беднее из-за опустошения, которое принесли Тридцатилетняя и Великая Северная войны. Это позволило курфюрстам, а позднее — королям с помощью жалованья привлечь людей благородного происхождения к себе на службу; роль прочих источников дохода для них была сравнительно меньшей. В 1723 г. Фридрих Вильгельм I поставил точку в этом вопросе, полностью запретив продажу должностей и издав указ, согласно которому все доходы, которые приносила административная система, поступали

напрямую в его собственную казну, а не оставались в местных административных фондах, как раньше[295]. Таким образом, одна страна обошла стороной, а другая быстро проскочила тот этап, па котором должности продавались и покупались, а их владельцы компенсировали расходы за счет доходов, приносимых этими должностями. К концу XVIII в. была отлажена типичная прусская система, в которой высшие административные посты занимали бюрократы с университетским образованием, а низшие — люди, по социальным характеристикам близкие к отставным унтер-офицерам. Сформировавшаяся при Фридрихе Великом, эта система стала наиболее передовой в Европе. Англия впала в противоположную крайность и управлялась дилетантами и, по стандартам континентальной Европы, была слабоуправляемой. Обезличенная бюрократия, состоящая из чиновников, получающих жалованье, здесь не развилась.

Замена феодальных лордов государственными предпринимателями, а затем — назначаемыми оплачиваемыми чиновниками, привела к переходу от географического к функциональному разделению труда. Впервые государственные секретари, которые были не мастерами на все руки, а специализировались на определенной функции, появились во Франции при Генрихе IV. Примерно к середине века и во Франции, и в Пруссии появились тпк называемые *generalites* — административные подразделения, область ответственности которых не ограничивалась определенными провинциями, а распространялась на все королевство, и которые специализировались на какой-то определенной функциональной сфере. Естественно, первые *generalites* занимались юридическими, финансовыми и военными вопросами; в последнем случае они отвечали за вербовку солдат, снабжение войск и выплату жалованья. Несколько позже к ним добавился секретарь военно-морского флота.

Возможно, важнейшей характеристикой современного государства является его территориальный характер. Поэтому несколько неожиданным выглядит то, что разделение между внутренними и внешними делами государства, а также учреждение отдельных административных структур для каждой из этих сфер появилось довольно поздно. Благодаря узам, связывающим средневековых правителей друг с другом, а также тому, что их владения были весьма разбросаны территориально, у них не было централизованных министерств иностранных дел вплоть до XVI в.; вместо этого каждый управляющий провинцией нес ответственность в том числе и за то, чтобы присматривать за делами соседей по ту сторону границы. Дипломатические

вопросы решались с помощью посланников *ad hoc*[296], с одной стороны, и посредников (роль которых зачастую выполняли священнослужители), с другой[297]. И те, и другие отнюдь не являлись служащими на жалованьи, работающими на ту или другую сторону; считалось, что их должны содержать и вознаграждать те правители, с которыми они ведут переговоры.

Как мы уже говорили, практика учреждения постоянных дипломатических представительств при иностранных государях берет начало в Италии после 1450 г. Она была прервана Реформацией и в еще большей степени — Контрреформацией. Использование такого рода представителей возобновилось примерно после 1600 года; к тому времени слово «посол» заменило более ранние «представитель», «легат», «агент», «прокуратор» или «оратор» и стало использоваться исключительно по отношению к персонам, посылаемым правителем одного государства для представления его при дворе другого правителя. После 1648 г. число послов выросло. К примеру, послов Франции 1660 г. было 22, а в 1715 году — 32; в Англии Вильгельм III Оранский за время своего правления назначил 80 дипломатических представителей, а его преемница Анна — 136 человек. К тому времени даже мелкие германские княжества, такие как Ганновер, считали необходимым содержать не менее 16 официальных послов.

Увеличение числа послов вскоре привело к необходимости создания центрального ведомства, которое руководило бы послами, рассылало бы указания и читало бы их отчеты. Помимо этого, необходимо было поддерживать собственный аппарат по доставке почты в иностранные столицы и обратно, который по причинам секретности обычно был отделен от общественных почтовых систем, имевшихся внутри каждой страны. С 1620-х годов во Франции на службе у монарха состояла целая плеяда сменявших друг друга государственных секретарей, ведавших иностранными делами. При Людовике XIV на этом посту побывали такие талантливые дипломаты, как Лион, Помпон, Кольбер де Круасси и Торси.

Хотя короли нередко предпочитали обходить своих помощников и сами вели дипломатические дела, примерно к 1720 г. в Испании, Пруссии, Швеции и Австрии сформировались более или менее организованные министерства иностранных дел, возглавляемые одним государственным секретарем. Британия была исключением; в соответствии с особенностями истории образования единой страны, имелся один секретарь для юга, который, помимо Англии и Ирландии, отвечал за отношения с католическими странами, и другой секретарь для севера, который

следил за делами в Шотландии, отвечал за отношения с протестантскими странами (а также с Польшей и Россией). На деле зачастую один секретарь доминировал над другим, так что не будет ошибкой сказать, что в стране все-таки был министр иностранных дел; такова была ситуация при Болингброке в 1711 — 1714 гг., Стенхоупе в 1714—1721 гг. и Питте-старшем в 1756 — 1762 гг. И все же только в 1781 г. Георг III, самый предприимчивый английский правитель за 300 лет, официально учредил должности секретаря внутренних дел и секретаря иностранных дел[298].

Характерной отличительной чертой государств раннего периода Нового времени по сравнению с предшествовавшими им империями было количество людей, занятых на административных должностях. В Риме, о котором мы имеем достаточно много информации, в период расцвета проживало, вероятно, 50—80 млн человек, однако империей управлял аппарат из нескольких тысяч централизованно назначаемых чиновников, вся остальная работа наполнялась местными магистратами, которые избирались жителя ми городов (позднее их назначали прокураторы либо должность становилась наследственной), или подчиненными Риму правителями. Напротив, во Франции с населением, колеблющимся от 18 до 20 млн, насчитывалось 12 000 чиновников в 1505 г., 25 000 — в 1610 г. и примерно 50 000 — в ранние годы правления Людовика XIV[299]. Число *интендантов* высшего ранга также увеличилось, от в среднем двух человек, назначаемых ежегодно в период 1560—1630 гг., до не менее восьми или девяти, назначаемых на эти должности каждый год в 1630—1648 гг. К тому моменту, как в 1642 г. умер Ришелье, каждая провинция, находившаяся под королевским управлением *(pays d'election)*, имела собственного *интенданта.* Как уже упоминалось выше, растущая власть интендантов раздражала дворянство и была одной из причин, вызвавших серию восстаний знати, известную как Фронда. Однако это не смогло предотвратить подражания примеру Франции в других странах, в частности в Испании, Пруссии (где такие чиновники назывались *Generalkommissaren*[300]*)* и Швеции[301].

Еще более впечатляющим, чем рост штата чиновников, было, пожалуй, увеличение объема бумажной работы, которое стало возможным после изобретения печатного станка. Примерно с 1000 г. средневековые правители больше не были неграмотными; Ричард Львиное Сердце, предпочитавший меч перу, тем не менее владел грамотой не хуже других. Рассказывали, впрочем, что однажды, когда император Карл попросил перо и чернила, в

стенах дворца их нигде не смогли найти. Правда это или нет, но известно, что он начал свое правление с путешествия из Нидерландов в Испанию с самыми важными государственными бумагами, упакованными в сундуках, которые везли на спинах мулов и периодически оставляли в разных замках, когда ноша становилась слишком обременительной. К концу его правления проблемы подобного рода уже невозможно было решать таким способом, а при его сыне Филиппе II ситуация изменилась коренным образом. В 80-егоды XVI в. одно расследование дел губернатора королевской колонии заняло 13 лет, и на него было израсходовано 49 545 листов бумаги. Воистину началась эпоха современной бюрократии.

Кроме несметного количества канцелярской работы, изобретение печати привело и к другим последствиям. Раньше любые административные документы, существовавшие в очень небольшом количестве копий, часто терялись или уничтожались. Поэтому лучшим способом сохранить их (а также защитить от подделок) было записать их на каком-либо прочном материале и разместить на видном общественном месте. Такая практика была широко распространена во времена античности, но и этот метод не всегда был надежным, свидетельством чему служат римские Двенадцать Таблиц. Использование печатного текста решило эту проблему, сделав королевские указы и законы доступными для всех, кто хотел с ними ознакомиться и практически сведя к нулю возможность их фальсификации; уже Тюдорам было известно выражение *ars ty-pographia artium omnium conservatrix* (искусство печати хранит Все другие искусства)[302]. В короткое время нехватка превратилась и свою противоположность. Накапливались горы бумаг, которые заполонили кабинеты и коридоры, и если их не поддерживали и должном порядке, то вскоре они становились сорвершенно бесполезными, поскольку найти нужный документ стоило огромного труда. Необходимо было создать абсолютно новые системы хранения и поиска документов. Поэтому неудивительно, что в период с 1550 по 1650 г. правители один за другим учреждали центральные государственные архивы.

В долгосрочной перспективе подобное развитие бюрократической системы сделало для чиновников необходимым действо-мать строго в соответствии с определенными правилами. Правила касались вступления в должность, расписания работы, разделения труда, продвижения по служебной лестнице и *modus operandi*[303] в целом. Отчасти для того, чтобы лишить местное дворянство привилегии назначения на должности, отчасти под влиянием *chi-noiserie*[304], модной в то время, Фридрих II в 1770 г.

ввел систему иступительных экзаменов. Его примеру вскоре последовала Ба-пария, где в третьей четверти XVIII в. развилась одна из самых передовых административных систем в мире. В 1771 г. Бавария стала первой страной, которая провела всеобщую перепись населения, хотя работа и была выполнена довольно бессистемно и заняла десять лет. Так чиновники порождали канцелярскую работу, а та, в свою очередь, — чиновников.

Целью всех этих мероприятий было обеспечить единообразие, регулярность и должный уровень компетентности, и с этой точки зрения они были успешными. С другой стороны, каждый шаг, направленный на повышение уровня профессионализма, также способствовал усилению *esprit de* corps[305]. Сам факт учреждения вступительных экзаменов означал, что монархи больше не были вольны выбирать, кого брать себе на службу; оказалось, что чем более централизованным было правительство, тем более незаменимыми были чиновники, управляющие от имени монарха. В свою очередь, это давало чиновникам возможность настаивать на своих правах и, в случае необходимости, требовать их соблюдения даже против королевской воли. К числу самых значительных прав такого рода относились защищенность от произвольного увольнения, приемлемый уровень жалованья, регулярное продвижение по служебной лестнице (в основном, за выслугу лет), пенсии по старости и определенные почести, которые они разделяли вместе с королем.

Сам термин «бюрократия» был введен в 1765 г. Венсаном де Гурнэ, французским *philosophe,* специализировавшимся на экономических и административных вопросах. Контекст, в котором он употребил это слово, был уничижительным; он считал это новой формой правления, помимо трех, указанных Аристотелем, т.е. монархии, аристократии и демократии. Существенное значение для будущего имел тот факт, что Гурнэ усматривал необходимость уменьшить число бумагомарателей, руководствуясь принципом *laissez faire*[306] — еще один термин, который придумал тоже он[307].

К тому времени чиновники, которые на протяжении веков были людьми короля, начали считать себя служителями абстрактного безличного государства. Процесс, при котором *Staatsdiener*[308] были отделены от *konigliche bediente*[309], шел снизу вверх. Вторые потеряли свой статус и были низведены до уровня простых лакеев, в то время как самые важные из первых вскоре стали известны как министры. Кульминация наступила в 1756 г., когда не кто иной, как сам Фридрих II назвал себя «первым слугой государства». Словно для того, чтобы подчеркнуть все более очевидную разницу между двором, занимающимся

личными делами короля, и администрацией, которая отныне правила прусским государством, он отменил правило, по которому административные служащие получали питание с королевской кухни.

Достаточно рано стало ясно, что рост численности администрации и расширение ее полномочий были чреваты новыми опасностями. Один из послов Филиппа II, получив выговор от своего господина за то, что настаивал на проведениии торжественной церемонии, ответил ему ни много, ни мало: *Vuessa Majesta misma no es sino una ceremonia* («Ваше Величество Сам есть не более, чем церемония»)[310]. К 40-м годамXVII в. испанская бюрократия, которую в отличие от французской не разрывала на части гражданская война, стала самой передовой в Европе. Неудивительно, что такие авторитетные свидетели событий, как Сааведра Фахардо и Кеведо-и-Виллегас, забили тревогу. Они выражали опасение, что бюрократия может подорвать принцип личного правления и привести к тому, что сам король станет лишним[311].

Когда в следующем веке был установлен принцип «легитимного» правления, подразумевавший, что личность короля больше не имела серьезного значения (при условии, конечно, что он бы рожден соответствующей женщиной в соответствующей постели), стало понятно, что опасения не беспочвенны. Сами монархи реагировали на это по-разному. Некоторые позволяли событиям идти своим чередом, но в то же время всячески отрицали само наличие этого процесса. Примером может служить французский король Людовик XV: проводя почти половину своего времени на охоте, а остальное — с мадам де Помпадур, в 1766 г. он выпустил громогласную декларацию, согласно которой «суверенная власть существует только в нашем лице... и вся система общественного порядка исходит от нас»[312]. Другие монархи, такие как прусский король Фридрих II, тщетно пытались плыть против течения путем неустанного труда. Этот король насмехался над своим французским собратом, утверждая, что страной правит не Людовик XV, а группа из четырех человек, а именно секретарей по военным, военно-морским и иностранным делам, а также генерального инспектора.

Пруссия при Фридрихе была прекрасным примером той дилеммы, которую породила бюрократия. С одной стороны, он со страстью утверждал, что «система» необходима для управления страной и для того, чтобы, задействуя ограниченные ресурсы, достичь наилучших результатов. С другой стороны, он яростно осуждал тех, кто, управляя системой и предоставляя информацию, необходимую для ее работы, «хотел деспотически

править, ожидая, что их господин удовлетворится всего лишь привилегией подписывать указы, изданные от его имени». Зная о том, что его подчиненные склонны к проволочкам и созданию препон, когда это отвечает их целям, он пытался справиться с проблемой, выпуская бесконечные череды указов и выговоров. В 1770-х годах он даже прибегнул к принципу «разделяй и властвуй», назначив французских чиновников на верховные должности в почтовую систему и казну, что привело к тому, что его собственные бюрократы стали жаловаться на «деспотичные и произвольные методы... в духе испанской инквизиции»[313]. Учитывая, что ни одна страна не была столь зависима от бюрократии, как Пруссия (страна, исскуственно созданная и не имевшая ни собственных традиций, ни географического единства), неудивительно, что в итоге его усилия мало к чему привели. Чем старше он становился и чем больше увеличивалось население Пруссии (за время его правления оно выросло от 2,5 до 5 млн человек), тем больше его правление сводилось к инспекционным поездкам и эпизодическим попыткам непредсказуемого вмешательства в дела.

В конце XVII в. численность прусского бюрократического аппарата по отношению к населению страны был самым многочисленным в мире[314]. Это доказывало, что тенденции, заложенной при Фридрихе Великом, было суждено продолжиться и дальше, во время правления его менее способных преемников. Фридрих Вильгельм II (1786 — 1797) был в первую очередь бонвиваном. Его главным интересом в жизни были любовницы; пока у него были фаворитки, он не проявлял никакого интереса к государственным делам. Фридрих Вильгельм III (1797 —1840), хотя и был добросовестным человеком («честнейший человек», как однажды отозвался о нем Наполеон)[315], не особенно противился воле своих министров, да и, собственно, воле своей грозной жены, королевы Луизы, тоже. Оба они были «абсолютными» монархами, которые имели возможность вскоре убедиться, что их истинная роль сводится к тому, чтобы ставить печать под указами, представленными их министрами. К тому времени судебная система также стала независимой, и монарх лишился прерогативы влиять на судебные решения, принятые его подчиненными. Как понял в конце своего правления Фридрих II, поступать так означало подрывать власть своих чиновников, вставлять палки в колеса работающей системе и делать неэффективными законы, на которых эта система зиждилась.

История, которая началась во времена позднего Средневековья, не только не повернула вспять, но, наоборот, достигла кульминации после победы Наполеона над Пруссией в

1806 г. В прорыв, образовавшийся после провала королевского правительства, армии и верхушки гражданского правительства, вошла небольшая, но решительная клика *gebildete* — т.е. имеющих университетское образование — чиновников буржуазного происхождения, таких как фон Штайн и фон Гарденберг (оба незадолго до того получили дворянский титул). Система, которую они построили, вращалась вокруг Государственного совета *(Staatsrat)*, и являлась, по существу, просвещенным бюрократическим деспотизмом, подчинявшимся воле высших классов; как писал сам Штайн, Пруссией управляли «бюралисты», которые «в дождливую погоду пли солнечную... писали, писали и писали... в тихих кабинетах за закрытыми дверьми, неизвестные, незаметные, не получающие почестей и преисполненные желанием сделать из своих детей такие же безотказно работающие пишущие машинки»[316]. Технически они были подотчетны королю, который, нося титул *Allerhochste* («Высочайший»), оставался законным сувереном и действующей властью, не подчиненной человеческому суду. На практике же он действовал через своих министров, чьи подписи также требовались для скрепления всех королевских указов, и его собственное вмешательство в функционирование административного аппарата было практически полностью исключено.

За 15 лет до прусской катастрофы вся огромная французская система купли-продажи должностей администрации была по-нержена одним ударом вместе с *societe d'ordres*[317], в котором она была укоренена. Как и в Пруссии, бюрократия была, так сказать, выдернута с корнями и отделена от гражданского общества; пропасть между ними, которая начала возникать во второй половине XVII в., окончательно сформировалась, когда бюрократия сформировала собственную особую идентичность и была поставлена над обществом. В своем обращении к Национальному собранию Мирабо выразил это следующим образом: отныне Франция будет различать только два типа людей — граждан, с одной стороны, и правительственных чиновников — с другой. За этими смелыми словами вскоре последовали действия. Наполеон расчистил руины, оставленные Революцией. Мешанина из множества интендантов и губернаторов провинций, *pays d'etat*[318] и *pays d'election*[319] была отменена. На ее место пришел ультрасовременный, крайне централизованный правительственный аппарат, состоящий из чиновников на жалованьи, верхний эшелон которого включал кабинет и *conseil d'etat*[320] и щупальца которого проникли в каждый *departement*[321] и *arrondissement*[322]. Позже он стал моделью, на которую

ориентировались все страны, оккупированные французами, включая Италию[323], Нидерланды[324], большую часть Германии[325] и Испанию[326].

Поскольку Французская революция уничтожила *societe d' etats* вместе с местными парламентами, привела к уплощению и атомизации социальной структуры, власть французской бюрократии вскоре достигла невиданных высот. В следующем столетии формам правления было суждено претерпеть множество изменений: от империи к абсолютной монархии, затем — к конституционной монархии, затем — к республике и, после еще одной империи, снова к республике. С каждой новой революцией административная структура сотрясалась. Однако после того, как некоторых чиновников казнили или увольняли, бюрократия становилась еще сильнее, чем раньше; подобно тому, как океанские волны не влияют на подводные течения, так и основы, заложенные в 1800—1803 гг. во многом сохранились до наших дней. Теоретически, это была четко отлаженная машина, полностью управляемая правительством и выполнявшая его приказы. На практике, даже Наполеону — который, как говорили в то время, *il salt tout, il peut tout, il fait tout*[327] — было не под силу управлять страной, насчитывающей 30 млн жителей, с помощью декретов, тем более учитывая, что он часто находился вне страны во время военных кампаний.

К этому времени Британия, имеющая многовековую систему неоплачиваемой администрации, живущей за счет коррупции, сильно отставала. С 1790-х годов стали публично выдвигаться требования реформ. Одним из тех, кто призывал прекратить смешивать частное и публичное, был Иеремия Бентам; отчаявшись быть услышанным в собственной стране и ориентируясь на достижения Франции, он даже написал большую часть своих работ на французском[328]. Если Бентам был философом и либералом, то Бёрк был парламентарием и консерватором, который во многих аспектах направлял британское общественное мнение в направлении, прямо противоположном всему, за что ратовала Французская революция. Поэтому так удивительно видеть его призывающим к созданию класса людей, «от всего отрекшихся и преданных лишь общественному благу, не имевших иных привязанностей, кроме общественных уз и общественных принципов, людей, неспособных превратить общественное имущество в личное богатство, людей, отказавшихся от собственных интересов, ...для коих личная бедность была честью, а внутреннее повиновение заменяло свободу.»[329].

По ходу дела британское правительство предпринимало

различные меры по модернизации административной системы страны. Регулирующий акт, который лорд Норт как премьер-министр провел через Парламент в 1773 г., запретил сборщикам налогов и лицам, занимающимся отправлением правосудия, участвовать в торговле или принимать подарки. Процент чиновников высшего ранга, получавших жалованье, а не вознаграждения за ведение дел, увеличился; тот факт, что министры проводили большую часть времени в Парламенте, тем самым оставляя каждодневную бюрократическую работу своим постоянным заместителям, свидетельствовал еще об одном шаге в сторону бюрократизации. Эти меры вступили в силу, когда разразились Великая Французская революция и наполеоновские войны, которые заставили правительство обеспокоиться более серьезными вещами, нежели «исчисление удовольствия» Бентама — формула, с помощью которой он надеялся найти средства, лучше всего подходящие для того, чтобы сделать максимально счастливым каждого человека в королевстве. Старая скрипучая машина осталась нетронутой. В целом она работала превосходно, позволяя финансировать собственные военные усилия, субсидировать военные действия союзников и завершить войну на таких условиях, которые делали Британию величайшей державой в мире. Прогресс возобновился только в 1830-е годы, когда индустриализация уже преобразила страну, создав сильный средний класс горожан, которые настаивали на том, чтобы был положен конец коррупции старой аристократии.

После того, как Билль о реформе 1831 г. отменил «гнилые местечки» и расширил электорат на 60%, с последними синекурами было покончено. Согласно новому закону членам парламента запрещалось занимать административные посты; далее, в 1840-х годах реформы сэра Чарльза Тревельяна привели к созданию современной государственной службы с ее обязательными вступительными экзаменами, служебной лестницей, пенсиями по выходу в отставку и определенным, пусть порой и странным, способом ведения дел. Небезынтересным является тот факт, что эта система была создана по модели, впервые внедренной в Ост-индской компании — частной организации, которой правительство поручило контроль над Индийским субконтинентом, и которой Тревельян посвятил 14 лет своей карьеры[330].

Для всех стран, хотя и с некоторыми незначительными различиями, в течение полутора веков после 1648 г. было характерно усиление власти государственной бюрократии, как в той части, которая ведала внутренним управлением, так и в той, которая отвечала за внешние сношения. Однако чем более

сильная и централизованная бюрократическая система требовалась правителям для управления государством, тем в большей степени контроль за государственными делами переходил из рук самих правителей в руки бюрократов. В числе первых, кто, подобно флюгеру, мгновенно почувствовал, откуда дует ветер, были аристократические семьи Франции и Англии. Еще до 1789 г. они начали отдаляться от королевского двора и перебираться, соответственно, в Лондон (где реальная власть постепенно сосредотачивалась в Уайтхолле) или, как во Франции, в свои загородные резиденции[331]. К 1798 г. процесс зашел настолько далеко, что в словаре Французской Академии появилось определение бюрократии как «власти, влияния руководителей и служащих государственных органов». Пятнадцать лет спустя немецкий словарь иностранных выражений объяснил этот термин как «власть, которую различные правительственные департаменты и их подразделения имеют над своими согражданами»[332]. Что касается самих монархов, многие из них с 1848 г. возобновили свои путешествия, теперь уже по железной дороге. Учитывая тот факт, что реальной власти в их руках уже но было, то где именно в данный момент находится государь, не имело особого значения. Не был исключением и кайзер Германии Вильгельм II, который хотя и был «самым абсолютным» из всех монархов того времени, за исключением лишь русского царя, мог находиться за пределами Берлина месяцами и получил за это прозвище Reisekaiser[333].

Рост численности и могущества бюрократии, описанный в этой главе, хотя и проходил разными темпами в разных странах, происходил независимо от происхождения государства, т.е. от того, была ли это абсолютная, конституционная или парламентская монархия; от того, было ли оно создано при помощи вооруженного насилия, как это по большей части было во Франции, Австрии и Пруссии, или при помощи финансового капитала, как и Нидерландах и — немного иным способом — в Англии; и, наконец, от того, было ли государство национальным или многонациональным, централизованным или федеративным, монархией или республикой. Нерадивые правители, такие как Генрих VIII в Англии или Людовик XV во Франции, обнаружили, что их поймала в ловушку и обошла собственная бюрократическая система, но то же самое относится и к таким энергичным правителям, как Филипп II в Испании и Фридрих Великий в Пруссии, хотя и по совершенно противоположным причинам. Наследные правители, наслаждаясь пожизненной властью на троне, не смогли «править с системой, которую они сами создали; то же самое по удалось сделать, хотя опять же по

противоположным причинам, и избранным правителям за свой гораздо более короткий срок пребывания у власти. Как заметил Гегель, к началу XIX в. было достигнуто такое состояние, когда бюрократия сама *стала* государством, высоко вознесясь над гражданским обществом и превратившись в хозяина этого общества.

Создание инфраструктуры

Бюрократическая система, с одной стороны, подразумевает существование информации — этого зерна для административной мельницы, а с другой стороны, дает возможность генерировать все большее количество информации. Одним из первых и наиболее важных шагов в этом направлении было четкое определение того, какие территории принадлежат тому или иному правителю. В Средние века это в основном делалось *ad hoc:* имение простиралось от этого холма до той реки, провинция включала территорию от города *А* до горы Б. В обществе, состоящем преимущественно из неграмотных людей, подобная информация «извлекалась из памяти» при помощи надежных стариков, как гласила соответствующая формула, и «записывалась в память» с помощью местных свидетелей. Для того чтобы им впоследствии не изменила память, их иногда окунали в реку или давали им звонкую пощечину. К слову сказать, отсюда пошел обычай посвящать воина в рыцари, касаясь мечом его плеча.

Точных карт, изображающих территорию страны или хотя бы провинции, не существовало до середины XVII в., пока голландец Виллеборд Снелл (Снеллиус) не начал применять тригонометрию для их составления. Первые попытки создать такие карты были предприняты в Италии во второй половине XV в., что совпало с периодом бурного развития страны[334]. Во Франции карта, изображающая всю территорию королевства, была создана в 1472 г. Однако это был просто эскиз, который должен был давать лишь общее представление. Он не имел определенного масштаба и не годился ни для дипломатических, ни для административных целей. При полном отсутствии карт невозможно было применить современную систему изображения границ государства, не говоря уже об измерении его территории. Даже в 90-х годах XVII в. великий французский военный инженер Вобан, состоявший при дворе Людовика XIV, представил расчеты территории Франции, которые отличались друг от друга на треть; в других государствах

ситуация была еще хуже. В тех случаях, когда в результате войны или заключения договора определенная территория переходила от одного правителя к другому из-за отсутствия хороших карт, почти невозможно было точно определить ее методами картографии. Вместо этого она описывалась в терминах мелких территориальных единиц, таких как графства, районы или общины, чьи границы были более или менее известны и правителям, и населению. И действительно, существовала тенденция рассматривать страны как состоящие из территориальных единиц такого рода.

Первая граница, обозначенная на земле с помощью камней, была проведена между Швецией и Бранденбургом в конце Тридцатилетней войны[335]. На конференции в Неймегенев 1678— I 679 гг. для определения границ между двумя государствами — на сей раз Франции и Южных Нидерландов — использовались реки. В 1718 г. договор, заключенный императором Карлом VI и голландцами, создал новый прецедент: текст сопровождался картой, где линиями были отмечены новые границы[336]. Идеей, согласно которой территории той или иной монархии или республики можно обозначать одним определенным цветом, мы обязаны географу из Гамбурга Иогану Гебнеру (1680—1713). На протяжении XVIII в. прочно вошло в практику использование разных способов нанесения линий для различения международных границ и границ, разделяющих провинции; и все же еще в 1762 г. британский посол в Копенгагене, выступая посредником в дипломатическом споре, обнаружил, что на карте не обозначена граница между Гольштейном (который был частью Империи) и Данией (которая таковой не была). Та карта, которую он тогда раздобыл, содержала информацию более чем 160-летней давности[337].

К тому времени британское, французское и австрийское правительства наняли профессиональных топографов, чтобы те впервые и истории составили карты, основанные на триангуляции, а не на догадках. Использование примитивного оборудования того времени приводило к тому, что завершение каждого проекта длилось годами. В случаях с Англией и Францией результаты были полумены как раз перед Французской революцией, в Австрии процесс продлился до 1806 г. Напротив, в регионах, где государства еще не развились, карты либо отличались неточностью, либо их не было вовсе, что помимо всего прочего объясняет, почему Наполеон во время своего отступления из Москвы действовал на своего рода *terra* incognita[339]. В других странах ситуация была еще хуже. Хотя мода «рисовать слонов за неимением городов» (как выразился

Александр Поуп) постепенно отмирала, белые пятна на карте все еще были крупными и многочисленными. Например, на протяжении почти всего XVIII в. никто с уверенностью не мог сказать, где кончалась Вирджиния и начиналась Луизиана. Большая часть границы между Соединенными Штатами и Канадой не была демаркирована долгое время после начала XIX в., не говоря уже о странах Африки и Азии, где, конечно, не было государств и, следовательно, четко опредленных границ, а были лишь пограничные области, которые подчинялись правителям с обеих сторон, либо вообще никому. Со временем способность политического сообщества быть изображенным в виде цветного пятна на карте мира превратилась в один из важнейших символов государственности. И действительно, при прочих равных условиях, чем крупнее пятно, тем могущественнее государство.

Как только проблема определения границ государств и измерения их территорий была более или менее решена, следующей задачей стало выяснение того, какие ресурсы, человеческие и материальные, были доступны правителям *в пределах* каждого государства. Начиная со времен написания Книги Страшного Суда во многих европейских странах время от времени проводились переписи населения; однако в силу самой природы децентрализованной политической системы (а также из-за того, что были доступны только примитивные технические средства) эти переписи редко поспевали за происходящими демографическими и экономическими изменениями. В 1516 г. Томас Мор предположил, что проблема может быть решена, если подогнать все общины, города и провинции к одинаковому размеру — идея, которая могла бы оказаться полезной, если бы она не была утопией. Почти столь же утопичным было предложение, выдвинутое английским купцом Джерардом Уинстенли в «Законе свободы» (1652), выбирать в каждом приходе двух «начальников почты». Они должны были отчитываться перед восемью «получателями», по двое на каждую часть королевства — восточную, западную, южную и северную. Приходские начальники почты должны были «каждый месяц доставлять или посылать по реке из своих приходов сообщения о том, какие несчастные случаи или происшествия произошли к чести или к позору, к ущербу или на пользу республики». Подтвержденную информацию следовало публиковать в печати: «Польза от этого заключается в том, что если в одной части страны появится чума, голод, произойдет вторжение врага или восстание, или другие бедствия, остальная часть страны сможет быстро узнать об этом и послать помощь»[340].

В континентальной Европе, где политические единицы были

либо более крупными, либо более фрагментированными (а иногда и то и другое сразу), проблема сбора информации, составляющей основу всей работы администрации, была еще более трудноразрешимой. В 80-е годы XVI в. и Жан Боден, и Юст Липсий предложили провести в своих странах национальные переписи, чтобы сделать налогообложение более справедливым. Готовясь к созыву Генеральных Штатов в 1583 г., счетоводы Генриха III подготовили ряд мер в этом направлении; но пока продолжались гражданские войны и повсеместно царил беспорядок, им не суждено было воплотиться в жизнь. Затем пришла очередь Людовика XIV, чьи советники, такие как Лувуа и Кольбер, ясно представляли себе суть проблемы и многократно предлагали различные способы ее разрешения[341]. По словам Вольтера, Король-Солнце пытался получить систематическую картину о положении дел в своем королевстве при помощи *интендантов;* однако эти попытки столкнулись с трудностью разработки стандартной формы, которая подходила бы для самых разных условий в различных уголках королевства. «Самым лучшим вариантом было бы, если бы каждый интендант предоставлял отчет в виде заполненных колонок с количеством жителей в каждом округе — дворян, горожан, крестьян, ремесленников и рабочих — вместе с данными о поголовье домашнего скота, о земле разного уровня плодородия, а также о представителях духовенства, приходского и монашеского, с их доходами, а так же доходами городов и коммун»[342].

Первыми странами, которые провели перепись населения в Новое время, были Исландия (1703) и Швеция (1739), в обоих случаях это было мотивировано опасениями сокращения численности населения[343]. Французы в 1736 г. создали другой прецедент: всем приходским священникам было приказано делать записи о рождениях, свадьбах и смертях в двух экземплярах, оставляя одну копию у себя и отсылая другую королю в Париж. Преимущества и ограниченность этой системы хорошо иллюстрируются попытками Жака Неккера, министра финансов при Людовике XVI в 1767—1772 гг. подсчитать численность населения Франции. Полагаясь на доступные ему сведения, он вычислял среднее арифметическое от количества рождений каждый год. Полученную сумму он умножал на 25,5 или 24,75 или на другую доступную оценку доли новорожденных в общей численности населения.

Следуя примеру, поданному Швецией еще в 1748 г., Национальное собрание Франции в 1791 г. учредило особую статистическую канцелярию, независимую от министров правительства и отвечающую за составление регулярных

статистических отчетов. Первым главой этого органа стал великий ученый Антуан Лавуазье, к числу других достижений которого в качестве государственного служащего относится введение новой метрической системы мер и весов. С этого момента государство не только вело подсчет всех и вся, но и, как будто для того, чтобы подчеркнуть свою власть, также определяло единицы, в которых эти подсчеты проводились. Что касается самого Лавуазье, то к числу других сфер его активности относился еще и откуп налоговых сборов. Соответственно, наградой ему стала казнь на гильотине[344].

Если вернуться к Британии, первую систематическую попытку получить статистическую информацию (известную как «политическая арифметика») в отношении численности, богатства и доходов населения страны предпринял Грегори Кинг в 90-х годах XVII в. По профессии он был топографом, картографом и архитектором, спроектировавшим многие площади Лондона и Вестминстера. В свободное от службы время он написал «Естественные и политические наблюдения и заключения о положении и условиях Англии» (1696), где он дал самую четкую картину населения и благосостояния страны за всю историю. Однако эта работа осталась в рукописи, так как не вызвала интереса у широкой публики. Не было предпринято никаких систематических попыток улучшить качество информации, которой располагало правительство. В 1753 г. предложение провести национальную перепись было отвергнуто парламентом как попирающее свободу; шесть лет спустя та же судьба ожидала попытку последовать французскому примеру и заставить приходских священников снабжать государство демографической информацией[345]. Одним из результатов подобной политики было то, что в Британии, как и в других странах, свидетели ранних лет промышленной революции 1760—1800 гг., видевшие, как огораживание общинных земель начинает приводить к обезлюживанию сельской местности, стали опасаться сокращения населения, хотя в действительности оно увеличивалось, как никогда раньше[346]. Лишь в 1801 г. Британия и Франция последовали примеру Соединенных Штатов (1790) и провели первые общенациональные переписи населения, но даже тогда потребовалось еще полвека, чтобы британское правительство, к примеру, потрудилось зарегистрировать имена каждого мужчины, женщины и ребенка в стране. Что касается Грегори Кинга, то он приобрел заслуженную славу лишь в 1801 г., когда его работа была вновь открыта и опубликована.

Наиболее важной сферой применения статистических данных было налогообложение, что объясняет, почему со времен царя

Давида подобные попытки нередко вызывали бурю протеста. И Средние века налогов в современном понимании не существовало; предполагалось, что король, как и любой другой феодал, должен был «жить на свои средства», т.е. за счет ренты, дани и других феодальных выплат от своих арендаторов, причем он, по крайней мере теоретически, не мог изменять соответствующие суммы без согласия последних. Чтобы получить средства дополнительно к «личному» доходу, он мог попросить сословно-представительный орган о «помощи», особенно в военное время или для того, чтобы покрыть какие-либо другие непредвиденные затраты, в обмен на удовлетворение «жалоб». Эта система добровольного налогообложения была настолько важна, что когда в 1373 г. Карл V учредил первое французское казначейство, он назвал его *rourdes* aides[347].

Если ограничиться некоторыми наиболее важными событиями, то по-видимому самым ранним «национальным» налогом был таможенный сбор на экспортируемые шерсть и кожу, одобрен-ими парламентом при Эдуарде I в 1275 г., ставший постоянным с 1347 г. Другие правители пытались последовать этому примеру, однако поскольку их владения не представляли собой остров, спор налога был более труден, и зачастую их ждало разочарование либо из-за протяженности территории (если владения были большими), либо из-за возможности избежать уплаты, отправившись торговать в другое место (если они были маленькими). В 1383 г. Карл V учредил габель *(gabelle)*, или соляной налог, который обязывал каждый дом покупать соль в установленных королем количествах и по установленной цене; вскоре налоги, подобные этому, названному Людовиком XII «самой легкой, простой и прямой субсидией, которую можно было получить», были введены также в Кастилии, Провансе, Флоренции, Генуе и в Папской области. Следующим налогом стала талья *(taille),* или налог на землю, который учредил Карл VII в 1452 г., чтобы оплачивать содержание своей постоянной армии *compagnies* d'ordonnance[348]. Запретив аристократам устанавливать аналогичные сборы у себя, он таким образом впервые провел границу между рентой, которая должна выплачиваться феодалам, и налогообложением, которое является исключительно прерогативой короля.

Ставки как габели, так и тальи существенно различались для разных провинций, что отражало сложный процесс исторического складывания страны. Некоторым провинциям, например Бретани, удавалось и вовсе избегать выплат вплоть до Революции 1789 г.; в других же требования откупщиков доводили сельское население до грани нищеты. Тем не менее к 1500 г. благодаря этим и

другим видам налогов финансовое положение правителей существенно изменилось, особенно в крупнейших странах, а также в тех, где особенно последовательно проводилось разграничение между «публичным» сектором и «частным» домохозяйством правителя. С ростом государства в его финансировании все меньшую роль играли личные средства монарха и, наоборот, все большую играли налоги. В разных странах это привело к различным результатам. Во Франции решительный шаг был предпринят в 1523 г., когда Франциск I опубликовал эдикты Сен-Блуа и Сен-Жермен-ан-Лейе. Была создана единая казна *(tresoir d'ёpагдne)*. Было упразднено разделение между обычными и чрезвычайными доходами, т.е., соответственно, между деньгами, самостоятельно собираемыми королем, и теми, которые предоставлялись с одобрения Генеральных Штатов. Таким образом была заложена основа королевского абсолютизма, просуществовавшего почти 300 лет. Не так было в Англии, где Генрих VIII, распродав конфискованные церковные земли для финансирования своих войн, оказался в еще более трудном положении, чем его отец, и стал первым монархом, полностью зависимым от Парламента. Конечным результатом стала устойчивая система парламентского правления, несмотря на все старания избежать этого, предпринятые дочерью Генриха VIII Елизаветой и ее первыми двумя преемниками из династии Стюартов.

Независимо от того, принимал ли решение о налогообложении сам король, или решение принималось по его запросу голосованием того или иного собрания, доход, попадающий в распоряжение правителей, увеличился как по сравнению с доходами всех прочих лиц, так относительно дохода общества в целом. При Генрихе VIII он утроился, во Франции за период с 1523 по 1600 г. он увеличился в 4 раза[349]. Наибольший рост наблюдался до 1550 г., после чего прирост стал все в большей степени «съедаться» за счет так называемой революции цен, вызванной наплывом драгоценных металлов с американского континента, а так же увеличением спроса из-за быстрого роста населения. Несмотря на это об устойчивости такой тенденции свидетельствует ее сохранение в первой половине XVII в., т.е. в период плохих климатических условий («малый ледниковый период»), сельскохозяйственных бедствий, застойной экономики, низкой инфляции и даже дефляции[350]. Так, и Англии Карлу I удалось увеличить получаемые доходы вдвое по сравнению с доходами его отца Якова I — с 400 тыс. ф. ст. в год и начале правления до 900 тыс. ф. ст. в год накануне Гражданской войны. К тому времени правители даже таких небольших стран, как

Бавария, Пруссия и Дания, больше полагались на налогообложение, чем на свои личные ресурсы[351]. Эта тенденция выбывала недовольство их подданных, но в общем и целом они были бессильны повернуть ее вспять.

Как в Англии, так и во Франции нежелание населения платить налоги стало одной из причин волнений, гражданских войн и революций, прокатившихся в период примерно с 1520 до 1660 г.[352], хотя к его концу обе страны в основном преодолели эти сложности. Англия в 1664 г. стала первой страной, в которой все граждане получили равенство перед законом. Все еще существовавшие на тот момент привилегии — в частности, право духовенства утверждать налоги голосованием на синодах — были отменены, так что все независимо от своего статуса платили ту сумму, которую хотело получить правительство и утверждал парламент. Во Франции растущий престиж королевских *tresoriers*[353] получил символическое оформление, когда на похоронах Людовика XIII их женам и дочерям было разрешено присутствовать в такой же одежде, как у жен и дочерей прочих должностных лиц. Конечно, разделение на *pays d'election* и *pays d'etat* все еще существовало, тем не менее Мазарини и его преемникам удалось до определенной степени обойти его с помощью целой серии новых «внеплановых» налогов, не учитывавших древних привилегий и, следовательно, применимыхк государству в целом. Еще в 1670 г., т.е. до того, как Людовик XIV ввязался в затяжные и дорогостоящие войны, характеризующие вторую половину его правления, Кольбер в своих *Memoire au Roi sur les finances*[354] утверждал, что король собирает скорее слишком много, нежели слишком мало. По его словам, годовой доход короля составлял 70 млн турских ливров. Соотношение этой суммы и количества серебра в обороте, оцененого в 120 млн, составляло 7:12, а в идеале оно должно было бы равняться 1:3.

Во второй половине XVII в., пожалуй, наиболее легким налогообложение было в Англии, где хотя и формировался регулярный военно-морской флот, не было ни постоянной армии, ни финансируемого аппарата чиновников. Самым тяжелым налогообложение было в Пруссии. Здесь налоги, собираемые Великим курфюрстом Фридрихом Вильгельмом, нередко с помощью довольно жестоких мер, были использованы для создания регулярной армии в 30 тыс. человек. Благодаря этому его владения превратились из пестрого собрания провинций в среднюю европейскую державу. Несмотря на то, что довольно сложно собрать полную статистику, можно предположить, что остальные страны находились где-то посередине. Пока продолжал

существовать *ancien regime*[355], во многих из них серьезной проблемой, стоявшей перед правительствами в их попытках увеличить доходы, было не столько угнетающее воздействие налогообложения на экономику, сколько тот факт, что значительная часть собранных денег не доходила до центральной казны. Так, из 8 277 166 ливров, собранных в Лангедоке в 1677 г., 34,5% осели в карманах различных влиятельных лиц провинций. Из оставшихся 65,5% половина (а именно —50,3%) уходила на королевские расходы в самой провинции. Таким образом, лишь около 33%, то есть меньше трети всех собранных денег, доходило до Парижа и использовалось королем для покрытия государственных расходов, которые в то время состояли, главным образом, из расходов на армию и на содержание двора[356].

Несмотря на эти ограничения, в период с 1689 по 1714 г. Франция потратила не менее 5 млрд ливров, или 300 млн ф. ст. Это почти равнялось сумме, потраченной тремя главными врагами Франции, вместе взятыми, — Англией, Священной Римской Империей и Нидерландами, что оправдывает гордое заявление Людовика XIV о том, что он «стоит многих» *(nec pluribus гт-par)*[357]. Налоговые гайки были закручены до предела. Не в силах затянуть их еще сильнее, не рискуя вызвать бунт, король со своими советниками прибегнул к займам. И здесь система купли-продажи правительственных должностей могла сыграть на руку, поскольку список лиц, имевших право получать часть налоговых поступлений в качестве вознаграждения за занимаемые ими должности, походил на справочник «Кто есть кто во французском обществе». Государство, позволяя чиновникам получить свою долю дохода, взамен требовало от них деньги в кредит. Эта система, широко использовавшаяся в частности во время религиозных войн, ни в коем случае не была новой, а при Людовике XIV она разрослась до чудовищных размеров. В 1714 г., когда закончилась война за испанское наследство, и накануне смерти короля, государственный долг в 30 раз превышал годовой доход, а выплаты на его обслуживание почти полностью поглощали весь годовой доход государства. Для сравнения, в 1994 г. государственный долг США, размер которого считался непозволительно большим, что даже привело к победе республиканцев на выборах в Конгресс, составлял всего лишь три величины годовых дохода.

Так, пока власть французских монархов оставалась «абсолютной», она постоянно наталкивалась финансовые ограничения[358]. Долги государства перед собственными должностными лицами продолжали расти, при этом проблема заключалась не столько в неплатежеспособности страны, сколько

в неравномерном распределении налогов, особенно налога на землю *(faille)*, от уплаты которого были освобождены почти все, кроме крестьянства (в особенности крупные землевладельцы — дворяне и духовенство). Сбор по-прежнему осуществлялся откупщиками, нанимаемыми центральной казной, провинциальными собраниями и муниципалитетами, и все они получали свою долю, прежде чем отправить отстаток *receveur-general*[359] в каждом из 16 налоговых округов.

Откупщики не только вызывали всеобщую ненависть — во время Террора многие из них были казнены, но, кроме того, конечным результатом стало медленное сползание государства к банкротству. В 1750 г., в отчаянной попытке получить часть ресурсов высших классов, имущество которых было освобождено от налогов, государство ввело 5%-ный налог на все доходы землевладельцев; однако эта мера была недостаточной, да и слишком запоздавшей. Между тем, вера в то, что правительство способно выполнять свои обязательства, была утрачена, а с ней — и всякое развитие в направлении финансовой системы современного типа.

Когда кризис наконец разразился, он имел кардинальные последствия. Согласно предложенной Национальным собранием Декларации прав человека и гражданина 1789 г., для содержания общественных вооруженных сил и покрытия административных расходов необходимы общие взносы, но теперь обязанность по их уплате должна равномерно распределяться между гражданами в соответствии с их средствами. Громадная, разветвленная система льгот и привилегий была отменена одним росчерком пера. Та же участь постигла и старинную систему таможенных пошлин, все еще отделявших одну провинцию от другой, и впервые Франция превратилась в единый рынок (и государство) с населением в 30 млн человек. С этого момента до возвращения к так называемым зонам свободной торговли в 1975 г. таможенные пошлины выплачивались только при передвижении из одного государства в другое и не действовали в пределах государства. При Наполеоне доход только от налогообложения собственности увеличился с 80 млн до 200 млн ливров. Кроме того, в то время уже существовавшее налоговое законодательство пополнилось целой серией новых налогов, таких как акциз, который со временем возненавидели почти также, как воинскую повинность, налог на соль, государственную монополию на табак и систему таможенных пошлин, действовавшую на протяжении всего XIX в. И, что еще важнее, налогообложение стало поистине государственным делом. Помимо того, что весь доход — включая получаемый из-за рубежа в виде военной добычи и репараций —

поступал в единую государственную казну, была также упразднена система, при которой часть денег, собранных в каждой провинции, можно было израсходовать только внутри самой провинции. В результате правительство впервые стало полностью контролировать свои финансовые ресурсы.

Британия, пережившая *свою собственную* революцию примерно веком ранее, управлялась на основе согласия высших классов, что позволяло выжимать доходы, не рискуя вызвать серьезное недовольство. Французские кампании 1689 — 1714 гг. стали необычайным достижением для страны с населением около 5,5 млн человек, долгое время находившейся на окраине цивилизации и только недавно пробившейся в ряды великих держав. Войны финансировались за счет целого ряда новых налогов, таких как налог ма собственность, налог на пиво и налог на окна, который был позаимствован у Нидерландов. Такой же налог был введен в американских колониях, что привело к строительству узких удлиненных зданий с окнами, выходящими во внутренний двор — такие дома до сих пор можно встретить в Чарльстоне, штат Южная Каролина. В 1692 г. Британия стала первой страной, заменившей откупщиков получающими жалованье сборщиками налогов, в результате чето резко сократилась доля доходов, теряемая в процессе сбора. Благодаря этому Англия гораздо успешнее управляла своими финансами, чем Франция. К 1714 г., несмотря на то, что государственная задолженность в три раза превысила годовой доход, процентные ставки стали снижаться.

Примерно к середине века Британское государство изымало около 20% доходов, получаемых в стране. Главным инструментом в этом деле были косвенные налоги, приносившие от двух третей до трех четвертей всех собранных денег. Роберт Уолпол, премьер-министр Великобритании в 1721 —1742 гг., как-то сказал, что люди, которые в иной ситуации визжали бы как свиньи, когда их режут, позволяют стричь себя как овец[360]. Ряд мер для достижения эффективности, как, например, учреждение в 1787 г. единого консолидированного фонда, куда стекался весь доход от таможни и акцизов, продолжали движение к современному государству с централизованной государственной казной. Поскольку ей не приходилось делить свой доход с держателями должностей, Британия, население которой было гораздо меньше, чем население Франции, смогла мобилизовать ресурсы, позволившие вести серию войн в масштабах всего мира (1740—1748, 1756—1763, 1776—1783), субсидировать необходимое количество союзников на континенте *и одновременно* легко справляться с возрастающим временем долга,

хотя он вел к умеренной инфляции. В 1799 г. Питт-младший, столкнувшись с необходимостью финансировать войну против Франции, чувствовал себя достаточно сильным, чтобы ввести 5%-ный налог на доходы свыше 200 ф. ст. в год. Учитывая, что неквалифицированный рабочий при полной занятости мог зарабатывать около 25 ф. ст. в год, а квалифицированный — вдвое больше[361], этот налог не являлся слишком тяжелым бременем. Однако он был первым в своем роде и ясно свидетельствовал, что в дальнейшем можно ждать только ужесточения.

В качестве последнего примера того, чего может добиться управляемое современное государство в деле ограбления своих граждан и концентрации финансовой власти в своих руках, рассмотрим случай Пруссии. Страна, как таковая, была несравнимо меньшей по величине и менее плодородной, чем Британия и тем более Франция. Около 1700 г. ее население насчитывало примерно 1 млн человек, что составляло лишь 6% французского населения. Кроме того, оно было разбросано по не имеющим общей границы провинциям, некоторые из которых еще не оправились после Тридцатилетней войны. Даже в 1740 г., когда на трон взо-шел Фридрих Великий, его доход от королевских владений, составлявших треть всех прусских земель, жестоко, но эффективно собиравшийся его отцом, королем-солдатом, составлял половину поступлений в королевскую казну. К концу его правления продолжающийся сбор ренты привел к увеличению дохода из этого источника с 3 млн до 7 млн талеров, но его доля в совокупных государственных доходах сократилась до одной трети. За тот же период общий доход вырос более, чем в 3 раза, в основном благодаря увеличению косвенных налогов[362].

В 50-е годы XVIII в. доходы Фридриха, в том числе и в виде разнообразных повинностей и *corvees*[363], которые продолжали обременять крестьян, по-видимому, поглощали около 34% национального продукта Пруссии. Этот показатель был гораздо выше, чем в любой другой стране в то время. Вскоре эти доходы получили существенное дополнение за счет британских субсидий[364]. Как и во Франции, самым важным налогом здесь был *Kontribution,* налог на доходы от земли, которым облагались в основном крестьяне, поскольку дворянство было от него освобождено. Хотя эта система не отличалась единообразием и была полна несообразностей, прусское государство при Фридрихе Великом имело некоторые преимущества в сравнении с Францией. С 1723 г. сбором налогов занимались исключительно наемные сборщики. Таким образом сдерживалась коррупция, больше собранных денег доходило до казны и, самое главное,

отпадала необходимость для государства платить проценты по займам, взятым у его собственных чиновников. Благодаря эффективной работе бюрократического аппарата, а также усилиям самого короля, стала доступной более точная информация об экономическом положении в различных провинциях и потенциальном доходе, который можно от них получать. Более того, с течением времени Пруссия все чаще следо-мала примеру Франции, вводя государственные монополии (на кофе, табак и соль), и Британии, полагаясь на косвенные налоги, дополнив прочие налоги, о которых упоминалось в связи с другими странами, налогом на все виды мяса, кроме свинины.

Несмотря на две крупные (1740—1748, 1756 —1763) и одну небольшую (1778—1779) военные кампании, после смерти Фридриха Великого в 1786 г. в государственной казне осталось 50 млн талеров, что примерно равнялось сумме доходов за два года и один квартал. Он так же содержал армию, насчитывавшую порядка 200 тыс. человек, которая была не только четвертой по величине в Европе (после французской, австрийской и русской), по и считалась самой лучшей. Наслаждаясь плодами его деятельности и, вероятно, опасаясь последствий продолжения такой политики, его преемники предпочли немного ослабить давление. Они отменили некоторые королевские монополии, отправили восвояси французских экспертов, занимавшихся этим вопросом, и перешли к более мягкой политике в отношении несчастных арендаторов королевских земель. За четыре года от профицита не осталось и следа, но Пруссия была по-прежнему платежеспособной и, что особенно примечательно, оставалась таковой даже в крайне тяжелые годы, которые последовали за поражением в войне против Наполеона. Тем не менее степень модернизации этого государства не следует преувеличивать. Так, единая казна, отвечающая за все доходы и расходы, была создана только благодаря реформам фон ІПтайна и фон Гарденберга, кроме того, сохранялись внутренние таможенные границы между различными провинциями, которые были отменены лишь в 1818 г.

Подводя итоги, следует отметить, что для рассматриваемого нами периода прежде всего характерно создание аппарата, позполившего государству обходиться без посредников и оказывать беспрецедентное давление на своих граждан. Данный процесс подразумевал обозначение границ, создание карт и сбор разнообразных статистических данных, в первую очередь о населении, его собственности, производстве и доходах. По мере того, как пра-нительство разрасталось, пополняя свой штат все новыми чиновниками и ставя перед собой новые задачи, личные

средства правителя естественным образом утрачивали былую роль в совокупном бюджете страны и со временем вовсе потеряли всякое значение. Это изменение отразилось на способе выполнения финансовых обязательств. Эразм полагал, что существенную долю финансового бремени подданных составляло содержание двора и поэтому в своих трактатах призывал государя-христианина жить в скромности. Людовик XIV иногда был вынужден продавать свое столовое серебро (в том числе любимый набор из 5 тыс. серебряных солдатиков), чтобы оплачивать свои военные предприятия. Но когда в 1689 г. Вильгельм III Английский прибыл из Голландии, невозможно было ожидать, что он будет следовать примеру своего предшественника. В результате он стал первым в истории монархом, который не нес личной ответственности за задолженность своего государства. В 1770 г. был сделан последний шаг, когда король и страна были полностью отделены друг от друга.

По новой системе почта, учрежденная еще Кромвелем в 1652 г. и являвшаяся королевской монополией со времен Реставрации, а также все еще принадлежавшие короне земли отошли государству. Взамен Парламент назначил королю Георгу III годовое содержание в размере 800 тыс. фунтов на покрытие расходов на содержание двора. Похожую реформу впоследствии провели и в других странах, как, например, во Франции после революции и в Пруссии в 1820 г.[365] Здесь стоит добавить, что несмотря на то, что больше не существовало связи между собственностью государства и частной собственностью правителя, последняя по-прежнему оставалась солидной и в большинстве случаев имела привилегированный статус. Так, королева Великобритании, самый богатый человек в стране, подобно всем остальным, начала платить подоходный налог только с 1993 г.

История развития налогообложения отмечена постепенным переходом от косвенных налогов к прямым, приносящим больший доход, несмотря на то, что их труднее собирать. К этому следует добавить растущую прибыль от государственных монополий, к которым во многих странах с 30-х годов XIX в. относились, в частности, железные дороги. В одной стране за другой система расширялась, льготы отменялись, и в ее орбиту включались все новые провинции. Между тем, упразднялись внутренние таможенные границы, учреждались централизованные фонды, куда поступали все доходы, и отменялись всяческие привилегии, несмотря на то, что порой это происходило либо путем кровавой революции, либо через поражение в войне. За один лишь период с 1760 по 1820 г. номинальная сумма собранных в казнуналогов

увеличилась в 4 раза в Австрии, в 4 раза во Франции и в 6 раз в Великобритании[366]. Разумеется, все это было бы невозможным, если бы не реформа государственного управления, в ходе которой покупаемые должности были заменены оплачиваемыми, и профессионализм, все в большей степени базирующийся на университетском образовании, заменил классовую принадлежность, имущественное положение и связи в качестве основного средства продвижения по службе. Чтобы осуществить свои претензии, государству необходимо было нарастить находящиеся в его распоряжении средства насилия до такой степени, что не останется ки одного противника, способного обратить процесс вспять. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Монополизация насилия

В Средние века война велась не от имени государства, которого тогда не существовало, а была как бы сращена с самим обществом. Армия и, тем более флот, являющийся чрезвычайно капиталоемким предприятием, не существовали как самостоятельные организации. Война была занятием высших слоев общества, члены которых, облаченные в доспехи и не представлявшие никого, кроме собственных интересов и собственного чувства справедливости, сражались друг с другом, когда того требовала ситуация. Как и в племенах без правителей, вождествах и городах-государствах, современная «триада», состоящая из правительства, занимающегося политикой, вооруженных сил, сражающихся и умирающих, и гражданского населения, которое предположительно пользуется неприкосновенностью при условии, что оно не вмешивается в происходящее, не существовала в своем нынешнем виде. Рыцарские идеалы того времени заставляли любого правителя сражаться в первых рядах войск, и, как мы видели, они нередко погибали или попадали в плен, что практически не оставляло им возможности управлять государством. В то же время народ вообще едва ли считался частью общества. Он относился к войне, как к природному катаклизму, чуме или голоду (отсюда символ четырех коней апокалипсиса), наблюдал за тем, как знать сражается между собой, и, конечно, часто расплачивался за войну.

История перехода от феодальных воинств к наемным войскам, а затем и к регулярным государственным армиям и флотам, возникшим после 1648 г., рассказывалась уже неоднократно[367]. Отправной точкой здесь может послужить появление пороха, изобретенного в Китае, который, по всей вероятности, был принесен в Европу то ли монголами, то ли арабами через Северную Африку и Испанию. Как бы то ни было, разрозненные сообщения о нем содержатся в источниках, датируемых второй половиной XIII столетия[368]. Пушка или подобные ей шумные орудия, вероятно, основанные на действии пороха, впервые упоминаются в связи с битвой при Креси, произошедшей в 1348 г. между французами и англичанами. Вскоре после этого события такое оружие стало применяться в осадной войне[369]. С конца XIV в. множатся письменные изображения, а самые ранние из сохранившихся в наши дни образцов оружия, как, например, знаменитая пушка Монс Мег в

Эдинбургском замке, датируются серединой XV в. Хотя холодное оружие и механические метательные орудия не исчезли сразу, на протяжении всего периода роль пороха возрастала. К концу Столетней войны французский король систематически использовал артиллерию, в частности, в ходе отвоевывания Нормандии. Падение Константинополя в 1453 г. свидетельствует о том, что к тому моменту на земле не осталось ни одной крепости, которую нельзя было бы взять с помощью пороха.

Тем не менее в долгосрочном плане появление пороха не оказало столь сильного влияния на соотношение наступления и обороны, как это нередко предполагается[370]. Напротив, оно заставило обороняющуюся сторону искать новые способы возведения крепостей, чем во второй половине XV в. были заняты лучшие умы, такие как Леонардо, Микеланджело и Альбрехт Дюрер. К 1520 г. после многих неудачных попыток итальянский инженер Микель Сан-Микеле нашел решение. В основе своей оно состояло в замене средневековых высоких и тонких стен-перегородок на чрезвычайно толстые, приземистые стены, врытые в землю. В то же время место башен заняли угловые сооружения, известные как бастионы, выступавшие из стен и служившие прикрытием как для стен, так и друг для друга[371]. Новые укрепления были гораздо больше своих средневековых предшественников, и по мере того, как росла дальнобойность пушек, они становились все больше и больше. К XVII в. такие сооружения вышли за пределы Италии, и целые их пояса выросли вдоль границ Франции, Нидерландов и Священной Римской империи. Даже англичане, опасаясь испанского вторжения, построили несколько подобных укреплений, которым было суждено так и остаться неиспользованными благодаря победе над испанской Армадой.

Новые крепости не только были больше, чем те, что строились раньше, но и обходились гораздо дороже. Средневековый замок, несмотря на то, что стоил он недешево, был доступен достаточно большому кругу людей. В одной лишь Франции известно около 10 тыс. замков, от большей части которых остался лишь внутренний двор, башня или ров. Различные представители знати строили себе замки, при этом на разницу между самым могущественным монархом и последним бароном или графом указывал не столько иид возводимых ими замков, сколько количество замков, часто разбросанных по далеко отстоящим друг от друга владениям. Ситуация изменилась с изобретением и последующим распространением так называемого *trace* italienne[372]. Теперь укрепления стали доступны только самым богатым и могущественным правителям,

а большой размер приводил к тому, что их теперь стали строить не па вершинах холмов, как прежде, а на равнинах или даже на со-вершенно плоской местности, как, например, в Голландии[373].

Помимо того, что замки знати остались беззащитными перед пушками, ее позиции в военном отношении были ослаблены и в других аспектах. Основу средневековых армий составляла кавалерия, что коренным образом отличало их от армий античности. Вооруженные всадники при наличии подходящей местности для сражения имели огромное преимущество над другими воинами, вплоть до того, что пехота, тоже входившая в состав войска, зачастую даже не упоминается в исторических хрониках, так как ее роль на поле боя сводилась к тому, чтобы пасть от руки более тяжеловооруженных, высоких и быстрых конных рыцарей. Однако в XIV в. центральное положение кавалерии стало утрачиваться и связи с повторным появлением на поле боя двух древних видов оружия — пики и большого лука. И то, и другое применялось такими сравнительно жестокими народами, как валлийцы, шотландцы и швейцарцы, населявшие страны, гористая местность которых не подходила для успешных маневров кавалерии. Оба этих вида оружия требовали создания военных формирований, общей чертой которых была четкая дисциплина, благодаря которой они могли сохранять построение перед лицом атакующего противника. Со времен битвы при Моргартене в 1315 г. такие формирования стали создаваться все чаще и чаще и демонстрировать, что они могут противостоять атаке рыцарской конницы. Рыцари, в свою очередь, пытались ответить на вызов, нагромождая все больше и больше доспехов, что делало их снаряжение намного дороже, в результате чего сам успех этого процесса, если его удавалось достичь, обесмысливал его. Примерно после 1550 г. они просто сдались и стали постепенно отказываться от полного комплекта доспехов, начиная с ножных. Те доспехи, которые все еще изготавливались, были предназначены в основном для использования во время турниров, которые к тому времени превратились в чрезвычайно разработанные церемонии, имевшие исключительно развлекательное значение.

Переход от средневекового военного порядка, помимо развития военных технологий, был вызван еще и финансовыми изменениями. Еще в XIII в. возрождение городской, коммерческой экономики привело к тому, что у людей на руках появились деньги. В результате правители иногда освобождали своих вассалов от обязательства участвовать в войне в обмен на «щитовые деньги», или скутагий (от лат. *scutagium)*. На собранные таким образом деньги можно было привлечь наемных воинов[374];

и ко второй половине XV в. наемные войска полностью заменили своих феодальных предшественников за исключением, пожалуй, только высшего командования. Формирование войска теперь осуществлялось путем уполномочивания определенного предпринимателя, который вербовал, одевал, вооружал и обучал солдат. Кроме того, считалось, что, сделав это, он должен командовать ими на войне. За все это предприниматель получал хорошие деньги от своего нанимателя, которые он распределял между собой и своими подчиненными, стараясь при этом отхватить себе как можно больше[375].

В XVI в. по примеру сначала швейцарцев, а затем испанцев, армии состояли в основном из больших отрядов (известных как *Haufen* или *tercios)* пехотинцев, вооруженных пиками и аркебузами и организованными на основе взаимной защиты отрядов, вооруженных различными видами оружия. Полевая артиллерия развивалась медленнее. Изначально это оружие было тяжелым, а его скорострельность и радиус поражения — минимальными, однако после 1494 г. эти ограничения начали постепенно преодолеваться. Пушки, которые в отличие от прежней практики были помещены на передвижной лафет, теперь стали появляться на поле боя во все возрастающем числе. Кавалерия по-прежнему оставалась в составе армии, несмотря на то, что ее эффективность в качестве ударной силы, равно как и численность по отношению к другим родам войск, сократилась. Чем больше все три рода войск принимали вид, соответствующий Новому времени, тем больше исход битвы зависел от умения координировать их действия, применяя каждый из родов войск таким образом, чтобы поставить противника перед неразрешимой дилеммой: например, демонстративно атаковать врага кавалерией и тем самым вынудить его построиться и каре, чтобы потом расстрелять эти каре из пушек. Именно таким образом действовали мастера тактики, такие как Гонсальво до Кордова, Морис Нассау и Густав Адольф. Все трое прекрасно осознавали необходимость совместного использования родов поиск, а Морис Нассау и Густав Адольф с этой целью постояно экспериментировали с меньшими по величине формированиями и более легким оружием.

Поскольку государства в современном понимании этого слова еще не существовало, цели, ради которых велись войны, не претерпели больших изменений по сравнению с периодом Средневековья. Такие правители, как Карл V, Франциск I и их современники, сражались друг с другом за право управлять той или иной провинцией. Личный характер их конфликтов демонстрирует тот факт, что император неоднократно вызывал соперника на дуэль; кроме того, мирные договоры,

подписывавшиеся по окончании каждой войны, нередко включали положения о заключении брака между различными членами семей враждовавших сторон — их сыновьями, дочерями, сестрами и т.д. — для того чтобы произвести наследника, который, как ожидалось, будучи потомком обеих сторон, смог бы разрешить проблему, которая привела к войне. На более низком уровне тот факт, что армии формировались полностью или частично независимыми предпринимателями, позволяет объяснить ту волну гражданских войн, которая прокатилась по Англии, Франции и Германии. Армия наемников, нередко возглавляемая таким же наемным командующим, сохраняла верность правителю только до тех пор, пока он им платил. Как только выплаты прекращались, солдаты могли поднять мятеж, перейти на сторону противника и атаковать своих или же просто разойтись по домам[376].

Кульминация была достигнута во время Тридцатилетней войны, явившей одновременно конец старой и начало новой системы. Как известно, война началась с того, что император из династии Габсбургов решил вернуть себе прежнюю власть в Германии и по возможности во всей Священной Римской Империи в целом. Однако вскоре война превратилась в всеобщую потасовку, в которой император, короли, правители территорий всех рангов, религиозные союзы, свободные города, а также уполномоченные и неуполномоченные военные предприниматели (многие из которых мало отличались от грабителей, и нередко с ними именно так и обращались, если они отказывались перейти на нужную сторону) сражались друг с другом всеми доступными средствами. Все они, разумеется, занимались этим за счет крестьянских полей, садов и домашнего скота, что позволяло армиям на марше поддерживать существование за счет окружающей местности, не говоря уже о том, чтобы удовлетворять естественные потребности доблестных воинов в том, чтобы грабить, поджигать и насиловать. Те крестьяне, которые не желали давать себя в обиду и организовывали оборону, тем самым просто становились участниками общей свалки. Таким образом, на протяжении 30 лет большая часть Центральной Европы была буквально затоплена войной.

В конце концов на смену хаосу пришел порядок. После подписания Вестфальского договора значительная часть наемных воинов, принимавших участие в войне, была отправлена домой, а остальные пополнили ряды постоянных армий, известных тогда как *militia* perpetua[377]. Офицеры же не сразу перестали быть предпринимателями. Так, например, во Франции лишь где-то к середине века воинские части перестали называться по именам их

командиров и была отменена покупка военных чинов, в то время как в Великобритании соответствующие изменения были проведены лишь в ходе реформ Кардвелла в 1874 г. Тем не менее на протяжении всего переходного периода роль офицеров как предпринимателей постепенно сужалась. Такие функции, как вербовка на военную службу и ведение списков солдат, обеспечение их военным снаряжением и формой, выплата жалованья и продвижение по службе, были сосредоточены в руках новообразованных военных министерств. Превращение предпринимателей в офицеров — условием для получения офицерского назначения со временем стало окончание военной академии — сделало последних верными слугами государства. В то же время переход от наемников к солдатам регулярной армии с длительными сроками службы сделал возможным повышение дисциплинированности рядового состава. Практически исчезли толпы неуправлямых оборванцев, которыми кишела Европа на протяжение века до 1648 г. Французский генерал Мартинэ прославился тем, что за каждую утерянную пуговицу или плохо сидящую подвязку наказывал палками, а его имя стало нарицательным.

К этому времени сам характер войн, которые раньше велись по личным причинам, стал меняться, и война все больше и больше становилась делом безличного государства. Английская королева Елизавета I нередко заключала коммерческие соглашения с целью ограбления заморских испанских владений со своими подданными, самыми видными из которых были Френсис Дрейк и Уолтер Рейли[378]. Спустя 100 лет после ее смерти о таких соглашениях не могло быть и речи, а уже в первой половине XVIII в. окрепло убеждение, что в той степени, в которой монарх развязывает войну ради собственного обогащения, он мало отличается от преступника[379]. Укрепляющаяся монополия государства на ведение войны проявляла себя и в заморских владениях. На протяжении всего XVII в. неоднократно случалось так, что две страны воевали друг с другом в Европе, но не в колониях, и наоборот. Так, например, между Испанией и Нидерландами было заключено перемирие на 12 лет, с 1609 по 1621 г., которое действовало только в пределах Европы. После 1714 г. такая ситуация больше не имела места. Различные Вест- и Ост-Индские компании все в большей степени рассматривались лишь как продолжение правительственного аппарата тех стран, где они находились, и это все более и более соответствовало действительности.

Еще одной сферой, в которой нашел отражение сдвиг от личной войны, ведущейся правителем, к безличной войне,

ведущейся от имени государства, стало изменение отношения к военнопленным. Раньше они рассматривались как частная собственность того, кто взял их в плен, и чтобы освободиться из плена, они должны были заплатить за себя выкуп. Пока это не было сделано, новые хозяева пленных могли их обменивать, продавать или каким-либо другим способом зарабатывать на них, поэтому часто возникали споры по поводу того, кто кого взял в плен. Однако всему этому был положен конец после того, как была создана постоянная армия, а военная мощь сосредоточилась в руках правителя. После войны за испанское наследство пленные были изъяты из рук частных лиц. О сумме выкупа теперь договаривались не пленные и те, кто их захватил, а воюющее государство со своим противником на основании принятого прейскуранта: столько-то за рядового, за капитана и т.д. вплоть до *marechal de France*[380][381]. После Семилетней войны уплата выкупов тоже была отменена. Из товара на продажу пленные превратились в гостей государства-противника, но кроме офицеров, которые сами могли позаботиться о собственном обустройстве (захваченных членов командования противной стороны освобождали в обмен на их обещание не принимать участия в военных действиях), мало кто чувствовал себя уютно на новом месте.

Превращение личных войн в безличные привело также к появлению новой правовой категории — раненых. Конечно, война и раньше приводила к увечьям, но прежде раненые не имели никаких особых прав; они просто покидали поле боя, довольные тем, что остались живы. Еще во времена Гуго Гроция, т.е. в первые десятилетия XVII в. вопрос о даровании пощады побежденному предоставлялся на полное усмотрение победителя. Однако эволюция в направлении регулярной армии, происходившая в конце XVII в., привела к появлению идеи о том, что воины с обеих сторон являются не преступниками, преследующими какие-то низкие цели, а просто людьми, выполняющими свой долг перед своим сувереном или государством. И если такие люди оказались выведены из строя, то нет никакого смысла в том, чтобы наказывать их дополнительно — и действительно, в XVIII в. специалисты по международному праву сочли эту мысль нелепой. Поэтому стало относительно легко достичь соглашений — сначала двусторонних, а затем и многосторонних — предусматривавших неприкосновенность раненых во время последующих военных действий при условии,что они прекратили сражаться, а также медицинскую помощь и даже предоставление специальных убежищ, где они не могли быть подвергнуты нападению, иначе говоря, им предоставлялась наилучшая при

имевшихся обстоятельствах защита[382].

С 1660 г. отношение к военнослужащим как слугам государства также начало сказываться на том, как чтилась память о войне и как она увековечивалась в памятниках[383]. Со времен египетских фараонов до эпохи Контрреформации злорадное торжество представляло собой одну из наград за победу. Так, например, уже известный нам Тиглатпаласар III хвастался, что сажал своих врагов на кол и отрубал им руки[384]. Скульпторы того времени часто изображали огромное количество сраженных врагов или издевательства над пленными. Тот же Тиглатпаласар III, его предки и потомки заказывали рельефы с изображением захвата ими городов по всему Ближнему Востоку, и эти произведения украшали дворцы Ниневии и других городов. Такие обычаи существовали не только на «варварском» Востоке. На рельефе колонны Траяна, одного из самых гуманных римских императоров, которая находится на форуме, носящем его имя, при желании можно разглядеть, как обезглавливают пленных из Дакии.

Однако во второй половине XVII в. такое проявление радости одних от страданий других стало считаться дурным тоном. Памятники победе или полководцу по-прежнему возводились, как, например, Бранденбургские ворота в Берлине и колонна Нельсона на Трафальгарской площади в Лондоне. Но теперь на них редко изображался терпящий поражение противник и, тем более, пытки, издевательства и казни. Все это, безусловно, имело место но время и европейских, и уж тем более колониальных войн — например, во время Второй мировой войны солдаты американских поиск в Тихом океане иногда в качестве трофеев отрезали у японцев уши[385]. Но даже в нацистской Германии принимались специальные меры, чтобы скрыть зверства от взора публики, а если этого не удавалось сделать, то объяснить жестокость либо военной необходимостью, либо свалить вину на противника, который первым нарушил правила.

Поскольку многие главы государств перестали лично командовать войсками, возникло современное различение между правительством, которое «ведет» войну на высшем военно-политическом уровне, и вооруженными силами, которые сражаются и погибают. К середине XVTII в. личную собственность правителей можно было легко отличить от государственной собственности. Следовательно, она стала священной, поэтому, когда во время Семилетней войны Фридрих II в порыве гнева захотел разрушить замок одного из своих австрийских противников, он столкнулся с сопротивлением со стороны своих собственных генералов[386]. О том, что война переставала быть

делом личным, также свидетельствовало то, что воюющие друг с другом монархи теперь обращались друг к другу не иначе, как *monsier mon frere** и обменивались изысканными комплиментами. Дело весьма далеко ушло от тех далеких дней, когда, например, Франциск 1иГенрих VIII, готовясь к встрече на Поле Золотого Руна, должны были появиться в сопровождении заранее оговоренного количества вооруженных слуг из опасения быть похищенными или убитыми.

Одновременно с происходившим разделением между правительством и вооруженными силами, введением военной формы создавалась и еще одна сторона «троицы» — гражданское население, которое было отстранено от ведения войны. Целью введения военной формы, ведущей свое происхождение от давно существовавшей ливреи слуг королей и прочей знати, не было установление различия между воюющими сторонами. На самом деле, после отказа от рыцарских доспехов и сосредоточения военных дел в руках государства целью военной формы было различение тех, кто имел право сражаться от имени государства, и тех, кто такого права не имел. С 1660 г. стала нормой униформа, сильно отличавшаяся и от роскошных костюмов высших классов, и от более скромной одежды горожан. Военная форма никогда не играла чисто утилитарную роль и со временем она становилась все более изысканной, поскольку правители соперничали друг с другом в отношении того, кто сможет облачить своих солдат наиболее впечатляющим образом. Военная одежда достигла пика великолепия в период 1790—1830 гг. Позднее из-за развития скорострельного оружия униформа постепенно становилась все менее пышной, но четкое внешнее отличие гражданского населения от военного — один из краеугольных камней современного государства — осталось и должно было сохраняться любой ценой.

Впрочем, костюм был далеко не единственным отличительным признаком военных. Раньше вооруженные силы, за исключением тех, которые отвечали за безопасность правящих особ и поэтому, разумеется, постоянно жили в замке, дворце или неподалеку от них, требовались лишь на время войны. Теперь, когда армия стала постоянной, солдатам необходимо было где-то жить, что привело к тому, что в одной стране за другой стали возводиться казармы. В казармах, где им приходилось жить в тесном соседстве друг с другом, солдаты и их командиры, срок службы которых подчас измерялся десятилетиями, начали создавать свою собственную культуру. Прошли те времена, когда воины представляли собой общество как таковое, как это было в Средние века, в прошлом осталось и то время, когда они

считались изгоями общества, как это было на протяжении почти всего XVI и в начале XVII в. Профессиональные же армии XVIII в. и в значительной степени ее преемники вплоть до сегодняшнего дня представляли собой автономные социальные группы, которые во многих отношениях стояли в стороне от «гражданского» общества и, разумеется, считали себя выше его[387]. В этот период развились отдельный свод военных законов, военные традиции, такие как салют и офицерская дуэль, и даже особая манера поведения. Поэтому, например, сегодня американским офицерам, как представителям государства, запрещаются такие «женоподобные» формы поведения, как ношение зонтика или катание детской коляски. Вскоре чувство солидарности, возникшее изначально внутри каждой страны, распространилось за их пределы, и солдатская служба (от нем. *soldat,* т.е. тот, кто получает *Sold,* жалование) стала профессией со множеством международных связей.

На протяжении всего XVIII (и XIX) в. усиливающееся разделение между вооруженными силами и обществом проявило себя в двух противоположных тенденциях. С одной стороны, армии все больше принимали на себя те задачи, которые раньше выполняло для нее гражданское население на основе контрактации, такие как строительство, снабжение, администрирование, оказание медицинских и даже духовных услуг — все это все в большей степени брали на себя люди в униформе, подчиняющиеся военной дисциплине. С другой стороны, развивающийся свод международного права (так называемого «права народов»), как правило, запрещал людям, не носящим форму, принимать участие в распрях правителей. Первоначальная идея состояла в том, чтобы запретить военным обеих сторон грабить мирных жителей или, точнее говоря, запретить им заниматься грабежом в своих интересах, не принося ничего армии, в которой они служат. С этой целью правители таких стран, как Франция, Священная Римская Империя и Пруссия, заключили ряд двусторонних соглашений. К середине XVIII в. это стало системой, даже философией, согласно которой ужасы войны не касались гражданского населения, если оно вело себя сдержанно и исправно платило правителям. Как сформулировал величайший юрист XVIII в. Эммерик Ваттель, война должна вестись исключительно суверенными правителями от имени своих государств. Вмешательство других лиц само по себе является правонарушением и заслуживает порицания и наказания[388].

К тому времени уже давно было достигнуто состояние, когда одетым в военную форму, подчиненным жесткой дисциплине

государственным вооруженным силам с их тяжелой кавалерией, пушками и хорошо организованными ружейными залпами мушкетов можно было противопоставить только подобные же организации. С 1700 г. благодаря усиливающейся способности государства поддерживать внутренний порядок и стабилизации экономики практически отпала необходимость использовать полевые войска для решения внутренних задач. Это стало типичной задачей легкой кавалерии — «драгунов» (отсюда слово *to dragoon* — принуждать).

В 1795 г. потребовался лишь «легкий залп крупной картечи», чтобы разогнать толпу, угрожавшую французскому Национальному собранию. Однако за все приходится платить. Войска, предназначенные для сражения с такими же войсками, обычно располагались на границах, а не в городах, где как раз могли происходить волнения, и у них не было особых навыков для усмирения внутренних беспорядков. Наконец, по мере приближения к концу века, правительства получали все больше возможностей, чтобы следить за передвижением своих граждан и в случае необходимости не дать им перейти границу. Поэтому возникла тенденция принимать на службу, как правило, своих соотечественников, а не иностранцев; это, в свою очередь, ограничивало возможность применения войск против своих граждан, поскольку всегда существовал риск, что они применят свои штыки против властей, а не в их защиту[389].

Эти изменения, с одной стороны, отражали, а с другой — делали необходимым разделение вооруженных сил и полиции — другого орудия современного государства, состоящего из одетых в униформу людей и ничуть не менее важного, чем вооруженные силы. В Западной Европе этот термин впервые применил Мельхиор фон Оссе, который примерно в 1450 г. служил канцлером при курфюрсте Саксонском. Для него, как и для Николя де Ламара, опубликовавшего «Трактат о полиции» в 1750 г., это слово означало просто «общественный порядок». Еще в 1770-е годы в этом и только в этом значении его использовал Гектор Кревекур в своих «Письмах американского фермера». Организация полиции отражала рост городов. Со времен Средневековья в городах трудилось множество мелких служащих, таких как фонарщики, ночные сторожа, смотрители рынков и скотобоен, стражники и тюремщики, т.е. работники во всех сферах низшего уровня муниципального управления[390]. Большинство из них не были муниципальными служащими и не получали заработную плату, поскольку, как и везде, эти должности покупались ради будущих доходов. Обычно они заключали контракт с городскими властями подобно тому, как

сегодня компании получают лицензию на перебуксировку неправильно припаркованных машин. Это означало, что они получали вознаграждение за счет поступлений, собираемых в процессе выполнения своих функций, а тюремные охранники — за счет заключенных и их семей. Другие, как «ловцы воров» и Англии, образовывали частные гильдии и жили за счет доли от позращенных ценностей, нередко украденных ими самими. Известен случай с лондонским рэкетиром Джонатаном Уайльдом, произошедший около 1725 г. Он не только был главарем целой группировки воров, за деньги возвращавших украденные вещи владельцам, но также отлавливал «не уполномоченных» воров (другими словами, тех, кто действовал без его разрешения и не делился с ним своей добычей) и передавал их в руки властей.

Помимо городских служащих существовали различные организации, поддерживавшие порядок в сельской местности. В Англии с давних пор существовали шерифы и констебли; первые являлись неоплачиваемыми служащими в графствах, вторые были избираемыми должностными лицами и оплачивались за счет налогообложения приходов. В других странах губернаторы провинций имели в своем распоряжении стражу, которая имела отчасти общественный, а отчасти частный характер. Возглавляемая специальным чиновником, известным во Франции как *прево (prevot),* стража могла использоваться для подавления беспорядков, поддержания общественной безопасности, расследования уголовных дел и т.п. Все эти силы были полупрофессиональными и привязанными к тому региону, где они создавались. Только и 60-х годах XVTII в. появилась первая национальная полиция, французская *marechaussee*[391]. Как следует из названия, изначально это был дорожный патруль, в чьи обязанности входило предотвращение грабежа на больших дорогах. Эта организация была очень мала в сравнении с силами, которые содержал король для ведения войны с внешним врагом. В стране с населением около 26 млн человек королевские вооруженные силы могли насчитывать до 400 тыс. человек, и даже в мирное время эта цифра редко опускалась ниже 200 тыс. А в *marechaussee* служили всего 3 тыс. человек, разбитых на 30 рот по сто человек в каждой. Ее немногочисленность компенсировалась необычайно роскошной формой — эта тактика впоследствии была позаимствована аналогичными организациями в других странах, в частности, итальянскими *carabinieri.*

К этому времени в Париже уже был свой *leutenant general de police*[392] с 20 подотчетными ему окружными комиссарами и штагом 700 человек, треть из которых были верховыми. Эта

система, появившаяся во второй половине XVII в., вскоре была воспроиз-Ведена и в других местах; в городах среднего размера, таких как Лион или Бордо, стража могла насчитывать несколько десятков человек, и даже маленький провинциальный городок с какими- нибудь 50 тыс. жителей обычно имел 4—5 полицейских для поддержания закона и порядка в черте города и в его окрестностях общей площадью около 250 кв. км. Назначение этих *chefs de police*[393] находилось в ведении мэров городов, которые, как уже упоминалось, сами больше не избирались, но назначались интендантами от имени короля. Все эти полицейские силы имели весьма широкий круг обязанностей, от контроля за соблюдением общественной санитарии и поддержания порядка на рыночных площадях до присмотра за бродягами, не считая полицейской работы в узком смысле слова.

Одним из первых правителей, попытавшихся учредить Управление полиции *(Polizeidirektion),* был император Иосиф II Австрийский, взошедший на престол после своей матери в 1780 г. и проводивший политику централизации[394]. Изначально в этом управлении работало только два служащих под руководством своего начальника, некоего Франца фон Беера. Однако вскоре расширился и штат, и сферы деятельности нового ведомства, и в итоге его местные отделения распространились по всей империи. Однако попытка Беера учредить единую организацию по всей стране, которая занималась бы всеми видами полицейской деятельности, встретила сопротивление со стороны австрийских генеральных штатов, разглядевших в этом угрозу своим свободам, поэтому идею пришлось оставить. Потерпев неудачу в этом, фон Беер и его люди занялись, главным образом, государственной безопасностью, включая деятельность так называемого *cabinet noir*[395], специализирующегося на вскрытии писем лиц, подозреваемых в политических преступлениях, а также иностранных послов. Рутинные полицейские дела, не считавшиеся представляющими угрозу режиму, по-прежнему велись различными провинциальными и муниципальными властями, если необходимо — при поддержке вооруженных сил. Эта ситуация начала меняться только после неудавшейся революции 1848 г.

Слава создания первой общенациональной полиции, отвечающей за все виды внутренней безопасности, принадлежит Наполеону. Начиная с 1799 г. он систематически объединял друг с другом различные существовавшие полицейские силы и подчинял их одному министру, Жозефу Фуше. Коварный гений — он определенно не был чужд заговоров против императора, перед которым ежедневно отчитывался, — Фуше превратил свое

управление в обширную организацию; количество одних лишь *commissaires de police*[396] в провинциях за 10 лет увеличилось в 4 раза по сравнению с 30 в момент создания империи. Но облаченная в форму полиция, присутствие которой отныне ощущалось в каждом округе и городе, была лишь вершиной айсберга. Скрытой от общественного взгляда была служба безопасности *Surete,* созданная и 1810 г. и первоначально возглавлявшаяся беглым головорезом и раскаявшимся преступником Франсуа Видоком, не говоря уже об имевшихся там в большом количестве *mouchards*[397] — профессионалах, полупрофессионалах и любителях. Набираемые из числа представителей низших слоев общества — консьержей, лакеев, парикмахеров, проституток и т.п. — они заполнили все уличные перекрестки, кофейни и приемные. Они собирали огромное количество информации, по большей части слишком тривиальной, чтобы ее можно было использовать[398].

Следом за полицией вскоре появился еще один характерный институт современного государства — тюрьма. Политические сообщества, существовавшие до появления государства, редко прибегали к такому методу наказания, достаточной причиной чего была дороговизна тюремного заключения и необходимость брать на себя долгосрочные обязательства. Этот метод применялся лишь по отношению к важным особам, которых по тем или иным причинам не хотели казнить, как, например, в Древнем Риме, когда Август заключил под стражу своих дочь и внучку[399]. Под стражу заключали также тех, кто ожидал суда. Как и в случае других должностей, управление тюрьмами часто осуществлялось на контрактной основе теми, кто стремился заработать на выплатах от несчастных узников. При отсутствии хорошо развитой бюрократической системы, позволявшей реализовать приговоры к длительному тюремному заключению, наказания, назначенные судьями, должны были осуществляться сразу и без лишних затрат. Чаще всего наказанием служили штрафы, конфискация имущества, унижение (провинившегося либо ставили к позорному столбу, либо заставляли носить какой-нибудь постыдный предмет одежды), изгнание, телесные наказания, увечья и, конечно, казни. Последние рассматривались как поучительное представление, которое устраивали власти для пользы своих подданных. В середине XVIII в. казни могли осуществляться одним из множества известных методов. Истории Франции известен случай несостоявшегося цареубийцы, которому вначале выдрали куски плоти, затем в образовавшиеся раны залили различные кипящие жидкости, а после этого четвертовали с помощью лошадей (чтобы облегчить последним выполнение

этой работы, его вначале разрезали на части) и, наконец, его останки сожгли, а пепел развеяли, так, чтобы от него ничего, совсем ничего не осталось[400].

Однако в течение последующих 50 лет государство стало таким могущественным, что демонстрация жестокости вместо того, чтобы подчеркнуть его (государства) силу, обычно вызывала лишь сочувствие к жертве. Государство, поддерживаемое просвещенческой верой в добрую природу человека и побуждаемое реформаторами, такими как Иеремия Бентам и его итальянский коллега, *philos-ophe* Чезаре Беккария[401], стремилось не просто наказать преступников. Вместо этого оно все больше было склонно рассматривать их деяния как пятно на собственной репутации и, следовательно, взяло на себя решение намного более сложной задачи по их исправлению, поручив это своим служащим, работающим в специально созданных учреждениях. Использовались такие методы, как изоляция, вынужденное молчание (как считалось, и то, и другое полезно для души), строгий распорядок дня и, главное, работа[402]. Историки прослеживают истоки современной тюремной системы до некоторых прототипов XVII в., таких как сиротские и работные дома, куда магистраты протестантских городов иногда отдавали подкидышей и разных мелких правонарушителей[403]. Еще одним образцом для создаваемого института тюрьмы стали армия и особенно флот; каждый раз, когда разражалась война, обычно очередную группу преступников выпускали на свободу и одевали в униформу. Рядовой состав галерного флота, например, того, который содержал Людовик XIV, почти полностью был укомплектован осужденными[404]. И вооруженные силы, и работные дома воспринимались как способ освободить общество от преступников, включая тех, кто совершил тяжкое преступление и был приговорен к смерти, но помилован, продолжая в то же время использовать их труд.

Иосиф II, умерший в 1790 г., практически отменил смертную казнь, заменив ее тюремным заключением и исправительными работами в виде буксировки барж по болотистым равнинным рекам Венгрии. Когда 20 лет спустя вступила в силу уголовная часть Кодекса Наполеона, она сделала лишение свободы основным видом наказания, занимавшим промежуточное положение между штрафом и смертной казнью. Начиная приблизительно с 1800 г. тюрьмы, располагавшиеся либо в специально построенных зданиях, либо (как это часто было во Франции и Австрии) и зданиях, конфискованных у церкви и приспособленных для но-пых целей, постепенно усеяли европейский пейзаж. Была создана сложная иерархия, которая как

будто пародировала структуру правительства. Пример подал Фуше, который учредил *maisons de police*[405] (являвшиеся низшей ступенью), *maisons d'arret*[406] и *rnaisons de correction*[407]. Высший уровень составляли несколько особенно престижных *maisons centrales*[408]*;* в них находили свое бюлее- менее постоянное пристанище закоренелые преступники и лица, считавшиеся опасными для государства. Как только тюрьмы открыли свои двери, их аппетиты оказались беспредельными. Ут-нерждается, что за 40 лет, прошедших с момента падения *ancien regime*[409] до установления Июльской Монархии число узников, единовременно содержавшихся под стражей, возросло в 10 раз[410]; подобным образом развивалась ситуация в странах, находившихся под управлением Франции с 1794 по 1814 г.[411]

С созданием регулярных войск, полиции (как в униформе, так и в штатском) и тюрем фактически было завершено формирование великолепного здания современного государства. Спустя полтора столетия после окончания Тридцатилетней войны доминирование государства в сфере внешних конфликтов достигло такой степени, что войну стали определять как «продолжение политики иными средствами»[412], в то время как попытки более мелких групп и отдельных людей использовать насилие в *своих* целях получили клеймо гражданской войны (если они носили достаточно широкомасштабный характер), восстания, бунта, партизанской войны, бандитизма, преступности и в последнее время терроризма. Между тем в государствах, которым хотелось воспринимать себя самыми цивилизованными, насилие, направленное против собственных граждан, не столько уменьшилось, сколько перестало быть на виду у публики. Все больше и больше оно творилось за стенами сначала тюрем и крепостей, а много позже — концентрационных лагерей, над воротами которых по иронии судьбы, которая заставила бы содрогнуться самого Бентама, было написано: *Arbeit macht* frei[413]. Насилие, как и многое другое, приняло бюрократический характер с тщательно разработанной иерархией администраторов, учреждений, картотек и, наконец, компьютеров. Регулируемое сложной системой правил, оно стало обозначаться эвфемизмами, такими как «исправление», «дисциплина» и «перевоспитание». Теоретически все эти похвальные виды деятельности осуществлялись не частными лицами и не в интересах таковых, а от лица безличного государства, чье понимание того, как надо обращаться с преступниками и другими общественными изгоями, превосходило понимание какого-либо другого лица. И теперь мы обратимся к тому, какое отражение нашло развитие такого

государства в политической теории.

Развитие политической теории

За исключением классических городов-государств и их магистратов ни одно политическое сообщество, существовавшее до 1648 г., не делало различий между личностью правителя и его правлением. Африканский вождь, царь эпохи эллинизма, император инков и их коллеги, независимо от титула и площади управляемых стран, *были ничем иным, как* правительством, что объясняет, почему те, кто работал на них или под их руководством (эти две категории означали практически одно и то же), были их родственниками, клиентами, компаньонами и «друзьями», по крайней мере первоначально и до тех пор, пока административный аппарат не слишком разрастался[414]. За отсутствием политического как отдельной сферы деятельности, правительство, как правило, представлялось в терминах господства главы семьи над домочадцами, господина над рабами или даже (начиная со времен Августина) пастуха над овцами. Отличной иллюстрацией для первого подхода может служить китайское конфуцианство, которое в течение двух тысячелетий рассматривало империю как единую большую семью, члены которой были обязаны выказывать вышестоящим сыновнее почтение. Второй подход иллюстрирует Библия, которая часто говорит о высокопоставленных чиновниках как о «рабах» того или иного царя[415]. И это не было простой фигурой речи. Еще в первой половине XIX в. подданные турецкого султана были, юридически говоря, его рабами, с которыми он мог сделать все, что пожелает; не существовало такой частной собственности, которая не могла быть конфискована в любой момент по какой-либо причине (или вовсе без всякой причины). Эта идея была лаконично выражена Лигой эльзасских городов, которая обратилась в 1388 г. к императору со словами: «[мы обещаем свою поддержку] нашему господину императору Людвигу, который есть империя» *(unsern Herren Keiser Ludwigen, der das Reich ist)*[416].

Другим результатом многовековой идентификации правителя с его правлением было то, что идея конфликта интересов считалась применимой не выше подножия трона. Чиновники любых рангов могли брать, и часто брали взятки, которые им предлагали либо люди, находившиеся под их властью, либо иностранные правители, которые надеялись повлиять на

политику или даже разжечь восстание. Такие случаи могли оказаться раскрытыми, и, если подобные действия наносили серьезный ущерб интересам правителя, они влекли за собой наказание. Анналы всех монархических государств полны множеством подобных случаев, часто подпадавших под рубрику *Use majeste*[417] или измены. Но это было неприменимо к самому правителю. В действительности король или император не только был практически недосягаем для людского правосудия, но в их случае не существовало различия между личностью и правительством, и, конечно, понятие коррупции было неприменимо. На протяжении всей истории монархи, крупные и мелкие, привыкли получать подарки как от своих подданных, так и от зарубежных правителей, преподносимые с целью заключить союз или добиться милости. Но они по определению не могли брать взятки.

Отражая тот факт, что большинство правителей считали себя обязанными своим положением богам, политическая теория в той степени, в какой она вообще существовала, обычно была разделом теологии. Так было, например, в Древнем Египте: нам сложно сказать, были ли созданы некоторые гимны для восхваления Ра или фараона (который, в конце концов, и сам был богом)[418]; то же самое относится к средневековым учениям Фомы Аквинского, Жана Герсона и других — все они, следуя Августину, считали правительство не искусственным образованием, созданным им самим и ради собственного блага, а частью порядка, установленного Богом. В зависимости от того, насколько централизованным и могущественным было правительство и насколько оно проникало в жизнь подданных — иными словами, являлось ли оно империей или феодальной системой — доктрины такого рода вполне могли подробно рассматривать структуру сообщества; природу связей, на которых оно держится; права и обязанности как правителей, так и подданных; и даже вопрос о том, что следовало делать каждой из сторон, если другая нарушала предписанные свыше обязательства. Впрочем, в отличие от «Политики» Аристотеля эти доктрины не основывались на человеческой деятельности и, следовательно, не являлись политической теорией в современном смысле этого слова.

Еще один традиционный подход к тому, что мы назвали бы сегодня политической наукой, заключался в составлении руководств для правителей. Некоторые из них были просто литературными упражнениями и писались не для какой-либо конкретной личности, другие создавались специально ради конкретных правителей и часто посвящались им, за что авторы

надеялись в ответ получить какую-нибудь милость. Одним из самых ранних известных произведений такого рода было «Киропедия», созданное афинянином Ксенофонтом около 364 г. до н.э. Это идеализированное описание образования и карьеры Кира-младшего, претендента на персидский трон, вместе с которым Ксенофонт служил командующим, наемных отрядов и которого он представляет как образец добродетели. В античности и на протяжении Средних веков примеру Ксенофонта последовало большое число светских и церковных писателей[419]. Все они одинаково стремились подчеркнуть значимость хорошего воспитания и основательного образования и развитии таких качеств, как благочестие, мудрость, умеренность и милосердие (четыре качества, которыми, по его собственному утверждению, обладал император Август). Что более важно, во dcex случаях правитель неизменно воспринимается просто как частное лицо. Может быть, его положение было более высоким, а его обязанности — более сложными, чем у других, но кодекс правил, которому его побуждали следовать, не отличался от рекомендуемого любому другому представителю данного общества. И действительно, одной из первоначальных целей написания таких трактатов было не просто дать образование принцам (число которых, в конечном счете, было ограниченным), но и дать возможность обычным людям равняться на предполагаемые добродетели первых лиц и строить свою жизнь соответственно.

Одним из последних и лучших произведений этого жанра было сочинение *Institutes Principle Christianis* (название которого лучше всего перевести как «Путь христианского государя»), написанное Эразмом Роттердамским, когда он находился на службе у будущего императора Карла V, и опубликованное в 1517 г. Гуманист и христианин, Эразм считал, что государь является наместником Бога на земле и отвечает перед Ним; он не устает предупреждать своих учеников, что в конце земные правители предстанут пред судом Божьим. Следовательно, первое, что должен сделать любой правитель, — это выбрать подходящего наставника для своего сына, чтобы дать своему будущему преемнику твердое моральное воспитание; в сравнении с умением отличать добро от зла все остальные предметы, которые мог бы изучать принц (включая, в частности, состояние своего королевства), являются вторичными. Взойдя на трон, государь должен обращаться со своими подданными, как с подопечными, заботясь об их благосостоянии так, как отец семейства *(paterfamilias)* заботится о своих домашних или хозяин *(dominus)* — о своих слугах. Худший грех — это тирания, т.е.

игнорирование божественного закона и использование власти в своих эгоистических интересах. Так, по мнению Эразма, государь не должен наполнять «свою» казну, чтобы за счет этого окружать себя излишней роскошью, не должен пытаться увеличить «свою» славу, ведя войны за счет своих подданных, не должен жениться на иностранке (не говоря уже о том, чтобы предаваться разврату), не должен проводить за пределами «своего» королевства больше времени, чем абсолютно необходимо для решения «его» проблем, — короче говоря, являясь правителем, он не должен поддаваться соблазну делать то, что он не стал бы делать будучи обычным гражданином. Он должен вести себя также, как и любой другой порядочный человек, которому судьба вверила заботу о благополучии других. Он должен приложить усилия, чтобы добиться «любви» своих подданных и сохранить ее, — и все это для того, чтобы оставить после своего правления королевство более процветающим, чем он принял от своего предшественника.

Хотя нельзя утверждать, что на Карла V непосредственно повлияла работа Эразма (возможно, он никогда не читал сочинения, посвященного ему), оба они были согласны в том, что рассматривали управление как частное дело правителя. Некоторое представление о личности императора можно получить, прочитав два великих завещания, которые он написал в 1543 г. для своего сына Филиппа, которому было в ту пору 16 лет. Парадоксальным образом то из них, которое посвящено личности принца, тому, как ему следует себя вести (в том числе с женщинами), и качествам, которые ему следует в себе воспитать, носило наполовину публичный характер. Оно состоит из благочестивых советов о том, что необходимо верить в Бога, ограничивать себя в сексуальной жизни, серьезно относиться к своим обязательствам и т.п. Напротив, завещание, посвященное тому, что сегодня мы назвали бы вопросами политики, было предназначено для передачи «лично в руки». В нем даются меткие характеристики представителям ближайшего окружения императора, которым он доверял больше, чем другим. Неспособность Карла проводить различия между частным и публичным еще больше подчеркивает тот факт, что он постоянно употребляет местоимение «мой» (или, когда имеет в виду династию Габсбургов, «наш»), говоря о казне, ресурсах, слугах, полководцах, армии, странах и даже народах; ему даже не приходило в голову, что эти две сферы могут чем-то разниться.

В глазах Карла и его современников провинции, денежные средства, армии, министры и принцессы были просто разными видами активов. Они принадлежали правителям и могли свободно переходить от одного к другому дипломатическим

путем или в результате войны. Все они были пешками в большой шахматной игре, конечной целью которой было сохранение «нашего» наследия, по возможности не допуская его уменьшения, при этом стараясь, чтобы подданные жили вполне счастливо, но в случае необходимости облагая их высокими налогами и обременяя повинностями. При таком взгляде на мир не существовало понятия «правительство» в современном понимании этого слова, были лишь люди, которые служили императору в том или ином качестве; не существовало также гражданского общества, а были только подданные, важные персоны и маленькие люди — с которыми необходимо было обращаться в соответствии с их статусом; не существовало и зарубежных государств, а только правители, принадлежащие к другим династиям, которые либо являлись союзниками Карла, либо стояли у него на пути.

Еще один интересный пример неспособности правителя пронести различия между правительством, с одной стороны, и частной жизнью правителя— с другой, нам дает Макиавелли. Изучая Древний Рим и восхищаясь им (вероятно, он так никогда и не овладел греческим языком), должно быть, он отдавал себе отчет в том, что великие мужи, к которым, по его собственному признанию, он обращался в поисках политической мудрости[420], были должностными лицами, а не королями, управлявшие городом как своей частной собственностью; однако его шедевр «Государь» написан так, как будто этого различия не существовало. Как и *Institutes* Эразма, «Государь», посвященный Лоренцо Медичи Младшему, не является трактатом по политической науке в современном смысле этого слова, а относится к тому типу руководств, которые известны как "Зерцала государей». В отличие от Эразма, читателем которого, как предполагалось, будет либо наследный принц, либо избираемый правитель (о политическом процессе, в результате которого могло произойти избрание, ему было абсолютно нечего сказать), Макиавелли, по его словам, писал для «Нового Государя» *(il nuovo principe*)[421]. Поскольку государь Макиавелли достигал своего положения благодаря собственным усилиям, он сталкивался с намного более серьезными трудностями, пытаясь достичь этого положения и удержать его. Тем больше оснований утверждать, что он заслужимает совета, основанного не на том, каким бы желали люди видеть окружающий мир, а на том, каков он в действительности[422].

В свете этого Макиавелли предстает не только не революционером, но полностью человеком своего времени. Ни по жанру написанной им книги, ни по отсутствию разграничения

между частной и публичной сферами Макиавелли ничем не отличался от своих современников. Как и Эразм, он неспособен провести разделительную черту между частной жизнью правителя и его политической ролью, вплоть до того, что посвятил фрагмент своей книги тому, что государь должен оставить в покое жен своих подданных[423]. В Италии, города которой по большей части управлялись жестокими тиранами, которые часто сами добились власти, только светский тон его произведения отличал Макиавелли от других. Рассматриваемый как отдельный человек, государь Макиавелли вполне мог оказаться после смерти в аду. Рассматриваемый как правитель, он не был ни назначен Богом, ни ответственен перед Ним в каком бы то ни было практическом смысле. Хотя совет сохранять внешнее благочестие мог оказаться весьма полезным для государя, об управлении посредством доброты к подданным, о котором говорил Эразм и многие его предшественники, не могло идти и речи; напротив, необходимо было играть в политическую игру, которая впервые с античных времен получила особую природу, определяемую набором правил, которые вскоре после эпохи Макиавелли получили название *raison* d'etat[424][425]. Поскольку в глубине души люди подлы, трусливы и вероломны, эти правила не могут быть такими же, как правила поведения в доме или в семье (хотя о личной жизни Макиавелли известно мало, по меркам своего времени он, по-видимому, был хорошим семьянином). Нужнее всего такие качества, как сила и хитрость, а вовсе не благочестие и милосердие.

Оставив Бога в стороне, Макиавелли тем самым разбил такие напрямую зависящие от Него основы правления, как правосудие и справедливость. Успех политической деятельности, выражающийся в величии и процветании страны, стал самоценным. Правители обязаны своим положением не той или иной божественной санкции, а собственной доблести, или *virtu,* которая таким образом, становилась главной опорой, на которой держалось все остальное. Однако Макиавелли также понимал, что исключительная степень *virtu* редко встречается у людей, единственной целью которых является достижение личного успеха; как сказал однажды Наполеон, знавший толк в таких делах, наслаждение, которое получает император с герцогиней в ее будуаре, не больше, чем то, которое получает крестьянский юноша с пастушкой на сеновале. Человек может достичь вершин *virtu,* только если он вдохновляем идеалом. Для Макиавелли таким идеалом было горячо любимое им отечество *(patria)* (достоверно неизвестно, имел ли он в виду родную Флоренцию или всю Италию); отсюда берет начало знаменитая последняя

глава «Государя», где он призывает правящего герцога Медичи возглавить процесс изгнания чужестранцев из Италии. Современные ученые часто утверждают, что в этом отрывке автор либо предается запоздалым и легкомысленным размышлениям, либо грубо льстит правителю. В действительности он представляет собой оправдание как самой работы Макиавелли, так и, что еще более важно, существования самого правителя и природы применяемых им методов.

Учитывая, что Макиавелли намеревался покончить с лицемерием в политике, не удивительно, что он был принят холодно, вплоть до того, что его самая знаменитая работа так и не была опубликована при его жизни. Всего лишь четыре года спустя после того, как был написан «Государь» (1513), Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям церкви в Виттенберге; это событие ознаменовало начало периода, который длился больше века и основное содержание которого диктовалось религиозной борьбой по поводу того, кто является *истинным* Богом, дающим основу и обществу, и системе правления, поддерживающей порядок в этом обществе. В разных странах эта борьба проходила по-разному. В некоторых странах, таких как Италия, Испания, Англия и Швеция, действующая власть довольно легко одержала победу. Она либо поддержала уже существующую религию, либо добилась желательных для себя изменений в ней; в результате количество жертв, которыми являлись осужденные и казненные еретики, исчислялось лишь сотнями или, в худшем случае, тысячами человек. В других странах с менее счастливой судьбой Реформация привела к развалу правительства. Это открыло дорогу гражданским войнам, которые продолжались десятилетиями, как это произошло, например, во Франции, в Германии и на территории современной Чехии.

Именно таков был исторический фон, на котором создавал свои работы следующий великий политический мыслитель — Жан Боден во Франции. Бодену, о частной жизни которого известно немного (нет даже достоверных данных о том, какую религию он исповедовал), было около 30, когда в 1561 г. разразилась гражданская война; неудивительно, что большая часть его карьеры была посвящена поиску выхода. Ни старый теологический подход, ни «Зерцала государя» почти не могли в этом помочь, поскольку первый основывался на представлениях о Боге, которые и стали предметом споров, а вторые не помогли французским монархам выполнить свою задачу, которая заключалась в поддержании порядка и справедливости. Поэтому Боден повернулся спиной к обеим традициям. С самого начала он сосредоточился не на том, как Бог создал вселенную, и не на

обучении правителей, а на природе *republique*[426] как таковой — проблеме, которую полностью игнорировали и Макиавелли, и Эразм (не говоря уже о Карле V, который хотя и был проницательным и добросовестным правителем, но только не теоретиком). Естественно, что Боден взял за образец «Политику» Аристотеля, которой он близко следовал, хотя и подвергал критике некоторые конкретные меры, предлагавшиеся в ней. В поисках новой, нерелигиозной основы государства Боден в своем сочинении *Les six livres de la republique* («Шесть книг о государстве») стал первым автором в современной истории, описавшим разницу между властью *в пределах* отдельно взятой семьи или домашнего хозяйства, которой обладал отец семейства над своими домочадцами или господин над своими рабами, и властью политической, преобладавшей среди людей, которые хотя еще и не были равными, но по крайней мере были рождены свободными и обладали некоторой правосубъектностью[427].

Боден, имевший юридическое образование (одно время он действовал как *avocat*[428] при Генрихе III), отверг утверждение Макиавелли, что политическими делами управляют сила и хитрость, а не закон. Вместо этого он принял данное Цицероном определение *res publica* как сообщества людей, управляемых законом; отсюда он выводил утверждение, что важнейшей обязанностью каждого правителя является составление законов. Однако если целью является поддержание порядка, то одних лишь законов недостаточно. Тот, кто отвечает за законодательство, так же должен решать вопросы войны и мира, назначать на должности важнейших должностных лиц, присуждать важнейшие награды и наказания, выступать в качестве верховного апелляционного судьи и определять валюту страны (Боден очень интересовался политической экономией и написал на эту тему отдельный трактат). В принципе не существовало никаких препятствий к тому, чтобы эти функции выполнялись одним человеком или собранием людей; суть заключалась в том, что для предотвращения конфликтов и беспорядков было необходимо, чтобы эти функции были сосредоточены в одних руках. Как отмечает Боден, суверенитет —неон придумал этот термин, но именно ему он во многом обязан своей популярностью — должен быть единым, неделимым и неизменным. Когда есть два суверена, ни один из них на самом деле не является таковым; когда суверенитет непостоянен, все, что делает суверен, может быть отменено его преемником.

В мире, где Бог больше не мог дать приемлемую для всех основу политической жизни, Боден хотел наделить суверена Его качествами и поставить на Его место, во всяком случае — на

Земле, в пределах четко обозначенной территории. Аристотель искал объяснение и оправдание существованию правительства и находил его в добровольном согласии глав семейств; для Бодена этот вопрос не имел значения, и в своем объемистом сочинении он почти не уделял ему внимания. Вопрос, который *действительно* его интересовал — это способность суверена создавать из хаоса порядок, устанавливая правильные законы и управляя с их помощью. Однако Боден не мог отойти от средневекового представления о том, что право существует независимо от человеческой воли. Следовательно, правильными законами являлись не просто те, что лучше всего отвечали нуждам сообщества, но те, которые основывались на божественном законе, с одной стороны, и естественном праве, с другой, или по крайней мере не вступали с ними в противоречие. Божественный закон был дан в Библии и, по мнению Бодена, требовал осуществления преемственности власти по праву первородства. Естественное право же представляло собой не что иное, как принципы справедливости, в соответствии с которыми, например, человека нельзя было лишать его собственности без достаточного на то основания (Боден часто характеризуется как один из первых сторонников капитализма). Однако Боден ничего не говорит о том, какие средства необходимо использовать, чтобы удостовериться, что суверен, власть которого при этом становится гораздо более близкой к абсолютизму, чем при его предшественниках, действительно придерживается принципов божественного закона и естественного права. Впрочем, принимая во внимание тот факт, что во времена Бодена французская монархия была крайне слаба, это не имело значения.

Еще одной проблемой, которая неявно присутствовала в работе Бодена, но для которой он так и не нашел приемлемого решения, был вопрос о том, как сохранить положение суверена с течением времени. Можно сколько угодно говорить о непрерывности суверенитета, однако никто, включая королей, не живет вечно; и лучше всех это понимали люди, жившие в XVI в., в период, когда было написано множество картин, на которых изображалась смерть как простолюдинов, так и королей. Чтобы разрешить эту проблему, в конце эпохи Средневековья было изобретено учение о «двух телах короля»[429]. Физическое тело короля считалось смертным и подверженным тлену, как и тело любого другого человека. Однако он также обладал «мистическим телом» *(corpus mysticum)*. О происхождении этой идеи нет устоявшегося мнения, но вполне вероятно, что она выросла из христианских представлений, согласно которым Бог существует как три личности, причем лишь одна из них обладает физическим

телом. Королевская власть, прерогативы и обязанности относились именно к этому «мистическому», а не к физическому телу. В результате всякий раз, когда монарх умирал, и его сменял другой, все эти свойства не передавались автоматически, а возникали каждый раз заново. Для того чтобы не было зияющего разрыва между смертью одного короля и коронацией другого, была изобретена формула *le roi est mort, vive le roi*[430], которая впервые прозвучала на похоронах Людовика XII в 1512 г. Другим способом выражения той же идеи было изготовление изображения умершего короля, которое продолжало его царствование до коронации нового короля. Данная церемония возникла после смерти Карла VI в 1422 г., а в последний раз была проведена после смерти Генриха IV в 1610 г.[431]

К последней четверти XV в. представление о том, существует «государство» (как говорили в Германии, Италии и иногда во Франции) или «корона» (в Англии и опять же во Франции), постепенно заняло свое место на «ничейной земле» между понятиями о частной собственности правителя и его публичных обязанностях. Пытаясь заставить своего подчиненного выполнить неприятное поручение, французский король Людовик XI смог написать: «Вы такой же слуга Короны, как и я»[432]. Тем не менее словоупотребление было неустоявшимся, и современного значения этого термина еще не существовало. Когда Боден писал «Шесть книг», он не смог найти подходящего слова для описания той сущности, которую он имел в виду. Это имело довольно странный результат: хотя он предпочитал такую монархию, как форму правления, ему пришлось прибегнуть к употреблению старинного латинское выражение *res publica.* Еще в 1589 г. Джованни Ботеро определил понятие *stato* как «устойчивая власть над народом», а выражение *ragione di stato* — как «знание о том, каким способом можно учредить такую власть»[433].

С этого момента ситуация стала быстро меняться. К 30-м годам XVII в. Карден ле Бре, сподвижник Ришелье, счел возможным различать измену, направленную лично против короля, и измену, наносящую ущерб государству, заслуживающую гораздо более сурового наказания[434]. Вскоре после этого Гоббс написал «Левиафан»; его заслуга состоит в том, что он первый определил государство как «искусственного человека», не тождественного личности правителя. Как и Боден, Гоббс жил в то время, когда его страна находилась в состоянии гражданской войны (его последняя книга, «Бегемот», была написана с целью объяснить ее причины). Целью Гоббса, как и Бодена, было восстановление порядка путем наделения полномочиями могущественного суверена, атрибуты которого Гоббс

позаимствовал почти без изменений из знаменитого сочинения своего предшественника[435]. Но Гоббс отличался от Бодена тем, что в качестве образца взял не Аристотеля, а Галилея, с которым он встретился во время своих путешествий по Европе и которым искренне восхищался. Целью Гоббса, которую он описывает в первых девяти главах «Левиафана» и еще более детально в своем сочинении *De corpore*[436], было придать политике такую точность, которой к тому времени обладала только физика, — иными словами, исключить из рассмотрения все факторы, кроме тех, которые можно ощутить и измерить объективным образом, подобно тому, как это можно сделать с движением физических тел. Такой «научный» подход привел его к определению человека как машины, простой материи, движущейся под моздействием движения различных тел, которые вызывают у нее ту или иную реакцию. Тела подразделялись на два вида: «естественные» (такие, как и сам человек) и «придуманные», или «искуственные». Искусственные тела тоже подразделялись на два вида: частные и публичные (или политические). Первые создавались частными лицами по собственной инициативе, тогда как последние создавались государством. В этой системе государство ялялось просто наиболее важным политическим телом. Оно санкционировало существование всех остальных (в том смысле, что определяло, какие законны, а какие — нет), но само не нуждалось и чьей-либо санкции[437].

Таким образом, Гоббсу принадлежит заслуга определения «государства» (или, если использовать его собственный термин, «содружества») как абстрактной сущности, обособленной и от суверена (который «руководит» им), и от подданных, которые на основании взаимной договоренности передавали свои права суверену. Как и у Бодена, главным «магистратом» по Гоббсу могло быть как собрание, так и один человек; если предпочтение отда-малось последнему, это делалось исключительно ради удобства, чтобы обеспечить единство правительства и предотвратить разногласия. Однако стремление избавиться от «нематериальных тел» и «изменчивых» влияний, кроме тех, что доступны объективному восприятию, вынудило Гоббса отойти от двух столпов теории Бо-дена: божественного закона и естественного права. Доведя позитивизм до предела, почти не достигавшегося ни до, ни после него, Гоббс считал право чем-то таким, что существует исключительно *в пределах* государства и создается им; в естественном состоянии, когда еще не существует организованных сообществ, «договоры, не подкрепленные мечом, являются пустыми словами». Не будучи связанным никаким законом, кроме того, который он сам принял (и который,

конечно, может изменить в любой момент), суверен Гоббса обладал гораздо большей властью, чем суверен Бодена и, *a fortiori*[438], чем любой западный правитель, начиная со времен поздней античности. В Риме, да и везде, императоры до определенной степени были связаны религией, даже если они стояли во главе этой религии и считались живыми богами. Но не таков суверен Гоббса. Следуя направлению мысли, заданному Макиавелли в « Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия », суверен Гоббса навязывает своим подданным верования, наилучшим образом подходящие для поддержания общественного порядка, и, таким образом, становится самым абсолютным правителем, каких только знала история.

На фоне происходившей в XVII в. борьбы между королем (впоследствии — лордом-протектором) и парламентом, блюдо, приготовленное Гоббсом, оказалось слишком острым для большинства его соотечественников. Как и Макиавелли, он считал, что человек по природе своей зол, но в отличие от первого отказывал ему даже в *virtu* и способности любить Родину. Самое возвышенное качество — его разум — дает возможность заглядывать в будущее; из страха перед будущим всю жизнь человек пытался добиться власти над своими собратьями; и эта борьба прекращалась лишь с его смертью. Пытаясь обуздать человеческую натуру, Гоббс предложил своего суверена. Однако вскоре стало ясно, что такой суверен будет настолько могуществен, что будет представлять такую же или даже большую опасность для своих подданных, чем они представляли друг для друга.

Эта проблема занимала английского философа Джона Локка (1632—1704). Хотя он редко упоминает имя своего прославленного предшественника, многие сочинения Локка в области политики могут быть поняты только в том случае, если рассматривать их как прямой ответ Гоббсу. В основе теории Гоббса лежит предположение, что даже самое худшее правительство лучше, чем его отсутствие, т.е. естественное состояние; соответственно первым шагом Локка было новое рассмотрение этого естественного состояния с целью выяснить, действительно ли оно было таким ужасным, каким его принято считать.

Являясь представителем раннего Просвещения, Локк в своем «Втором трактате о правлении» (который, вероятно, был написан перед « Славной революцией», хотя был опубликован только после ее окончания) отвергает предположение, на котором основывалась вся западная мысль со времен Августина, а именно — что человек в основе своей зол, и его необходимо сдерживать

при помощи правительства. Так же, как и Гоббс, Локк считал, что основным качеством человека является его разумность. Но если, по мнению Гоббса, это качество ведет к войне всех против всех, то Локк считал, что оно способно трансформироваться в просвещенный личный интерес, который, в свою очередь, в большинстве случаев даст людям возможность жить в мире друг с другом даже в естественном состоянии, которое характеризуется отсутствием единого правителя. Важнейшая задача последнего состоит в том, чтобы не столько сдерживать людей, сколько, наоборот, защищать их права, которыми они наделены от природы — знаменитая триада прав на жизнь, свободу и собственность. Чего необходимо избегать любой ценой — так это *абсолютной* (что не раз подчеркивается в оригинале) власти. Правительство должно основываться на согласии: оно не должно быть установлено раз и навсегда, как у Гоббса, напротив, его позицию необходимо периодически подтверждать посредством выборов. Локк не объяснил, кто должен иметь право голоса, но в случае настойчивых расспросов он, будучи добропорядочным буржуа, вероятно, предложил бы ввести какую-нибудь разновидность имущественного ценза, вроде тех, что действительно существовали в большинстве европейских стран до начала XX в. Еще один способ предотвращения роста абсолютизма состоял в том, чтобы поделить власть суверена между законодательной, исполнительной, а также «федеративной» (ответственной за ведение войн и международную политику) властью, — идея, которая питала в воздухе в то время и на которую оказала большое влияние политическая система Англии того времени[439].

Полностью посвятив «Первый трактат о правлении» тому, чтобы показать различия между властью отца семейства и политической властью, Локк не тратил время на проведение различия между правителем и государством, которые, следуя Гоббсу, он принимал и целом как должное. Не вызывала у него сомнений и разница между гражданским обществом и государством. Локк провозгласил: первое не только предшествует второму, но в действительности государство было создано гражданским обществом, чтобы защитить себя как от нарушения внутреннего мира, так и от внешних вторжений. Как впервые отметил Боден, а позже подробно разъяснил Локк, подданные никоим образом *не* являются членами семьи или домохозяйства правителя. Следовательно, принципы, на основе которых осуществляется управление ими, отличаются от тех, что используются в отношении жен, детей или овец[440].

Поскольку Локк ненавидел абсолютизм, его цели были

противоположны целям Гоббса; однако они сошлись на том, что единственным ограничителем власти государства (в отличие от трех ветвей власти по отдельности) являются определенные права, которыми щедрая природа наделила человека. Уже Гоббс отмечал, что этот барьер весьма непрочен, но Монтескье решил окончательно разрушить его в своем сочинении «О духе законов». Парадоксальным образом, историческим фоном создания работы Монтескье была реакция французского дворянства, к которому он принадлежал, на абсолютизм, имевшая место после смерти Людовика XIV[441]. Монтескье провел несколько лет в Англии, изучая политическую систему этой страны. Его главной целью, как и целью Локка, которым он восхищался, было найти способы защиты гражданского общества от произвольной власти суверена, без каковой защиты деспотизм приведет к тому, что какая бы то ни было цивилизованная жизнь будет затруднена, а то и вообще невозможна[442].

Пока Монтескье в течение 20 лет, до публикации в 1748 г., трудился над своим великим произведением, философские основы веры в естественное право были подорваны Давидом Юмом (1711 — 1776). В отличие от Локка, который вел активную деятельность в качестве врача, получившего специальность в основном благодаря самообразованию, Юм не был приспособлен ни к какому занятию, кроме философии, и, будучи философом, находился в постоянном и мучительном поиске первоосновы вещей. Локк свято верил, что существует объективный разум (под которым он, конечно же, имел в виду разум просвещенного англичанина своего времени), более того, он считал, что такой разум тождественен законам, установленным благожелательной природой. Юм, напротив, считал, что разум субъективен и в конечном итоге является слугой страстей, которые диктуют ему цели, к которым он должен быть направлен. Для него не только совершенно неверно утверждение о том, что существует «объективный» разум, который является общим для всех людей; более того, даже если бы такой разум и существовал, связь между ним и намерениями природы было бы абсолютно невозможно доказать[443].

Соответственно Монтескье отодвигает естественное право — которое Юм лишил его опоры в виде «разума» — на задний план. Чтобы избежать тирании, по-прежнему необходимо, чтобы правление было основано на законе, но не на таком, который был бы установлен раз и навсегда какой-либо внешней силой или властью, а на таком, который человек (или, как любил говорить Монтескье, «законодатель») принял и издал бы сам для себя в соответствии с особенностями того общества, которое он при

этом имел в виду. Таким образом Монтескье завершил процесс, который начался в конце эпохи Средневековья и в ходе которого сила любых законов, кроме тех, которые были созданы правителем, а позже — государством, стала сходить на нет и, в конце концов, была аннулирована. Как это было уже у Гоббса, теперь закон, плохой или хороший, представлял собой просто предписание, которое было утверждено государством и зафиксировано должным образом в письменном виде.

Справедливости ради нужно сказать, что Монтескье был достаточно осторожен, чтобы сопроводить свои слова соответствующими оговорками. Закон, который он имел в виду, не должен был приниматься произвольно. Напротив, его следовало адаптировать к климатическим и географическим условиям, в которых сущест-повало сообщество; это было любимым коньком Монтескье, и эта часть его работы принесла ему наибольшую славу среди современников. Что еще важнее, критерием, согласно которому следовало оценивать различные политические сообщества, была свобода[444]. Чтобы гарантировать свободу, абсолютную власть государства над членами гражданского общества следовало обезвредить посредством разделения суверенитета на три ветви власти. Помимо законодательной власти Локка, предлагалось ввести исполнительную и судебную власти; впервые в истории предлагалось такое разделение, так что ни одно должностное лицо, обладающее властью над человеком или группой людей, не могло одновременно являться и их судьей. Таким образом, неограниченная власть государства принимать такие законы, которые оно считало нужными, компенсировалась тем, что его различные органы уравновешивали друг друга. Хотя эта идея была встречена аплодисментами, при жизни Монтескье и пока существовал *ancien regime,* она не оказала никакого влияния на ситуацию в его родной Франции. По воле судьбы, первой страной, где его идея была воплощена в реальность, стали США.

Теоретическая основа структуры современного государства была в основном сформирована работами Гоббса и Локка. Основы-вась на разграничении публичной и частной власти — разграничении, ускользавшем от понимания Эразма и Макиавелли; первым, кто провел его в Европе Нового времени, был Боден — они сформулировали понятие государства как абстрактной сущности, отделенной и от правителя (суверена), и от подданных (гражданского общества), но включающей обе эти составляющие. Людовик XIV мог похваляться, что *I'etat* (что примечательно, не *res publica,* не *civitas* и не *communitas) c'est moi*[445]; однако уже тот факт, что он в отличие от своих

царственных предшественников из других эпох и стран мог так сказать, свидетельствует о том, что эти два понятия больше не были тождественны. Хотя это может показаться странным тем, кто в основном помнит Монтескье как либерала, именно он наделил государство всемогуществом и, завершая разрушительную работу, начатую Гоббсом и продолженную Юмом, разорвал связь государства с любым законом, кроме его собственного. Отделенное и от Бога, и от природы, и больше не связанное обязательством соблюдать обычаи, за исключением тех, которые были подтверждены им самим, государство в представлении Монтескье и его последователей могло делать *все, что угодно.* Единственным сохранившимся условием было то, что три ветви власти, между которыми распределялся суверенитет, должны были согласовывать друг с другом свои действия и следовать законам, которые, конечно, сами же принимали, трактовали и исполняли.

После четырех с половиной веков эволюции, начавшейся около 1300 г., государство превратилось, вероятно, в самую могучую политическую конструкцию из всех когда-либо существовавших. Опираясь на регулярные вооруженные организации (сначала войска, к которым впоследствии добавились полиция и тюремная система), оно навязало обществу свой порядок, вплоть до того, что единственными организациями, способными бросить ему вызов, были только другие организации такого же типа. Сами эти вооруженные силы опирались на беспрецедентную экономическую мощь, на постоянно улучшающиеся статистические (сам этот термин происходит от слова *state* — государство) данные о всех видах ресурсов, доступных в пределах государственных границ, и на бюрократическую машину, способную извлекать эти ресурсы, использовать их и управлять ими, не прибегая к помощи посредников. Теперь, когда оно было отделено от личности правителя и освобождено от религиозных, юридических и квазиюридических ограничений, которые служили сдерживающим фактором для всех существовавших прежде форм политической организации, перед государством открывались блестящие перспективы. Однако прежде, чем мы проследим его путь, необходимо изучить некоторые другие аспекты жизни внутри Левиафана.

Внутри Левиафана

Как только появилось государство, изменились сами понятия, и которых люди мыслили о правительственной власти. Уже в последней четверти XVI в. популярный в течение долгого времени литературный жанр, «Зерцало для государя», стал выходить из моды. Чем больше правители теряли власть в пользу собственных бюрократий, тем менее важными становились их личные качества, причуды, любовь и ненависть, и тем больше увеличивалась тенденция к замене «Зерцала» на учебные руководства, подобные работам Бодена и Липсия, которые при необходимости редактировались *ad usum delphinium*[446].

Что касалось религии, слова *fidei defensor*[447] продолжали появляться на британских монетах, а *Gott mit uns*[448] — на поясах немецких солдат. Хотя правителей продолжали обучать религии, она все больше и больше отходила в сферу частной жизни. Лютеру, Кальвину и их соратнику-реформатору Беза все еще было что сказать в сфере правительственных институтов и прав магистратов, но уже Джон Уэсли, основавший методизм в 40-е годы XVIII в., был удовлетворен существующим режимом до тех пор, пока он позволял ему и его сторонникам свободно исповедовать свою религию[449]. Начиная с эпохи Просвещения выражение «находящийся под влиянием монахов» в применении к правителю стало считаться оскорблением — например, когда его употребляли в отношении испанского короля Филиппа II и французского короля Людовика XIVв годы заката его правления. В качестве основы правления теология почти потеряла свое значение. Это, конечно же, не означало, что ее преемница, политическая наука, не была столь же непонятной и даже более скучной.

Подобно политической науке в классической Греции, но в отличие от большинства своих предшественниц в другие времена и в других странах (а также в отличие от некоторых доктрин, существующих в наши дни) политическая наука Нового времени излагалась почти исключительно в светских терминах. На протяжении двух столетий после 1650 г. идея, что правитель заслуживает повиновения, поскольку он наделен властью свыше, продолжала фигурировать в катехизисах для детей. Однако, возможно, последним значительным автором, рассуждавшим в таком ключе, был англичанин Роберт Филмер. Его книга *Patriarcha*[450] была написана примерно в середине XVII в. на фоне гражданских войн, часто предлагавшем богатую пищу для размышлений. В этой книге он попытался проследить истоки правительственной власти вплоть до первоначального дара, преподнесенного Богом Адаму. Адам передал этот дар своему старшему сыну, тот — далее, и так до того времени, когда писал

автор. Хотя большей частью этот процесс осуществлялся с помощью узурпации, Филмер утверждал, что узурпация могла быть успешной лишь потому, что Бог одобрял ее[451]. Благодаря перу Локка менее чем за три десятилетия после своей смерти Филмер превратился в предмет насмешек, каковым в глазах многих он остается и по сей день.

В течение 50 лет, предшествовавших Французской революции, распространилась точка зрения, что человечество должно жить, будучи разделенным на государства, а также идея, что люди, которые жили не в государствах, как это было за пределами Европы, принадлежат к низшим «племенным» цивилизациям, и поэтому едва ли могут считаться людьми[452]. Во Франции, Англии, Германии и Соединенных Штатах *inter alia*[453] споры о конституционных установлениях, которые должны существовать *внутри* каждого государства, продолжались на протяжении всего XIX в. и позже. В случаях, если согласия достичь не удавалось, результатом была революция — понятие, заимствованное в XVII в. из астрономии и само по себе являвшееся продуктом государства (поскольку ранее существовавшим политическим сообществам были известны только дворцовые перевороты, восстания, бунты и мятежи различных видов)[454]. Те, кто оспаривал то, что человек должен быть подданым государства (а такие всегда находились), стали называться анархистами[455]. В той мере, в которой они предпринимали действия, чтобы реализовать свои идеи (и часто даже тогда, когда они этого не делали), они подвергались преследованиям со всей мощью полицейского аппарата.

В повседневной жизни вопрос о том, является ли человек гражданином того или иного государства, стал одним из самых важных аспектов существования индивида, наряду с такими биологическими фактами, как раса, возраст и пол. Еще в период заката *ancien regime* Лоренс Стерн, автор «Сентиментального путешествия», мог совершить поездку из Британии во Францию даже несмотря на то, что две страны находились в состоянии войны друг с другом, и, прибыв туда, был принят со всеми почестями в социальных кругах, к которым он принадлежал. Однако в XIX в. таким любезностям был положен конец. Говоря словами клятвы гражданина Соединенных Штатов, те, кто принадлежит к одному государству, обязаны отказаться от верности иноземным правителям, государям или монархам. Все государства во время войны, а некоторые — и к мирное время, накладывали ограничения на то, с кем их граждане могли вступать в брак; пока длилась война, вражеских подданных с высокой вероятностью могли интернировать и конфисковать их

имущество. Настало даже такое время, когда человека, не принятого в качестве гражданина того или иного государства, ожидала худшая из возможных судеб. Такие люди были в буквальном смысле слова лишены права на жизнь; их всегда могли депортировать, иногда их попеременно отправляли из одной страны в другую (как в печально известном случае с еврейскими беженцами на борту «Святого Людовика» в 1939 г.), помещали в лагеря беженцев или оставляли голодать на ничейной земле. Даже если их великодушно принимали и позволяли жить в брюхе того или иного Левиафана, обычно им не позволялось официально работать, и они вынуждены были влачить свое существование в подполье.

Возникнув как инструмент, позволивший монархам стать абсолютными властителями, государство зажило своей жизнью. Как некий апокалиптический монстр, оно нависло над обществом, а затем подвергло это общество процессу уравнивания, ранее невиданному в истории человечества. И Аристотель, и Боден, и Монтескье[456] отмечали стремление тиранов к уничтожению социальных различий и привилегий любого рода, чтобы превратить своих подданных в дрожащую перед ними однородную толпу. Однако власть деспотов, которых они имели в виду — персидского царя Дария, Александра, которого по легенде обучали срезать в поле макушки более высоких стеблей пшеницы, Нерона, султанов Блистательной Порты и т.д., вплоть до Людовика XIV — не шла ни в какое сравнение с властью их обезличенного, невидимого и неделимого преемника, состоящего из армий бюрократов в униформе и в штатском, равнодушного к человеческим чувствам и при этом наслаждающегося бессмертием, которого не было даровано даже самым могущественным императорам. Как уже отмечалось, построение специализированного государственного аппарата подразумевало переход от косвенного управления к прямому и сделало ненужным *societe des ordres*[457], в котором социальный статус отождествлялся с политической властью. Результатом стал окончательный упадок *societe,* либо внезапный и быстрый, как во Франции, либо постепенный, длившийся на протяжении всего XIX в., как в Германии и Австрии.

Если посмотреть на это с другой точки зрения, превращение правителей из собственников и хозяев в должностных лиц, действующих *от лица* государства, избавило государство от необходимости наделять их особыми привилегиями и качествами. Первым, кто высказал предположение, что все люди равны по своим физическим и моральным качествам — и в действительности не обладают какими-то особыми

характеристиками, такими как сила, особая мудрость или божественная милость, благодаря которым они подходили бы на роль правителя — был великий разрушитель святынь Томас Гоббс. Ему также принадлежит титул первого политического мыслителя с античных времен, который основал на этой вере свою систему. В сконструированном им государстве все люди должны были быть равны. Какую бы власть некоторые из них, начиная с суверена, ни имели над другими, и какими бы особыми правами они ни пользовались, все это имело источником не их личные качества, а исключительно их положение как государственных должностных лиц.

Позже идея того, что люди рождаются равными, была принята Локком и подхвачена *philosophes,* такими как Вольтер, Томас Пейн и др. Начиная по крайней мере с середины XVIII в. стало нарастать движение к правовому и политическому равенству всех граждан. Вначале, как и в случае с античными городами-государствами, это относилось только к мужчинам; примерно к 1918 г. всеобщее избирательное право среди мужчин стало правилом в большинстве передовых стран. Однако лучшим доказательством жизнеспособности этой идеи стал тот факт, что примерно в течение 125-летнего периода (1789—1914) это право получили даже такие якобы низшие существа, как женщины. В одной стране за другой те, кто сопротивлялся этой тенденции во имя собственности, образования или пола, были повержены. Равенство всех граждан было, так сказать, встроено в структуру современного государства. Оставь свои особые права, всяк сюда входящий.

В то время как процесс уравнивания означал, что власть государства в пределах своих границ все росла и росла, большинство уз, связывавших ранее политические сообщества друг с другом, либо были намеренно разорваны, либо им было позволено распасться. Уже Боден отметил, что понятие суверенитета несовместимо с существованием феодальных уз между правителями по разные стороны границы. Либо человек являлся сувереном и, следовательно, не мог быть ничьим вассалом, либо он таковым не являлся. На самом деле его произведение, в котором отражена французская точка зрения и в котором поэтому уделяется много внимания отношениям между *le roi tres chretien*[458] и императором, может быть прочитано как призыв к отмене таких уз там, где они еще сохранились. Через 20 лет после публикации «Шести книг» Сюлли, будучи верным слугой Генриха IV, предложил план ликвидации сюзеренитета Габсбургов над князьями Германии, и к середине XVII в. это действительно было проделано. Отказ от феодальных уз между

правителями произошел быстро и навсегда. Уже в 1667—1668 гг. Людовик XIV, пытаясь восстановить их в качестве предлога для расширения границ своих владений, встретил сопротивление со стороны большей части Европы в ходе так называемой Деволюционной войны. Впоследствии, когда европейский институт государства стал распространяться за пределы своего первоначального ареала, способность создать систему прямого управления, при этом избавляясь от посредников, превратилась в своего рода показатель модернизации[459].

Конечно правители, принадлежащие к разным династиям, продолжали жениться на дочерях и сестрах друг друга, и на самом деле их высокопоставленное положение практически не оставляло им выбора. Однако в отличие от той ситуации, которая имела место до 1648 г. и в еще большей степени до 1550 г., такие семейные узы больше не имели почти никакого политического значения. Принцессы продолжали получать приданое, однако ушло то время, когда оно состояло из провинций, которые таким образом переходили от одной королевской семьи к другой. Когда голландский король Вильгельм III стал королем Англии, вопроса об объединении двух стран даже не стояло, а после его смерти каждая из них избрала свой собственный путь, в том числе и в вопросах внешней политики. Когда Людовик XIV посредством войны за испанское наследство посадил своего внука Филиппа на испанский трон, он заявил, что Пиренеев больше не существует. Это оказалось всего лишь фигурой речи, поскольку две страны так и оставались совершенно отдельными друг от друга, и ни один французский король никогда не правил Испанией. Позже в XVIII в. тот факт, что Людовик XVI Французский женился на Марии Антуанетте, дочери Марии Терезии и сестре императора Иосифа II, почти не повлиял на отношения между двумя странами. Что же касается Наполеона, то он, женившись на Марии-Луизе, через три года вступил в жестокую войну со своим тестем, императором Францем.

Распад политических образований, стоявших выше суверенного государства, не прошел незамеченным современниками. Для сторонников церкви и империи это было, конечно, настоящей катастрофой. С другой стороны, под пером Гоббса и Локка это превратилось в доказательство того, что «естественное состояние» было не вымыслом, а существовало в действительности. Первый считал международные отношения ареной, где беспрепятственно правили страх, жадность и жажда власти, и где война *omnes contra omnium*[460] могла разворачиваться без начала, остановки и конца. Последний смотрел на них более благожелательно и считал эти отношения

полем, на котором государства, хотя порой спорят и воюют друг с другом, в целом позволяют себе руководствоваться соображениями просвещенного собственного интереса и ведут себя достаточно хорошо, чтобы сделать возможным развитие цивилизованной жизни[461]. Какой бы из двух взглядов мы ни приняли, упадок всякой надгосударственной власти означал, что единство Европы, о котором так любили говорить *philosophes* XVIII в., начиная с Вольтера и Гиббона, ограничивалось почти исключительно сообществом писателей. В наши дни многие авторы утверждают, что «международная анархия» в том виде, в каком она существует в отношениях между государствами, является основной причиной войны. Но они забывают, что война дебютировала на сцене исторического театра задолго до появления государства; и, судя по всему, ей суждено его пережить.

4. ГОСУДАРСТВО КАК ИДЕАЛ: 1789–1945 гг.

Институт государства в том виде, как он возник между 1560 и 1648 гг., задумывался не как цель, а всего лишь как средство. В период интенсивных религиозных и гражданских конфликтов его главным предназначением было гарантировать сохранность жизни и собственности путем поддержания законности и порядка; все остальное — например, достижение согласия среди граждан и защита их прав — считалось вторичным, с этим следовало подождать до того времени, когда мир будет восстановлен. Это объясняет, почему даже в Англии с ее довольно хорошо развитой парламентской традицией во времена Гоббса выбор суверена, по его теории, был окончательным, а свобода, как он ее понимал, состояла лишь в лакунах в законодательстве, установленном сувереном[462]. В действительности ни Локк, ни Монтескье, ни большинство их последователей в XVIII в. не были согласны с выводами Гоббса на этот счет; однако они были с ним полностью солидарны в восприятии государства как всего лишь инструмента для того, чтобы привить народу цивилизованность. Еще в 90-е годы XVIII в. британец Иеремия Бентам все еще рассматривал государство исключительно с утилитарных позиций, как аппарат, единственным предназначением которого было обеспечить «наибольшее счастье для наибольшего числа людей». Общераспространенное отношение к государству кратко передал другой англичанин, Александр Поуп:

> О формах правления пусть спорят дураки,
> Та, с помощью которой можно лучше управлять — лучшая[463].

Учитывая такое отношение, не удивительно, что требования, которые государство раннего периода Нового времени предъявляло к своим подданным, в сравнении с более поздним периодом были сравнительно невелики. Из высших классов оно набирало администраторов и офицеров, со средних классов собирало налоги, а с низших получало и налоги, и пушечное мясо.

Комплектование вооруженных сил, тем не менее, в большинстве случаев осуществлялось на добровольной основе; более того, в процентном соотношении ни количество завербованных солдат, ни суммы налогов, собираемых

«абсолютистским» государством, никогда не достигали того обременительного уровня, который был свойственен его демократическим и либеральным преемникам в XX в. За два с половиной столетия, прошедших с 1700 г., эти показатели увеличились примерно вдвое: доля населения, призываемого в военное время, за это время выросла с 5% до максимального показателя 10%[464], в то время как доля национального дохода, изымаемого в виде налогов в Пруссии при Фридрихе II, т.е. в государстве с самым высоким уровнем налогообложении в XVIII в., была почти в точности равна соответствующей доле в Соединенных Штатах — в стране с самым легким налогообложением — в 1989 г., т.е. *до* повышения налогов, проведенного администрациями Буша и Клинтона[465]. Безусловно, верно то, что абсолютистские государства отказывали большинству своих подданных в какой-либо форме участия в политической жизни, в то же время требуя подчинения от всех в равной степени. Однако до тех пор, пока это подчинение имело место, или, по крайней мере, до тех пор, пока государство не встречало открытого сопротивления своим требованиям, оно обычно оставляло в покое своих подданных; оно не предпринимало систематических попыток учить людей или влиять на их взгляды.

Если посмотреть на это под другим углом, то мы увидим, что отношения между государством раннего периода Нового времени и его гражданами основывались не на чувствах, а на разуме и интересе. Идея справедливой войны была оставлена еще Гуго Гроцием за 20 лет до подписания Вестфальского договора, а правители эпохи Просвещения уже не воевали друг против друга по причинам личной ненависти. Роль патриотизма в мотивации как солдат, так и гражданского населения, была ограниченной[466]; говорят, что Франц II Австрийский сказал о тирольцах: «Сегодня они стали патриотами ради меня, а завтра будут патриотами против меня»[467]. Из-за необходимости избегать появления революционных настроений правители не позволяли себе взваливать на своих подданных слишком тяжелое налоговое бремя, по этой же причине большинство из них постоянно нанимали на военную службу иностранцев. Шотландия, Уэльс, Ирландия, Швейцария, Италия и некоторые земли Германии поставляли солдат в зарубежные страны; Фридрих Великий даже утверждал, что он может вести войну так, что местное население вообще не заметит происходящего[468]. Когда Наполеон нанес поражение пруссакам под Йеной в 1806 г., губернатор велел развесить плакаты с объявлением, что поскольку король проиграл битву, первейший долг подданных —

соблюдать спокойствие.

Однако примерно в середине XVTII в. — как раз тогда, когда государство приближалось к состоянию зрелости, — уже действовали силы, которые вскоре должны были превратить его из инструмента в цель, а затем — в живого бога. Поначалу подобные идеи, появлявшиеся в работах французских, швейцарских и немецких интеллектуалов, были довольно безобидны. Но вскоре они распространились в массах и задали агрессивный шовинистический тон, который служил плохим предзнаменованием для благополучия человечества. Отчасти ведомое этими силами, отчасти — в попытке держать их в рамках, государство взяло их под свою эгиду. Это дало возможность бюрократии запустить свои щупальца в те области, которые раньше почти не знали государственного вмешательства, — такие как образование, здравоохранение, а в конечном итоге еще спорт и социальное обеспечение. В первые десятилетия XX в. некоторые государства даже дошли до того, что брали полностью на себя эти виды деятельности и услуг, запрещая негосударственным организациям заниматься ими; результатом стало появление «тоталитарных» режимов, как левого, так и правого толка. Наконец, как только государство стало настолько могущественным, что могло определять, что считается деньгами, а что нет, остались в прошлом финансовые ограничения, которые всегда ставили предел действиям прежних правителей. Окончательным результатом всего этого стала череда все более ожесточенных конфликтов, начинавшихся с французских революционных и наполеоновских войн и достигших кульминации в эпоху тотальной войны между 1914 и 1945 гг.

Великая трансформация

Человеком, который, вероятно, сделал больше всех прочих для того, чтобы Великая трансформация началась, был Жан-Жак Руссо (1712—1778)[469]. По происхождению мелкий буржуа (его отец, хотя и был преисполнен сознания собственной значимости, был просто часовщиком), он провел большую часть своей жизни в изгнании, вдали от своей родной Женевы, без гроша в кармане; чем больше он скитался, тем больше он вспоминал свою родину, расписывая ее в ярких красках и прославляя ее предполагаемые добродетели. Как большинство его коллег-*philosophes* со времен Локка и Лейбница, Руссо отвергал христианскую идею первородного греха и исходил из представления, что человек по

природе своей добродетелен. Но если для них *patrie*[470] *было* просто «общностью интересов, вытекающих из прав собственности»[471], то для него оно была источником, из которого проистекали все умственные и моральные качества индивида. Поскольку человек формируется сообществом, в котором он родился и провел юность, то вне этого сообщества не может быть истинных проявлений человеческой природы — ни языка, ни собственности, ни морали, ни свободы, ни счастья[472]. В своем «Общественном договоре», написанном в 1762 г., Руссо пошел еще дальше, предположив, что это сообщество обладает корпоративной личностью *(moi commun)*, которая представлена общей волей. Пойти же против своего создателя, так же как против родителей, превратилось в худший из пороков. Напротив, патриотизм, т.е. готовность подчиняться общей воле и принимать участие в ее осуществлении, стал высшей из добродетелей и источником всех остальных.

Хотя превращение *patrie* из места, где человек родился, в высший земной идеал, было таким, образом осуществлено одним росчерком пера, Руссо тем не менее не являлся националистом. Как он пояснил в своей «Исповеди», для него суть отечества состояла не в неких возвышенных идеалах, а в самых обыденных аспектах существования, таких как язык, на котором говорят люди, одежда, которую они носят, обычаи, которые они соблюдают, праздники, которые они отмечают, и даже улицы и дома, которые они строят в собственном уникальном стиле и в которых они проводят свою жизнь. Именно из-за этой чрезвычайно тесной связи, которую он усматривал между сообществом и индивидом, оно должно было быть небольшим, возможно не больше, чем платоновский идеальный город-государство, с которым отец Руссо часто сравнивал Женеву и которому его мысль была многим обязана. Целью Руссо была децентрализация, а не централизация. Мир, который он себе представлял, был каким угодно, но только по современным. Он представлял собой свободную конфедерацию автономных городов-государств, живших в относительной изоляции от своих соседей и населенных, насколько это возможно, воинственными, но мирными фермерами, которые кормились от своей земли. Так и только так каждая из этих общин могла представлять собой высший идеал для своих обитателей, которые благодаря ей получали возможность жить и должны были, если нужно, положить за нее свою жизнь.

Это было время, когда в виде реакции на универсалистские идеи Просвещения (согласно которым человек, будучи по сути своей существом рациональным, везде одинаков) в некоторых

странах стали появляться первые ростки национализма[473]. Писатели, о которых идет речь, стремились освободить уникальную культуру каждого народа из когтей *philosophes,* особенно потому, что большинство последних говорило и писало по-французски. Так, в Швейцарии Франц Урс Бальтазар в «Патриотических мечтах швейцарца» (1758) воспел славу простой, добродетельной и свободной жизни, которую, по его мнению, вели швейцарские крестьяне в своих горных хижинах. Используя в качестве рупора первую современную газету Цюриха, издаваемую его другом, Генрихом Фюссли, Бальтазар стремился спасти все исконное и подлинное и при этом зашел настолько далеко, что даже утверждал, что швейцарские девушки выбирают мужей не за богатство, а за патриотические добродетели. Менее утопический характер носило создание Гельветического общества, представлявшего собой первое организованное проявление современного швейцарского национализма. Его самым значительным участником был знаменитый педагог Песталоцци. Общество стремилось спасти национальные традиции, такие как национальный костюм, народные песни и т.п., фиксируя все это в письменном виде и делая доступным как можно более широким кругам общественности.

В Германии в те же годы роль, аналогичную Бальтазару, играл Юстус Мёзер с его еженедельной газетой «Патриотические фантазии». Юрист по профессии (он служил главным судьей в уголовном суде своего родного Оснабрюка) и последователь Монтескье, Мёзер, прежде чем стать социальным критиком, насмотрелся на мелкую тиранию. Его *bete noire*[474] были произвольные законы, которые эта тирания навязывала германским государствам; его главным требованием было изменение этих законов таким образом, чтобы они соответствовали национальному духу *(Nationalgeist)*. Впрочем, Мёзер отличался от своего французского учителя в том, что для него этот национальный дух был просто нейтральным фактором или простым обозначением особенностей каждой нации с точки зрения расовой принадлежности, географии, климата, истории и т.д. То, что для Монтескье было просто наблюдаемым фактом, который при хорошо поставленном управлении необходимо принимать во внимание, превратилось в нечто, имеющее уникальную ценность; как и Руссо, Мёзер видел в национальном духе источник жизни индивида, а также — что еще важнее для целей нашего исследования — то, что сплачивает каждую нацию и одновременно отделяет одну от другой.

В XVIII в. важнейшим представителем того, что один автор назвал «гуманитарным» национализмом[475], был еще один

немецкий публицист — Иоганн Готфрид фон Гердер (1744—1803). Как представитель раннего романтизма, Гердер лишь в малой степени интересовался правом — той сухой, как пыль, системой правил, которой окружал себя каждый правитель. Вместо этого его интересовало внутреннее бытие, или *Wesen,* каждой нации, которое, по его мнению, было не чем иным, как проявлением божественного. Он отверг просвещенческое акцентирование всего рационального и единообразного в пользу уникального и отличительного: «Ни один индивидуум, ни одна страна, ни один народ или история народа, ни одно государство не похожи на других. Поэтому истинное, прекрасное и благое не является для всех них одним и тем же. Если не искать собственного пути, а слепо брать другую нацию за образец, то все будет задушено». Каждая нация имеет собственную культуру и даже характер. Вскормленные почвой и климатом, они передаются из поколения в поколение и остаются неизменными на протяжении поколений, даже если по какому-то крайне неблагоприятному стечению обстоятельств нация вынужденно меняет свое географическое местоположение. Культура проявляется в особенностях национального костюма, обычаях и главное — в языке; и действительно, связь между родным языком и самоопределением человека настолько сильна, что никто не может выучить иностранный язык в совершенстве. Напротив, «сама цивилизация состоит прежде всего в потенциале нации и в его использовании»[476].

Не будет лишним еще раз подчеркнуть, что эти и другие интеллектуалы XVIII в. не были националистами в современном политическом смысле слова, вне зависимости от того, в каком сообществе они жили и о каком размышляли. Некоторые, заменив христианство деизмом, просто изучали другие культуры как проявления красоты творения во всем его разнообразии, как сад, где каждая отдельная клумба заслуживает восхищения. Другие, настроенные несколько более практично, были движимы необходимостью понимания духа каждой нации, дабы освободиться от устаревших законов и создать справедливый социальный порядок. Одни, такие как Руссо, придерживались демократических или даже революционных взглядов, в то время как другие были склонны соглашаться почти с любым политическим режимом, если он не мешал культуре свободно развиваться. Сам Гердер известен своим высказыванием о том, что ничто не выглядит так смешно, как претензии отдельной нации на превосходство, не говоря уже о политическом господстве, которое не только не способствовало бы развитию культуры, но и создало бы «дикую мешанину пород и наций под

одним скипетром». Подобная позиция была типичной для немецких интеллектуалов того времени. Еще в 1796 г. Шиллер, величайший немецкий драматург и поэт, мог написать, что немцам следует забыть о том, чтобы становиться нацией, и вместо этого воспитывать в себе людей[477].

Картина изменилась только после 1789 г., когда некоторые интеллектуалы пришли к власти и их размышления соединились с претензиями государства. Выйдя за пределы кабинета ученого, национализм принял агрессивный, воинственный характер. Особенно отчетливо это проявилось в Германии, которая прежде славилась как страна «поэтов и мыслителей», где близкое знакомство с французскими штыками, правительством и мародерами пызывало яростную реакцию начиная с 1806 г. Так, например, победа Наполеона над Пруссией превратила философа Иоганна Готтлиба Фихте, ранее известного в качестве безобидного последователя Канта, в чрезвычайно влиятельного оратора, способного завести толпу демагогическими речами. В своих «Обращениях к германской нации» (1807—1808) Фихте возвел антифранцузские настроения почти на уровень религиозного принципа. Теперь даже обучать свою дочь французскому языку, считавшемуся международным языком Просвещения, означало делать из нее проститутку. Появление этой работы обозначило поворотный момент в истории, после нее немецкое национальное чувство, которому долгое время были свойственны космополитизм и склонность к пацифизму, приобрело агрессивный и шовинистический характер, сохранявшийся на протяжении большей части исторического периода вплоть до 1945 г.[478]

В то же время, когда Фихте метал громы и молнии со своей кафедры в Берлинском университете, объединение нации и государства на теоретическом уровне было совершено другим, еще более выдающимся профессором, Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем. Уроженец Штутгарта на юго-западе Германии, Гегель воспитывался в расчете на то, что он последует по стопам своего отца, протестантского пастора. Но во время учебы в Тюбингенском университете он познал вино, песни и женщин и утратил веру в личного Бога. Он давал частные уроки в Берне (где, как и Мёзер на полвека раньше, он познакомился с мелким деспотизмом, свойственным городам-государствам в их худших проявлениях, и проникся отвращением к нему) и во Франкфурте прежде, чем поселился в Йене в 1801 г. Вначале он приветствовал универсалистские идеи Французской революции, символизировавшие тогда для него окончательное отделение государства от общества и, следовательно, прекращение

коррупции, непременно порождаемой *ancien regime*. Однако он изменил свое мнение после катастрофических событий 1806—1807 гг., в ходе которых Саксония была оккупирована, а его собственный дом сожжен.

Несмотря на то, что во многом он был дитя эпохи Просвещения и потому был склонен верить в рациональность как высшее из благ, утрата веры поставила перед Гегелем вопрос о том, чей разум управляет делами общества и человека. За ответом он обратился не к личному Богу христианства, а к безличному духу истории *(Weltgeist)*, тем самым создав светскую религию, первосвященником которой, безусловно, стал он сам. Однако Гегель отличался от других тем, что разум (и, следовательно, формирование истории) он приписывал не человечеству в целом и не индивидам, из которых оно состоит, а отдельным политическим сообществам или государствам, в которых они живут. Составляя гражданское общество, индивиды просто занимаются самовоспроизводством, не меняясь из поколения в поколение. Основное их занятие в жизни — это торг друг с другом ради мелкой экономической выгоды. Так как они эгоистичны и капризны, их деяния едва ли заслуживают внимания философа, озабоченного более высокими материями. Государства же, напротив, могущественны, и, следовательно, являются значимыми «всемирно-историческими» организациями. Каждое из них является не просто системой правления, но воплощенной идеей, являющей себя в этой системе. Как и Гоббс, Гегель видел самую важную характеристику государства, отличавшую его от других организаций, в его суверенитете. В отличие от Гоббса он не считал этот суверенитет лишь инструментом для установления правопорядка, но наделял его высоким этическим содержанием. Будучи единственным институтом на земле, не признающим ничего, стоящего над собой, государство может свободно развиваться в соответствии с собственной природой. Этой свободой оно наделяет своих граждан (при условии, что они сотрудничают с ним) и она служит ему оправданием. Из аппарата, созданного для того, чтобы служить тем или иным целям, государство превратилось в «шествие Бога и мире»[479]. Сама история тем самым трансформировалась, превратившись из бесформенной массы фактов в повествование о возникновении государств, их росте, столкновениях друг с другом, достижении зрелости и увядании в бесконечном поиске более совершенного политического порядка, который одновременно являлся бы более совершенной истиной. Более того, в полную противополность Локку и отцам Американской революции Гегель считал, что истинная свобода

индивида возможна *только* внутри государства. Уберите государство, и человек превратится в ничто, в маленькое биологическое существо, чья жизнь оторвана от мирового духа и в этом смысле не имеет никакого этического значения.

Как и Фихте, Гегель провел последние годы своей жизни в Берлинском университете, где его лекциями очень восхищались, но мало что в них понимали (на то, чтобы продать 500 экземпляров его величайшей работы, «Философии права», ушло 20 лет). Его смерть в 1831 г. обозначила конец Великой трансформации, начатой Руссо. Но если Руссо, возвращаясь к примитивному обществу прошлого, идеалом считал все же организованное сообщество, Гегель без тени сомнений объявлял таковым государство — высший и единственный представитель сообщества. Поскольку государства воплощают свободу и не признают над собой никакого судьи, единственным доступным для них способом ра-пыграть свою историческую судьбу является противопоставление себя другим государствам с помощью войны, которая в результате становится главным орудием раскрытия духа мировой истории; без нее все стремится погрязнуть в эгоизме и посредственности[480]. В результате каждое государство должно становиться как можно более сильным. При том, что он видел задачу государства в защите национальной культуры и создании соответствующих условий для ее развития, Гегель не был бы Гегелем, если бы в его мышлении отсутствовал элемент восхищения силовой политикой как таковой.

Националисты, пришедшие вслед за Гегелем, часто оспаривали его мнение о том, что Пруссия образца примерно 1820 г. была лучшим из всех возможных государств, предпочитая приписывать эту оценку своим собственным странам. Одни, например, француз Франсуа Гизо и итальянец Джузеппе Мацини, были закоренелыми либералами; даже если они и недолюбливали массовую демократию, то изо всех сил стремились достичь сочетания национального величия с личной свободой индивида. Другие, в особенности в Германии и Восточной Европе, в значительном числе представленные также во Франции, не соглашались с первыми. Готовые полностью отказаться от личной свободы, если она мешала достижению национальных целей, они занимали либо авторитарную и реакционную позицию, либо популистскую или даже революционную[481]. Но независимо от того, какой режим они считали наиболее подходящим для их национальных культур, почти все они без исключения соглашались с Гегелем в том, что их государствам необходимо укреплять свою независимость и мощь. По возможности, этого следовало добиваться в гармонии с

другими государствами, как, в частности, надеялся Маццини; но при необходимости это можно было делать и за счет соседей, используя вооруженные силы, чтобы достичь национального освобождения (а также освобождения представителей своей нации, живущих в других государствах), обеспечения естественных границ, места под солнцем или чего угодно другого в зависимости от фразеологии, применяемой для оправдания территориальной экспансии. Все это помогало подпитывать соперничество государств, которое стало характерной чертой периода с 1848 по 1945 г. и которое в конечном итоге, взорвавшись огненным смерчем, привело к двум мировым войнам, а также целой серии менее крупных войн.

Национализм, зародившийся в визионерских грезах немногих интеллектуалов и впоследствии одетый в респектабельную академическую мантию, не смог бы набрать такой силы, какой он достиг в реальности, если бы не стал массовым движением. Первым государством, сознательно мобилизовавшим народные массы и собственных целях, стала революционная Франция. О грандиозности этой задачи говорит тот факт, что в 1789 г. страна все еще была поделена на 80 провинций, каждая из которых имела спои законы, обычаи и политические традиции. Патриотические чувства, которые в то время были у народа, носили, как правило, местный характер. Как сформулировали представители Французской академии, «для француза страна — это просто та местность, в которой ему посчастливилось родиться[482]. Кроме того, лишь 1—13% из примерно 27 млн французов, живших в границах страны в 1792 г., говорили на «правильном» французском. Даже в регионе *langue d'o'il*[483] на нем говорили только в городах и частично — в их окрестностях, а на юге по-французски и вовсе не говорили. Разумеется, это препятствовало государственному единству и, в частности, не позволяло стране стать более централизованной и военизированной, как того желали якобинцы. Как писал священник Анри Грегуар, который одновременно являлся радикальным членом национального собрания, в своей работе «Отчет о необходимости устранения *patois*[484] и универсализации использования французского языка» (1794): «Только когда все граждане говорят на одном языке, они могут иметь равный доступ к гражданству государства»[485].

На практике правители Франции между 1789 и 1815 гг. предприняли немного реальных шагов, чтобы исправить предполагаемые лингвистические недостатки своих подданных (в этом они проявили больше здравого смысла, чем ряд их последователей, которые, пытаясь пойти дальше, стали просто

объектом насмешек). Однако то, что они на самом деле осуществили, имело достаточно серьезные последствия. Сметя старое административное деление, они создали централизованную бюрократию с единообразной структурой и территориальными подразделениями по всей стране. Они так же учредили общую военную службу для всех мужчин от 19 до 26 лет; подробный правовой кодекс, действующий для всех французов, независимо от их статуса, вероисповедания или места жительства; и новую государственную систему среднего и высшего образования, которая во многих аспектах не имела аналогов в истории. Не менее важно то, что хаос, вызванный Французской революцией, и войны, в которые Республика ввязалась через три года своего существования, означали, что французы, происходившие из разных уголков страны, объединились ради единой цели и перемешались друг с другом как никогда раньше. В первый и, конечно, далеко не последний раз война стала суровым испытанием для нации, а также и для государства, ставшего ее формой самоорганизации.

В качестве подкрепления своих претензий Республика учредила ряд общественных праздников, во время которых она прославляла себя и которыми надеялась заменить старые религиозные праздники. Первый из них состоялся в ноябре 1789 г., когда около 12 тыс. человек из разных городов и деревень Лангедока и Дофине более или менее стихийно собрались в Этуале на Роне и дали клятву «отдать наше оружие и наше имущество нашему общему отечеству... приходя на помощь нашим братьям из Парижа или любого другого города Франции, который может оказаться в опасности». С января по май следующего года подобные собрания проходили в Понтиви и Лионе и достигли кульминации во время грандиозного собрания 14 июля 1790 г., в день взятия Бастилии, который был утвержден как праздник годовщины Революции. На Марсовом поле, новой площади для парадов под Парижем, собралось 300 тыс. «патриотов» со всей Франции, чтобы отметить *Fete de la Federation*[486]. Возглавил торжество Талейран — аристократ и член Национального собрания, при старом порядке бывший епископом Отенским, который сменил свое одеяние (не в последний раз) и стал одним из самых крикливых революционеров. Под несвязные звуки поющей толпы и палящих пушек ассамблея дала клятву отказаться от региональных различий. Больше не должно было быть сыновей Дофине, Артуа, Вандеи и т.д. — только французы, собравшиеся вместе, чтобы присягнуть конституции. В течение следующих девяти лет церемония проводилась ежегодно, часто принимая причудливые

формы, как, например, когда Робеспьер возвел на трон Богиню Разума, посадил дерево свободы, и тому подобное. Эта церемония также послужила образцом для множества менее крупных празднеств, проводившихся в провинциальных городах.

Не ограничиваясь отдельными церемониями основатели Республики в честь этого события приняли новый национальный трехцветный флаг, а также новый национальный календарь, начав отсчет с первого года. Созданный поэтом Фабром д'Элантеном этот календарь целенаправленно разделял год на недели, состоявшие из десяти, а не семи дней. Трудно было придумать другой способ, чтобы столь ясно продемонстрировать гражданам силу государства, которое могло изменить их рабочий и жизненный ритм. Вырвав еще одну страницу из книги дискредитированной церкви, в 1795 г. Франция стала первой страной, создавшей официальный гимн для исполнения на публичных мероприятиях. «Марсельеза», чрезвычайно энергичная маршевая песня, была написана в 1792 г. капитаном артиллерии Клодом Жозефом Роже де Лилем, служившим в тот момент в Страсбурге. Песня получила свое название в честь солдат из города Марселя, которые пели ее во время марша их отряда на Париж. Наполеон запретил «Марсельезу», испугавшись, что ее главная идея — призыв сражаться против «кровавого знамени тирании» — может быть применена к его собственному режиму. Гимн возродили орлеанисты в 1830 г., затем Наполеон III запретил его повторно, но в 1871 г. он был окончательно восстановлен официально. С тех пор «Марсельеза» оставалась в почете и исполнялась на публичных мероприятиях, сопровождаемая жестикуляцией, ранее соответствовавшей религиозным гимнам; а тем временем в других странах тоже появлялись свои национальные гимны.

Во время Революции и Первой Империи поэзия, литература и скульптура постоянно использовались для прославления *la patrie* и императора, который принял власть от Республики и стоял во главе страны. Появился даже особый архитектурный стиль, известный как *architecture parlante*[487] — творения, выполненные в этом стиле, начиная с Триумфальной арки, и сейчас можно встретить по всей Франции. Такие художники, как Давид, прославляли деяния Наполеона, даже изображали его небритым, чтобы показать, что он проводит дни и ночи, служа Франции. Как многое другое из того, что делал император, поддерживаемое им искусство, как правило, было тяжеловесным. С начала до конца в нем не было места утонченности в донесении основной идеи и еще меньше — сомнениям в превосходстве государства.

В то время, как Франция стала первой страной, где

национализм вступил в союз с государством, в других местах развитие зачастую шло по другому пути. Там, где нация и государство не совпадали — как это было, например, в большинстве европейских государств в период с 1815 по 1860 г.,— у правителей было больше оснований опасаться националистических устремлений народа, чем поддерживать их. Соответственно национализм возникал независимо от правителей и, во многих случаях, в оппозиции к ним, одновременно разрушая то, что еще осталось от старых представлений о том, что правитель и государство — одно и то же. Показательным в этом отношении является пример Германии, охваченной яростным патриотизмом во время освободительных войн, а затем снова разделенной на 38 государств — не считая Австрии, которая хотя и была членом Федерации *(Bund),* была в значительной части негерманской.

Ранними представителями постнаполеоновского немецкого национализма были такие фигуры, как Фридрих Людвиг Ян и Эрнст Мориц Арндт. Так же, как и Гегель, оба они вышли из семей, исповедовавших пиетизм; так же, как и он, в результате событий 1806—1815 гг. они сбросили с себя политическую апатию и превратились из довольно мечтательных, религиозно мыслящих патриотов в пламенных защитников немецкого отечества. Кроме произнесения националистических речей, они стали планировать и организовывать праздники, целью которых была пропаганда национального единства и прославление подвигов немецкого народа, начиная с тех самых времен, когда его предки одержали победу над римскими легионами. Движение на удивление быстро набрало силу; к 1817 г. на знаменитый Вартбургский фестиваль пришли толпы и буквально на пустом месте родилось целое литургическое действо. Образцом для него послужило богослужение протестантской церкви; церемония включала пение гимнов, таких как *Deutschland uber Alles*[488], торжественные процессии и молитвы, но отличалась от церковного аналога такими важными деталями, как стремление проводить службы на открытом воздухе, а не в помещении, вывешивание национальных флагов, а также замена колоколов на трубы. Фестиваль в Гамбахе в 1832 г. посетило 30 тыс. студентов, и это произошло даже до того, как появились современная транспортная система и современные средства связи, которые позволили проводить подобные мероприятия в подлинно национальных масштабах[489].

Первоначально на такие народные собрания, на которых пили пиво и иногда могли разбить несколько окон (и голов), власти смотрели с подозрением. Они считали их рассадником

якобинства, туда посылали полицейских в штатском следить за участниками, арестовывали и заключали в тюрьму лидеров. Однако с середины столетия ситуация изменилась. Эти собрания взяло на себя все более национализирующееся государство, преобразовало их и заставило служить *своим* целям. Естественно, не все подобные попытки увенчались успехом. Запланировать фестиваль, а потом сделать так, чтобы он выглядел спонтанным, всегда непросто, особенно если целью является продемонстрировать уважение властям, а не перейти на сторону оппозиции или просто выпустить пар. Например, *Sedantag* — день, установленный законом, чтобы ежегодно отмечать битву 1870 г. при Седане и назначенный на 1 сентября, — оказался слишком помпезным и не вызвал энтузиазма в массах. Народ, даже немецкий, предпочитал мероприятия с большей долей народного участия. Чтобы заполнить пустоту, государство сочло необходимым прибегнуть к парадам и другим военным зрелищам.

К тому времени промышленная революция, которая началась в Британии на век раньше, уже давно достигла континента и была в полном разгаре. Индустриальное общество, ориентированное на постоянный экономический рост, подразумевало перемены и постоянную игру в музыкальные стулья[490], поскольку люди то получали, то теряли работу, то зарабатывали, то теряли состояния. Но оно также привело к огромному увеличению индивидуальных возможностей для перемещения с места на место; с 1830-хгодов с распространением железных дорог узы, до того привязывавшие простого человека к сообществу, в котором он родился, впервые были разорваны. Таким образом, индустриальное общество ослабило или разрушило старые институты, где люди привыкли жить вместе бок о бок, такие как большая семья, кланы, племена, деревни, гильдии и даже относительно небольшие городские сообщества, которые, окруженные своими стенами, существовали на протяжении веков и к тому времени чудовищно разрослись благодаря притоку населения из сельской местности[491]. Этот упадок заставил людей почувствовать себя оторванными от корней, обнаженными, как никогда раньше подверженными воздействию грандиозных «рыночных сил», которые, казалось, управляли их жизнью и которые они ни в малейшей степени не могли контролировать. На этом фоне уже примерно в середине века «отчуждение» стало восприниматься как кардинальная социальная проблема, для решения которой и революционеры и консерваторы предлагали самые разные пути[492].

Государство приняло вызов, слившись в объятиях с национализмом, и, осознанно стремясь повернуть ситуацию в

свою пользу, начало петь хвалы самому себе всеми доступными ему способами.

Прошли те дни, когда такие темы, как национальная кухня, национальный костюм и национальные обычаи, могли быть предоставлены заботам одних лишь патриотических обществ; государство с помощью своей образовательной системы, о которой мы более подробно поговорим в следующем разделе, стремилось поставить себе на службу не только их, но и «культуру», включая историю, живопись, скульптуру, литературу, драматургию и музыку. Все это перестало быть просто личным делом отдельных людей или частью общей человеческой деятельности. Теперь эти сферы были разделены на английскую, французскую, немецкую или русскую части; нередко находясь в ведении какого-нибудь министерства культуры (которое могло быть или не быть одновременно министерством образования), они получали субсидии и изучались в первую очередь как способ прославить национальное достояние.

Спорт, одно из величайших проявлений человеческой свободы и непосредственности, также был национализирован. Раньше спорт организовывался исключительно на местном уровне, когда бои, гонки и показательные выступления по атлетике проводились для того, чтобы оживить народные ярмарки, а соседние школы иногда посылали своих учеников соревноваться друг с другом; отныне эта область перешла в ведение государства, которое стало использовать ее в *своих* целях, прежде всего для подготовки к войне[493]. Более того, распространение железнодорожного сообщения сделало возможным организовывать соревнования сначала на национальной, а затем на международной основе, в которых команды представляли свои государства. Сигналом стало проведение в 1896 г. в Афинах первых возрожденных Олимпийских игр. С тех пор, чем престижнее было какое-либо спортивное событие, тем больше была вероятность, что оно начнется с поднятия национальных флагов и закончится исполнением национальных гимнов, не говоря уже о буйстве национальных чувств, которое часто проявлялось во время соревнований.

От Аргентины до Испании[494] во второй половине XIX в. был изобретен целый ряд новых праздников: День независимости, День нации, День вооруженных сил, Юбилейный день, День флага, День героев, День памяти, День победы, День великого похода (у южно-африканских буров) и множество других. Некоторые из них были созданы на основе религиозных и королевских праздников. Другие, как правило, менее популярные

впоследствии, в буквальном смысле были созданы на пустом месте. Главный праздник непременно проводился в столице в присутствии главы государства, который выслушивал и произносил речи. Но каждый город, городок или деревня считали себя обязанными провести собственный праздник — скромную копию оригинала; чем более важными были государственные сановники, снизошедшие до события, тем более оно было успешным и тем большую славу отражало. В зависимости от события праздник мог отмечаться парадом, предпочтительнее — парадом вооруженных сил[495], но поскольку они не могли присутствовать везде, то в случае необходимости в нем принимали участие не такие величественные организации, например, местная ассоциация снайперов или спортивный клуб. Кроме того, проводились шествия с факелами, выступали хоры, произносились речевки, развевались флаги, знамена, торжественно зажигалось и проносилось священное пламя, чтобы потом погаснуть, и, конечно, запускались неизменные фейерверки. В завершение мероприятий для народа устраивались пиры на открытом воздухе и предоставлялась возможность выпить, потанцевать и побуянить, а те, кто желал и мог заплатить, могли насладиться театральными постановками и выступлениями оркестров, которые были пронизаны волнующим чувством патриотизма.

В последние десятилетия до 1914 г. существование государства без подобных празднований было почти немыслимым. Мечтая о будущем еврейском государстве, Теодор Герцль, основатель сионизма, загорелся этой идеей: его дневник пестрит описаниями воображаемых представлений, чем пышнее, тем лучше[496]. Хотя все государства в той или иной степени принимали участие в данных празднествах, самыми большими мастерами этого дела оказались послевоенные коммунистический, фашистский и прежде всего, нацистский режимы. В их руках праздники превратились в грандиозные события, такие как годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции, Первое мая, День марша на Рим, День памяти павших героев, День партии в Нюрнберге, День немецких трудящихся, День летнего солнцестояния и т.д. По сравнению со своими аналогами в других странах, эти мероприятия еще больше и еще быстрее утратили ту спонтанность, которая могла быть им присуща в самом начале. Эти праздники превратились в ритуал, которому суждено было повторяться с ужасающей монотонностью из года в год[497]. Число участников — не тех, кто приходил на демонстрации добровольно, а тех, кого сгоняли власти — достигало десятков и

даже сотен тысяч человек, марширующих, поющих, салютующих в унисон, не говоря уже о тех миллионах, которые получали положенную им информацию с помощью новых технических средств, контролируемых государством — по радио и с использованием киносъемки. Иногда, как на Красной площади в Москве и Площади Венеции в Риме, для праздников использовались уже имеющиеся сооружения либо же их приспосабливали в новых целях. В других местах строились совершенно новые, такие как Цеппелинфельд около Нюрнберга и множество «гигантских» (*giantic* — любимое слово в немецких путеводителях на английском языке, изданных в 1930-е годы) театров под открытым небом, возведенных нацистами по всей стране.

Все эти мероприятия были призваны продемонстрировать то, что к этому времени поклонение государству достигло такого размаха, что изначальные различия между ним и гражданским обществом постепенно стирались. При всем своем превозношении государства как идеи Гегель никогда не считал его *единственным* идеалом; напротив, он всегда настаивал на необходимости существования сильных частных институтов, которые могли бы содержать себя, уравновешивать друг друга и государство, делая таким образом возможным существование свободы[498]. Эти его взгляды игнорировались, если не сказать, искажались его последователями-тоталитаристами, принадлежащими как к правому, так и к левому крылу политического спектра XX в. И коммунисты, и фашисты по-своему стремились упразднить гражданское общество; было позволено выжить только тем его институтам, которые удалось подчинить государственной власти и которые функционировали в соответствии с государственными целями (или, используя нацистский термин, были *gleichgeschaltet*[499])[500]. В теории, а иногда и не только в теории, даже ассоциация филателистов занималась своей деятельностью, преследуя какие-либо политические цели, и каждый *Hausvater*[501] становился фюрером в миниатюре, выкрикивающим приказы своей несчастной семье. Граждане должны были обращаться друг к другу в манере, одобренной государством, и подписывать свои письма предписанным государством образом; те же, кто пытался выразить какое-либо мнение, отличное от официально признанного, имели все шансы отправиться в управляемые государством концентрационные лагеря. Как написал Муссолини в своей статье «Фашизм», опубликованной в издании *Encyclopaedia itali-ana*[502] 1935 г. (которая была, конечно, этатистским проектом), «все в государстве, все для государства и ничего против государства». В нацистской Германии, по словам

министра пропаганды Йозефа Геббельса, человек был свободен от государственного контроля только во сне.

Необходимо признать, что либеральные страны, такие как Франция и в особенности Великобритания, никогда не заходили так далеко, как их тоталитарные аналоги. Следуя традиции, установленной Локком и Монтескье, они определяли свободу по-другому; несмотря на многочисленные эксцессы, имевшие место, в частности, в некоторые периоды французских революций, они никогда не забывали полностью о необходимости защищать отдельных людей и институты *от* произвола государства. И все же в конечном итоге, отличие было только в степени, а не в сути. Не только во Франции в XX в. существовало влиятельное фашистское движение, известное как *Action francaise*[503], «жесткая» разновидность гегельянства имела последователей даже в Великобритании, где «название небольшой территории, охватывавшей Веймар и Йену», как утверждалось, «будило воображение тысяч молодых британцев обоих полов, так же, как слово «Иерусалим» трогало сердца людей в прошлые века»[504]. В то время, как еще Вольтер говорил о патриотизме как о последнем прибежище негодяя, после 1789 г. только социалисты сомневались, что патриотизм является главной добродетелью, или что лояльность к государству в его качестве организованного выражения всего общества — первый долг патриота. Значение самого слова «патриот» изменилось: если раньше оно означало человека, который «заботится о благополучии человечества» (определение, предлагаемое «Энциклопедией»), то теперь стало означать человека, готового сражаться (некоторые сказали бы «сеять смерть и разрушения») от лица государства. По мере того, как государственная измена заняла место *Use majeste*[505] в качестве самого тяжкого преступления, другие формы измены потеряли значимость или исчезли. Так, в Германии *Landesverrat*[506] стала считаться намного более серьезным преступлением, чем просто *Hochverrat*[507]*;* тогда как в Англии понятие *petite trahison*[508]*,* означающее «убийство мужа», которое считалось более тяжким преступлением, чем убийство жены, было исключено из свода законов в 30-е годы XIX в.[509]

Гораздо большее значение для жизни большинства людей имел тот факт, что государство, действуя во имя всех этих высоких идеалов, присвоило себе *право* требовать от своих граждан величайшей из возможных жертв. Угроза, которой опасался Вольтер, а именно то, что избыток «патриотизма» может привести к войне, стала реальностью во время французских революционных и наполеоновских войн. В последние десятилетия перед 1914 г. анархисты, социалисты и пацифисты во многих

странах прилагали огромные усилия, чтобы построить всевозможные мосты, соединяющие различные нации, и тем самым предотвратить войну между крупнейшими государствами. Однако когда прозвучал призыв к жертвам, те барьеры, которые были возведены, оказывались гораздо более хрупкими, чем ожидали даже сами государства, и были легко сметены[510]. За редким исключением будущие солдаты, собранные на мобилизационных пунктах, и парламенты, даже те, в которых было сильное представительство социалистов, голосовали за военные кредиты. Конечным результатом союза национализма и государства стало кровопролитие, которое велось с такой интенсивностью и в таких масштабах, которые едва ли могли себе представить члены политических организаций прошлого. Однако прежде, чем мы обратимся к этой истории, необходимо проанализировать ряд конкретных средств, с помощью которых государство установило свое господство над гражданским обществом.

Муштра народа

Превращение государства из инструмента в идеал никогда не произошло бы, если бы оно не усилило контроль над обществом, намного превзойдя все то, что только пытались сделать его предшественники в ранний период Нового времени. Издание книг по фольклору, произнесение патриотических речей, проведение национальных праздников даже в присутствии королей, президентов и премьер-министров — это все очень хорошо. Однако в долгосрочной перспективе значение имели не периодические празднования и не размышления горстки интеллектуалов, а ежедневная однообразная деятельность, которой занималось большинство управляемых. Каждое европейское, а впоследствии — и любое другое, государство после 1789 г. хотело быть уверенным, что повседневная деятельность населения находится под его контролем и, насколько это возможно, служит целям этого самого государства. Важнейшим средством достижения этого стали полиция и тюремный аппарат, системы образования и социального обеспечения.

Как было показано в предыдущей главе, двумя важнейшими особенностями современного государства стали специализированный полицейский аппарат, с одной стороны, и тюремная система — с другой. Первый сделала необходимым

Французская революция и впервые введенная ею *levee en masse*[511]. Вторая сама была типичным государственным бюрократическим инструментом и предполагала наличие множества форм, правил, охранников, врачей, социальных работников, психологов и, конечно, укрепленных строений, где содержались под стражей злополучные узники. Таким образом, связь между этими двумя системами и государством была сильной и тесной, но обе эти структуры также отражали тот факт, что со времени окончания наполеоновских войн сущность проблемы внутренней безопасности, стоящей перед государством, претерпела решительные изменения.

Начиная с времен самых ранних империй обычно лица, за которыми властям нужно было надзирать больше всего, сами относились к числу сильных мира сего — и это ярко иллюстрируют примеры установления тирании в таких античных и средневековых городах-государствах, как Коринф, Сиракузы, Рим, Милан и Флоренция *inter alia*[512]. Как сказал один эксперт XVI в., «богатые неохотно подчиняются правлению, потому что имеют состояние» ; хотя убийца- одиночка мог совершить успешное покушение на короля или должностное лицо, политические изменения обычно достигались лишь теми, кто уже «выделился своим благородным происхождением и влиятельным положением в обществе»[513]. С появлением современного государства это суждение все меньше отражало действительность. С ослаблением феодальных уз и потерей церковью власти переход к «легитимному» правлению означал, что правители могли ничего не бояться даже со стороны самых могущественных из своих подчиненных. С другой стороны, частная собственность, подобно цементу, создавала основу для всех взаимоотношений за пределами нуклеарной семьи (а часто и внутри нее). Со времен Бодена и Гоббса защита частной собственности стала одной из основных функций суверена[514]. Напротив, благосостояние государства раннего периода Нового времени отчасти объяснялось его готовностью и способностью защитить собственность тех, кто его поддерживал.

Благодаря Локку и Монтескье необходимость защищать собственность от всех посторонних (будь то лица, не владеющие собственностью, или сам правитель), была возведена до уровня основополагающего принципа политической теории. Первый провозгласил право на собственность неотъемлемым законом природы вплоть до того, что определял саму жизнь как «собственность», которой ни один человек не может быть лишен без причины. Второй посвятил ключевые разделы своей работы подробному объяснению способов, которыми это право следует

обеспечивать на практике. Так случилось, что первым государством, которое открыто объявило этот принцип основополагающим, была Англия после Славной революции 1688 г. Соединенные Штаты и Франция последовали за ней, первые — как только приняли конституцию, последняя — в «Декларации прав человека и гражданина» (1789). В Пруссии понятие неприкосновенности частной собственности постепенно формируется в XVIII в., а реформы 1807—1813 гг. официально закрепляют его. Неудивительно, что к началу XIX в. сильные мира сего (которые, после того как все остальные социальные узы были разрушены, в девяти случаях из десяти превратились в просто богатых) почти всегда оказывались на стороне государства. За исключением некоторых русских эксцентричных аристократов с анархическими склонностями, таких как Бакунин и Кропоткин, на их помощь можно было рассчитывать в случае любой попытки свергнуть существующий строй; это дало возможность Марксу в 1848 г. определить государство как просто комитет, учрежденный «всей буржуазией» для того, чтобы нести дела от ее имени[515].

Обеспечив себе таким образом молчаливое согласие, а зачастую даже восторженную поддержку имущих классов, государство начала XIX в. приступило к распространению *своего* закона и *своего* порядка на те части населения, которые до тех пор считались недостойными его внимания. Раньше в большинстве стран преступность в низших социальных кругах воспринималась как результат «испорченности» отдельных людей. Как бы ни была она прискорбна с моральной точки зрения, но она не угрожала обществу, тем более что по большей части принимала форму мелких соседских склок, когда бедные ссорились с бедными. Но поскольку с появлением современного государства члены высших классов оказались разоружены, а индустриализация привела к концентрации огромного числа неимущих в быстро растущих городах, ситуация изменилась. События 1789—1794 гг. показали, что может сделать толпа, особенно должным образом подстрекаемая и направляемая, даже с самым могущественным и хорошо организованным государством в истории. В течение десятилетий, последовавших за 1815 г., набирающий силу «социальный вопрос» стал восприниматься как угроза самим основам сложившегося общественного строя, а также трудовой дисциплине, необходимой для функционирования современного капитализма и промышленности.

В течение двух десятилетий после 1810 г. одна страна за другой, каждая по своим причинам, стала подражать Наполеону, создавая новые полицейские силы и централизуя уже

существующие. Если ограничиться лишь самыми важными изменениями, между 1815 и 1825 гг. старая прусская городская «гражданская стража» *(Burgergarderi)*, которая до того занималась лишь мелкими преступлениями, была упразднена. На ее место пришла полиция, а в сельской местности — жандармы: обе службы содержались на государственные средства. В середине XIX в. в типичном провинциальном прусском городке один полицейский приходился на 3 тыс. жителей, к началу Первой мировой войны — уже один на тысячу[516]. В России в 1811 г. царь Александр I, предвидя возможное вторжение французов и потому стремясь искоренить нелояльность, учредил министерство полиции, выделив его из существующего министерства внутренних дел[517]. Переименованное в «третье отделение» Николаем I, оно получило карт-бланш на сбор информации, касающейся всего без исключения: к 40-м годам XIX в. оно настолько вышло из-под контроля, что стало следить за собственным сыном императора без его ведома[518]. Этому ведомству суждено было действовать до самого конца царского режима, принимая разные обличья. Со временем оно послужило образцом для своих печально известных коммунистических преемников — ЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ.

Среди основных европейских стран самые сильные либеральные традиции имела Великобритания. Хотя отдельные члены Парламента периодически протестовали против возникающей угрозы для свободы, но и здесь рост и централизация государственных регулярных полицейских сил шли своим чередом. В 1829 г. в Лондоне появились «бобби» (названные так в честь министра внутренних дел Роберта Пиля). В 1835 г. Парламент предписал всем городским муниципалитетам последовать примеру Лондона, а спустя 21 год был принят «Акт о полиции в графствах и городах», сделавший полицейские формирования обязательными по всей стране. Тем временем развитие сети дорог, железных дорог и телеграфа положило конец изоляции местных полицейских подразделений, как в Британии, так и в других странах. В 1870-е годы такие вопросы, как оплата, дисциплина и критерии для набора полицейских, были изъяты из ведения местных органов власти и переданы министерству внутренних дел. Следующий важный шаг был сделан в 1890 г., когда законом была предоставлена официальная возможность переводить полицейских, и даже целые подразделения, из одного местного управления в другое. К 1906 г. не менее трети деятельности министерства внутренних дел сосредоточилось в его криминальном отделе, который к тому времени занимался всем, от контроля за официантами-

иммигрантами до мелких преступлений. Но при всем том по сравнению с тем, что происходило в других странах, Великобритания находилась в числе отстающих. Например, стандартная для всей страны процедура ареста была введена только в 1929 г.

В то время как происходили все эти изменения, государство, изначально исключительно европейское изобретение, уже начало свой победный марш, которому суждено было сделать его господином мира. Позже мы рассмотрим подробнее этот процесс распространения; здесь лишь отметим, что британская система профессиональной полиции была экспортирована в ее главные колонии, которые, естественно, обращались за помощью в решении своих проблем к метрополии. В Соединенных Штатах, к тому времени самом важном государстве за пределами Европы, Нью-Йорк стал первым городом, в котором была создана муниципальная полиция в 1845 г. Изначально она насчитывала 800 человек — довольно крупная структура по тем временам — но и она вскоре устарела, так как численность населения Нью-Йорка за следующие два десятилетия возросла от 400 тыс. до 650 тыс. человек[519]. В 1865 г. была создана Секретная служба, первая общенациональная полицейская организация, задачей которой была охрана президента. В 1905 г. Пенсильвания стала первым американским штатом, где былаучреждена полиция штата; позже ее примеру последовали Нью-Йорк (1917), Мичиган, Колорадо и Западная Вирджиния (1919) и Массачусетс (1920). К 1920 г. уже в течение 12 лет действовало Бюро расследований, позже переименованное в Федеральное бюро расследований (ФБР). Оно было создано исполнительной властью, несмотря на возражения Конгресса, отдельные члены которого боялись, что это повлечет за собой пристальное внимание к их собственным делам. Первоначально задачей ФБР было расследование антитрестовских дел, некоторых видов мошенничества, а также определенных видов преступлений, совершаемых против государственной собственности либо государственными чиновниками. Как и все бюрократические организации, ФБР стало разрастаться до тех пор, пока не включило в свою компетенцию большой список «федеральных» преступлений.

Создав полицейские силы, эти и другие американские штаты стали наводить порядок как в сельской местности, так и в районах городской бедноты, которые раньше находились практически полностью за пределами их досягаемости. Патрулируя улицы, надзирая за рынками, пивными и борделями (но делая это осторожно, стараясь избегать мест, в которые наведывались высшие государственные чиновники), полиция

заставила всех почувствовать свое присутствие, хотя это в большей степени касается Европы, а не Соединенных Штатов с их широкими открытыми пространствами и особыми общественными условиями на осваиваемых территориях. Опять же хорошим эталоном может служить Великобритания с ее относительно либеральными традициями. В период между 1805 и 1842 гг. количество уголовных судебных преследований возросло в 7 раз; с учетом роста населения эта цифра увеличилась в 4,5 раза в подушевом выражении. Поскольку упор теперь делался на общественный порядок (например, «Акт о бродяжничестве», принятый в Соединенном Королевстве в 1824 г., позволил преследовать людей просто за то, что они находились на улицах), не удивительно, что большая часть обвиняемых принадлежала к низшему классу. Последствия были воистину драматическими. После 1848 г. редко возникала необходимость вызывать войска для подавления бунтов и т.п. В Великобритании между 1850 и 1914 гг. (когда кривая изменила направление и стала горизонтальной) количество краж со взломом в расчете на 100 тыс. человек уменьшилось на 35%, убийств — на 42% и разбойных нападений — на 71%[520]. Под предлогом необходимости дисциплинировать народ государство начало завоевывать целые городские кварталы, которые ранее были вне его доступа, и переделывать их по своему образу и подобию.

Точно так же, как полицейские силы навязывали людям допустимые стандарты поведения, государство в XIX в. почувствовало, что пришло время завоевать и их умы. На протяжении почти всей человеческой истории образованием занимались почти исключительно семья и официальная церковь. Известным исключением была Спарта, где, отражая опыт более ранних племенных сообществ, мальчиков забирали у родителей в возрасте шести лет и воспитывали в специальных общежитиях, которые они покидали только когда вступали в брак. Видные мужи других античных городов-государств так же иногда основывали школы, но они делали это для того, чтобы продемонстрировать согражданам свою щедрость и как часть возложенных на них общественных обязанностей (литургий), а не в качестве попытки всеобъемлющего контроля над умами молодежи[521]. Каролингская, инкская, оттоманская и китайская империи — все могли похвастаться наличием школ, находившихся под имперским контролем; но их ученики ми становились преимущественно родственники придворных лиц и, возможно, немногие подающие надежды представители бюрократии. Какова бы ни была система, и опять же за исключением некоторых античных городов-государств,

подавляющее болыпинство людей были в этом отношении предоставлены самим себе. Это означало, что на протяжении всей истории население, в особенности сельское, едва ли вообще получало какое-либо формальное образование.

Предложения по учреждению государственной системы образования можно встретить в работах таких писателей-утопистов XVII в., как Валентин Андреа и Джерард Уинстенли, которого мы уже упоминали как сторонника создания государственного аппарата по сбору информации. Возможно, под влиянием примера Спарты, а также работ Платона, Андреа хотел, чтобы детей обоих полов забирали у родителей в возрасте шести лет и воспитывали в специальных заведениях. Уинстенли предложил, чтобы «Содружество» взяло на себя ответственность за то, чтобы ни один будущий гражданин не остался без должного морального и профессионального образования, необходимого для того, чтобы заработать на жизнь, хотя он не объяснял, как именно это следовало делать. На протяжении всего XVIII в. подобных проектов становилось нее больше. Все хотели изъять образование из рук церкви, но одни стремились к этому из соображений, которые сегодня мы бы назвали патриотическими или национальными, а другие просто отражали желание обеспечить зарождающуюся бюрократию постоянным притоком послушных канцеляристов. К первым относился Руссо, который в своих «Соображениях о правительстве Польши» *(Considerations concernant le gouvernement de Pologne,* 1772) предположил, что цель образования состоит в том, чтобы заменить в головах учащихся выражение *ubi bene ibi patria* («где хорошо, там и родина») на противоположное[522]. Ко второй группе можно отнести прусского теолога Конрада фон Зейдлица и его баварского коллегу Генриха Брауна, которые в 80-егоды XVIII в. подали на рассмотрение своих монарших повелителей несколько детально разработанных проектов.

До тех пор, пока продолжал существовать старый порядок, из этих и подобных предложений мало что получалось. Большинство монархов, ограничиваясь негативным аспектом дела, считали достаточным просто следить за тем, чтобы в церковных школах не обучали ничему такому, что могло бы подорвать их положение; все, что было сверх этого, сводилось к выделению денег, а иногда и помещений, для преподавания предметов, которые по тем или иным причинам возбуждали интерес властителей. Так, Людовик XIV под влиянием Кольбера оказывал поддержку недолго просуществовавшей *Acadimie politique*[523], а также небольшому числу технических колледжей, самый важный из которых в будущем развился в *Ecole des ponts et chaussees*[524][525]. Другой

областью, привлекшей внимание властей, была подготовка офицеров. Ранее офицерами были те, кто либо за счет собственного капитала, либо на средства, предоставляемые другими, получали от правителей «комиссию» для найма солдат. С появлением (начиная примерно с 1648 г.) регулярных вооруженных сил система изменилась: кадетские школы, предназначенные для сыновей обедневшего дворянства, стали создаваться почти повсеместно, и все основные государства учредили хотя бы одну (за исключением Великобритании, где форма, которую выдавали для заполнения полковые командиры при найме офицеров, не включала сведения об образовании). В конце XVIII в. школы, подобные европейским, стали появляться и в новом государстве, образовавшемся по ту сторону Атлантики. Две из них, одну в Вест-Пойнте, другую — в Аннаполисе, ожидало большое будущее[526].

Первым правителем, проявившим практический интерес к образованию своих подданных в целом, был Фридрих Вильгельм I Прусский. Как он заявил в 1717 г., он убедился, что дети «крайне невежественны... в тех предметах, которые наиболее необходимы для их благосостояния и вечного спасения». Поэтому он издал королевский указ, согласно которому родители должны были отправлять своих детей в школу, но поскольку ничего не было сделано для практической реализации указа, результаты если и были, то минимальные. Фридрих Великий в своем *Landschulregiment*[527] (1763) приказал, чтобы все дети от пяти до тринадцати лет посещали школу; девять лет спустя он выделил 200 тыс. талеров для того, чтобы заплатить жалование учителям и спасти своих ново-приобретенных померанских подданных от того, что он называл «их польским холопством»[528]. Снова из этого мало что вышло, не в последнюю очередь из-за того, что родители были слишком бедны, а местные власти не хотели брать на себя расходы. Например, еще в 1792 г. школы были только в одной из каждых шести восточно-прусских деревень. В Западной Пруссии процент был еще ниже; во всем королевстве имевшиеся школы обычно концентрировались в королевских владениях, а прусские юнкеры не стремились давать образование своим крепостным. Тем не менее, Фридрих все-таки завершил дело своего отца, поставив среднее и университетское образование под контроль государственного министерства. Были учреждены выпускные экзамены в школе, известные как *Abitur*[529], прохождение которых стало условием для приема как в университеты, так и на должность в прусской администрации. В XIX в. это стало необходимым условием и для тех, кто претендовал на получение офицерского чина.

Пока Пруссия медлила, Бавария действовала. Люневилльский мир (1801) положил конец старой *sancta Bavaria*[530], какой она была с 1648 г. Страна была вовлечена в тесный союз с наполеоновской Францией, а аннексия территорий, ранее принадлежавших Австрии, повлекла за собой массовый приток протестантов и евреев, которых прежняя система не могла нормально включить в свою орбиту. В октябре 1802 г. был ликвидирован Совет по церковным делам и основано первое в истории министерство образования. Власти Баварии не только сделали окончание высшей школы условием для поступления на гражданскую службу, как это было в Пруссии, но и учредили обязательное школьное образование для всех детей. Исполнение этого закона обеспечивалось выдачей сертификата об окончании школы, который необходимо было предъявить для получения разрешения на приобретение недвижимого имущества, занятие торговлей и заключение брака. Большинство расходов покрывались платой, взимаемой с родителей, остальные затраты осуществлялись за счет церковной собственности, которая должна была быть секуляризирована как можно скорее. Закон 1804 г. пошел еще дальше, поставив все уже существующие школы под надзор государства и сделан их неконфессиональными. Школьная программа приобрела светский, утилитаристский уклон. Этой системе суждено было оставаться в силе вплоть до ее отмены в ходе следующей волны реформ в 60-х годах XIX в.[531]

Если в Баварии приверженность делу образования ослабла после Реставрации, то в Пруссии дела пошли по-другому. Благодаря усилиям Фридриха Вильгельма III, проявившего личную заинтересованность, в 1808 г. был учрежден департамент образования. Спустя девять лет важность его была официально признана, когда департамент получил статус министерства. Уже имея под своим контролем высшее и среднее образование, с окончанием освободительных войн министерство, получившее в свое распоряжение довольно большие средства, начало сотнями открывать школы. Финансирование поступало частично от самих родителей, частично от взносов местных правительственных органов. Система охватывала как мальчиков, так и девочек; в школу принимали не только немцев, но и поляков и даже евреев, что было настоящим новшеством в то время. Задача обеспечения преподавательским составом была возложена на 28 специально созданных для этого финансируемых государством школ-интернатов. В Кенигсберге дефицит квалифицированных учителей был таков, что сирот из государственных приютов было решено в массовом порядке подготовить для будущей

учительской работы, и как только их обучение заканчивалось, их уже в новом качестве направляли преподавать таким же юнцам.

Таким образом, государство, как сказал один из чиновников, ответственных за учебную программу, было «превращено в большое образовательное учреждение»[532], и результатов этого не пришлось ждать долго. К 1837 г. 80% детей в Пруссии посещали школу, и, чтобы дать им такую возможность, были приняты первые законы о детском труде. К середине века 80% взрослого населения Пруссии было грамотным по сравнению лишь с 50—65% в Великобритании и во Франции. Только один из десяти прусских военных новобранцев не имел школьного образования[533]. Последним штрихом стала конституция 1849 г., превратившая всех учителей — включая университетских профессоров (причем некоторых из них пришлось буквально принуждать силой) — в государственных служащих. Учитывая, что в остальных землях школы давно уже были под государственным контролем, после 1871 г. эта система распространилась на всю Германию. Когда либералы перешли на сторону Бисмарка, всякие сомнения в том, что цель школьного образования — помочь сделать Рейх сильным и крепким, остались в прошлом, и развитие немецкого образования твердо встало на курс, который впоследствии если и претерпел какие-либо изменения, то лишь после 1945 г.

По причинам, которые здесь нет возможности подробно привести, другие страны двигались в этом направлении с запаздыванием. Законопроекты, которые могли бы привести к учреждению приходских школ, рассматривались в британском Парламенте в 1796, 1797, 1807 и 1820 гг., но были отклонены, и только в 1833 г. ничтожная сумма в 20 тыс. фунтов была выделена «на образование для беднейших классов»[534]. К 1858 г. эта сумма увеличилась до 700 тыс. ф. ст., что уже не было пренебрежимо малой величиной (помимо прочего сюда входили расходы на подготовку 14 тыс. школьных учителей), но несравнимой с 24 млн ф. ст., потраченных в том же году на оборонные нужды. Между тем попытки ввести всеобщее и обязательное обучение, контролируемое министерством образования, по-прежнему отвергались. Встречая сопротивление со стороны налогоплательщиков, меры по распространению школьного образования среди более широких слоев населения предпринимались очень медленно. В основном все ограничивалось парламентскими комитетами по расследованию, которые следили за тем, как расходовались выделяемые средства.

В общем и целом, такая же ситуация наблюдалась и во Франции, несмотря на существование там гораздо более

централизо-нанной политической системы. Величайшим вкладом Наполеона во французскую образовательную систему было основание диух «великих школ» — *Ecole polytechnique*[535] и *Ecole superieure d'administration*[536]. Он также основал ряд *lycees*[537], которые были предназначены для сыновей из семей среднего класса и образование в которых имело военный уклон. Однако его интерес к начальному образованию был ограничен, и он, отнюдь не стремясь расширять эту сферу, ограничился взятием существующих учреждений под контроль государства. Историк Франсуа Гизо, занимая должность министра образования при Луи-Филиппе, распорядился открыть начальные школы в каждой коммуне. Однако это осуществлялось бессистемно, и те немногие учреждения, которые были открыты, управлялись совместно государством и приходским священником.

Обе эти страны, так же как и другие, к активным действиям подтолкнул целый ряд военных побед Пруссии, начавшихся в 1864 г. В 1866 г. военный министр фон Роон сообщил королю Вильгельму I, что «победу при Кёнигреце одержал прусский школьный учитель»[538]. Изначальным намерением фон Роона, вероятно, было отнять часть славы у руководимого фон Мольтке генерального штаба, быстрыми темпами набиравшего вес, однако эта фраза послужила знамением для других стран. Первым шагом, предпринятым во Франции, было учреждение *ecole normale primaire*[539] в каждом *departement*[540]. За несколько лет была создана целая армия учителей, которые приступили к своей первостепенной задаче — превратить каждого француза (тогда еще никто не задумывался о том, что того же можно требовать и от женщин) в пылкого патриота, готового отдать свою жизнь за Эльзас-Лотарингию[541]. Последовали и другие меры, и в итоге процесс увенчался введением в 1882 г. всеобщего обязательного бесплатного образования[542]. Главным ответственным лицом за продвижение этой схемы в парламенте был премьер-министр Жюль Ферри. Не случайно он также играл главную роль в экспансии французской колониальной империи в Тунисе, Мадагаскаре, Тонкине и французском Конго.

Столкнувшись с «вызовом Германии»[543], другие государства почувствовали, что у них практически нет иного выбора, кроме как последовать за ней. Обязательное всеобщее образование, которому рано или поздно также предстояло стать еще и бесплатным, достигло Японии в 1872 г., где оно стало частью процесса, известного как Реставрация Мейдзи. Черед Италии настал в 1877 г., Британии — в 1890, а Испании — в 1908 г. Но если в Германии учебные программы устанавливали государства, из которых состояла империя, то политическая система

большинства других стран обычно была более централизованной, в результате чего на рубеже веков, например, французский министр образования, взглянув на часы, мог сказать, какой урок шел в сотнях тысяч классов. К концу Первой мировой войны подобные меры были переняты и многими странами Латинской Америки[544], хотя по сей день они в значительной степени существуют лишь на бумаге.

Иначе обстояли дела в большинстве развитых стран, где реформа по большей части достигла своих целей. В 1895 г. в Великобритании 82% детей соответствующего возраста посещали школы, и система даже начала предоставлять определенный набор медицинских услуг, а также льготное питание. Накануне Первой мировой войны социальный реформатор Беатрис Уэбб в поэтических выражениях расписывала «утопическую» картину, находящуюся перед ее глазами: «Семь миллионов детей встают каждое утро, умываются и чистят зубы... идут по улицам, дорогам и уединенным лесным тропинкам... чтобы появиться в назначенный час в 30 тыс. школ, где каждый из этих семи миллионов находит собственное место, где ему обеспечены книги, классные доски и учителя»[545]. Реальность, разумеется, была не столь идиллической. Уже в 1880-е годы в таких «хорошо организованных» странах, как Германия, обычным делом для полицейских стало сопровождение прогульщиков в школу, а иногда и заключение в тюрьму родителей, которые сами этого не делали.

Возможно, в силу того, что высшее образование стоило дороже, ситуация в средней и высшей школах характеризовалась большим разнообразием. В 1880-е годы стали предоставляться государственные субсидии на оплату обучения талантливых сыновей бедняков (а по прошествии значительного времени — и дочерей) , желающих посещать высшую школу, и здесь показательный пример дает Великобритания. С 1902 г., когда на смену ранее существовавшим школьным советам пришла централизованная организация, 56 мест из каждой тысячи в содержащихся за счет бюджета школах должны были предоставляться бесплатно. Через 27 лет эта цифра увеличилась в 2 раза. В 1932 г. была введена проверка нуждаемости, чтобы отличить родителей, которые могли платить за обучение своих детей, от тех, кто не мог. Хотя аналогичные меры предпринимались во многих других странах, среднее образование в основном оставалось доступным только среднему классу, и лишь после 1945 г. оно стало в какой-то мере всеобщим и бесплатным. В большинстве стран возраст окончания школы, первоначально установленный в 11 лет, впоследствии был

повышен до 14 и, наконец, до 16 лет. Этот рубеж не решается пересечь даже современное государство со всей его самоуверенностью и непревзойденным аппаратом принуждения.

Поскольку высшее образование требовало высокого уровня квалификации преподавательского состава, правительства в меньшей степени могли его контролировать. Относительно немногие страны последовали примеру Германии, превратившей все университеты в государственные учреждения, а штатных преподавателей — в Beamter[546]. В других странах существовала тенденция к государственному субсидированию университетов; например, в Великобритании между мировыми войнами правительство предоставляло им от одной трети до половины дохода. Удивительно, что США стали одной из первых стран, в которых были основаны «государственные» университеты. Первым в 1766 г. открыл свои двери Ратджерс — университет штата Нью-Джерси. За ним последовал Университет штата Джорджия в 1785 г., Университет штата Вермонт в 1791 г., Университет штата Тенесси в 1794 г. и Университет Цинциннати в 1819 г.[547] Многие из этих публичных университетов были основаны в слишком отдаленных и недавно заселенных районах, куда не добирались частные платные учреждения. Не удивительно, что их престиж (и, предположительно, уровень обучения) со времени их основания и до наших дней, как правило, не достигал уровня последних.

Если университеты, за исключением университетов в тоталитарных странах, обычно имели право на собственную учебную программу, то средние, а тем более начальные школы не имели такой прерогативы. Следовательно, подготовка, которую они обеспечивали, часто зависела от политических требований момента. В зависимости от того, боялись или доверяли государства своим гражданам, больше внимания уделялось то практическим, то теоретическим дисциплинам. Хотя во всех странах, как правило, религия в школах вытеснялась (отечественной) историей, немецкие и особенно французские школы оказывались в эпицентре борьбы между церковью и государством. В Германии с 1872 г. Бисмарк вел *Kulturkampf*[548], во Франции в 1900 г. к власти пришло правительство радикалов, которое закрыло все религиозные школы вплоть до 1914 г., когда их вновь было позволено открыть. В век, когда все больше и больше людей получало избирательные права, желание государства контролировать учебный план отчасти мотивировалось необходимостью, как выразился один член британского парламента в 1867 г., «дать образование нашим господам» . Однако демократизация не объясняла, почему

практически в каждой стране детей все больше заставляли изучать «национальный» язык в ущерб родному. Ею также невозможно объяснить постоянные парады, салют перед флагом, пение гимна и поклонение героям, имевшие место во многих странах, не говоря уже о необходимости «воспитания верности одному кайзеру, единой армии, флоту» (Германия), о поддержке «расы» в ее «борьбе за существование» (Великобритания) и о недопущении «отставания национальной обороной мощи от других стран» (США)[549].

Наконец, установив надежный контроль над умами молодежи, государство перешло к формированию лояльности граждан, достаточно зрелых, чтобы понимать, что их реальный интерес состоит в хлебе, а не в зрелищах. В общем и целом, начало XIX в. было расцветом *laissez faire*. Многие из прежних институтов больше не существовали; государство, успешно проведя разграничительную линию между властью и собственностью, не желало ставить ограничений на возможное использование последней. Однако уже и 30-е годы XIX в. ветер стал меняться. В Великобритании, на тот момент наиболее промышленно развитой стране, только за период с 1831 по 1842 г. было создано не менее 39 королевских комиссий, задачей которых был надзор за условиями жизни бедного населения. В результате получили широкую огласку такие факты, как повальная нищета; безнадзорные дети, которым вместо образования давали опиум, чтобы они сидели тихо, пока родители на работе; 14-часовой рабочий день для молодежи и стариков; условия труда, которые во многих случаях невозможно было назвать иначе, как ужасающими; заработная плата, которой даже в лучшие времена едва хватало, чтобы не умереть с голоду; отсутствие страхования от безработицы, несчастных случаев, болезни и старости[550]. Одни реформаторы искренне заботились о благосостоянии народа, мотивами других, составлявших большинство, был страх перед революционными последствиями, которые могли возникнуть, если ничего не делать. Каковы бы ни были причины, но государства занялись социальной и экономической жизнью такими методами и в такой степени, какие были абсолютно немыслимыми для прежних политических сообществ.

Первые фабричные законы, запрещавшие найм на работу детей младше девяти лет и ограничивающие рабочий день лиц младше 18 лет двенадцатью часами в день, были приняты в Великобритании в 1834 г. Как подразумевает их название, первоначально законы касались только фабрик; в 1842 г. они были распространены на рудники, в 1876 г. — на торговое

судоходство, и в 1889 г. — на железные дороги. Закон 1844 г. запретил нанимать на работу женщин более чем на 12 часов в день — это был первый из весьма длинного списка законов, принятых современным государством в пользу женщин, исходя из того, что они слабы и нуждаются в особой защите. Уже в 1847 г. Парламент принял билль о десятичасовом рабочем дне, однако только с 1874 г. он стал применяться в отношении всех промышленных предприятий, в то время как для других рабочих, особенно продавцов и домашней прислуги, ограничения на продолжительность рабочего дня были приняты только в начале XX в. Для того чтобы обеспечить выполнение этих законов, а также правил техники безопасности, которые постепенно вводились в действие, начиная с 1840-х годов, была создана система инспекций. Вначале она часто встречала сопротивление не только со стороны работодателей, которых возмущало вмешательство в их дела, но и со стороны самих рабочих, которые не хотели, чтобы возможности заработка младших членов их семей были ограничены. Другие страны последовали за Великобританией, хотя неохотно, и зачастую спустя значительный промежуток времени. Например, в Германии 12-часовой рабочий день был введен только после объединения в 1871 г.; во Франции, где условия были в некоторых отношениях хуже, чем где бы то ни было, это произошло еще позже.

По мере того, как условия труда все больше попадали под контроль государства, оно стало распространять свое влияние и на другие сферы общественного вспомоществования. В 1834 г. в Великобритании была упразднена возникшая в эпоху Елизаветы старая система Спинхэмленда, при которой неимущим, живущим мне стен попечительских учреждений, выплачивались пособия или предоставлялась работа за счет обложения прихода, в котором они проживали. Дело не только в том, что увеличившееся финансовое бремя превысило возможности отдельных приходов, по и в том, что децентрализованная природа этой системы была несовместима с демографическими изменениями, которые принесла урбанизация. Место приходов заняли государственные работные дома, которые принимали людей на основании проверки их материального положения. Пытаясь снизить затраты, эти учреждения управлялись аналогично тюрьмам, при этом в них намеренно создавались как можно более тяжелые условия. Семьи подлежали разделению, самые невинные виды развлечений, такие как курение или игры, были запрещены, а работа была тяжелой и непривлекательной. Цель реформы, а именно снижение затрат, была достигнута; к 60-м годам XIX в. суммы, затрачиваемые государством на помощь

бедным, сократились. Именно по этой причине реформа мало им помогла. Тем не менее, впервые власть пыла изъята у мировых судей и передана в руки центрального наблюдательного совета. Это обозначило важный шаг в построении современной британской государственной службы.

Первый закон об общественном здравоохранении был принят в Великобритании в 1848 г., в результате чего были созданы местные советы по здоровью, ответственные за водоснабжение, и также за мощение и уборку улиц и водоотвод. Закон оказался непопулярен, и в 1854 г. срок его действия не был продлен. Лондонская газета «Тайме» написала, что Джон Буль утомился от «ппостоянных субботних уборок». Однако к большому огорчению налогоплательщиков этот возврат к прошлому оказался временным. Отметим лишь некоторые вехи. В 1853 г. стала обязательной вакцинация от оспы (в 1898 г. было признано право родителей по религиозным мотивам не делать своим детям прививку). И 1858 г. был создан Главный медицинский совет для надзора над профессиональным образованием и выдачей лицензий в области медицины, хирургии и акушерства. В 1860 г. был принят закон о фальсификации пищевых продуктов, а 15 лет спустя местные власти для обеспечения выполнения этого закона получили право назначать экспертов по анализу продуктов питания. В 1890 г. был принят закон о душевнобольных, сделавший условием госпитализации душевнобольного согласие врача, назначенного государством; в 1899 г. были открыты первые роддома, хотя эта практика получила всеобщее распространение лишь в 1919 г. Наконец, государство начало строить свои собственные учреждения для людей, страдающих телесными и душевными болезнями, отобрав эту функцию у церкви. По мере того, как принимался закон за законом и назначался инспектор за инспектором, появилось стремление к созданию централизованной структуры, а централизованная организация в свою очередь с неизбежностью стала брать на себя дополнительные задачи. Конечным результатом стало учреждение Министерства здравоохранения в 1919 г.

Уже к 40-м годам XIX в. эти изменения обладали достаточным импульсом, чтобы найти свое отражение в социалистической мысли. Писатели более ранней эпохи, такие как Сен-Симон, Фурье и Оуэн, не говоря уже о Руссо, верили, что человечество спасет не бюрократия, а ее отсутствие. Они считали, что решить современные им социальные проблемы можно путем отказа от современной жизни и возврата к земле: именно там группы рабочих, создав самоуправляющиеся общины со своими законами, сами бы удовлетворяли свои экономические

потребности, наслаждаясь всеобщим равенством и свободой[551]. Однако с развитием современной индустрии такое решение потеряло свою привлекательность. При том, что «черные мельницы сатаны» однозначно были злом, их вклад в промышленное производство был настолько велик, что повернуться к ним спиной означало обречь себя на изоляцию, отсталость и даже голод. Поэтому люди, мечтавшие о реформах, такие как Этьен Кабе во Франции и Эдвард Беллами в Соединенных Штатах, обратили свои надежды к государству. По их мнению, государство, в том виде, в каком оно существовало в их эпоху, представляло собой политический каркас капиталистической эксплуатации; проблема заключалась в том, чтобы заставить его работать на благо всего общества. Государство будущего, приняв эстафету у частных предприятий, должно будет заменить конкуренцию сотрудничеством, а капризы частных лиц — планированием, таким образом значительно повышая объемы производства и в то же время обеспечивая занятость, благосостояние и изобилие для всех[552]. Такой оптимистичный взгляд на преимущества централизованного планирования разделяли даже такие провидцы, которые, подобно Марксу и Энгельсу, предсказывали, что государство «отомрет».

Первыми провозгласили «право граждан на труд» французские революционеры в 1848 г. Пытаясь применить теорию на практике, Луи Блан в 1848—1849 г. основал общественные мастерские *(ateliers nationaux),* однако по его ли вине или по вине его противников, но это начинание потерпело полное фиаско, и мастерские вскоре были закрыты. Другие, вероятно, более здравомыслящие идеологи не ставили столь амбициозных целей и призывали к реализации проектов страхования, которые облегчили бы жизнь рабочих в периоды невзгод. Первые подобные схемы были воплощены в жизнь стараниями канцлера Германии Отто фон Бисмарка, целью которого было отвлечь пролетариат его страны от набирающей силу социал-демократической партии. В период с 1881 по 1885 г. проекты страхования по старости, болезни и безработице были проведены в Рейхстаге и приобрели силу закона. И государство, и работодатели, и рабочие должны были делать взносы; сначала эта схема затрагивала только фабрично-заводских рабочих, но впоследствии она была распространена и на другие группы, пока не охватила в период Веймарской Республики людей практически всех профессий[553]. Быстро подхватив инициативу немцев, скандинавские страны разработали собственные схемы, и к 1914 г. некоторые из них уже были воплощены в жизнь. В 1893 г. Швейцария также начала экспериментировать со схемой

добровольного страхования по безработице, находящейся под управлением государства. Она не смогла справиться со своими обязательствами и спустя четыре года обанкротилась, однако эта неудача не остановила других. К 1920 г. в Швеции, Дании, Номой Зеландии, Франции, Нидерландах, Финляндии и Бельгии существовали системы добровольного страхования по безработице, управляемые и субсидируемые государством.

Великобритания — первая страна, вступившая в период индустриализации, — оказалась на удивление медлительной в создании системы социального обеспечения; однако в 1908—1911 гг. спорам, длившимся десять лет, был положен конец Либеральной партией в лице блестящего министра финансов Дэвида Ллойда Джорджа. Как и в Германии, реформы включали в себя систему обязательного медицинского страхования и страхования по безработице, взносы в которую выплачивали работодатели, рабочие и государство; сверх того были утверждены пособие по материнству и 30 шиллингов (7 долларов 50 центов) и всеобщая, не требующая взносов уравнительная пенсионная схема, распространяющаяся на лиц возрастом свыше 65 лет, не имеющих иных источников дохода. Реформа, описанная ее создателями как «величайший план социальной реконструкции, из всех, когда-либо существовавших», немедленно столкнулась с проблемами, поскольку количество людей, получающих пенсию, оказалось в 2 раза больше, чем ожидалось — деньги обладают удивительной способностью привлекать массу людей, само существование которых раньше оставалось незамеченным. К 1914 г. стоимость программы удвоилась в сравнении с запланированными 6 млн и достигла 12 млн ф. ст. в год, а общая сумма всех «социальных» расходов выросла со скромной цифры в 22,6 млнф. ст. в 1891 г. до ошеломляющей цифры в 338,5 млн в 1925 г.[554] Однако это не помешало другим странам, особенно Германии и Ирландии, пойти еще дальше Великобритании в расширении своих социальных служб в межвоенный период[555].

К этому времени даже США, традиционно считавшиеся оплотом жесткого индивидуализма и низких налогов (чтобы заставить Палату лордов проголосовать за выделение денег на реализацию своих планов, Ллойд Джордж угрожал ввести в Парламент необходимое число новых пэров), ощутили необходимость сделать что-нибудь для своих рабочих. Первый осторожный шаг был предпринят в 1912 г., когда штат Массачусетс принял закон о минимальной заработной плате. Однако он действовал лишь несколько лет; в 1923 г. решением Верховного Суда закон о минимальной заработной плате для

женщин в штате Орегон был объявлен неконституционным. Другие меры по ужесточению государственного контроля и ограничению частного предпринимательства были столь же безуспешны. Например, число людей, которым пошла на пользу государственная схема профессионально-технического образования, одобренная в 1917 г., было так мало, что статистические данные просто перестали публиковать. В 1920 г. закон об отмене детского труда не был принят Конгрессом. Пять лет спустя закон штата Канзас об обязательном арбитражном разрешении трудовых споров также был отменен Верховным Судом. В 1929 г., последнем году процветания, сумма федеральных расходов на пособия составляла в США всего лишь в 25 центов на душу населения[556], что составляло примерно 1% от аналогичного показателя в Великобритании.

В конечном итоге, потребовались годы Великой депрессии и 12 млн безработных, чтобы США покинули мир *laissez faire* и начали разрабатывать схемы, какое бы название они ни носили, в рамках которых затраты на пособия финансировались из налогов. Основы были заложены в 1933 г., когда президент Рузвельт, игнорируя протесты республиканской оппозиции, создал Федеральное агентство по оказанию чрезвычайной помощи (Federal Emergency Relief Agency — FERA). Первым руководителем стал социальный работник Гарри Хопкинс; имея в своем распоряжении 500 млн долл., он обеспечил работой, по крайней мере, некоторых безработных[557]. В течение последующих шести лет в рамках осуществления этой и многих других программ было истрачено дополнительно примерно 13 млрд долл. и построено, среди прочего, 122 тыс. общественных зданий, 77 тыс. мостов и 64 тыс. миль дорог. Все это, впрочем, не помогло справиться с депрессией, которая закончилась лишь в сентябре 1939 г., когда разразившаяся в Европе война привела к взлету котировок на фондовой бирже.

С точки зрения административного управления 1935 г. стал *annus mirabilis*[558] Нового курса. В этом году была введена система социального обеспечения, включающая пенсионное страхование и помощь пожилым людям, пособия по безработице, помощь детям, находящимся на иждивении, и помощь слепым. В 1939 г. и список были добавлены программы страхования по потере кормильца и по инвалидности, которые уже были обычной практикой В наиболее развитых странах Европы. К тому времени каждый американский гражданин получил свою карточку социального страхования, и было создано Министерство здравоохранения и социального обеспечения для того, чтобы контролировать функционирование системы. Даже Верховный Суд был готов к

сотрудничеству, правда, лишь после того, как Рузвельт, выиграв грандиозную битву в Конгрессе, создал в нем численный перевес своих сторонников. В 1937 г. закон штата Вашингтон о минимальной заработной плате был признан конституционным. Другое постановление Верховного Суда провозгласило то же самое в отношении социального обеспечения, и воистину наступила эра «большого правительства».

Наконец, тоталитарные государства, которые пошли дальше всех и индоктринации населения, точно так же достигли наибольших успехов в подчинении его дисциплине. Особенно это верно в отношении СССР, который полностью превратился в «социальное государство», или «государство всеобщего благоденствия» *(welfare state):* государство, которое, какую бы жесткую дисциплину ни навязывало и какого бы низкого качества услуги ни предоставляло, тем не менее, старалось удовлетворить нужды отдельного гражданина, начиная с того момента, когда он (или она) рождался, до момента, когда его останки отправлялись в крематорий или в могилу. Хотя ни фашистская Италия, ни нацистская Германия не зашли настолько далеко, и та, и другая считали себя крепко укорененными в простом народе. Ни одна из них не принимала капитализм безоговорочно, вместо этого оба государства искали «третий путь», который не был бы ни реакционным, ни социалистическим[559]. Каждое государство в соответствии со своими взглядами выстраивало свою систему социального обеспечения с ясной целью положить конец классовой войне, вернуть рабочим людям чувство собственного достоинства и использовать их в государственных целях[560]. Во многом (например, в обеспечении оплачиваемого отпуска) эти программы мало отличались от аналогичных программ в других странах[561]. Однако в Италии и Германии уделялось особое внимание таким льготам, как субсидии молодоженам, ссуды на покупку жилья и пособия на детей (иногда зависевшие от того, работает ли женщина), которые были призваны подстегнуть рост населения и подготовить страну к войне.

«Тоталитарные» режимы также предпринимали решительные попытки контролировать умы молодежи с помощью основного и дополнительного школьного обучения, часто против воли родителей, не доверявших этому эксперименту, и, как выяснилось, не без оснований. За исключением фашистской Италии, где католическое образование никогда не было подавлено полностью и где Конкордат 1929 г. привел к его возрождению[562], все негосударственные школы были закрыты. В действующих школах преподавательский состав подбирался по принципу политической благонадежности, учебный план

диктовался сверху в соответствии с идеологическими соображениями, а ученики подвергались такому строгому надзору, что едва ли можно было повернуть за угол, не оказавшись под пристальным взглядом Отца народов, Дуче или Фюрера.

Наконец, подкрепляя свой контроль над системами социального обеспечения и образования, коммунистические, фашистские и нацистские государства учредили гораздо более страшные полицейские организации, чем какие-либо известные ранее. Благодаря тому факту, что НКВД, ОВРА (Organizazione Vigilanza Repres-sione Antifascismo) и Гестапо (Geheime Staatspolizei) не нуждались в санкции закона, счет их жертвам шел на миллионы; эти названия до сих пор вызывают у людей содрогание. Сравнивать силы безопасности, управляемые такими лицами, как Лаврентий Берия, Артуро Боччини и Генрих Гиммлер, с полицейским аппаратом демократических стран Запада по меньшей мере несправедливо. И все же следует учитывать, что какими бы огромными ни были различия между ними, в конце концов, все они были побегами от одного дерева, посаженного Наполеоном и прочно укоренившегося. Все стремились достичь одной и той же цели, а именно — добиться того, чтобы ни один человек и ни одна организация не были в состоянии сопротивляться любым «законным» требованиям государства. Камера пыток или концентрационный лагерь просто завершили работу, которую начала школа:

Что ты сегодня выучил в школе,
Мой дорогой малыш?
Что ты сегодня выучил в школе,
Мой дорогой малыш?
То, что наша страна хороша и сильна,
Что права всегда и во всем.
То, что наши вожди — лучше всех на земле,
Потому избираем мы их день за днем.
Что ты сегодня выучил в школе...

Покорение денег

Расширения государственного контроля над обществом, бывшего важнейшей характеристикой развития в период 1789—1945 гг., никогда не произошло бы, если бы государство не получило в свое распоряжение небывалые финансовые средства для подкрепления своих притязаний. В прежние времена люди и организации, управляющие обществом, такие как аристократы и церковь, часто имели собственные независимые источники дохода в виде земли и крепостных, которые ее обрабатывали; хотя это и делало их в меньшей степени подчиненными централизованному контролю, с другой стороны, в этом были и свои преимущества: если центральная власть рушилась, местная могла по-прежнему функционировать, причем в течение довольно значительных периодов времени. Не так обстоит дело с современными государственными полицейскими силами, системами образования и социального обеспечения: поскольку все эти структуры не имеют собственных ресурсов — и учитывая, что любые получаемые ими платежи должны перечисляться непосредственно в казну, — их нормальное функционирование полностью зависит от того, что их расходы оплачиваются «извне», причем на регулярной основе. Чтобы сделать такие выплаты возможными, государство не только должно было собирать больше денег, чем когда-либо раньше, но и переопределить само значение этого товара. Как только это было сделано, финансовые ограничения, которые часто сдерживали предыдущие политические системы, были сняты, и государству была открыта дорога к войне и завоеваниям.

Насколько нам известно, первые монеты стали чеканить в Лидии в VII в. до н.э., хотя золотые слитки определенного веса использовались еще в Древнем Египте, т.е. гораздо раньше[563]. Из Лидии эта идея распространилась на все побережье Эгейского моря и на греческие города по всему Средиземноморью; благодаря завоеванию Персией Малой Азии в VI в. до н.э. чеканка монет распространилась и в Азии. Завоевания Александра открыли огромные новые источники драгоценных металлов, что привело к существенному увеличению использования денег в эпоху эллинизма по сравнению с классической эпохой. В III в. деньги появились у галатов на западном и северном побережье Черного моря, а оттуда распространились на запад — во Францию, Англию, Ирландию и Скандинавию.

Хотя использование денег получило распространение, их

природа не изменилась. В отличие от современных правителей и сообществ их предшественники сами не *устанавливали* ценность денег; они всего лишь могли подтвердить своей печатью, что *существующие* ценные товары (в основном куски золота и серебра, но иногда также меди, бронзы и железа, которые использовались в качестве разменной монеты) соответствовали определенным стандартам чистоты, веса и т.д. В действительности самые ранние монеты, скорее всего, чеканились частными лицами, например, богатыми купцами, которые использовали их для того, чтобы производить расчеты между собой. В течение VI в. до н.э. контроль над деньгами постепенно перешел в руки храмов, которые в этих и других обществах выполняли функцию банков; только в V в. города-государства утвердили над деньгами собственный контроль. Однако для догосударственных политических сообществ, за исключением городов-государств, было характерно то, что редко удавалось добиться концентрации всей чеканки монеты в одних руках. Например, после того, как Август стал принцепсом *(princeps)*, он взял производство золотых и серебряных монет под свой контроль, но в то же время оставил чеканку бронзовых монет Сенату (в Италии) и местным властям (в провинциях). В средневековой Европе производством монет из драгоценных металлов (что обычно приносило немалый доход) занимались местные сеньоры, муниципалитеты и даже аббатства.

Со временем ценность большинства монет имела тенденцию к снижению, поскольку правители мошенничали с их весом и процентным содержанием в них драгоценных металлов — в основном ради финансирования своих войн, но и не только для этого. Например, за трехсотлетний период между правлением Августа и Диоклетиана серебряный *денарий* обесценился на 99% — основная часть потери приходится на времена Нерона и позже[564]. Еще одним фактором, на протяжении веков подрывавшим стабильность денег, был биметаллизм. Правители не могли контролировать относительную доступность золота и серебра. По мере того, как открывались новые источники, старые иссякали: таким образом, пока в качестве материала для чеканки монет использовалось оба металла, относительная ценность монет имела обыкновение колебаться. В Персидской империи соотношение золота и серебра было установлено равным 1:13,3, при Александре — 1:10, а в Англии XVI в. колебалось между 1:6 и 1:11. Зачастую официально установленный коэффициент не соответствовал реальности или же в разных странах ценность двух металлов устанавливалась по-разному. И тот, и другой диспаритет мог приводить к исчезновению из обращения либо

серебряных, либо золотых монет, что приводило к снижению ликвидности и мешало торговле.

По-видимому, первыми правителями, которые попытались выпустить бумажные деньги, т.е. средство платежа, которое не зависело бы от драгоценных металлов и, следовательно, находилось полностью под их контролем, были некоторые китайские императоры примерно между 800 и 1300 г. Последним, кто предпринял подобную попытку, был монгольский император Кублай-хан (правил в 1260—1294 гг.), и это стало предметом восхищенного описания Марко Поло, жившего в Китае с 1275 по I 292 г.[565] Впрочем, как и у его предшественников, дело закончилось сильнейшей инфляцией, поскольку слишком большое количество выпускаемых денег привело к обесцениванию денежных единиц. Очевидно под влиянием китайского примера иранский шах в 1294 г. предпринял подобную попытку, выпустив бумажные деньги, известные как «чао», и назначив смертную казнь тем своим злополучным подданным, которые отказывались принимать их. Эксперимент, ограничившийся городом Тебризом, полностью провалился, продлившись всего два месяца.

Учитывая децентрализованную природу политической системы и ее нестабильность, европейские правители в Средние века в основном были не в том положении, чтобы подражать своим восточным коллегам. Впрочем, уже начиная с XIV в. банковское дело и коммерция переживали возрождение; к примеру, итальянские банки сделали себе крупные состояния и вскоре стали открывать филиалы по всему континенту. Для облегчения финансовых операций, проводимых между этими отделениями, были изобретены векселя, и поскольку они были не именными, а выписывались на предъявителя, их можно считать первыми неметаллическими деньгами в Европе. В последующие два века эта система получила распространение во Франции, Испании, Фландрии и, наконец, в Англии. Нужно, однако, отметить, что эти деньги производились не медленно зарождающимся государством, а частными организациями. До 1700 г. попытки развивать кредитные системы были успешными только в тех местах, где частное банковское дело и торговля были настолько сильны, что они практически исключили из этой области королевскую власть; другими словами, это происходило там, где купцы *являлись* правительством, например, в в Генуе XVI в. и в Амстердаме начала XVII в.[566] Народная мудрость гласила, что если купцам можно доверить деньги, то королям —нельзя. Сосредоточив в своих руках как экономическую власть, так и силу принуждения, короли слишком часто ее использовали либо для порчи монеты, либо для того, чтобы завладеть богатством своих

подданных.

В то время как частные организации начали расширять обращение бумажных денег, правители в свою очередь медленно устанавливали свою монополию на чеканку монет. На протяжении XIV в. все 32 монетных двора во Франции были закрыты один за другим: например, Мельгель в 1316 г., Ле Пуи в 1318 и Родез в 1378 г. Монеты, выпускаемые отдельными сеньорами, исчезли из обращения и в конце XIV в. королевские монеты стали господствовать во всем королевстве[567]. Незадолго до 1500 г.

Фердинанд и Изабелла закрыли последние частные монетные дворы, все еще действовавшие до того времени в Кастилии; как уже упоминалось, последний сохранившийся в Англии церковный монетный двор был закрыт Генрихом VIII b 1543—1544 гг. Франция, которая в ходе гражданских войн утратила былое лидерство, последовала этому примеру при Генрихе IV в 1600 г. К тому времени получила широкое признание идея, что чеканка монеты является одним из атрибутов верховной власти. Хотя частные лица продолжали держать монетные дворы, все чаще они действовали лишь как представители короля или правительства. Для *ancien regime* было характерно, что сама по себе чеканка монет превратилась в вид капиталистического предприятия. Лишь в 1696 г. английская казна учредила первый монетный двор, который функционировал полностью как публичный институт, т.е. находился в руках государственных служащих и не взимал плату за свою работу.

В Новое время самые ранние попытки выпустить бумажные деньги и тем самым разорвать связь между деньгами и драгоценными металлами и, теоретически, предоставить в распоряжение правительства неограниченные суммы были предприняты в Испании и Швеции. В Испании в 1630-е годы герцог Оливарес, отчаянно нуждавшийся в деньгах, чтобы финансировать участие страны в Тридцатилетней войне, конфисковывал партии серебра, привозимые из-за океана, и в качестве компенсации выдавал купцам *juros* (векселя), приносящие проценты. Как и следовало ожидать, их ценность стала очень быстро падать. В результате и вступил финансовый хаос, а также крах всей торговли Испании с Новым Светом; колонисты предпочитали либо торговать с другими поставщиками (голландцы и англичане стояли наготове, чтобы занять место Испании), либо вообще приостанавливали торговлю. Неудача Оливареса не помешала Швеции последовать примеру Испании в 1661 г. Увидев, что казна пуста, а страна истощена десятилетиями войны (1631 — 1660), правительство и

редприняло серьезную попытку создать обращаемые бумажные деньги, обеспеченные не золотом или серебром, которых у него не было, а медью. Но перепроизводство вновь привело к инфляции и краху, который был столь же впечатляющим, сколь и быстрым.

Тем временем в Англии события приняли иной оборот. Эта страна, в отличие от континентальной Европы, долгое время имела относительно стабильную денежную систему. Только в период правления Генриха VIII произошла крупная девальвация, но затем ущерб, который она причинила, был частично возмещен его скуповатой преемницей Елизаветой, главным советником которой в этом деле был не кто иной, как сэр Томас Грэшем (в честь которого был назван известный закон Грэшема)[568]. Благодаря этой стабильности люди охотно принимали вместо денег бирки — специальные деревянные палочки с надрезами, обозначающими сумму долга казны, которые могли передаваться третьим лицам[569]. Ситуация обострилась в 1640 г., когда король Карл I, поссорившись с Парламентом, оказался в тяжелом финансовом положении и приостановил выплату монет, выпускаемых его монетным двором, своим кредиторам — лондонским ювелирам и купцам. Как их коллеги в других странах, они использовали драгоценные металлы из своих хранилищ в качестве обеспечения обращаемых векселей на предъявителя; тем самым действия короля угрожали разорением не только им, но и всем, кто имел с ними дело. В таких обстоятельствах на Карла было оказано сильное давление, и он в конце концов смягчился и выплатил свой долг полностью. Однако этот случай показал, насколько важно было иметь публичный или национальный банк, который был бы защищен от произвольного вмешательства со стороны монарха.

Учитывая, что люди уже привыкли к денежным заменителям, предложения учредить публичный банк, выпускающий банкноты, подобный уже существовавшему в Амстердаме, были восприняты одобрительно. Первая успешная попытка претворить эти предложения в жизнь была предпринята в 1694 г. — год основания Банка Англии. Банк, который являлся частной акционерной компанией, согласился давать взаймы деньги правительству, которое сильно поиздержалось из-за войн, которые ему приходилось вести с Францией и которым конца-краю было не видно. За это Банк получил в залог доходы с некоторых таможенных пошлин, а также гарантию, что все деньги, находящиеся в распоряжении правительства, впредь будут депонироваться исключительно в нем. Получив эти доходы и депозиты в качестве обеспечения, он выпускал банкноты, которые

продавал широкой публике и которые могли свободно обращаться. Все банкноты печатались на одинаковых бланках, поэтому требуемая сумма должна была вписываться от руки.

Первоначально количество выпущенных банкнот оказалось слишком велико, что привело в 1696 г. к финансовому кризису. Однако, в отличие от похожих экспериментов в других странах, Банк выжил. Хотя он находился в частном владении, его воспринимали почти как правительственный институт. Хотя у него не было монополии, после принятия в 1720 г. «Закона о мыльном пузыре» *(Bubble Act),* он стал единственным учреждением, имевшим лицензию на выпуск банкнот, погашаемых менее чем через шесть месяцев; поэтому он выигрывал по отношению к своим конкурентам, а его банкноты находились в обращении наравне с монетами. Учреждение Банка внесло свой вклад в значительное увеличение государственных заимствований в период между 1685 и 1700 гг. — от 800 тыс. до 13,8 млн ф. ст. К 1714 г. цифра вновь увеличилась более чем вдвое, и все же Банк не потерял платежеспособности и не испытывал трудностей в исполнении своих обязательств. Поскольку люди были готовы брать новые бумаги в уплату за старые, заем стал постоянным или возобновляемым. Это означало, что реальные издержки казны равнялись лишь сумме выплачиваемого процента, который составлял вначале 8% годовых, а затем упал до 5% или даже 4%. Кредиторы получали то, что, по сути, являлось аннуитетом.

Реформы 1694—1696 гг. были ключевыми в создании той финансовой мощи, которой обладала Британия в XVIII—XIX вв. [570] Впервые за всю историю были созданы деньги в форме банкнот, которые сохраняли стабильность, что привело к росту их количества в обращении без заметного увеличения инфляции. Исчезли и проблемы, возникавшие в результате меняющегося соотношения ценности золота и серебра. Хотя серебряные монеты остались в обращении, их значимость уменьшилась, и когда после 1 750 г. чеканка новых серебряных монет практически прекратилась, Великобритания фактически оказалась в условиях золотого стандарта[571]. Как только появилась увеличивающаяся в количестве, но стабильная валюта, свободная от произвольного внешнего вмешательства, была открыта дорога к промышленной революции, которой суждено было начиная с 60-х годов XVIII в. сделать из Великобритании мирового экономического лидера. Этот успех стал возможным именно благодаря разделению государства и личности монарха. После 1694 г. не монарх, а уже государство, действующее посредством Банка и опирающееся на союз правительства и города, гарантировало размен банкнот.

Тем временем в странах континентальной Европы развитие финансовой системы происходило гораздо медленнее. Когда и 1715 г. умер Людовик XIV, регент, герцог Орлеанский, обнаружил, что казна пуста; пытаясь пополнить ее, он обратился к некоему Джону Ло, шотландцу, который бежал во Францию после того, как убил человека на дуэли из-за женщины. Знаменитый к тому времени своим умением работать с числами, Ло был автором книги «Деньги и торговля, рассмотренные в связи с предложением об обеспечении нации деньгами» (1705). Созданный им Банк Франции взял на себя часть правительственного долга, а взамен он получил разрешение открыть в Париже банк, выпускающий банкноты; обеспечением последних были не металлические деньги, а баснословное богатство, якобы имевшееся на французских территориях в Луизиане, на которые Ло и его партнеры из Миссисипской компании приобрели права. Эта схема в первые три года была настолько успешна, что цена акций Миссисипской компании возросла в 30 раз по сравнению с номиналом. Затем, однако, ветер подул в другую сторону, и люди стали пытаться получить свою «бумажную» прибыль в виде наличных денег. В один из дней так много людей осадило банк, требуя вернуть им их деньги, что 15 человек погибли в давке. Сам Ло бежал за границу, крах его компании потянул на дно множество других, и в результате введение бумажных денег во Франции было отложено почти до конца века. Поскольку не было центрального банка, свободного от королевского вмешательства, французские *billets d'etat*[572] не могли внушить доверия общественности и часто продавались на 30 или даже 40% ниже своего номинала[573].

Хотя все страны континентальной Европы продолжали использовать металлические деньги, они также одна за другой начали открывать публичные жиробанки (т.е. банки, выпускающие банкноты) , чьи бумаги обращались наравне с монетами и заняли место последних при осуществлении крупных операций. К 1710 г. такие банки появились в Голландии и Австрийской империи; в Пруссии жиробанк был основан Фридрихом Великим в 1765 г., а в 70-е годы XVIII в. подобные эксперименты были проведены в Испании, России[574] и (вновь, по прошествии 70 лет) во Франции, где в 1776 г. Тюрго учредил *caisse d'escompte*[575]. Однако ни один из этих банков даже близко не подошел к успеху Банка Англии, как в отношении управления правительственным долгом, такие точки зрения увеличения количества денег в обращении. В частности, затея с *caisse d'escompte* окончилась оглушительным провалом: поставленное перед необходимостью выплачивать королевский долг *и*

финансировать военные расходы в период быстро падающих доходов, Национальное собрание напечатало слишком много ассигнатов, в результате чего последовали гиперинфляция и крах валюты[576]. К 1797 г., когда Директория использовала военную добычу, полученную Наполеоном в Италии, чтобы положить конец этому эксперименту, Франция вернулась к более примитивной денежной системе и вновь стала использовать монеты, если не бартер. Тем временем банкноты Банка Англии (в полную противоположность Франции) стали практически единственной валютой, используемой в Лондоне, величайшем центре банковской и коммерческой активности того времени. И только в провинциях обращались банкноты, выпущенные другими банками, гораздо меньшими, чем центральный.

При этом истинная демонстрация власти Банка Англии (и имеете с ним — Британского государства) над деньгами все еще была в будущем. 22 февраля 1797 г. французские войска, в число которых были и бывшие заключенные, высадились в Уэльсе на мысе Каррегуастад неподалеку от Фишгарда; их быстро окружили и взяли в плен, предположительно причиной стало то, что они приняли стоящую вдалеке группу женщин в валлийских костюмах за английских солдат. Однако довольно быстро поползли слухи о « вторжении», что привело к массовому изъятию вкладов из Банка Англии. Результатом стало «столь вопиющее поругание доверия, собственности и свободы, которое... редко проявлялось со стороны союза банкротства и тирании» (Эдмунд Бёрк)[577]. По «Закону об ограничении банковской деятельности» от 3 мая 1797 г. конвертируемость бумажных денег в золото была приостановлена, вначале как чрезвычайная мера на семь недель, а затем на целых 24 года; в результате банкноты Банка Англии превратились (вместе с банкнотами, выпущенными Банком Шотландии) и «принудительные деньги»[578]. В 1812 г. *cause celebre*[579], рассмотренное Парламентом, привело к созданию нового термина «узаконенное платежное средство», означавшего, что люди *обязаны* принимать бумажные деньги в уплату долга, даже если первоначальный долговой контракт предусматривал уплату золотом. Как и следовало ожидать, это привело к снижению ценности фунта стерлингов и по отношению к драгоценным металлам, и по отношению к зарубежным валютам. В период с 1793 по 1810 г. количество банкнот в обращении, выросло на 170%. И все же результатом была лишь умеренная инфляция, а британская экономика в этот период продолжала быстро расти.

К тому времени во Франции и в Соединенных Штатах уже существовали банки, которые, хотя и находились в частном

владении (во Франции Наполеон и его семья были одними из самых крупных акционеров), выполняли ряд функций центральных банков, принимая правительственные вклады и используя их для выпуска банкнот. Однако ни Банк США, ни Банк Франции не являлись единственными в своей стране учреждениями, выпускающими бумажные деньги; даже Банк Англии до 1844 г. не обладал в этой сфере монополией. Тем временем в обращении оставалось огромное количество разнообразных банкнот, эмитированных разными учреждениями и постоянно менявших свою ценность относительно друг друга, а иногда даже полностью обесценивавшихся в случае паники или разорения банка. Дорога к установлению государственной монополии в Соединенных Штатах оказалась особенно трудной. Хотя процесс чеканки денег был централизован в 1798—1799 гг., президент Джексон в 1833 г. перевел правительственные вклады из Банка США в банки штатов — банки-любимчики, как их окрестили, — тем самым превратив первый во всего лишь *primus inter* pares[580]. Решение, принятое Верховным Судом в 1837 г., подтвердило право банков штатов и частных банков на выпуск банкнот. Это привело к тому, что банковское дело вплоть до 1861 г. стало открытым для всех. В 1859 г. справочникХоджеса «Подлинные банкноты Америки» *(Hodges's Genuine Bank Notes of America)* упоминал не менее 9916 различных банкнот, выпущенных 1365 различными банками. Несмотря на это, еще 200 подлинных (и 5400 поддельных) банкнот не было включено в список.

Тем не менее с началом Гражданской войны правительство Соединенных Штатов еще ярче продемонстрировало, что может сделать современное государство, которое сконцентрировало в своих руках финансовую власть. В начале войны армия США насчитывала в общей сложности 28 тыс. человек, к ее окончанию армия «северян» насчитывала уже около 1 млн человек (не говоря уж о 450-тысячной армии Конфедерации в период ее наибольшей численности). Во многих отношениях это была первая современная война. Опираясь на сеть железных дорог и телеграфной связи, размеры вооруженных сил и материально-техническое обеспечение армии достигли грандиозных масштабов, доселе невиданных и истории[581]. Очевидно, что мероприятие такого масштаба нельзя было финансировать традиционными средствами, т.е. расчетами и драгоценных металлах или даже обязательствами расплатиться таким образом в будущем. В декабре 1861 г., дабы сохранить национальные запасы драгоценных металлов для ведения войны, Конгресс отменил размен бумажных денег на металлические. Три месяца

спустя федеральное правительство получило от Конгресса одобрение «Акта о законных платежных средствах», позволившего ему выпускать «гринбэки» — государственные бумажные деньги, не подлежащие обмену на золото или серебро.

Как только юридические преграды были убраны, заработали печатные станки. К 1865 г. из бумаги было произведено не менее 640 млн долл.: поразительная сумма, учитывая, что в среднем федеральные расходы в 1856 —1860 гг. составляли всего лишь 69 млн долл. в год; но и эта сумма бледнеет на фоне государственного долга, который до войны составлял 170 млн долл., а к ее окончанию возрос до 2756 млн[582]. В том же году был введен 10%-ный налог на конвертацию других банкнот в федеральную валюту, благодаря чему они медленно, но верно вытеснялись из обращения. Процесс был завершен Актом Конгресса, который окончательно покончил со всеми банкнотами, кроме выпущенных Казначейством США. Однако дело не обошлось без сопротивления. В 1870 г. в деле Хепберн против Гризуолда Верховный Суд отменил правительственную монополию как противоречащую «Пятой поправке», однако президент Грант быстро добавил двух мерховных судей, заставив суд поменять мнение на следующий же год. С тех пор федеральные банкноты, подобающим образом напечатанные (и часто, по всей видимости, подвергавшиеся подделке), стали единственной национальной валютой. В 1875 г. «Акт о возобновлении размена» разрешил правительству производить обмен банкнот на металлические деньги начиная с 1879 г. Однако к тому времени люди настолько стали доверять бумажным деньгам, что не требовали ни золота, ни серебра, а охотно принимали банкноты.

Не удивительно, что Гражданская война стала также поворотным пунктом в эволюции системы налогообложения. Первый подоходный налог в истории США был установлен 5 августа 1861 г. Следующим шагом стал акт 1862 г. о внутренних доходах, который ввел целую серию новых налогов, включая налоги на марки, акцизы, налоги на предметы роскоши, налоги с продаж и налог на наследство. Для сбора этих налогов было создано Налоговое управление США (Bureau of Internal Revenue). Очень быстро оно раскинуло свои щупальца в виде сети отделений в 185 налоговых округах, превратившись таким образом в самый мощный гражданский орган принуждения в распоряжении федерального правительства, причем многие граждане впервые в жизни вступили в контакт с последним именно через эту службу. Конечно, после войны подоходный налог был упразднен, однако остальные налоги, введенные в

военное время — налоги «на грех» (алкоголь, сигареты и т.д.), акцизы, налоги на наследство и др., — остались навсегда. К 1865 г. доля внутренних налогов в общем объеме федеральных доходов увеличилась более чем втрое, с 20 до 65%, и с тех пор никогда не падала ниже 32%. Вдобавок, как будто это налоговое бремя и без того было недостаточно тяжелым, на Севере налоги, взимаемые штатами, также выросли в 3—6 раз за период с 1860 по 1870 г. [583]

Открытие новых золотых приисков в Калифорнии и Австралии начиная с 1850 г. привело к временному снижению ценности золота в сравнении с серебром. Крупнейшие страны воспользовались случаем и одна за другой стали изымать из обращения серебряные деньги, оставляя свою валюту привязанной лишь к золоту. В 1894 г., когда США одними из последних последовали этому примеру, переход был завершен практически полностью. К тому времени Британия (с 1819 г.), Франция, Италия (после периода *corso forzato*[585] в 1881 — 1888 гг.), Бельгия, Германия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Австро-Венгрия и Россия уже перешли на золотой стандарт[586]. Теоретически любой человек в любой из этих стран мог прийти в банк и поменять банкноты на золото; впрочем, за исключением Лондона, осмелившийся на такое скорее всего вернулся бы с пустыми руками, если требуемая сумма была сколь-нибудь существенной[587]. Со временем банки разных стран стали соревноваться друг с другом, пытаясь напечатать банкноты самого мелкого достоинства (в Швеции, например, выпускалась банкнота достоинством в одну крону, ценность которой была едва ли больше одного британского шиллинга или 25 центов США), благодаря чему все больше драгоценного металла оседало в их хранилищах. Однако власть государства уже была настолько сильна, что это едва ли имело значение. Если ас-сигнаты времен Французской революции продавались за 0,5% от поминальной цены через семь лет после их выпуска[588], то государственные банкноты перед 1914 г. в буквальном смысле были так же хороши, как золото.

Помимо того, что государства использовали все вышеперечисленные методы, чтобы установить собственный контроль над деньгами, они также увеличили роль своих центральных банков[589]. Независимо от того, находились ли они в публичном или частном владении, изначально каждый из этих банков был лишь одним из многих учреждений, выпускающих банкноты, хотя, будучи единственным хранилищем собственно государственных депозитов, вел сказочную жизнь и не мог не расти за счет всех остальных. Примерно к 1870 г. они не только

монополизировали выпуск банкнот в большинстве стран, но и начинали регулировать другие банки. Учитывая, что резервы центрального банка значительно превосходили резервы всех остальных банков, к ним неизбежно стали относиться как к кредиторам в последней инстанции. Действуя в этом качестве, они не только устанавливали процентные ставки (так называемую учетную ставку), но и могли добиться поддержания резервов других банков на определенном уровне, тем самым ограничивая их деятельность[590]. В конце концов, установленный таким образом неофициальный контроль был закреплен законодательно; некоторые страны пошли еще дальше, наделив центральный банк правом выдавать лицензии другим банкам, проводя аудит и даже устанавливая размер платы за услуги, которую тем позволялось назначать. США, как обычно, не торопились перенимать подобные изменения, но даже здесь эра свободы банковского дела закончилась с созданием в 1913 г. Федеральной резервной системы. С этого момента не только национальная валюта, но и количество денег в обращении, зависящее от объема частного кредитования, попало под государственный контроль.

Так получилось, что установление государством контроля над деньгами произошло как раз вовремя. В августе 1914 г. разразилась Первая мировая война. За считанные дни все государства-участники войны продемонстрировали, что они *на самом деле* думают о своих бумажных деньгах, «отвязав их» от золота и оставив тем самым своих граждан по сути дела с пустыми руками. Были проведены драконовские законы, согласно которым те, у кого оставались золотые монеты или слитки, обязаны были от них отказаться. Затем были запущены печатные станки, которые производили банкноты в невиданных до сих пор количествах. Именно потому, что США были лишь в малой степени вовлечены в войну (если не считать немецких подводных лодок, ближайшие вражеские солдаты находились за тысячи миль от страны), они могут служить хорошим примером, без преувеличения показывающим все происходящие изменения. Так, в октябре 1917 г. владение деньгами из золота или серебра было приравнено к уголовному преступлению, наказуемому штрафом в 10 000 долл., или, если речь шла о «физическом лице», — тюремным заключением до десяти лет (правительство, которое могло бы посадить в тюрьму корпорацию, пока еще никто не изобрел). К 1919 г. количество наличных денег, находившихся в обращении, выросло с 3,3 млрд до 5,1 млрд долл., в то время как общая денежная масса, насчитывавшая в 1916 г. 22 млрд долл., достигла 33 млрд. Индекс стоимости жизни, если принять

значение этого показателя в 1914 г. за 100, увеличился с 118 в 1916 г. до 218 в 1919 г., т.е. вырос на 83%[591].

То, что цены не поднялись еще больше, было, конечно, результатом того, что государство забирало у населения часть доходов и сбережений, с одной стороны, с помощью налогов, а с другой — с помощью займов. Поступления в федеральный бюджет США за исключением займов, которые составляли 782 млн долл. в 1916 г., выросли за три года до 4,6 млрд долл.; львиная доля этого роста (почти 2,5 млрд долл.) приходилась на огромный рост подоходного налога, выплачиваемого отдельными гражданами и корпорациями. К этому были последовательно добавлены пять займов серий «Свобода» и «Победа», причем каждый за исключением последнего (который был произведен в апреле 1919 г., когда война уже закончилась) оказывался больше предыдущего, и в конечном итоге общая сумма составила 24 млрд долл. Параллельно с ростом поступлений происходило увеличение федеральных расходов, которые выросли с 742 млн долл. в 1916 г. до почти 19 млрд в 1919 г. Основная часть этого прироста (почти 11 млрд) приходилась на военное министерство и военно-морской флот, но и другие федеральные агентства тоже позаботились о себе. Так получилось, что самое большое увеличение расходов наблюдалось у так называемых независимых бюро — другими словами, у множества разнообразных агентств и управлений, созданных специально для военных целей и находившихся вне существующих ведомственных структур. Объем денежных средств, которыми они располагали, вырос с 7,2 млн и 1916 г. до 1,1 *млрд* в 1918 и 2,7 млрд долл. в 1919 г. Было ли когда-нибудь лучшее время для конторщиков?

Поскольку другие страны вступили в войну раньше США и продержались в ней дольше, их правительствам пришлось пойти намного дальше. В Великобритании, например, суммарные государственные расходы в последние предвоенные годы составляли примерно 15% ВНП, что само по себе представляло собой почти 50%-ный рост по сравнению с 1906 г., когда либеральное правительство пришло к власти. К 1916—1917 гг. расходы достигли 85%, — цифра столь большая, что ее едва-едва удалось превзойти даже во время Второй мировой войны величайшего конфликта в истории человечества[592]. Как и в Соединенных Штатах, увеличение расходов финансировалось частично за счет печатания денег, частично за счет налогообложения («облагайте их налогами, пока они не запищат» —был ответ лорда Ротшильда, когда Ллойд Джордж спросил его, откуда взять деньги на войну), а частично за счет выпуска облигаций по крайне низким процентным ставкам (если

сравнивать со стандартными показателями инфляции на протяжении почти всей второй половины XX в.). Вливание и экономику огромных сумм — в период с 1913 по 1920 г. государственные расходы выросли от 342 млн до почти 1,7 млрд ф. ст. в год[593] — вновь привело к инфляции, хотя в основном рост цен пришелся на период *после* войны, потому что, пока война длилась, из-за ограничений и дефицита покупать было почти нечего. Великобритания ни в коей мере не была страной, которой досталось больше других. Напротив, в большинстве других европейских стран-участниц войны бремя, измеряемое долей населения, призванного на военную службу, было гораздо выше, не говоря уже о выпавших на их долю иностранной оккупации, разрухе и поражении.

За исключением Советского Союза, о котором подробнее речь пойдет позже, за «большим военным грабежом» 1914—1918 гг. последовал возврат к «нормальной жизни» в 1920-е годы. Повсеместно снижались размеры государственного бюджета и налогового бремени, хотя они уже никогда не вернулись к довоенному уровню, который мог бы показаться настоящей сказкой для сторонников *laissez faire*. Например, в Великобритании государственные расходы колебались между 25 и 30% от ВНП (в 2 раза больше, чем до войны); чтобы финансировать эти выплаты стандартные ставки подоходного налога были подняты в три с половиной раза. Тем временем, по другую сторону Атлантики о воздействии последствий войны на жизнь обычных американцев можно судить по тому факту, что число лиц и корпораций, облагаемых подоходным налогом, подскочило с менее чем 500 000 в 1916 г. до почти 7 млн в 1920 г.[594] Сидя на верху самой большой в истории золотой горы — образовавшейся благодаря поставкам разного рода товаров союзникам во время войны — и не боясь, что кто-нибудь всерьез попытается эту гору выкупить, США возобновили размен банкнот на золото почти сразу по окончании войны. Британия последовала этому примеру в1925г., а к 1929 г. большинство остальных крупных стран, — включая даже Италию, самую бедную из них, но под властью Муссолини далеко не самую скромную, — сделали то же самое.

Возвращение к золотому стандарту оказалось в значительной степени иллюзорным. Не только золотые монеты не вернулись в обращение, но и давно прошли времена, когда кто-нибудь в здравом уме мог подумать о том, чтобы осуществлять крупные платежи, физически перемещая золотые слитки из одного места в другое. Поэтому практически единственным результатом этого шага стал его вклад в сильную дефляцию, которая в свою очередь

стала препятствием для торговли, что способствовало наступлению Великой депрессии в 1929 г.[595] Короче говоря, в сентябре 1931 г., опасаясь сокращения уровня зарплаты, моряки Британского флота организовали забастовку. Газеты раздули это событие, описав его как мятеж, что посеяло панику среди населения. Массовое изъятие вкладов из банков привело к тому, что фунт стерлингов и другие валюты были «отвязаны» от золота, и на этот раз навсегда. Американский президент Рузвельт, утверждая, что «золото, содержащееся в частных запасах, в сложившейся ситуации не приносит никакой пользы», назначил суровые штрафы, чтобы заставить владельцев отдать свои богатства. В марте 1933 г. были объявлены «банковские каникулы»; к тому моменту, когда эти почтенные институты вновь открыли свои двери, доллар был девальвирован не менее, чем на 41%[596]. Отказ Казначейства от предоставления гражданам права обмена их долларов па золотые деньги даже по новому курсу означал, что с этих пор псе средства платежа, кроме бумажных, были сконцентрированы в руках государства. И наоборот, все, чем расплачивалось государство, было по определению сделано из бумаги.

Поскольку все основные валюты быстро обесценивались в сравнении с золотом — последним сдался французский франк, который был девальвирован в 1936 г. и утратил общественное доверие, — многие страны вернулись к «принудительным деньгам», как это сделали Германия, Италия и прежде всего СССР. В первых двух странах к этому привел мировой экономический кризис, в последней — несмотря на то, что СССР был одним из мировых лидеров по добыче золота, — принудительная валюта существовала со времен революции 1917 г. и обеспечивалась за исключением краткого периода в 20-е годы только словом Ленина, Сталина и т.п. Независимо от того, назывались ли эти валюты рублями, марками или лирами, они были неконвертируемыми, что означало, что в большинстве случаев их можно было использовать для обмена только между гражданами. Международные экономические отношения были монополизированы государством, которое либо создавало собственные органы для этих целей, либо действовало с помощью сложной системы лицензирования. Нередко нехватка «твердой» валюты была столь ощутима, что за импорт приходилось расплачиваться золотом (как, например, Советскому Союзу) или совершать бартерный обмен (как во всех трех странах, особенно при сделках друг с другом и с недостаточно развитыми балканскими странами). Горе гражданам, которые теперь не могли торговать под страхом смертной казни или заключения в

концентрационные лагеря.

Тоталитарные страны вовсе не были исключением: по тому же пути к валютному контролю, который они проделали в 30-е годы XX в., «свободные» страны последовали во время Второй мировой войны, внеся лишь небольшие изменения. Излишне повторять историю, которую мы уже рассказали в связи с событиями 1914— 1918 гг. С того времени мало что изменилось, за исключением еще более строгого финансового контроля, больших государственных расходов, более сильного закручивания финансовых гаек и больших объемов заимствований. Даже в США, самой богатой и менее других затронутой войной стране, расходы превышали доходы в соотношении один к двум или один к трем в каждый военный год, т.е. с 1942 по 1945 г., несмотря на то, что благодаря резкому росту налоговых ставок сами доходы в 1939—1944 гг. выросли в 6 раз[597]. Как и во время Первой мировой войны, полное несоответствие расходов и доходов привело к резкому росту цен. Опять-таки, как и в Первую мировую войну, пока шли военные действия, предпринимались попытки придержать инфляцию с помощью различных административных механизмов, таких как рационирование. После его отмены граждане стран-победителей обнаружили, что ценность их сбережений сильно упала, а деньги стран, проигравших войну, в буквальном смысле слова превратились в бумагу, которую в лучшем случае можно было использовать лишь для того, чтобы заклеивать окна и в тому подобных целях[598].

Еще более интересным, чем все эти события, оказался тот факт, что изменилась природа самих денег. Не считая сбережений (уже упоминалась судьба тех, кто хранил сбережения), для людей деньги всегда представляли собой средства для покупки товаров, для правительства — метод, с помощью которого оно контролировало экономику и определяло направления использования ресурсов страны. Теперь обе функции были в основном утрачены. В отношении отдельных граждан это было связано с тем, что все, что имело смысл покупать, можно было приобрести в лучшем случае лишь в обмен на купоны. Последние распределялись по неэкономическим критериям, таким как возраст, пол и количество калорий, затрачиваемых на работу, выполняемую тем или иным человеком (понятно, что те, кто стоял у руля, позаботились о себе; как однажды написал Людендорф, если бы ему пришлось существовать за счет обычного рациона, он «бы не выжил»). Для государства деньги потеряли свою функцию инструмента управления потому, что предложение денег, зависящее исключительно от работы печатных станков, стало в принципе неограниченным.

Следовательно, их больше нельзя было использовать для определения того, какие товары и услуги будут приобретены, а какие нет. Таким образом, тотальная война стала кульминацией двухсотлетнего процесса, в ходе которого государство установило свой контроль над деньгами. Когда эта цель была полностью достигнута, результатом стало то, что этот товар потерял какую-либо реальную ценность — что в некоторых случаях привело к возврату бартера, когда, например, горожане меняли кухонную посуду на картофель. Другим, не столь очевидным свидетельством сути происходящего, было то, что Банк Англии был поглощен государственным аппаратом[599], а британский министр финансов потерял свое традиционное положение первого среди равных (не считая премьер-министра), а после 1940 г. он уже не входил даже в состав военного кабинета[600].

После того, как деньги были приведены в подчинение, т.е. они больше не налагали ограничений на величину правительственных расходов, степень военных усилий той или иной страны стала измеряться физическими средствами производства. Самыми важными были морские перевозки, транспорт, сырье, производственные площади, производство электроэнергии и, конечно, труд, от которого зависело все остальное и за который они часто конкурировали между собой. Уже во время Первой мировой войны все самые важные ее участники приняли законы, с помощью которых они фактически отменили права собственности для своих граждан и которые позволили правительствам и случае необходимости прибрать к рукам средства производства. Правительства использовали этот контроль, чтобы решать, кто, что, как и где будет производить, по какой цене и при помощи каких рабочих, какими профессиональными навыками эти рабочие должны обладать, какую заработную плату они должны получать и по сколько часов в день или неделю они должны работать. Если говорить об основных странах, то в Германии эта задача была доверена промышленнику Вальтеру Ратенау и его Департаменту минерально-сырьевых ресурсов — организации, учрежденной при значительной оппозиции со стороны военных, которые не хотели, чтобы гражданские лица вмешивались в вопросы ведения войны. В Великобритании процесс проходил легче под руководством властного политика Ллойда Джорджа (на смену которому впоследствии пришел Черчилль), возглавлявшего недавно учрежденное Министерство вооружений. Наконец, в США это было сделано при помощи *WBI* — Совета по военной промышленности, председателем которого стал финансист Бернард Барух[601].

Но если в большинстве западных государств в 1918—1919 гг. эти меры контроля по большей части были отменены, в одной стране — а именно, в Советском Союзе — они стали постоянными. Огромная, но дряхлая царская империя, имеющая низкую обеспеченность территории железными дорогами в расчете на квадратную милю, оказалась наименее успешной в мобилизации своих ресурсов для ведения войны[602]. Сначала вооруженные силы стали испытывать нехватку оружия и боеприпасов, затем ускорившаяся к 1916—1917 гг. инфляция в сочетании с нехваткой буквально всего подготовила страну к революции. Как только в 1917 г. большевики пришли к власти, они с яростью взялись за перемены. Им было недостаточно просто контроля, они запустили программу экспроприации всех средств производства, а также сферы услуг, таких как банки, страхование, транспорт и связь, вплоть до розничной торговли и парикмахерских. Установив также полный контроль над трудом, — в коммунистическом государстве каждое нарушение рабочей дисциплины автоматически рассматривалось как уголовное преступление, — современный «бегемот» целиком поглотил всю экономику.

Революция осуществила мечту бюрократа. Государство, утверждая, что оно стремится к всеобщему благосостоянию, но в действительности работая почти исключительно на себя, владело и управляло всем, производило, покупало и продавало все — разумеется, по ценам, которые само назначало и которые часто не имели ничего общего ни с действительными издержками производства, ни с выбором, который сделал бы потребитель, будь он предоставлен самому себе[603]. Для того чтобы выполнять все эти многочисленные функции и избежать противоречия между ними, государство отслеживало и фиксировало псе, что только можно, с помощью невиданного в истории административного аппарата. По оценкам, сделанным в 1980 г., коммунистическое государство в период своей зрелости производило 100 *млрд* документов в год, и существование машины, производящей и перерабатывающей эту лавину бумаг, обеспечивалось системой образования, механизмом пропаганды, тайной полицией, концентрационными лагерями, а зачастую — расстрельной стенкой.

Хотя другие государства не сразу последовали за Советским Союзом, передышка, дарованная их экономике, оказалась временной. На протяжении всего мирного периода социалистические партии повсеместно требовали осуществить национализацию основных средств производства, так чтобы их доходы шли не мастным лицам, а использовались всем

обществом. Постепенно некоторые их требования начали выполняться во многих странах; и особенности это касалось таких новых отраслей промышленности, как радиовещание, телекоммуникации, воздушный транспорт и электроэнергетика. Дополнительное давление в том же основном направлении иногда шло со стороны правых националистов. Так, Ратенау, совладелец и главный исполнительный директор *Allgemeine Elektrizitat — Gesellschaft,* одного из самых крупных немецких промышленных объединений, безусловно, не был социалистом. Тем не менее еще до того, как война закончилась, он обобщил свой опыт в «Новой экономике» *(Die Neue Wirtschaft,* 1918). В книге, которая частично была проектом по усилению государственной власти, частично — превентивным ответом на требование социалистов провести со временем национализацию, утверждалось, что дни неограниченного капитализма прошли. Вместо этого он проповедовал новое партнерство между государством и промышленностью, которое, безусловно, означало увеличение контроля первого над вторым.

Да и диктаторы, которые пришли к власти в Германии и Италии, не нуждались в Ратенау, чтобы усвоить этот урок. И Муссолини, и Гитлер в довольно раннем возрасте оставили свои социалистические склонности. Поняв, с какой стороны хлеб намазан маслом — когда в 1915 г. Муссолини стал интервенционистом, его товарищи социалисты приветствовали его возгласами *chi pada* («кто платит»)[604] — они были вполне готовы петь дифирамбы частному предпринимательству и, в свою очередь, охотно принимали финансовую помощь в ходе борьбы за власть. Придя к власти, они без промедления принялись выполнять свои обязательства перед теми, кто их поддерживал, запрещая забастовки и переговоры между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда, расформировывая существующие профсоюзы и бросая в тюрьмы их лидеров. Однако это не означало возврата к *laissez-faire* начала XIX в.; вместо этого они перешли к мобилизации трудящихся посредством новых государственных корпораций и *Deutsche Arbeitsfront*[605]. Следующим шагом как для нацистов, так и для фашистов было установление прямого контроля над производством, наиболее известным примером которого был четырехлетний план 1936 г., который в превратил Германа Геринга в экономического царя Германии. Обе страны занялись созданием целого набора отраслей промышленности, находящихся в государственной собственности, в сферах, которые считались жизненно необходимыми для ведения войны, но которые по тем или иным причинам не могли быть привлекательными для частных

инвестиций[606]. К их числу было отнесено производство стали, синтетического топлива, резины (которая впоследствии производилась с помощью труда заключенных концентрационных лагерей), и, конечно, знаменитых автомобилей «Фольксваген».

Когда разразилась Вторая мировая война, мобилизационные планы 1914—1918 гг. были извлечены из пыльных ящиков — иногда в буквальном смысле слова, поскольку те, кто теперь отвечал за ведение войны, отправлялись за советом к своим предшественникам, которые были еще живы. Независимо от того, был ли режим коммунистическим, фашистским или либеральным, все государства поспешили взять под контроль средства производства или, если они уже обладали этим контролем, усилить его еще больше, введя полицейский надзор на предприятиях и назначив драконовские наказания для «бездельников». Можно даже утверждать, что такие «демократические» страны, как Велико-Британия, сумели зайти дальше и быстрее, чем «тоталитарные» страны, такие как Германия, Италия и Япония. Ни в одной из этих трех стран не было выборного правительства, и несмотря на полицейский аппарат в их распоряжении, по крайней мере, вначале они опасались требовать от собственного населения слишком больших жертв[607]. Как бы то ни было, бюрократический аппарат снова стал увеличиваться. Количество федеральных служащих в США возросло с 936 тыс. в 1933 г. до 3800 тыс. в 1945 г., хотя половина из них была уволена после войны. В Великобритании всего лишь одно вновь созданное Министерство продовольствия расширилось от 3500 чиновников в 1940 г. до 39 тыс. в 1943 г., но штат его был сокращен сразу после окончания военных действий. К концу 1943 г. сложилась такая ситуация, когда теоретически и по большей части на практике нельзя было добыть ни грамма сырья, произвести ни одной гайки до получения разрешения правительства, согласно которому это было необходимо для ведения войны.

Теперь, когда государства, наконец, достигли успеха в своем завоевании денег, полученная абсолютная экономическая власть дала им возможность сражаться друг с другом в масштабах и со свирепостью, невиданных ни раньше, ни позже. Централизованное планирование и централизованное управление, практикуемые в больших или меньших размерах, позволило производить и отправлять в бой прямо с конвейера сотни тысяч танков и самолетов. В то время как бизнес, подпитываемый гигантскими государственными контрактами, часто получал такие же гигантские прибыли, воздействие на жизнь простых людей в большинстве стран может быть лучше

всего описано мрачной карикатурой на Вторую мировую войну из романа Оруэлла «1984 год»: «Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже, всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен?.. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты — не-топленными, поезда в метро — переполненными, дома — обветшалыми, хлеб — темным, кофе — гнусным, чай — редкостью, сигареты — считанными: ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина»[608].

Путь к тотальной войне

Концентрация всей экономической власти в руках государства не была бы необходима и не оправдывала бы себя, если бы ее главной целью не было установление порядка, с одной стороны, и ведение войн с соседями— с другой. Уже Гоббс, человек, который в действительности изобрел государство, был готов пожертвовать любого рода свободой (включая в особенности свободу мысли) ради достижения мира. С его точки зрения, любое правительство было лучше, чем отсутствие правительства. Пережив две тотальных войны на протяжении одного поколения и воочию убедившись, чего государства и правительства *действительно* могут достичь на пути войны и разрушения, если захотят, нам, вероятно, лучше судить об этом.

Как отмечалось в предыдущем разделе, вскоре за учреждением института современного государства последовали события, которые в целом получили известность как «революция в военном деле»[609]. До сих пор ни один европейский правитель не имел более нескольких десятков тысяч человек под своим командованием. Так, в битве при Рокруа, которая в 1643 г. привела к тому, что роль самой могущественной державы того времени перешла от Испании к Франции, участвовали в общей сложности всего лишь 48 тыс. человек. Тремя десятилетиями позже войска, собираемые Людовиком XIV и его соперниками, уже исчислялись сотнями тысяч. Такой рост не мог продолжаться непрерывно, и на протяжении XVIII в. в масштабах наземных боевых действий наблюдалась стагнация. Битва при Малплаке (1709), в которойс обеих сторон приняли участие в общей сложности 200 тыс. французских, имперских, британских и голландских солдат, стала самой крупной в европейской истории до Наполеона, в то время как армии Людовика XV, с которыми он

вел Семилетнюю войну, были едва ли больше, чем войска его прадеда, Людовика XIV[610].

Если масштаб военных действий на суше не сильно увеличился, то XVIII в. засвидетельствовал всплеск военных операций на море. Главными морскими державами XVII в. были Испания (которая до 1660 г. была заодно с Португалией) и Голландия; но теперь их флот выглядел бледно на фоне британского и французского. Поставленные на прочную организационную основу такими людьми, как Сэмюэль Пипе и Кольбер, британский и французский флоты В разное время имели от 50 до 150 так называемых линейных кораблей. Каждый из них имел водоизмещение примерно 1 тыс. т и был оснащен бронзовыми пушками в количестве от 80 до 120, каждая из которых весила до 3 т, не говоря уже о бесчисленном количестве менее крупных судов, называвшихся по-разному и использовавшихся для различных целей, от доставки донесений до действий на морских коммуникациях противника[611]. Обеспеченные навигационными приборами, такими как секстант, которые значительно превосходили все ранее известное в истории, эти парусные армады впервые дали своим владельцам возможность почти неограниченного передвижения. Вскоре не осталось ни одного континента и ни одного моря, на котором они не сразились бы друг с другом, часто в довольно значительных масштабах, когда десятки французских, британских и испанских кораблей сталкивались в водах Дальнего Востока или островов Вест-Индии. Таким образом, война за испанское наследство открыла эпоху глобальной войны — эпоху, которая, возможно, только теперь подходит к концу благодаря распаду одной из так называемых сверхдержав и растущему нежеланию других жертвовать своими молодыми людьми.

Тем временем масштабы и интенсивность войны на суше оставались сравнительно ограниченными. Возможно, отчасти это происходило из гуманистических побуждений, возникших как реакция па ужасы Тридцатилетней войны. Монтескье, воплощавший в себе нее самое лучшее в просвещенческой мысли, писал в своем «Духе законов», что в мирное время народы должны делать друг другу как можно больше добра, а в военное — наносить как можно меньше ущерба. Но главным образом ограничения, налагавшиеся в XVIII в. на ведение войны, были результатом политической структуры каждого из основных воюющих государств. Установив спою власть над народом, нередко силой, правительства (за исключением британского и лишь до некоторой степени) знали, что они не представляют народ. Поэтому они опасались налагать на людей невыносимое

экономическое бремя, вводить всеобщую воинскую повинность или раздавать оружие: всегда существовала опасность, что армия, собранная и вооруженная таким образом, может пойти против своих правителей вместо того, чтобы сражаться за них.

Армии XVIII в., состоявшие из людей, не чувствовавших никаких обязательств перед государством, которому они служили, — «грязь нации», как сказал однажды французский военный министр, граф Сен-Жермен[612], — могли держаться только на жесткой дисциплине под строгим наблюдением офицеров-аристократов. Необходимость поддержания дисциплины, а также некоторые технические характеристики используемого оружия требовали, чтобы войска передвигались и вели бой в довольно плотном строю, наступая сомкнутыми рядами плечом к плечу. Из необходимости такого построения в свою очередь вытекало, что войска было трудно использовать в мелких стычках, в погоне, на холмистой или лесистой местности, а также ночью. Кроме того, существовали ограничения в том, что касается материального обеспечения. Зависимость армий XVIII в. от «пуповины линий снабжения» часто преувеличивалась; однако, действительно, большинству солдат нельзя было доверить заниматься фуражировкой самостоятельно, и это происходило лишь под строгим надзором унтер-офицеров, которые обычно образовывали кордон вокруг них. Но даже если солдатам можно было доверить это дело, во многих регионах плотность населения была недостаточна для того, чтобы вести там широкомасштабные военные операции[613]. Битвы XVIII в. могли быть столь же кровопролитными, как в любое другое время. Как правило, не предпринималось никаких попыток использовать укрытия или маскировку; войска, выстроенные в длинные ряды, сходились друг с другом под барабанную дробь со скоростью ровно 75 шагов в минуту, останавливались на расстоянии, когда они могли видеть белки глаз друг друга, и начинали стрелять. В результате за какие-нибудь шесть или восемь часов потери могли составлять до трети личного состава[614]. С другой стороны, солдаты стоили дорого, а битвы были рискованными. Поэтому такие полководцы, как Тюренн и маршал де Сакс, проводили целые кампании во взаимных маневрах, вступая лишь в мелкие стычки с противником, чтобы развеять скуку от постоянных маршей и контрмаршей; де Сакс даже написал, что хороший генерал за всю карьеру может ни разу не побывать в сражении. Кроме того, существовало представление, что безопасность каждого государства зависит от тщательного баланса сил со всем остальным. Следовательно, считалось, что в войне не следует заходить слишком далеко[615] или доводить дело до полного

уничтожения противника; и действительно, ожидаемая возможность того, что это может случиться, часто приводила к аннулированию союзов и созданию новых. Война была вопросом оккупации того или иного района, той или иной провинции в Европе или, что еще чаще — на других континентах, где происходили наиболее значительные столкновения.

После того как разразилась Великая французская революция, исчезли эти и другие ограничения на ведение военных действий, существовавшие в XVIII в. Тринитарное «разделение труда» между правительством, которое руководило войной, вооруженными силами, которые сражались и умирали, и народом, который платил и страдал, оставалось прежним, как в 1648 г. В некоторых отношениях оно стало даже строже, поскольку офицеры перестали быть независимыми предпринимателями, и в продвижении по службе и получении вознаграждения стали зависеть исключительно от государства. Новым стало то, что были установлены очень тесные связи между первым и последним элементами триады, благодаря чему появилась возможность существенно расширить второй. Как позже объяснил Клаузевиц, подлинным достижением революции было то, что она дала возможность государству вести войну, используя все силы нации — то, чего могли достичь, по крайней мере в Европе, очень немногие политические режимы со времен расцвета Римской республики. Противники революции описывали это явление менее вежливо, называя французских солдат «монстрами… дикими зверями… с пеной ярости у рта, воющими, как каннибалы, которые набрасываются с бешеной скоростью на солдат, чья отвага не подогревалась никакой страстью»[616].

Впервые *levee en masse*[617] было учреждено Национальным собранием Франции в знаменитом декрете от 25 августа 1792 г. [618] Написанный Бертраном Барером, декрет призывал к «перманентной конфискации» мужчин, женщин (которые должны были «шить одежду для солдат, делать для них палатки и работать медсестрами»), стариков (которые должны были «приходить на общественные площади и проповедовать ненависть к тиранам») и даже детей, которые должны были делать бинты из старых простыней. Делегатам так понравилась его риторика, что они попросили зачитать декрет дважды; с этого времени каждый гражданин должен был стать солдатом, а солдат — гражданином. На практике инфраструктура для осуществления этого декрета была несовершенной, а результаты — далеки от ожидаемых. На самом деле призвать в армию удалось лишь мужчин от 18 до 25 лет, и то если они не были женаты. Как бы то ни было, военный энтузиазм долго не продлился. Пребывая в плену во Франции в

1807 г., Клаузевиц был удивлен и почувствовал немалое отвращение, увидев как рекрутов в цепях ведут в префектуру[619]. Численность французской армии удвоилась с примерно 400 тыс. солдат во время Семилетней войны до 800 тыс. в 1795—1796 гг., хотя не всех солдат была возможность обучить, вооружить (нехватка ружей в какой-то момент привела к возобновлению производства пик) или даже должным образом одеть.

Придя на смену Карно в роли «организатора победы», Наполеон в полной мере использовал полицейскую мощь, чтобы преодолеть все еще существовавшее сопротивление воинской повинности[620]. Вскоре не только было восстановлено соотношение количества людей и вооружения, но результатом стало и то, что французское государство получило в свое распоряжение вооруженные силы большие, чем когда-либо существовавшие с тех пор, как Ксеркс, по сообщению Геродота, повел в Грецию 1,5 млн человек в 480 г. до н.э. Однако в *Grande armee* не было ничего мистического. Вместо того, чтобы маршировать единым блоком, что было обычной практикой со времен создания греческой фаланги и до эпохи Фридриха Великого, французским солдатам волей-неволей пришлось рассредоточиться по гораздо более широкому фронту, чтобы передвигаться и поддерживать свое существование. Создание такого фронта требовало организации вооруженных сил в *corps d'armee*[621] и, в свою очередь, становилось возможным благодаря этому. Как было впервые предложено Национальным собранием в 1796 г., у каждого корпуса или «соединения» был постоянный командующий в ранге маршала Франции — этот титул изобрел не Наполеон, но он придал ему новое, более точное значение. В распоряжении каждого маршала находился его собственный штаб, все три рода войск (пехота, кавалерия и артиллерия) в определенном сочетании, а также собственная разведка, инженерные части и интендантская служба. Каждый корпус представлял собой настоящую армию в миниатюре, которая, по общему мнению, была способна решать свои задачи независимо от других и продержаться два-три дня даже перед лицом превосходящих сил противника.

С реорганизацией вооруженных сил изменилась сама природа стратегии[622]. Раньше армии маневрировали друг против друга фронтами, редко превосходившими четыре или пять миль в ширину, а корпуса Наполеона могли расходиться друг от друга на расстояние 25—50 миль и при этом слаженно действовать по единому плану. Если армии XVIII в. пытались завоевывать лишь отдельные провинции, то теперь они стремились покорить одну за другой целые страны. Если раньше им приходилось осаждать

каждую крепость на своем пути, то теперь большинство укреплений можно было просто обойти (если, по подсчетам Вобана, в начале XVIII в. на каждое сражение приходилось по три осады, то количество осад, проведенных Наполеоном, можно пересчитать по пальцам одной руки). Французские армии, живя за счет ресурсов занимаемой территории и целясь в самое уязвимое место, направляли свой удар на вражескую столицу. Если путь оказывался прегражден, они использовали свою непревзойденную систему командования и управления, чтобы собрать превосходящие силы и решающем пункте и победить врага в одной из тех грандиозных *batailles rangees*[623], которых Наполеон, по его же собственным словам, провел не меньше 60. Результаты применения этой системы не заставили себя долго ждать и были впечатляющими. Начиная с 1799 г., т.е. со времени второй итальянской кампании Наполеона и первой, в которой он распоряжался всеми военными ресурсами страны, французам потребовалось меньше десяти лет, чтобы пройти всю Европу от Пиренеев до реки Вислы.

К 1813 г., когда сам Наполеон признал, что *ces animaux ont apprenu quel' que chose* («эти животные кое-чему научились»), армии других государств начали перенимать французские методы. Этот процесс лучше всего можно изучить на примере Пруссии, которая после своего поражения в 1806 г. занялась в последующие годы реформой армии[624]. Набор на военную службу, который до того осуществлялся по старой системе *Kantonen*[625] и собирал лишь глуповатых сельских жителей, был расширен и стал распространяться также на образованных сыновей из семей среднего класса. Им был предложен выбор между двухгодичной службой на общих основаниях и годичной службой за свой счет — привилегией, которой воспользовалось большинство из них, поскольку она позволяла им получить вожделенный ранг *Reserveleutnant*[626]. Офицерский корпус, в котором прежде все определяли социальный статус, с одной стороны, и срок службы, с другой, был реформирован таким образом, что основную роль стали играть обучение (включая выдающуюся высшую офицерскую школу — *Kriegsakademie*[627]*)* и компетентность. Была позаимствована французская модель организации корпусов. Для того чтобы управлять этой системой, был соответственно учрежден генеральный штаб с центром в Берлине и отделениями по всей армии. В годы Второго рейха он стал самым престижным учреждением в стране[628]. В лице Герхарда фон Шарнхорста, Августа фон Гнейзенау, Карла фон Клаузевица и их товарищей Пруссии посчастливилось иметь на службе офицеров, которые, помимо практического умения

командовать на войне, отличались глубоким знанием и пониманием истории и теории военного дела. Это качество позволило им провести реформы так, что результаты их деятельности оставались в силе на протяжении нескольких поколений.

Притом, что все государства спешно реформировали и расширяли свои армии, чтобы оказывать сопротивление французским батальонам, масштаб военных действий изменился до неузнаваемости. В 1812 г. Наполеон вторгся в Россию с армией численностью не менее, чем 600 тыс. человек, что почти в 3 раза превосходило численность войск, когда-либо сосредоточенных на одном театре войны за всю прежнюю историю. Самое большое сражение того времени произошло под Лейпцигом в октябре 1813 г.; если бы его уже не окрестили Битвой народов, то оно могло бы заслужить титул Матери всех битв. Общее число участников сражения составляло 460 тыс. человек, 180 тыс. из которых были французы, остальные — пруссаки, русские и австрийцы (а также небольшое количество пришедших на подмогу шведов). Действительно, масштаб военных действий теперь был настолько велик, что стало невозможно собрать все войска в одном месте одновременно. Если раньше практически все битвы, с начала истории до того времени, длились один день, то сражение при Лейпциге продолжалось три дня. Оно состояло из трех отдельных боев, происходивших одновременно, а сам Наполеон носился от одного к другому, но не мог одновременно контролировать все[629].

В период с 1815 по 1866 г. между современными армиями не произошло ни одной столь же крупной битвы, но все *имевшие место* сражения были столь же кровопролитными с учетом масштаба[630]. Это был период Реставрации и Реакции. Основной его характеристикой было то, что от Москвы до Берлина, от Вены до Парижа коронованные особы, занимавшие разные троны, боялись собственных подданных больше, чем друг друга. Поэтому появилась тенденция комплектовать армии так, чтобы в них было меньше представителей народа. Франция и большинство других стран отказались от военного призыва, хотя и не полностью, причем таким образом, чтобы у постоянной армии мирного времени имелись значительные резервы на случай войны[631]. Самым важным направлением использования армия было не ведение межгосударственных войн, а предотвращение революции. Пословица того времени гласила: *gegen Demokraten hilfen nur Soldaten* («солдаты — единственное лекарство от демократов»). Так, французские войска оказали помощь испанскому правительству, столкнувшемуся с чередой гражданских

конфликтов, известных как Карлистские войны. В 1830—1831 гг. прусская наблюдательная армия помогла русским подавить восстание поляков в Варшаве, В 1848—1849 гг. французские войска спасли папу римского, положив конец Римской республике Маццини, австрийские войска применили артиллерийский обстрел, чтобы отвоевать собственную столицу, а прусские войска были направлены в государство Баден на юго-западе Германии, чтобы изгнать оттуда революционеров. Кульминация наступила в мае 1849 г., когда русские войска по приглашению венского правительства вошли в Венгрию, чтобы подавить революцию. Эту же операцию им пришлось повторить в Варшаве 15 лет спустя.

Если масштабы военных действий были ограничены в этой ситуации, напоминающей скороварку под давлением, то военные технологии процветали, как никогда. Здесь не место углубленно рассматривать вопрос о природе научной революции и пришедшей вскоре вслед за ней промышленной революции. Достаточно сказать, что до появления института государства примерно в середине XVII в. не существовало ни одного вида оружия, дальнобойность которого превышала бы расстояние в полмили, а скорость перемещения — лошадиный галоп; что касается морской войны, то самые большие корабли все еще делались из дерева, и их грузоподъемность не превышала 500—600 тонн. Учитывая тот факт, что военно-технический прогресс,— включающий, в первую очередь, изобретение пороха, начался за несколько веков до того, как на сцене появилось государство, было бы несправедливо считать, что появление государства явилось стало развития военной техники, тем более совершенно неясно, действительно ли военные технологии служили локомотивом технического прогресса (как считали Троцкий и др.) или же, напротив, оружие и системы вооружений просто являлись результатом технического прогресса в целом[632].

Даже с учетом всего этого, факт остается фактом, что современные средства уничтожения и поражения никогда не стали бы возможными, если бы не существовало государств, их министерств обороны (которые до 1945 г. назывались военными министерствами) и регулярных армий в униформе, управляемых бюрократическими методами[633]. Вооруженные силы большинства политических организаций прошлого были недостаточно организованы, носили в значительной степени временный характер и поэтому не могли предоставить достаточное поле для военно-технического прогресса. Особенно верно это было в отношении феодальных ополчений и наемных войск в Европе и в других странах. Первые были воинами лишь «по совместительству» и, если не были заняты охотой и тому

подобными аристократическими забавами, большую часть своего времени тратили на управление своими имениями. Вторые либо вели кочевую жизнь, переходя от одного нанимателя к другому, либо просто отправлялись домой каждый раз, когда заканчивалась война. Однако почти то же самое можно сказать о постоянных армиях, созданных в ряде империй, о которых говорилось в главе 1 этой книги. Немногие из них действительно можно было считать профессиональными вооруженными силами в современном смысле этого слова, учитывая тот факт, что командный состав часто выбирался не столько за военные способности, сколько по признаку лояльности.

Как только современное государство начало создавать регулярные, постоянные армию и флот, ситуация изменилась. В гораздо большей степени, чем их предшественники, такие вооруженные силы обеспечивали существование постоянного рынка оружия и оружейных систем. Уже к концу XVII в. флот являлся самым крупным работодателем (а также самым крупным потребителем товаров и услуг) во всей британской экономике[634]; спрос на униформу, возникший благодаря вооруженным силам Людовика XIV, был так велик, что привел к изобретению первых простейших машин для пришивания пуговиц на ткань[635]. Практически впервые и истории появились вооруженные силы, которые получали свой доход исключительно от государства и которые, даже если и ненавидели существующего правителя, редко устраивали заговоры против самого государства. Поскольку они все больше исключались из участия в политической жизни, постепенно лишались остальных функций, таких как поддержание общественного порядка, и целенаправленно отделялись от гражданского общества, и конечном счете они получили беспрецедентную свободу для того, чтобы полностью посвятить себя изобретению новых и более действенных способов убивать и уничтожать себе подобных.

Когда растущий профессионализм соединился с промышленной революцией, начавшейся в Великобритании и распространившейся за ее пределы, это не могло не привести к взрывообразному развитию. Вооруженные пушками, сделанными по новой системе Грибоваля, войска Наполеона моментально расправились бы с армией Фридриха каких-нибудь 30 или 40 лет назад; но каким бы пи был прогресс, имевший место в период с 1760 по 1815 г. он по идет ни в какое сравнение с теми изменениями, которые стали происходить одно за другим начиная с 1830 г. Вначале появились капсюли, в результате чего стал не нужен кремень для высекания искры и поджигания пороха. Затем заряжающиеся с дула мушкеты, которые, если не

считать замены деревянных шомполов железными, не претерпели почти никаких изменений с Бленхейма до Ватерлоо, были заменены на казнозарядные нарезные ружья, скорострельность которых в 3—6 раз превышала скорострельность мушкетов и которые обладали большей дальнобойностью. К тому же после проведения некоторых испытаний выяснилось, что эти ружья стреляют с большей точностью, не говоря уже о том, что, будучи заряжаемыми с казенной части, а не с дула, впервые в истории они позволили людям стрелять, находясь в укрытии, и не обязательно стоя. Параллельно происходило развитие артиллерии. Начиная с 1850-х годов бронзовые и железные гладкоствольные орудия, заряжающиеся с дула, все больше вытеснялись стальными, заряжающимися с казенной части. К 1870 г. самыми лучшими пушками были признаны прусские. Производимые фирмой Круп-па, они превосходили пушки времен Наполеона по дальнобойности в 3 раза, а по скорострельности — в 4—5 раз. Впервые с XVI в. определенный прогресс коснулся и боеприпасов: цельные железные ядра были заменены шрапнелью и осколочно-фугасными гранатами с взрывателем замедленного действия[636].

Еще большее значение для развития возможностей государства в области войны и завоевательной политики имело совершенствование военной инфраструктуры. Традиционно военный транспорт ограничивался подводами, запряженными лошадьми, а военные средства связи — верховыми посыльными; но теперь сети телеграфной связи и железных дорог стали покрывать территории целых стран (а затем и континентов), и это кардинальным образом способствовало усилению контроля государства над территориями, населением и вооруженными силами. Первый телеграф — не электрический, а оптический — появился во Франции в первые годы революции и, как и следовало ожидать, стоило ему появиться, как его стали применять в военном деле[637]. В течение следующих 30 лет Испания (в которой утверждали, что спроектировали систему более значимую, чем французская)[638], Великобритания, Пруссия и Россия последовали примеру Франции, строя системы, которые связывали Лондон с Дувром и Портсмутом, Берлин с Триром и Москву с Варшавой. Хотя все эти системы немного отличались друг от друга с технической точки зрения, но с самого начала все они имели главную цель — служить военным нуждам государства. Примерно после 1830 г. на смену оптическому телеграфу пришел более эффективный электрический. Строительство линий связи шло параллельно со строительством железных дорог; учитывая тот факт, что эффективное

функционирование последних зависело от правильного использования телеграфа, они часто были неразлучны, как сиамские близнецы[639].

Уже в 50-е годы XIX в. французы начали строить сети железных дорог, которые были специально спроектированны для поенных целей и которые сослужили им хорошую службу в войне 1859 г. против Австрии. Если бы не железные дороги и телеграф, Гражданская война в США была бы абсолютно немыслима. Конфликт 1861 — 1865 гг., действительно, заслуживает названия первой железнодорожной войны; принимая во внимание тот факт, что обе стороны часто ставили свои передвижения в зависимость от доступности железной дороги, как в случае вторжения Шермана на Юг, либо задавались целью перерезать линии, контролируемые противником (опять-таки пример Шермана, но на сей раз — его действия против Атланты в 1864 г.). Только благодаря железным дорогам федеральные войска смогли призвать за время войны не менее 2 млн человек — беспрецедентное достижение, учитывая тот факт, что все население составляло лишь 27 млн и было разбросано по огромной стране. Почти таким же беспрецедентным было число убитых, которое всего лишь за четыре года достигло 600 тыс. человек с обеих сторон.

Однако по-настоящему возможности того, на что способно государство, имея в своем распоряжении передовые технологии, еще предстояло продемонстрировать. В отличие от большинства европейских государств Пруссия не отменила воинскую повинность после 1815 г. Ее центральное расположение и равнинный ландшафт дали ей больше возможностей, чем другим европейским государствам, для использования железных дорог, как только и наличии появились необходимые для этого капитал и ноу-хау, — не слишком трудная задача для нации, которая, как мы уже убедились, имела лучшую в мире систему образования. Начиная с 1850-х годов эти факторы привели к созданию сети железных дорог, не имеющей равных по эффективности. Хотя сеть не использовалась исключительно в военных целях, Мольтке как глава генерального штаба был *ex officio*[640] членом комиссии, которая ею управляла; тот факт, что он также владел акциями железнодорожной компании, интересен, но в данном случае не имеет отношения к делу. Были разработаны планы мобилизации, исполнение которых снова и снова тщательно отрабатывалось с доскональной точностью. В 1866 г., когда пришло время первого серьезного испытания, весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как самая маленькая из мировых держав поставила под ружье войска численностью 300 тыс. человек и сосредоточила их у австрийской

границы, причем с беспрецедентной быстротой и организованностью. И действительно, преимущество прусских войск в 1866 и 1870 гг., которое они получили благодаря использованию железных дорог, было так велико, что исход обеих войн был предрешен еще до того, как прозвучал первый выстрел. Будучи поставлены в неравное положение, австрийцы и французы были вынуждены обороняться и уже так не смогли восстановить свои прежние позиции.

В то время как Гражданская война в США осталась почти незамеченной, в Европе — как выразился Мольтке, там всего лишь две толпы гонялись друг за другом по огромной полупустынной территории — победы Пруссии изучались очень внимательно. На-чинаяс 1873 г. одна страна за другой отказывалась от устаревшей военной системы и вводила всеобщую воинскую повинность для мужского населения. К 1914 г. это коснулось даже Японии, которая лишь недавно приняла то, что называлось «цивилизованными стандартами»; единственными исключениями оставались Великобритания и США, которые, однако, последовали примеру остальных во время Первой мировой войны. Система воинского призыва и эффективная система создания резервов (которая стала возможна благодаря железным дорогам), в свою очередь, позволили создавать чудовищные по численности армии; в августе 1914 г. самые крупные вооруженные силы насчитывали даже не сотни тысяч, а миллионы военнослужащих[641]. И на этом история отнюдь не заканчивается. Так, немецкая армия, которая, включая ее разнообразные резервы, насчитывала почти 4,5 млн человек в начале войны, выросла примерно до 6,5 млнчеловекв 1917 г.; в основном численность увеличивалась в технически оснащенных родах войск, таких как артиллерия, авиация и, в еще большей степени, войска связи. Между 1914 и 1918 гг. число носивших немецкую военную форму превысило 13 млн. Из них примерно *2* млн погибли. Общее число погибших в войне оценивается почти и 10 млн человек, не считая, возможно, стольких же, умерших от болезней, связанных с ведением войны.

К этому времени к железной дороге и телеграфу добавились автомобиль, телефон и телетайп. Поставив себе на службу все эти изобретения, война также оказалась переломным моментом с точки зрения способности государства мобилизовывать всю экономику страны на военный лад. В результате вооруженные конфликты достигли прежде немыслимого размаха. Так, только между 1914 и 1916 гг. среднее потребление запасов в расчете на армейскую дивизию в день увеличилось в 3 раза —с 50 до 150 тонн[642]. В то время как в начале конфликта армия считалась

очень хорошо подготовившейся в том случае, если ее запас насчитывал тысячу снарядов на артиллерийский ствол, то четыре года спустя некоторые батареи расходовали такое количество боеприпасов *за день;* тогда как расход немецкой армией боеприпасов для ручного стрелкового оружия достиг 300 *млн* выстрелов в месяц. Другие предметы снабжения, некоторые из них — традиционные (на протяжении всей войны фураж для лошадей оставался самым крупным по объему товаром, перевозимым из Великобритании но Францию), другие — недавно изобретенные — потреблялись и расходовались соразмерно. К инновациям относятся наземные и подводные мины, которые производились и использовались миллионами во всех воюющих государствах. Сюда же следует отнести сотни тысяч километров колючей проволоки, не говоря уже о том специфическом изобретении, которое никогда не применялось так широко, как во время Первой мировой войны, а именно— о боевых отравляющих веществах.

В 1919—1939 гг. мысли и усилия многих людей были направлены на то, чтобы не дать государствам вовлечь человечество и новую катастрофу подобного рода[643]. Неудача этих попыток доказывает, что еще больше усилий было направлено на поиск более эффективных способов ведения войны между государствами. Некоторые из этих попыток были направлены на то, чтобы избежать повторения кровопролития, как, например, усилия британского поенного теоретика Бэзила Лидделл-Гарта. Родившись в 1895 г., Лидделл-Гарт по возрасту как раз подходил для того, чтобы пережить газовую атаку на Сомме в 1916 г., так что с ужасами войны он был знаком не понаслышке. Когда он увидел имена большинства своих довоенных товарищей по Кембриджскому университету на мемориальных досках, установленных после 1919 г., он потерял свою прежнюю веру в мудрость британского генерального штаба[644]. Остаток своей жизни он посвятил поиску лучших (т.е. более быстрых и более экономичных) способов ведения военных действий. Его первым предложением стала так называемая стратегия непрямых действий, подразумевающая проведение сложных операций, направленных не «в лоб», как в 1914—1918 гг., а туда, где противник меньше всего их ожидает и где они могут причинить ему наибольший ущерб. Позднее, под влиянием другого английского военного реформатора, полковника (затем генерал-майора) Джона Фредерика Фуллера, он предложил проводить такие операции с помощью создававшегося в то время нового рода войск, а именно — бронетанковых сил. К середине 30-х годов Лидделл-Гарт завоевал международное признание и

мог с полным правом утверждать, что изобрел тот вид военных операций, который позже стал известен под названием *Blitzkrieg*[645], хотя в действительности существует мало доказательств, что его взгляды оказали серьезное влияние на военных практиков того времени[646].

В то время как попытка Лидделла Гарта найти более дешевые (т.е. более эффективные) средства ведения войны, имела по крайней мере то преимущество, что стремилась сберечь гражданскую часть триады, этого нельзя сказать о его итальянском коллеге-теоретике, генерале Джулио Дуэ. Будучи ранее армейским офицером, Дуэ неоднократно имел возможность наблюдать тщетность атак пехоты на укрепленные оборонительные позиции: между 1915 и 1917 гг. было предпринято не менее 11 попыток наступления на Изонцо, и все провалились с огромными потерями. Лучший способ просто *должен* был существовать, и ко времени окончания войны Дуэ решил, что нашел такой способ в лице авиации. Самолеты, впервые использовавшиеся в военных целях во время итальянско-турецкой войны 1911 г., а затем, в гораздо более широких масштабах — в 1914—1918 гг.[647], обладали такими выдающимися качествами, как скорость и маневренность, которые позволяли им переключаться с одной цели на другую, независимо от рельефа местности и почти независимо от расстояния между ними. Поскольку невозможно защитить все объекты одновременно, это сделало самолеты наступательным оружием *par exellence*[648]. Вместо того, чтобы расходовать понапрасну потенциал военно-воздушных сил, атакуя самый сильный сектор противника, т.е. его вооруженные силы, Дуэ полагал, что они в первую очередь должны применяться против вражеских военно-воздушных баз, для того, чтобы получить превосходство в воздухе (этот термин он позаимствовал из военно-морской терминологии и определял как возможность свободно перемещаться в воздушном пространстве, не давая такой же возможности врагу), а затем — против центров сосредоточения гражданского населения[649]. Основываясь на наблюдениях за атаками немцев на Лондон во время Первой мировой войны, которые привели к ничтожным потерям, но при этом вызвали большую панику, Дуэ с уверенностью полагал, что такие «стратегические» бомбардировки поставят любую страну на колени за считанные дни и даже сделают наземные бои излишними и бесполезными.

Но на деле этот, а также другие взгляды на войну будущего суждено было затмить, или, точнее сказать, вобрать в себя работе другого, если не более выдающегося, то, по крайней мере, более

опытного военного мыслителя, немца Эриха Людендорфа. Бывший во время войны генерал-квартирмейстером немецкой армии и де-факто правителем Германии, Людендорф имел блестящую возможность наблюдать войну «на самом верху». В течение двух лет руководив самой могущественной за всю историю поенной организацией, он не разделял веру в то, что современную великую державу можно поставить на колени, проведя несколько операций непрямого действия, и даже с помощью воздушного флота, бомбящего все на своем пути. Безусловно, и тот, и другой способ необходимо использовать в полной мере; Людендорф не только не имел себе равных в планировании и проведении военных операций — это он доказал серией блестящих побед над русскими в 1914—1916 гг. — но он не колебался в применении никаких средств, если они могли помочь достижению победы. Однако в современной войне можно победить, лишь полностью мобилизовав все демографические, экономические и промышленные ресурсы государства и передав их в полное распоряжение военного диктатора. Поскольку такая «полная» мобилизация требовала времени, ее необходимо было начинать в мирное время, что в свою очередь означало, что диктаторский режим должен был быть постоянным, и лучше всего, если у власти будет находиться никто иной, как сам полководец Людендорф[650].

Когда в 1939 г. разразилась Вторая мировая война, вначале она, казалось, подтверждала именно точку зрения Лидделл-Гарта и Фуллера. Можно дискутировать о том, соответствовали ли «стратегии непрямых действий» операции, в ходе которых были побеждены сначала Польша, а затем Норвегия, страны Бенилюкса, Франция, Югославия, Греция, захвачены позиции Британской империи на Ближнем Востоке и почти покорена Россия, но бесспорно, что острие удара составляли бронетанковые силы, состоящие из десятков, а позже сотен тысяч машин, от легких разведывательных машин (джипов) до бронетранспортеров, моторизованной или самоходной артиллерии и танков. Совершая маневры в разных направлениях, эти силы поддерживались военно-воздушными флотами; тем не менее они были мало чем обязаны Дуэ и, по крайней мере первоначально, концентрировались на военных, а не гражданских целях[651].

Однако победы раннего периода войны оказались обманчивыми. Если небольшие и средние государства можно было стереть с карты мира с помощью нескольких танковых дивизий, сопровождаемых и прикрываемых военно-воздушным флотом, с большими континентальными державами, такими как Советский Союз и сама Германия, этого сделать не удавалось.

Сначала Вермахт, затем Красная Армия и, наконец, армии западных союзников поняли, что их сфера досягаемости небезгранична. Требования к тыловому обеспечению наступлений современных механизированных соединений были таковы, что, когда они проходили расстояние больше 200 миль, то имели тенденцию падать под тяжестью собственного веса, даже когда сопротивление противника было слабым или вовсе отсутствовало, как в России летом 1941 г. или во Франции осенью 1944 г.[652] В результате, хотя передвижения при проведении операций были более дерзкими и совершались на гораздо большую глубину, чем во время Первой мировой войны, Вторая мировая война, как и предыдущая, прекратилась в борьбу на истощение.

По мере того, как воюющие стороны проводили полную экономическую мобилизацию для ведения борьбы, они также начали применять стратегические бомбардировки с целью воспрепятствовать мобилизации противника, тем самым стирая перегородки между правительством, армией и народом, которые так тщательно возводились, начиная с 1648 г. Первыми, кто попытался поставить на колени целые страны, прибегнув к бомбардировкам с воздуха, были немцы, применившие этот метод в Варшаве и Роттердаме (хотя налет на Роттердам, возможно, был результатом нарушения связи). Затем они начали воздушное наступление на Великобританию под кодовым названием *Blitz* («Молния»), но германские ВВС, созданные с расчетом на ведение совершенно другого типа войны, не располагали соответствующими самолетами и не обладали боевой устойчивостью, необходимой для ведения таких операций. Поэтому слава первопроходцев и до сегодняшнего дня почти единственных стран, применявших широкомасштабные «стратегические» бомбардировки, принадлежит Великобритании и США. Неизвестно, читали ли командующие британскими и американскими ВВС работы Дуэ (скорее всего, не читали), но они не замедлили предположить, что мощный военно-воздушный флот, вооруженный четырехмоторными самолетами, способными нести на борту 3—5 т бомбовой нагрузки, мог одержать победу в войне против стран Оси практически без посторонней помощи. Как оказалось, их претензии были преувеличены; как только на самолетах появился радар, оказалось, что они столь же эффективны в обороне, как и в нападении. По сей день не найдено однозначного ответа на вопрос, можно ли было в условиях технологических реалий Второй мировой войны найти лучший способ достижения победы над Германией и Японией, чем бомбардировка их городов[653]. Достоверно известно лишь то, что военно-воздушными силами США и Великобритании было

сброшено почти 2,5 млн т бомб. Когда войска союзников входили в 1945 г. в немецкие города, то обнаруживали, что их покинули даже птицы.

Тем временем в попытках найти более эффективные способы уничтожения друг друга, государства начали в этих целях мобилизацию науки. Вместо того, чтобы предоставить научно-техническое развитие и разработку изобретений инициативе частных лиц, как это обычно бывало до 1914 г., этот процесс был поставлен на службу государству[654]. Во время Второй мировой войны масштаб этих усилий увеличился до такой степени, что десятки тысяч ученых на постоянной основе занимались разработкой более совершенного оружия и попутно пытались разгадать, какие козыри в этой сфере есть у врага. Военно-технический прогресс, который до середины XIX в. обычно занимал десятилетия, настолько ускорился, что теперь разработка и принятие на вооружение новой системы оружия стали занимать всего лишь несколько лет или даже месяцев. Например, немецкий истребитель «Мессершмит 109» и британский «Спитфайр» дебютировали в 1938—1939 гг. К 1944—1945 гг. было разработано 9 модификаций «Мессершмита» и 14 модификаций «Спитфайра», после чего оба были заменены новыми, еще более мощными образцами[655]. Это было обычной практикой. Танк 1940-го года выпуска не мог состязаться с моделью, произведенной всего лишь два или три года спустя, а американские авианосцы начала войны в 2 раза уступали по размеру авианосцам, применявшимся в ее конце.

Однако величайший триумф государства был еще впереди. Между 1939 и 1945 гг. от 40 до 60 млн человек были убиты обычными видами оружия, но государства на этом не остановились и продолжали поиск более мощного оружия. В секретных лабораториях, расположенных в пустынных местностях, огороженных километрами колючей проволоки, были сосредоточены и приступили к работе лучшие ученые, имевшие доступ к неограниченным ресурсам. В 1938 г. Отто Хан в Берлине первым расщепил атом. После того как его бывшая ассистентка Лизе Майтнер объяснила ему значение этого открытия, в течение двух лет статьи по ядерной физике исчезли из международной научной литературы — верный признак того, что этой отраслью науки занялись военные круги самых могущественных государств, и что отныне даже самые фундаментальные тайны мироздания больше не могли избежать их стальных объятий[656]. Эта задача была настолько важна, что решить ее могло только государство, причем самое большое и могущественное. С другой стороны, скорость, с которой она была решена, поражала, что стало еще

одним свидетельством того, чего может достичь государство, если поставит перед собой такую цель. Прошло менее трех лет с момента назначения генерала Лесли Гроувза, великолепного организатора, прежде известного в основном своей манией секретности, на должность главы «Манхэттенского проекта» до взрыва первой бомбы в Лос-Аламосе[657]. 6 августа 1945 г., и прекрасный летний день, над Хиросимой появился одинокий тяжелый бомбардировщик и сбросил одну-единственную бомбу. Мгновение спустя небеса разверзлись. В них светились тысячи солнц, на земле лежало около 75 тыс. убитых и умирающих, и тотальная война, на совершенствование которой государства мира потратили три столетия, уничтожила сама себя.

Апофеоз государства

Рожденное во грехе, побочное детище угасающей автократии и сорвавшейся с привязи бюрократии, государство — это гигант, пластвующий над пигмеями[658]. Рассматриваемые по отдельности, бюрократы, даже самые высокопоставленные, могут быть мягкими, безобидными и даже скромными людьми, но все вместе они создали монстра, чья власть превзошла власть самых могущественнейших империй прошлого. Одной из причин этого является тот факт, что в отличие от всех правящих групп прошлого они не должны оплачивать расходы на управление из собственного кармана. Напротив, они живут за счет этих расходов: кабинеты, в которых они проводят встречи, столы, за которыми они сидят, и компьютеры, за которыми (в наши дни) они работают — все предоставляет правительство. Кроме того, опять-таки в отличие от большинства правящих групп прошлого они действуют в соответствии с установленными правилами и процедурами, не движимые ни гневом, ни страстью — хотя, безусловно, эти правила и первую очередь учитывают их собственные интересы. Но самой важной причиной является тот факт, что они в отличие, например, от Калигулы или Чингисхана, обладают коллективной личностью, которая делает их бессмертными. Просто подождав достаточно долго, государство может легко пережить любое «физическое лицо», которое осмелилось перейти ему дорогу. Поэтому в идеале оно должно быть способно управлять своими подданными с помощью крепкого зада, а не кулаков, хотя оно зачастую не брезговало применять и кулаки.

Когда государство впервые появилось на свет, оно было

относительно мало и слабо — настолько, что правители, страдающие манией величия, могли иногда взглянуть на него сверху вниз и заявить, что «государство — это я!» Однако с тех пор оно все росло и росло. Шаг за шагом оно отделило себя от гражданского общества и стало доминировать над ним. В ходе этого процесса оно стало заказывать географические карты и использовать их, чтобы делать политические заявления о самом себе; оно построило инфраструктуру «статистической» информации; оно увеличило налоги и, что, возможно, еще более важно, сосредоточило их в своих руках. Чтобы закрепить свое господство, государство организовало полицию и службы безопасности, создало тюрьмы и вооруженные силы, а также специализированные органы, ответственные за образование и социальное обеспечение, — все они, как отметил Макс Вебер, сами являлись бюрократическими институтами *par excellence* и в некоторой степени просто являлись отражением механизма, которому служили.

Начиная с Великобритании в последние годы XVIII в. одно за другим государства почувствовали себя достаточно сильными, чтобы установить свой контроль над самым важным товаром, т.е. деньгами. Конечно, первые попытки были робкими и привели как минимум к одному впечатляющему банкротству; но после 1800 г. переход от драгоценных металлов к выпускаемым государством бумажным деньгам с изображением правителя оказался неодолимым. На протяжении XIX в. большинство государств все еще сохраняли связь между деньгами и драгоценными металлами. Однако после того, как в результате Первой и Второй мировых войн эта связь была разорвана, и деньги стали просто грудой бумаги, государства использовали необходимость сражаться с другими государствами как оправдание своего непосредственного господства в экономике, с использованием своих законов, предписаний и указов. В общем и целом процесс, в ходе которого изменился сам смысл денег, происходил не просто в том или ином государстве, но во многом был частью процесса развития института государства как такового. От Вашингтона до Лондона, Парижа, Рима, Берлина, Москвы и Токио принципы оставались одними и теми же. Главное различие между «свободным» и тоталитарным государствами состояло в том, что в первом правители избирались демократическим путем, хотя, как однажды отметил Гитлер, судя по его личной популярности, нацистский режим был самым демократичным за всю историю[659]. Поэтому демократическим государствам не было нужды применять инструменты насилия, которые были в их распоряжении, столь беспощадно и в таких масштабах, как это

делали тоталитарные государства.

Изначально государство было задумано просто как инструмент для установления правопорядка: организация, состоящая из институтов, законов и людей, служащихв институтах и выполняющих законы; эта организация должна была работать как машина, выполняющая свою задачу. Однако примерно на полпути своего развития между 1648 и 1945 гг. государство столкнулось с силами национализма, который до тех пор развивался практически независимо от него, а порой — в противовес ему. Государство XVII—XVIII вв. не требовало особой любви со стороны своих подданных, заботясь лишь о том, чтобы выполнялись его указы и удовлетворялась его потребность в деньгах и людях; но теперь оно начало культивировать национализм, чтобы заполнить свою пустоту и наполнить самого себя этическим содержанием. В понимании Руссо, Гердера и других национализм — если уместно употребить этот термин — был вполне безобидным чувством любви к собственной стране, ее языку, традициям, костюму и праздникам; но когда национализм был присвоен государством, он стал агрессивным и воинственным. Усиливая похищенные духовные ценности, государство превратилось из средства в цель, а из цели — в божество. Независимо от того, жило ли это божество в мире с себе подобными или воевало с ними, оно обычно было готово уважать право других богов на суверенное с уществование — достаточно вспомнить утонченную вежливость, с которой правители и дипломаты, а зачастую даже солдаты обращались друг к другу в военное время (когда Наполеон III был взят в плен в Седане в 1870 г., ему не только не причинили никакого вреда, а попросту отпустили). Однако от своих подданных государство требовало абсолютной преданности, вплоть до готовности отдать жизнь, жестоко наказывая их, если они осмеливались не подчиниться или уклониться от службы — двойной стандарт, ясно показывающий, как оно *действительно* к ним относилось.

Находящиеся под защитой государства и часто поддерживаемые им, современная наука и современная технология смогли процветать, как никогда раньше. Как говорилось выше, если бы не изготовляемые типографским способом формы, с одной стороны, и огнестрельное оружие, с другой, государство могло бы никогда не появиться на свет. Позднее Гоббс, который, по сути дела, изобрел государство, и английский политический мыслитель Джеймс Харрингтон проявили большой интерес к науке и обратились к научным моделям как к основам разрабатываемых ими политических концепций[660]. Подходя к проблеме с другой стороны, Фрэнсис

Бэкон в «Новой Атлантиде» (1637) описал воображаемое государство, которое систематически использует науку для усиления собственной власти. Ревностно храня свои секреты, оно засылает шпионов, чтобы вынюхивать новые открытия по всему свету; в результате не последним по важности его достижением стало изобретение пушки, способной метнуть ядро дальше и сильнее, чем любое оружие, существовавшее до того. Идеи Бэкона быстро вошли в моду, о чем свидетельствует и тот факт, что не прошло и 40 лет с его смерти, как важнейшие монархи Европы учредили академии наук, одной из основных функций которых было изучать проблемы и предлагать изобретения, полезные государству[661]. К началу XVIII в. представление о том, что науку можно использовать для усиления власти государства, достигло даже отсталой России в лице Петра Великого[662].

И это было только начало. Государство не только использовало науку и технологию для расширения своих возможностей для ведения войны с другими государствами, но те же средства применялись им для усиления контроля над каждым квадратным дюймом территории страны и над жизнью каждого своего подданного. Так, примерно с 1850 г. правительства Франции, Пруссии (впоследствии Германии), Пьемонта (впоследствии Италии) и Канады систематически стимулировали развитие сети железных дорог с целью связать разные провинции друг с другом и подчинить их все центральной власти[663]. В Соединенных Штатах в первую очередь политические соображения привели к строительству железнодорожных линий с севера на юг, связывающих Средний Запад с побережьем Мексиканского залива, а также железнодорожной сети, протянувшейся с запада на восток. Одним из результатов стало то, что сменилось целое поколение, прежде чем по трансконтинентальной железной дороге стало ходить более одного поезда в неделю и она стала приносить прибыль. В России, которая была сравнительно новым членом клуба государств[664], связь между железными дорогами и финансирующим их правительством была такой прочной, что, как сказал Ленин, «когда поезда остановятся, это будет конец»[665]. Ограничиваясь теми странами, которые были предметом детального изучения, отметим, что Франция, Россия, Япония, Аргентина и Австралия сознательно использовали телеграф в тех же целях, несмотря даже на то, что за установление государственной монополии на телекоммуникации пришлось заплатить технической отсталостью, как это случилось во Франции[666].

Наконец, превращение государства в земное божество

предполагало существование популярной прессы и помогло ей сфокусировать внимание на своих интересах. Мы не будем подробно описывать, как увеличивалось число читателей благодаря развитию технологий и повышению общей грамотности. Достаточно сказать, что только в Великобритании количество проданных газет увеличилось с 7,5 млн экземпляров в 1753 г. до 25 млн в 1826 г.[667]; в это было еще до того, как дальнейшие нововведения, имевшие место в конце XIX в., привели к увеличению числа проданных экземпляров до нескольких миллионов *в день*. В Великобритании, как и в большинстве других стран, главные редакции всех существовавших общенациональных газет находились в столице. Даже там, где правительства не стремились их контролировать, как было, в частности, в России[668], результатом должно было стать возникновение целого класса «общественных» (т.е. «относящихся к государству») тем, которые раньше касались лишь меньшинства, и донесение их до сознания широких масс. Роль прессы, например, в раздувании Крымской войны, в борьбе за африканские колонии и в англо-германской военно-морской гонке вооружений недвусмысленно подтверждается фактами. Кроме того, пресса имела возможность фабриковать события из ничего, как например в случае, когда убийство президента Гарфилда заставило «всю английскую расу» оплакивать человека, о существовании которого люди раньше, скорее всего, не подозревали[669]. Во время Первой мировой войны другой президент США, Вудро Вильсон, встречался с прессой 2 раза в неделю: яркий показатель способности прессы заставить общественную жизнь вращаться вокруг государства.

В обмен на поддержку технического развития, позволившего существенно повысить уровень жизни людей, государство извлекало рэкетирскую плату, которая главным образом состояла в неограниченном предоставлении материальных и людских ресурсов. Этот процесс достиг кульминации в первой половине XX в. Пустившись в разгул тотальной войны, государство требовало и получало такое количество жертв, что древние ацтекские боги побледнели бы, узнай они об этом. Причем различия между «тоталитарными» и «демократическими» государствами были не столь велики, как хотелось думать людям того времени. При прочих равных условиях те государства, правящие режимы которых наиболее успешно выжимали соки из своих граждан, одерживали победы, в то время как государства, меньшие по величине и менее успешно выполнявшие эту благородную задачу, терпели поражения. Как обычно, цену за это платили граждане, а не государство *per se*[670]. В побежденных

странах некоторые правители лишились головы, иногда после судебных разбирательств, а иногда и нет. Как бы то ни было, они не были незаменимы, что доказывает тот факт, что все эти государства без исключения возродились из пепла менее чем через пять лет после окончания величайшей в истории войны. Была готова сцена, на которой государству суждено было пережить свое бабье лето — последний блестящий расцвет власти перед неизбежным упадком. Однако прежде чем мы обратимся к этой истории, необходимо объяснить, как институт государства распространился за пределы Европы, где он зародился, по всем остальным частям земного шара.

5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА: 1696–1975 гг.

Самыми ранними политическими образованиями, которые можно было назвать государствами, были Франция, Испания, Португалия, Великобритания, страны, составлявшие Священную Римскую империю, страны Скандинавии и Голландия. В первое столетие своего существования все они в общей сложности занимали лишь от 2 до 3% поверхности земного шара, или, если быть точными, 1 450 000 кв. миль, притом, что вся площадь суши «оставляла 57 000 000 кв. миль. На всей остальной территории земного шара все еще господствовали существовавшие там с незапамятных времен племена без правителей, более или менее централизованные вождества и империи разных размеров и видов. То там, то тут — например, вдоль побережья Восточной Африки и в сегодняшних Малайзии и Индонезии, истории известно существование городов-государств со слишком развитой структурой, чтобы называться вождествами, и не подчинявшихся более крупным империям. Однако, по всей видимости, среди них не было управляемых на принципах демократии и отделения власти от собственности, как в античных Греции и Риме.

Исходя из этого распространение института государства на другие континенты и его победу над другими формами политической организации можно изучать трояким образом. Первый подход является хронологическим, безотносительно к местоположению; иными словами, он заключается в последовательном описании сначала победного марша империализма, а затем процесса деколонизации. Второй подход — географический, который состоит в том, чтобы поделить мир на разные регионы и проследить, как каждый из них был поделен между государствами и как он ими управлялся. Третий состоит в том, чтобы обратиться к *методам,* с помощью которых государства формировались в регионах за пределами Западной Европы: с помощью подражания, как в Японии с середины XIX в., в результате завоевания и последующего освобождения, как в большинстве других мест, или в результате сочетания этих двух вариантов. Поскольку эти методы преимущественно зависели от степени развития цивилизации в каждом регионе, включая не в последнюю очередь политический аспект, до того момента, как в нем возникал институт государства, то эти пути, естественно, были взаимосвязаны.

Мы представим здесь некий четвертый подход к

рассмотрению данного вопроса, который включает в себя элементы всех трех перечисленных.

Восточная Европа

Первой страной после вышеперечисленных, которая стала государством или чем-то вроде того, была Россия. Его строительство началось, когда Петр I Великий обрел фактическую власть. Напротив, те регионы, которые оказались не способны сформировать государства, вскоре отстали и были захвачены соседями. История, которую мы изложим в этом разделе, представляет собой рассказ о России, с одной стороны, и о Польше, с другой. На примере их противоположных судеб может быть проиллюстрирована вся значимость политической модернизации.

Точнее всего Россию в XVI—XVII вв., пожалуй, можно охарактеризовать как развивающуюся патриархальную империю, управляемую царем, чья власть, благодаря завоеванию новых земель, становилась все более и более абсолютной[671]. Царь был окружен потомственной знатью, которая была обязана политической и экономической властью своим землям, будь то аллодиальные, передающиеся по наследству имения, известные как *вотчины,* или род феодальных владений — *поместья,* которые начали появляться при Иване III с 70-х годов XV в. Как и в других странах, население России было преимущественно сельским. Но если в большинстве стран Европы к западу от Эльбы это население постепенно двигалось в сторону владения землей и большей личной свободы, то в России процесс шел в противоположном направлении. В первой половине XVII в. та свобода передвижения, которой все еще обладали крепостные крестьяне, постепенно была отнята; тех, кто давал беглецам приют, могли заставить выплатить компенсацию их владельцу. Вскоре дело дошло до того, что крепостных стало можно покупать, продавать и одалживать, по отдельности или целыми группами, с землей, на которой они жили и работали, или без нее.

Вступление страны после 1632 г. в целую серию крупных войн с более развитыми западными соседями — сначала с Польшей, а затем со Швецией — усилило зависимость царя от знати и привело к принятию в 1649 г. «Соборного уложения»[672]. Из-за необъятных бездорожных просторов России и отсутствия судоходных рек во многих местах города и так развивались

медленно. Теперь, дабы пресечь всякую возможность бегства крепостных, города были полностью отделены от сельской местности, а контроль над ними ужесточился как никогда раньше. Не имея притока рабочей силы, города чахли, что привело к тому, что даже в 1815 г. на их долю приходилось лишь около 4% всего населения страны[673]. Самих крепостных, которые находились под управлением своих непосредственных хозяев при минимальном или полностью отсутствующем надзоре сверху, можно поделить на четыре группы. Примерно 10% принадлежали церкви. Знать в общей сложности владела около 40%, а правящая династия — от 5 до 10% в разные периоды времени. Единственную группу, не находившуюся в частном владении, которая включала в себя около трети всех крепостных и впоследствии приобретала все большее значение, составляли казенные крестьяне. Будучи сосредоточенными преимущественно на севере и юге, они жили в основном на недавно завоеванных территориях, в результате чего стали предметом «публичной» собственности, вместо непосредственного включения в царский домен.

Таким образом, большая часть населения страны (примерно 90%) была низведена до условий, немногим лучших, чем у рабов. За исключением случаев продажи или ссылки (теоретически, землевладельцам запрещалось убивать своих рабов, и ссылка служила эквивалентом смертной казни), обычно они жили и умирали в имениях своих господ. Таким образом, какое бы то ми было развитие государства, которое могло бы иметь место в России, задержалось более чем на два столетия. Правительст-но так и не обрело статус юридического лица, что являлось основной характерной особенностью становления государства в других странах; вместо этого страна управлялась союзом царя — который еще в середине XIX в. мог говорить о своем «отеческом попечении» — и знати. Последняя составляла примерно 0,5% населения страны, и только ее представители считались пригодными для занятия какой-либо должности в правительстве — будь то гражданская должность, военная или духовная. За исключением священников и обеспеченных горожан, никакие другие представители населения страны вовсе не обладали правосубъектностью.

Превратив половину населения России в свою личную собственность, знать в общем и целом позволяла царю управлять собой, хотя изредка и случались мятежи бояр, которые отказывались видеть, что мир вокруг меняется. Важный первоначальный шаг был сделан в 1682 г., когда царь Федор Алексеевич демонстративно сжег разрядные книги, в которых

были записаны наследные титулы знати, тем самым установив свое право использовать представителей знати на своей службе так, как он сочтет нужным. Между 1712 и 1714 гг. процесс закрепощения крестьян был завершен Петром Великим. Старое различие между вотчинами и поместьями было отменено. Землевладение стало условным и предоставлялось в обмен на несение службы, после чего всех представителей знати стали называть одним словом *дворянин,* которое фактически означало человека, служащего императору[674]. Целый ряд новых титулов, таких как граф и барон, были привнесены с Запада. В зависимости от количества крепостных, которыми они владели, дворяне были поделены на ранги, от первого (высшего) до четырнадцатого. Шесть высших рангов были наследственными, остальные давались за личные заслуги. Дворянин на службе у царя занимал какую-либо должность в одной из четырех иерархий: армия, флот (недавно созданный Петром), гражданская служба и двор. Продвижение с одного ранга на другой на низших уровнях было делегировано, но на высших оно строго контролировалось сверху. Само собой разумеется, что на практике даже такой гений, как Петр I, не мог контролировать каждый винтик этой машины, которая к концу его правления насчитывала 5000 офицеров, не говоря уже об огромном количестве бюрократов на гражданской службе. Поэтому данная система представляла собой огромную сеть неформальных связей и покровительства, сверху донизу пропитанную коррупцией.

Создание такой системы, в которой все дворянские титулы в социальном и этимологическом отношении были производными от царского двора, позволило Петру избавиться от старого боярского совета или думы как высшего учреждения в стране. Ее место занял Сенат — назначаемый орган, который сосредоточил в своих руках судебную, административную и законодательно-консультативную функции. Девять коллегий (управляющих советов), каждая из которых имела своего председателя и несла коллективную ответственность перед Сенатом, осуществляли правительственную деятельность на высшем уровне. На более низком уровне страна делилась на восемь губерний, или административных регионов, каждый из которых был поделен на провинции и дистрикты. Особенностью системы было то, что существовавшая ранее запутанная система *приказов,* управляемых из Москвы и осуществляющих различные, зачастую пересекающиеся функции, не была упразднена; однако постепенно они и их штат перешли в руки новых губернаторов. Последние осуществляли царскую волю по всей империи, которая по стандартам Западной Европы уже была невообразимо большой

(в 1700 г. — 6 500 000 кв. миль), по при этом настолько редко населенной, что целые регионы были практически пустынными.

С помощью своей административной системы Петр смог ввести новые налоги. Старый земельный налог был заменен подушным налогом (взимаемый вначале с хозяйства, а потом с отдельного человека) и поземельным налогом. В отличие от Запада слаборазвитая в торговом отношении экономика давала мало возможностей для косвенного налогообложения; тем не менее были введены налоги на соль и неотъемлемый атрибут русской жизни — водку. Кроме того, существовала барщина и в довершение всех тяжестей — натуральный оброк. Правительственных чиновников, как и войска при передвижении, необходимо было размещать и кормить, а также предоставлять им транспорт в виде лошадей и повозок. Как и в других странах, живущих в условиях старого режима, дворянство и высшее духовенство были освобождены от всех налогов, за исключением некоторых косвенных. Остальное население, включая горожан, платило без передышки: как гласил императорский указ, даже деревенский дурачок, слепой, хромой и старик не должны быть освобождены от налогов. По некоторым оценкам, налоговое бремя на среднего крепостного крестьянина в период между 1700 и 1708 гг. выросло и 5 раз, при том, что средний размер крестьянского хозяйства стал меньше. И это не считая платы, которую различные приказы продолжали требовать за предоставляемые услуги или за рассмотрение жалоб.

К 1725 г. государственные расходы, которые в 1700 г. составляли 3,5 млн рублей, достигли почти 10 млн. Большая часть ушла на постройку Петром новой столицы, которая к тому же обошлась недешево: место, которое он выбрал, было болотистым, и прежде чем начать строительство, необходимо было осушить болота, для чето из Голландии специально были выписаны инженеры. Однако большая часть денег ушла на то, чтобы финансировать военную машину, которая за время его царствования увеличилась в размере с нескольких десятков тысяч до почти 200 000 человек и встала в один ряд с армиями других крупных стран. Более того, эти силы были построены по западному образцу. Уже начиная примерно с 1640 г. старая дворянская кавалерия, созданная для того, чтобы воевать с татарами и другими полукочевыми народами, уступила место другим войскам. Сначала появились стрельцы, или дворцовая охрана. Восстание, которое они подняли в 1698 г., было жестоко подавлено, а основные участники были казнены (некоторых Петр казнил собственноручно); стрельцов сменила регулярная армия, состоящая из дисциплинированной и обученной пехоты,

кавалерии и артиллерийских полков[675]. Командовали войсками представители дворянского сословия (хотя отдельных дворян можно было встретить и в числе рядового состава), а солдатами служили их крепостные, которых призывали определенное количество с каждой сотни человек в каждой деревне и которые обычно служили до самой смерти (в бою или от болезни). Необходимое вооружение и снаряжение производились на государственных заводах, которые начали появляться примерно в середине XVII в. и получили широкое распространение во время царствования Петра. Заводы, управляемые заграничными экспертами и использовавшие труд мобилизованных крепостных, в XVIII в. обеспечивали армию снаряжением почти такого же качества, как и у западных соперников России.

За несколько лет до своей смерти Петр предпринял последний шаг в направлении абсолютизации правительства, взяв в свои руки контроль над церковью. Вечно находясь в поиске дополнительного источника дохода, царь не назначил преемника патриарху Адриану, когда тот умер в октябре 1700 г. Был избран «местоблюститель» , некто Яворский, но действительная власть сосредоточилась в руках новообразованного Монастырского приказа, глава которого Иван Мусин-Пушкин был не представителем духовенства, а светским дворянином. Хотя эти меры позволили Петру выкачать значительную часть церковных богатств за двадцатилетний переходный период, ему все еще предстояло закрепить реформы на постоянной основе. Эта задача была поставлена перед Феофаном Прокоповичем, в прошлом архиепископом псковским, исключительно образованным человеком, который в 1718 г. сменил Мусина-Пушкина в качестве главного помощника государя по церковным делам и с тех пор стал верным сподвижником Петра.

В 1721 г. Феофан опубликовал «Духовный регламент» — документ, на котором следующие два века основывалась деятельность Русской Православной Церкви[676]. Ситуация, при которой «простодушные» люди считали патриарха равным царю, стала нетерпима и ее необходимо было исправить. Для этого было отменено само патриаршество: ходили даже слухи, что сделано это было лично Петром с. помощью стального кинжала в руках — государь, достигавший ростом более двух метров, представлял собой внушительную угрозу. На место патриарха пришел коллегиальный орган — Святейший правительствующий Синод, получивший статус наравне с Сенатом. Хотя сам Синод состоял из представителей духовенства, фактическая власть отныне была в руках светского чиновника, носившего титул *обер-прокурора;* в этом случае, как и в других, перенос заграничных

терминов на почву развивающейся русской бюрократии приводил к весьма любопытным результатам. Чтобы подчеркнуть их статус правительственных чиновников, членам Синода выплачивали жалованье, хотя оно и составляло лишь небольшую часть их дохода, как это было и в случае других правительственных чиновников такого уровня. Представители духовенства более низкого сана были лишены привилегии, дающей право не платить налоги. В церковный обиход были введены многочисленные новые молитвы для прославления российских побед, а также особые празднества, напоминающие о важных событиях из жизни царя. В действительности связь между империей и официальной религией была настолько тесной, что вплоть до второй половины XIX в. отречение от государственной религии считалось уголовным преступлением.

Когда в 1725 г. Петр умер, страна представляла собой политическое образование, которое за неимением подходящего термина молено было назвать лишь самодержавной (автократической) империей. В отличие от современных ей государств, в России не было гражданского общества. Как заметил губернатор Петербурга в 1718 г., в России того времени даже не было термина, соот-ветствавшего французскому «собранию» (ассамблее). Объяснить значение фразы «безнадзорное сборище» жителям столицы окапалось непростой задачей, и, действительно, ожидалось, что собрания подобного рода могли иметь место лишь изредка. В обращении находилось так мало книг, что Петр лично мог подвергать цензуре каждую выпускаемую в печать книгу, не было и печатных станков, за исключением трех, которыми владело правительство[677].

Но это и не имело значения, так как больше 90% населения состояло из забитых и неграмотных крепостных крестьян. Они были столь далеки от того, чтобы сформировать «общество», что когда кого-нибудь из них убивали, его смерть часто рассматривалась как гражданское дело, разрешаемое не преданием убийцы суду, а путем возмещения убытков владельцу убитого. За исключением крошечного класса купцов, которые сами были организованы в гильдии, выполнявшие как административные, так и фискальные функции[678], тот, кто не был крепостным, был *ipso facto*[679] светским или церковным правительственным чиновником. Позднее Петр III даже попытался принудить чиновников носить униформу, но эта инициатива встретила сопротивление и от нее пришлось отказаться .

Как мы уже говорили, зарождение института государства в других странах во многом было обязано внутренней сплоченности и дисциплинированности внутри возникающих

гражданских служб. Первые организационные схемы правительственного аппарата, составленные лично Петром на основе шведского образца, были учреждены в 1718—1719 гг. К концу XVIII в. российская администрация, как и ее аналоги в других государствах, начала разрабатывать четко установленные процедуры, регламентирующие поступление на службу, выплату жалованья, продвижение по службе и тому подобные вопросы[680]. Однако российская администрация действовала за закрытыми дверями. Вопросы, которые в других странах довольно свободно обсуждались, здесь считались государственной тайной — традиция, прошедшая через всю царскую эпоху, сохранившаяся в Советском Союзе и только сейчас начинающая отмирать. Это, а также традиция произвола, исходящего от самого императора (уже в 1850 г. старое негласное правило, дающее право чиновникам увольнять своих подчиненных без объяснения причин, было вновь подтверждено), помешали зародиться важнейшему элементу любого современного государства — бюрократическому *esprit de* corps[681]. Там, где он все же возникал, он был направлен не столько на служение несуществующему государству, сколько на поддержание бюрократической корпорации как своего рода воровского сообщества, обирающего людей, по возможности с ведома царя, но если надо — то и за его спиной. Русским царям, начиная уже с Петра I, иногда было приятно представлять себя как (естественно, назначенных Богом) попечителей народа, за физическое и духовное благосостояние которого они несли ответственность. Однако вступление на престол каждого нового царя обычно служило поводом лишний раз подтвердить «автократическую» природу режима; чтобы развеять все сомнения, Павел I в 1799 г. даже выпустил специальный закон, который поставил императорскую семью вне рамок и превыше всякого гражданского или публичного закона. Для таких императоров последовать примеру Фридриха II и взять на себя роль слуги обезличенного государства было бы абсурдно с точки зрения логики, даже если такая мысль и пришла бы кому-нибудь в голову.

Относительная отсталость России в этот период не помешала ей заявить о себе как о важном участнике системы международных отношений, несмотря на то что практически все остальные считали ее варварской страной. Царь, имея современную бюрократию, современную армию и современное вооружение, более чем превосходил своих противников на юге и востоке, т.е. турецкую и персидскую империи и различные татарские ханства. Эти империи потеряли огромные территории и продолжали их терять вплоть до конца XIX в., а ханства были

сведены до статуса третьеразрядного противника, и от русской мощи их защищали в основном расстояние, физико-географические особенности местности и тот простой факт, что у них не было ничего, что царь и его дворянство, постепенно перенимающие западный образ жизни, сочли бы стоящим войны. На Западе русское государство также дало почувствовать свою силу. Победа, которую Петр одержал над шведским королем Карлом XII, вряд ли нуждается в напоминании. В следующее десятилетие русские провели успешную кампанию против поляков в Белоруссии; когда в 1756 г. разразилась Семилетняя война, русские вооруженные силы впервые сразились с государством Центральной Европы, т.е. с Пруссией. На протяжении 70-х и 80-х годов XVIII в. русская мощь в Европе продолжала расти, в основном за счет Польши.

Эта тенденция достигла кульминации после 1796 г. Захватив львиную долю при третьем и окончательном разделе Польши, Россия направила свои войска для присоединения к различным коалициям, обращенным против революционной Франции; вскоре они уже вели боевые действия далеко от дома, в Швейцарии и на Адриатике. Роль России еще больше возросла после 1806 г., когда победы Наполеона над Австрией и Пруссией оставили царя Александра I в качестве единственного оппонента французскому императору, не считая Великобритании. Тильзитский мир, подписанныйв 1807 г., отражавший французский триумф, в частности, в битве при Фридланде, едва не привел к вытеснению России пи Польши. Однако Тильзитский мир оказался недолговечным: через пять лет после его заключения Россия подверглась масштабному вторжению французов. Подробности этой кампании для нас здесь несущественны, однако ее значимость в подрыве сил ее наполеоновской *Grand armee*[682] огромна: из шестисоттысячной армии обратно вернулось меньше трети. Еще через два года русская армия, сыграв ключевую роль в победе в битве при Лейпциге, вошла в Париж. На Венском конгрессе Александр играл роль *primus inter* pares[683]. Он и другие правители в перерывах между танцами продолжали решать судьбу Европы.

В то время петровская политическая (если здесь уместно это слово) система в основе своей все еще оставалась нетронутой. Безусловно, некоторые изменения в XVIII в. происходили. Уже императрицы Анна (1730—1740) и Елизавета (1741 — 1761) подняли возрастную планку для поступления дворян на императорскую службу с 14 лет, как было изначально, до 25; в 1762 г. Петр III отменил обязательную службу. В 1782—1785 гг. Екатерина II положила конец условному владению поместьями,

сделав их частной собственностью, включая право завещать их любому лицу по своему усмотрению, а не старшему по возрасту члену семьи мужеского пола, как было раньше. Поскольку многие землевладельцы предпочитали жить в Москве и Санкт-Петербурге, а не в своих имениях, начал появляться особый класс людей, которые, как бы ни была мала их доля в общей численности населения, не были ни крепостными, ни чиновниками, ни военнослужащими, ни духовными лицами: короче говоря, ядро гражданского общества. Среди этой элиты стали распространяться либеральные западные идеи, чему во многом способствовал тот факт, что Петр и его преемники обязывали некоторых своих подданных отправляться на учебу заграницу. После 1771 г. людям даже было дозволено публиковать и читать книги, которые не были выпущены непосредственно правительством, хотя и их тоже подвергали предварительной цензуре. И Екатерина II, и Александр I в начале своего царствования заигрывали с либерализмом[684], но оба вскоре поняли, что это опасно для действующего режима. Результатом этой игры «шаг вперед и два назад», в которую играло правительство, стало восстание декабристов в 1825 г., поднятое офицерами-аристократами, которые заразились французскими идеями. Восстание не получило широкой поддержки и было жестоко подавлено войсками, верными брату Александра I, великому князю Николаю Павловичу[685]. Вскоре после этого он взошел на трон как Николай I и утвердил царство кнута на время жизни следующего поколения.

С этого момента и до конца его царствования Россия, так сказать, застыла в ожидании. Пока Запад переживал глубочайший переворот, характеризуемый эвфемизмом «индустриализация», и свою очередь приведший к периодическим вспышкам революционного насилия в 1830 и 1848 — 1849 гг., социальные и экономические изменения в гигантской империи на востоке происходили со скоростью движения ледника. Ее правитель, Николай I, был почти таким же высоким, как и его славный предок, но на этом сходство заканчивалось. Хотя Россия оставалась, если судить по западным стандартам, недостаточно управляемой страной, тем не менее ее бюрократия продолжала свой рост[686]. То же самое относится к правилам, регулировавшим ее деятельность: и Своде законов 1832 г. они занимали ни много, ни мало 869 параграфов, многие из которых касались форм почтения, которое дворянам низших рангов надлежало оказывать вышестоящим. Впервые была проведена черта между проступками, направленными против личности царя и против государственных чиновников, — сомнительное

достижение, поскольку сам Николай отмечал разницу между немецким дворянством, служившим «государству», и русским, служившим «нам»[687]. В 1837 г. было создано Министерство государственных имуществ, так что чиновники двора больше не были министрами *ex officio*[688], а государственный доход больше не приравнивался к личным доходам императора. Таким образом, Россия дошла до уровня, которого, например, Англия достигла за 150—300 лет до этого.

Со временем эти реформы могли бы привести к появлению государства, отделенного от личности правителя. Однако Николай вовремя распознал угрозу. По отдельности представители аристократии были бессильны, но как армейские офицеры и административные чиновники они представляли опасность. Учредив новый орган личного правления, известный под вполне подходящим названием Личной Канцелярии Его Величества и не подчиненный никакому иному, кроме него самого, Николай устранил угрозу в зародыше. Внутренний контроль был усилен также путем создания аппарата политической полиции, о котором мы говорили в предыдущей главе и который был отдан в ведение одному из его aides-de-camp[689]. Эти меры позволили Николаю действовать в качестве жандарма Европы, направляя войска для подавления демократии и национализма — в тот период они обычно шли рука об руку — где бы они ни появлялись. Империя также продолжала приобретать новые территории, в основном за счет турок, которые в среднем терпели по одному поражению в течение жизни каждого поколения. Кампания 1829 г. привела русские войска к воротам Константинополя, и только сочетание чумы и протестов со стороны ряда европейских держав вынудило их отступить. Как показало Синопское сражение (1853), к середине века царский флот при желании был способен потопить оттоманский в любой момент.

За внушительным фасадом так называемой николаевской системы постройка, фундамент которой был столь основательно заложен Петром Великим, начала разрушаться. В Великобритании первые механические прядильные машины появились около 1760 г.; с 30-х годов XIX в. западный экономический и технический рост — сам по себе ставший возможным благодаря условиям, которые создало государство, — далеко превзошел то, что могла бы достичь даже самая мощная командная система. Существенно выросли объемы добычи железа и угля, а также используемой в хозяйстве энергии. Вместе с этим появились лучшие средства связи, лучший транспорт и, что самое важное, — тот вид непрерывного технологического прогресса, который двигался

вперед настолько быстро, насколько позволяли условия. Например, в Великобритании количество новых патентов, регистрируемых каждый год, увеличилось в 20 раз за период с 1650 по 1850 г.[690] Россия же, по большей части лишенная этих преимуществ, погрязла в своей отсталости больше, чем когда-либо: ее ВНП, который в 1830 г. составлял 24% от суммарного ВНП пяти лидирующих европейских держав, в 1860 г. составлял уже менее 20% от этой величины[691]. К 1850 г. Великобритания производила 2 млн т чугуна в год, Франция — 400 000 т, а Россия, с населением почти таким же, как у этих двух стран вместе взятых — всего лишь 227 000 т.[692] Плачевные результаты стали очевидны во время Крымской войны (1853—1856). В «войне, которая отказалась закипать», как о ней говорили, британские и французские войска действовали, находясь на конце протяженной морской линии коммуникаций; в лице лорда Рэглана они получили в качестве командующего одного из худших растяп за всю военную историю. И при всем том союзники смогли сдерживать и, в конце концов, разбить войско Святой Руси на ее собственной земле — подвиг, который увенчался штурмом Севастополя. Для царской империи это было зловещим предзнаменованием: дело было не только в том, что войска западных государств были лучше вооружены, чем воины Святой Руси, но и в том, что организация, транспорт и снабжение русской армии потерпели полный провал[693]. Россия встала перед выбором: либо проводить реформы, либо стать второй Турцией и быть поделенной между другими державами.

С приходом Александра II — кстати, первого за 130 лет русского государя, занявшего трон не в результате какого-либо переворота, — пришло время для перемен. Начиная с Екатерины Великой, многие русские правители задавались вопросом, совместима ли система, где подавляющее большинство населения является частной собственностью ничтожного меньшинства, с существованием современного государства и обдумывали возможность отмены крепостного права[694]. Сама Екатерина забрала в пользу казны не менее 20 000 деревень, находившихся во иладении церкви; ее преемники предпринимали робкие попытки сократить число людей, находящихся в частной собственности, либо отказываясь раздавать новые земли отдельным лицам, либо проводя законы, способствующие эмансипации[695]. И все же и конце концов она сама, ее сын и двое внуков — все спасовали перед возможностью неизбежной оппозиции со стороны дворян, и лишь после окончания Крымской войны жребий был брошен окончательно. С отделением судебной власти от исполнительной в 1861 — 1864 гг. был положен конец

автократическому произволу, по крайней мере в одном ключевом аспекте. Были созданы общий кодекс законов и система независимых судов, в которых судьи назначались пожизненно и чьи решения не мог опротестовать даже царь, — реформы, поднявшие Россию на уровень, которого, скажем, Пруссия достигла в период между 1760 г. и публикацией *Allgemeines Landesrecht*[696] в 1795 г. Важнее всего было то, что более 40 млн крепостных было освобождено от принадлежности на правах собственности как частным лицам, так и короне. Впервые они получили независимую правосубъектность, включая право иметь собственность.

Безусловно, существовал предел, далее которого Александр II был пойти не готов. Третье отделение, сменившее свое название на департамент полиции, хотя и подлежало судебному надзору в обычных делах, сохранило за собой право задерживать и ссылать лиц, которые считались опасными для режима, не объясняя публично причины и без возможности апелляции[697]. На низшем социальном уровне крестьяне все еще подчинялись общинному праву. Теоретически они были свободны жить там, где захотят, но на практике оставались привязанными к своим местным сообществам необходимостью выплачивать в казну стоимость земли, которую они получили, часто по непомерным ставкам. И все же с 1870 г. общественная мобильность достигла уровня, достаточного для того, чтобы некоторые люди смогли переселяться из деревни в город. Это, а также твердая основа, созданная для института частной собственности, помогли запустить промышленный рост: между 1848 и 1896 гг. количество промышленных рабочих выросло с 220 000 до 1 724 000 человек[698]. Была развернута колоссальная программа строительства железных дорог, финансируемая за счет казны, которая связала воедино разбросанные территории огромного континента и позволила эксплуатировать его ресурсы. За этим последовала начавшаяся в 90-хгодах XIX в. впечатляющая экспансия промышленности, в особенности тяжелой, которая в значительной степени финансировалась государством и служила государственным нуждам. Хотя подавляющее большинство населения продолжало жить на земле, где уровень дохода на душу населения был крайне низок, но тем не менее к 1913 г. эти реформы подняли экономику России на пятое место в мире после США, Германии, Великобритании и Франции. Они также позволили России восстановить позиции в качестве самой крупной, хотя и определенно не самой эффективной, военной державы в Европе.

В этих условиях, в конце концов, возникло и гражданское

общество, хотя и малочисленное (даже в 1900 г. менее 1% населения посещало среднюю школу); его жизнеспособность демонстрирует тот факт, что число политических и литературных периодических изданий, которых к концу правления Николая I насчитывалось 20, увеличилось в 7 раз за последующие 30 лет. Тем не менее в России успешное развитие промышленности и приобретение крупной отрасли по-прежнему определялись способностью убедить правительство оказать помощь в виде таможенных тарифов, субсидий и ссуд[699]. Поэтому *интеллигенция* (термин, который впервые стал популярным в 60-е годы XIX в.) по большей части состояла из образованных людей, которые не являлись собственниками: врачи, адвокаты, учителя, чиновники низшего уровня и студенты, — короче говоря, люди, которым было что приобретать, но нечего терять[700]. Некоторые представители интеллигенции — включая, что примечательно, горстку аристократов и аристократок — склонялись к анархическим идеям. Гораздо большее число были либералами, которые восхищались Западом и хотели подражать ему, в то время как другие были славянофилами, отвергавшими модернизацию и оглядывавшимися с ностальгией м прошлое, на старую добрую допетровскую Россию, где народ был предан власти, а правительство сочетало в себе православие и патернализм[701]. Независимо от исповедуемых идей, они очень рано начали вступать в конфронтацию с властями, требуя реформ и в то же время заявляя, что их образование и озабоченность социальными вопросами дают им право на участие в управлении страной. В действительности вопрос демократизации, которая с учреждением парламента и политических партий позволила бы этим людям дать выход своей энергии, постоянно рассматривался последними тремя царями. И все же в конечном итоге ни один из них не мог решиться на принятие конституции: по слухам, Александр II утверждал, что сделал бы это «в тот же день», не будь он уверен, что в результате «Россия распадется на кусочки»[702].

Интеллигенция, политические амбиции которой остались нереализованными, создавала различные оппозиционные кружки. Они были слишком малочисленны, чтобы чего-то добиться, поэтому они стали искать союза с «народом», как это делали всевозможные группы с названиями вроде «Народная воля», «Народный путь», «Возвращение к народу» и «Народная расправа» — все эти движения представляли собой небольшие группы интеллектуалов. Хотя их регулярно ликвидировала полиция, по ошибке принимая их радикальные разговоры за активную подрывную деятельность, они столь же регулярно появлялись

вновь. Каждая последующая группировка обычно была лучше организована и отличалась большей решительностью, чем предыдущая. От революционных разговоров они переходили к бомбам и убийствам: самыми знаменитыми их жертвами были царь Александр II (1881) и премьер-министр Столыпин (1911). К 90-м годам XIX в. появилось несколько группировок марксистского толка, самая радикальная из которых позднее переросла в большевистскую фракцию во главе с Лениным. Еще до 1914 г. пропаганда этих группировок способствовала радикализации масс, особенно в городах. Хотя профсоюзы были запрещены, тем не менее некоторые все же появлялись.

В 1904—1905 гг. слабость царской власти была продемонстрирована поражением России в войне с Японией, а также последовавшей за этим неудачной революцией[703]. Попытки в последнюю минуту расширить социальную базу режима с помощью демократизации вскоре прекратились. В конечном счете благодаря Первой мировой войне, которая привела к снижению и без того низкого жизненного уровня и превратила население в пушечное мясо, русский народ созрел для революции.

Коммунистическая политическая система, установившаяся после 1917 г., избавилась от последних остатков патриархальности — отныне отдельным людям уже не принадлежали даже их дома, не говоря уже о всей стране. Но в то же время она сделала *всех* слугами государства; не из необходимости или на время войны, как в западных странах с их либеральным мышлением, а на постоянной основе, причем это стало важной частью официальной идеологии. Вместо того, чтобы провести четкую грань между частным и публичным, которая везде была основой политической модернизации, первое было поглощено последним. Теоретически и в значительной степени также и на практике нельзя было совершить ни единого действия или допустить какую-либо мысль, которые не были бы одобрены государством.

В России решающим фактором, который одновременно сделал возможным построение успешного централизованного политического сообщества и не позволил стране превратиться в полноценное государство, была воинская повинность дворянства в сочетании с «приватизацией» остальной части общества, большая часть которого состояла из крепостных крестьян. Этого нельзя сказать о Польше, которая в период позднего Средневековья достигла состояния, при котором знать — *шляхта* — господствовала над королевской властью, а не наоборот[704]. Частично успех стал возможен просто благодаря численному

превосходству: шляхта, состоящая из 7% населения, была более многочисленна и влиятельна, чем где бы то ни было. Первый решающий шаг был сделан в 1374 г. в соответствии с Кошицким привилеем, также известным как польская Великая Хартия, который, однако, направил страну по пути, отличному от того, по которому пошла Великобритания. За трон боролись дочь короля Людовика и его жена, и знать поддержала первую претендентку. В обмен на это шляхта смогла настоять, чтобы ее представители облагались налогом не большим, чем два гроша в год, — сумма настолько ничтожная, что вскоре ее потеряло смысл собирать — и чтобы другие налоги не назначались без ее согласия. Помимо того, суд и чеканка монет оставались под ее контролем, а главное, бывшая до этого наследственной монархия была сделана выборной, так что будущие кандидаты могли занять свою должность только с согласия знати и приняв условия, которые на них налагались.

Благодаря этим изменениям политическая власть перешла и руки высшей знати. Ее главным органом был Тайный совет, в 1493 г. он был переделан в Сенат, состоящий из 100 членов. Сенат в свою очередь стал верхней палатой парламента — Сейма, п нижняя палата, насчитывающая 150 человек и также известная под названием Сейм, была занята низшей знатью. В 1505 г. проведение законов стало исключительной привилегией Сейма; получив гарантии неприкосновенности личности *(habeas corpus")* и 1434 г., польская знать стала самой свободной в Европе, обладающей тем, что сами аристократы с гордостью называли *aurea libertas*[705] и что на самом деле приносило золотые плоды самым крупным из них. С тех пор и до распада страны в конце XIX в. было проведено около 200 собраний Сейма, и все они проводились в соответствии с актом *Nihil Novi*[706], принятымв 1505 г. Как и в России, знать в первую очередь применяла свою власть, чтобы закрепостить крестьян. В 1518 г. последним было запрещено обжаловать решение суда сеньора в королевском суде, и с тех пор польских землевладельцев невозможно было привлечь к ответственности даже за убийство своих крепостных.

В 1572 г. со смертью последнего представителя великой династии Ягеллонов Польша на три года оказалась в ситуации междуцарствия. Представившаяся возможность была использована для того, чтобы передать право избрания королей от Сената всему Сейму. Теоретически король избирался всей знатью. На практике это было привилегией менее 300 богатых семей, которые относились к мелкой знати как к своим слугам и простирали свое влияние на целые области, — например, 90 наиболее крупных землевладельцев владели в среднем около

1000 очагов каждый. Все члены Сейма считались равными, как только они входили в его двери. Официально в 1652 г., но в действительности гораздо раньше они приняли *liberum veto* — правило, дававшее каждому из них право накладывать вето не только на рассматриваемые законопроекты, но и на законы, уже принятые во время заседания[707]. Чтобы «защитить те свободы, которые наши предки отстояли в кровавых сражениях», как сказал один из аристократов[708], члены Сейма потребовали для себя права являться на собрания вооруженными, верхом на коне и в сопровождении слуг, которые иногда были так многочисленны, что из них приходилось формировать «полки». Все это мало способствовало поддержанию порядка во время собраний. Часто они вырождались в ссоры, когда делегаты кидались друг в друга книгами и кружками и прятались под скамьи, чтобы уклониться от летящих в них предметов. Как бы то ни было, все это делало из заседаний Сейма зрелище, которое стоило посмотреть.

Вторая половина XVI в. была периодом, когда, по словам одного известного историка, Европа была разделена[709]. В то время как на Западе увеличивалась численность населения, процветали города и появлялись первые крупные капиталистические предприятия, широкие просторы Восточной Европы — прежде всего Пруссии и Польши — превратились в житницу развитого Запада. Как и в Пруссии, но в еще большей степени в Польше, такое новое положение вещей играло на руку знати — особенно, как всегда, высшей знати — и против городов. В Средние века польские города были такими же развитыми, как и западные, с процветающими ремеслами и интеллектуальной жизнью. Теперь же они превратились во всего лишь *entrepots*[710] для торговли зерном, где иностранные корабли — сначала немецкие и голландские, позже — английские — загружали свои грузы. Таким образом была заложена основа последующего упадка[711].

В результате событий 1572 г. Польша превратилась в аристократическую республику (Речь Посполитая), и с тех пор ее трон последовательно занимали аристократы, как польские, так и иностранные. Среди последних были наследник французского трона, курфюрст Бранденбургский, несколько шведских принцев (из династии Ваза) и два курфюрста Саксонских, не говоря о ряде неуспешных кандидатов, включая даже Ивана Грозного. После избрания все они оставались вовлечены в политическую жизнь своей родины. Связанные коронационной клятвой, которая обязывала их служить своим польским подданным, ни один из них не сумел дать Польше династию, длящуюся более двух поколений. В то время как другие страны были заняты

преобразованием королевских институтов в государственные, в Польше не было ни королевской канцелярии, ни королевской бюрократии, ни попыток сделать налогообложение централизованным (две знатные семьи — Радзивиллы и Потоцкие — по количеству располагаемых ресурсов могли состязаться с короной), ни практически никакой королевской судебной власти, за исключением слабой системы апелляционных судов, которыми, конечно, могли воспользоваться лишь люди знатного происхождения и никто больше. Состояние армии было не лучше. Польская знать, как и аристократы в других странах, сопротивлялась военной модернизации, но более успешно. В отсутствие бюрократически управляемого военного министерства и большого числа укрепленных городов они не могли следовать за всеобщей тенденцией к увеличению численности пехоты, артиллерии и инженерных войск, действующих в виде подчиняющихся общей дисциплине формирований. Вместо этого они оставались верными кавалерии — польские уланы славились свой доблестью. При этом каждый представитель знати был сам себе командиром и приводил с собой своих плохо обученных, плохо экипированных, недисциплинированных и часто пьяных слуг[712].

Во второй половине XVII в. поляки, хотя и потеряли владения на Балтийском побережье, отошедшие великому курфюрсту прусскому Фридриху Вильгельму, все еще могли одерживать впечатляющие победы над Россией (которая была еще более отсталой) и Турцией (хотя в снятии осады с Вены в 1683 г. принимало участие больше австрийских, нежели польских войск). Однако войны того времени привели к сокращению населения с 10 млн до примерно 7 млн человек[713]. После смерти легендарного воина Яна Собесского в 1696 г. все начало разваливаться. Великая северная война 1700—1721 гг. закончилась превращением страны по сути дела в протекторат России. Победив шведов, Петр Великий забрал себе Ливонию. Были наложены формальные ограничения на величину польской армии, а назначение на должности прусских чиновников, которые могли бы все изменить, было официально запрещено. К 60-м годам XVIII в. хотя Польша все еще контролировала территорию большую, чем территория Франции, и имела население, сопоставимое по численности с британским, ее национальная армия насчитывала только 16 000 человек. Кроме того, отдельные аристократы имели собственные частные армии, например, армия клана Чарторыжских насчитывала 3000—4000 человек, Потоцких — 2000, а Радзивиллов (отца и сына) — вероятно около 15 000 человек. Если Пруссия, наименьшая из важнейших европейских

держав, обладала регулярной армией, насчитывавшей 150 000 обученных солдат, Польша *in toto*[714] едва могла собрать треть этой численности. Как подметил Фридрих II в столь свойственной ему колкой манере, Польша стала «артишоком, готовым к тому, чтобы быть съеденным листок за листком»[715]. Первый раздел Польши произошел в 1772 г., в результате чего страна потеряла почти 100 000 кв. миль (почти 30% ее территории) и 4 500 000 человек (35% населения) .

Подстегиваемые надвигающейся угрозой существованию страны, поляки при короле Станиславе II Понятовском (1764—1795), наконец, начали осуществлять реформы, вдохновляемые, помимо прочих, идеями Монтескье, Руссо и Вашингтона. Польша стала второй страной в мире после США, принявшей в 1791 г. писаную конституцию. Право *liberum veto* было отменено, хотя лишь на испытательный срок в 25 лет. Это позволило Понятовскому учредить первый современный кабинет, что вскоре привело к реформе налоговой системы и к созданию ядра современной армии, включая учреждение в 1765 и 1774 гг. соответственно первой офицерской школы и школы артиллерии[716]. К 1790 г. численность регулярных войск выросла до 65 000; также были заложены основы дипломатического корпуса и учреждено Министерство народного образования *(Komisja Edukacji Narodowei)*, которое впервые в мире получило в свое ведение два университета и 80 средних школ, или гимназий). Правда, попытки провести законы об освобождении крепостных ни к чему не привели; писатель Томаш Длуский даже предложил, чтобы каждого, кто предлагал такую меру, проверяли в суде на предмет помрачения рассудка. И все же даже в этой области, благодаря инициативе отдельных представителей знати, был достигнут достаточный прогресс, чтобы сделать Польшу привлекательной для полумиллиона эмигрантов из соседних стран.

Эти реформы встретили на своем пути множество препятствий — в 80-х годах XVIII в. просвещенный класс в Польше насчитывал не более 2000 человек — однако если бы им представилась возможность развиться, с их помощью Польша вполне могла бы превратиться в современное государство. В действительности они привели в ярость правителей соседних стран, которые боялись, что их собственные подданные заразятся этими идеями: как сказал прусский посол Эвальд фон Хертцберг, его страна не смогла бы защитить себя от «многочисленной и хорошо управляемой нации». В глазах Екатерины Великой то, что происходило в Варшаве, «превзошло все глупости парижского Национального собрания»[717]. Так, эти реформы, вместо того

чтобы достичь своей цели и спасти Польшу, косвенно привели ко второму и третьему разделам, которые произошли соответственно в 1793 и 1795 гг. Примечательно, что то сопротивление, которое встречали завоеватели, не координировалось правительством, руководители которого вместе с самой королевской семьей первыми сбежали из страны; сопротивление приняло форму народных восстаний, возглавляемых Тадеушем Костюшко и Хенриком Дабровски, которые оба были представителями знати и выпускниками варшавской офицерской школы. Будучи стертой с карты мира, Польше предстояло претерпеть различные изменения. Сначала Наполеон основал так называемое Великое герцогство Варшавское. Затем русские, оправившись после 1812 г., учредили «Царство Польское» как вид протектората. Однако после неудачного восстания 1863—1864 гг. само название Польши было стерто с карты, и на его месте появились «Варшавское генерал-губернаторство». Независимое польское государство возродилось только в 1918 г., когда две из оккупировавших ее держав (Германия и Австрия) были побеждены, а третья (Россия) пережила революцию, за которой последовала опустошительная гражданская война 1918 — 1920 гг. Как тогда говорили, Польша была похожа на канарейку, которая проглотила трех кошек.

Противоположные судьбы России и Польши показывают, каждая по-своему, как экспансию государства, так и последствия отказа от принятия его институтов. В России построение государственного аппарата происходило в основном подражательно и часто с помощью западных экспертов, как гражданских, так и военных, которых специально импортировали для этих целей. Это государство без государства — (сложно найти более подходящий термин) — позволило стране удержать позиции в мире и развиться внутренне, хотя ценой этого стала воинская повинность для знати и закрепощение большей части населения. Когда история, которую гнал вперед паровой двигатель, прошла эту точку, страна увидела, что соперники ее давно уже обогнали. Хотя некоторые изменения все же имели место, этого было слишком мало и сделано было слишком поздно. В конце концов разразилась революция, которая смела весь устаревший аппарат и физически уничтожила сотни тысяч его членов.

В Польше, напротив, аристократия отказалась следовать примеру Запада или Востока и вступать в союз с монархией; и даже сейчас государство по-польски звучит как *panstwo* — «то, что относится к знати». Пользуясь юридической свободой и обладая довольно значительными экономическими и военными

ресурсами, знать стремилась управлять посредством представительного органа от своего имени и в своих интересах. В результате монархия ослабла, бюрократические органы правительства оставались в зачаточном состоянии, гражданское общество ограничивалось лишь небольшим числом образованных горожан, а настоящее государство так и не появилось. За то, что не удалось достичь политической модернизации, пришлось заплатить потерей страны более, чем на 100 лет, — судьбой, которая в других случаях коснулась лишь неевропейских политических образований и даже не всех из них. Но, как звучит одна из строчек польского национального гимна:

Еще Польша не погибла.

Англосаксонский опыт

Распространение института государства на Восточную Европу проходило в странах, местное население которых хотя и не было достаточно прогрессивным для своего времени, но тем не менее было сопоставимо с западным в отношении уровня цивилизованности, а также расы и религии. Не так обстояло дело с продвижением британских колонистов в Северную Америку, Австралию, Новую Зеландию и (вслед за голландцами, которые обогнали их на два столетия) Южную Африку. Эти места были чрезвычайно редконаселенными. Только в Южной Африке местные жители едва вступили в железный век, в большинстве же других мест, особенно в Австралии и большей части Северной Америки, они все еще пользовались каменными орудиями труда и не перешли границу, отделявшую племена без правителей от вождеств. Опять-таки за исключением Южной Африки, о которой более подробно будет сказано ниже, сопротивление, которое встретил белый человек при завоевании этих территорий, было незначительным. В Северной Америке около 1000 г. аборигены были слишком отсталыми даже для того, чтобы сопротивляться высадке горстки викингов, которые прозвали их за это *Skraelinge,* или «слабаки»[718]. С самого начала существовала тенденция обращаться с ними как с иностранными нациями, дружелюбными или враждебными. По этим причинам не могло быть речи о влиянии их политических институтов в том виде, каковы бы они ни были, на возникшие со временем государства.

Самым ранним регионом, заселенным англосаксами, было

атлантическое побережье Северной Америки. Поселения были заложены в то время, когда «абсолютистское» правительство в родной стране завоевателей находилось на пике своего развития, а сама правительственная деятельность во многом являлось формой капиталистического предпринимательства со стороны монарха, посему колонии обычно принимали патримониальный характер. В ответ на выплату денег или ссуду короне (которой в эпоху конфликтов с Парламентом постоянно не хватало денег) отдельные лица, группы и компании получали огромные участки земли, по большей части не исследованные, как правило, не нанесенные на карту и зачастую не имевшие четких границ. Вместе с территориями предоставлялось право завозить людей, чтобы получать прибыль от использования предположительно богатых сельскохозяйственных земель: так появились Вирджиния, Мериленд, Массачусетс, Пенсильвания и Нью-Джерси. Последняя из этих колоний первоначально была дарована брату Карла II Якову, герцогу Йоркскому, который позже передал свои права двум другим людям; то же самое произошло с Северной и Южной Каролинами, а также Джорджией.

Личные мотивы поселенцев были различными[719]. Некоторые, подобно пуританам, поселившимся в Новой Англии, были движимы религиозным инакомыслием и желанием основать новый, свободный от греха Иерусалим; поэтому они годами препятствовали тому, чтобы другие следовали за ними. Другие пытались удовлетворить вечную потребность человека в дополнительной земле, пригодной для обработки, третьи же, возможно, были просто искателями приключений, которые надеялись разбогатеть честными или не очень путями. Какими бы ни были их мотивы, рано или поздно им суждено было вступить в конфликт либо друг с другом по религиозным вопросам (как было в Массачусетсе и других колониях), либо с концессионерами, которые, получив землю, пытались подчинить себе своих подопечных и эксплуатировать как можно больше и дольше. Некоторые недовольные, подобно основателям Род-Айленда, Нью-Гемпшира и Коннектикута, покинули Массачусетс. Другие в надежде разрешения своих обид апеллировали к короне. Так или иначе, конечным результатом обычно был переход к прямому управлению — другими словами, назначение королевского губернатора, который либо забирал бразды правления из рук концессионеров, либо учреждал правительство *ex* novo[720].

В сравнении с более ранними империями, британская империя в Америке возникла в то время, когда различие между частным владением и политическим правлением постепенно

приобретало характер твердо установленной нормы. Не могло даже возникнуть вопроса о том, что королевские губернаторы каким бы то ни было образом владели колониями; напротив, само учреждение этой должности подразумевало передачу этих колоний из рук частных собственников в руки политического режима, который предположительно мог лучше разрешать конфликты и обеспечи-пать верность жителей короне. В других местах установление различия между публичной и частной сферами, если и было успешным, занимало века или даже тысячелетия. В Северной Америке оно практически с самого начала было четко установлено. Здесь правители не были ни отцами, ни господами, ни хозяевами; и наоборот, те, кем управляли, не были ни рабами, ни крепостными, пи членами семьи; в худшем случае они могли быть слугами, которые на основе договора несколько лет работали на хозяина, но по окончании этого срока получали полную свободу.

Столь же решающим для будущего политического развития Америки был тот факт, что губернаторы не имели в своем распоряжении большого бюрократического аппарата. Отчасти это было продолжением традиций Англии, которая «недоуправлялась» по континентальным стандартам; но в основном это отражало желание сэкономить, чтобы сделать колонии выгодными для метрополии. Сыграли свою роль и размеры самой Северной Америки. Не имея соответствующей административной машины, волей-неволей губернаторы стремились воспользоваться помощью своих подданных, для чего учреждались представительные органы, набираемые из именитых американцев, в основном крупных землевладельцев и купцов. Первоначально члены такого рода советов назначались «сверху», позднее возникла тенденция делать их должности выборными. Постепенно советы сосредоточили в своих руках правительственные функции, включая законодательную власть, налогообложение и выплату жалованья чиновникам. Они также предоставляли населению определенные возможности для политической деятельности, что было необычно для того времени. Например, в колониях Чесапикского залива от 80 до 90% свободных взрослых мужчин имели право голоса.

К 1752 г., когда Джорджия избавилась от своих собственников (семьи Оглторпов) и получила своего первого королевского губернатора, все существовавшие в то время колонии уже освободились от частного владения. Английский парламент возложил ответственность за них на Министерство торговли, которое в основном стремилось использовать колонии для преумножения богатств Британской империи. С этой целью

оно накладывало различные ограничения, включая в разные периоды времени запрет на морскую торговлю между колониями, обязанность продавать свои продукты исключительно на лондонском рынке и требование к судам, направляющимся в колонии, останавливаться в Лондоне и платить таможенный сбор. Подкрепленные адмиралтейскими судами — в то время как сама Великобритания уже управлялась общим правом — так называемые навигационные акты не могли не вызвать возмущение колонистов, численность и богатство которых росли. С чуть более 50 000 человек в 1650 г. население выросло почти до 2 млн за 60-е годы XVIII в. Все больше и больше колонистов были не англичанами, а выходцами из Шотландии, Франции, Германии, Голландии и Швеции. Каждая из этих групп прибывала с собственными религиозными идеями и, в случае с ирландцами, с сильным предубеждением против всего английского.

До тех пор пока французы и испанцы представляли угрозу своим присутствием в Канаде и Флориде соответственно, союз между Британией и ее североамериканскими колониями сохранялся, несмотря на периодические трения. Но как только угроза была устранена в результате войны с французами и индейцами, эта напряженность привела к взрыву, тем более что колониальное народное ополчение сыграло важную роль в частности в завоевании Квебека и, следовательно, было убеждено в собственной военной доблести[721]. Нет нужды подробно рассматривать здесь различные споры о налогах, представительстве, праве Великобритании держать свою регулярную армию на территории колоний и т.д., которые в конце концов привели к революции. Достаточно будет сказать, что, возможно, впервые в истории (или по крайней мере со времен тираноубийств классической античности) восстанием руководили не будущие правители и их последователи, а избранные представители, действующие от лица зарождающегося абстрактного государства, или, точнее, государств, поскольку взаимоотношения между разными колониями и форма, которую должны были принять их совместные институты, еще никоим образом не были разработаны даже к тому времени, когда война окончилась и колонии получили независимость от Британской короны.

Отражая свое происхождение из различных колоний, раскинувшихся на обширной территории — если исключить отданную Испании Флориду, протяженность колоний с севера на юг равнялась расстоянию между Стокгольмом и Палермо, — США после принятия своей первой конституции представляли собой крайне рыхлое образование. Мало того, что в статье II в «Статьях

Конфедерации» (1781) четко говорилось о сохранении суверенитета штатов, этот документ даже предусматривал возможность одного штата объявить войну третьей стороне без обязательного обращения к остальным штатам. Понимаемые как форма не «только правительства, сколько союза суверенных политических образований, Статьи могли быть пересмотрены только с согласия девяти из тринадцати штатов, в то время как любое крупное изменение требовало согласия всех. Центральная власть была столь слабой, что правительства отдельных штатов вскоре стали выпускать собственную валюту (бумажные деньги, выпускавшиеся Континентальным конгрессом, за время войны обесценились на 99%) и использовать свои ресурсы для выплаты своим гражданам долгов, взятых Конгрессом. К середине 80-х годов XVTII в. штаты даже начали устанавливать таможенные границы между собой. Поговаривали о распаде конфедерации на три или четыре региональные группы, которые, возможно, когда-нибудь смогут выступить друг против друга в войне за новые земли, открывающиеся на западе.

Решающим фактором, который в конце концов вынудил правящие элиты разных штатов отложить в сторону свои разногласия, по-видимому, стал страх перед революцией, которую могут устроить ущемленные в правах слои населения — страх, который только усилился после восстания фермерской бедноты под руководством Шея в 1787 г. Изначально целью Филадельфийского Конгресса, который собрался в мае 1788 г., было просто внесение поправок в «Статьи Конфедерации», но вместо этого появился гак называемый Вирджинский план, в котором предусматривалось создание более централизованного политического сообщества, от которого, по словам Джона Маршалла, зависели «богатство и счастье» народа. Конституция, принятая в 1788 г., была основана прежде всего на идеях Локка и Монтескье. У первого было позаимствовано представление о правительстве, основанном на согласии, чьей главной функцией была защита индивида, включая, в частности, неприкосновенность его свободы и право иметь собственность и пользоваться ею без какого-либо вмешательства извне. Благодаря влиянию второго мыслителя США стали второй страной в истории (после Великобритании), принявшей принцип разделения властей, причем в форме, крайне похожей на ту, которую французский *philosophe* предложил в своей книге. Но хотя ми Монтескье, ни Локк не говорили о необходимости демократии — к примеру, Локк мыслил в терминах права голоса, предоставленного лишь владельцам собственности, — США пошли гораздо дальше, введя принцип «один человек (мужеского

пола, белый, платящий налоги) — один голос».

В условиях, когда вся политическая власть в конечном счете имела своим источником всеобщие выборы, новообразованное политическое сообщество, хотя, разумеется, и жило под Богом, гнило обязано Ему меньше, чем любое из его предшественников. Изначально разные штаты имели разные религиозные взгляды и политику: например, Массачусетс и Коннектикут близко подошли к тому, чтобы устроить гонения как на квакеров, так и на баптистов. Когда они, наконец, сошлись на том, чтобы объединиться, среди колоний возникла сильная тенденция к преодолению этих различий путем разделения правительства и религии. Возможно, важнее всего было то, что американская система правления была построена не поверх уже существующих политических оснований, но сознательно сконструирована почти *ex* nihilo[722]. Это придало ей некую искусственность, которую люди, посещавшие страну в то время, прекрасно осознавали[723] и которая с тех пор и до наших дней была отнюдь не самой последней ее отличительной особенностью. Если в США что-то идет не так, граждане объединяются в движения, «растущие от корней травы», и пытаются решить проблему. И если они не могут достичь совершенства и построить рай на земле, то, возможно, в большей степени, чем граждане любой другой страны, они должны винить в этом только самих себя.

Принятие Конституции, так же как первых десяти поправок к ней, введенных в 1791 г., не прекратило споров между защитниками прав штатов, с одной стороны, и сторонниками федерального правительства, с другой. Как обычно, в центре конфликта оказались деньги: иными словами, должен ли существовать единый национальный долг (и, следовательно, центральный банк, который бы им управлял), либо каждый штат должен сам отвечать за свой долг. Первую точку зрения поддерживали федералисты, которые численно преобладали на севере страны, им противостояли республиканцы и южные штаты. Во главе федералистов стоял Александр Гамильтон, нью-йоркский политик, бывший министром финансов при Джордже Вашингтоне, который заботился в основном о том, как бы «взять в долг подешевле» в случае еще одной войны с другими странами. В обмен на согласие перенести столицу республики из Филадельфии и заложить ее на северной границе Вирджинии, как того требовал Юг, Гамильтон смог провести через Конгресс Банковский акт и учредить Банк США. Таким образом, благодаря его усилиям появился единый национальный долг, хотя сейчас мало людей, глядя на электронный циферблат, отсчитывающий сумму государственного долга США, установленный в Нью-Йорке,

разделили бы его точку зрения, что это стало «благословением для нации»[724].

Избрание Джефферсона президентом в 1800 г. окончательно положило конец федералистской партии и открыло эру республиканского правительства. Тем не менее, в общем и целом, движение к большей централизации продолжалось. Отчасти это происходило из-за продолжающейся экспансии на запад страны; как не преминули упомянуть критики, такие как Аарон Барр, чем больше территории попадало под федеральное правление (даже временно, до тех пор пока не образовывались новые штаты), тем большей становилась власть правительства в Вашингтоне. Под влиянием Джона Маршалла, юриста из Вирджинии, который был назначен председателем Верховного суда в 1800 г. и находился на этом посту до 1835 г., некоторые решения Верховного Суда также служили усилению Союза за счет ущемления прав штатов. Так, в результате решения по делу «Мак-Каллоу против штата Мериленд» (1819) была установлена доктрина «подразумеваемых полномочий», позволяющая Конгрессу принимать решения по вопросам, хотя и не отнесенным Конституцией напрямую к его полномочиям, но являющимся «уместными и необходимыми» составляющими государственного управления — в данном случае речь шла об учреждении второго центрального банка после того, как был закрыт первый. В 1824 г. дело «Гиббонс против Огдена» дало Конгрессу полномочия регулировать торговлю между штатами, даже если его решения не соответствовали закону штата; наконец, после дела «Вестон против Чарльстона» (1829) штатам было запрещено облагать налогом федеральные облигации[725].

Этим нововведениям предшествовала война 1812 г., которая, закончившись чрезвычайно дорого обошедшейся (если вообще необходимой) победой над британцами в Новом Орлеане, принесла новое чувство мощи и единения, по крайней мере на время. Вскоре за этими решениями последовала транспортная революция, которая, начавшись в 20-е годы XIX в., начала связывать огромный и довольно неравномерно заселенный континент, в единое интегрированное политическое образование. При президенте Эндрю Джексоне (1829—1837) на развитие транспорта было потрачено больше федеральных денег, чем при всех предыдущих администрациях вместе взятых; но даже при этом расходы правительства на такие цели составляли лишь небольшую долю сумм, инвестируемых частными лицами, корпорациями и штатами. Так же, как и в Европе в XVII—XVIII вв., первые крупные проекты были связаны с прокладыванием водных путей сообщения. Не считая множества мелких проектов,

строительство канала Эри, Чесапикского канала и канала Огайо заслужило свою славу как истинный образец высокой организации и инженерного мастерства. С 30-х годов XIX в. появление пароходов стало революцией в судоходстве на Великих озерах. Превратив бассейн реки Миссисипи в становой хребет экономической системы страны, пароходы также дали возможность перевозить людей и товары с севера на юг и обратно с удобством и надежностью, о которых раньше даже не приходилось мечтать. Но если пароходы оказались выгодны, то каналы, которые запоздали примерно на полвека, в общем и целом не оправдали себя. Это произошло из-за другого важнейшего изобретения XIX в. — железных дорог.

Как заметил Адам Смит в «Богатстве народов», на протяжении всей истории стоимость перевозок водным транспортом составляла малую долю стоимости перевозки по земле, тем самым объясняя, почему самые ранние торговые и промышленные цивилизации всегда возникали у моря или на судоходных реках. Железные дороги стали первым техническим приспособлением, изменившим это соотношение; тем самым они позволили политическим сообществам, не опирающимся преимущественно на систему водных путей, вырасти такими же большими и внутренне связными, как и те, которые полагались в первую очередь на нее. При соответствующем управлении железные дороги позволяли крупным государствам мобилизовать свои ресурсы почти с такой же эффективностью, как и в случае небольших, а иногда и с большей, поскольку есть предел, ниже которого неэкономично ни осуществлять железнодорожные перевозки, ни прокладывать сами линии. Таким образом, развитие железных дорог давало преимущество тем государствам, которые имели большие территории — США, а через несколько десятилетий и России — за счет всех прочих[726]. Еще Наполеон во время своей ссылки на остров Святой Елены смог предсказать, что эти два государства превратятся в то, что во время «холодной войны» люди любили называть «сверхдержавами». По мнению некоторых современных историков[727], такое развитие не было бы возможным, если бы в свое время не появились и не получили распространение железные дороги.

На фоне медленного процесса централизации и быстрого и даже впечатляющего роста экономической и индустриальной мощи, вопрос рабства продолжал быть яблоком раздора между Севером и Югом. По мере того как рабовладение становилось скорее более, чем менее прибыльным[728], росла его роль в вопросе о соотношении полномочий федерального правительства и прав штатов, тем более что это было переплетено с другими

вопросами — например, северные штаты предпочитали высокие импортные тарифы, а южные, напротив, требовали установления низких. В конечном итоге противоречие между современным, политически управляемым государством, не являющимся собственностью правящих лиц, и ситуацией, при которой значительная часть населения считалась частной собственностью других людей, стало нетерпимым. Мы не будем описывать всю сложную последовательность событий, которые привели к Гражданской войне, тем более описывать весь ход конфликта. Достаточно будет сказать, что эта война была самым решающим моментом в американской истории. Неслучайно Геттисберг, где особое сооружение служит памятником «самой высокой точке восстания», остается самым посещаемым полем битвы в Америке. И здесь, и в Виксбурге на Миссисиппи, но, возможно, в наибольшей степени во время похода Шермана через Джорджию, явно продемонстрировавшего заплаченную за восстание цену, история вынесла вердикт: США не будут рыхлым объединением отдельных штатов, имеющих право отделиться по своему желанию. Вместо этого должен был быть создан Союз, единый и неделимый, управляемый совместно тремя ветвями власти, которые указаны в Конституции. Центральные органы всех трех ветвей должны были располагаться в одной или двух милях друг от друга в Вашингтоне, расположенном в округе Колумбия — удивительно маленькой области, из которой управлялась страна, вскоре протянувшаяся «от Калифорнии до нью-йоркского острова» и занявшая не менее 3680 тыс. кв. миль.

Индустриализация, символизировавшаяся прокладкой в 1869 г. первой трансконтинентальной железной дороги (к тому времени у Соединенных Штатов было около 40 тыс. миль железнодорожного полотна, что больше, чем во всем остальном мире), еще более ускорилась после Гражданской войны. Только за период с 1880 по 1900 гг. количество стали, производимой ежегодно на заводах страны, выросло с 1400 тыс. до более чем 11 млн т, а объемы всех производимых товаров в денежном выражении увеличился с 5,4 млрд до 13 млрд долл.[729] В 1929 г. объемы выпуска перерабатывающей промышленности США почти сравнялись с показателями всех остальных крупнейших держав вместе взятых. Хотя во время Великой депрессии экономика США потеряла завоеванные позиции, безусловно, она оставалась самой крупной в мире[730].

Однако задолго до этого США, превратившись в гиганта, почувствовали потребность помериться силами с другими, как это и положено гигантам. Уже война 1812 г. уничтожила всякую возможность другим государствам угрожать безопасности

Америки, превратив таким образом Канаду в заложника, положение которого зависело от хорошего поведения Великобритании в Новом Свете. Завоевание в 1819 г. Флориды, ранее принадлежавшей Испании, затем «Декларация Монро» (1823 г.) и отторжение Техаса и Юго-Запада от Мексики в 1845—1848 гг. превратили западное полушарие в сферу американского господства. После окончания Гражданской войны казнь императора Максимилиана в 1867 г. ознаменовала последний случай, когда какая-то другая держава смогла всерьез вмешаться в дела континента. В 1851 г. Гавайские острова, до того управляемые племенными вождями, основным оружием которых были метательные копья, были взяты под протекторат Америки. Это повлекло создание передовой базы за несколько тысяч миль от калифорнийского побережья и, как довольно скоро выяснила Япония, превратило США в силу на Тихом океане, с которой приходилось считаться.

Осознавая растущую мощь страны, в США в конце 80-х и на протяжении 90-х годов XIX в. начал развиваться жесткий национализм. Самыми важными органами этого движения были «Американец» *(American)* Уильяма Рэндольфа Хирста и «Мир» *(World)* Джозефа Пулицера, основными представителями — капитан Альфред Т. Мэхэн, Теодор Рузвельт, Элайху Рут, Герберт Кроули и их окружение. Рузвельт, в частности, представлял поколение, которое было слишком молодым, чтобы принимать участие в Гражданской войне, но навсегда очарованным рассказами старших об их героизме. В конце концов, эта война унесла столько жизней, сколько все другие военные конфликты в США вместе взятые. Другим фактором, который мог сказаться на появлении новых настроений, было «закрытие фронтира»[731], провозглашенное историком Фредериком Тернером Джексоном в 1893 г.[732] и, возможно, послужившее обращению энергии нации вовне. В отличие от многих своих коллег в других странах, представители американского империализма были не реакционерами, а самозванными «прогрессистами». Обычно они, по крайней мере на словах, провозглашали верность демократическим принципам, от которых, в конце концов, полностью зависели их возможности по приходу к власти и ее удержанию. Однако в отношении международных дел их доктрины мало отличались от аналогичных доктрин современных им европейских националистов, таких как Генрих фон Трейчке и Теодор фон Бернарди в Германии[733]. То, что эти люди делили расы на «сильные» и «слабые», вполне соответствовало духу эпохи. Государства, создаваемые этими расами, рассматривались как животные виды, ведущие друг с другом дарвиновскую борьбу

за выживание. И государства, и идеологи, утверждавшие, что говорят от лица государства, обычно были готовы вступить в войну, даже если они не прилагали усилий для того, чтобы ее разжечь, как это явно делал Теодор Рузвельт с его постоянными разговорами о «более суровых и мужественных добродетелях»[734].

Было бы явным перебором обвинять Соединенные Штаты в том, что они были агрессорами в испано-американской войне, не говоря уже о Первой и Второй мировых войнах и последующих конфликтах в Корее, Вьетнаме и на Персидском заливе. Начиная со зверств испанцев при попытке подавить кубинских повстанцев, потопления немцами «Лузитании», японской агрессии против Китая и заканчивая оккупацией Кувейта Ираком, участие США в войнах было подстегнуто действиями других. Однако они все вызвали чрезмерно, можно даже сказать непропорционально сильную ответную реакцию «нации, обиженной на весь белый свет», по словам величайшего американского антрополога Маргарет Мид. Не считая колониальных конфликтов, большинство государств в XX в. воевали против врага, который был отделен от них только линией на карте и который, соответственно, представлял непосредственную угрозу их интересам, территории и даже существованию. Иначе складывалась ситуация у США, которые, к счастью для себя, занимали положение огромного острова. Любая попытка вторжения через Атлантический или Тихий океан была и остается просто безумием. Даже в 1939—1945 гг., самой крупной войне в истории, самая серьезная вражеская угроза континенту состояла в нескольких воздушных шарах, которые запустили японцы в направлении калифорнийского побережья. За исключением мексиканского эпизода 1916 г., представлявшего собой скорее карательную операцию, а не войну, начиная с оккупации Филиппин и далее США посылали свои войска сражаться за тысячи миль от своей территории. Не удивительно, что американских родителей часто было очень сложно убедить в необходимости посылать своих сыновей — а позже и дочерей — на другие континенты, даже в другие полушария, чтобы воевать за дела, которые их не касались, и среди людей, о которых они ничего не знали.

Отсутствие серьезной внешней угрозы также помогает объяснить, почему создание вооруженных сил и центрального правительственного аппарата США потребовало столь длительного времени, несмотря на то что экономический потенциал для построения и того, и другого появился уже после 1865 г. Правда, с 90-х годов XIX в. началось наращивание военно-

морского флота. Под влиянием теорий Мэхэна о необходимости господства на море, а также интересов большого бизнеса[735], после 1919 г. он достиг паритета с британским флотом. Однако, не считая 1917— 1918 гг., наземная армия оставалась почти до смешного малень-кой[736]. В конце XIX в. она насчитывала лишь несколько десятков тысяч солдат. И даже в 1940 г. в ней все еще служило менее 300 тыс. человек (включая армейскую авиацию) и почти не было подготовленных резервов. В соответствии с традицией, согласно которой их основной задачей была борьба с американскими индейцами, войска были разбросаны небольшими группами по всему огромному континенту. В результате, едва ли были возможны какие бы то ни было широкомасштабные учения, и готовность вести современную войну была даже ниже, чем свидетельствуют приведенные количественные данные.

Не преуспели США, в отличие от других стран, и в построении четвертого органа правительства, а именно централизованной бюрократии. Изначально правительство состояло лишь из трех департаментов — иностранных дел, финансов и военного. Но даже после того как в 1800 г. были образованы такие дополнительные управления, как таможня, служба маяков, федеральная прокуратура США, аппарат судебных чиновников, почтовая служба, управление по сбору налогов, управление по делам индейцев, управление по кредитам, кадастровая служба, управление по земельному налогу и земельное управление, в федеральных органах работало всего лишь 3 тыс. человек. На протяжении XIX в. почтовая служба оставалась крупнейшим федеральным агентством. В 1913 г. в правительстве работало только 230 тыс. служащих, в сравнении предвоенными 700 тыс. человек в Австро-Венгрии, 700 тыс. в Италиии 1,5 млн в Германии, население которых было значительно меньше, не говоря уже о площади территории этих стран[737]. Хотя Новый курс несколько изменил картину, его достижения были довольно ограниченными; на самом деле старт эпохе Большого правительства был дан во время Второй мировой войны и последовавшей за ней «холодной войны». В шестой главе этой книги подробнее будут рассмотрены подъем и упадок этого правительства. Пока что достаточно будет сказать, что США, живя в мире государств и часто вступая с ними в соревнование, вели себя так же, как и другие государства. Внешняя и внутренняя мощь росли *pari* passu[738]. Во время правления Трумэна и Эйзенхауэра беспрецедентное процветание дало средства для столь же беспрецедентного наращивания военной мощи как внутри страны (где результаты этого стали известны под названием «военно-промышленный комплекс»), так и за рубежом

(где были размещены сотни тысяч американских солдат). Верхняя точка этого процесса была достигнута во время «имперского президентства» Джонсона и Никсона — в годы, когда США, унизив СССР во премя Карибского кризиса, казалось, восседали на земном шаре как колосс — пока все внезапно не изменилось, и не началось отступление военной машины и поддерживающего ее промышленного комплекса.

Достижение независимости Америкой в 1783 г. послужило британскому правительству одновременно и примером, и предупреждением: примером того, чего может достичь хорошо управляемое демократическое государство, основанное на практически девственной территории (население Северной Америки, когда ее открыли европейцы, составляло 1,5 млн человек); предупреждением, поскольку оно доказало, что для того, чтобы сохранить за гобой колонии, нужно даровать колонистам «права англичан» и предоставить им возможность вести собственные дела, если они захотят и смогут[739]. Предупреждение было воспринято, и создание доминионов обернулось оглушительным успехом. Рано или поздно оно позволило каждой колонии получить статус полностью независимого государства с собственными правительством, законами и судами, чьи решения не пересматривались в материнской стране; за этим последовало создание вооруженных сил и дипломатических служб. Зрелость получила символическое выражение в 1919 — 1920 гг., когда доминионы, международные дела которых до того находились в ведении Уайтхолла, настояли на том, что будут сами подписывать мирные договоры, и получили места в Лиге наций; тогда же Канада отправила своих первых независимых дипломатических представителей в Вашингтон вместо того, чтобы, как раньше, работать через британское посольство. Только в Южной Африке столкновение британского империализма с голландскими поселенцами привело к применению силы, но даже там вскоре был заключен мир на очень выгодных условиях, после которого колонии было даровано полное самоуправление. В целом, различные конституционные договоренности, увенчавшиеся Имперским статутом 1931 г., сохранили лояльность колоний к метрополии в период с 1914 по 1945 г., т.е. как раз тогда, когда она больше всего в этом нуждалась. Это был триумф дипломатии, по-видимому непревзойденный ни до, ни после.

Безусловно доминионы на разных континентах развивались совершенно по-разному. Самым большим и важным была Канада. Отвоеванная у Франции в то время, когда ее белое население составляло только 7 тыс. человек, в ней впервые появились

собственные институты; созданные по модели британских, они тем не менее сильно отличались от институтов, расположенных по соседству, а с 1816 г. по большей части дружественных Соединенных Штатов Америки. Первая попытка создать ответственное правительство путем принятия Квебекского акта от 1774 г., исключившего французское большинство, оказалась нежизнеспособной. Это привело к принятию Конституционного акта от 1791 г., давшего Квебеку правительство во главе с губернатором, исполнительный совет, законодательный совет и ассамблею, избираемую на основе более широкого избирательного права, чем в самой Британии. В результате, когда на следующий год были проведены первые выборы, новая ассамблея уже состояла в основном из французов. Недовольные британским правлением, но в целом не склонные использовать насильственные методы борьбы французы сразу стали чинить препятствия англоязычному населению и с тех пор постоянно продолжали ту же политику. Поэтому многие новые иммигранты, сталкивавшиеся с такими трудностями, предпочитали селиться дальше к западу, где они создавали собственные институты под британским покровительством.

В 1841 г. Западная Канада (Верхняя Канада) была объединена с Восточной Канадой (Нижняя Канада) под единым управлением. С того момента и до 1873 г. к ней присоединилась Британская Колумбия, а также менее крупные прибрежные английские колонии. Единственным исключением был Ньюфаундленд, который оставался британской колонией до 1914 г. К тому времени Великобритания, превратившись в мастерскую мира и перейдя к политике свободной торговли, больше не испытывала потребности силой удерживать «несчастные колонии», как в 1852 г. выразился Дизраэли, отражая тем самым широко распространенное мнение. Но это безразличие со стороны Великобритании парадоксальным образом побуждало канадцев самих искать более тесного союза с ней. Они опасались, что если не создадут единый фронт, то могущественный и чрезвычайно динамично развивающийся южный сосед поглотит западные территории и, возможно, даже некоторые из провинций. Да и сами США в годы, непосредственно последовавшие за Гражданской войной, не делали секрета из своего желания расширить свои территории, если представится возможность. Оба фактора сыграли важную роль в создании доминиона Канада. Произошло это в октябре 1864 г. Поскольку все имевшие отношение к делу вопросы неофициально обсуждались не один год, то конгресс, сформированный из представителей всех провинций, смог всего за две недели принять не менее 72

резолюций. Работа была закончена в 1867 г., когда вступил в силу Акт о британской Северной Америке.

В отличие от США, в новом политическом сообществе была принята парламентская система правления, согласно которой премьер-министр не избирался напрямую, а определялся парламентским большинством. Как и в США, в Канаде тоже была писаная конституция, а за ее толкование отвечал Верховный суд. Как и США, Канада тоже была федерацией, хотя канадцы, с беспокойством наблюдающие за Гражданской войной и намеренные предотвратить повторение чего-либо подобного в своей стране, наделили правительство в Оттаве гораздо большей властью, в частности, в сфере правосудия и банковского дела. С другой стороны, огромная малонаселенная территория делала отношения между канадским правительством и его народом похожими скорее на американскую модель, чем на те отношения, которые существовали в густо населенной и давно объединенной Британии. Даже разразившаяся 30-е годы XX в. ужасная экономическая депрессия не убедила Квебек и Онтарио поддержать провинции, расположенные в прериях, где ситуация была самой тяжелой. Поэтому первая общенациональная система социального страхования появилась только в 1940 г. Однако поздний старт не помешал достичь хороших результатов. Канадское правительство, использовав в качестве трамплина грандиозные мобилизационные усилия во время Второй мировой войны, после 1945 г. вывело страну вперед, построив социальное государство, аналогичное европейским и значительно превосходящее «государство благосостояния», созданное в США.

Таким образом было сформировано канадское государство и в некотором смысле его развитие все еще определяется, разнонаправленным влиянием британской и американской моделей, с одной стороны, и трениями между франко- и англоязычными общинами внутри страны — с другой. Первый фактор, в отличие от второго, применим и к Австралии. После полутора веков исследования побережья в 1788 г. на континент прибыли первые 980 белых поселенцев, 730 из которых были каторжниками, а остальные — королевскими морскими пехотинцами для присмотра за ними. По мере того как прибывали следующие партии иммигрантов, состоявшие как из осужденных, так и из свободных людей, они расселились далеко друг от друга по всей территории; поскольку их мало что связывало друг с другом, каждое поселение впоследствии стало ядром отдельной колонии. Хотя система правления в каждой колонии никогда не основывалась на собственности — губернаторами становились офицеры и начальники охраны, а не

владельцы земель — изначально она была очень авторитарной и действовала по тюремному образцу. Поворотный момент настал в 1810—1820 гг., когда колонисты, занявшись разведением овец, создали себе экономическую базу. Первые исполнительный и законодательный советы, оба формируемые на основе назначения, были учреждены соответственно в 1824и 1827 гг. КакивКанаде, потребность в получении доходов от колонии вскоре привела к демократизации. В 1842 г. колония Новый Южный Уэльс первой на континенте провела выборы; 50 лет спустя Южная Австралия прославилась тем, что стала первой среди стран, предоставивших избирательные права женщинам. С другой стороны, процесс формирования единого государства развивался не так быстро, как в Канаде, учитывая, что поселения были очень разбросанными и располагались главным образом на побережье континента, центральная же территория была и остается в основном пустыней.

Со временем импульсом к объединению и образованию государства послужила боязнь немецкого империализма, с одной стороны, и азиатской, особенно китайской, иммиграции, с другой. Первая заставила правительство Квинсленда усилить свое давление на Глад стона и овладеть Новой Гвинеей. А азиатская иммиграция вскоре привела к настоящей азиафобии, которая в некоторой степени сохранилась до наших дней. Первый континентальный конгресс, целью которого было обсуждение общих мер против обеих угроз, собрался в октябре 1883 г., открыв путь первым учредительным собраниям, которые проводились в 18 91 — 1898 гг. К 1900 г. они разработали конституцию того, что по канадскому примеру вскоре стало доминионом, чьи продолжающиеся взаимоотношения с Великобританией основывались полностью на добровольном объединении. Как и в Великобритании, п Австралии была учреждена должность премьер-министра, который зависит от сохранения большинства в парламенте. Как и в США, нижняя палата этого парламента была основана на всеобщем равном избирательном праве, а верхняя имела равное количество представителей от каждого штата. Как в США и Канаде, в Австралии была принята писаная конституция, за толкование которой отвечает Верховный суд.

После того как были учреждены все эти институты, настоящим поворотным моментом в процессе образования единого государства Австралия стала Первая мировая война. Были моменты, когда в армии служило почти 10% населения. После того как австралийские части отличились при Галлиполи — годовщина этой высадки, имевшей место 25 апреля 1915 г., стала национальным праздником, таким, как 4 июля в США — и в

других битвах, родилось новое чувство единства. На националистической волне движение к централизации продолжилось, и в 1927 г. Канберра была официально провозглашена национальной столицей. Затем изменение соотношения сил в мире в результате Второй мировой войны привело к переориентации на Америку вместо Великобритании. В 60-х годах Австралия была одной из немногих наций и единственной среди «белых» (не считая Новой Зеландии), пославшей свои войска во Вьетнам. В отличие от Канады, которая в 1982 г. получила независимость и основала новое государство с символикой кленового листа, Австралия, имея полный суверенитет, не оборвала конституционную связь с Британией, хотя может сделать это в будущем. Будучи более преуспевающей, чем большинство колоний, она не спешила распространять правительственную власть на социальный сектор. В 1908 г. были приняты находящиеся в управлении государства схемы страхования по старости и потере трудоспособности, и на этом все закончилось. «Государство всеобщего благосостояния», или социальное государство, появилось лишь в конце 50-х — начале 60-х годов, и даже тогда правление лейбористской партии, которая провела реформы, продлилось лишь несколько лет.

Модель доминиона была столь же успешной в Новой Зеландии, которая до сегодняшнего дня остается более английской по характеру, чем все остальные. Подпав под власть Британской Короны в 1839 г., в 1852 г. она получила ответственное правительство. После завершения маорийских войн страна мирно развивалась, начиная с 1870 г., и зашла дальше Австралии в построении государства всеобщего благосостояния, которое сейчас (с начала 1990-х годов) находится на стадии демонтажа. Однако Южной Африке было далеко до полного мира, и ситуация там была гораздо сложнее. Европейское поселение на территории нынешней Капской провинции изначально было торговой точкой, где останавливались корабли, идущие в Азию, чтобы пополнить запасы провизии и обновить команду. Долгое время оно принадлежало голландской Ост-индской компании, но уже в XVIII в. некоторые буры (фермеры) стали выходить из-под ее власти. На запряженных буйволами фургонах, представлявших собой передвижные дома, они устремились вглубь континента. Там они создали собственный язык — на основе разговорного голландского, перемежаемого французскими словами, появившимися, благодаря гугенотам, — и зажили кочевой жизнью, во многих отношениях подобной жизни аборигенов, которых они покоряли и эксплуатировали[740]. Другие африканеры, как они сами себя называли, смогли

накопить денег, стать независимыми от компании свободными землевладельцами в самой Капской провинции. В 1814 г. вся эта территория, на которой в то время жило около 22 тыс. белых жителей и неизвестное число прочих, перешла из голландского в британское управление. Постоянный приток белых эмигрантов, в основном британских, а не голландских, продолжился, в то время как население увеличилось также благодаря ввозу рабочей силы из Азии. Как и в других британских колониях, необходимость получения доходов привела к созданию представительных институтов, начинаяс 1853 г.; 19 лет спустя в Капской провинции появилось полностью ответственное правительство. Изначально оно основывалось на избирательном праве без расовой дискриминации, но на базе имущественного ценза — идея состояла в том, чтобы более состоятельное черное население поддержало белое меньшинство против всех остальных.

Однако введение британского права, и прежде всего отмена рабства, вызвало конфликты с голландскими поселенцами. На протяжении 20-х годов XIX в. голландцы начали эмигрировать на север и восток. Это движение получило законный статус в 30-е годы XIX в. и стало известно как Великое переселение, в котором участвовало порядка 15 тыс. человек. Сталкиваясь с местным населением (прежде всего с племенами зулу, ндбеле и ксоза), которое в то время двигалось в противоположном направлении и организовывало сильные вождества, буры одержали над ними несколько побед в войнах 1850—1870 гг. В результате были основаны две небольшие республики — Оранжевая провинция и Трансвааль, конституции которых, по иронии, были скроены по образцу Конституции США. В обеих республиках право участия в политике имели только белые. Остальные 80% населения были исключены из политической жизни, а поскольку у них отобрали земли, на которых они обычно пасли скот, они выживали за счет самовольно захваченных клочков земли, там, где это удавалось, и работы на буров. Первая попытка британцев подчинить эти территории закончилась их поражением при холме Маджуба в 1881 г. Но сразу после этого около Йоханнесбурга были найдены огромные залежи золота. Это тут же привело к притоку эмигрантов со всего мира, рейду Джеймсона и в конце концов к Англо-бурской войне 1899—1902 гг.

Хотя 200 тыс. британских солдат в конечном итоге смогли одолеть буров, уже в 1907 г. последним было возвращено самоуправление. В 1910 г. образовался Южно-Африканский Союз, состоящий из четырех бывших провинций (Оранжевая провинция, Трансвааль, Капская провинция и Наталь), в которых проживало около 1,25 млн белых и еще примерно в 4 раза больше всех

прочих. Первым премьер-министром стал Луис Бота, который менее чем за десять лет до этого был главнокомандующим армии буров. С тех пор и особенно после того, как страна освободилась от статуса доминиона в 1948 г., в политической жизни Южной Африки доминировали взаимоотношения между белым меньшинством (в свою очередь разделенным на англоязычную и бурскую общины) и огромным черным большинством[741]. Последнее постоянно увеличивалось по мере того, как в страну приезжали все новые люди, стремившиеся найти работу в крупнейшей экономике континента. Чем больше оно росло, тем более суровые меры считались необходимыми, чтобы удерживать его в должных рамках, т.е. в качестве дешевой рабочей силы, лишенной политических и почти всех личных прав. Хотя ЮАР с гордостью именовала себя частью Запада, в 50—60-е годы XX в. она превратилась в худшую разновидность полицейского государства, в котором действовали законы, запрещавшие все — от свободного выбора места проживания и смешанных спортивных команд до межрасовых браков[742]. Хотя это законодательство изначально было предназначено для дискриминации черного населения, оно оказалось почти столь же репрессивным по отношению к белому.

Подводя итоги, следует отметить, что современное государство в Америке появилось благодаря американской революции, которая сделала независимыми первоначально существовавшие 13 колоний. На протяжении двух столетий это государство набирало мощь и становилось все более централизованным по мере того, как все новые и новые решения давали возможность федеральному правительству брать на себя дополнительные функции и расширять свою власть и за счет штатов, и, как сказали бы некоторые, за счет американского народа. В других странах развитие пошло по другому пути. Опыт научил британцев, что бесполезно отрицать за жителями своих белых колоний те права, которыми они сами обладают и, более того, которыми они гордятся. В общем и целом метрополия была готова даровать жителям колоний представительное правление практически по первому требованию. В обмен на это статус доминиона, который получали эти колонии, гарантировал, что их внешняя политика оставалась в руках Великобритании, а их материальные и людские ресурсы были по-прежнему доступны для метрополии в критический период тотальной войны — это относилось даже к Южной Африке, несмотря на недавнее поражение буров. Хотя, безусловно, не обошлось без проблем — в частности, Канада так никогда и не избавилась от враждебности между англичанами и французами и, возможно, все еще может

распасться на два или большее число государств. И тем не менее все эти страны были чрезвычайно успешными в создании стабильного правительства, процветающей экономики и сильного гражданского общества с хорошо развитыми институтами. Единственным исключением была Южная Африка, где процветание, да и само государство, принадлежало только белому меньшинству. Присутствие огромного экономически отсталого населения, состоящего из многочисленных противоборствующих племен, заставляет усомниться, сможет ли вообще это государство выжить; но данный вопрос, строго говоря, относится к теме последней главы этой книги.

Латиноамериканский эксперимент

Если англосаксонская экспансия в период с 1600 по 1850 г. по большей части осуществлялась на почти пустых континентах, то этого никак нельзя сказать о колонизации Центральной и Южной Америки испанцами. Оценки численности местного населения накануне прибытия испанцев сильно расходятся, однако нет сомнений в том, что даже после того, как войны, болезни, недоедание и изнурительный труд в течение следующего века привели к резкому сокращению населения, американские индейцы все еще превосходили испанцев по численности в соотношении от 5 до 30 к одному[743]. Кроме того, новые поселенцы не стремились вытеснить индейцев, как это часто бывало в Северной Америке и Австралии, где аборигены, привыкшие к кочевой жизни, рассматривались завоевателями как бесполезное население. Напротив, как только закончились первоначальные кровавые столкновения, завоеватели быстро осознали значимость аборигенов для экономики. В результате последние были закрепощены (иногда в буквальном смысле слова помещены в загоны и заперты) и распределены *en bloc*[744] между частным владельцам и церковью. Один лишь Эрнандо Кортес, как завоеватель Мексики, получил имение, или *encomienda*[745], с 23 тыс. крепостных американских индейцев, которые должны были платить ему подати и в отношении которых он действовал как землевладелец, губернатор, верховный судья и шеф полиции одновременно. Другие *encomenderos* имели соответствующие бенефиции — поместье с 2 тыс. и более плательщиков податей было обычным делом. Подражая аристократам Кастилии и Арагона, они создавали частные армии для обеспечения своей власти[746].

В период с 1542 по 1549 г. боязнь федерализации, а также леденящие душу сообщения о зверствах, чинимых в отношении американских индейцев, заставили императора Карла V изменить политику. Действуя через *Consejo de las Indias*[747] — высший орган, ответственный за дела колоний, — он попытался отменить *encomiendas.* Это привело к крупному восстанию, и Карл вынужден был отступить. Единственное изменение, которое удалось реализовать, — это ограничение права наследования, так что *encomiendas,* оставшиеся вакантными, сразу отходили короне, а все остальные — после пятого поколения. В качестве компенсации даже за такое небольшое изменение была введена система *repatrimiento*[748], или принудительного труда. Будучи возведенной

на основах, ранее заложенных ацтекской и инкской империями, она обязывала индейцев работать либо на частных лиц, либо же на правительство — строить дороги, оказывать транспортные услуги и т.п. Например, в Перу каждый трудоспособный абориген должен был проводить полгода из каждых семи лет на печально известных серебряных рудниках[749]. Другие местные жители оставались прикрепленными к *haciendas*[750] долговой кабалой, живя и умирая на фермах, где они получали жалованье натурой. В частности, в наиболее отдаленных регионах, куда не проникала правительственная власть, это означало, что они полностью зависели от милости владельцев, которые эксплуатировали их экономически и осуществляли над ними «политическое» правление. Так или иначе, труд американских индейцев подготовил почву как для экономического развития колоний, так и для богатства, которое вскоре стало поступать оттуда в Испанию. Без этого ни Перу, ни впоследствии Мексика не смогли бы превратиться в те сокровищницы, которыми они стали.

В политическом отношении правительство в Латинской Америке было продолжением испанского правительства[751]. Эти земли, открытые европейцами в то время, когда разделение между правителем и государством только начинало приобретать отчетливость, воспринимались как собственность короля, который управлял ими с помощью вышеупомянутого consejo[752]. Самыми высокопоставленными чиновниками на местах были королевские губернаторы. Изначально их было двое — в Мехико и Лиме, гораздо позже еще двое появились в Новой Гранаде (1717) и Буэнос-Айресе (1778). Затем шли генерал-капитаны. Вначале это были офицеры, служившие под началом губернаторов в качестве командующих довольно небольших по численности вооруженных сил, имеющихся в их распоряжении. Но впоследствии на эту должность было назначено большее число людей и под их управление были переданы районы, которые были либо подразделениями вице-королевских районов, либо представляли собой еще меньшие территориальные единицы, напрямую подчинявшиеся метрополии. Третий эшелон правительственной машины состоял из *corregidores*[753], которые подразделялись на два вида: те, которые должны были контролировать испанские города, и *corregidores de indios,* ответственные *ла* индейские pueblos[754]. Каждый из появившихся со временем 12 губернаторов и генерал-капитанов опирался на помощь *audiencia*[755] судебно-исполнительного совета, в то время как жалобы на более низком уровне рассматривались разъездными окружными судьями, или *oidores.*

Как и в Европе того времени, образовавшаяся

бюрократическая пирамида была основана на купле-продаже должностей и насквозь пронизана коррупцией, так как купившие должность чиновники пытались возместить затраты и получить как можно большую прибыль. Опять же, как и в Европе, со временем эти качества только усиливались. Система продажи должностей фактически превратилась в ограничение власти короны, которой она по идее должна была служить — тем более что из-за больших расстояний и трудностей поддержания связи большинство чиновников могли поступать так, как хотели. В то время, когда города метрополии были поставлены полностью под контроль правительства, городам Нового Света были предоставлены элементы самоуправления в форме *cabildos,* или муниципальных советов. Каждый испанский город имел такой совет, состоящий из двенадцати *regidores*[756], которые избирались состоятельными гражданами *(vecinos)* и получали одобрение губернатора или генерал-капитана; некоторые из них даже имели право назначать себе преемников. В этих обстоятельствах *cabildos* быстро превратились в закрытые самовоспроизводящиеся олигархии, которые, как это часто случалось и в Европе в ранний период Нового времени, управляли городами прежде всего в собственных интересах. В последующие века *cabildos* часто приходили в упадок из-за того, что королевские чиновники усиливали свой контроль. Но они никогда не исчезали, и на практике, когда корона хотела провести те или иные реформы, она первым делом обращался к *cabildos,* поскольку без их содействия ничего нельзя было сделать.

Эти институты, так же как мелкие чиновники (писцы, констебли, рыночные надзиратели и т.д.) не являлись чем-то оригинальным по отношению к аналогичным институтам и должностным лицам на родине. Но фактором, который сильно изменял и даже трансформировал их, было существование в Латинской Америке глубокого расового разделения. Белые женщины, свободные или рабыни, появились в колониях почти с самого начала. Они составляли незначительное меньшинство, первоначально, по всей вероятности, не более 10%. Таким образом, завоевание Америки испанцами было одновременно завоеванием местных женщин, которые, по словам немецкого наемника, состоявшего на испанской службе в области Рио де ла Плата, считались «очень хорошенькими, прекрасными любовницами, нежными и со сладострастным телом»[757]. Поставив владение *encomiendas* в зависимость от наличия наследника, корона, по крайней мере первое время, стимулировала *encomenderos,* которые не могли привезти себе жену из Испании, жениться на местных женщинах. В других

случаях (особенно это касалось духовенства) имело место внебрачное сожительство, прямое сексуальное рабство или случайные связи. Какими бы ни были их продолжительность и правовой статус, эти союзы неизбежно приводили к появлению потомков со смешанной кровью. Ситуация еще больше осложнялась присутствием черныхрабов. Первые из них были привезены уже в 1502 г. из самой Испании. Позже несколько миллионов были ввезены из Африки, чтобы заменить сокращающиеся трудовые ресурсы американских индейцев. Но поскольку среди рабов большинство было мужчинами, они тоже вступали в связи с индейскими женщинами или *mestizos*[758]. В результате появилось фантастическое число различных комбинаций, которые испанцы, всегда имевшие склонность к схоластике, старательно классифицировали и каталогизировали[759] .

Хотя градации часто были абсурдными, предрассудки, стоявшие за ними, были вполне реальными. Европейское Средневековье в общем не знало расовых предрассудков — вместо этого людей, как правило, классифицировали в соответствии с их религией. Позже ситуация изменилась. Унаследование престола Филиппом II от Карла V обозначило момент окончания прежней политики, в рамках которой смешение рас воспринималось терпимо и даже поощрялось. С тех пор вплоть до реформ в самые последние годы колониальной эпохи испанское правительство сознательно старалось отделять «сообщество испанцев» *(republica de espanoles)* от «сообщества индейцев» *(republica de indios)*. Хотя межрасовые браки никогда не запрещались, эти две группы управлялись по различным правилам. Самое важное правило в отношении американских индейцев состояло в том, что они и только они должны были платить подати. Кроме того, им запрещалось носить оружие и покупать спиртные напитки, но, с другой стороны, они не должны были отвечать перед Инквизицией, поскольку считались «неспособными мыслить здраво». В период с 1563 по 1680 г. было издано множество законов с целью расселить по отдельности людей, принадлежащих разным расовым группам (в 1680 г. все эти законы были опубликованы в виде огромного сборника[760]). Эти люди также должны были ходить в разные церкви, школы, состоять в разных гильдиях и т.д. — система, не слишком сильно отличавшаяся от того, что впоследствии было названо апартеидом и известная современникам как *regimen de* castas[761].

В отношении конкретных индивидов было абсолютно невозможно определить, кто к какой группе принадлежал. Учета не велось, и люди, выглядевшие как белые, обычно такими и

считались, но в обществе в целом темный цвет кожи был синонимом чего-то низшего, а смешанное происхождение — незаконнорожденности. Повсюду в Латинской Америке верхушка социально-политической пирамиды сформировалась из людей, недавно прибывших из Испании и Португалии и известных как *gapuchines* (носящие шпоры) или *chapetones*[762]. Они смотрели на всех остальных свысока и монополизировали в своих руках все наиболее важные должности, как светские, так и духовные. Следующий уровень составляло богатое местное белое население, или *креолы,* которые занимали места в *cabildos* и выступали в качестве чиновников низшего уровня. Еще ниже стояла белые безземельные бедняки, но и они смотрели свысока на *metizos* и *pardos*[763]*,* не говоря уже о чернокожих и индейцах. Среди последних значимые места занимали *caciques,* или деревенские вожди, которые часто сотрудничали с европейцами, за что их иногда повышали до *hidalgo*[764]. За этими исключениями основная масса населения — белые, индейцы, чернокожие и смешанного происхождения — практически не имели доступа к должностям, в том числе духовным, а также к университетам и семинариям, которые вели к занятию должностей. Тем не менее величайшее презрение, которое они испытывали друг к другу, не давало им объединиться против своих господ. В частности, большинство индейского населения, держась за то, что осталось от их родного языка и религии, влачило унылое существование на когда-то принадлежавших им землях. Время от времени они напоминали о своем существовании, поднимая восстания, самым крупным из которых был бунт, который возглавил в 1780—1781 гг. Инка Тупак Амару — вымышленное имя, взятое метисом Хосе Габриэлем Кондор-Канки.

Только в последней трети XVIII в. в правление короля Карлоса III из династии Бурбонов были предприняты попытки реформировать систему с целью усиления королевского контроля, снижения коррупции и некоторого расширения участия основной массы населения в управлении. Два высших эшелона власти, вице-королевства и генерал-капитанства, были децентрализованы, а те, кто их возглавлял, получили большую власть, в частности, в вопросах обороны, включая создание первых постоянных вооруженных сил, которые к 1800 г. насчитывали в общей сложности около 20 тыс. человек. Под их руководством в правительственном аппарате появился новый уровень — *intendants,* т.е. получающие жалованье чиновники, аналогичные французским интендантам, отвечавшие за финансовые дела и общественные работы. В попытке вдохнуть новую жизнь в *cabildos* был отменен прежний институт *corregi*

dores; после чего испанские города были переданы под управление *subdehgados*[765], которые обладали меньшей властью и должность которых не продавалась. Другая категория *subdehgados* отвечала за дела индейцев, и их главной задачей было защищать тех от самых серьезных злоупотреблений со стороны землевладельцев. На деле, не считая успешной отмены *repartimiento,* попытка помочь небелому населению в целом провалилась, поскольку эксплуатация сохранялась в других формах, в том числе в виде дани, а также системы, при которой *subdehgados* и другие чиновники заставляли население покупать у них определенное количество определенных продуктов по назначаемым ими самими ценам.

По оценке немецкого исследователя Александра фон Гумбольдта, посетившего Мексику в 1803 г., только треть ее обитателей жила в условиях не худших, чем низшие классы в Испании, ставшей к тому моменту самой отсталой страной в Западной Европе[766]; в Перу, которое было расположено еще дальше от Мадрида и в котором было еще сложнее провести реформы, ситуация была еще хуже. Однако для высших классов период, последовавший за Семилетней войной, был временем значительной экономической экспансии[767]. В Европе рос спрос на такие продукты тропиков, как кожи, какао, кофе, табак и сахар. В результате производство одного лишь сахара за период с 1756 по 1800 г., по некоторым сведениям, выросло в 10 раз, в то время как торговля Испании с колониями в целом в десятилетия, последовавшие за 1788 г., выросла в 4 раза. Благодаря прибылям появился капитал, применение которому было найдено в связи с возросшим интересом к разработке месторождений. После долгого периода застоя начали появляться технические новинки, нередко благодаря немцам и специалистам, которые прошли обучение в Германии и которых нанимало и отправляло в колонии королевское правительство, выплачивавшее им жалованье. Вместе с приростом населения, дававшему необходимый прирост трудовых ресурсов, вскоре возобновились поставки серебра, в частности из Мексики.

Теоретически, креолы должны были бы быть благодарны правительству за эти и другие экономические достижения, так как, проведя административную реформу, оно поспособствовало последним или, по крайней мере, сделало их возможными. В действительности произошло обратное. На высшем уровне учреждение современной гражданской службы лишь подчеркнуло то, до какой степени *americanos,* как они начали себя называть, были исключены из нее, несмотря на наличие у них собственности и других цензовых признаков. На нижнем уровне

переход от системы продажи должностей к выплате жалования привел к тому, что многие мелкие чиновники потеряли свои источники дохода. Развивающаяся экономика оказалась ограниченна старой имперской системой, в рамках которой была запрещена торговля между разными колониями, а заокеанская торговля должна была вестись исключительно с Испанией посредством знаменитого *casa de la contratacion*[768] в Севилье. Несмотря на то что некоторые из самых обременительных ограничений были отменены в 70-е годы XVIII в., ситуация напоминала ту, которая сложилась в Северной Америке накануне американской революции, с той лишь разницей, что бедная и отсталая Испания не могла удовлетворить спрос колоний на промышленные товары в такой же мере, как Великобритания, бесспорный промышленный гигант своего времени.

Начиная с 80-х годов XVIII в., пришедшие сначала из Франции, а затем из Северной Америки либеральные идеи сумели преодолеть рамки цензуры и начали получать распространение. Однако в лучшем случае они затронули только богатую часть белого населения, *gente distinguida*[769], — правительственных чиновников, армейских офицеров, купцов, специалистов и землевладельцев, которые хотя и отказывались давать самоуправление зависимому от них населению, желали его для себя. Когда в 20-е годы XIX в. разгорелась борьба за независимость, к которой подтолкнуло завоевание Наполеоном Иберийского полуострова, она представляла собой всего лишь столкновение одной части белого населения с другой из-за того, кто будет участвовать в управлении. Хорошей иллюстрацией может послужить одно из самых ранних «патриотических обществ», сформировавшееся в Буэнос-Айресе в 1801 г. Членство в нем было ограничено «людьми благородного происхождения с хорошими манерами». В обществе, основанном на расовых предрассудках, это означало запрет на членство для иностранцев, чернокожих, мулатов, *zambos* (потомков чернокожих и индейцев), метисов и других людей смешанного происхождения. Хотя запрет на членство метисов впоследствии был отменен, остальные запреты оставались в силе, демонстрируя тем самым, что существует предел, до которого это общество готово снисходить даже ради такого благородного дела, как отнятие власти у Испании[770]. Только в Мексике массы индейцев и полукровок присоединились к восстанию, напугав своих господ, что привело к временному союзу последних с Испанией. Здесь и в других странах результатом стало то, что на смену хозяевам из далекого Мадрида или Лиссабона, пришли те, которые жили рядом и которые оказались даже более жестокими, чем первые.

Как было абсолютно ясно самому Боливару[771], в условиях рабовладения, с одной стороны, и повсеместной бедности, апатии и фактического крепостничества — с другой, было очень сложно создать абстрактное государство — в будущем, которое он предвидел, царили «мелкие тираны». Это было тем более справедливо, что политическим самосознанием обладала очень небольшая часть населения, которая была рассредоточена по множеству мелких поселений, разбросанных по огромному континенту — в отличие от США, где первые колонии протянулись вдоль береговой линии и с легкостью могли вступать в контакт друг с другом. Например, в Бразилии 1823 г. насчитывалось менее 4 млн жителей. На первый взгляд ситуация была аналогична сложившейся в США в 1776 г.; но если последние были нацией процветающих фермеров и городских жителей, то в Бразилии огромное большинство либо было чернокожими рабами, либо представляло собой бесформенную, почти нищую массу людей разных рас, среди которых была довольно высока доля бродяг. Другими примерами могут служить Уругвай, в котором в момент начала борьбы за независимость от Аргентины насчитывалось лишь 60 тыс. жителей, и сама Аргентина, в которой еще в 1852 г. проживало в общей сложности 1200 тыс. человек, включая еще один класс людей без постоянного места жительства — gaushos[772]. Известно, что в период с 1811 по 1821 г. во всех ставших независимыми странах были приняты конституции. Они наделили правами цветное население, отменили подати и сделали светских граждан равными перед законом (военные и церковь стояли отдельно и имели *fueros* — привилегии, делающие их неподсудными обычным судам). Однако нельзя одним указом уничтожить дискриминацию, бедность и изоляцию, царившие веками. В Бразилии даже рабство сохранялось до 1888 г.

Какими бы ни были конкретные условия жизни, более 95% населения оставалось в положении, при котором они не могли пи влиять на правительство, ни, что еще важнее, контролироваться им[773]. В кругах незначительного меньшинства, к которому это не относилось, почти невозможно было отделить частные интересы от публичной деятельности. Политика стала (и нередко по-прежнему остается) игрой в «музыкальные стулья» между очень небольшими группами людей; например, в Чили жена одного президента (Мануэль Бульнес, 1841 — 1851) была также дочерью президента, сестрой президента и матерью президента. С учетом местных различий обычно одна фракция состояла из землевладельцев, которые поддерживали централизованное авторитарное правительство с целью не допустить приобретение

личной свободы остальным населением (не говоря уже о праве участвовать в политике), а также более эффективно его эксплуатировать. Их либеральные оппоненты обычно были горожанами, купцами и профессионалами в разных областях, но включая также отдельных представителей небелого населения, сумевших каким-то образом чего-то добиться, часто путем получения профессии или службы в армии, где они достигали успеха благодаря исключительным способностям. Основными требованиями либералов были резкое уменьшение влияния церкви, включая конфискацию ее обширной земельной собственности и упразднение церковных судов, принятие более демократичной формы правления и федеративного устройства, а также обеспечение личной свободы социальных низов, от которых они надеялись получить поддержку[774]. Но даже там, где им удавалось реализовать свою программу, демократия, ограниченная требованием грамотности и высоким имущественным цензом, никогда не предоставляла избирательных прав более чем 2—4% населения, а число тех, кто мог занимать публичные должности, ограничивалось несколькими тысячами человек.

Имея столь серьезные препятствия, единственной страной, которой более или менее удалось сохранить политическую традицию, не прерываемую насилием, была Чили[775]. Здесь, как везде, основная масса населения была сельской, необразованной и очень бедной. С 1830 г., когда противоборствующие фракции провели свою последнюю битву, по 1870 г. власть в основном находилась в руках консервативных землевладельцев. Однако благодаря тому, что индейцев здесь было мало, а те, что были, в основном сосредоточились далеко на юге, в стране не было традиций рабства, крепостничества и правления, соединенного с владением собственностью. Когда произошел переход к либеральному правлению, он был достигнут конституционными мерами; не считая привилегированного положения вооруженных сил и того, что избирательное право оставалось довольно узким (когда оно перестало быть таковым, это быстро привело к избранию Сальвадора Альенде президентом в 1970 г.), сформировавшаяся в результате правительственная система во многом походила на систему США. Иначе развивались события в других странах, где освободительные войны обозначили лишь начало борьбы между двумя группировками. Нередко борьба была крайне жестокой, а похищения, убийства, а то и истребление целых семей, были обычными методами. Очень часто это приводило к появлению *caudillos,* или вождей, — явление, некогда считавшееся характерным именно для Латинской Америки, но

широко распространившееся по всему миру в результате формирования множества государств в период после 1945 г.

Некоторые каудильо возглавляли ту или иную фракцию и собирали вокруг себя сторонников из числа своих друзей[776]. Многие из них были армейскими офицерами, которые стремились навести порядок и одновременно добиться власти, возглавляя *juntas*[777], состоящие из таких же офицеров. Как бы то ни было, все они должны были быть *muy hombres* — настоящими мужчинами — но лучше всего такой характеристике соответствовали те немногие с темным деревенским прошлым; начиная в качестве главарей банд в среде угнетаемого местного населения, иногда они даже завоевывали себе высокое положение в местных сообществах, если их к тому времени не убивали в бесконечных стычках. Но каково бы ни было происхождение лидеров, на протяжении целого столетия после обретения независимости практически во всех новых государствах постоянно велись гражданские войны: так было в Аргентине (до 1862 г.), Боливии (которая побила все рекорды, поскольку пережила не менее 60 революций и переворотов), Бразилии, Колумбии (около 30 гражданских войн), Эквадоре, Мексике, Парагвае, Перу, Уругвае и Венесуэле (в которой в общей сложности произошло около 50 переворотов). Вероятно лучшее, что можно сказать об этих и других государствах Латинской Америки, это то, что с момента обретения независимости и до наших дней они не слишком часто воевали друг с другом. Однако войны, которые все-таки случались между ними — например, четырехсторонний конфликт между Парагваем, Аргентиной, Бразилией и Уругваем в 1865—1870 гг., оставивший первую из названных стран почти без мужского населения, —приводили к сотням тысяч жертв. Однако редкость внешних конфликтов они с легкостью «компенсировали» внутренней анархией, переворотами и контрпереворотами.

В той степени, в какой бесконечная череда гражданских войн вообще допускала экономическое развитие, в первой половине XIX в. сложилась новая ситуация. В то время как Западная Европа и Северная Америка вступили в век промышленной революции, бывшие испанские и португальские колонии не могли за ними последовать. Старая имперская система, погрязшая в коррупции и контрабанде, начала рушиться еще до получения колониями независимости[778]; но теперь она была отменена силами двух партий, таким образом нашедших некоторую почву для согласия. Под влиянием европейских идей либералы выступали за свободную торговлю на континенте. Консерваторы, исходя из собственных интересов, громко требовали права обменивать

сельскохозяйственную продукцию и полезные ископаемые, которые они добывали, на привозимые из заморских стран товары. Поскольку политическая нестабильность мешала накоплению капитала, промышленность не могла развиваться. Поток продукции европейских заводов и фабрик с легкостью одолел конкурентов в лице местных предприятий, многие из которых все еще базировались на надомном труде, и правительство этому потоку не препятствовало, поскольку получало львиную долю дохода, используя тарифы. В частности почти полностью исчезли кораблестроение (с самого начала существовавшее в Мексике), металлообработка и почти вся текстильная промышленность, кроме самой примитивной. Предметы роскоши поступали из Франции, товары для массового потребления — из Великобритании и все в большей степени из США. Как и в большей части Восточной Европы в XVI в., а в России и в Индии — в XIX в., результатом стала деиндустриализация[779].

В той степени, в какой экономика новых государств не ограничивалась простым выживанием — что было уделом значительной части населения, — их вклад в мировую экономику заключался преимущественно в производстве сельскохозяйственной продукции и сырья. Хотя города не исчезли, они стали играть меньшую экономическую роль в сравнении с последними десятилетиями колониального правления. Они сохранились в основном в виде административных центров или, если позволяло их географическое положение, *entrepots,* через которые осуществлялись приток зарубежных товаров в страну и их дальнейшее распределение по территории. Тяжелое положение городов позволило различным консервативным фракциям (слово «партия» было бы слишком громким) поддерживать свою власть в противовес либералам и за счет остального населения. В частности, в Мексике и Бразилии переход земельного имущества от местных индейских сообществ руки частных лиц происходил на протяжении всего XIX в., в то время как в Аргентине, так же как и в США, вопрос о собственности на «пустые» земли (т.е. пространства, населенные аборигенами) решался с помощью оружия. Во всех трех упомянутых странах, а также и в остальных, образовавшиеся имения зачастую можно было измерять в квадратных милях, а не акрах. За исключением предметов роскоши, потребляемых хозяином и его семьей, они почти полностью обеспечивали себя всем необходимым. Независимо от того, что гласил закон, у многих землевладельцев были собственные полиция, тюрьмы и даже орудия пыток, чтобы

держать под контролем зависимое население — индейцев и метисов. Впрочем, ситуация не сильно поменялась во второй половине XIX в., когда начался приток иностранного капитала — британского, а затем американского. Напротив, иностранцы часто вступали в сговор с консерваторами, чтобы поддерживать политическую стабильность и иметь очень дешевую, почти крепостную рабочую силу в так называемых банановых республиках.

Вступив в последнюю четверть XIX в., многие из латиноамериканских государств были государствами лишь номинально. Хотя бы по той причине, что различные *caudillos* стремились усилить свои позиции с помощью выборов, почти все страны прошли через периоды конституционного правления, но обычно они были очень короткими. Так, в Эквадоре к 1895 г. сменилось не менее 11 конституций. Все государства имели в той или иной форме правительственную бюрократию, хотя весьма слабо развитую и из-за крайне низкого жалованья служащих весьма подверженную коррупции. В каждой стране была своя национальная валюта, хотя обычно она была подвержена высокой инфляции и не могла развиться до уровня признанного международного средства обмена. Имея в изобилии национальные флаги, гимны, почтовые марки и тому подобные атрибуты, эти государства претендовали на суверенитет в международных отношениях, но даже эту претензию делали сомнительной такие эпизоды, как создание в 1903 г. Панамы «из ребра» Колумбии. Они содержали дипломатический корпус, внешний блеск которого обычно был обратно пропорционален экономической ситуации в стране. Некоторые из них так же посылали своих представителей на разные международные конференции, которые стали собираться начиная с 1864 г.

Другой особенностью последней четверти XIX в. было начало широкомасштабной эмиграции на ранее чрезвычайно малонаселенный континент. До этого правительства некоторых латиноамериканских стран пытались стимулировать иммиграцию, но этому препятствовали постоянные гражданские войны и наличие других более привлекательных регионов, прежде всего США. Теперь же наибольшее количество иммигрантов хлынуло из Италии, Испании и Португалии (большинство португальцев отправились в Бразилию), но было немало и других групп, включая ирландцев, немцев, китайцев и японцев. В зависимости от первоначального состава населения и от количества принятых иммигрантов население некоторых стран, таких как Аргентина и Уругвай, стало практически полностью белым. Другие, например, Мексика и Бразилия,

превратились в поистине многорасовое общество. Третьи же, особенно расположенные в северо-восточной части континента, сочли, что появление дополнительных групп населения приведет к стиранию различий между индейцами и белыми, и, следовательно, к падению *regimen de castos.* Кроме того, несмотря на то что иммиграция благотворно сказывалась на развитии сельского хозяйства — в одной лишь Аргентине площадь пахотной земли увеличилось с 3730 кв. миль в 1865 г. до 95 000 кв. миль в 1915 г., — большая часть новоприбывших селилась в городах. Там они работали по городским профессиям, таким как торговля, промышленность и услуги, формируя ядро настоящего пролетариата. По крайней мере, в более крупных странах появление массовых обществ в итоге положило конец правлению нестабильных семейных группировок. Вместо них там возникло некое подобие современных политических партий с консервативными или либеральными, централистскими или федералистскими, социалистическими или даже коммунистическими взглядами.

В самых важных странах эти факторы вместе с индустриализацией, начавшейся в 1920-е годы, положили конец старой традиции *caudillismo*[780]. Какими бы романтиками ни казались Эмилио Сапата и Панчо Вилья (оба выходцы из очень скромных деревенских семей), они не имели преемников и подражателей. Роль организаторов переворотов вскоре перешла к различным национальным армиям. Не то что бы эти армии были политически неактивны в предыдущем столетии, но в то время они зачастую представляли собой недисциплинированные толпы, едва ли отличающиеся от частных формирований, созданных различными *caudillos.* Хотя такое положение дел сохранялось в некоторых некрупных государствах (в частности, в странах Центральной Америки и Карибского бассейна), армии, которые, начиная с переворота в Аргентине в 1930 г., стали играть главенствующую роль в жизни некоторых более крупных стран, уже представляли собой нечто совсем другое. С 1890 по 1910 г. некоторые из них были приведены в порядок зарубежными профессионалами — немцами (которые оставили свой след в виде гусиного шага и пристрастия к музыке Вагнера), французами и американцами. В последние годы перед Первой мировой войной армии повсюду стали призывными, хотя на практике это касалось лишь низших классов, в то время как остальные либо покупали себе замену, либо позже поступали в университеты. Находившиеся под командованием профессионалов, всю жизнь занимающихся этим делом, управляемые и контролируемые бюрократическими методами, зачастую армии, начиная примерно

с 1930 г., становились благодатной почвой для развития фашистских или даже нацистских симпатий. Оглядываясь по сторонам, военные видели слабые и коррумпированные гражданские институты, а себя считали истинным воплощением государства, единственной организацией, способной подняться над узкими фракционными или классовыми интересами[781].

Независимо от степени дисциплинированности армии, долгая история гражданских войн и переворотов означала, что ключевая черта современного государства — четкое разделение между силами, отвечающими за ведение внешних войн, и теми, кто занимается поддержанием внутреннего порядка, — так и не развилась. Занятые последним, эти армии так и не преуспели в первом. Одно время, ближе к концу XIX в., чилийские вооруженные силы, качалось, вот-вот превратятся в современную военную организацию. Но перед лицом таких противников, как Перу и Боливия, не было достаточного стимула для поддержания их на таком уровне, несмотря на то что сделать это позволяла экономическая ситуация (определявшаяся падением цен на гуано, когда вскоре после начала Первой мировой войны был открыт способ связывания азота, содержащегося в воздухе). В сравнении с другими континентами поенные расходы в Латинской Америке никогда не были особенно велики, обычно составляя не более 3—4% от ВНП. В подушевом выражении они были удивительно малы, например, по данным за 1990—1992 г. они составляли в Аргентине 58 долл., в Бразилии — 40, в Чили — 61 и в Мексике — 11 долл.[782] Однако получаемые деньги, как правило, тратятся не столько на современное вооружение, сколько на инструменты внутреннего контроля, включая многочисленные привилегии для военнослужащих. Иностранцы часто поражались великолепной униформе и увешанным медалями кителям латиноамериканских генералов — удивительно, как можно было заслужить эти награды на континенте, где со времен войны Чако в 30-е годы XX в. практически не было межгосударственных вооруженных конфликтов. Для своих же сограждан эти армии выглядели гораздо более серьезными, если не сказать угрожающими: лязгающее чудовище, власть которого над гражданским обществом смягчалась главным образом склонностью многих военных к коррупции.

После 1940 г. произошло бесчисленное множество военных переворотов, за которыми следовало установление военного режима. Приведем лишь несколько примеров: Аргентина находилась под правлением военных с 1943 по 1946 г. (когда полковник Хуан Перон стал президентом) и снова в 1955—1958, 1970—1973 и 1976—1983 гг. В Боливии военное правительство

действовало в 1936-939 и 1943-1946 гг., а с 1964 по 1982 г. сменилось даже несколько военных режимов. В Бразилии произошел военный переворот в 1945 г. и еще один — в 1954 г., затем наступил период военного правления, продлившийся с 1963 по 1978 г. Военный режим в Чили длился с 1973 по 1990 г., в Колумбии — с 1953 по 1957 г., в Коста-Рике в 1947 г. (после чего армия была официально распущена) — и этим список далеко не исчерпывается.

В этих и других странах периоды военного правления, как и промежутки между ними, часто отмечались вспышками насилия, которые иногда стоили жизни десяткам тысяч людей. Большую часть времени военные считали себя единственным институтом, способным нанести порядок в хаосе, оставленном после себя коррумпированными эгоистичными политиками. Обычно целью их вмешательства было помешать сползанию к социализму или даже коммунизму — особенно это относится к Аргентине, Боливии, Бразилии и Чили, где на фоне «холодной войны» они получали поддержку от американцев в виде советников, денег, оружия, подготовки, а иногда и гораздо большего. Однако были случаи, когда армия приходила к власти под флагом левой социально-экономической программы, как в Перу между 1968 и 1975 гг.[783]

В таких небольших республиках, как Гватемала, Гондурас, Панама и Колумбия, военные перевороты часто были всего лишь инструментом для продвижения интересов небольшого числа высших — а иногда и не так уж высокопоставленных — офицеров и их семей. Девизом новых правителей крупных стран обычно была модернизация. Например, в Бразилии они стремились достичь экономической стабильности, создать условия для роста (как альтернативу революции снизу) и усовершенствовать инфраструктуру, включая образовательные и медицинские услуги, для чего они часто использовали свой собственный, одетый в униформу персонал. Прежде всего, они стремились покончить с традиционной «кофейной экономикой», поощряя индустриализацию. Исходя из жесткого интервенционистского подхода, они вкладывали деньги в энергетику, транспорт и государственные заводы с целью импортозамещения, защищая их заградительными пошлинами. Они также пытались привлечь зарубежный капитал путем предоставления преимуществ, таких как налоговые льготы и свободный вывоз твердой валюты, и делали все возможное, чтобы держать в узде рабочую силу, выхолащивая профсоюзное движение, запрещая забастовки, вводя контроль уровня заработной платы и т.п.[784]

Часто эти меры на какое-то время приносили результаты,

ведя к снижению инфляции и создавая иллюзию процветания и прогресса — например, в Бразилии темпы экономического роста, наблюдавшиеся между 1964 и 1968 гг., были одними из самых высоких в мире. Однако рано или поздно наступал спад из-за сокращения экспорта в денежном выражении, из-за склонности новых, поддерживаемых государством отраслей промышленности к бюрократизации или из-за того и другого вместе. На фоне падения реальной заработной платы правящая группировка сталкивалась с противостоянием левых рабочих организаций. Подавление открытой деятельности последних приводило к тому, что они уходили в подполье, устраивая террористические акты и саботаж. Когда к оппозиции присоединялась молодежь из числа среднего класса — зачастую это были студенты университетов, которых возмущали преследования и пытки, а также отсутствие политической свободы, — игру можно было считать проигранной. Когда военнослужащие, поддерживающие правительство, раскалывались на сторонников «жесткого курса» и тех, кто выступал за предоставление большей свободы, генералам ничего не оставалось, как уступить, провести выборы и вернуть войска в казармы. Часто, впрочем, они уходили, продиктовав условия своим преемникам. Под этим подразумевалась амнистия для палачей (мало кто из них отвечал перед судом), а также сохранение их права действовать в качестве самочинных гарантов конституции, готовых вновь вмешаться, как только сочтут нужным. Иногда военные формировали государство внутри государства, как, например, в Чили, где у них были собственные делегаты в парламенте, а также собственные гарантированные источники дохода (за счет экспорта меди), находящиеся вне правительственного контроля.

Когда на смену 80-м пришли 90-е, угроза коммунизма отступила; более того, чилийские военные с гордостью заявили, что именно в их стране и благодаря им красная волна впервые пошла па спад. Почти все страны вернулись к гражданскому правительству, а благодаря предоставлению избирательного права бедным, неграмотным, а также женщинам, значительно расширился электорат. Эти изменения побудили некоторых наблюдателей сделать вывод, что армии ждет та же судьба, что и *caudillos,* и что время переворотов, революций и военного правления на континенте, наконец, завершается[785]. Но даже если это так, многие латиноамериканские государства столкнулись с новой проблемой. На протяжении первого столетия после получения независимости территориями, которым удавалось успешно избегать контроля со стороны государства, были сельские районы, удаленные и часто изолированные из-за

неразвитых коммуникаций — что, кстати, объясняет, почему, начиная с Сапаты, именно они служили стартовой точкой для многих *caudillos.* В последней четверти XX в. правительства некоторых государств все еще плохо контролировали сельскую местность, — достаточно вспомнить гражданские войны в Сальвадоре, Никарагуа, движения «Сендеро Луминосо» в Перу и сапатистов в Южной Мексике. Однако возникла другая, еще более серьезная проблема — неспособность государства управлять городами, зачастую включая саму столицу.

Корень проблемы следует искать в росте населения. После окончания Второй мировой войны он зачастую составлял 2,5—3% в год, вынуждая миллионы людей покидать сельскую местность и приезжать в города. В период между 60-ми, когда все еще можно было говорить о «дисбалансе между городским и сельским населением» как причине всех проблем[786], и 1990 г. во многих странах число людей, живущих на земле и за счет земледелия, упало почти на 60%. «Выигравшей стороной», если можно их так назвать, были крупные города, пережившие феноменальный рост. В федеральном округе Буэнос-Айреса проживало 3,4 млн жителей в 1950 г. и более 9 млн в 1992 г. (из общей численности населения страны *33* млн человек). Для Каракаса соответствующие показатели составили 700 тыс. и 2 млн, для Лимы — 950 тыс. и 6 млн, для Рио-де-Жанейро — 3 млн и 5 млн, для Сантьяго — 1,28 млн и 5,3 млн и для Мехико — 2,8 млн и чудовищные 16 млн[787]. В центре этих и других городов (в Латинской Америке в настоящее время существует 21 городская агломерация с населением более 1 млн человек в каждой; в 1950 г. их было всего 6) перед туристом часто открывается ошеломляющее зрелище ультрасовременной архитектуры и всего самого современного, что существует в Западной цивилизации наших дней, включая и самую большую в мире концентрацию смога. Однако вокруг них располагаются районы, которые в развитых странах вообще не сочли бы за города: без мощеных улиц, водопровода, канализации, освещения и общественных зданий — просто бесчисленные лачуги, формирующие целые районы трущоб, известные под разными названиями: *favelas, callamoas, barrios, chiampas* или в Аргентине — *villas* miseria[788].

Население этих трущоб, конечно, очень бедно — беднее некуда. Часто из-за своей крайней нужды они не имеют доступа к государственной системе образования; несмотря на крупные инвестиции в образовательную систему в последние десятилетия, абсолютное число безграмотных людей в большинстве латиноамериканских стран остается на одном уровне или растет[789]. Физическое расстояние между *barrios* и современными

кварталами городов часто составляет несколько сот ярдов. Политическое расстояние измеряется веками, потому что для жителей *barrios* президент, правительство, парламент и даже бюрократия находятся все равно что на Марсе. Иногда можно встретить клинику или дом престарелых, где самоотверженные сотрудники делают все, что могут, чтобы облегчить страдания самых обездоленных. Не считая этого, единственные представители государства, которых могут повстречать жители трущоб, — это полицейские. Часто, когда положение становится крайне тяжелым, и жители более богатых соседних районов требуют конкретных действий, полиция может быть усилена бойцами вооруженных сил и полувоенных организаций.

Короче говоря, хотя кажется, что латиноамериканские государства начинают достигать некоторой политической стабильности наверху, большинству из них не удались попытки интеграции беднейших кварталов их городов в общую систему, как это смогли сделать европейские города в XIX в.[790] Напротив, учитывая продолжающееся демографическое давление, ситуация во многих местах, возможно, даже еще хуже, чем была 20 или 30 лет назад, при этом «ужасающая нищета и проблемы неравенства в распределении доходов... являются показателями провала процесса послевоенного развития»[791]. Подобно представителям низших сословий в Европе XVIII в., жители *barrios* слишком бедны и безгласны, чтобы представлять политическую угрозу в обычном смысле слова. Если они живут вне закона, то их правонарушения направлены прежде всего друг против друга; в результате они почти никогда не регистрируются полицией, которая в любом случае воспринимается как враг. В большинстве случаев отсутствие лидеров и организаций означает, что редкие бунты не перерастают в восстания, не говоря уже о революциях; обычно они заканчиваются несколькими убитыми, но нужды в широкомасштабных репрессиях не возникает. С другой стороны, трущобы представляют собой убежище, в котором можно спрятаться от государства, а также неисчерпаемый источник кадров для криминальных организаций и личностей.

Полагаясь на стволы — а в большинстве стран Латинской Америки достать оружие можно сравнительно легко — эти организации и лица часто создают анклавы, внутри которых их власть почти или полностью безгранична. И проблема не ограничивается тем, что трущобы остаются за пределами государственного контроля; используя сочетание угроз и экономической выгоды, которую, в частности, могут принести наркотики, «авторитеты» выходят на свет из этого подполья, чтобы влиять на местную и даже на общенациональную политику.

Часто они имеют возможность втянуть в сети коррупции полицию, вооруженные силы, бюрократию и законодательные органы; да и главы государств далеко не всегда оказываются для них недосягаемыми. Возможно, именно в этом кроется главный провал государства. Начиная с Мексики и заканчивая самой маленькой республикой, во многих случаях сложно сказать, на кого в действительности работают члены государственных органов, что, в свою очередь, является ключевой причиной того, что не удается взять под контроль проблему наркотиков. Все это является причиной значительного социально-экономического неравенства и подпитывается им. Возможно, это неравенство больше не связано с расовой принадлежностью столь тесно, как раньше, но тем не менее оно вынуждает большую часть населения жить в условиях, которые правительство любит называть «абсолютной бедностью»[792]. Независимо от того, имеют ли эти люди право голоса или нет, они чувствуют себя исключенными из любого вида политического участия; и действительно, часто присутствие государства в их жизни сводится к различного вида жестокое-тям, чинимым полицией или военными во время рейдов по убогим кварталам жителей трущоб в поисках наркотиков, бунтовщиков или и того, и другого одновременно (поскольку последние нередко финансируют свои операции, торгуя наркотиками).

В отличие от ситуации в США и британских доминионах, процесс построения государств в Латинской Америке можно назвать успешным лишь отчасти. С небольшими исключениями большинство государств не смогло ни подчинить свой народ верховенству закона, ни установить строгий гражданский контроль над военными и полицией[793], ни добиться найти устойчивый баланс между порядком и свободой; вторжения извне, которые пережила Гренада в 1983 г., Панама в 1989 г. и Гаити в 1993 г. (не говоря уже о роли, которую сыграло ЦРУ в Чили в 1973 г.) — это лишь самые недавние в длинной череде свидетельств того, что суверенитет малых государств и любом случае условен и зависит от доброй воли «Большого брата». История многих из них ясно подтвердила суждение их основателя, Симона Боливара: «Я согласен с Вами [министр иностранных дел Гран Колумбии Эстанислао Вергара], что американский континент привлекает внимание своим позорным поведением... порядок, безопасность, жизнь и все остальное уходят все дальше и дальше от нашего континента, которому суждено самому себя уничтожить»[794].

Провал в Азии и Африке

Хронологически последними обществами, которые приняли государство в качестве основного типа политической организации, были азиатские и африканские. Это не означает, что до прихода первых европейских колонизаторов и впоследствии возникновения движений за независимость все эти общества представляли собой просто неупорядоченные массы людей и не имели никакого правительства. Напротив, там, и особенно в Азии, существовали одни из самых древних, самых могущественных империй, обладающих наиболее развитыми системами иерархии; в то же время и Азия, и Африка демонстрируют поразительное разнообразие политических систем, начиная с самых рыхлых племенных образований без правителей и заканчивая жестко управляемыми и относительно стабильными вождествами, эмиратами, султанатами и т.д. И все же подчеркнем еще раз: правительство, даже сильное, само по себе не является государством. От бушменов Калахари до Запретного города в Пекине, по-видимому, ни одно африканское или азиатское общество не смогло развить концепцию абстрактного государства, включающего в себя и правителей, и управляемых, но не идентичного ни тем, ни другим. История того, как они восприняли институт государства, и каковы были результаты, является основной темой данного раздела.

То, каким образом власть европейских государств распространялась из таких центров, как Лиссабон, Амстердам, Лондон и Париж, хорошо известно. Первыми, кто дал почувствовать свое присутствие, были португальцы. Примерно с 1450 г. они искали путь на юг вдоль африканского побережья; после путешествия Васко да Гама в 1494 г. они основали в XVI в. ряд укрепленных торговых пунктов на пути от Анголы до Мозамбика и дальше до Ормуза, Гоа, Цейлона, Малакки и Макао[795]. Впрочем, господство португальцев оказалось недолгим, и в первой половине XVII в. большая часть построенной ими системы была захвачена голландцами[796]. Французские и британские предприниматели, которым таким образом был закрыт путь в богатые, специализирующиеся на пряностях регионы Индонезийского архипелага, а также Цейлона, в основном проявляли активность в Западной Африке и Индии. Из Африки они получали золото, слоновую кость и рабов (последних зачастую в обмен на ружья, которые использовались местными правителями, чтобы захватывать еще больше рабов). В Индии они обменивали продукцию европейского производства и серебро на восточные товары, такие как кофе, чай, шелк и

фарфор.

Общим у всех этих предприятий было одно: все они по природе своей были коммерческими. В Америке, как показывает возникновение первых *encomiendas* и прибытие первых поселенцев в Йорктаун (штат Вирджиния), целью всегда было установление власти и образование поселений; не так было в Азии и Африке. То ли потому, что эти земли считались нездоровыми из-за плотной населенности, то ли потому, что они уже принадлежали довольно могущественным правителям, число европейцев, которых бы они привлекли, было очень небольшим. Там не возникало ни городов, ни больших государств, вместо этого строилась укрепленная фактория, которая либо включала в себя поселение, либо, когда со временем оно расширялось, управляла им. Испанские и португальские колонии в Южной и Центральной Америке всегда управлялись представителями короны, тогда как британские колонии Северной Америки вскоре освободились от концессионеров. Не так было с факториями, которые были расположены на берегах Африки и Азии и которые на протяжении веков управлялись различными колониальными компаниями, назначавшими своих руководящих сотрудников на губернаторские посты. Конечно, эти компании часто получали поддержку правителей — в частности, португальская экспансия началась как королевское коммерческое предприятие и долгое время оставалась таковым. Однако, строго говоря, они никогда не были тождественны правительству своей страны и необязательно подчинялись ему, о чем свидетельствует тот факт, что хартия голландской Ост-Индской компании характеризует компанию как «суверенную».

Как упоминалось выше, между 1600 и 1715 гг. Ост- и Вест-Индские компании Голландии, Великобритании и Франции часто вступали друг с другом в вооруженные конфликты, в то время как правительства их стран находились в мире друг с другом, и наоборот. Даже после того как все это прекратилось, компании продолжали содержать собственные бюрократические аппараты и собственные армии. И те, и другие оплачивались из денежных средств компаний, хотя их персонал и государственные служащие часто были взаимозаменяемыми, поскольку чиновники, командиры, офицеры и даже целые войсковые части переводились из одного подчинения в другое на основании аренды или купли-продажи. На протяжении долгого времени уже после того, как европейские государства начали создавать обезличенные бюрократии, и даже после того, как в результате Французской революции были уничтожены остатки феодализма и введено понятие *levee en masse,* сохранялась традиция, по которой

европейские заморские колонии управлялись частными предприятиями. Процесс перехода лучше всего прослеживается на примере Британской Индии, несомненно, самой большой и значимой из всех колоний. Ост-Индская компания была основана в 1599 г. как исключительно частное коммерческое предприятие. С 1770 г. она подлежала парламентскому надзору, а ее глава Роберт Клайв был обвинен в коррупции. В 1773 г. согласно Акту о регулировании было установлено верховенство парламента над компанией и был назначен первый королевский губернатор Уоррен Гастингс. В 1813 г. компания потеряла свою монополию на торговлю. В 1834 г. ее превратили в управляющее агентство британского правительства; после восстания сипаев 1857 г. Индия стала британской коронной колонией, не имеющей самоуправления. В 1873 г. компания, лишившись своих функций, была распущена, и в 1876 г. королева Виктория была провозглашена императрицей Индии.

Если переход от коммерческой собственности к государственному управлению был длительным процессом, то территориальная экспансия продолжалась еще дольше. С того момента, как Васко да Гама разнес в щепки индийские джонки, которые пытались его преследовать, превосходство европейцев в техническом оснащении проявлялось, главным образом, на море[797]; это объясняет, почему голландцам удалось подчинить себе Индонезию (хотя только в середине XVIII в. они установили прямое управление на внутренних территориях), точно так же, как французы и англичане господствовали на островах Карибского моря. А вот там, где не было островов, экспансия в глубь суши обычно проходила очень медленно. Например, основание первого британского форпоста на индийском субконтиненте датируется 1611 г., когда была создана фактория в Мазулипатаме. К 1700 г. их стало четыре — форт Сент-Джордж, Бомбей, Калькутта и Мадрас — но в распоряжении каждого было только такое количество земли, которое находилось в пределах «дальности артиллерийского выстрела»[798]. Прошло еще 60 лет, прежде чем было преодолено противодействие со стороны французов и голландцев, и после целой серии войн мощь империи Великих Моголов была сломлена, и вся страна попала под контроль завоевателей. Подобным же образом попытки испанцев и португальцев обосноваться на побережье Северной Африки начались в конце XIV в., а постоянный форпост Сеута был основан в 1415 г. В 1471 г. другой анклав — Танжер — попал под европейское владычество; однако попытки Карла V захватить Бизерту провалились. Только в 30-е годы XIX в. начались действия французов по захвату Северной Африки, номинально

являвшейся частью Оттоманской империи, но на самом деле поделенной между большим числом соперничающих эмиратов. Не считая Индии, широкая экспансия в Азию началась еще позднее.

К 1914 г. техническое превосходство европейцев, отныне заключавшееся в наличии не только кораблей и ружей, но и пароходов (которые дали возможность проникнуть в глубь континента по судоходным рекам), железных дорог, телеграфа и хинина[799], привело к разделу мира между небольшим числом соперничающих государств. Путь проложила Великобритания, которая на пике могущества смогла раскрасить розовым цветом одну четвертую земного шара. За ней шли Франция и Россия, которая с начала XIX в. оккупировала огромные азиатские территории, принадлежавшие ранее Турции и Персии, таким образом подчинив царю большое число мусульман. Из других колониальных держав Португалия и Голландия оставались примерно в том же положении, что и прежде, практически ничего не потеряв и не приобретя после 1820 г. Испания, уже лишившись к тому времени Латинской Америки, потеряла большую часть своих владений, отдав их США в ходе испано-американской войны 1898 г., мало что сохранив, кроме испанской Сахары. Германия и Италия, поздно вступившие в игру, завоевали несколько уголков в Африке и на Тихом океане, по большей части не имеющих особой ценности, а Бельгия, из-за разногласий с остальными державами, смогла прибрать к рукам огромный и очень ценный с экономической точки зрения кусок Центральной Африки. О напористости империализма того времени свидетельствует тот факт, что даже самые сильные политические образования за пределами Европы, такие как Оттоманская и Китайская империи, а также Иран, потеряли свои обширные территории и оказались на волосок от распада. Кроме них только три страны избежали такой участи: Япония и Эфиопия (последняя — до 1935—1946 гг.) — в основном своими силами, а также Таиланд, поскольку англичане и французы, занявшие Бирму и Индокитай, предпочли сохранить его независимость в качестве буферной зоны.

Хотя системы управления новыми владениями, установленные колониальными державами, различались, в их числе можно выделить два крайних случая; большинство, как это обычно бывает, занимало промежуточное положение. Один из них представляет собой метод, применявшийся бельгийцами в Конго, известный как прямое правление[800]. Первоначально Конго просто было королевским имением, поскольку король заплатил из собственного кармана за исследование территории и боролся

за признание его владений остальными державами[801]. В 1908 г., после того как в отчетах, приходивших из Африки, владения были охарактеризованы как «настоящий ад на земле»[802], разразился международный скандал, и земли были переданы под контроль государства. На пике империи Бельгия имела в Африке около 10 тыс. государственных служащих, а также еще большее число предпринимателей и духовных лиц; первые две группы были в некоторой степени взаимозаменяемы, поскольку некоторые чиновники, уволившись еще будучи довольно молодыми, начинали заниматься частным бизнесом. Каковы бы ни были различия между ними, эти три «столпа» действовали совместно, сокрушая любое встречаемое сопротивление самыми жестокими способами, какие только возможно вообразить, к числу которых на раннем этапе относилось даже отрубание рук. Поступая таким образом, они эксплуатировали местное население, не предоставляя ему совершенно никаких политических прав. Бельгийские бизнесмены нанимали конголезцев на работу на своих плантациях и шахтах. Бельгийские чиновники применяли силу, чтобы удерживать их на своем месте (а также обеспечивали выполнение всех видов *corvees*[803], такие как построение дорог), а бельгийское духовенство пыталось умиротворить всех, обещая местным жителям лучшее будущее в ином мире, если они будут слушаться своих земных хозяев.

Случай, противоположный бельгийской системе, представляла собой британская система в Африке, нередко называемая системой непрямого управления. Ее предложил лорд Лугард во время его губернаторства в Нигерии в 1912 — 1918 гг., который представил ее классическую формулировку в своей работе *Dual Mandate in British Tropical Africa*[804] (1922). Эта система гораздо больше полагалась на вождей аборигенов, при необходимости создавая их, где, как это было в племенах без правителей Восточной и Южной Африки, их раньше не существовало. Вожди, как старые, так и вновь назначенные, были лишены важнейших правительственных функций, таких как право объявлять войну, заключать мир и вершить высший суд[805]. Англичане также пытались подавить местные обычаи, такие как «божий суд», которые они находили «отвратительными». В остальном они предоставляли вождям возможность управлять своим народом в соответствии с традициями, их даже официально назначали служащими короны, платили им жалованье и придумывали различные символы, чтобы подчеркнуть почтение, которое им надлежало выказывать. Система была дешева в использовании, на 70—100 тыс. местных жителей обычно требовался лишь один белый управляющий; как

мог бы сказать Уинстон Черчилль, который некоторое время занимал пост секретаря по делам колоний, никогда еще столь немногие не держали в подчинении столь многих столь малыми средствами. Еще одним значительным преимуществом было то, что для выяснения обычаев аборигенов, англичане в 20-е и 30-е годы XX в. провели многочисленные исследования, результатом которых стал ряд выдающихся работ в сфере антропологии за все время существования этой науки.

Независимо от того, какой способ избирали колониальные державы для управления своими владениями, все они в итоге вызвали ослабление местных институтов. Иногда это делалось намеренно, по мере того как вождей лишали власти, а иногда и физически уничтожали, и племена оказывались под руководством европейцев во всех важных вопросах; но по большей части это было результатом экономического давления. Стремясь извлечь выгоду из своих колоний или хотя бы покрыть расходы на управление ими, каждая новая администрация вводила налоги. В сообществах, где деньги раньше практически не использовались, эти налоги должны были выплачиваться только наличными, что вынуждало население, привыкшее к натуральному хозяйству и бартеру, приспосабливаться к требованиям денежной системы путем торговли или работы за заработную плату. Когда европейцы, лишив аборигенов их земли, занялись разработкой месторождений и организовали коммерческие плантации для выращивания таких культур, как чай, кофе, каучук или конопля, они создали спрос на труд. Часть рабочей силы оставалась в сельской местности, но большинство перебралось в городские коммерческие и административные центры, основанные белыми колонизаторами. Оторванные от своих деревень, многие азиаты и африканцы превратились в почти полностью нищие и неуправляемые массы. Не считая дисциплины, которая поддерживалась на рабочем месте (для тех, у кого была работа), члены этих людских скоплений, подобно жителям трущоб в Латинской Америке, сталкивались с правительственной властью лишь во время эпизодических рейдов, которые полиция устраивала в их жалких обиталищах. Во всех остальных случаях эти две стороны были только рады оставить друг друга в покое, жить в отдельных кварталах, состоять в разных организациях (если вообще состоять) и, за исключением обращенных в христианство, молиться разным богам.

Помимо разрушения традиционных общественных структур, почти все колониальные администрации создавали новые элиты (печально известным исключением была бельгийская администрация, которая сделала невозможным для местных

жителей получение какого-либо образования, кроме начального). Часто первым шагом на пути к вестернизации был приход миссионеров, которые обучали чтению, письму и арифметике, а также знакомили с элементарными западными социальными и культурными понятиями. Кроме того, молодые деревенские жители, часто родственники вождя, получали определенную юридическую и административную подготовку, чтобы помогать старейшинам вершить такой суд, который правители колоний считали приемлемым. В частности, в британских колониях аборигены, получившие европейское образование, часто возвращались домой в роли учителей. Других брали на низшие посты в системе государственной службы. В Индии первые отдельные случаи такого рода имели место уже в середине XIX в., и к 1909 г. Вице-королевский Совет даже был вынужден принять в свои ряды первого представителя-индийца. В Северной

Африке и бывших владениях Оттоманской империи этот процесс начался в мирное время, тогда как в других странах он стал разворачиваться только после 1945 г. Наконец, аборигены могли отправиться в метрополию и получить европейское образование — во всем мире не было более престижного статуса, чем «возвратившийся из Англии». Обычно этой привилегией могли пользоваться сыновья очень богатых жителей колоний — либо вождей, которые смогли сохранить свою власть, либо купцов, которые использовали появившиеся новые возможности. Однако всегда были такие, кто каким-то образом попадал в европейскую метрополию, работали там или занимались попрошайничеством. Хорошим примером был Хо Ши Мин, живший в Париже с 1917 по 1921 г. и поочередно бывший то садовником, то дворником, то официантом, то фото-ретушером и даже кочегаром. Другим примером был Йомо Кеньятта, который приехал в Лондон, чтобы выразить протест против британской оккупации его страны, и остался там для изучения антропологии.

По мере того как различные государства установили свою прямую власть в заморских владениях своих компаний, империализм обзавелся новой идеологией. С 1500 по 1800 г. идеологическое основание по большей части сводилось к несению слова Божьего язычникам, с одной стороны, и получению прибыли, с другой; но ни один из этих мотивов не могли принять современные светские государства, носящие публичный характер. Соответственно, в период между 1840 и 1890 гг. стали формулироваться так называемые цивилизаторские миссии[806]. Просветительские идеи о равенстве людей, не говоря уж о том, что «благородный дикарь» мог бы подавать пример коррумпированной цивилизации — были выброшены за борт. Их

заменили дарвинистские представления о «дорогих» и «дешевых» расах; как сказал сенатор США Альберт Беверидж (1862 — 1927), имея в виду жителей только что захваченных Филиппин: «Бог создал нас знающими толк в управлении государством, чтобы мы осуществляли это управление над дикими и рабскими народами»[807]. Такой образ мысли, ставший популярным после того, как Редьярд Киплинг написал о «бремени белого человека», господствовал в начале XX в., сохранялся во время Первой мировой войны и даже позже. В конце концов, он привел к возникновению системы мандатов, впервые предложенной Яном Сматсом в 1918 г.[808] и официально принятой Лигой наций. Бывшие оттоманские и немецкие владения на Ближнем Востоке, в Африке, Китае и Тихом океане, где местное население считалось неготовым к независимости, были переданы под якобы благожелательное попечительство Великобритании, Франции, Бельгии, Южной Африки, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Их задачей было взращивать их до тех пор, пока они не встанут на ноги; ежегодный отчет о достигнутом прогрессе необходимо было представлять постоянной мандатной комиссии. Нет необходимости говорить, что во многих случаях способы, с помощью которых управляли этими и другими колониями, почти не изменились в межвоенный период. И все же, по крайней мере в теории, изменился смысл и оправдание этого управления, что, в свою очередь, отражало сомнения, которые испытывали многие люди в странах-«опекунах» по поводу справедливости колониальной системы в целом.

В долгосрочной перспективе замена частного владения на государственное управление, с одной стороны, и появление грамотной местной элиты, получившей образование в Европе, с другой, поставили колониальные администрации в невыносимое положение. Независимо от формы правления — монархической или республиканской, авторитарной или демократической — у себя те или иные государства считались включающими как правителей, так и управляемых; но в колониях оказывалось, что они управляли людьми, которые ни в коей мере не были инкорпорированы в государство, тем самым, вступая в противоречие с самим принципом, на котором основан институт государства. Из всех имперских правительств только Россия пыталась разрешить эту проблему. Ленин и его сторонники были атеистами и коммунистами. Придя к власти, они заявили, что различия по религиозному и даже расовому признаку, которые разделяли различные регионы бывшей царской империи, менее важны, чем их единство, которое, по их мнению, основывается на международной солидарности пролетариата[809]. Теоретически

каждая нерусская страна, входившая в империю — в том числе те, которые были ее частью в течение многих веков, как Белоруссия и Украина, — получила право на самоопределение и право выйти из союза; на практике они все были спаяны в одно государство. В результате появился СССР — федеративное государство, если судить по названию, но в действительности бывший полностью централизованным. Однако какую бы ужасную жизнь он ни предлагал большинству своих жителей, по крайней мере в СССР не существовало различий между его гражданами и теми, кто просто подпал под его правление. Напротив, народы провинций, до тех пор пока их не обвиняли в измене, как произошло, например, с крымскими татарами во время Второй мировой войны, зачастую жили лучше, чем население метрополии. Поскольку они находились далеко от центра власти, для них существовала меньшая вероятность подвергнуться террору, чем для тех, кто находился непосредственно под носом у Сталина[810].

В других странах ситуация была абсолютно иной. Зачастую отделенные от своих колоний тысячами миль океана и привыкшие к расизму в отношении обитателей колоний, правительства колониальных держав никогда всерьез не пытались объединиться со своими колониями в общее государство — такая идея в любом случае была бы нелепа, учитывая огромную культурную дистанцию, отделявшую, скажем, голландца от жителя Явы или англичанина от представителя нигерийского племени. С момента основания этих колоний до того момента, как они получили независимость, большинство из них не имело ни общих учреждений, ни общего гражданства с метрополией; в лучшем случае такое гражданство было привилегией, даруемой избранным жителям колоний в качестве награды за выдающиеся достижения в области экономики или культуры. Более того, куда бы ни прибывали белые поселенцы, они обычно жили сами по себе, отдельно от местного населения. Межрасовые браки, если прямо не запрещались, то во всяком случае не приветствовались, а дети от смешанных пар обычно не принимались ни тем, ни другим сообществом, и к ним относились как к отбросам общества. Местное население считало, что правительство и его учреждения поддерживают привилегированное меньшинство, которое стремится эксплуатировать их, их землю и природные богатства. Навсегда останется неизвестным, могла ли политика интеграции, вроде той, что с опозданием была предложена французами после 1945 г. (хотя никогда всерьез не проводившаяся в жизнь), превратиться в настоящее сотрудничество между метрополией и ее колониями и изменить весь ход истории, сохранив те или иные империи. Однако, судя

по распаду Советского Союза, начавшемуся в 1989 г., можно предположить, что ответ на это вопрос был бы отрицательным.

В Азии первые националистические волнения произошли еще до начала Первой мировой войны. Так, на Филиппинах Националистическая партия одержала сокрушительную победу на выборах 1907 г., выведя страну на твердую дорогу к обретению со пременем независимости; в Индии первый Национальный конгресс был созван в 1885 г., и некоторые индийцы с 1910 г. стали получать право голоса на выборах в местные представительные органы. В отличие от ранних попыток вождей сопротивляться порабощению их племен и попыток племен не допустить экспроприации и эксплуатации их земель, ранние националистические движения возникали преимущественно в городах и возглавлялись хорошо образованными и хорошо владеющими словом лидерами: так было в Египте, оккупированном Великобританией в 1882 г., так же обстояло дело во французских колониях в Северной Африке. Эти движения были в большей степени результатом попыток модернизации, чем традиционных способов самозащиты, хотя во многих случаях они сознательно апеллировали к местным культурным ценностям, пытаясь найти символы, которые могли бы сплотить менее образованные массы. Пока городская элита «играла мускулами», сельское население, которое очень часто было предоставлено самому себе, если только поддерживался порядок и платились налоги, переживало стагнацию. Здесь политически организованная оппозиция — в отличие от религиозной, а также от отдельных актов мести, направленных против белых поселенцев и их союзников, — начала складываться значительно позже.

Ранние националистические движения принимали форму дискуссионных обществ, газет и агитации — все это тщательно отслеживалось полицией и нередко заканчивалось арестами, ссылкой лидеров, а иногда и кое-чем похуже. В 1904—1905 гг. ониполу-чили мощный стимул после победы Японии над Россией, отозвавшейся во всем колониальном мире, как вспышка света в темноте. Япония, «открытая Западу» с 1853 г., быстро превратилась в со-временное государство. К середине 70-х годов XIX в. она имела парламентскую систему правления, независимые суды, функционирующий бюрократический аппарат и вооруженные силы, основанные на всеобщей воинской обязанности, а также систему образования, которая вскоре увидела свою миссию в распространении яростного национализма и культа императора. Триумф Японии послужил ясным доказательством того, что белая раса не является

непобедимой и что ее можно победить там, где это имеет самое большое значение, а именно на поле битвы. Вскоре после этих событий началась Первая мировая война. В армиях Франции и Великобритании служили тысячи индийцев, северо-африканских арабов и африканцев; более того, десятки тысяч китайских и вьетнамских рабочих отправлялись в Европу, где они трудились в тылу.

Возвращаясь в свои страны после войны, многие из этих людей не удовлетворялись просто работой на прежнем месте в качестве слуг своих хозяев-колонизаторов. Со временем они стали источником, из которого черпали силы националистические движения.

Когда сами себя назначившие представители различных народов колоний захотели представить свои требования перед Версальской конференцией — которая, в конце концов, официально основывалась на праве наций на самоопределение — их надеждам не суждено было сбыться. Франция и Британия, игравшие главную роль на конференции, решительно отказались обсуждать судьбы своих собственных империй. США, хотя и настроенные несколько более сочувственно, не хотели идти против своих союзников ради тех, кого позже стали называть народами «третьего мира»; оставалась Россия, которая в тот момент находилась в состоянии гражданской войны и в любом случае не была представлена в Версале. Эти люди (одним из них был Махатма Ганди) , голос которых так и не был услышан, вернулись на родину, где вскоре возглавили разнообразные националистические движения. Некоторые из них придерживались правой, другие — левой ориентации; со временем, когда власть коммунистов в СССР укрепилась, многие из них стали получать помощь от Советов в виде предоставления советников, обучения и оружия. Во многих колониальных странах период между мировыми войнами был отмечен агитацией, демонстрациями, бойкотами и бунтами, как это было в Индии, Бирме и Индонезии. Здесь и там вспыхивали вооруженные восстания: в Ирландии в 1920—1922 гг., в Палестине (она была оккупирована Великобританией в 1917—1918 гг. и позже преобразована в подмандатную территорию) в 1919 —1922 и 1936—1939 гг., в Египте в 1919 г., в Марокко в 1921 —1926 гг. и в Сирии в 1926 г.

До 1939 г. единственным явным примером, когда колониальная страна сумела избавиться от своих хозяев, была Ирландия, хотя в глазах некоторых этот успех не был полным, поскольку Ольстер предпочел остаться под британским правлением. Кроме того, некоторые страны получили по крайней

мере номинальную независимость, однако остались под «защитой» иностранных войск; так было с Египтом (договоры 1922 и 1936 гг.), Иорданией (1927), Ираком (1932 г., хотя он был вновь оккупирован англичанами в 1941 г. после восстания Рашида Али) и Филиппинами (которые стали республикой в 1935 г., но были впоследствии оккупированы Японией, не успев продолжить развитие в качестве независимого государства). Индия также встала на путь к независимости; благодаря Акту об управлении Индией (1935) 35 млн человек получили право голоса; в результате этого националистическая партия Индийский национальный конгресс побелила на выборах в восьми штатах из одиннадцати. В других странах подавлялись вооруженные восстания, хотя порой это можно было сделать только с помощью крупных вооруженных сил — например, франко-испанская армия, которая в итоге победила Абд аль-Карима, насчитывала не менее четверти миллиона[811] — и ценой большого кровопролития. Как оказалось, триумф легионов Муссолини, использовавших танки, а также ядовитый газ, который применялся с самолетов для удушения босых эфиопских воинов, вооруженных копьями, был последним в своем роде. После этого ветер переменился. Начиная с 1941 г., вооруженные силы развитых стран, какими бы они ни были мощными и жестокими, терпели одно поражение за другим, столкнувшись с народными восстаниями в оккупированных ими странах; но мы еще вернемся к этой теме в главе 6.

Однако самым главным фактором, который действительно повернул ход истории против империализма и способствовал основанию множества новых государств в Африке и Азии, была Вторая мировая война[812]. В Африке война привела к окончательному исчезновению итальянской империи (речь идет о территориях как на средиземноморском побережье, так и на побережье Восточной Африки) и временной оккупации войсками союзников всей территории французской Северной Африки. В Азии Филиппины, Гонконг, Индокитай, Малайзия, Сингапур, Бирма, Борнео, Индонезия и Новая Гвинея были оккупированы к лету 1942 г. Японские завоеватели сами, конечно, были азиатами и утверждали, что они действуют во имя «создания великой восточноазиатской зоны всеобщего процветания». То, что что утверждение хотя бы отчасти вызывало доверие, доказывает hit факт, что везде, где бы ни появлялись их войска или только ожидалось их появление, они обнаруживали, что часть лидеров и местного населения готовы сотрудничать с ними. Это относилось даже к Китаю, где, несмотря на все совершенные ими жестокости, они также создали новое правительство, альтернативное

правительству Чан Кайши. Продлилось бы это сотрудничество, если бы страны Оси выиграли войну и было установлено японское господство — это, конечно, уже другой вопрос. Как бы то ни было, поражение старых имперских держав, которое иногда завершалось жалкой и получавшей широкую огласку капитуляцией, нанесло сокрушительный удар по их репутации, от которого они так никогда и не оправились.

(Пропуск текста?) меньшей мере, высокообразованную элиту, которая, в свою очередь, облегчила этот переход и в ряде случаев способствовала впечатляющему экономическому росту[813]. Можно даже утверждать, что к концу XX в. ситуация сложилась таким образом, что самые успешные государства находятся не в Европе, откуда пришел этот тип политического устройства, а в Японии, Южной Корее, Тайване и, конечно, Сингапуре. Во всех четырех странах были созданы обезличенные и хорошо дисциплинированные (хотя, с позиции отдельного человека, достаточно авторитарные) бюрократические системы и полицейские организации. Ни в одной из них не существует режим традиционного типа; в частности, в 1995 г. бывший премьер-министр Кореи получил наглядный урок, к чему приводит смешение государственной собственности и своей частной. При некотором везении Китай, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и даже Бирма (если она освободится от своих военных правителей) могут однажды последовать их примеру, хотя большинство этих стран в гораздо большей степени этнически неоднородны и может оказаться, как в случае с Китаем, что они слишком крупны и сложны для того, чтобы ими эффективно управлять длительное время из единого центра[814]. В других странах Азии и Африки ситуация в целом гораздо менее благоприятна. Одной из причин этого является крайнее этническое разнообразие. Старые европейские государства имели в своем распоряжении века для формирования национального самосознания, национального языка (хотя еще в XVI в. жителя Лондона, путешествующего по Кенту, местные жители принимали за француза), национальной культуры и национальной среды общения. В других странах не существовало такого единства; от Филиппин до Эфиопии и от Ирака до Судана попытки создать его часто воспринимались как стремление одной группы установить свою власть, подчинив других. Например, в Индии на основном языке (который сам еще подразделяется на несколько диалектов, говорящие на которых не понимают друг друга) говорит лишь 40% населения. Кроме того, там существует 33 других языка, на каждом из которых говорит как минимум 1 млн человек (на английском, считающемся якобы официальным языком страны,

говорит лишь 5% населения).

Население Пакистана состоит на 55% из пенджабцев, на 20% из синдхов, на 10% из пуштунов, на 10% из муджахиров и на 5% из белуджей; на языке урду, который правительство надеется превратить в официальный язык, говорит лишь небольшое меньшинство. В Нигерии три крупнейшие группы — хауса, йоруба и ибо — все вместе составляют лишь 60% населения, остальные жители поделены не менее чем на 250 этнических групп[815]; в другой части континента — в Эфиопии — существует 76 этнических групп, представители которых говорят на 286 языках[816]. Но рекорд по разнородности, вероятно, побьет Папуа, где население в 2,5 млн человек говорит более чем на 700 разных языках. Считается, что большинство африканских государств «имеют мало общего, кроме своего разнообразия»[817].

Эта разнородность не была создана колониальными правительствами. Напротив, в некотором роде она просто есть результат того, что в странах «третьего мира» институт государства не развился. И все же в той мере, в какой имперские державы часто объединяли территории и народы, не имевшие друг с другом ничего общего (иногда просто проводя линию на карте с помощью линейки[818]), они внесли в это свой вклад. Так было с большей частью Африки в последние десятилетия XIX в. и на Ближнем Востоке после распада Оттоманской империи, когда при установлении границ абсолютно не принимались во внимание этнос и религия, а также давно сложившиеся социальные и экономические модели, такие как миграция. Установив свое правление, различные европейские колониальные администрации сознательно натравливали одну этническую группу на другую, как это делали англичане на Кипре (турки против греков), в Палестине (евреи против арабов), Индии (мусульмане против индусов) и Нигерии (хауса против всех остальных). Даже если это было не так, они часто способствовали возникновению новых контрастов, например между деревнями и развивающимися городами, между христианами и всеми прочими, между вестернизированным образованным классом и теми, кто придерживался своих традиций. Иногда различия в уровне экономического развития среди самих колоний приводили к огромному притоку чужеземцев. Например, ЮАР, которая и так уже была наводнена дешевой рабочей силой, привлекала и продолжает привлекать множество людей из соседних стран, таких как Ангола и Мозамбик[819]; то же самое касается некоторых (относительно) благополучных государств Западной Африки. И все это — даже без учета различных белых и индийских, а также — в большей части Юго-Восточной Азии —

китайских меньшинств, которые иногда бывали значительными и часто доминировали в экономике даже при небольшой численности. К моменту достижения независимости то, каким образом новые государства должны были преодолевать эти трудности и эффективно функционировать, оставалось загадкой.

В действительности во многих странах эта загадка вскоре была разрешена. После того как энтузиазм первых лет поутих, оказалось, что многие, если не большинство населения, оставались привержены своим собственным институтам, а именно — разветвленной системе кровно-родственных отношений (поскольку самые главные вожди, остававшиеся с колониальных времен, систематически отстранялись от власти)[820]. В других случаях, покинув родину и устремившись в быстро растущие города, они оставались практически совсем без институтов. В любом случае, какими бы высокопарными ни были его претензии, и какими бы красочными ни были символы, которыми оно украшало себя, государство оставалось практически не имеющим никакого отношения к их жизни. На фоне почти всеобщей неграмотности зачастую сама идея абстрактного единства было непостижима — тем более, что представления о политической власти по-прежнему были тесно переплетены с традиционными понятиями о власти религиозных и магических авторитетов, которые были ближе к повседневной жизни, чем государственные бюрократы.

Сами бюрократические структуры в том виде, в котором они существовали, были насквозь коррумпированы[821]. Некоторые из служащих имели западное образование, и в результате они настолько были оторваны от остального народа, что общение между ними было затруднено, если не вообще невозможно. Другие воспринимали свое положение в первую очередь как средство выполнения своих обязательств перед родственниками — такое отношение не только не осуждалось, но и зачастую разделялось и активно поддерживалось всем обществом или, по крайней мере, теми его сегментами, которые извлекали из этого выгоду. Получавшийся к результате этого политический вакуум приводил к хронической нестабильности. Часто она усугублялась стремлением найти легкие способы ускорить развитие, такие как гигантомания в реализации инженерных проектов (дамб, электростанций, аэропортов и т.п.), создание социалистически или/и коммунистически ориентированной экономики, или и то, и другое одновременно. Иногда все это возлагало на жителей настолько тяжелое бремя, что они выпадали из системы рыночной экономики и возвращались к натуральному сельскому хозяйству на уровне выживания, как .ото происходило в

отдельных регионах Африки. В других случаях это приводило к всплеску незаконной деятельности, такой как контрабанда наркотиков, которая приняла массовый характер в большей части Юго-Восточной Азии и в бывших республиках Советского Союза; и даже к пиратству, как в водах Западной Африки и Юго-Восточной Азии.

Так или иначе, попытки государства вовлечь все население или хотя бы его большую часть в относительно упорядоченную политическую жизнь часто заканчивались неудачей. Поэтому в последние десятилетия практически не было ни одного молодого государства в Азии или Африке, которое не пережило бы какой-нибудь переворот, революцию или жестокий междоусобный конфликт между противоборствующими этническими или религиозными группировками. Во многих странах произошел целый ряд таких конфликтов, в которых племя сражалось против племени, народ против народа, а также зачастую хорошо организованные и знакомые с современной техникой войска против менее организованного гражданского населения[822]. В Конго (Браззавиле), а также в Белизе, Гренаде и на Коморских островах власть правительства была настолько слаба, что его легко могла свергнуть горстка унтер-офицеров или наемников, а затем с той же легкостью его восстанавливал небольшой контингент иностранных поиск, вызванный с этой целью. Другие страны попадали в руки безумцев, таких как Иди Амин в Уганде и «император» Бокас-са в Центрально-Африканской республике. Эти и подобные им личности в других странах вызвали бы смех, если бы они не создали режимы террора и не погубили бы десятки, а иногда и сот-пи тысяч своих соотечественников. С другой стороны, в странах, где была сильна государственная власть, результаты порой были даже хуже: жертвы Мао Цзедуна и Пол Пота исчисляются миллионами.

На этих двух континентах, не считая вышеупомянутых истории успеха в Восточной и Юго-Восточной Азии, существуют лишь два исключения в печальной череде однопартийных, авторитарных, военных режимов и разнокалиберных диктаторов разных цветов кожи, национальности и политической окраски — это Индия и Израиль. Из этих двух государств достижения первого в поддержании почти непрерывной демократической традиции (за исключением периода «тоталитарного» правления в 1975—1977 гг.) особенно впечатляет, если принять во внимание его огромный размер, этническую неоднородность, религиозные различия и крайне низкий доход на душу населения. И все же в настоящее время Индия медленно превращается из единого государства в собрание полуавтономных штатов, тем самым

проходя путь, противоположный тому, по которому в первой половине XIX в. прошли США. В таких штатах, как Бенгалия, Пенджаб и Кашмир, происходили и происходят этнические и религиозные волнения, и некоторые из них носят такой массовый характер, что если бы они происходили в стране, где проживает менее 900 млн жителей, их назвали бы гражданской войной[823].

Израиль также поддерживает демократические традиции в политике. Отчасти потому, что большинство первоначального населения составляли высокообразованные выходцы из Европы, отчасти же потому, что он получал и получает в больших количествах помощь из-за рубежа — ни одна страна за всю историю не получала такого объема помощи — Израиль достиг большего успеха в модернизации, чем любая другая развивающаяся страна, за исключением Сингапура. Однако, даже не считая жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа, которые составляют в общей сложности 2 млн человек, в стране присутствует арабское меньшинство, составляющее около 20% пятимиллионного населения. Вопрос о политической лояльности этого меньшинства в критический момент, особенно ввиду возможного создания палестинского политического образования, отнюдь не однозначен. Так что в долгосрочной перспективе Святую Землю могут ожидать не мир и экономическая интеграция с соседними странами, как надеются некоторые политические лидеры Израиля[824], а к целой серии все более жестоких этнических и религиозных конфликтов.

По мере того как XX в. подходит к концу, большинство новых государств в Азии и Африке являют собой печальное зрелище. В лучшем случае они достигли некоторой стабильности под властью сильного лидера, как в Сирии, Иордане и Ливии, хотя такая стабильность, скорее всего, является временной и едва ли может скрыть глубинные религиозные, экономические и этнические конфликты, тлеющие под спудом. Другие государства раздираются войнами, порой исключительно кровавыми — Афганистан, Шри-Ланка, Сомали, Судан, Руанда, Либерия и многие другие. На территории Алжира, Египта, Турции, Ирака, Ирана, Пакистана, Шри-Ланки, Индонезии и Филиппин действуют партизанские и террористические группировки, деятельность которых достигла таких масштабов, что целые провинции вышли из-под контроля центрального правительства, и их удается сдерживать, если вообще удается, лишь массированным применением вооруженных сил. В других странах понятие «государство» все еще остается пустым звуком; так и не встав на ноги, оно просто прекратило функционировать, как это произошло в большей части Центральной и Западной

Африки[825]. Ввиду этих проблем некоторые даже стали задаваться вопросом, насколько вообще целесообразна модель «одна нация, одно государство», и не могли бы сослужить этим странам лучшую службу другие политические структуры, отличные от тех, которые, в конце концов, были навязаны им извне[826]. Однако если не ограничиваться туманными фразами, конкретная форма этих структур еще никем не представлена. Тем временем многие из этих сообществ продолжают идти своим путем, обходя государство, игнорируя его или превращая в пустую оболочку.

То, что есть у каждого…

Почти за 50 лет, прошедших с 1945 г., общее число государств на нашей планете увеличилось более чем в 3 раза, что привело к их переизбытку, а перед зданием ООН в Нью-Йорке добавился второй ряд флагштоков. Среди новичков некоторые существовали до 1945 г., но не имели членства в ООН по причине их поражения во Второй мировой войне; к их числу относятся Германия, Италия, Япония и др. Однако подавляющее большинство — это страны, которые до недавнего времени не являлись государствами в нашем понимании этого слова, даже в тех редких случаях, когда они не теряли свою независимость и не попадали под власть других стран.

Как было описано выше, распространение государства как института из Западной Европы, где оно зародилось, на другие континенты проходило далеко не равномерно. Хотя самые ранние трансплантаты его политических институтов появились в Восточной Европе и Латинской Америке, по крайней мере до начала XX в. наиболее успешными были те, которые основали англичане в Северной Америке, Австралии и Океании. Как показывает пример Южной Африки, своим успехом они обязаны не какому-то выдающемуся политическому гению, а тому факту, что эти континенты были практически необитаемы, что, в свою очередь, явилось результатом систематического истребления множества туземцев и изгнания остальных. В последнее время добились значительного успеха некоторые государства Восточной Азии — там, где они строились на основаниях в виде этнической однородности, древней культуры, высокообразованной элиты и иногда, как в Японии, чрезвычайно жестко управляемой политической организации[827]. Однако в большинстве других стран дела шли, в лучшем случае, с переменным успехом. Ни в

государствах, появившихся после развала Советского Союза, ни в Латинской Америке, ни в большей части Азии и Африки — нигде правители не имеют особых причин для радости. Проблемы, которые испытывают так называемые развитые страны (Западная Европа, Северная Америка, Япония, Австралия и Океания), во многих случаях довольно серьезны. Проблемы развивающихся стран, включая также большинство бывших советских республик в Азии и Европе, почти всегда еще более глубоки.

О сомнительном характере той ценности, которая часто приписывается понятию «государство», свидетельствуют и другие факторы. Формально все государства равны, но на практике различия между ними огромны, и более того, многие из них велики как никогда. На одном конце шкалы находятся США с площадью в 3680 тыс. кв. миль, населением в 270 млн человек (третье место в мире), ВНП в 8,5 трлн долл., имеющие глобальные интересы и обладающие вооруженными силами, которые позволяют им использовать силу в любой точке земного шара. На другом конце находятся некоторые государства с территорией, измеряющейся в несколько сотен (или даже несколько десятков) квадратных миль, с численностью населения в несколько сотен тысяч человек и меньше, и настолько низким уровнем ВНП, что большинство населения находится на уровне простого выживания[828]. Утеряв в 80-е годы импульс экономического развития, многие государства, чьи представители занимают места в Генеральной Ассамблее ООН, в настоящее время производят ВНП, который недотягивает даже до величины бюджета крупных городов или даже университетов в развитых странах, не говоря уже об обороте транснациональных корпораций. Неудивительно, что правители стран «третьего мира» (и не только) часто приходят к последним с протянутой рукой, стремясь привлечь инвестиции.

Поскольку ни их полицейские организации, ни вооруженные силы не достигли степени автономии и сплоченности, которые необходимы для эффективного функционирования, многие из этих стран не могут поддерживать внутренний порядок, не говоря уже защите во время войн с внешними врагами. Нередко такие организации и силы представляют более серьезную угрозу для собственного правительства, нежели для кого-либо другого. Так, например, обстоят дела в большинстве стран Латинской Америки, а также и в некоторых частях Восточной Азии. Яркий пример: лидеры Таиланда ведут серьезные дебаты о том, должна ли конституция, которая в открытую позволяет военным участвовать в переворотах, также гарантировать населению право оказывать сопротивление таким переворотам. Некоторые государства так

бедны, что они даже не имеют средств послать своих представителей в большинство других государств, которые, в свою очередь, не обременяют себя заботами о том, чтобы иметь там свои представительства. Их система образования едва ли изменилась с 1950 г.[829]; их транспортная система пребывает в состоянии хаоса, государственные границы практически не охраняются, национальная валюта (если таковая существует, поскольку некоторые предпочли или были вынуждены принять валюту своих более могущественных соседей) является не более чем раскрашенными клочками бумаги. На деле, само их существование замечается остальным миром лишь благодаря красочным почтовым маркам, которые выпускают некоторые из них.

Говорить о некоторых из этих государств так, как будто они являются суверенными игроками на международной арене, было бы пародией на реальность. Либо по причине проникновения зарубежных государств, либо из-за того, что они сильно зависят от экспорта лишь ограниченной группы товаров, зачастую судьба их экономики полностью зависит от других, более могущественных государств. Кроме того, в ряде случаев правители, которые живут в президентских дворцах, и часто роскошных, не являются хозяевами сами себе. Они либо работают на наркобаронов, либо на зарубежные разведки, как это часто бывало раньше и, возможно, остается до сих пор в некоторых странах Центральной Америки и Карибского бассейна. В некоторых случаях, особенно на Гаити под властью Дювалье *(pere et fils*[830]*),* в Никарагуа при правлении семьи Сомоса, в Панаме во времена Норьеги и в Кот-д'Ивуаре по властью Уфуэ-Буаньи, не существовало даже четких различий между частным и публичным; не сильно отличалась ситуация на Филиппинах во время режима Маркоса или в Заире, когда им правил Мобуту. Действуя как частные лица, президенты этих стран, их жены, любовницы и дети одновременно являлись крупнейшими бизнесменами. В этом качестве они набирали частные армии в дополнение к государственным, беспрепятственно расхищали государственное имущество и нередко были вовлечены в огромное количество разнообразных законных и незаконных сделок, начиная с рэкета и контрабанды наркотиков и заканчивая контролем над проституцией.

Многие из этих стран в лучшем случае продолжают прозябать, поддерживая относительную стабильность и более или менее сносный уровень жизни, не причиняя особого вреда ни своему населению, ни другим. В худшем случае они страдают от авторитарного правительства и/или хронической нестабильности

и гражданских войн, этнических конфликтов, религиозного фанатизма, партизанского террора и наркотеррора, что, в свою очередь, свидетельствует о неспособности правительств этих стран контролировать отдаленные и отсталые сельские регионы, стремительно разрастающиеся городские трущобы, частные армии наркобаронов и популистских лидеров или все вышеперечисленное. Некоторые из этих конфликтов, как, например, гражданская война в Нигерии в 1967—1969 гг. и война в Камбодже в 1970 — 1995 гг., привели к смерти миллионов людей. Другие, такие как война в Судане, длятся десятилетиями и превратили целые регионы в пустыню. Поскольку эти страны слишком слабы, чтобы играть в традиционную игру в баланс сил, суверенитет некоторых из них зависит от доброй воли их соседей. Эти соседи вербуют наемников, чтобы вмешиваться в их внутренние дела, помогают в организации переворотов и контрпереворотов, покупают или шантажируют президентов и даже меняют их правительство по своему усмотрению.

По мере того как XX в. подходит к концу, государство — некогда редкая политическая конструкция, ограниченная преимущественно западными окраинами относительно небольшого континента — распространило свое влияние по всему миру. Начиная с Великой французской революции, обозначившей момент его превращения из средства в цель, наличие собственного государства стало предметом чрезвычайной гордости для народов; ради государства они были готовы пойти на любые жертвы, и, если надо, — пролить реки крови. В некоторых регионах, таких как Палестина и Чечня, дела по-прежнему так и обстоят; но во многих других шансы народов основать когда-либо собственное суверенное государство малы. Напротив, как мы и постараемся доказать в этой книге, там, где суверенные государства все еще существуют и имеют долгую историю, они зачастую воспринимаются с угрюмым безразличием или даже враждебностью, что может служить одной из причин того, что они не только не пытаются сохранить свой суверенитет, но и находятся в процессе добровольной уступки его другим политическим образованиям, которые, как предполагается, способны лучше удовлетворять экономические нужды их граждан. Во многих странах момент величайшего триумфа государства может оказаться началом его упадка. То, что есть у всех, может оказаться не так уж ценно.

6. УПАДОК ГОСУДАРСТВА: 1975 г. — ...

Как мы уже говорили, «изобретателем» государства можно по праву считать Томаса Гоббса. С его времени до наших дней одной из важнейших функций государства (как и у всех предыдущих форм политических организаций) было ведение войн против себе подобных. Если бы не необходимость воевать, почти наверняка было бы гораздо труднее добиться централизации власти в руках великих монархов. Если бы не потребности ведения войны, развитие бюрократической системы, налогообложения и даже системы социальных услуг в сфере образования, здравоохранения и т.п., вероятно, происходило бы гораздо медленнее. Как показывает история, создание всех этих служб так или иначе было связано с желанием правителей побудить подданных с большей охотой воевать за соответствующие государства.

Если говорить об экономике, то Банк Англии, первый институт подобного рода, своим возникновением обязан войнам, которые вела Великобритания против Людовика XIV[831]. Появление в начале XIX в. первых современных подоходных налогов также было связано с войной, как и введение института узаконенного платежного средства и его самого знаменитого представителя — американского «гринбэка». Говоря о более поздних временах, ни ранние попытки создать систему социального страхования, ни отказ от золотого стандарта в 1914 г., ни большевистская революция (представлявшая собой попытку установить тотальный государственный контроль над экономикой) — ограничимся только тремя примерами — не были бы реализованы именно в это время и именно в этих формах, если бы не потребность государства мобилизовать свои ресурсы и вести войну против своих соседей.

Не менее важной, чем тот огромный вклад, который война внесла в структуру и организацию государства, была ее функция как эмоционально объединяющего фактора. Знаменитые труды Руссо, Гердера, Фихте, Гегеля и прочих в действительности читались лишь весьма ограниченным кругом людей. Лишь после того, как французское государство после революции учредило *levee en masse* (а позже этому примеру последовали остальные государства), произошла «Великая трансформация», и национализм, всячески поощряемый государством, стал доминирующей идеологией XIX в. Сказанное не значит, что я разделяю взгляды тех, кто полагает, что суверенное государство, не признающее над собой никакого высшего суда, является коренной причиной войны; наоборот, я считаю, что истинная

причина существования войн состоит в том, что мужчины всегда любили воевать, а женщины любили воинов[832]. Однако отсюда следует, что государства могут добиться сильного эмоционального отклика со стороны народа только тогда, когда они готовятся к войне и в ходе нее. В противном случае, если по какой-либо причине они будут вынуждены прекратить эту деятельность, люди перестанут видеть смысл в сохранении большей лояльности к государству, чем, например, к *General Motors* или *IBM*. Это равносильно тому, что значительная часть *raison d'etre*[833] государства будет потеряна.

В первом разделе этой главы мы попытаемся доказать, что, начиная с 1945 г., у государств становится все меньше возможностей воевать друг с другом. Во втором разделе объясняется, каким образом государства, столкнувшись с этой потерей, взяли на вооружение социалистические идеи, направили свои усилия на решение внутренних проблем и построили современное социальное государство (или государство всеобщего благосостояния) лишь для того, чтобы с 1975 г. убедиться, что такая система государству уже не по средствам и, как утверждают некоторые, не является благотворной с социальной точки зрения. В третьем разделе мы рассмотрим, как технологический прогресс, который в период между 1500 и 1945 гг. способствовал упрочению позиций государства, развернулся в противоположную сторону и в настоящее время зачастую ведет к тому, что государство теряет власть в пользу разнообразных организаций, которые либо не имеют территориальной привязки, либо не обладают суверенитетом, либо и то и другое одновременно. В четвертом разделе, опирающемся на идеи, сформулированные в трех предыдущих, предпринимается попытка показать, что многие государства, находящиеся в самых разных уголках мира, как, к примеру, ЮАР и США, уже не так стремятся, да и не способны гарантировать защиту жизни и собственности своих граждан, а потому решение этой задачи все больше делегируется другим организациям. И, наконец, собрав все эти составные части вместе, мы получим возможность заглянуть в будущее.

Отмирание большой войны

Отмирание большой межгосударственной войны, которое продолжается и сейчас, т.е. в последние годы XX в., вызвано, прежде всего, появлением ядерного оружия. С древнейших времен политические организации, вступая в войну друг против друга,

могли надеяться сохранить себя, разбив силы врага и одержав победу; но теперь, предположив, что у побежденной стороны все же останется немного готового к применению оружия, прямой связи между победой и самосохранением уже не существует[834]. Наоборот, нужно принять во внимание, по крайней мере, возможность того, что чем более решительная победа одержана над противником, имевшим в распоряжении ядерное оружие, тем больше угроза выживанию самого победителя. Воюющая страна, столкнувшись с перспективой потерять все (как это было во время Второй мировой войны вначале с Францией и Россией, а затем с Германией и Японией), будет испытывать большое искушение нажать на ядерную кнопку, либо эта кнопка будет нажата в результате распада системы управления и утраты контроля над ситуацией.

Потребовалось много времени, прежде чем стало понятно, что появление ядерного оружия (в конце — и в результате — крупнейшего военного конфликта за всю историю) ведет к обессмысливанию войн в будущем. В первые послевоенные годы, по-видимому, только один крупный автор понял, что «абсолютным оружием» невозможно будет воспользоваться[835]; значительное же большинство специалистов, как военных, так и гражданских, предпочитало заниматься поисками способов, с помощью которых это оружие может быть использовано и, более того, *будет* использовано в случае необходимости[836]. Конечно, при этом свою роль сыграли инерция и «уроки» Второй мировой войны, как это всегда бывало, когда люди пытались предугадать формы будущих конфликтов. Пока количество ядерных боеприпасов оставалось ограниченным, их мощность оставалась небольшой по сравнению с образцами, разработанными позже, а последствия применения не осознавались в полной мере, еще можно было полагать, что использование ядерного оружия ничего принципиально не меняет, и характер военных действий не сильно изменится по сравнению с прошлыми войнами. Для людей, переживших *ту* войну, главной чертой «тотальной» войны XX в. была способность государства использовать административные органы для мобилизации огромных ресурсов и создания столь же грандиозных вооруженных сил[837]. Следовательно, вполне естественно было предположить, что эти ресурсы, разумеется, за вычетом тех, которые будут уничтожены сброшенными на них отдельными атомными бомбами, можно будет и дальше мо-билизовывать и бросать в сражение друг против друга[838].

В начале ядерным оружием обладала только одна страна — США, которые применили его для того, чтобы закончить войну

против Японии. Однако «атомный секрет» невозможно хранить слишком долго, и в сентябре 1949 г. СССР провел первое ядерное испытание[839]. По мере того как росло производство и увеличивались запасы ядерных боеприпасов, появились *два* государства, способные причинить друг другу, как стали говорить, «неприемлемый ущерб». Создание водородных бомб в 1952—1953 гг. дало возможность убедиться в безграничной разрушительной силе (мощность самой большой из произведенных бомб в 3000 раз превосходила мощность бомбы, уничтожившей Хиросиму) и сделало перспективы ядерной войны еще более ужасными. В конце Второй мировой войны в наличии имелось только две бомбы, но теперь наступил век ядерного изобилия, когда имеющегося количества ядерных боеприпасов более чем достаточно, чтобы «обслужить» любую мыслимую цель[840]. Впервые человечество оказалось в ситуации, когда при желании оно могло уничтожить само себя. В течение 15 лет после 1945 г. были опубликованы ставшие знаменитыми романы «Обезьяна и сущность» Олдоса Хаксли (1948), «На пляже» Невила Шюта (1957) и «Страсти по Лейбовицу» (1959) Уолтера Миллера. Во всех трех романах описывалось крушение цивилизации после обмена ядерными ударами. Главной идеей этих произведений была необходимость предотвратить это событие любой ценой.

Даже после того как возможные последствия применения ядерного оружия стали очевидны, две ведущие державы усиленно продолжали разрабатывать все более совершенные образцы. Первое устройство было слишком громоздким и тяжелым, так что перемещать его можно было только в специально переоборудованных для этого моделях самых тяжелых бомбардировщиков того времени; однако в 50-е годы были созданы более компактные и легкие ядерные боеприпасы, которые можно было доставлять к цели с помощью легкого бомбардировщика, истребителя, артиллерийского снаряда и даже легкого безоткатного орудия, управляемого расчетом из трех человек на джипе. Вершиной прогресса, если здесь это слово уместно, стали баллистические ракеты. Возможности этих носителей, основанных на образцах, разработанных в Германии во время Второй мировой войны, к 1960 г. достигли того, что водородную бомбу можно было доставить из каждой точки земной поверхности практически в любую другую. В 60—70-е годы точность наведения ракет постоянно повышалась, так что теперь можно было прицеливаться не только по «площадным целям» (т.е. крупным городам), но и по точечным объектам, таким как военные базы, и, если повезет, поражать их. Чудеса компьютеризации привели к появлению ракет с разделяющимися

головными частями *(multiple reentry vehicles — MRV)* и разделяющимися головными частями индивидуального наведения (multiple independently-targe-table reentry vehicles — MIRV); это позволило размещать на одной ракете до десяти боеголовок. Кроме того, баллистические ракеты и более компактные крылатые ракеты теперь можно было базировать на земле (в шахтных пусковых установках или на мобильных железнодорожных платформах), в воздухе и на море, где сотни и сотни ракет размещались либо в подводных лодках, либо на палубах военных кораблей, построенных во времена Второй мировой войны, которые для этой цели специально переделывались.

К примеру, в США количество имевшихся в наличии ядерных боеприпасов выросло с менее 100 ед. в 1950 г. до примерно 3000 ед. в 1960 г., 10 000 — в 1970 г. и 30 000 ед. — в начале 80-х годов, когда за недостатком целей рост остановился. Мощность боезарядов колебалась от менее 1 килотонны (что составляет 1000 т тротила, самого мощного обычного взрывчатого вещества) аж до 15 мегатонн (15 *млн.* т. тротила), хотя со временем появление более совершенных компьютеров и других навигационных средств позволило создать более точные средства доставки и уменьшить мощность «стратегических» боеголовок до всего лишь 50—150 килотонн. С некоторыми изменениями, выразившимися прежде всего в предпочтении более крупных боеголовок и ракет наземного базирования по сравнению с воздушным и морским, аналогичные шаги были предприняты по другую сторону железного занавеса. На пике гонки вооружений между 1980 и 1985 гг. советский арсенал насчитывал примерно 20 000 боеголовок и средств доставки. Как и в Америке, они были связаны обширной и разветвленной системой командования и управления, состоящей из устойчивых к ядерному удару командных центров (некоторые из них находились на борту самолетов), радаров, спутников, средств связи и, конечно же, компьютеров[841]. Их задачей было предупредить о возможной атаке и гарантировать, что силы возмездия будут способны выполнить свою миссию, даже «пережив» ядерный удар.

Путем размещения ядерных сил на земле, в воздухе или на море, а также наращивания их количества, можно было защитить от первого удара сами ядерные силы, по крайней мере, в части, достаточной для нанесения так называемого «второго» удара. Однако этого нельзя сказать о промышленных, городских и демографических целях. Во время Второй мировой войны система противовоздушной обороны (ПВО), полагающаяся на средства радиолокации и сочетающая истребители с зенитной

артиллерией, иногда сбивала не менее четверти бомбардировщиков, атакующих цель: примером может служить воздушный налет американцев на немецкий город Швайнфурт осенью 1943 г. Однако в случае атаки с применением ядерного оружия бессильной оказалась бы даже система ПВО, способная перехватить 90% атакующих самолетов, поскольку цель была бы уничтожена, как были уничтожены Хиросима и Нагасаки, даже если бы прорвался один-единственный бомбардировщик.

С появлением баллистических ракет, летающих со сверхзвуковыми скоростями, и крылатых ракет, летающих так низко, что их невозможно засечь наземным радаром, проблема защиты от ядерной атаки стала еще более трудноразрешимой. С конца 60-х годов, когда появились ракеты-перехватчики, до программы «Звездных войн», провозглашенной президентом Рейганом в 1983 г., были потрачены десятки миллиардов долларов и предложено множество вариантов решения этой проблемы, однако, в конечном итоге, ни один из них не оказался достаточно многообещающим, чтобы получить дальнейшее развитие, и ни одна система не была развернута в сколько-нибудь заметных масштабах. С технической точки зрения, запуск одной ракеты, которая имела бы разумные шансы попасть в летящую баллистическую ракету (хотя значение слова «разумные» в данном контексте довольно сомнительно), представляется выполнимым. Однако как быть с ракетой, несущей целых десять боеголовок, не говоря уже об атаке множеством ракет с целью вывести из строя оборону путем перегрузки?

В отсутствие оборонительных средств, способных эффективно защитить демографические, экономические и промышленные цели, ядерное оружие поставило политиков перед дилеммой. Очевидно, что одной из его важнейших функций (некоторые сказали бы, единственной надлежащей функцией) было предотвращение возможной войны. Прежние военные теоретики во главе с Клаузевицем нередко вообще не упоминали о такой задаче, как сдерживание; теперь же это стало центральной частью стратегии, разрабатываемой в министерствах обороны и изучаемой в «мозговых трестах» и университетах. В то же время, чтобы служить сдерживающим фактором, должна наличествовать готовность к его применению. Более того, оно должно быть использовано «убедительным» образом, но так, чтобы это автоматически не привело к тотальной войне и уничтожению самой применившей это оружие стороны.

На Западе, где ввиду меньшей численности обычных войск верили, что дело может ограничиться «первым применением» ядерного арсенала, поиск решения этой проблемы начался в

середине 50-х годов и продолжался следующие 30 лет. Разрабатывались многочисленные теории, и хотя ни одна из них никогда не была испробована на практике, ретроспективно их можно разделить на три типа. Согласно первой, предложенной среди прочих Генри Киссинджером[842], возможно достижение явной договоренности относительно видов объектов, которые допустимо подвергать ядерным бомбардировкам, а также максимальной мощности оружия, которое можно использовать для их уничтожения. Вторая, известная как стратегия «гибкого реагирования», или стратегия «выборочного применения», также основывалась на идее соглашения, хотя и молчаливого. Ее суть заключалась в надежде на то, что, если НАТО воздержится от использования каких-либо видов ядерного оружия из своего арсенала против тех или иных типов целей, СССР будет придерживаться аналогичных ограничений, и война, таким образом, будет ограничена либо географически, либо по типам целей, либо в обоих аспектах — хотя эти надежды существовали вопреки постоянным заявлениям СССР об обратном[843].

Третье и наиболее ужасающее «решение» проблемы, известное как обезглавливание, было предложено в середине 80-х годов. Его сторонники ясно осознавали всю ничтожность шансов достичь соглашения, явного или подразумеваемого, об ограничении использования ядерного оружия в войне между двумя сверхдержавами; поэтому, с их точки зрения, новые баллистические и крылатые ракеты, ставившиеся в то время на вооружение, должны быть использованы для «обезглавливания» СССР. Под этим подразумевалась серия сверхточных ударов, которые устранят верховное руководство и уничтожат находящиеся в его распоряжении системы командования, управления и связи, тем самым, предположительно, предотвращая возможность эффективного ответного удара[844].

Как показывают две последние стратегии, датируемые 70—80-ми годами, к этому времени апокалиптические страхи, свойственные 50-м годам, до некоторой степени развеялись. Такие романы, как «Третья мировая война» Джона Хэкетта (1979) и «Красный шторм поднимается» ТомаКленси (1984) были крайне популярны, не говоря уже о романе последнего «Долг чести» (1994), в котором подразделение американских «комман-дос» послано для уничтожения японской ядерной установки, *поскольку* не исключена вероятность войны с этой страной. В годы, предшествовавшие 1914 г., популярность литературы военной тематики была одним из показателей приближающейся резни[845]. В США во времена Рейгана многие люди приветствовали бы удобный случай испытать чудесное оружие,

имеющееся в их распоряжении благодаря передовым технологиям. Возможно, они действительно пошли бы на столкновение, если бы не сдерживающий эффект ядерного оружия, которое, к сожалению, угрожало положить конец веселью еще до того, как оно по-настоящему начнется; не случайно и «Третья мировая война», и «Красный шторм» заканчивались сразу после применения этого оружия. Какой бы ни была взаимосвязь между реальностью и литературой, на практике попытки штабов разработать стратегии ведения войны с применением небольших бомб и сверхточных средств доставки ни к чему не привели. Сдерживание — по выражению Уинстона Черчиля, «здоровое дитя страха» — одержало верх.

После Карибского кризиса, который на несколько дней в октябре 1962 г., казалось, поставил мир на грань ядерной гибели, сверхдержавы стали особенно осторожны. Последовали такие соглашения, как «Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой» (1963), «Договор о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО, 1968), два «Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений» в 1972 и 1979 гг., и соглашение о сокращении ракет средней дальности и боеголовок, достигнутое в конце 1980-х годов между президентом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым. Подписанию каждого из них способствовали различные обстоятельства, но все они отражали обоюдное желание поставить предел гонке вооружений, а также растущее убеждение, что в ядерной войне не будет ни победителей, ни побежденных. Замковым камнем системы этих договоров стал договор, подписанный президентами Джорджем Бушем и Борисом Ельциным, предусматривающий ликвидацию наиболее точных типов ракет с разделяющимися головными частями (MIRV). Это равносильно признанию того, что идея «ведения войны» умерла, и единственная функция ядерного оружия — сдерживание.

К моменту окончания «холодной войны» число государств, имеющих ядерное оружие, увеличилось с одного до как минимум восьми. Несколько десятков других стран были готовы быстро создать бомбу или, по крайней мере, при желании смогли бы это сделать: от Аргентины и Бразилии до Канады и стран Западной и Восточной Европы, а также Тайвань, обе Кореи (Северная и Южная), Япония, Австралия и, возможно, Новая Зеландия[846]. ЮАР хвасталась, что она создала ядерные заряды, а затем демонтировала их, хотя, разумеется, как значение слова «демонтировать», так и дальнейшая судьба составных частей остались загадкой. Тем временем, благодаря технологическому

прогрессу, ядерное оружие стало доступным любой стране, которая способна производить современное обычное вооружение, доказательством чему служит тот факт, что такие страны, как Китай, Израиль, Индия и Пакистан, годами и даже десятилетиями разрабатывали первое до того, как начать производство второго.

Разумеется, страны, входившие в ядерный клуб, без особой радости встретили вступление в него новых членов. Стремясь сохранить свою монополию, они постоянно выражали опасения относительно роковых последствий распространения ядерного оружия. Их целью было доказать, что они сами являются стабильными и ответственными и не желают ничего, кроме мира; однако по идеологическим, политическим, культурным или техническим причинам к другим странам это не относится[847]. Были созданы некоторые международные механизмы для предотвращения возможности попадания опасных технологий в нежелательные руки, т.е. в страны «третьего мира» (как, например, заключение «Договора о нераспространении ядерного оружия» (1968) и образование Лондонского клуба государств — производителей ядерных материалов, оборудования и технологий (1975)). Однако остановить распространение ядерных технологий оказалось весьма непросто. Если сейчас количество государств, располагающих ядерным оружием, ограничено восемью, то в целом это, скорее, из-за отсутствия желания, а не возможностей потенциальных обладателей ядерной бомбы.

Оглядываясь назад, мы видим, что страхи по поводу распространения ядерного оружия оказались сильно преувеличены. По всему миру количество произведенных устройств достигает десятков тысяч; однако за все 50 лет их существования единственными, использованными по назначению в приступе ярости, остаются те, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Вначале сверхдержавы, которые были достаточно напуганы Карибским кризисом, чтобы устанавливать так называемые «горячие линии» телефонной связи между главами государств; затем их близкие союзники по НАТО и Варшавскому договору, которые подписали различные соглашения с целью предотвратить случайное развязывание ядерной войны; потом СССР и Китай, которые уладили свой пограничный конфликт в 1991 г.; затем Китай и Индия, через пограничную линию которых не было сделано ни одного выстрела с 1961 г., когда они воевали друг с другом; за ними Индия и Пакистан, и, наконец, Израиль и его соседи — каждое государство в конце концов обнаруживало, что владение подобным оружием не означает достижения такой военной мощи, на которую они рассчитывали.

Вместо этого ядерный арсенал обычно играл по отношению к

военным операциям роль сдерживающего фактора. Со временем страх эскалации конфликта уже не позволял этим странам воевать друг с другом напрямую, всерьез и в существенном масштабе. Как показало время, этот процесс возобладал даже там, где во главе одного или нескольких из упомянутых выше ядерных государств стояли абсолютные диктаторы, как в СССР и Китае в разное время; даже когда баланс ядерных сил складывался явно в пользу одной из сторон, как это было с США, которые во время Карибского кризиса имели преимущество над СССР в соотношении 10 к 1 по средствам доставки; даже когда две стороны ненавидели друг друга «дольше, чем любые два народа на земле» (слова премьер-министра Пакистана Зульфикара Али Бхутто), как в случае Индии и Пакистана; и даже когда официальные лица отрицали наличие бомбы, как в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Фактически, можно с большой степенью уверенности утверждать, что где бы ни появлялось ядерное оружие или где бы ни подозревалось его наличие, большая межгосударственная война более или менее значимого масштаба начинала постепенно изживать себя. Более того, любое в той или иной степени значимое государство в настоящее время по определению способно производить ядерное оружие. Поэтому крупномасштабные обычные войны теперь могут вестись только либо между странами третьего и четвертого ряда, либо против них[848].

С тех пор как после 1945 г. военные державы первого и второго ряда поняли, что им все сложнее сражаться друг с другом, не удивительно, что, если посмотреть в мировом масштабе, размер вооруженных сил и количество оружия, находящегося в их распоряжении, резко сократились. В 1939 г. Франция, Германия, Италия, СССР и Япония были способны мобилизовать многомиллионную армию. Процесс достиг кульминации в 1944—1945 гг., когда армии шести основных участников войны (Италия выпала из списка в 1943 г.) в общей сложности насчитывали от 40 до 45 млн человек. С тех пор население земного шара увеличилось в 3 раза, а международные отношения были какими угодно, но только не мирными, и тем не менее численность регулярных войск упала и продолжает сокращаться[849].

Приведем конкретный пример: в 1941 г. во вторжении немцев в СССР, крупнейшей военной операции за всю историю, были задействованы 144 дивизии из примерно 209, имевшихся в распоряжении вермахта; позже, во время советско-германской войны силы, задействованные с обеих сторон, в особенности с советской, были еще больше. Напротив, с 1945 г., похоже, не было

ни единого случая, когда какое-либо государство использовало больше 20 полных дивизий в одной кампании, и этот показатель продолжает уменьшаться. В 1991 г. коалиция, включавшая трех из пяти членов Совета безопасности ООН, направила примерно 500-тысячную войсковую группировку в Ирак, что составляло всего около одной трети тех сил, считая лишь действующую армию, которыми немцы вторглись во Францию еще в 1914 г. К концу 90-х годов армии только двух государств, Китая и Индии, превышали 1,5 млн человек (а в 1945 г. только в США под ружьем находилось 12 млн человек), причем Китай недавно заявил, что полмиллиона из них будут распущены по домам. В любом случае большая часть этих армий, состоящих из слабой пехоты, вооруженной порой ружьями времен Первой мировой войны, годилась лишь для поддержания внутренней безопасности, а не ведения серьезной внешней войны.

Еще более стремительным, чем сокращение численности регулярных войск — а оно было действительно резким, не говоря уже о численности резервистов, — стало падение численности основных видов оружия и систем вооружения. В 1939 г. военно-воздушные силы каждой из ведущих держав насчитывали тысячи самолетов, в 1942—1945 гг. одни лишь США выпускали в среднем 75 000 военных самолетов ежегодно. 50 лет спустя ВВС практически всех ведущих стран находились в процессе быстрого сокращения. Крупнейшие из них, ВВС США, в 1995 г. приобрели 127 летательных аппаратов, включая вертолеты и транспортные самолеты[850]; в других странах этот показатель снизился до десятков, если закупки вообще производились. На море происходила примерно та же история. От бывших советских военно-морских сил, на которые были потрачены огромные средства и которые еще в 80-х годах XX в. могли быть расценены как глобальная угроза, мало что осталось, кроме ржавеющих надводных судов и находящихся в плохом техническом состоянии старых подводных лодок, от которых, по оценкам, исходит постоянная опасность утечки ядерных материалов в море. ВМФ США находятся в лучшем состоянии, но количество авианосцев — самых важных систем вооружения, вокруг которых вращается все остальное, — снизилось с почти 100 в 1945 г. до всего лишь 12 в 1995 г. Не считая США, только у Франции до сих пор есть авианосец со сплошной полетной палубой (в единственном экземпляре); авианосцы (все — явно второсортные), которыми владеют другие страны, можно пересчитать по пальцам одной руки. На самом деле не будет преувеличением сказать, что за одним-единственным исключением большинство государств уже не имеет действующего океанского флота.

Отчасти это сокращение вооруженных сил отражает быстро растущие цены на современное оружие и системы вооружений[851]. Истребитель-бомбардировщик Второй мировой войны стоил примерно 50 000 долл. Некоторые из современных самолетов этого класса, такие как F-151, стоят 100 000 000 долл. за штуку, включая комплект для технического обслуясивания (без которого они не будут функционировать), что, с учетом инфляции, представляет собой тысячекратный рост. И даже это не предел того, сколько могут стоить некоторые воздушные системы вооружения, такие как бомбардировщик «стеле», система АВАКС и радарная система Джей-СТАР, которые производятся, состоят на вооружении и эксплуатируются единственной оставшейся в мире сверхдержавой. По некоторым оценкам, нежелание вооруженных сил США использовать против Ирака свое последнее приобретение, бомбардировщик B-2 ценой 2 млрд долл., возможно, отчасти проистекает из того, что там просто нет целей, ради которых стоит рисковать этим самолетом[852].

Тем не менее не следует придавать слишком большое значение фактору роста цены. Экономика современных стран отличается высокой производительностью и, конечно, позволяет потратить на приобретение военной техники гораздо больше ресурсов, чем тратится сегодня. Таким образом, цены на современные системы вооружений кажутся непомерными только потому, что уровень риска, которому подвергается фундаментальная безопасность государства (обеспечиваемая фактически наличием ядерного оружия и постоянно находящихся в боевой готовности средств доставки), недостаточно высок по сравнению с ними. Подобная интерпретация выглядит весьма правдоподобно и подтверждается сформировавшейся за последние десятилетия тенденцией сокращения масштабов всевозможных производственных программ и растягивания процесса приобретения *ad calendas grecas*[853]. Например, реализация «Манхэттенского проекта» — включая строительство одного из крупнейших промышленных предприятий в истории — и создание первых атомных бомб потребовали менее трех лет, а разработчики сегодняшних систем обычных вооружений хотят убедить нас, что новый бомбардировщик может быть поставлен в строй не раньше, чем через 15 лет. История разработки бесчисленных систем вооружения показывает, что в большинстве случаев производится только часть первоначально запланированного количества, и то лишь после многочисленных задержек, исчисляющихся годами. Причина в основном заключается в отсутствии угрозы, которая заставляла бы резко ускорить начало массового производства, в свою очередь,

приводящего к резкому падению издержек на единицу продукции.

В то же время еще одним объяснением снижения количества производимой и находящейся на вооружении техники является значительное улучшение ее качества, что, как утверждается, делает избыточной огромную численность, имевшую место в прошлом[854]. В этом утверждении есть доля истины. В частности, с тех пор как управляемые ракеты заменили баллистическое оружие в виде старой артиллерии и неуправляемых ракет, количество выстрелов, необходимых для уничтожения конкретной цели, резко уменьшилось; как показала война в Персидском заливе в 1991 г., зачастую удается добиться точности попадания, обеспечивающей соотношение «один выстрел — одна уничтоженная цель». Но, с другой стороны, следует помнить, что для любого современного оружия, за исключением ядерного, может быть разработано и в большинстве случаев уже разработано оружие противодействия. Какими бы простыми или сложными ни были две противостоящие друг другу военные системы (при условии, что технологически они примерно равны), борьба между ними, скорее всего, будет длительной и приведет к глубокому взаимному истощению сил[855]. Учитывая, что более точное оружие должно приводить к более сильному истощению (что и произошло в 1973 г. в арабо-израильской войне и в 1982 г. в фолклендской войне, в каждой из которых использовалась самая современная на тот момент техника), и рассуждая логически, следовало бы ожидать, что государства в конце XX в. должны были бы производить и развертывать больше оружия, а не меньше. То, что этого не произошло, со всей очевидностью показывает, что они уже либо не хотели, либо не могли готовиться к войнам более масштабным, скажем, чем война во Вьетнаме или в Афганистане; хотя даже те поставили на грань банкротства две крупнейших державы — США и СССР соответственно.

Если взглянуть на это под еще одним углом зрения, во время Второй мировой войны у четырех из семи (пяти из восьми, если считать Китай) основных стран-участниц столицы были оккупированы противником. Еще две (Лондон и Москва) были подвергнуты сильным бомбардировкам, и только одна (Вашингтон) избежала всех этих несчастий. С тех пор *ни одной* державе первого или второго класса не приходилось вести широкомасштабных военных действий на своей территории; причины этого слишком очевидны, чтобы их объяснять. В большинстве своем страны, начинавшие войну (или подвергавшиеся нападению), были относительно небольшими и играли относительно маловажную роль на международной арене.

Например, Израиль воевал против арабских государств, Индия против Пакистана, Иран против Ирака, США в начале против Вьетнама, а затем против Ирака и в течение нескольких дней в 1995 г., Перу против Эквадора. Если страны нельзя отнести к маловажным — например, Индия или Китай в период, когда у них не было ядерного оружия, — военные операции почти полностью сосредотачивались на окраинах и никогда не приближались к столице.

Важным результатом этих перемен стало то, что стратегия, которая со времен Наполеона до Второй мировой войны часто подразумевала наступления и отступления на расстояния в сотни миль, теперь оперировала гораздо меньшими масштабами. Например, ни одна армия после 1945 г. не пыталась повторить наступление немцев от реки Буг до Москвы протяженностью в 600 миль, не говоря уже о 1300-мильном советском марше от Сталинграда до Берлина. С тех пор дистанции, которые проходили армии, стали гораздо короче. Не было случая, чтобы они превышали 300 миль (Корея в 1950 г.), обычно ограничиваясь 150 милями и менее. В 1973 г. Сирия и Египет столкнулись с неофициальной ядерной угрозой со стороны Израиля. В результате, как впоследствии признавали некоторые их лидеры, они изначально не планировали продвижения вглубь оккупированной территории более чем на 10 и 5 миль соответственно — столь низко пало когда-то великое искусство «стратегии»[856]. В других местах, при конфликте между ядерными державами, как в случае с Индией и Пакистаном, враждебные действия (оспаривание принадлежности отдаленного и практически не имеющего никакой ценности ледника Сиачен), вовсе не подразумевают каких-либо территориальных продвижений[857].

Не удивительно, что после того как ядерное оружие ограничило возможности войны, в теории войны с использованием обычных вооружений воцарился застой. Теоретики, которые в межвоенный период учили вооруженные силы мира, как воевать с помощью оружия или систем вооружений, основанных на двигателе внутреннего сгорания (Джулио Дуэ, Джон Фредерик Фуллер, Бэзил Лиддел Гарт, Гейнц Гудериан), не имели достойных последователей. Многие думают, что во времена «холодной войны» умы офицеров Генерального штаба в Москве были заняты исключительно мыслью о том, как провести блицкриг образца 1940 г., только в большем масштабе, быстрее и мощнее; и наоборот, что 90% всех разработок НАТО касалось того, как быстро остановить такой блицкриг, а затем, возможно, ответить контрнаступлением, как поступили

англичане в Эль-Аламейне в 1942 г.[858] Тем не менее основные аналитические термины, используемые для понимания крупномасштабных военных операций, — такие как наступление, отступление, прорыв, проникновение, окружение, фронт, линии коммуникаций, внутренние и внешние линии, прямое и непрямое действие, — оставались теми же, что и всегда; в результате «Стратегия» Лиддел Гарта, впервые опубликованная в 1929 г., переиздавалась всякий раз, когда начиналась война с использованием обычных вооружений[859]. Возможно, единственным новым понятием, появившимся около 1935 г., был воздушный десант[860]. Во время Второй мировой войны воздушный десант применялся множество раз (с использованием самолетов, а позднее вертолетов) для высадки войск во вражеский тыл, захвата ключевых пунктов и выведения из строя линий коммуникаций. Однако после Суэцкой кампании 1956 г. ни одна армия не прибегала к выброске сколько-нибудь крупных воздушных десантов; не считая использования в противоповстанческих операциях, эта самая передовая идея (которой, впрочем, уже более полувека) пока остается исключительно на бумаге.

Упадок большой войны между государствами, который начался с появлением ядерного оружия и сопровождался резким сокращением военных структур, также отразился в международном праве и обычаях. На протяжении веков, если не тысячелетий, завоевание и захват новых территорий были важнейшей причиной войн между политически организованными сообществами, включая (после 1648 г.) государства. Именно огнем и мечом Людовик XIV завоевал Эльзас, Фридрих II — Силезию, а Наполеон (хоть и на время) — большую часть Европы; то же можно сказать и о Пруссии, получившей в 1815 г. в результате наполеоновских войн Рейнскую область — территорию, которая ранее никогда ей не принадлежала, а также о США, захвативших огромную часть мексиканских территорий в 1846—1848 гг. Еще в 1866 г. именно в результате войны и последующего подписания мирного договора Пруссия аннексировала некоторые северные германские государства, а Италия отобрала у Австрии Венецию. На протяжении последующего полувека завоевание земель продолжилось в Азии и Африке, где местные общества еще не были организованы в государства, и даже стало происходить более интенсивно. В самой Европе дела обстояли иначе. Здесь распространение национализма — означавшего растущую идентификацию людей с государством, гражданами которого они являлись, — по-видимому, начало приводить к изменениям, сделавшим гораздо

более сложным осуществление и легитимизацию завоеваний.

Ретроспективно, поворотная точка в процессе, который в конечном итоге привел к тому, что присоединение одним государством территорий, принадлежащих другому государству, стало невозможно юридически и практически, приходится на 1870— 1871 гг. Немцы, победив в войне против Франции, как и бесчисленные завоеватели до них, потребовали платы в виде недвижимого имущества. Только что сформированное, но законное республиканское правительство Адольфа Тьера надлежащим образом оформило передачу этой недвижимости победителям, однако вскоре стало ясно, что французский народ не желает ничего отдавать, несмотря на то что подобная процедура неоднократно совершалась в прошлом. Напротив, сам факт, что их завоевали силой, стал причиной того, что Эльзас и Лотарингия были объявлены «священными»; во второй половине XX в. это стало участью *каждой* пяди оккупированной территории, какой бы незначительной она ни была. Поскольку земля стала священной, люди теперь надеялись на *la revanche*[861], отныне превратившегося в патриотический долг каждого француза или француженки, к исполнению которого готовились самым тщательным образом. Как ясно предвидел сам Бисмарк[862], из-за изменения в восприятии границ присоединение этих двух провинций (осуществленное по настоянию Мольтке и генерального штаба) стало его самой серьезной политической ошибкой. С тех пор любое государство, имевшее зуб на Германию, могло уверенно рассчитывать на поддержку Франции.

Идея о том, что полный суверенитет, в том числе и неограниченное право государства на ведение войны, в век современных технологий представляет слишком большую опасность, получила новый импульс к распространению после Первой мировой войны, унесшей 10 млн жизней[863]. Уже начиная с первой половины XVII в. выдвигались многочисленные предложения по ограничению прав государств вести войны против соседей. Предлагалось учредить некую международную организацию, которая стояла бы над отдельными государствами, выступала арбитром в их спорах и посылала войска против нарушителей мира. Не считая Сюл-ли, с подобными предложениями выступали Эмерик Крюсе, аббат де Сен-Пьер, Уильям Пени, Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант, Джон Стюарт Милль и швейцарский юрист Иоганн Блюнчли, — короче говоря, многие ведущие интеллектуалы периода от 1650 до 1900 г. Наконец, в 1919 г. эта идея частично воплотилась в форме Лиги наций. Ее Устав и особенно Статья 10 представляли собой новое

слово в международном праве. Впервые в истории территориальная целостность и политическая независимость государств (иными словами, право не быть подвергнутым завоеванию) были признаны фундаментальной международной нормой.

Следующий шаг был сделан в 1928 г. с подписанием пакта Бриана—Келлога. Страны, подписавшие этот пакт, первоначально разработанный министрами иностранных дел США и Франции, обязались «отказаться в своих взаимоотношениях от войны и качестве орудия национальной политики». В последующие годы к нему присоединилось еще шестьдесят одно государство, и поскольку временного предела не было установлено, с точки зрения юридической техники пакт сохраняет силу и сегодня[865].

Однако эти и другие «международные поцелуи», как их называли критики, взявшие себе наименование «реалистов», не смогли предотвратить развязывание Второй мировой войны, величайшей захватнической войны всех времен. Однако это отнюдь не означает, что в качестве индикатора общественного настроения все это не имело никакого значения. Сразу после окончания Второй мировой войны люди, считавшиеся виновными в ее развязывании, предстали перед судом в Нюрнберге и Токио. Предъявляя им обвинение и новом преступлении, о котором не было слышно со времен Гуго Гроция , а именно, в планировании и ведении «агрессивной» войны, суды, учрежденные союзниками, опирались на пакт Бриана— Келлога[867]. Аргументы защиты о том, что это был обвинительный акт *post facto*[868] за преступление, совершенное в то время, когда оно не считалось преступлением, не были услышаны. Самые главные нацистские и японские военные преступники были осуждены за это и за другие преступления, и большинство из них было казнено. Более того, не прошло и 13 месяцев после окончания военных действий, как запрет на агрессивную войну и применение силы для присоединения территорий, принадлежащих другим суверенным государствам, был записан в Статье 2 (4) Хартии ООН. Со временем, по мере присоединения к ООН все большего числа государств, Хартия стала документом, который подписало наибольшее количество участников за всю историю человечества.

Статья 39 Хартии предоставила право решать, что является агрессией, Совету безопасности ООН, для которого, ввиду разногласий между его членами, эта задача оказалась крайне тяжелой[869].

Тем не менее можно утверждать, что попытка не дать государствам воспользоваться плодами агрессии путем расширения своих территорий увенчалась успехом. Последний

раз международная война привела к аннексии территорий в 1945 г., когда СССР присоединил земли, ранее принадлежавшие Польше (которая, в свою очередь, аннексировала немецкие земли), Германии, Чехословакии и Японии; с тех пор государственные границы оставались практически неизменными. Примечательно, что ни корейская война, ни три индо-пакистанские войны, ни индо-китай-ская война, ни одна из арабо-израильских войн не закончились передачей крупных участков территории одной из сторон; действительно, большинство войн и вовсе не приводило к каким-либо территориальным изменениям. Самое большее, страна могла быть разделена на части и могли быть созданы новые государственные границы. Так, например, произошло в Югославии между 1991 и 1995 гг. То же самое случилось в Палестине в 1948 — 1949 гг., когда Израиль, основанный в соответствии с резолюцией ООН, занял больше территорий, чем ему было предписано по плану раздела. В то время король Иордании Абдалла, который, возможно, действовал по согласованию с Израилем, воспользовался возможностью и захватил территорию площадью около 2000 кв. миль, известную как Западный берег реки Иордан. Впрочем, только две страны в мире признали эту аннексию — Великобритания и Пакистан; в любом случае, эти действия уже официально аннулированы.

В целом же восторжествовала идея о том, что сила не должна использоваться для изменения границ, еще раз подтвержденная Резолюцией ООН № 2734 от 1970 г.[870] До 1945 г. победа в войне обычно вела к капитуляции побежденной стороны, подписанию мирного договора и уступке территорий; теперь же почти без исключений максимум, на что могут рассчитывать захватчики, это на перемирие. К примеру, на Ближнем Востоке сложившееся состояние «ни мира, ни войны», как оказалось, может тянуться десятилетиями; в результате на многих современных политических картах границы отмечены двумя линиями: зеленая показывает государственные границы (которые существовали только в течение первых 19 лет после 1948 г.), а фиолетовая обозначает линию прекращения огня, появившуюся в 1967 г. Действительно, приверженность к *status quo ante*[871] было столь сильна, что она одерживала верх даже в случаях, когда побежденный просто не имел возможности изгнать победителя. Так было, когда Индия заняла несколько тысяч квадратных миль пакистанской территории в 1971 г., а также когда Китай вторгся во Вьетнам в 1979 г.

Более того, упадок большой войны привел к изменениям в связанной с ней терминологии. Практически вышел из употребления целый ряд терминов, таких как «покорение» и

«право на завоевание», которыеещев 1950 г. являлись неотъемлемой частью юридической лексики, употреблявшейся в работе по международному праву, написанной таким высококультурным представителем власти, как официальный советник британского правительства Ее Величества[872]. Из этих двух понятий первое приобрело архаичное, если не сказать странное, звучание. Второе считается, по сути дела, противоречием в терминах, учитывая, что сила, примененная одним суверенным государством против другого, по определению, больше не может быть источником права. Ушли в прошлое и «военные министерства» разных государств, будучи переименованными (все без исключения) в министерства обороны, министерства безопасности и т.п. Разумеется, изменение названия не обязательно означало другой вид деятельности. Как и в прошлые столетия, во многих странах чиновники от «обороны» продолжали планировать и готовить войны, по крайней мере часть из которых носила агрессивный характер. Тем не менее все это подчеркивало растущую силу международного права в вопросе делегитимизации войны, по крайней мере, такой войны, которую одно государство ведет против других.

Вторжение Ирака в Кувейт в 1990—1991 гг. стало еще одним шагом к делегитимизации межгосударственной войны. На фоне меняющихся международных норм столь откровенных попыток оккупировать суверенное государство и стереть его с карты не было, возможно, со времен Корейской войны. Оставляя в стороне вопрос о нефти, неудивительно, что Саддам Хусейн был осужден всем миром; более того, ему не удалось добиться признания аннексии территорий даже от горстки поддерживающих его стран, таких как Куба, Иордания, Йемен и Судан.

Характерно, что государства, входившие в коалицию против Ирака, не стали отвечать объявлением войны по собственному почину. Следуя прецеденту, созданному в Корее в 1950 г., они попросили Совет безопасности ООН (в котором, конечно, их собственное влияние было преобладающим) о предоставлении мандата на прекращение агрессии или, проще говоря, на то, чтобы вышвырнуть иракцев из Кувейта. Как отмечалось в то время[873], правовая процедура, избранная президентом Бушем, поставила вопрос о том, обладают ли сегодня государства по-прежнему правом на применение силы для преследования собственных интересов, или же они должны испрашивать соответствующее разрешение подобно тому, как делали это средневековые князья, обращаясь за подобной санкцией к римскому папе. Как показали последующие события, созданный

прецедент имел определенное значение. Большая часть 1995 г. была потрачена на обсуждение вопроса, имеет ли право НАТО, представляющая собой всего лишь союз суверенных государств, посылать войска в Боснию, не запрашивая мандата ООН. В начале 1998 г., когда США попытались наказать Саддама Хусейна за то, что он якобы препятствовал инспекциям по вооружениям, которым Ирак подвергался в течение предыдущих семи лет, они обнаружили, что начало войны без разрешения Совета безопасности может привести к значительным политическим потерям.

Де-юре и де-факто к концу XX в. межгосударственная война стала уходить в прошлое. Право вести войну, вместо того чтобы оставаться неотъемлемой составной частью суверенитета, было аннулировано за исключением случаев, когда оно использовалось строго в целях самообороны; и даже в тех случаях, когда государства *все-таки вели* войну исключительно в порядке самообороны (и именно с этой целью), им больше не позволялось извлекать выгоду за счет территориальных изменений. Так война потеряла свое основное привлекательное свойство. В то же время, если говорить о ведущих державах, с появлением ядерного оружия ставки значительно выросли; не удивительно, что уменьшилась вероятность войны, по крайней мере между этими государствами.

Что до межгосударственных войн, которые все еще иногда велись, то во всех случаях практически без единого исключения ни численность вовлеченных вооруженных сил, ни масштаб военных операций, ни угроза существованию воюющих сторон даже близко не доходили до уровней, имевших место до 1945 г. От Ближнего Востока и до Тайваньского пролива мир все еще является опасным местом, а на смену старым формам вооруженных конфликтов приходят новые[874]. Тем не менее, по сравнению с тем, как обстояли дела еще в 1939 г., произошли действительно важные изменения.

Отступление «государства всеобщего благосостояния»

По мере того как появление ядерного оружия и распространение новых идей в международном праве приводили к тому, что государство лишалось возможности расширять свои территории за счет соседей, оно направляло свою все еще немалую энергию на решение внутренних проблем. Используя такие инструменты, как статистика, налоги, полиция, тюрьмы,

обязательное образование и социальные пособия, государство распространяло свою власть над гражданским обществом на протяжении веков, навязывая свои законы, уничтожая или по крайней мере серьезно подрывая институты более низкого уровня общности, в рамках которых люди привыкли проводить свою жизнь, и расширялось до тех пор, пока не стало возвышаться над гражданским обществом подобно гигантской башне. Примерно с 1840 г. социалистические идеи, реализуемые на практике, работали в том же направлении и способствовали соответствующим изменениям; затем окончание Второй мировой войны ознаменовало не начало периода расслабленности, но, наоборот, заставило государство удвоить усилия.

На уровне риторики движение к государству всеобщего благосостояния (или социальному государству) началось еще во время войны. И Черчилль, и Рузвельт прекрасно понимали, что жертвы, принесенные трудящимися во имя государства, должны быть как-то вознаграждены; в подписанной ими в начале 1942 г. Атлантической хартии они официально заявили, что «свобода от нужды» — одна из главных целей союзников. В качестве средства современники указывали на огромный рост объемов производства, достигнутый благодаря мобилизации и направлению всех ресурсов на военные нужды. Считалось, что, если хотя бы небольшая часть этих ресурсов будет сохранена в руках государства и использована в общественных целях, можно будет решить или по крайней мере смягчить некоторые наиболее острые социальные проблемы, такие как бедность, безработица (достигавшая особенно впечатляющего уровня в годы Великой депрессии), несовершенная система здравоохранения и недостаточная доступность среднего и высшего образования, которое могло бы стать для многих людей дорогой к лучшей жизни. Опубликованный в Великобритании в 1944 г. план Уильяма Бевериджа указал направление движения и послужил образцом для многих государств в Западной Европе, а также Канады и Австралии и Океании, и открыл дорогу к далеко идущим социальным и экономическим реформам. Лучше всего господствующее настроение выразил австралийский государственный деятель Джон Кёртин, который был премьер-министром этой страны на протяжении всей Второй мировой войны; с его точки зрения, «правительство должно быть в первую очередь агентством, занимающимся улучшением социального положения масс»[875].

В общих чертах для осуществления этой программы требовалось предпринять две группы мер. С одной стороны, необходимо было сконцентрировать в руках государства

значительно больше ресурсов — пусть не в таких масштабах, как во время войны, но во всяком случае намного больше, чем было до 1939 г. С другой стороны, нужно было разработать новые механизмы, которые бы направляли эти ресурсы группам и индивидам, испытывающим в них наибольшую нужду. И та, и другая задача имели одну общую характеристику: чтобы подступиться к ним и тем более решить, требовалось значительное увеличение штата людей, работающих на государство, с соответствующими последствиями в виде создания должностей, возможностей для карьерного роста и расширения власти государства над обществом в целом. Иными словами, с самого начала предложенные реформы имели социальную базу в виде государственной бюрократии и ее многочисленных органов — социального слоя, который на протяжении последующих трех десятилетий окажется в состоянии добиваться реализации своих требований касательно большего вмешательства государства практически во все стороны жизни, причем почти независимо от желания избирателей[876].

На самом деле, первые уверенные шаги по направлению к усилению государственного контроля над экономикой были предприняты уже в межвоенный период. Мало того, что уровень налогообложения не вернулся к показателям периода до 1914 г. (проблема, которая коснулась даже страны, больше всех сопротивлявшейся новым веяниям, т.е. США), так еще и тенденция к национализации промышленности начала появляться в одном государстве за другим. Сильнее всего этот процесс затронул недавно возникшие отрасли и те, которые играли роль в формировании общественного мнения: например, в Великобритании в 1920 г. были основаны *BBC (British Broadcasting Corporation* — Британская радиовещательная корпорация) и Генеральное управление электроэнергии (*General Electricity Board)*, которые вскоре превратились в крупнейшие организации в своих отраслях. В 1931 г. Рамсей Макдональд, придя к власти в качестве первого премьер-министра от лейбористской партии, национализировал Управление транспортом Лондона *(London Transport)*. В 1939 г. путем слияния нескольких частных компаний была создана *BOAC (British Overseas Air Corporation* — Британская международная корпорация воздушного транспорта), вскоре, как и предполагалось, достигшая почти полной монополии в своей отрасли. По другую сторону Ла-Манша Франция последовала британскому примеру в 1936—1939 гг., когда правительство Народного фронта, возглавляемое Леоном Блюмом, национализировало значительную часть железных дорог, производства вооружений и банков.

В качестве дополнительного обоснования усиленного вмешательства государства в экономику разрабатывались различные концепции. С одной стороны, существовала социалистическая и коммунистическая доктрина, восходящая к «Манифесту Коммунистической партии» и «Критике Готской программы», в наиболее полной форме она была реализована в СССР. В межвоенный период во многих европейских странах появлялись отдельные интеллектуалы левого толка, главным образом из среды среднего класса, для которых изменения, внедряемые Москвой, служили путеводной звездой. Испытывая чувство стыда за то, что они называли «бедностью посреди изобилия» (по словам британского писателя Джона Стейси), левые интеллектуалы доказывали, что национализация приведет к повышению ответственности, более справедливым ценам, повышению эффективности, увеличению темпов экономического роста, прекращению или, по крайней мере, сглаживанию делового цикла и положит конец классовой борьбе, которая раздирала капиталистические страны еще со времен промышленной революции[877]. Многие взгляды этих движимых благими намерениями людей из левого лагеря странным образом соответствовали мероприятиям, реализуемым в то же самое время правыми «тоталитарными» режимами Гитлера и Муссолини, хотя, безусловно, в последнем случае расширение государственного контроля над производством и другими сферами жизни (такими как семья в стремлении стимулировать рост численности населения) имело не меньшее отношение к военным приготовлениям, чем к какому-либо желанию «улучшить социальное положение масс».

Если отвлечься от левых и правых идеологий, то, например, в среде профессиональных экономистов дальнейшим толчком к усилению веры в государственное вмешательство послужила знаменитая книга Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936)[878]. В этой книге, написанной во время Великой депрессии, утверждалось, что, вопреки утверждениям Адама Смита и его многочисленных последователей, *совокупное* предложение и *совокупный* спрос автоматически не уравновешивают друг друга. Вместо этого спрос может оказаться запертым в ловушке, где он будет устойчиво ограничивать предложение. Когда люди отказываются тратить деньги, спрос падает, запуская процесс, развивающийся по нисходящей спирали; такое состояние может длиться годами, в результате чего экономика производит лишь малую долю потенциально возможного объема производства, порой вызывая крушение целых обществ. Выступая против традиционного

консенсуса с его упором на сбалансированный бюджет и «твердые» деньги, Кейнс уверял, что государство может исправить ситуацию, искусственно стимулируя спрос. Не имело значения, делалось ли это за счет облегчения кредита, снижения налогов или «дефицитного финансирования» (красивое название, придуманное для запуска печатного станка); в случае необходимости следовало использовать все три метода, вместе или по отдельности. Самое главное — вручить людям наличные деньги, что должно было стимулировать производство, генерировать налоговые поступления для государства и т.д. по спирали, которая, как надеялись, теперь уже всегда будет восходящей.

Каково бы ни было их конкретное происхождение, после 1945 г. все эти идеи в совокупности привели к резкому усилению государственного вмешательства в экономику. Одной из первых на путь к будущему встала Франция. В 1946 г. были национализированы: энергетика, включая электроэнергетику, газовую и угольную промышленность; 32 крупнейшие страховые компании; 4 крупнейших депозитных банка; *Air France,* а также авиастроительная компания *Berliet.* Пойманными в сети оказался еще целый ряд фирм, обвиненных в сотрудничестве с немецким оккупационным режимом, самой известной из которых была автомобильная компания *Renault.* В 1947—1948 гг., после прихода к власти лейбористов, за Францией последовала Великобритания. Были национализированы угольная, газовая, сталелитейная промышленность, общественный транспорт (железные дороги, каналы и ряд автотранспортных компаний), что привело к появлению целого ряда огромных корпораций, названия которых начинались со слова «Британская». В той или иной степени подобные меры проводились и в других странах, таких как Италия, Нидерланды, страны Скандинавии и даже Канада, в которых государственное владение средствами производства было значительно расширено в течение 15 лет, начиная с 1945 г. Среди ведущих стран Запада только в Германии процесс шел в противоположном направлении, поскольку еще во времена Третьего рейха национализация зашла так далеко, что вопрос стоял не о наращивании государственной собственности, а о ее сокращении. Еще в 60-е годы, несмотря на масштабную приватизацию (например, продажа компании *Volkswagen* в 1959 г.), центральному правительству в Бонне все еще принадлежала значительная часть экономики страны, включая 40% угольной и металлургической отраслей, 62% производства электроэнергии, 72% производства алюминия и 62% банковского сектора, не считая центрального банка[879].

В большинстве случаев национализация, имевшая место в 30— 40-х годах, проводилась левыми правительствами по идеологическим причинам и вопреки оппозиции справа. Однако постепенно становилось ясно, что на самом деле такое развитие событий было проявлением долгосрочной исторической тенденции, противостоять которой консервативные правительства оказывались не в силах. Иногда решающим фактором выступала необходимость обеспечения рабочими местами; в других случаях это был вопрос предоставления обанкротившимся компаниям возможности продолжать оказывать необходимые услуги в таких разных отраслях, как транспорт или оборонное производство. Например, в Великобритании новое консервативное правительство во главе с Уинстоном Черчиллем уже в 1952—1953 гг. предприняло попытку передать сталелитейную промышленность в частные руки. Однако этот проект приватизации потерпел неудачу, причем не только потому, что лейбористы пригрозили ренационализацией в случае своего возвращения к власти, но и из-за того, что уже в самом правительственном аппарате появились заинтересованные группы. К 1967 г. *British Rail* («Британские железные дороги») и *British Coal* («Британский уголь») стали крупнейшими работодателями в мире, за исключением США[880]. В Италии именно правящая Христианско-демократическая партия, а не какое-то социалистическое правительство, создала *ENI\Ente Nazionale Idrocarburanti* — «Национальная нефтяная компания») и *EFIM (Ente Partecipazione etFinanzianten-to Industria Manufatturia* — «Общество финансирования и кредитования обрабатывающей промышленности») — холдинговые компании в сфере энергетики и обрабатывающей промышленности соответственно; позже эта же партия стала ответственной за преобразование отрасли генерации электроэнергии в государственную монополию. Опять же именно консервативное правительство Эдварда Хита, а не лейбористы, выкупило обанкротившуюся компанию *Rolls-Royce* в 1971 г. Это случилось в тот же год, когда республиканская администрация во главе с Ричардом Никсоном по очень похожим причинам (а именно из-за угрозы банкротства соответствующих фирм) взяла под свою эгиду сферу пассажирского железнодорожного транспорта на большей части территории США, создав компанию *Amtrak* (Национальная компания железнодорожных пассажирских перевозок).

Хотя после 1975 г. в большинстве стран поступь национализации начала замедляться, в некоторых самое крупное расширение государственного сектора имело место в конце 70-х и даже в начале 80-х годов XX в. В Австрии социалистическое

правительство Бруно Крайски, который находился на этой должности с 1970 по 1987 г., распространило контроль государства на многочисленные предприятия в сталелитейной, химической и горнодобывающей отраслях. Во Франции, которая в течение 23 лет с 1958 г. находилась под властью голлистов, победа Франсуа Миттерана на выборах 1981 г. привела к резкому расширению государственного контроля над всеми отраслями, от горнодобычи и черной металлургии до фармацевтики, химической промышленности, производства стекла, электрооборудования и банковского сектора[881]. Одним из последних примеров может служить Канада, которая в этом отношении больше напоминала Европу, чем США. Здесь в 1984 г. предвыборные соображения и необходимость предотвратить безработицу привели к национализации обанкротившейся рыбной промышленности.

В эти десятилетия тенденция к расширению государственной собственности в промышленности не ограничивалась лишь развитыми странами. Более того, многие развивающиеся страны продвигались в этом направлении гораздо быстрее, считая национализацию основным средством модернизации, а также решением всех социальных проблем. Так, мексиканское правительство за периоде 1940 по 1980 г. основало 111 промышленных предприятий, стало владельцем контрольного пакета акций в 59 компаниях и миноритарным акционером — в 124, из которых 35 оно было «вынуждено» спасать от банкротства[882]. В Чили к 1970 г. государство было единственным или основным владельцем 44 крупнейших компаний, включая генерацию электроэнергии, энергетику и воздушный транспорт; причем это было еще *до* того, как социалистическое правительство Сальвадора Альенде за три года правления установило контроль над 500 компаниями. В Аргентине расширение государственного сектора происходило в основном во время правления президента Перона между 1947 и 1955 гг., что в очередной раз показало, к чему может привести сочетание социалистических и квазифашистских идей. В Бразилии огосударствление осуществлялось военными правительствами, которые управляли страной между 1963 и 1978 гг. и которые вливали огромные средства в отрасли, считавшиеся жизненно важными для национального благосостояния, такие как химическая промышленность, энергетика, производство цемента и вооружений.

Однако эти «достижения» меркли по сравнению с тем, как развивались события в Африке и Азии, где примерно между 1960 и 1975 гг. подавляющее большинство получивших независимость

государств внедряли программы социалистического строительства под сильным влиянием советской или китайской модели. В результате возникло огромное количество однопартийных политических систем, которые управлялись на диктаторской или полу-диктаторской основе. Заявляя, что они освободили свои народы от империалистической «эксплуатации» и теперь мобилизуют имеющиеся скудные ресурсы страны на благо общества, правительства этих стран национализировали (иными словами, захватывали, не предоставляя никакой компенсации) практически все виды коммерческих предприятий, принадлежавших как местным, так и иностранным владельцам, начиная с добычи природных ресурсов и производства электроэнергии и заканчивая управлением общественным транспортом и даже отелями. Например, в Египте в 1974 г. более 75% всей промышленной продукции производилось на государственных заводах[883]. Не избежали этого и малые предприятия, особенно в сельском хозяйстве. От Вьетнама до Танзании зачастую даже крестьяне, едва-едва подняшиеся над уровнем обеспечения собственного потребления, были лишены своей земли (если она вообще им принадлежала) и объединены в сельские общины, поставленные под жесткий государственный контроль.

Пока многие развивающиеся государства также пытались распределять хотя бы минимальные социальные блага в виде бесплатного образования и базового медицинского обслуживания (например китайские «босоногие врачи»), в Западной Европе, Канаде и Новой Зеландии современное государство всеобщего благосостояния достигло настоящего триумфа. К концу 60-х годов в этих государствах бесплатное образование стало доступным как учащимся всех средних школ, так и многим студентам университетов и колледжей. Бесплатное (или, по крайней мере, в значительной степени субсидируемое) медицинское обслуживание охватывало всю жизнь человека, начиная с дородового развития и заканчивая старостью; были введены масштабные программы предоставления государственного жилья и профессионального образования, а также страхования граждан от безработицы, несчастных случаев, болезни и по старости, причем в большинстве случаев эти программы позволяли застрахованному «удержаться на плаву», а порой были необычайно щедрыми. В некоторых странах был установлен оплачиваемый декретный отпуск для матери (и отца), выплачивались детские пособия, предоставлялись бесплатная юридическая помощь тем, кто не мог ее себе позволить, питание и уход для инвалидов и стариков и действовало бессчетное

количество других программ.

В США — самом богатом обществе мира и наиболее ориентированной на свободное предпринимательство стране — федеральные социальные программы практически не получили развития со времен Нового курса. Однако и это государство было вынуждено начать действовать в конце 50-х — начале 60-х годов, когда стали публиковаться результаты многочисленных исследований о том, как живется менее удачливым американцам посреди окружающего изобилия[884]. Когда Эйзенхауэр, заботившийся о сбалансированности бюджета, наконец, покинул президентский пост, администрация Кеннеди начала реформы, призванные исправить сложившуюся ситуацию. Еще больший размах они приобрели при Линдоне Джонсоне, который для своей программы реформ придумал название «Великое общество»; несмотря на склонность республиканцев к консерватизму, контроль демократов над обеими палатами Конгресса обеспечил продолжение реформ при президентах-республиканцах Никсоне и Форде. В целом, это был период наибольшего расширения социальных программ в американской истории. Назовем только самые известные: *Medicare* (бесплатная медицинская помощь пенсионерам) и *Med-icaid* (бесплатная медицинская помощь малоимущим); талоны на льготное приобретение товаров, *SSI (Supplemental Security Income* — «дополнительный гарантированный доход», т.е. выплаты, гарантирующие минимальный уровень дохода престарелым, слепым и инвалидам), *WIN (Work Incentive Program* —программа, предоставляющая взрослым людям возможность получить профессиональную переподготовку), а также множество программ, созданных для помощи определенным социальным группам, от родителей-одиночек до разнообразных меньшинств.

Как в Европе, так и в США (не говоря уже о развивающихся странах) расширение государственных социальных программ вызвало разрастание бюрократического аппарата. Ко второй половине XX в. количество министерств, которое в годы формирования современного государства в XVII—XVIII вв., как правило, не превышало четырех, во многих наиболее передовых странах выросло примерно до 20. К министерствам юстиции, финансов, иностранных дел и военному ведомству присоединились министерства внутренних дел, полиции, сельского хозяйства, транспорта, связи, образования, здравоохранения, труда, социального обеспечения, торговли и промышленности, авиации, энергетики, планирования, науки и технологии, жилищного строительства и туризма. Одни страны считали необходимым иметь отдельное министерство

инфраструктуры. Другие считали, что не смогут обойтись без министерства спорта и досуга, а третьи расширяли кабинеты министров путем учреждения министерства по охране окружающей среды или по проблемам женщин. Количество государственных служащих стремительно росло: например, в Западной Европе за период с 1950 по 1980 г. их доля в общей численности занятых выросла с 11 до 23%,ав США за тот же период — с 9,7 до 15,2%. В 1982 г. наиболее высоким этот показатель был в таких западных странах, как Швеция и Норвегия (по 32%), за ними следовала Великобритания (22%), в то время как Франция и США с их 17% находились почти в самом конце списка .

В связи с необходимостью содержать всех этих бюрократов доля государственных расходов в ВНП достигла величин, не имевших прецедентов в истории, за исключением периодов ведения тотальной войны. Вот несколько конкретных примеров. Во Франции между 1950 и 1973 гг. этот показатель вырос с 27,6 до 38,8%, в (Западной) Германии — с 30,4 до 42, в Великобритании — с 26,8 до 45, а в Нидерландах — с 34,2 до 41,5%[886]. Не удивительно, что в значительной мере этот рост был вызван расширением всевозможных социальных услуг. Между 1940и 1975 гг. их доля в ВНП удвоилась в Германии (которая, благодаря нацистам, вступила в этот период с самой развитой системой социального обеспечения среди стран Западной Европы), утроилась в Великобритании, выросла в 4 раза в Нидерландах и в 5 раз в Дании, где этот показатель подскочил с 4,8 до невероятных 24%[887]. По другую сторону Атлантики в США доля совокупных государственных расходов в ВНП (на федеральном уровне и уровне штатов) увеличилась с 23 до 35,8%. Доля социальных выплат выросла с 8,9 до 20% федерального бюджета. Это означало, что со второй половины 70-х годов даже в стране, более всех на Земле приверженной концепции «здорового индивидуализма», «социальные» расходы с легкостью превратились в самую большую статью государственных расходов.

Как предсказывал Норткот Паркинсон в 1958 г., если этим тенденциям будет позволено продолжиться, то к 2195 г. в Великобритании каждый мужчина, женщина и ребенок будут работать на правительство. То, что этого не произошло, объяснялось в первую очередь двумя факторами, одним внешним и одним внутренним. Внешним фактором стала арабо-израильская война 1973 г. и последовавшее за ней четырехкратное увеличение стоимости энергии[888]. Эти события привели к спаду экономики большинства стран Западной Европы,

который длился на протяжении почти всех 70-х годов; с тех пор примерно до 1981 г. каждый раз, когда министры стран — членов ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти), проводили заседания, мир замирал в ожидании плохих вестей, которые неизменно следовали. Кроме того, наблюдавшееся в этот период усиление конкуренции со стороны стран Восточной и Юго-Восточной Азии, в особенности Японии, угрожавшей вытеснить (а в некоторых случаях реально вытеснившей) целые отрасли, от текстильной промышленности, автомобилестроения до производства фотооборудования и бытовой электроники, также не шло на пользу экономике Западной Европы и Северной Америки. Так или иначе в большинстве стран Западной Европы уровень безработицы в 2—3 раза превысил показатели, считавшиеся нормой в 50—60-х годах[889]. Система выплат, которая прежде позволяла безработным удерживаться на плаву и предоставляла им щедрые льготы, такие как переквалификация и смена места жительства, была перегружена.

Другим фактором, поставившим государство всеобщего благосостояния на грань краха, стал его успех[890]. Были созданы разнообразные программы помощи нуждающимся группам населения: пожилым, больным и позже — матерям-одиночкам, однако вскоре выяснилось, что чем больше льгот предлагалось, тем больше было число тех, кто имел право на их получение. Например, в Германии количество людей в возрасте старше 65 лет возросло с 9,2% населения в 1950 г. до 11,1% в 1961 г., 13,2% в 1970 г. и 15,5% в 1980 г.[891] Поскольку пожилые люди чаще болеют, а также по причине происходившей в эти годы революции в области медицинских технологий стоимость услуг здравоохранения резко выросла[892]; это также объясняет причины того, что «социальные» бюджетные расходы (измеряемые долей в ВНП или в общей величине расходов государственного бюджета) за этот период выросли вдвое[893].

Приведем еще один пример: с 1952 по 1972 г. количество детей в США увеличилось на 41%, а количество тех, кому были положены льготы по программе помощи материально зависимым детям *(Aid for Dependent Children Program, AFDC),* выросло на немыслимые 456%. Учитывая рост числа незаконнорожденных детей и разводов (доля которых в общем числе всех заключенных браков выросла к 1980 г. с 26 до 50%), причина состояла в том, что сегодня большинство детей имеют шансы хотя бы часть времени до своего восемнадцатилетия прожить в неполной семье, только с одним из родителей. В большинстве остальных развитых стран события развиваются по тому же сценарию[894]. В качестве последнего примера можно привести Данию с ее крайне щедрой

системой пособий по болезни (90% от средней зарплаты по отрасли), где обнаружилось, что с 1967 по 1977 г. среднее число дней пребывания на больничном в расчете на одного работника увеличилось в 2 раза[895]. Трудно придумать более яркое доказательство поразительной способности государства всеобщего благосостояния усугублять именно те социальные проблемы, для решения которых оно предназначено. Впрочем, это стало очевидно сразу, как только на рубеже XIX—XX вв. появились первые социальные программы.

От старых привычек трудно избавиться. Пребывая в западне доктрин, господствовавших на протяжении двух с половиной десятилетий, правительства большинства стран, поначалу столкнувшись с этими проблемами, отказывались взглянуть им в лицо. Экспансия государства всеобщего благосостояния, равно как и сопровождавшая ее волна национализации, хотя и замедлились, но по инерции продолжались в первой и даже во второй половине 70-х годов. Так, в Западной Германии существенное улучшение социального обеспечения пожилых людей произошло *после* того, как в 1974 г. Гельмут Шмидт стал канцлером. В Великобритании введение в 1975 г. пособий по беременности и родам произошло в связи с вступлением в ЕЭС, и в том же году европейское государство всеобщего благосостояния достигло своего апогея: были увеличены пособия по безработице, а срок их выплаты увеличился в среднем с 20 до 44 недель[896]. Аналогичным образом в США раздел XX закона о социальном страховании предусматривал такое огромное количество пособий, что с1975 по1977 г. число их получателей выросло с 2,4 млн до 3,5 млн человек, приведя к ситуации, когда почти половина населения получала какие-нибудь пособия[897]. В среднем социальные расходы стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигли почти 25% ВНП[898], что во всех случаях привело к дефициту бюджета и инфляции. Например, с 1969 по 1998 г. федеральный бюджет США *ни разу* не сводился с плюсом (даже сейчас «сбалансированный бюджет», которого добилась администрация Клинтона, скрывает огромную брешь в системе социального страхования). В конце 70-х годов в Италии, Бельгии, Британии, Японии и Западной Германии бюджетный дефицит превышал 5% ВНП[899]. То же самое относится к Швейцарии — всемирно признанному бастиону твердых денег, что привело к росту инфляции с 3,6% в 1979 г. до 6,5% в 1981 г.[900]

Однако к этому времени уже началась реакция. Подвергаясь давлению растущих налогов, с одной стороны, и инфляции — с другой, и опасаясь, что будущее не сулит ничего хорошего, кроме

усиления налогово-инфляционного бремени, в одной стране за другой избиратели стали выражать недоверие государству всеобщего благосостояния и тем, кто его проповедовал. Например, в целях сокращения государственных расходов Канада с 1975 г. начала урезать программу страхования по безработице. В 1977 г. федеральное правительство в Оттаве установило верхний предел финансирования из федерального бюджета программ социального обеспечения в провинциях[901]. С этого времени начинается более или менее постоянное урезание этих программ[902]. В Великобритании строительство государственного жилья прекратилось в 1977 г., т.е. еще при лейбористском правительстве. Годом позже была запущена программа стимулирования перехода граждан с государственного пенсионного плана в частные пенсионные фонды, в результате которой к 1983 г. 45% соответствующих категорий населения осуществили этот переход. В США переломным моментом на низовом уровне, по-видимому, стал налоговый протест граждан Калифорнии в 1980 г., приведший к принятию «Предложения 13» и показавший, что люди сыты по горло постоянным разбуханием государства всеобщего благосостояния. В конце 70-х — начале 80-х годов к власти в Великобритании и Западной Германии пришли консервативные правительства, декларировавшие своей целью осуществить «правую революцию», а в США президент Рейган в своей инаугурационной речи пообещал «взять под контроль и прекратить разрастание государственного аппарата, в котором наблюдаются признаки того, что оно вышло за рамки дозволенного теми, кем он управляет»[903].

С тех пор за редкими исключениями, такими как Норвегия, чья экономика оставалась на плаву благодаря нефтяному озеру, новости, приходившие со всех концов мира, были весьма неблагоприятными для государства всеобщего благосостояния. Для сокращения государственных пособий и услуг применялось множество самых разнообразных методов. Например, практиковалось установление произвольного потолка расходов, что приводило к снижению качества услуг и заставляло людей искать их в другом месте. С целью сокращения числа получателей государственных пособий были введены предварительные проверки наличия средств к существованию у людей, претендующих на их получение. Прямые трансфертные выплаты заменялись налоговыми льготами, от чего зачастую выигрывал средний класс за счет малоимущих семей. Была расширена налоговая база, так что социальные выплаты стали считаться доходом. Сокращались программы предоставления бесплатного жилья, образования и медицинского обслуживания. Вносились

различные изменения в правила допуска к получению пособий (например, такие как повышение возраста выхода на пенсию или ужесточение критериев, дающих право на получение медицинской помощи по программе *Medicaid* в США). Услуги, прежде предоставлявшиеся бесплатно, становились платными. Наконец, субсидии на все, от услуг сферы культуры (высшее образование, музеи, библиотеки, театр, архитектура, музыка) до жилья, общественного транспорта и хлеба, там, где они были, либо отменялись, либо сокращались.

Ко второй половине 80-х годов в развитом мире, кажется, не осталось ни одной страны, которая не реализовала хотя бы некоторые из этих мероприятий. Однако даже там, где сокращения оказались минимальными, нередко снижалось качество предоставляемых услуг. Для этого использовались такие методы, как постоянная инфляция; удлинение очередей, как в случае «второстепенных» хирургических операций, ожидание которых затягивалось на месяцы и даже годы; преднамеренное или невольное запугивание бюрократическими проволочками, чтобы по крайней мере некоторые из тех, кто имел право на пособия, не приходили за ними. Так, по результатам исследования, проведенного в середине 80-х годов, выяснилось, что в Америке овдовевшая мать нескольких детей, один из которых был умственноотсталым, имела право на участие в семи разных социальных программах как на уровне штатов, так и на федеральном уровне. Чтобы получить все эти пособия, она должна была обратиться в четыре различных учреждения, заполнить пять различных бланков и ответить на 300 вопросов. Прежде чем ей будет выплачен хотя бы один цент, только для выяснения уровня ее доходов необходимо собрать не менее 1400 единиц информации[904].

С сокращением социальных программ начал расти разрыв в доходах между богатыми и бедными. Вопрос о том, в какой степени за 30—40 лет действия социального законодательства в наиболее развитых странах удалось достичь основной его цели, т.е. более равномерного распределения богатства, является предметом оживленных дискуссий. При том, что очень сложно получить информацию, достаточную для того, чтобы делать какие-то определенные выводы, представляется, что достижения в этой области весьма невелики[905]. Однако с начала 80-х годов появились ясные указания на то, что все, чего удалось достичь на этом направлении, либо уже утеряно, либо вскоре будет аннулировано. Так, в Канаде, имеющей одну из самых богатых и разветвленных систем социального обеспечения, уровень бедности, постоянно снижавшийся с середины 60-х годов, вновь

начал расти, так что в 1985 г. каждый пятый ребенок жил в бедности[906]. В Великобритании число бедных (которыми считались те, кто имел менее половины среднего дохода по ЕЭС) выросло с 5 млн человек в 1979 г. до 12 млн в 1993 г., а доля ВНП, потребляемая 10% населения с наименьшими доходами, сократилась с 4 до 2,1%[907]. В период с 1977 по 1990 г. в США доля беднейших 20% населения в национальном доходе сократилась на 5%, а наиболее богатые 20% населения стали на 9% богаче[908]. И в США, и в Европе сильнее всех оказались затронуты неквалифицированные рабочие, у которых сокращение предоставляемых государством пособий (например страхования по безработице) сопровождалось уменьшением реальной заработной платы[909]; сначала в США, а затем и в некоторых европейских странах стал наблюдаться рост числа так называемых «работающих бедных». Большинство из них были заняты в сфере услуг, где им не полагались никакие льготы, и даже имея работу и зачастую отрабатывая дополнительные часы, они не могли обеспечить себе достойного уровня жизни[910].

Чтобы оправдать и объяснить происходящие изменения, экономическая доктрина также стала меняться. Хотя сам Кейнс умер в 1946 г., его призрак в виде поколений экономистов, трудившихся над дальнейшей разработкой его последних уравнений, продолжал свой победный марш. Величайшим триумфом Кейнса, наверное, можно считать то, что в 1969 г., серьезно напугав некоторых консервативных членов своей партии, новоизбранный президент-республиканец Ричард Никсон заявил: «Я кейнсианец». Однако век этого триумфа оказался недолог. Энергетический кризис привел к сочетанию инфляции со стагнацией, прежде считавшемуся невозможным, которое быстро окрестили «стагфляцией». С середины 70-х годов стагфляция вынудила экономистов по-новому взглянуть на общепринятую кейнсианскую ортодоксию.

В некотором смысле новые веяния в экономической теории сводились лишь к возврату к прежним пророкам, особенно к Фридриху Хайеку и его так называемой австрийской школе, представители которой на протяжении 50-х годов критиковали доктрины Кейнса с позиций твердых денег[911]. Позже пальма первенства перешла профессору Милтону Фридмену из Чикагского университета. Получивший в 1976 г. Нобелевскую премию по экономике, он больше, чем кто-либо другой, способствовал возникновению монетаризма и так называемой экономической теории предложения. Представление о том, что правительство должно искусственно создавать дефицит бюджета, чтобы стабилизировать деловой цикл, утратило популярность, и

теперь такая политика стала рассматриваться как вредная для предпринимательства и производительности и приносящая только инфляцию. Идеи Фридмена были развиты другим нобелевским лауреатом, профессором Робертом Лукасом и его школой «рациональных ожиданий». Прежде экономисты считали государство и население страны партнерами по общему делу; Лукас же считал их противниками, что было весьма характерно для того времени. Используя теоретико-игровой подход, он утверждал, что государство *ничего* не может сделать для роста экономики[912]. В результате произошло возрождение экономической доктрины, довольно близкой к «классической», подчеркивавшей роль сбалансированного бюджета, частного предпринимательства, свободной конкуренции и выживания сильнейших, хотя не все страны рискнули зайти так далеко.

К середине 80-х годов даже идея о том, что государство должно обязательно контролировать денежное обращение, которая как минимум на протяжении 400 лет была одним из столпов суверенитета, была подвергнута резкой критике[913]. Точно так же, как в Англии времен правления последних монархов из династии Стюартов, многие считали, что правительство обладает слишком большой властью, чтобы доверить ему управление денежной сферой, о чем свидетельствуют неизменная тенденция к инфляции и время от времени имевшие место случаи крайне безответственной политики. Опять же до сегодняшнего дня ни одно государство не зашло настолько далеко, чтобы вернуть денежную эмиссию и управление денежным обращением в частные руки; однако в других аспектах монетаристов ждал продолжительный триумф. С экономической точки зрения в большой части мира начался возврат к капитализму XIX в., причем не в силу случайного стечения обстоятельств или недоразумения, а как часть хорошо продуманного плана. От Канады до Новой Зеландии целью такой политики было снижение инфляции и создание условий для устойчивого, хотя и постепенного экономического роста. Чтобы добиться этого, правительства были готовы пойти даже на отмену централизованного планирования, отказ от проведения противоциклической политики, и усиление неустойчивости положения как работников, так и работодателей. Во многих странах это привело к возрождению феномена, который Карл Маркс в «Капитале» назвал резервной армией труда — более или менее постоянного ядра безработных, которые могли быть использованы и использовались для удержания уровня заработной платы в определенных рамках.

В рамках новой программы те отрасли, на национализацию

которых правительства потратили так много денег в 1945—1975 гг., были вновь приватизированы. В тот момент многие из отраслей промышленности, которые контролировались европейскими правительствами, уже находились в состоянии упадка, как, например, производство угля, место которого в топливном балансе стала занимать нефть, производство стали, все больше которой выплавляли в Японии, и кораблестроение, также вытеснявшееся японским. То же касалось железных дорог, которые проигрывали в конкуренции с автомобильным транспортом. В других случаях национализация затронула фирмы, длительное время находившиеся в небрежении во время Второй мировой войны, в результате чего их оборудование устарело и они испытывали большой дефицит капитала. Со временем многие национализированные промышленные отрасли еще более ослаблялись тем, что управление ими основывалось на политических принципах — например, когда они были вынуждены оказывать услуги себе в убыток или нанимать слишком много работников, или устанавливать тарифы на искусственно низком уровне по сравнению с экономически обоснованным, не говоря уже о том, что самые высокие должности в государственных корпорациях часто рассматривались не как работа, требующая профессиональной квалификации, а как «теплые местечки», приносящие дополнительный доход, как действующим, так и бывшим политикам и чиновникам.

Каковы бы ни были конкретные причины, надежды тех, кто выступал за национализацию, утверждая, что она будет приносить выгоду не отдельным акционерам, а обществу в целом, редко сбывались. С конца 60-х годов многие из национализированных предприятий камнем повисли на шее их собственника, нанимая огромное число лишних рабочих и очень часто принося сплошные убытки. Так, в Великобритании все национализированные отрасли, за исключением газовой, терпели убытки, закрывали заводы и увольняли занятых, попав в порочный круг, который за вторую половину 70-х годов довел целые регионы до бедности и отчаяния[914]. Все итальянские государственные промышленные холдинги (IMI, ENI, EFIM и *IRI* — последняя стала крупнейшим в стране работодателем) обанкротились к середине 70-х годов. К середине 80-х около 20% австрийской промышленности, находившиеся в руках правительства, превратились в памятник неэффективности и бюрократизма. Список, который можно продолжать до бесконечности, ни в коей мере не ограничивался развитыми странами. Так, например, с большими проблемами столкнулись

арабские страны, а также многие государства Латинской Америки.

Для того ли чтобы избежать этих потерь или просто как средство изыскания денежных средств для покрытия дефицита, правительства многих государств начали повторную приватизацию компаний, на приобретение которых в предыдущие десятилетия они потратили массу денег и усилий; одновременно они стали заказывать на стороне услуги, которые раньше производились в государственном секторе. Первые позиции в обеих сферах заняла Великобритания, вкоторойв 1964—1978 гг. правила в основном лейбористская партия, но в 1979 г. правительство вновь стало консервативным. Премьер-министр Маргарет Тэтчер и ее правительство стали одними из самых ярких представителей нового экономического консерватизма. Действуя намеренно и продуманно, они начали предлагать публике акции одной государственной компании за другой, включая *British Petroleum, British Aerospace, Cable and Wireless, Britoil* (компании, занимающейся добычей нефти в Северном море), *Associated British Ports, British Airways, British Steel* и *National Freight* (корпорации грузовых автотранспортных перевозок, созданной в 50-хгодах).

После того как Маргарет Тэтчер сформировала свое второе правительство в 1983 г., процесс приватизации ускорился. На рынок были выставлены очередные пакеты акций вышеперечисленных компаний, а также *British Gas, British Telecom, British Sugar, British Rail Hotels, Royal Ordnance* (производство вооружений) и часть *British Leyland,* включая производителя престижной марки автомобиля «Ягуар»[915]. К 1988 г. около 40% промышленности, которая в 1979 г. принадлежала государству, было возвращено в частные руки, в то время как доля ВНП, производимая в государственном секторе, снизилась 10,5 до 6,5%. Численность занятых в этом секторе сократилась на 650 тыс. человек, причем 90% из них также стали акционерами компаний, в которых они работали или в каких-то других. Тем временем процент всех взрослых людей, владеющих акциями, увеличился в 3 раза, что рассматривалось как свидетельство возникновения электората, поддерживающего продолжение реформ, что на самом деле и было задумано правительством с самого начала. Также было объявлено о планах полной или частичной приватизации производства услуг, таких как водоснабжение, очистка сточных вод, *Crown Supplies* (центральное агентство по закупкам для государственных министерств, включая вооруженные силы) и тюрьмы. Только в области здравоохранения целый ряд вспомогательных услуг, таких как

уборка больниц, доставка продуктов и услуги прачечной, а также выполнение абортов и уход за душевнобольными, были приватизированы в период с 1981 по 1988 г. В результате занятость вспомогательного персонала в Национальной службе здравоохранения упала на 33,5%. С точки зрения пациентов, это также означало значительное снижение качества предоставляемых услуг и рост цен на них[916].

Путь, по которому пошла Маргарет Тэтчер, часто называют «британским лекарством», хотя ему скорее подходит определение «британская клизма». В 80-е годы политика Маргарет Тэтчер стала ориентиром для правительств многих других стран, взявших тот же курс. Например, с 1983 по 1989 г. государственные холдинговые компании в Италии распродали активов на сумму в 5 млрд долл., чтобы покрыть свои расходы, включая и такие национальные символы, как производитель автомобилей «Альфа Ромео», телекоммуникационная группа *It alt el* и лакомые кусочки банковского сектора во главе с *Banco di Roma.* Хотя президенту Франции социалисту Миттерану суждено было оставаться у власти до 1995 г., здесь также настал переломный момент в связи с выборами 1986 г.; правительство, возглавляемое министром экономики, финансов и приватизации Эдуардом Балладюром, начало распродавать часть государственных компаний в таких отраслях, как промышленность, страхование, банковское дело и финансы. Только в 1987 г. средства, полученные от проданных акций, составили 11,5 млрд долл. Число занятых в государственном секторе сократилось на 800 тыс. человек, а количество акционеров (другими словами, тех, кто купил новые приватизированные фирмы) увеличилось на 5 млн человек.

В Западной Германии в 80-х годах также набирала ход приватизация . Под руководством лидера Христианско-демократического союза Гельмута Коля правительство — уже к тому времени владевшее меньшей долей экономики, чем правительства большинства других стран, — распродало более 50 компаний, в том числе и в алюминиевом, химическом, энергетическом, машиностроительном и банковском секторах. В Канаде последняя крупная волна государственных приобретений прокатилась в 1984 г. За ней почти сразу же последовала массовая распродажа предприятий в огосударствленных отраслях, таких как железнодорожный транспорт, самолетостроение, переработка рыбы, производство боеприпасов, финансовый сектор, горнодобывающая промышленность (в том числе добыча урана), атомная энергетика, грузовые перевозки, воздушный транспорт и генерация электроэнергии. Процесс захватил многие

страны, от США, где в 1982 г. был продан *Conrail,* до Нидерландов и Бельгии, Турции, Новой Зеландии и Австралии.

Хотя и в иных формах, эта тенденция распространилась даже в таких жестко управляемых государствах, как Южная Корея и Тайвань. Корейские чеболи и аналогичные крупные промышленные группы на Тайване в свое время были созданы частными лицами и так и остались частной собственностью. Во время так называемого периода развития, продолжавшегося с 50-х до начала 80-х годов, они зачастую настолько жестко контролировались государством, что практически стали его частью. Ярко выраженные дирижистские правительства определяли, какие сектора следует развивать. Сделав это, они обеспечивали соответствующие условия. К последним относились таможенные барьеры, послушная рабочая сила, удерживаемая в повиновении законом, практически полное отсутствие системы социального обеспечения, конфуцианская пропаганда в разумных дозах[917], а также, по мере появления доступных ресурсов, развитие инфраструктуры в виде дорог, телекоммуникаций, электрогенераторов, портов и аэропортов. В обмен на это сами фирмы предоставляли правительствам, партиям и чиновникам крупные субсидии, что нередко было неотличимо от взяток.

Однако примерно с 1985 г. модель начала меняться. Отчасти это произошло потому, что многие важнейшие отрасли производства сами по себе стали транснациональными, тем самым вынуждая обратить больше внимания на требования зарубежных правительств и международных организаций. Отчасти же это отражало постепенную эволюцию в направлении демократии. С появлением нового процветающего среднего класса прежние авторитарные формы правления начали ставиться под вопрос. Теплые взаимоотношения между правительством и промышленностью отныне стали рассматриваться как коррупция, что привело к ряду показательных процессов, в частности, над южнокорейскими политиками[918]. Затем в середине 1997 г. большинство восточ-ноазиатских стран подверглись удару тяжелого экономического кризиса. Их промышленность, привыкшая к тепличным условиям, предоставляемым таможенными барьерами и «покровительством» со стороны ведущих политиков, начала страдать от недо-загрузки мощностей. Рухнули цены на недвижимость (которая часто служила имущественным залогом для банковских кредитов, бравшихся с целью расширения производства), сократились объемы экспорта, а валюта этих стран обесценилась. Во время написания этой книги создавалось впечатление, что большинство из них выдержит кризис, однако ценой станет замедление роста и

проведение реформ, требуемых Международным валютным фондом, которые еще больше ослабят связь между правительством и отраслями промышленности[919]. А такие страны, как Индонезия, могут его и не выдержать.

В то время как большинство стран стремилось как можно скорее провести приватизацию, движение в этом направлении очень сильно и по большей части неожиданно ускорилось из-за краха коммунистического блока. Придя к власти в 1917 г., большевики провозгласили своей целью избавиться от всех форм частного предпринимательства — и действительно, в течение несколько лет большая часть основных ресурсов и предприятий были переданы в собственность государства. Начало НЕПа (новой экономической политики) в 1921 г. приостановило завершение этого процесса. Однако к 1932 г. Сталин устранил всех оставшихся «капиталистов», нередко физически «ликвидируя» их, как и миллионы крестьян. Ресурсы, полученные в результате коллективизации, были использованы для наращивания промышленности, в результате чего с начала первого пятилетнего плана (пятилетки) в 1928 г., в частности, тяжелая индустрия стала стремительно развиваться. К 1939 г. она заняла второе место в мире после промышленности США[920].

После Второй мировой войны, когда Германия лежала в руинах, советское лидерство по сравнению с остальными европейскими странами еще более усилилось, достигнув пика примерно в период 1965—1975 гг.[921] Протеже Советского Союза в странах Восточной Европы двигались тем же курсом, хотя и в гораздо меньших масштабах, на протяжении примерно 20 лет после 1945 г. и, отчасти благодаря своему крайне низкому начальному уровню, добились исключительного промышленного роста[922]. В частности, в конце 70-х — начале 80-х годов Восточная Германия, население которой составляло не более 20 млн человек, превратилась в витрину Восточной Европы. Ее разрекламировали как девятую по величине промышленную державу мира (после США, СССР, Японии, Западной Германии, Франции, Великобритании, Италии и Канады), где уровень жизни был сопоставим с британским[923].

Если этот фасад и впечатлял кого-то — видимо, не тех, кто в действительности бывал в Восточной Германии и видел пустые полки в магазинах, — к тому времени темпы роста, которых достигли все коммунистические страны, уже начали снижаться. Крайне централизованные бюрократические структуры, отвечающие за планирование и распределение ресурсов, оказались довольно успешными в крупномасштабном производстве простых видов продукции, таких как сырье и

материалы, электроэнергия, сталь и химикаты[924]. Однако в сельском хозяйстве и легкой промышленности не было достигнуто подобных результатов отчасти из-за сознательного пренебрежения, отчасти из-за того, что эти методы плохо подходили для удовлетворения бесконечно разнообразных запросов потребителей. Сначала потерпело крах сельское хозяйство, в результате чего Советский Союз был вынужден с 1963 г. закупать пшеницу в США и Канаде. Затем СССР и его сателлиты не сумели адаптироваться к более жестким условиям международного рынка, сложившимся начиная с 1973 г., в частности, включая рост цены на нефть. Наконец, они не смогли эффективно освоить возникающие новые технологии, такие как микроэлектроника и компьютеры[925]. Многие советские товары всегда были несколько грубо сработанными, но сейчас они стали выглядеть так, как будто прибыли из давно прошедших стахановских времен — и зачастую дело обстояло именно так. Рост производительности остановился, и вновь начал расти казалось бы сократившийся разрыв в уровне дохода на душу населения между странами Западной и Восточной Европы[926].

Первой значимой коммунистической страной, которая начала уходить от государственного контроля над экономикой, как ни странно, оказался Китай. Установив свою власть в 1949 г., китайское коммунистическое государство во многом следовало в фарватере своих европейских товарищей по оружию, национализировав землю и прибегнув к коллективизации с тем, чтобы, выкачивая ресурсы из села, использовать их для ускоренной индустриализации страны. В большей степени, чем кто бы то ни было, Китай позволил идеологическим соображениям ввергнуть страну в экономический хаос, сначала в период «большого скачка» в 1957—1961 гг., а затем во время еще более разрушительной «культурной революции». Пока был жив Мао, китайская экономика так же, как и китайское общество, двигалось резкими зигзагами между строгим централизованным планированием и бурным популизмом, но с его смертью в 1976 г. и уходом со сцены его предполагавшихся преемников — так называемой «банды четырех» — наконец, был открыт путь к реформам.

В 1978 г. новый генеральный секретарь партии Дэн Сяопин официально объявил о «четырех модернизациях» в областях науки, сельского хозяйства, промышленности и Вооруженных сил. С тех пор назад уже больше никто не оглядывался. Одна сфера за другой открывались для частного предпринимательства, к концу 80-х годов коллективное сельское хозяйство практически полностью исчезло, а в Шанхае впервые с 1949 г. заработала

фондовая биржа — ясный признак того, что здесь тоже начались процессы, охватившие другие страны.

В течение 80—90-х годов готовность китайского государства ослабить давление на экономику привела к феноменальному экономическому росту. Нередко этому способствовал зарубежный (в основном японский и тайваньский) капитал, вливавшийся в китайскую экономику в поисках дешевой рабочей силы, а также менее строгих требований к окружающей среде, чем в собственных странах. Если тяжелая промышленность в основном оставалась в руках государства и превратилась в памятник отсталости и неэффективности, то выраставшие как грибы сотни тысяч новых компаний произвели переворот в легкой промышленности и сфере услуг[927]. Изменения ощущались сильнее на юге, чем на севере, и в большей степени вдоль побережья, чем во внутренних регионах. Городские территории обычно процветали больше, чем сельская местность, что вызывало массовое беспокойство среди крестьян, а также масштабную миграцию из деревни в город. Несмотря на все проблемы, связанные с экономическим ростом (включая инфляцию и огромные масштабы коррупции), впервые в истории в Китае зародилось нечто похожее на массовый класс потребителей. При условии, что страна сможет поддерживать достигнутые темпы роста, власти могли бы надеяться на то, что когда-нибудь страна станет крупнейшей в мире экономикой (по некоторым показателям уже сейчас она занимает третье место), несмотря на то что пока не проглядывается перспективы когда-либо догнать развитые страны по объемам производства на душу населения и по уровню жизни. С приближением конца тысячелетия главный вопрос, который встал перед Китаем, состоит не столько в его возможности продолжать экономический рост, сколько в способности примирить этот рост и сопутствующее ему социальное напряжение с продолжающейся диктатурой коммунистической партии[928].

Успех Китая в ослаблении государственного контроля над экономикой без кардинального политического переворота (по крайней мере, до сих пор) не удалось повторить ни одной другой коммунистической стране. Как уже отмечалось, восстановление советской экономики после испытаний Второй мировой войны произошло относительно быстро. Однако с середины 70-х годов рост замедлился, и к моменту смерти Брежнева в 1982 г. советское правительство понимало, что экономически и технологически страна все больше отстает от Запада. И все же преемники Брежнева, Юрий Андропов и Константин Черненко, не спешили с проведением далеко идущих реформ. Андропов, ранее

служивший в КГБ, предпочитал говорить о необходимости ужесточения дисциплины. Он продемонстрировал свои намерения, проведя массовую кампанию за повышение дисциплины на рабочем месте.

Когда после 1985 г. Михаил Горбачев *действительно* начал проводить фундаментальные изменения, дорога, которой он пошел, была противоположна китайскому пути. Вместо того чтобы ослабить государственный контроль над экономикой, Горбачев ввел *гласность.* Вместо того чтобы дать людям стимул к работе, открывая дорогу частному предпринимательству, он разрешил им свободно говорить о политике. Они и стали говорить свободно, но основным предметом разговоров стали постоянно наблюдаемые и неустранимые недостатки системы. С осени 1979 г. Советский Союз оказался вовлечен в кровавую войну в Афганистане. Когда эта авантюра закончилась поражением в 1989 г., советское правительство фактически осталось без Вооруженных сил, которые были бы в состоянии поддерживать единство страны. Стало проявляться давление экономических проблем, а затем и националистических настроений; фактически отделились сначала страны Балтии, а потом регионы Закавказья и Средней Азии. В 1991 г. коммунизм как политический режим рухнул с неожиданной легкостью. И вместе с ним ушло, вероятно, крупнейшее, наиболее централизованное и самое мощное с военной точки зрения государство, из всех, какие только видел мир и, насколько можно судить, какие он еще увидит.

Возможно, этот крах был неизбежен, и в защиту Горбачева нужно сказать, что под его руководством он обошелся сравнительно малой кровью. После его ухода ситуация изменилась. На руинах появилось ни много ни мало 15 новых республик, и некоторые из них, не теряя времени, тут же вцепились друг другу в глотки, а также истреблять или изгонять представителей этнических меньшинств. Как только начался распад СССР, неизбежной стала потеря контроля над странами Восточной Европы и крах коммунизма в них. Этот процесс в основном был мирным, как и в СССР, и главным образом потому, что осталось крайне мало людей, желавших защищать коммунизм; в Чехословакии он даже получил название «бархатной революции». Важным исключением была Югославия, ввергнутая в пучину конфликтов, поскольку различные национальности, составляющие страну, отказались признавать единое правительство, начали кровавую гражданскую войну. Каким бы ни был путь разных восточноевропейских стран, когда улеглись страсти, все они обнаружили, что 45 лет

государственного контроля и государственной собственности сделали их экономику крайне отсталой и неспособной конкурировать на международных рынках. Отчасти для того, чтобы высвободить энергию граждан, отчасти, чтобы привлечь иностранные инвестиции, все они поспешили встать на путь демократизации, либерализации и приватизации. С тех пор, несмотря на то что кое-где темп реформ замедлился, в большинстве случаев они по-прежнему осуществляются[929].

Не только на Западе и Востоке, но и на всех остальных континентах едва ли можно было найти хотя бы одну страну, которая бы не пыталась как можно скорее провести приватизацию[930]. Нередко это было сделано за счет значительного усиления социальной напряженности: урезались субсидии, росли цены на основные товары, вводилась плата за такие услуги, как жилье и медицинское обслуживание, которые раньше предоставлялись бесплатно или почти бесплатно, сокращались размеры бюрократии, а с государственных предприятий хлынул поток лишних работников на рынок труда, который был плохо приспособлен к тому, чтобы предоставить им место в новых условиях. Тенденция была такой мощной, что даже достигла тех стран, чей *raison d'etre*[931] с момента получения ими независимости был неразрывно связан левой идеологией, как это было во Вьетнаме, Индии, Сирии, Израиле, Египте, Тунисе, Алжире и многих других странах Азии и Африки.

Когда же «реструктуризация» оказалась слишком сложной задачей, многие развивающиеся страны были вынуждены обратиться к Всемирному банку и Международному валютному фонду. К началу 1998 г. МВФ реализовывал программы в не менее, чем 75 странах с общей численностью населения 1,4 млрд человек. Список начинался с Албании и заканчивался Зимбабве[932]. Обе эти международные организации, в которых работали в основном сторонники новой экономической теории предложения, предоставили своим протеже огромные займы, в которых те сильно нуждались. В ответ они потребовали проведения коренных реформ, включая прежде всего прекращение дефицитного финансирования государственных расходов, расформирование государственного сектора (охватывающего находящиеся в государственной собственности или под государственным контролем предприятия) и либерализацию финансовых рынков. Кроме того, страны — получатели помощи должны были добиться стабильности национальной валюты, ослабить контроль над природными ресурсами, допустить в страну иностранный капитал и предоставить ему различные привилегии, начиная с права на

свободную репатриацию прибыли и заканчивая установлением особых зон «свободной торговли» (т.е. зон, свободных от налогов).

К 2000 г. в экономической политике многих стран, так же как в экономической теории, которая давала ей объяснение и обоснование, завершился полный поворот на 180°. Тенденция к большему вмешательству государства в экономику, которая зародилась в 40-х годах XIX в. и набрала ход примерно после 1900 г., полностью или почти прекратилась; вместо нее упор был сделан на частное предпринимательство и конкуренцию. Зачастую такая конкуренция и такое предпринимательство проявляли себя в самых крайних и наименее цивилизованных формах — например, схватка за бывшую государственную собственность привела к возникновению «русской мафии». Нередко новая тенденция сопровождалась образованием невероятных разрывов между разными социальными классами, растущей волной организованной и неорганизованной преступности, и настоящей нищетой для большей части населения, включая в особенности тех, кто, подобно пенсионерам по старости, по той или иной причине не мог избавиться от своей зависимости, связывающей его с обанкротившимся государством.

Естественно, в разных регионах детали процесса выглядели по-разному. В Восточной и Юго-Восточной Азии, как уже отмечалось, фактическое отсутствие системы социального обеспечения означало, что важнейшими его составными частями были либерализация рынков, ослабление связки между правительством и промышленностью и общее затягивание поясов. В США, находящихся на гребне процветания, но разрывавшихся между президентом-демократом и республиканским Конгрессом, политики предпочитали откладывать тяжелые решения, связанные с надвигающимся банкротством системы социального обеспечения, ожидавшимся вскоре после 2000 г. В большей части Европы государство всеобщего благосостояния все еще влачило существование, в основном из-за инертности и отсутствия альтернативы, которая выглядела бы привлекательной для избирателей. На Украине, как и в значительной части Восточной Европы, Центральной Азии и Африки, крах однопартийных коммунистических и социалистических режимов оставил после себя разрушенную экономику, которая едва функционировала. Почти везде правительства боролись за то, чтобы сохранить хотя бы что-то от государства всеобщего благосостояния, включая прежде всего начальное и среднее образование. Не считая этого, мечта использовать правительство для того, чтобы «поднять социальное положение масс», очевидным образом потерпела крах, и действительно, даже партии, левые по названию, приняли

центристскую позицию и провозгласили, что они больше не являются социалистами. Старые формы политической и экономической организации по большей части дискредитировали себя, и поиск новых форм продолжается в настоящее время.

Технологии становятся международными

Как утверждалось в предыдущих разделах, возникновение и расцвет государства Нового времени неотделимы от современных технологий. Книгопечатание, дороги, железные дороги, телекоммуникации и пишущие машинки, не говоря уже об оружии и системах вооружения, были важнейшими средствами, позволившими государству установить свою власть над каждой квадратной милей территории и над каждым отдельным человеком. По отдельности и вместе они сделали возможным создание вооруженных сил и управление ими, сбор доходов казны, распространение законов и указов, сбор информации — все это в количестве, со скоростью и через расстояния, о которых раньше и не приходилось и мечтать. Ранние механические компьютеры были впервые использованы в 90-х годах XIX в. для табулирования и сопоставительного анализа результатов переписи населения в США. Если взглянуть на это с другой стороны, то неслучайно, что современные технологии появились в Западной Европе и достигли высшего развития прежде всего там, где государства были сильны и стабильны[933]. Напротив, те регионы мира, в которых по той или иной причине не удалось создать могущественные государства, как правило, оказывались отстающими в разработке и применении всех видов технологий.

Впрочем, с самого начала большинство современных технологий (в данном контексте «современный» означает «относящийся к периоду после 1800 г.») были подобны двуликому Янусу. С одной стороны, технологии позволяли правительствам гораздо шире раскинуть сеть своей суверенной власти и затянуть ее крепче, чем когда-либо раньше, и таким образом помогали им все контролировать в пределах национальных границ. С другой стороны, они имели тенденцию выходить за эти границы, пересекать их и превращать в препятствие на пути прогресса. Это происходило потому, что в отличие от своих предшественников до 1800 г. большинство современных технологий могло действовать только при условии объединения в систему. Плуг, топор, мушкет, паровой двигатель или корабль могут работать даже в отсутствие себе подобных: если многочисленные плуги используются рядом или множество кораблей собраны во флотилию, каждый из них может выполнять свою функцию независимо от остальных. Иное дело отдельно взятый железнодорожный поезд, телеграфный аппарат или телефон — каждый из них сам по себе полностью бесполезен. Количество

таких технологий увеличивается с каждым днем, для них имеет значение *сеть* рельсовых путей, проводов и коммутаторов, соединяющих каждый элемент с множеством других элементов такого же рода. Еще более важное значение имеет центральная система управления, которая, устанавливая расписания и распределяя маршруты и приоритеты, позволяет им по желанию сообщаться друг с другом, но при этом упорядоченно и не мешая друг другу.

Природу современных технологических систем можно пояснить на примере самой первой из них, а именно оптического телеграфа[934]. Появившийся в последние годы XVIII в. и известный по имени своих французских изобретателей, братьев Шапп, он состоял из станций — либо встроенных в уже существующие сооружения, вроде церковных колоколен, либо созданных специально для этих целей — каждая из которых имела на верху одну горизонтальную и две вертикальные балки в виде буквы Н. Связанные друг с другом с помощью шарниров, балки были оснащены блоками и тросами, которые позволяли фиксировать их в 196 различных позициях, достаточных, чтобы закодировать буквы алфавита, знаки препинания, некоторые слоги, слова и даже целые фразы. Послания могли пересылаться днем и ночью (с помощью ламп), либо открытым текстом, либо с помощью шифра путем замены одних букв другими. Оператор каждой станции имел в своем распоряжении подзорную трубу. Он должен был распознавать сигналы, передаваемые другой станцией, записывать их, и его коллега-оператор должен был передавать их дальше по цепочке. В зависимости от топографии местности средняя дистанция между станциями составляла порядка 4—5 миль. Обычно информация передавалась со скоростью 200—300 миль в день, хотя многое зависело от атмосферных условий (при хорошей погоде некоторые промежуточные станции могли закрываться), а также от длины самих сообщений.

Как вскоре стало ясно, эффективность системы зависела от покрываемых расстояний и от плотности сети, т.е. количества станций на квадратную милю территории. При расстояниях меньше определенной величины система не давала никаких преимуществ, особенно если сообщения были длинными и требовали для передачи большого количества перемещений балок. Напротив, чем длиннее были линии и чем больше было количество направлений, по которым они были проведены, тем эффективнее была система. Национальные границы даже такой большой страны, как Франция, просто-напросто стояли на пути к достижению этой эффективности. Еще Наполеон построил линии,

соединившие Париж с немецкими и итальянскими городами; в 1809 г. они подтвердили свою ценность, передав предупреждение, что австрийцы объявили войну и вторглись на территорию его союзника — Баварии. Чтобы выполнять свои функции, все станции, где бы они ни располагались, должны были быть построены по одному принципу и следовать абсолютно одинаковым правилам в отношении сигналов, кодов, приоритетов и т.п. Эти правила и процедуры могли быть установлены только центральным управлением, которое также следило за их исполнением. Другими словами, эти самые ранние из всех современных технологических сетей уже имели потенциал превращения в международные и преодоления, пусть даже и в своих ограниченных целях, различий между суверенными государствами.

То, что было верно в отношении семафорной системы, тем более относилось и к электрическому телеграфу и железным дорогам, которые начали появляться с 40-х годов XIX в.; действуя зачастую в тандеме, первоначально телеграф и железные дороги строились в локальном масштабе, как, например, знаменитая телеграфная линия, которой Сэмюэль Морзе соединил Вашингтон с Балтимором, и такой же длины дорога, соединяющая Ливерпуль с Манчестером. Изначально они обычно находились в частном владении, однако независимо от того, кто ими владел, вскоре стали очевидны преимущества их соединения друг с другом. Самое позднее к 50-м годам XIX в. железнодорожные и телеграфные системы, принадлежавшие разным странам, часто объединялись друг с другом при посредстве комиссий, назначаемых государствами специально в этих целях. Последние определяли стандарты, рабочие процедуры, порядок приоритетов и т.п.; чем плотнее был трафик, тем важнее было решение этих вопросов. Напротив, железнодорожная система, спроектированная только в соответствии с потребностями одного конкретного государства, как, например, ширококолейная дорога, построенная в императорской России и позже перешедшая к СССР, давала некоторую защиту от вторгшегося агрессора (этот фактор оказался особенно важен в 1914—1918 и 1941 — 1945 гг.). Но поскольку это приводило к необходимости перевалки грузов, такая железная дорога препятствовала российской торговле с другими странами. Впоследствии то же самое относилось к попыткам построить автономные сети электропередачи, системы автомагистралей и телефонные сети, не говоря о телетайпах, факсах и компьютерах.

Теоретически каждое государство было и все еще остается свободным в осуществлении своего суверенитета и создании

своей сети по собственным стандартам, какими бы уникальными они ни были, игнорируя в то же время сети своих соседей и отказываясь с ними интегрироваться. На практике государства могли делать это только ценой огромных технологических и экономических издержек. Прекрасный пример тому — сложившаяся тяжелая ситуация в Северной Корее. Ее ксенофобское коммунистическое правительство навязало своим гражданам изоляцию, вынуждая их к полной самодостаточности во всех важных аспектах и тем самым не давая им использовать никакие из имеющихся у них сравнительных преимуществ. Расплатой за это стали неэффективность и неспособность максимально использовать преимущества именно тех технологий, которые быстро развивались примерно с 1945 г., т.е. технологий в области связи (включая обработку данных) и транспорта. Конкретные издержки обособленности разнятся в зависимости от обстоятельств, а также зависят от размера самой страны. Однако даже в случае самых крупных стран эта цена велика. Недаром США, страна с самой крупной экономикой в мире, перешли на метрическую систему. Чтобы не пришлось платить эту цену, государства должны были получить доступ к международным сетям, которые в свою очередь вынуждали их давать иностранцам доступ к их собственным сетям. Более того, они вдобавок должны были вступать в международные организации, чьей задачей было регулирование данных технологий в интересах всех сторон.

Еще одним результатом технологического прогресса было то, что все большее число сред, ранее недоступных для человечества, стало теперь досягаемым. Некоторые из этих сред, такие как воздух и морское дно, давно были известны и в определенной степени исследовались и эксплуатировались; другие, такие как электромагнитный спектр, были открыты недавно и, как оказалось, имеют совершенно новую природу. Их эффективное использование и даже выяснение того, могут ли они вообще быть использованы, часто зависело не от прихотей отдельной страны, а от международного сотрудничества. Например, международный гражданский воздушный транспорт не смог бы существовать без правил, процедур и организаций, отвечающих за распределение воздушного пространства и координацию в области связи, навигации, безопасности, аварийных служб и огромного множества других вопросов. То же самое верно и в отношении деятельности в открытом космосе, подводном пространстве и, конечно, в использовании электромагнитного излучения. Потому ли что области пространства, которыми владеют те или иные страны, слишком малы, или из-за опасности того, что все будут друг другу мешать, но всем необходимо, чтобы регулирование

осуществлялось в максимальном масштабе и организациями, способными видеть дальше потребностей отдельных государств.

Наконец, третья причина, по которой современные технологии вынудили правительства разных стран работать вместе, коренится в связанных с развитием техники экологических проблемах". Если вспомнить «Коктаун» Чарльза Диккенса и «черные сатанинские мельницы», уже в XIX в. индустриализация могла приводить к загрязнению целых регионов, портя питьевую воду и наполняя воздух черным дымом. Но эти проблемы были ничтожными в сравнении с теми, которые появились после 1945 г. и в еще большей степени после зарождения современного общества массового потребления в большинстве развитых стран. К отходам, созданным самой промышленностью, зачастую токсичным (дым, пепел, шлаки и выбросы разного рода) прибавились выхлопные газы автомобилей, свинец из использованных аккумуляторов, стекло и алюминий из выбрасываемых питьевых и пищевых емкостей и, конечно, большое количество пластика и пенопласта, используемого для упаковки различных видов продуктов, которые, исполнив свою функцию, оставались в окружающей среде навсегда.

Часть загрязняющих веществ попадала в воздух, другая — в землю, третья — в воду, включая океаны, где даже рыба теперь не была защищена от них. Если некоторые загрязнения носили лишь локальный характер, другие могли оказывать влияние в радиусе сотен и даже тысяч миль от точки выброса. Например, глобальное потепление —название говорит само за себя —и разрушение озонового слоя были вызваны выбросами электростанций, заводов и автомобилей и представляют собой проблемы планетарного масштаба. Дым, порождаемый деятельностью промышленных объектов США, вызывает кислотные дожди в Канаде. Ядовитые вещества, сбрасываемые в Рейн химическими заводами в Швейцарии и Эльзасе, доходят вниз по реке до ее устья около Хука в Голландии; а пятна нефти, появившиеся, например, в египетских территориальных водах, могут достичь берегов Израиля. При желании список проблем можно продолжать до бесконечности. Но вероятно самой трагической демонстрацией глобального воздействия, которое могут оказывать загрязнения, стал взрыв ядерного реактора в Чернобыле в 1986 г. Из его эпицентра, расположенного недалеко от украинского города Киева, радиоактивное заражение распространилось по значительной части территории северного полушария, включая Белоруссию, Польшу, государства Балтии, Скандинавский полуостров и Канаду.

Поскольку технологии одновременно создали необходимость в международных организациях и благодаря транспорту и коммуникациям способствовали их созданию, не удивительно, что первые подобные институты появились примерно в середине XIX в. До этого часто возникали двусторонние или многосторонние союзы, некоторые из них задумывались как постоянные. Хороший пример — «Европейский концерт», свободное сообщество государств, целью которого было предотвращение экспансии отдельных его членов за счет других и одновременно сотрудничество в подавлении якобинства, где бы оно ни возникало[936]. Однако Международный телеграфный союз *(International Telegraph Union — ITU)* представлял собой нечто иное. С его основанием в 1865 г. государства впервые создали организацию, в которой сами они были членами, но которая имела собственное юридическое лицо, а также постоянный штат и постоянный центральный офис, через который можно было с ней контактировать. В своей ограниченной области организация имела полномочия принимать решения, обязательные для государств. При этом ни тогда, ни впоследствии не было создано механизма принуждения к исполнению этих решений. Одной из причин этого было именно то, что, как показал опыт, оставаться в стороне от таких организаций было чрезвычайно невыгодно, поэтому они достаточно хорошо функционировали и без такого рода механизмов.

За первые 40 лет существования Международного телеграфного союза количество международных телеграмм увеличилось от 5 до 82 млн в год[937]; но даже это было лишь слабым отблеском будущего, когда технология начала осваивать все новые участки электромагнитного спектра. В 1932 г. из-за необходимости охватить сферу радио организация была преобразована в Международный союз электросвязи *(ITU — International Telecommunication Union)*. В 1947 г. он стал специализированным агентством ООН, а в следующем году его штаб-квартира была переведена из Берна в Женеву. В настоящее время организация базируется на ряде соглашений, подписанных государствами-членами. Ее самыми важными органами являются Полномочная конференция, созываемая каждые четыре года, а также Совет, выступающий в качестве руководящего органа МСЭ в промежутках между конференциями. Кроме того, организация имеет постоянный секретариат и различные технические органы, которые занимаются распределением радиочастот, предоставлением консультаций государствам-членам по техническим вопросам и тому подобной деятельностью.

МСЭ послужил образцом для других организаций — вслед за

ним появились Международный почтовый союз (1874)[938] и Международное бюро мер и весов (1875). Своего рода поворотным пунктом стал 1884 г., когда географическое пространство было приведено к единому стандарту с принятием Гринвича за нулевой меридиан. Ранее эту честь оспаривали Краков, Урани-борг, Копенгаген, Пиза, Аугсбург, Тьерра дель Фуэго (на островах Капе Верде), Рим, Ульм, Тюбинген, Болонья, Руан, Санкт-Петербург, Вашингтон, Филадельфия, Мюнхен, Брюссель, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Кристиания, Лиссабон, Полтава, Кадис, Мадрид, Варшава, Париж и Стокгольм[939]. Сразу вслед за определением нулевого меридиана появилось понятие «времени по Гринвичу», которому долго сопротивлялись даже в Великобритании («Агрессия более коварная, чем папская», — жаловался неизвестный автор в 1848 г.), но которое стало необходимым для работы железных дорог и теперь мгновенно транслировалось посредством телеграфа. Те, кто возражал, — Франция, Гаити, Бразилия и город Детройт в США, — сдались один за другим. Наблюдатели, жившие в конце XIX в., многого ожидали от этих организаций. Как сказал один из них, «победы Александра Македонского и Наполеона отходят в тень на фоне триумфального шествия по всему миру крошечных почтовых марок»[940].

Количество межправительственных организаций, которых в 1951 г. было 123, а в 1972 г. — 280, к 1984 г. достигло 395[941]. В одной лишь Европе 13 попавших в выборку государств в 1988 г. направили 391 представителя в региональные организации против 101 в 1950 г.[942] Такого рода организации покрывают почти все доступные отрасли человеческой деятельности, от регулирования воздушного транспорта — Международная ассоциация воздушного транспорта *(International Air Transport Association — IATA),* вероятно, стала единственной организацией, в которую вошло больше государств, чем в ООН, — сохранения дикой природы и исследования морского дна до установления стандартов захоронения опасных материалов. От Интерпола до Международного таможенного союза большинство из них открывало свои штаб-квартиры и нанимало собственных бюрократов. Хотя последние продолжали оставаться гражданами своих государств, они в то же служили самим этим организациям. Как и другие чиновники, они имели склонность к развитию общего мировоззрения и выработке общих интересов, которые нередко существенно отличались от воззрений и интересов стран-членов; на самом деле иное поведение привело бы к потере доверия к ним. Хотя отдельные государства делали все возможное, чтобы манипулировать такими организациями,

очевидно, что существовали пределы для этого. Вступление во Всемирную торговую организацию таких в прошлом изоляционистских стран, как Китай, показывает, что находиться вне «паутины соглашений»[943] было бы равносильно тому, чтобы обречь себя на почти доиндустриальное существование.

Хотя сама ООН и не была продуктом технологических потребностей — изначально это была коалиция государств, созданная для того, чтобы воевать с Германией и Японией во Второй мировой войне, — она, как правило, принимала под свое главенство многие такие организации и собирала их под одной крышей. Подобно другим международным организациям, она стала юридическим лицом с ярко выраженной идентичностью и собственным бюрократическим аппаратом. Последний не тождествен аппарату отдельных государств — членов организации, чьим интересам она служит; если между ними и есть какое-либо соответствие, то оно носит крайне ограниченный характер, о чем свидетельствует регулярная перебранка между ООН и США, сильнейшим ее членом. Во многих аспектах положение ООН напоминает статус средневекового папства: как гласит пословица, *vox populi, vox dei*[944]. Как и папство, она переживает один за другим финансовые кризисы и постоянно ведет переговоры со своими членами (в старину — с государями), которые отказываются платить свои долги. Как в случае с папством, ее практическое бессилие отчасти компенсируется ее значительным моральным авторитетом.

Хотя бы потому что в ООН оппонент того или иного государства может высказать свои жалобы, выступать против этой организации означало бы навлечь на себя существенные издержки в виде неблагоприятного общественного мнения. Оказаться подверженным санкциям ООН тоже может стоить дорого, судя по тому, что спустя год после того как были сняты санкции против ЮАР, внешнеторговый оборот страны вырос на целых 38%[945]. Более того, в 1995 г. общая сумма средств, прошедших по каналам ООН и ее дочерних организаций, составила 10,5 млрд долл. Около 3,5 млрд из этой суммы были потрачены на содержание около 100 тыс. дисциплинированных и хорошо вооруженных солдат в голубых касках, разбросанных по 17 различным горячим точкам мира. В сравнении с ресурсами даже второразрядного государства — члена ООН ни один из этих трех показателей не был слишком впечатляющим. Но, с другой стороны, с такими показателями не могут сравниться многие (даже большинство) членов ООН.

Органом, отвечающим за распоряжение этими ресурсами для общего блага, является Совет безопасности ООН. Действуя в

качестве своего рода глобального органа исполнительной власти, он с момента окончания «холодной войны» все более охотно применял Главу VII Устава ООН и использовал силу для того, чтобы применять полицейские меры к государствам, которые либо нарушали международный порядок, либо совершали «недопустимые» действия против своего собственного населения: примерами, кроме Ирака, могут служить Сомали, Босния и совсем недавно Руанда. Чтобы дать основу деятельности Совета Безопасности, Генеральная Ассамблея ООН, играя роль всемирного законодательного органа, приняла целую серию резолюций об основных правах человека. Во многом эти резолюции представляют собой возврат к идеям XVII в. о естественном праве. Созданные специально для того, чтобы ограничить суверенитет, теоретически они налагают обязательства не только на правительства, их подписавшие, но и на другие правительства.

В отличие от старой Лиги наций, в которую с самого начала не входило самое влиятельное государство и из состава которой в 1930 г. вышли прочие важнейшие державы, ООН никогда не было покинуто ни одной страной. Только однажды всего одно государство попробовало сделать это. В июне 1950 г. Сталин приказал своей делегации покинуть Совет безопасности. Ее отсутствие не только не повредило организации и не пошло на пользу самому СССР, но и было использовано США для того, чтобы принять резолюцию о введении войск ООН в Корею. Неудивительно, что с тех пор ни одна страна, сильная или слабая, не рискнула повторить эксперимент и оставить свое место в Нью-Йорке незанятым. В действительности ООН стала столь значимым дискуссионным форумом — а порой и таким форумом, где принимались практические решения и обеспечивалось их выполнение, — что дипломатические службы большинства стран включают мало столь важных и авторитетных постов, как должность посла в штаб-квартире ООН на Первой авеню. И наоборот, представителей ООН (и других международных организаций) называют послами, и они имеют дипломатический статус, так же как послы суверенных государств. Все это означает один простой факт. В конце XX в. игнорировать ООН для любого государства было равносильно тому, как если бы коммерческая фирма, поддерживая контакты со всеми своими конкурентами, не следила бы за фондовой биржей, где определяется судьба всех[946].

Если, с одной стороны, современная технология сыграла большую роль в создании международных организаций, не имеющих своей территории и не являющихся государствами, то, с

другой стороны, она вынуждала и продолжает вынуждать государства объединяться в блоки, территория которых крупнее, чем территория отдельных членов. На сегодняшний день самым известным и успешным из таких блоков считается Европейский союз, ставший ясным выражением того факта, что экономические отношения, порожденные современными технологиями, имеют слишком крупный масштаб, чтобы с ними могли эффективно справляться отдельные страны. Изначально Европейский общий рынок включал только шесть членов и представлял собой всего лишь зону свободной торговли углем и сталью. Позже соглашения распространились так же на другие виды продукции, и были введены общие таможенные тарифы по отношению к импорту из других стран мира[947]. Движимое необходимостью добиваться экономии за счет масштабов производства — часто напрямую конкурируя с другой сверхдержавой — ЕЭС расширялось, пока не стало третьим в мире политическим образование по численности населения (после Китая и Индии) и крупнейшим в мире по ВНП[948].

Для наших целей важно отметить, что с самого начала ЕЭС представляло собой нечто большее, чем просто временное соглашение между суверенными государствами. Как и другие разновидности международных организаций, о которых только что говорилось, оно задумывалось как действующее на постоянной основе. Как и в других случаях, у него было собственное юридическое лицо и собственные институты. Со временем оно создало собственный законодательный орган (Европейский парламент, расположенный в Страсбурге), верховный суд и исполнительную власть. Все три ветви, но в особенности последняя, все еще не дотягивают до того, что можно было бы ожидать от единого суверенного государства. И все же с 1963 г., когда законы Сообщества были провозглашены нормами прямого действия, обязательными для исполнения во всех входящих в него государствах[949], все три ветви, безусловно, дали возможность почувствовать свое влияние на повседневную жизнь людей во всех государствах, являющихся его членами. Зачастую это происходило совершенно неожиданным образом, как, например, в том случае, когда Европейский суд принял решение, что правительство Ирландии не может запрещать своим гражданам выезжать за границу для производства абортов, или когда Европейская комиссия оштрафовала британскую сталелитейную промышленность на сумму 100 млн ф. ст. (1994), или когда та же комиссия решила, что голландские деревянные башмаки не отвечают европейским обувным стандартам и их производство должно быть прекращено. Позволив гражданам

государств-членов свободно перемещаться, жить и работать по всему Союзу — а в некоторых случаях также иметь равный доступ к социальным услугам, предлагаемым другими членами этой организации, — ЕС проделал значительный путь к введению общего гражданства. В 1979 г. Союз получил постоянный источник дохода в виде 1% от НДС, выплачиваемого каждым государством, состоящим в ЕЭС. С тех пор ЕС стал первой негосударственной организацией в новейшей истории, которая выпускает собственную валюту; планируется, что в 2002 г. на нее перейдут государства-члены, отказавшись от национальных денежных единиц.

Спорным остается вопрос о том, может и хочет ли Европейский Союз перерасти в единые суверенные Соединенные Штаты Европы[950]. Ярыми сторонниками этой идеи являются некоторые небольшие государства — члены Союза; в 1996 г. обсуждалась возможность для них отказаться от *liberum veto,* которым они пользуются до сих пор. Другие, особенно те, которые в прошлом были империями и имеют интересы за пределами Европы, настроены более скептически. В этом контексте нельзя не отметить тот факт, что в некоторых отношениях Европа уже более интегрирована, чем другое великое федеративное образование, находящееся по ту сторону Атлантического океана. Например, в то время как университеты штатов США по обыкновению берут со студентов, прибывших из других штатов, более высокую плату, чем с жителей своего штата, такая дискриминация в явном виде запрещена законом, принятым Европейской комиссией и утвержденным Европейским парламентом. Европейская банковская система также более интегрирована, чем американская, благодаря чему для немецкого банка может оказаться легче совершать операции, скажем, в Швеции, чем нью-йоркскому банку — в соседнем штате Нью-Джерси. Ядро европейских сил обороны располагалось в Германии и Франции и в некотором отношении оно сильнее, чем, к примеру, вооруженные силы одной Великобритании. В будущем, возможно, к нему присоединятся вооруженные силы новых членов ЕС.

С другой стороны, развитию в направлении единой европейской сверхдержавы препятствует существование других международных организаций, либо менее крупных, как Совет стран Северной Европы (Nordic Council), либо более крупных, как Организация североатлантического договора (НАТО). Учредив не менее 112 общескандинавских институтов, насчитывающих 450 «нордократов» (по состоянию на 1985 г.), Совет стран Северной Европы образует организацию внутри организации. На практике

он создает мало препятствий на пути европейской интеграции, но в принципе дальнейшее его существование (и аналогичных группировок других стран) в контексте более тесной интеграции в рамках Евросоюза не более приемлемо, чем, скажем, формальный альянс между Вирджинией, Северной и Южной Каролиной и Джорджией в США. НАТО в свою очередь включает в себя три неевропейских члена — США, Канаду и Турцию. В то же время в него не входят три европейские страны, которые являются членами ЕС — Австрия, Швеция и Финляндия. Как неоднократно заявляли, в частности французы, существование НАТО в его настоящем виде очевидным образом несовместимо с продолжением процесса европейской интеграции в той сфере, которая традиционно была самой важной, а именно, в организации общей защиты от внешней агрессии. Обобщая, можно сделать вывод, что препятствия, которые отдельные государства, такие как Великобритания, ставят на пути к европейскому единству, довольно значительны; однако в долгосрочной перспективе еще более сильное противодействие, скорее всего, будет оказываться не со стороны государств, а со стороны других международных организаций с несовпадающими целями и составом членов.

Какое бы будущее ни ожидало Европейское Сообщество, его экономический успех воодушевил государства в других частях света на создание похожих организаций. До сих пор ни одна из них не достигла хоть отдаленно напоминающего их образца в создании общих институтов и установлении общей правовой системы. С другой стороны, многосторонние соглашения, направленные на сокращение числа препятствий в торговле, отмену таможенных пошлин, достижение интеграции (например между электрической и телефонной сетями США и Канады), создание единого экономического фронта в противовес остальному миру и решение экологических проблем, насчитываются десятками и имеются на всех континентах. Среди самых важных — созданная в 1959 г. Европейская ассоциация свободной торговли *(European Free Trade Association — EFTA)*, все члены которой впоследствии вступили в Европейский союз[951]. В 1960 г. за ней последовала Латиноамериканская ассоциация свободной торговли *(Latin American Free Trade Association — LAFTA)*, в которую входят Мексика и все латиноамериканские страны, кроме Гайаны, а также Центральноамериканский общий рынок *(Central American Common Market — CACM)*. В 1966 г. был основан Таможенный и экономический союз Центральной Африки (*Union douaniere et economigue de I 'Afrique centrale — UDEAC),* в который вошли Камерун, Центральноафриканская

Республика, Чад, Конго и Габон, а через год — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии *(Association of South East Asian Nations — ASEAN),* состоящая из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда и Сингапура. С 1969 г. существует Андский общий рынок *(Andean Common Market — ACM),* членами которого являются Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла, за ним последовал Общий рынок Южного конуса *(MERCOSUR),* включающий Бразилию, Боливию, Парагвай, Уругвай, Аргентину и Чили. В 1975 г. Экономическое сообщество западноафриканских государств *(ECOWACS)* было основано Бенином, Гамбией, Ганой, Гвинеей, Гвинеей-Бис-сау, Берегом Слоновой Кости, Либерией, Мали, Мавританией, Нигером, Нигерией, Сенегалом, Сьерра-Леоне, Того и Верхней Вольтой. Наконец, в 1994 г. ратификация Северо-американского соглашения о свободной торговле *(Northern American Free Trade Agreement — NAFTA)* Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой показала, что даже крупнейшая и самая производительная экономика в истории не может существовать в изоляции.

Безусловно, есть и некоторые исключения, особенно на Ближнем Востоке, где после смерти Насера государственный суверенитет взял верх над панарабизмом[952]. Впрочем, в других регионах список уже заключенных или подготавливаемых соглашений почти бесконечен.

Заявленной целью всех этих договоров не была отмена политических границ. Напротив, поскольку эти границы уже зафиксированы (теоретически — на все времена), задача состояла в уменьшении их экономической значимости, облегчении их пересечения и поддержке развития торговли между подписавшимися государствами. Учитывая опыт тотальной мобилизации 1914— 1918 гг., в межвоенные годы большинство великих держав попыталось построить торговые империи, чтобы быть как можно более самодостаточными; такой же, в конечном счете, была заявленная цель германского, итальянского и японского империализма. Однако, начиная с 1945 г., самыми успешными государствами были те, которые, подобно Германии, Японии, Южной Корее и Сингапуру, интегрировались в мировой рынок. Чем больше была доля ВНП, которую страна экспортировала и импортировала — другими словами, чем эффективнее она использовала современные технологии для максимизации ее сравнительных преимуществ — тем больше, при прочих равных условиях, был его экономический успех[953]. В 80-е годы даже экономическая статистика, обычно склонная к консервативным оценкам, стала признавать произошедшие

изменения, разделяя валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. При прочих равных условиях разрыв между этими двумя показателями представлял собой хороший индикатор экономических результатов, достигнутых той или иной страной; но одновременно эти же данные свидетельствовали о том, что измерять экономический успех в терминах отдельных стран становится все менее осмысленным занятием. Например, более 40% всех «японских» товаров сейчас производятся далеко за пределами Японии — например, в США, Европе или Индонезии, и эта доля постоянно растет.

Учитывая этот акцент на международную торговлю — о чем свидетельствует удвоение в период с 1965 по 1990 г. доли общемирового объема производства, идущей на экспорт[954], — стоит ли удивляться, что экономические организации, имеющие представительство в разных государствах, часто находились в более благоприятном положении для использования предоставляющихся новых возможностей, чем сами государства. В отличие от последних у транснациональных корпораций не было граждан, которых надо было бы защищать, социальных пособий, которые требовалось бы выплачивать, границ, чтобы их охранять, или суверенной территории, чтобы ее контролировать. Свободные от этой ответственности и этих ограничений, они могли использовать экономические возможности, когда бы и где бы они ни представились и, что очень важно, пока эти возможности существовали. Они могли делать это либо самостоятельно, открывая филиалы, либо заключая альянсы с подобными им организациями в других государствах. Используемые методы включали совместные научные исследования и разработки; разделение труда на производстве, когда комплектующие, предоставляемые одной фирмой, могли бы использоваться в продукции другой; общий доступ к сбытовым и сервисным сетям; приобретение акций друг друга; и, конечно, прямые слияния вроде того, которое произошло в мае 1998 г., когда немецкая компания «Даймлер-Бенц» объединилась с американской «Крайслер»[955]. Кроме того, в большинстве случаев именно транснациональные компании, а не государства, первыми разрабатывали и применяли самые прогрессивные технологии во всех областях, начиная с самолетостроения и заканчивая компьютерами и телекоммуникациями[956]. По этой причине, а также потому, что эти фирмы находились в более благоприятном положении, чтобы их использовать, именно в их руках эти технологии пережили действительно взрывной рост.

Часто отмечается, что транснациональные корпорации нуждаются в государстве для обеспечения стабильности и

защиты; кроме того, угроза суверенитету, которую они представляют, ограничена тем, что их филиалы, которые находятся под юрисдикцией определенного государства, должны подчиняться законам этого государства столь же неукоснительно, как и национальные фирмы. Что касается первого пункта, то я далее привожу аргументы, показывающие, что по мере того как некоторые государства теряют способность предоставлять защиту, решение этой задачи отчасти могут брать на себя сами транснациональные корпорации[957]. В отношении второго аргумента интернационализация бизнеса и предоставление иностранным гражданам доступа на все новые фондовые биржи означает, что все большая доля активов, принадлежащих гражданам каждого государства, скорее всего находится за пределами этих государств, и что жизненно важные экономические решения, влияющие на размещение инвестиций и занятость в каждом государстве, с большой долей вероятности принимаются людьми, над которыми оно не имеет контроля.

Как выяснило правительство США, когда оно попытались защитить свою промышленность от ввозимых в страну японских автомобилей, во многих случаях меры, принимаемые с целью противостояния тенденции, оказываются бесполезными, поскольку «враг» уже стоит у ворот — даже если допустить, что данный термин здесь уместен, учитывая, что большинство работающих в США на таких фирмах, как «Хонда», «Мицубиси» и *BMW,* сами являются американцами и продают свою продукцию американскому потребителю. Государства, которые попытались сопротивляться этой тенденции и зашли слишком далеко в своих попытках заново вновь установить контроль, рисковали оказаться обойденными потенциальными инвесторами или лишиться уже существующих[958]. В мире, где роль войн между государствами уменьшается, положение политических лидеров начинает все больше зависеть от их способности обеспечивать материальное благополучие. Последнее теперь понимается не столько в терминах деятельности служб социального обеспечения, какв 1945—1975 гг., сколько терминах привлечения инвестиций, создания рабочих мест и обеспечения экономического роста. Появились специальные места для проведения встреч, вроде Международного экономического форума в Давосе, где политики могут прийти к руководству транснациональных компаний «с протянутой рукой» и обратиться со своими просьбами.

Еще одним изменением, произошедшим в связи со сдвигом в направлении международной торговли, стал тот факт, что государства, по словам бывшего министра финансов Великобритании Дениса Хили, обнаружили, что их способность

контролировать собственную валюту была «сильно подорвана»[959]. Если страна хочет участвовать в международной торговле, то ее валюта обязательно должна быть конвертируемой, максимально свободной от одностороннего административного контроля и должен быть разрешен свободный вывод ее в любую другую страну по первому требованию владельца. Но свобода от административного контроля отдает ее на милость конъюнктуры международного рынка, особенно теперь, когда новые компьютерные технологии позволяли осуществлять операции с иностранной валютой мгновенно, 24 часа в сутки и в масштабах, которые не могут себе позволить даже крупнейшие и богатейшие государства (в 1996 г. — 4 трлн долл. вдень).

Прошли те дни, когда, как в период с 1914 по 1945 г., многие крупные государства пытались создать закрытые денежные системы и, по крайней мере, для своих граждан, устанавливали ценность своих валют с помощью указов. В прошлом остались и Бреттон-Вудсские соглашения, бывшие в силе с 1944 по 1971 г. и привязывавшие различные валюты к доллару США, который сам был привязан к золоту[960]. С 1971 г., когда в результате решений, скромно названных Никсоном «величайшей денежной реформой за всю историю », доллар окончательно потерял какую- либо связь с золотом, курсы всех валют на практике стали «плавающими» друг относительно друга. Но если до 1944 г. они были привязаны к золоту, сейчас даже этой подпорки не стало, и зачастую все их обеспечение сводится лишь к статистике, которую собирают экономисты.

Безусловно, государства не потеряли полностью контроль над своими валютами. Они по-прежнему могут манипулировать предложением денег, либо балансируя бюджет, либо отклоняясь от сбалансированности; также они сохранили контроль над некоторыми ключевыми процентными ставками, такими как учетная ставка (по которой центральный банк ссужает деньги остальным банкам) и ставка по своим собственным облигациям. Кроме того, как часто указывается, те, кто занимается валютными спекуляциями, могут быть не иностранцами, а собственными гражданами государства[961]. Но в этом-то все и дело. При новой либеральной экономике разница между ними во многом стирается. Собственные граждане и иностранцы действуют с равной легкостью, не обращая внимания на свои государства, перемещая деньги из одной страны в другую лишь нажатием кнопки. В результате ценность многих валют, включая валюты ряда наиболее влиятельных государств, стала подвергаться резким колебаниям, которые нередко выходили из-под контроля центральных банков или даже согласованно действующих групп

центральных банков. С точки зрения негосударственных экономических субъектов эти колебания делали выгодным хеджирование, которое можно было осуществлять, держа часть активов в иностранных валютах или получая в них ссуды[962]. И так продолжила крутиться карусель, также известная под названием «капитализм казино»[963]. Она подчинялась контролю — если вообще подчинялась — лишь со стороны МВФ, который сам по себе не является государственным действующим субъектом.

Наконец, беспрецедентное развитие электронных информационных услуг, по-видимому, ознаменовало собой еще один шаг на пути отступления государства[964]. На практике ни одно государство не было в состоянии осуществлять полный контроль над мыслями своих граждан; к чести наиболее либеральных из них нужно добавить, что они никогда и не пытались. Благодаря изобретению печатного станка намного увеличилось количество передаваемой информации и снизились издержки на ее распространение, но возможность передавать информацию через международные границы все еще была ограничена из-за необходимости перевозить бумагу (или устанавливать печатные станки), а также из-за языковых барьеров. Последнее было особенно важно. Существование этих барьеров означало, что за исключением небольшой дипломатической и коммерческой элиты информация в основном распространялась в рамках отдельных стран.

Как оказалось, первая из этих проблем была решена с введением публичного радиовещания в 1920-е годы — что привело к такой ситуации, когда во время Второй мировой войны житель оккупированной Германией страны, который слушал вражеские радиостанции, тем самым совершал преступление, караемое смертной казнью. С введением телевидения, основанного на изображении, а не на устном слове, популярность радио уменьшилась. В 80-е годы кабельное и спутниковое телевидение, а также видеокассеты стали широко доступны. Вскоре телевидение начало освещать события в глобальном масштабе и почти без задержки; десятилетие спустя появление Интернета, позволившего людям общаться друг с другом в режиме реального времени, в любом месте, в любое время, независимо от расстояния, времени суток или любого другого фактора, стало еще более значительной революцией. Как и в случае с экономикой, отдельные государства были вынуждены ослабить контроль над информацией в пользу людей и организаций, не являющихся ни суверенами, ни государствами и не имеющих территории. Безусловно, можно утверждать, что

некоторые медиа-магнаты, такие как Тед Тернер и Руперт Мёрдок, имеют больше влияния на международные отношения, чем большинство глав государств и министров иностранных дел; но даже правительства самых влиятельных государств в наше время стараются вести политику, придавая большое значение так называемому «фактору CNN»[965].

Хотя невозможно оценить роль различных информационных служб в подрыве бывшего Восточного блока, она, несомненно, была очень велика[966]. В одной только Восточной Германии 15 млн человек, при общей численности населения в 18 млн, регулярно смотрело телевидение Западной Германии. Основываясь на заявлениях путешественников, западные радиостанции, такие как «Радио Свободная Европа» *(RFE),* «Голос Америки» (VOA), «Би-Би-Си» *(BBC)* и «Немецкая волна» *(DW),* утверждали, что в 1989 г. у них было почти 100 млн слушателей; неизвестно, насколько точной была эта цифра, но роль этих радиостанций в продвижении СССР к *гласности* и *перестройке* была впоследствии признана Михаилом Горбачевым[967]. И наоборот, таким государствам, как Китай, Бирма, Иран и Саудовская Аравия, которые пытаются наложить шоры на глаза своих граждан и не дать им доступа к международным информационным службам, еще предстоит понять, что цена, которую им придется заплатить за добровольную изоляцию, окажется весьма высокой. В долгосрочной перспективе их борьба почти наверняка окажется бесполезной.

Итак, несмотря на пророчества Джорджа Оруэлла в романе «1984», в последние годы XX в. представляется очевидным, что с развитием современных технологий не наступила эпоха наглухо закрытых империй, «ангсоца» и контроля над мыслями. Безусловно, препятствия на пути «глобализации» все еще огромны. К их числу относятся не только разного рода национализм и ксенофобия, которые, в частности, обнаруживаются во многих странах развивающегося мира, но также тип региональных организаций, который вместо того, чтобы открывать страны для мировой торговли, стремится объединить их в блоки, относительно закрытые для внешнего мира. Независимо от того, победит ли в этой борьбе глобализация или регионализм, это будет иметь одинаковые последствия для отдельных государств[968]. Чем больший вес имеет государство, тем выше вероятность того, что оно является членом большого количества международных организаций, будь то глобальных, региональных или просто технических. Вступая в какую-либо организацию, государство уступает часть своего суверенитета в обмен на влияние на дела своих соседей; при этом, несомненно,

степень его контроля над экономикой и мыслями граждан уменьшается.

В таких обстоятельствах лучшее, что могут сделать государства, это плыть по течению. Они должны позаботиться о том, чтобы их граждане изучали иностранные языки, а также новые международные языки обработки данных; они должны вступать в международные организации, чтобы быть уверенными, что их интересы не останутся неучтенными; они должны развивать коммуникационные и транспортные сети, что в большинстве случаев означает их интеграцию с аналогичными сетями соседей; наконец, им следует использовать новые возможности для торговли — снижать тарифы, обеспечивать стабильность и конвертируемость валюты, открывать финансовые рынки и создавать «прозрачность», позволяя свободно циркулировать информации о самом государстве, его экономике и обществе. Если они сделают это, то, по всей вероятности, будут процветать; те же государства, которые по религиозным, идеологическим или иным причинам отказываются от такой линии поведения, уже отстали и, по всей видимости, обречены на отставание впредь. По всей вероятности, прошли те времена, когда отдельное государство, каким бы большим и могущественным оно ни было, могло надеяться вытащить самого себя из болота за волосы, создать самодостаточную империю и претендовать на территорию соседей или даже на мировое господство.

Угроза внутреннему порядку

Как было показано в главе 5 этой книги, многие государства «третьего мира» всегда испытывали огромные сложности в том, чтобы изъять деятельность по применению насилия из рук прочих людей и организаций и монополизировать ее в собственных руках. От Колумбии до Либерии, от Афганистана до Филиппин они часто терпели крах в ходе гражданских войн, этнических конфликтов, религиозной борьбы и партизанской войны, терроризма, нарко-терроризма или всего этого одновременно. При таком положении дел государство либо продолжало прозябать, иногда на протяжении веков, как в большинстве стран Латинской Америки во время ее «ста лет одиночества», либо оно начинало распадаться, едва успев сформироваться, как это случилось в большей части Азии и в особенности в Африке. Тем временем техническое и экономическое развитие приводит к

тому, что развитые страны до некоторой степени теряют (или отдают) свою способность вести межгосударственные войны, обеспечивать социальную помощь, контролировать экономику и управлять мыслями своих граждан. Поэтому возникает вопрос: а смогут ли они сохранить свою монополию на поддержание законности и правопорядка?

Вероятно, правильнее всего взглянуть на эту проблему следующим образом. С середины XVII в. идо 1914 г. вооруженные силы «цивилизованных» государств — особенно европейских, а позже государств Северной Америки и Японии — доказали, что они в состоянии противостоять любому противнику, которого могут выставить другие политические образования или управляемые ими общества. Со временем это преимущество возросло: в битве при Омдурмане в 1898 г. несколько пулеметов «Максим» позволили этим вооруженным силам положить целые колонны дервишей, как по волшебству. Эти победы позволили развитым государствам продолжать экспансию до тех пор, пока они не установили контроль почти над всем миром; и лишь три-четыре «не-белых» страны избежали их господства, которого те часто устанавливали силами очень небольших иностранных отрядов, прибывших из-за моря.

В 1918 —1939 гг. трудности удержания статуса колониальной империи заметно усилились. Во многих странах империалисты были вынуждены вступать в союзы с местной элитой, которая кооптировалась в низшие эшелоны правительственного аппарата; все чаще и чаще они прикрывались разнообразными договорами, в рамках которых уступали видимость власти, сохраняя действительность неизменной. Хотя общее направление этих изменений было совершенно очевидно, не следует преувеличивать их масштабы. К тому времени, когда разразилась Вторая мировая война, еще ни одной стране Азии или Африки не удалось избавиться от своих действительных господ, т.е. войск, которые либо состояли из представителей белой расы, либо были сформированы и управлялись ими.

Произошедшие за последние полвека изменения были огромными. Начиная с Франции и заканчивая США, едва ли существует хотя бы одно «передовое» правительство в Европе и Северной

Америке, вооруженные силы которого не потерпели бы поражение от рук плохо вооруженных, необученных, слабо организованных, нередко плохо одетых, голодных и неграмотных борцов за свободу, или партизан, или террористов; короче говоря, от мужчин — а часто и женщин, — которые испытывали недостаток во всем, кроме исключительной храбрости,

решимости выдержать испытания и упорно продолжать борьбу, противостоя полицейским, противоповстанческим, миротворческим и всяким другим операциям, которые задумывались их угнетателями.

Как оказалось, первыми обнаружившими, что природа войны начала меняться, были немцы. Хотя в роли империалистов они были новичками, до 1914 г. они вели колониальные войны как и все прочие. В Танзании и Намибии на рубеже веков прошли массовые восстания, и в обеих странах они были подавлены с крайней жестокостью. Либо туземцы, идущие во фронтальные атаки и верящие, что после окропления водой они стали неуязвимыми для пуль, скашивались огнем современного оружия, либо же, пытаясь вести партизанскую войну, они попадали в окружение и вытеснялись в пустыню, где целые племена оставались умирать от жажды. В обеих странах вместе взятых общее число жертв, вероятно, достигло нескольких сотен тысяч.

В первые годы Второй мировой войны у немецких администраторов и солдат вновь появилась возможность проявить свою доблесть на огромных, малоосвоенных территориях. Многие из них с радостью ухватились за эту возможность, привыкнув к долгим годам расистской пропаганды и действуя в соответствии с четкими указаниями Гитлера[969]. Уже начиная с 1941 г. и ухудшаясь с каждым годом, немецкая оккупация, в особенности Югославии и Советского Союза, была столь жестокой, что во многих случаях напоминала геноцид, с тысячами и тысячами выжженных-Деревень и убитых жителей, либо в качестве составной части «антибандитских» операций, либо и вовсе без причин. И все же зверские методы, использовавшиеся немцами и их союзниками, не способствовали установлению мира и спокойствия; напротив, чем больше зверств они совершали, тем более яростным, как правило, было сопротивление. Хотя некоторые страны дольше раскачивались, в конце концов, движение Сопротивления распространилось практически по всем странам, оккупированным Германией, и ко второй половине 1944 г. большая часть Европы была охвачена огнем.

Никто никогда не узнает, могли ли повсеместные операции борцов за свободу привести к освобождению Европы от нацистов без помощи вооруженных сил союзников. Предположим, что Германия «победила» бы в войне, заключив мирный договор с Западом и разбив Советский Союз — хотя бы в том смысле, что широкомасштабные операции против него больше не были бы нужны (как того ожидал сам Гитлер)[970]. В таком случае перед силами вермахта, сокращенными в результате демобилизации до,

скажем, 1,5 млн человек (в 2 раза больше, чем служило в действующей армии в 1939 г.), была бы поставлена задача неопределенно долго контролировать *Lebensraum*[971] в несколько миллионов квадратных километров и с населением в несколько сотен миллионов человек. Даже за относительно короткий срок от трех до четырех лет, на протяжении которого длилась оккупация в большинстве стран, различные движения сопротивления смогли нанести значительный урон, как в виде людских потерь, так и в виде материального ущерба, и связать германские войска, насчитывающие сотни тысяч солдат. В одной только Югославии приходилось содержать на постоянной основе целую армейскую группу, состоящую примерно из 30 дивизий стран Оси, хотя следует признать, что лишь часть из них были немецкими[972]. Судя по тому факту, что к концу войны партизанское движение в таких странах, как Югославия, Греция и Северная Италия, преуспело в том, чтобы сделать положение немцев невыносимым, есть серьезные основания полагать, что в рассматриваемой нами гипотетической ситуации Германию ожидал бы неуспех.

Столкнувшись с вооруженным сопротивлением со стороны оккупированного населения, немцы вскоре обнаружили, что именно самые современные компоненты их вооруженных сил были наиболее бесполезны. До сих пор их танки, артиллерия, истребители и бомбардировщики не испытывали особых трудностей в том, чтобы вдребезги разбить самые передовые армии мира (включая армии трех ведущих мировых держав, силы которых значительно превосходили их собственные)[973], но, столкнувшись с мелкими отрядами партизан, которые не являлись армией, не носили военную форму, не сражались в открытом бою и имели обыкновение растворяться либо в сельском ландшафте, либо среди окрестного населения, немецкие войска оказались в полной растерянности. Как и другие завоеватели после них, немцы извлекли урок, что при проведении противоповстанческих операций практически единственными силами, которые могли оказаться полезными, были легко вооруженные полиция, пехота, горные войска, отряды специального назначения, войска связи и, главное, разведка всех видов. Все они должны были передвигаться в пешем порядке либо используя легкие машины, предпочтительно те, которые могли двигаться по пересеченной местности. За пределами городов их можно было усилить самолетами-разведчиками, а в тех редких случаях, когда противника удавалось захватить врасплох и вынудить к открытому бою — небольшим количеством артиллерийских стволов и танков. И в этих операциях не было

места для гордости вермахта — танковых и механизированных дивизий, и более того, поскольку масштаб проведения операций был очень небольшим, для каких-либо дивизий вообще.

Открытие, сделанное немцами (и в меньшей, но значительной степени их японскими союзниками) в ходе Второй мировой войны, с тех пор было повторено практически всеми крупными вооруженными силами мира. Одними из первых, кто столкнулся с партизанской войной в самом начале послевоенного периода, были французы и англичане. В плане жестокости их операциям было далеко до немецких; и все же, особенно что касается действий французов в Индокитае и Алжире, они были достаточно безжалостными. В обеих странах попытка французов, применявших самое современное оружие, какое только имелось в их распоряжении, снова установить контроль над своими колониями, привела к гибели сотен тысяч человек и к уничтожению огнем и мечом целых деревень и даже районов. Хотя англичане не заходили так далеко (самое большое число жертв среди местного населения в их колониальных кампаниях составляло примерно 10 тыс. человек во время боевых действий в Кении[974]), они тоже часто прибегали к смертной казни, пыткам и уничтожали целые деревни, обитателей которых переселяли в концентрационные лагеря[975]. Также, как и немцы, английские и французские вооруженные силы обнаружили, что именно самое мощное оружие и оружейные системы были самыми бесполезными, будучи либо слишком дорогими, либо слишком быстрыми, либо слишком большими, либо слишком неточными, либо слишком неизбирательными, либо все вместе одновременно. Что касается самого мощного оружия, т.е. ядерного, то против врага, чьи силы были столь рассредоточены и столь неуловимы, оно было просто неприменимым.

Тогда же или позже опыт французов и англичан в период с 1945 по 1960 г. разделили практически все современные вооруженные силы, которые попытались испробовать свои силы в борьбе против повстанцев. Голландцы, бельгийцы, испанцы и португальцы — все они, как уже говорилось, были вынуждены эвакуировать свои колонии. Пытаясь занять место якобы деморализованных французов во Вьетнаме[976], американцы вначале направили в эту маленькую, отсталую и удаленную страну советников, затем отряды специального назначения, а впоследствии, начиная с 1965 г. — огромные силы, вооруженные обычными видами оружия. В конечном итоге, общее число служивших в этих войсках составило более 2,5 млн человек, в то время как самое большое число солдат, находившихся во Вьетнаме единовременно, составило 550 тыс. В их распоряжении

имелись самые мощные военные технологии из имевшихся на тот момент, включая тяжелые бомбардировщики, истребители, авианосцы, вертолеты (количество только потерянных вертолетов достигло полутора тысяч), танки, артиллерию и самую передовую за всю историю систему связи. Число погибших солдат Вьетконга, Северного Вьетнама и гражданских лиц составило приблизительно 1—2 млн человек; по самым скромным подсчетам, к этой величине следует добавить в 3—4 раза большее число раненых, — но все это было безрезультатно. После восьми лет сражений и потеряв 55 тыс. человек только убитыми, именно американцы уступили и с последними солдатами, цепляющимися за полозья вертолетов, покинули Сайгон.

И в Афганистане (где советская армия за десять лет сражений была сломлена), и в Камбодже (где вьетнамцы были вынуждены отступить), и в Шри-Ланке (где индийская армия так и не сумела навести порядок), и в Намибии (получившей независимость от Южной Африки после долгой и тяжелой борьбы), и в Эритрее (которая завоевала свою независимость, несмотря на все действия эфиопов, поддерживаемых СССР), и в Сомали (которое покинула большая часть войск ООН после неудачной попытки справиться с местными полевыми командирами) история неизменно повторялась. Каждый раз достаточно современные, хорошо вооруженные, регулярные войска, принадлежащие государству, пытались противостоять повстанцам и каждый раз оказывались побежденными.

Вероятно, одним из самых интересных был случай с Израилем в Ливане. Израильско-ливанская граница, которая в течение 20 лет после 1948 г. была самой мирной из всех, впервые стала источником беспокойства в 1968 г., когда партизаны, входящие в Организацию Освобождения Палестины (ООП), начали свои атаки. Проведя четыре крупные операции (в 1978, 1982, 1994и 1996 гг.), а также бесчисленное множество мелких, израильтяне не смогли решить проблемы; хотя партизаны сменили название ООП на «Амаль», а затем на «Хезболлах», не прекратились ни засады против израильских войск, действующих на территории Ливана, ни ракетные обстрелы Галилеи через границу. В частности, в апреле 1996 г. ВВС и артиллерия Израиля — после распада СССР, возможно, занимающие по своей мощи второе или третье место в мире — обрушили тысячи снарядов и ракет на крохотную территорию Южного Ливана. Благодаря самой сложной электронной аппаратуре, когда-либо использовавшейся в войне, ответ на партизанские атаки был почти мгновенным и таким точным, что практически каждый снаряд достигал цели; способность израильских вертолетов

выпускать ракеты, влетающие в заранее выбранные окна высотных зданий в центре Бейрута, некоторые из них вдобавок были окружены другими домами, производила очень сильное впечатление. Не в первый раз большая часть подвергнутой обстрелу территории превращалась в дымящиеся развалины. Но когда дым рассеялся, оказалось, что число убитых партизан организации «Хезболлах» составило всего лишь 30 человек (из общей численности в 200 убитых). Способность организации продолжать борьбу осталась практически прежней, и она быстро оправилась от нанесенного ей ущерба.

К приведенным выше примерам легко можно добавить множество других. Они показывают, что начиная с 1945 г. подавляющее большинство крупных партизанских и террористических кампаний велось в странах «третьего мира»; другими словами, в тех местах, где люди пытались основать собственное государство или, напротив, где существующие государства не смогли установить собственную монополию на применение насилия. И все же неверно было бы утверждать, что развитые страны не подвержены терроризму или что для них этой проблемы не существует. Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Япония (гдев 1995 г. в Токио имели место две смертоносные газовые атаки) — на территории этих государств произошло по крайней мере несколько террористических актов. Нередко в результате этих атак гибли и получали ранения десятки и даже сотни человек — например, число погибших от рук Ирландской республиканской армии и в ходе операций против нее на начало 1996 г. составило 3 тыс. человек — и это *до того,* как организация показала, на что она способна, когда в результате организованного ею взрыва в Манчестере в мае того же года было ранено 200 человек. В этих и других странах список людей и объектов, подвергающихся атакам, включает премьер-министров, известных политиков, железнодорожные станции и пути, автобусы, больницы, торговые центры, офисные здания, гостиницы, уличные кафе, аэропорты, самолеты, корабли и, конечно, иностранные посольства и дипломатический персонал.

Некоторые атаки были отголосками борьбы, которая проходила в других странах, например, когда курды воевали с турками на территории Германии и Швейцарии, или когда палестинские партизаны и израильские тайные агенты преследовали друг друга в таких отдаленных друг от друга местах, как Северная Норвегия и Латинская Америка. В других странах террористы, хотя, возможно, и имели связи с заграницей, родились или хотя бы выросли на их территории. Хорошие примеры — почившие неоплаканными немецкая и итальянская

фракции Красной Армии, поддерживавшие связи друг с другом, Ирландская республиканская армия, имеющая связи в США и Ливии, ЭТА (представляющая басков) в Испании и во Франции, и различные мусульманские организации, действовавшие во Франции, из-за которых в начале 1996 г. ее столица была похожа на готовую к обороне крепость. Часто социальной базой этих организаций являются этнические и религиозные меньшинства, легально или нелегально проникшие в страны, о которых идет речь: во Франции, Германии и Великобритании, вместе взятых, проживает в настоящее время приблизительно 10 млн человек, исповедующих ислам.

По причине того, что им необходимо на что-то существовать, зачастую террористические организации дополнительно занимаются криминальной деятельностью, такой как контрабанда наркотиков, торговля оружием, а с начала 90-х годов — торговлей радиоактивными материалами, такими как уран и плутоний. Они постоянно доказывают, что способны пробуждать в своих последователях неистовую преданность; на Ближнем Востоке и в Турции оказалось не так уж сложно найти даже людей, готовых совершить самоубийство (и отправиться в рай в качестве вознаграждения). Атака иностранных террористов на Центр международной торговли в Нью-Йорке в 1993 г. и взрыв федерального здания в городе Оклахома в 1995 г. местными террористами показали, что даже два самых больших океана на Земле не могут защитить страну от этой опасности. В результате на Олимпийских играх в Атланте в 1996 г. число сотрудников служб безопасности вдвое превышало число спортсменов.

Как выглядят вооруженные силы, находящиеся в распоряжении государства, перед лицом этих атак? Вряд ли стоит говорить о том, что самое мощное имеющееся у них оружие, включая в частности тяжелое оружие, на которое уходит основная часть бюджета, абсолютно бесполезно против этих и подобных им движений. Для борьбы с ними нужны полицейские силы, как в униформе, так и в штатском[978]. И действительно, с момента зарождения современного терроризма в конце 60-х — начале 70-х годов XX в. едва ли найдется хоть одна развитая страна, которая не попыталась бы укрепить свои «силы правопорядка». Самыми распространенными мерами стали расширение служб разведки и их координация между собой; создание специальных антитеррористических отрядов, имеющих навыки освобождения заложников и тому подобных операций, создание и приобретение широкого спектра усовершенствованных средств радиосвязи, защищенных удостоверений личности, видеокамер для замкнутых телевизионных систем наблюдения, металлоискателей,

рентгеновских аппаратов, приборов ночного видения, подслушивающих устройств, приборов по автоматическому обезвреживанию бомб и, в последнее время, приборов для обнаружения радиоактивных, химических и биологических материалов[979]; все эти устройства связаны с компьютерами, где данные из этих и других источников хранятся, сопоставляются, обрабатываются и рассылаются туда, где в них есть необходимость, причем это происходит моментально и часто через государственные границы, поскольку государства стараются координировать свои ответные действия на угрозы. Технологии, необходимые для имплантации в человеческое тело электронных чипов, которые позволят мгновенно идентифицировать личность каждого и постоянно контролировать все передвижения, уже доступны и используются при разведении скота. Если службам безопасности в некоторых странах дать волю, то не за горами окажется то время, когда эти технологии будут применяться к людям — возможно, сначала к преступникам, детям и старикам (если они страдают потерей памяти), а затем к более широким группам населения[980].

Как говорят нам представители различных групп, озабоченных защитой неприкосновенности частной жизни, такое развитие ситуации не может не вызывать беспокойства. Возможно, еще большую тревогу вызывает тот факт, что перед лицом потенциальных угроз — включающих, помимо обычных взрывов и партизанских нападений, химический, биологический и ядерный терроризм — разного рода полицейские силы, очевидно, неспособны обеспечить сохранение монополии на применение насилия в руках государства. Даже если ограничиться развитыми странами, большинство из них может похвастаться самое большее тем, что удерживает терроризм в «приемлемых» рамках. Однако по мере того как люди привыкают видеть террористические действия на экранах телевизоров, по-видимому рамки того, что может считаться «приемлемым», расширяются с каждым годом. В некоторой степени эти изменения были признаны формальным международным правом. В 1977 г. была подписана Четвертая Женевская конвенция, гарантирующая определенную защиту комбатантам, которых невозможно распознать издали в качестве таковых и которые не носят униформу, хотя и участвуют в военных операциях[981].

Тем временем изменения, произошедшие повсеместно, начиная с Белого дома в Вашингтоне и заканчивая Даунинг-Стрит в Лондоне, уже очевидны даже для обычного туриста. Целые городские кварталы, в которых живут и работают президенты и премьер-министры и которые до недавнего времени были

открыты для пешеходов и движения транспорта, изолируются и превращаются в крепости; вряд ли они снова когда-либо будут доступны для обычных людей — хотя бы потому, что никто не захочет взять на себя за это ответственность. Их охрана доверена персоналу, одетому как в униформу, так и (в особенности) в штатское, в распоряжении которого имеются всевозможные технические средства. От Швеции и до Израиля лидеры государств, которые раньше могли свободно гулять по улицам без охраны, давно уже перестали это делать. Теперь их можно увидеть на публике разве что быстро проносящимися в закрытых бронированных машинах с тонированными стеклами; чтобы сбить со следа потенциальных террористов, в колонне нередко имеется несколько одинаковых машин, а иногда организуется несколько колонн, движущихся в разных направлениях. Места, где предполагается их появление, а также все окрестности тщательно проверяются и охраняются, иногда за несколько дней или недель до события. Такой системой безопасности гордился бы разве что Чезаре Борджиа, постоянно занимавшийся убийствами и сам боявшийся быть убитым; одно или два поколения назад считалось, что она необходима только для охраны наиболее жестоких в мире диктаторов, таких как Сталин и Гитлер.

В некотором смысле подъем международного террористического движения представляет собой зеркальное отражение всего того, о чем уже говорилось в данной книге. Оружие, которое применяют регулярные войска, обычно крайне дорого и требует развитой инфраструктуры тылового обеспечения, а также больших расчетов или экипажей, чего нельзя сказать о многочисленных технических приспособлениях, применяемых службами безопасности в борьбе с терроризмом, которые дешевы и поэтому также доступны их противникам. Компьютеры могут быть взломаны компьютерными хулиганами и хакерами. Удостоверения личности, выпускаемые государством, даже изготовленные с применением высоких технологий, обычно легко подделать. Личное оружие, подслушивающие устройства, инфракрасные приборы ночного видения и подобное оборудование, которое использует полиция, можно легко приобрести; и в действительности производители обычно рады продать их всем желающим. Если полиция использует сложную радиоаппаратуру со скачкообразной сменой частоты, чтобы координировать свою работу, то преступники и террористы (а также журналисты, которые гоняются за теми и за другими) могут делать то же самое; они прослушивают эфир, чтобы ускользнуть от своих преследователей или, как это часто бывает, чтобы пустить их по ложному следу. Подобным образом транспортные

сети, благодаря которым возможны международное общение и торговля, могут использоваться и иногда используются террористами, чтобы игнорировать государства, их границы и суверенные территории.

Но, возможно, самым важным фактором, способствующим развитию современного терроризма, является огромное количество государств. В настоящий момент в мире существует почти 200 суверенных политических единиц, и почти непрерывно появляются новые. Среди них некоторые заинтересованы в том, чтобы доставить неприятности соседям. Другие преследуют разнообразные идеологические и религиозные цели, а некоторые все еще управляются алчными людьми, не слишком разборчивыми в способах добывания денег. Поэтому практически не вызывает сомнений, что в любой момент найдется хотя бы несколько государств, готовых поддержать террористов в их борьбе, направленной если не против всех государств, то по крайней мере, против некоторых[982]. Такая помощь может оказываться в виде предоставления баз, обучения, финансирования, изготовления документов, предоставления доступа к средствам связи (например к дипломатической почте), транспорта, оружия, убежища и всего этого одновременно. Известны даже случаи, когда посольства некоторых стран превращались в базы террористов. Они укрывали личный состав, занимались контрабандой оружия, оказывали материальную и организационную поддержку и участвовали в операциях по похищению людей.

Из-за того, что службы безопасности являются одним из самых трудозатратных видов человеческой деятельности — например, в начале 90-х годов сотрудники служб безопасности составляли *40%* всех служащих американских авиалиний в Европе — содержать их крайне дорого. Охрана военной базы или превращение комплекса правительственных зданий в крепость — это одно, но обеспечение такого уровня защиты в масштабах целой страны — совсем другое. Даже если допустить, что ее можно сделать доступной и эффективной, это сделало бы повседневную жизнь практически невозможной из-за того, что на самые обычные виды деятельности требовалось бы огромное количество времени. По этой и другим причинам — в том числе, не в последнюю очередь, вероятности жестокой критики в случае провала — многие государства неохотно задействуют свои силы для решения этой задачи. В лучшем случае они занимаются подготовкой антитеррористических отрядов и держат их в резерве на случай таких крайних ситуаций, как взрывы, похищения и т.п., а финансовое и организационное бремя повседневного

обеспечения безопасности они, как показывает опыт, с готовностью перекладывают на предприятия частного сектора и частные лица.

То ли по причине того, что правительство издает соответствующие распоряжения (как в случае гражданской авиации во многих странах), то ли потому, что они просто не доверяют государству в плане обеспечения достаточной безопасности, частным лицам и бизнесу все в большей степени и во все более крупных масштабах приходится самим заботиться о себе. В зависимости от природы ожидаемой угрозы граждане многих стран уже привыкли к тому, что их вещи проверяют и что их самих обыскивают каждый раз, когда они заходят в магазин, кинотеатр, на стадион, посещают рок-концерты и подобные места, где собирается толпа, и где вследствие этого террористический акт более вероятен и может принести больше жертв. От ЮАР до Италии, некоторые государства сейчас требуют, чтобы каждый банк был снабжен метал-лоискателями и двойными дверями, которые открываются только тогда, когда становится ясно, что посетитель не представляет угрозы (т.е. если он или она не имеет при себе оружия). Частные лица, городские микрорайоны и корпорации пытаются защитить себя от терроризма и преступности, нанимая частных охранников, возводя прочные ограды, устанавливая системы сигнализации и внутреннего наблюдения, запрашивая документы, удостоверяющие личность, при входе в здания и на объекты (независимо от того, законно это или нет, соответствующие сотрудники часто настаивают на том, чтобы посетители оставляли документы на входе на время пребывания в здании), требуя носить опознавательные значки и многое другое.

Хотя не все страны столкнулись с этой проблемой в равной степени, по-видимому, до сих пор все эти меры мало что дали для ее решения. К чему они привели, так это к превращению частной охраны во всем мире в одну из самых быстрорастущих отраслей экономики[983]. Так, в Германии с 1984 по 1996 г. число охранных предприятий увеличилось более чем вдвое (с 620 до 1400),а занятость в них увеличилась не менее, чем на 300%[984]. В Великобритании, которая обычно считается страной с высоким уровнем насилия, количество занятых в этой сфере увеличилось с 10 000 в 1950 г. до 250 000 в 1976 г.[985] Поскольку с тех пор рост не прекратился, то, по всей видимости, прошло уже несколько лет с того момента, когда число частных охранников превысило число носящих униформу военнослужащих этого государства (численность которых составляла в 1995 г. 237 000 человек). Подобным же образом в США уже к 1972 г. в частных охранных

предприятиях было занято в 2 раза больше служащих, чем в полиции штатов, местной и федеральной полиции вместе взятых, а их бюджет в 1,5 раза превышал общий бюджет полиции всех уровней[986]. К 1995 г. оборот этой индустрии составил 52 млрд долл. в год, и ожидается, что к концу века эта цифра увеличится вдвое[987]. Если сохранится нынешняя тенденция, то недалек тот день, когда американские граждане будут платить больше частной охране, чем вооруженным силам страны; это соотношение, которое в 1972 г. было 1:7 и с тех пор уменьшилось до 1:5, продолжает падать. Число тех, кто занят в этой области, составляющее 1600 тыс. человек, уже превышает число военнослужащих действующей армии. В начале 90-х годов одна только американская отрасль воздушного транспорта тратила около 1 млрд долл. в год на обеспечение безопасности в аэропортах, установление специального оборудования и проверку пассажиров и их багажа; чуть ли не каждый день появляются новые приборы, например, для контроля перевозки радиоактивных материалов. Некоторые компании предпочитают иметь собственные службы, другие нанимают сторонние фирмы, так как уровень зарплат персонала в них обычно ниже, и меньше предоставляется дополнительных льгот; таким образом достигается снижение издержек, пусть и ценой высокой текучести кадров и, довольно часто, плохого качества услуг[988].

Подобно многим другим, для индустрии безопасности характерен высокий уровень централизации. Некоторые из ведущих фирм в этой области в настоящее время имеют в своем распоряжении частные армии, насчитывающие многие тысячи человек и даже больше. В развивающихся странах, таких как Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия, наемники уже используются для организации государственных переворотов и контрпереворотов. Хотя наемники пока что не угрожают политической стабильности развитых стран, ассортимент услуг, которые они предлагают, поразителен. В него входят разработка и усовершенствование как оружия, так и сценариев действий; вербовка, обучение и проверка персонала, от простых охранников до тех, кто специализируется на проектировании укрепленных зон и на ведении сложных расследований; продажа, аренда или лизинг оборудования, начиная от десятицентовых пластмассовых временных пропусков и техники для пресечения массовых беспорядков до детекторов взрывчатых веществ ценой в 1 млн долл.; проверка персонала на благонадежность, выявление мошенничества, проведение тестов на детекторе лжи и прослушивание телефонных разговоров; разработка, создание и управление системами безопасности всех видов; испытание этих

систем, в том числе с помощью специально предназначенных для этого «красных команд»; не говоря уже о так называемых «ковбойских занятиях», таких как выбивание долгов, изгнание вторгшихся на частную территорию, помощь корпорациям в общении с забастовщиками и добывание улик по любому вопросу, от коррупции до супружеской неверности.

Клиентами охранных предприятий являются не только частные лица, микрорайоны и корпорации, но и в некоторых случаях само правительство. Последнее может обратиться к ним либо за услугами квалифицированных специалистов, которых у него нет; либо для экономии средств; либо для того, чтобы обойтись без услуг собственных сотрудников, которые в ряде случаев сами являются объектом расследования. В некоторых развитых странах именно сотрудники частных служб безопасности, работающие по контракту на государство, осуществляют пограничный и паспортный контроль. В других странах частные охранники имеют достаточно полномочий, чтобы задерживать подозреваемых и препровождать их в тюрьму, не говоря уже о том, что сами тюрьмы приватизируются при первой возможности. В то время как в одних лишь США существует не менее 150 фирм, специализирующихся на получении денег с алиментщиков, даже в такой цивилизованной стране, как Новая Зеландия, серьезно обсуждался вопрос, следует ли разрешать сотрудникам частных структур безопасности участвовать в полицейских блок-постах для отлавливания должников[989]. Создается впечатление, что во многих странах правящие круги решили положить конец « эпохе полиции » (1830—1945). На фоне многочисленных свидетельств того, что доверие людей к полиции падает[990], задачу борьбы с преступностью могут снова взять на себя «ловцы воров», которые занимались этим в большинстве стран вплоть до эпохи Французской революции и даже позже.

Сотрудники частных охранных структур, от членов совета директоров до простых вахтеров, зачастую являются бывшими военными, разведчиками и полицейскими, попавшими туда в поисках более выгодного места работы. Иногда предыдущий опыт службы в одной из этих структур является обязательным условием приема на работу в такое предприятие. В других случаях сами полицейские работают по совместительству в свободное время: они предлагают свои услуги всем, от владельцев спортивных команд до хозяев магазинов[991]. Таким образом, их подготовка, которая ничем не отличается от подготовки сотрудников государственных служб безопасности, служит достижению сугубо частных целей. При условии достаточно высокой оплаты — хорошо известно, что некоторые

террористические организации, занимающиеся рэкетом, контрабандой наркотиков или ядерных отходов, имеют активы, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов[992], — существует вероятность того, что некоторые из бывших полицейских или сотрудников служб безопасности на каком-то этапе своей карьеры сами могут стать террористами. Это может происходить как в своей стране, так и за рубежом, причем последнее более вероятно. Более того, то, что наемники («солдаты удачи», как они предпочитают сами себя называть) снова появились на службе как у правительств, так и у их противников, стало одним из самых заметных изменений, произошедших в последней четверти XX в. [993] Иными словами, террористы, сотрудники частных охранных предприятий и государственных служб безопасности все больше и больше становятся взаимозаменяемыми теоретически и, по крайней мере в некоторых случаях, на практике.

Очевидно, что воздействие этих изменений сильно различается в разных странах, и некоторые места по-прежнему остаются гораздо более безопасными, чем другие. Но с глобальной точки зрения нет ничего удивительного в том, что борьба с терроризмом не слишком успешна. Если сегодняшние тенденции сохранятся, итог представляется очевидным, и на самом деле уже сейчас это становится темой многих научно-фантастическихроманов[994], а также компьютерных игр. Функция обеспечения безопасности —которая по крайней мере со времен Томаса Гоббса считалась *главной* функцией корпорации, известной под названием «государство», — снова будет разделена между различными другими организациями[995]. Некоторые из них будут иметь территориальный характер, но не будут суверенными, например сообщества крупнее государств; другие, возможно более многочисленные, не будут обладать ни суверенитетом, ни территорией. Некоторые будут действовать во имя целей политического, идеологического, религиозного или этнического характера, другие — исключительно ради частной выгоды. Каковыми бы ни были их цели, для выживания все они будут нуждаться в деньгах. Они будут получать их, либо заключая контракты с государствами на то, чтобы вести их грязные дела, либо продавая свои услуги другим организациям, либо занимаясь вымогательством у населения[996]; например, во время восстания ООП против Израиля использовались все три метода, либо разными группировками, либо одними и теми же одновременно. С другой стороны, вероятно, государства, как уже практикуется в некоторых странах, перейдут на принцип «потребитель платит». Они начнут взимать плату по крайней мере за некоторые виды услуг по обеспечению безопасности — такие как помощь в случае

кражи со взломом, — которые раньше предоставлялись (если вообще предоставлялись) бесплатно.

Таким образом, растет вероятность, что государство потеряет свою монополию на применение таких форм организованного насилия, которые все еще остаются жизнеспособными в ядерный век, и станет одним из многих действующих лиц. Распространяясь снизу вверх, форма осуществления этого насилия может вернуться к той, которая существовала еще в первой половине XVII в., а именно, к капиталистическому предприятию, мало отличающемуся от многих других и тесно связанному с ними. Подобно тому, как государи и другие военные предприниматели обычно заключали договоры друг с другом для получения прибыли — например, амстердамский капиталист, Луис де Геер, однажды предоставил шведскому правительству целый флот вместе с матросами и командирами до вице-адмирала включительно — в будущем различные государственные, полугосударственные и частные корпорации будут делать то же самое. Для некоторых из них безопасность будет являться основным видом бизнеса, тогда как для других — побочным. Одни будут легальными, другие — криминальными; хотя с течением времени и по мере накопления опыта взаимодействия между людьми и организациями (хотя бы для того, чтобы научиться лучшим методам обеспечения безопасности) эти различия, вероятно, будут уменьшаться.

Во многих так называемых развивающихся странах описанная выше ситуация уже имеет место и на самом деле никогда и не была иной. Действуя самостоятельно — организуя частную охрану или создавая целые армии — либо заключая договоры с местными повстанцами, люди и корпорации стараются обезопасить свою собственность и свою деятельность; такую ситуацию часто называют неоколониализмом[997]. Конечно, большинство граждан большинства развитых стран все еще могут спать спокойно в своих постелях, хотя их сон все чаще оберегает оружие и защищают стены. Так, только в одной Великобритании на руках у населения вероятно находится около 2 млн нелегальных единиц огнестрельного оружия[998]. По состоянию на 1997 г. в США существовало 30 тыс. охраняемых местных сообществ (микрорайонов), число которых, как ожидается, через несколько лет удвоится; неудивительно, что по некоторым данным их жители становятся все равнодушнее к публичной политике и все неохотнее в ней участвуют[999]. И для них, и для их менее удачливых соотечественников жизнь в будущем, скорее всего, станет менее безопасной или, во всяком случае, больше наполненной заботой о безопасности, чем она была в самых

могущественных государствах прошлого.

Положительной стороной новой ситуации будет то, что те же самые государства с гораздо меньшей вероятностью, чем до 1945 г., будут вступать в крупномасштабные вооруженные конфликты друг с другом, не говоря уже о войне в глобальном масштабе. Сделка с дьяволом, заключенная в XVII в., согласно которой государство предлагало своим гражданам намного лучшую повседневную защиту в обмен на их готовность пожертвовать собой ради государства в случае надобности, возможно, будет расторгнута. И, учитывая то, что на протяжении шести лет Второй мировой войны число только погибших составляло примерно 30 тыс. человек *в день,* она вовсе не обязательно заслуживает сожаления.

Утрата веры

В то время как Гегель в 1830 г. восхвалял бюрократию как «всеобщее сословие», который ставит общественное благо выше собственного, ив начале XX в. Отто Гинтце воспевал «высокие добродетели» государственных служащих, а Макс Вебер считал государственную администрацию воплощением «целерациональности»[1000], сегодня, вероятно, не осталось ни одного человека на Земле, который бы считал, что бюрократии свойственны данные характеристики. В действительности все обстоит ровно наоборот. В многочисленных научных работах, написанных после 1960 г., государственная бюрократия описывается как бесконечно разрастающаяся (бюрократическое решение любой проблемы состоит в расширении бюрократии), служащая только своим собственным интересам, склонная ко лжи с целью сокрытия собственных провалов, деспотичная, непредсказуемая, безликая, мелочная, неэффективная, сопротивляющаяся изменениям и безжалостная[1001]; высказываясь против расширения государственной службы здравоохранения, президент Дж. Буш однажды охарактеризовал собственную администрацию как обладающую «состраданием в той же степени, что и КГБ». Бюрократия стала синонимом всего плохого, и нет ничего хуже, чем называться «бюрократом».

Возможно, еще более поразительна судьба, которая постигла слово «публичный», или «общественный» *(public)*. В Древней Греции, где впервые было проведено различие между частным и публичным, преимущество было на стороне публичной сферы[1002], не говоря уже о том, что от слова «частный» — *idios* —

происходит современное слово «идиот». С закатом социализма в конце XX в. ситуация изменилась в противоположную сторону. В большинстве случаев слова «публичный» или «общественный» означают «находящийся во владении государства» или «предоставляемый государством», и в результате они стали синонимом слова «второсортный» . Правильно это или нет, но лучшим комплиментом для школы будет сказать, что она частная (хотя такие школы в Великобритании называются словом «public» — «общественный») и дорогая, а худшим оскорблением будет назвать ее государственной или общественной («public») и дешевой. В зависимости от страны то же самое в большей или меньшей степени относится к медицинскому обслуживанию, жилищному сектору (в этой сфере слова «государственный» или «общественный» обычно являются синонимом слова «ветхий»), местам проведения досуга (аналогично), транспорту (при прочих равных условиях общественным транспортом пользуются только те, кто не может себе позволить купить автомобиль) и другим сферам, которых слишком много, чтобы их перечислять. Сегодня государственные предприятия могут выжить, только утверждая, что они столь же эффективны, как и частные фирмы[1003]; предубеждение против всего общественного, кажется, распространяется даже на такие основные блага, как питьевая вода. Во многих странах та вода, которая течет из крана и предоставляется государством, считается непригодной для питья (и часто на это есть все основания), а та, которая производится частными заводами и выпускается в бутылках, считается чистой.

Хотя заявления «Уменьшим количество канцелярской работы» и «Уничтожим бюрократию!» стали популярными предвыборными лозунгами во многих странах, едва ли сегодня существует хотя бы одна, где это обещание было выполнено. За два десятилетия приватизации было распродано либо закрыто огромное количество государственных компаний по всему миру; часто это происходило за счет их сотрудников, которые пополнили ряды безработных или вынуждены были подыскать себе другую работу с меньшим количеством дополнительных льгот. Кроме того, начиная с 1980 г. не было ни одной развитой страны, система социального обеспечения которой не урезала бы выплаты и не грозилась бы урезать их еще больше; единственной разницей между консерваторами и социалистами, такими как Блэр и Жоспен, является то, что последний обещает провести это более безболезненно. В результате во Франции в последний месяц 1995 г. наблюдался широкий всплеск забастовок и бунтов. В США системе социального обеспечения угрожало банкротство[1004], и одним из многих предлагавшихся решений было даже

предложение ее приватизировать; это означало бы, что государство, хотя по-прежнему заставляет людей переводить часть заработка в фонд принудительных сбережений, больше не гарантирует, что когда придет момент выплаты, деньги на это действительно найдутся (даже в той ограниченной степени, как сейчас).

Вдобавок ко всему даже в тех странах, где призыв к здоровому индивидуализму, уверенности в своих силах и приватизации звучал особенно громко, количество бюрократов не уменьшилось: например, в США при Рональде Рейгане оно увеличилось на 1%[1005]. Не уменьшилась и доля контролируемого ими ВНП. Например, в Великобритании в 1993 г. она составляла 45,5% против *44%* в 1978 г. Для Европейского экономического сообщества в целом этот показатель составлял, соответственно, 52% и 50%[1006]; в 1996 г. после десятилетия сокращения расходов французское правительство вновь побило рекорд, изымая 45,7% ВВП в виде налогов[1007]. В США налоговое бремя также осталось примерно на прежнем уровне, несмотря на все сокращения социальных выплат, которые произошли с того момента, как в 1981 г. республиканцы пришли к власти.

Таким образом, все свидетельствует о том, что большинство современных государств, явно и открыто или тайно и лукаво, требуют все больше и больше, предлагая взамен все меньше и меньше. В лучшем случае они компенсируют изымаемые ресурсы тем, что развивают инфраструктуру и обеспечивают условия для быстрого экономического роста, как это сейчас происходит в США (хотя и ценой постоянного дефицита внешнего платежного баланса, доходящего до 120 млрд долл. в год), и как это было до недавнего времени в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В худшем случае они вынуждают целые сектора рынка труда уклоняться от уплаты налогов и даже переходить на бартер, как в Италии (между 1980и1990 гг. доля налогов в итальянском ВВП увеличилась с 30 до 42%)[1008].

Возможно, чтобы как-то компенсировать свое растущее бессилие, у многих государств также сформировалась неприятная привычка вмешиваться в мельчайшие детали частной жизни людей. В Ирландской республике нельзя получить информацию о контрацепции, в Нидерландах нужно просить разрешения у правительства, чтобы покрасить парадную дверь в тот цвет, который хочется. Некоторые правительства скажут вам, что можно играть только в государственную лотерею (и государство забирает доходы себе). В одних государствах принимают законы, по которым курильщики становятся париями, в других при определенных обстоятельствах человек *обязан* «стучать» на

членов своей семьи и соседей (метод, который раньше применялся только худшими тоталитарными режимами)[1009]. В одних государствах человеку разрешено слушать лишь определенное количество зарубежных песен по радио (раньше это также относилось только к тоталитарным государствам), а в других продолжают настаивать, что человек не имеет власти даже над своим телом и не может принимать наркотики или сделать аборт.

Чтобы добиться этой и других похвальных целей, а также зачастую движимые экологическими мотивами или требованиями представителей меньшинств, государства принимают новые законы и постановления, которые сыплются как из рога изобилия. Например, к концу 80-х годов количество страниц в американском «Федеральном реестре» — официальном журнале, публикующем федеральные законы и постановления, — приблизилось к отметке 100 тыс.; в них даже содержались предписания, касающиеся формы ванн в номерах отелей и высоты дверных косяков; и агентства, занимающиеся составлением таких предписаний, вовсе не стремились сократить «объемы производства» после того, как президент Буш наложил мораторий на выпуск новых постановлений в 1992 г.[1010] Эти и другие бесчисленные формы вмешательства могут привести только к отчуждению и раздражению, которые иногда в буквальном смысле слова становятся взрывоопасными. В ходе опроса, который проводился после взрыва в Оклахома-Сити в 1995 г., 39% граждан США заявили, что видят в федеральном правительстве угрозу своим правам и свободам[1011]. Другой опрос показал, что только 31 % американцев доверяет правительству « всегда или почти всегда»[1012]. В свою очередь правительство достаточно обеспокоено угрозой, чтобы начать создавать специальные команды по отражению возможных актов химического и биологического терроризма в американских городах — правда, это делается с некоторым опозданием, поскольку первая предполагаемая попытка такой атаки была раскрыта ФБР в феврале 1998 г.

Дополнительные подтверждения того, что государство теряет способность внушить своему народу лояльность к себе, можно найти в сфере спорта. Как уже отмечалось, современные представления о том, что игры и соревнования должны быть организованы по национальному признаку, являются продуктом национализма XIX в., с одной стороны, и железнодорожного сообщения, с другой. Национализация спорта усилилась после 1918 г., особенно в тоталитарных государствах, которые использовали его для того, чтобы готовить свои народы к войне, и

которые в этом отношении так же, как и во многих других, просто зашли дальше, чем остальные государства[1013]. Вероятно, кульминации она достигла примерно между 1950 и 1980 гг., когда в СССР при Сталине объяснять спортивные достижения любыми мотивами, кроме патриотических, означало рисковать навлечь на себя наказание[1014], и когда спортсмены коммунистического Китая, принимавшие участие в соревнованиях, неизменно утверждали, что обязаны *своим* успехом учению Мао. С тех пор все изменилось, поскольку деньги стали играть большую роль, а национальная принадлежность — меньшую. Начиная с Олимпийских игр, самые важные состязания стали коммерциализироваться. В то время как многие соревнования по-прежнему организованы по национальному признаку, на других спонсорами (а иногда и владельцами) отдельных спортсменов и целых команд выступают те или иные корпорации, которые используют их в рекламных целях и вычитают эти расходы из своей налоговой базы.

Эта тенденция особенно заметна в дорогих видах спорта, таких как автогонки и глубоководный парусный спорт, где издержки с легкостью достигают миллионов долларов. От них тенденция распространилась на другие виды спорта, и логотипы компаний на спинах спортсменов пришли на смену цветам национальных флагов, благодаря чему те часто выглядят как пестрая новогодняя елка. Например, Союз европейских футбольных ассоциаций в настоящее время разрешает различным «национальным» командам без ограничений принимать иностранных (и не только европейских) игроков в свои ряды. В теннисе денационализация достигла такого уровня, что наиболее известные игроки часто не хотят представлять свою страну на Кубке Дэвиса, который, в отличие от других «открытых» турниров, все еще организован по национальному признаку; причина состоит в том, что это и коммерчески невыгодно, и Кубок Дэвиса не входит в число турниров «Большого шлема»; не говоря уже о том, что многие из теннисистов, сколотив немалые состояния, предпочитают жить в «налоговых убежищах», а не в родной стране.

Наконец, самым очевидным признаком того, что отношение людей к государству изменилось, является тот факт, что они теперь с меньшей готовностью согласны сражаться за него, в результате чего в одной стране за другой отменяется обязательная служба в армии. Первой крупной страной, в которой было введено это новшество, стала Япония, которой это решение было навязано извне и общественное мнение в которой с тех пор отличается крайним пацифизмом. С тех пор в число государств,

которые предпочли вернуться в XVIII в. и положиться на профессиональную армию, состоящую из добровольцев, вошли Великобритания (1960), США (1973) и Бельгия (1994). Франция, которая в 1793 г. стала первой в истории страной, в которой было введено *levee en masse* и воинский призыв долго считался символом национального единства, пополнила этот список в начале 1996 г. Несколько месяцев спустя тогдашний президент России Борис Ельцин пообещал избирателям, что, если его переизберут, он отменит обязательную военную службу[1015].

Как только эти правительства отменили военный призыв, они обнаружили, и часто к собственному неудовольствию, что его невозможно вернуть обратно. В США в период администрации Картера попытка регистрации юношей в качестве подготовительной меры на случай мобилизации при введении чрезвычайного положения в национальном масштабе встретила сопротивление и ее пришлось оставить, в то время как планы по учреждению каких-либо других видов общенациональной обязательной службы так никогда и не вышли за пределы разговоров[1016]. Мало того что стратегия американцев во время войны в Персидском заливе в 1991 г. практически полностью была продиктована необходимостью уменьшить число потерь[1017], но год спустя тот факт, что Билл Клинтон уклонился от военного призыва во время вьетнамской войны, не помешал ему одержать победу над ветераном Второй мировой войны в борьбе за президентское кресло. Схожие тенденции наблюдаются почти во всех остальных развитых странах, включая даже Израиль, который до 1982 г. был, возможно, самой воинственной страной на земле[1018]. С тех пор молодежь Израиля проявляет все меньше готовности служить своему государству в рядах регулярной армии, не говоря уже о том, чтобы рисковать ради него своей жизнью[1019].

На все приведенные симптомы упадка доверия к государству можно возразить, что во многих местах, от Ближнего Востока до Чечни, всевозможные организации, которые сделали все, чтобы подорвать институт государства, сами пытаются создать независимые государства[1020]. Действительно, зачастую это является их целью, хотя далеко не единственной; но тем более примечателен тот факт, что многие из них начинают размышлять о том, как потерять свой суверенитет, еще не успев получить его. Так, сепаратисты Квебека надеются получить преимущества от экономического союза с остальной частью Канады, включая общую валюту. Едва только распался СССР, как образовалось, Содружество Независимых Государств (СНГ) с целью (которая была достигнута лишь частично) сохранить общие институты,

которые считались имеющими решающее значение для общего благополучия[1021]. В результате этнические русские, живущие в прибалтийских республиках, получили возможность принять участие в выборах, проходивших в России в мае-июне 1996 г. Между тем по крайней мере одна республика (Беларусь) еще не приняла окончательного решения насчет того, желает ли она быть независимой или нет.

Пять других недавно образованных европейских государств (Чешская республика, Словакия и три прибалтийских республики) активно стремятся вступить в Европейский Союз. На Ближнем Востоке представители ООП, отдавая себе отчет в том, что независимое государство Палестина, включающее Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, не будет экономически жизнеспособным, в течение долгого времени подумывают о возможной интеграции с Иорданией, Израилем и, возможно, другими странами; если предположить, что этот регион ожидает мир, а не война, такой союз некоторым образом может возникнуть независимо от желания сторон[1022]. Последний пример дают нам бывшие республики Югославии. Подобно другим «опоздавшим» государствам Центральной и Восточной Европы, Словения в настоящее время находится в процессе присоединения к Европейскому союзу. Как сказал автору этой книги министр иностранных дел одной из бывших югославских республик во время встречи в Давосе, если бы у его страны не было надежды на вступление в Евросоюз, то в чем бы тогда был смысл отделения от Югославии?

Хотя государство продолжает выполнять некоторые важные функции спустя два столетия после того, как Французская революция впервые соединила государство с современным массовым национализмом, многие люди перестают верить в него, не говоря уже о том, что они не желают быть для него пушечным мясом. Иногда, по-видимому, это является следствие неудачных войн, как в США (после Вьетнама и «бреши в доверии»[1023]) и в СССР (где похожую роль сыграло поражение в Афганистане). В других странах это произошло незаметно по мере того, как интеграция с другими государствами свела на нет суверенитет каждого из них, как это случилось в большей части Европы[1024].

Как бы ни проходил этот процесс, почти везде его сопровождало растущее нежелание государств брать на себя ответственность за свою экономику, предоставлять социальную помощь, обучать молодое поколение и даже выполнять элементарную функцию защиты своих граждан от терроризма и преступности, — задача, которая в лучшем случае решается совместно с другими организациями, а в худшем — просто

остается в небрежении. В конце второго тысячелетия жители все большего количества регионов мира, начиная со стран Западной и Восточной Европы и заканчивая развивающимися странами[1025], не столько служат государству и восхищаются им, сколько терпят его. Прошли те дни, когда государство, как в эпоху тотальных войн, могло предъявлять себя в качестве земного божества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВА

Как показано в этом исследовании, правительство и государство —вовсе не одно и то же. Правительство — это лицо или группа лиц, которые заключают мир и ведут войну, принимают законы, осуществляют правосудие, собирают налоги, управляют денежным обращением и поддерживающие внутреннюю безопасность, действуя от лица всего общества, в то же время стараясь обеспечить лояльность народа и, возможно, некоторую степень его благосостояния. Государство же является всего лишь одной из форм, которую исторически принимает организация правительства, и эту форму, соответственно, неверно было бы считать вечной и само собой разумеющейся в большей мере, чем предшествующие.

Первой областью мира, познакомившейся с именно таким типом правительства, стала Западная Европа, где государство начало зарождаться около 1300 г. и где решающие изменения произошли в период между смертью Карла V в 1558 г. и заключением Вестфальского мира 90 лет спустя. Говоря очень упрощенно и опуская множество деталей, относящихся к разным странам, этот процесс развивался следующим образом. Ведя борьбу с универсализмом, с одной стороны, и с партикуляризмом, с другой, и одержав победу, небольшое число «абсолютных» монархов консолидировали территориальные владения и сконцентрировали политическую власть в своих руках. Одновременно с этим, для того чтобы осуществлять как гражданский, так и военный аспекты этой власти, они начали строить обезличенную бюрократию, а также необходимую для ее содержания налоговую и информационную инфраструктуру. Как только бюрократия укрепилась, в силу самой ее природы — состоящей в том, что правила, на которых она строилась, не могут быть произвольно нарушены без риска полного распада — вскоре привела к тому, что она стала забирать власть из рук правителя в свои собственные, тем самым порождая государство в собственном смысле.

Государство, тесно связанное с падением средневекового мира и последующими гражданскими и религиозными войнами, изначально задумывалось прежде всего в качестве инструмента для установления правопорядка в отношениях людей и групп между собой. Однако спустя примерно полтора века с момента своего рождения оно встретилось с пламенеющим национализмом и стало присваивать его, придавая себе тем самым этическое содержание. Созданное войной и для войны —

зачастую используя преступные методы как против своих конкурентов, так и против собственных подданных, как отмечали критики, начиная с Макиавелли[1026], — к тому времени оно стало гораздо сильнее любой другой политической организации в Европе и на других континентах. В результате государство как институт стало распространяться на остальную часть мира до тех пор, пока во второй половине XX в. в той или иной форме его триумф не стал практически полным.

Повторяя определение, данное ранее, скажем, что в сравнении с предыдущими формами правительства важнейшими характеристиками государства являются следующие. Во-первых, будучи суверенным, оно отказывается делиться какими-либо из вышеупомянутых функций с другими, но концентрирует их в собственных руках. Во-вторых, будучи территориально организованным, оно имеет власть над всеми людьми, которые живут в пределах его границ, и только над ними. В-третьих, что самое важное, это абстрактная организация. В отличие от всех своих предшественников во все времена и где бы то ни было, государство не идентично ни правителям, ни тем, кем они правят; оно является не человеком и не сообществом, но невидимой сущностью, известной как корпорация. Будучи корпорацией оно обладает своей независимой личностью или юридическим лицом. Последнее признается законом и может вести себя, *как если бы* оно было человеком — заключать договоры, владеть собственностью, защищать себя и т.п.

В последние годы XX в. стало очевидно, что благодаря третьей характеристике государства (то, что оно обладает корпоративной личностью) первые две начинают становиться избыточными. В основном угроза государству исходит не от индивидуумов или групп, подобных тем, что осуществляли функции правительства в тех или иных сообществах в разные времена и в разных местах до 1648 г. Она исходит от других корпораций: иными словами, от таких же «искусственных людей», имеющих такую же природу как само государство, но отличающихся от него как в отношении контроля над территорией, так и в плане обладания суверенитетом.

Некоторые из этих корпораций имеют территориальную природу, но большинство — нет. Одни являются региональными, и они крупнее, чем государства, другие обладают меньшим размером и носят исключительно локальный характер[1027]. Некоторые являются межправительственными, другие — неправительственными. Одни имеют прежде всего политическую природу, другие созданы с разными другими целями, такими как делание денег, защита окружающей среды, распространение

некоего религиозного учения или пропаганда какого-нибудь благого дела, от уменьшения загрязненности среды до прав животных. Как сказал недавно один эксперт[1028], у всех у них есть общее — то, что они больше, чем государство, связаны с современными технологиями, в частности, в области связи и транспорта. В результате некоторые из них могут стать гораздо богаче, чем большинство государств; или принять на себя некоторые из государственных функций; или избежать контроля государства, создавая колонии и переводя свои ресурсы за пределы его границ; либо влиять на мнения его граждан больше, чем могут правительства; либо (как в случае многочисленных партизанских и террористических организаций) успешно сопротивляться государству с оружием в руках; либо, что бывает нередко, реализовать некую комбинацию всех этих вариантов.

Во многих случаях отступление государства является добровольным. Например, так происходит, когда оно снимает с себя ответственность за выплату пособий, социальное страхование, образование и т.п.; или когда оно стремится найти лучшие возможности торговли, открывая границы, интегрируя свою инфраструктуру с соседями, вступая в международные организации разного рода и подчиняясь правилам, которые эти организации могут установить. В других случаях это происходит непреднамеренно и является результатом действия мощных экономических, технологических и культурных воздействий, которые, хотя и затрагивают разные регионы по-разному, находятся за пределами контроля со стороны даже самых могущественных государств, и которым государства если и могут противостоять, то только ценой отсталости, в то время как каток истории неумолимо движется вперед. Наконец, нередко процесс отступления государства происходит по умолчанию. Не то, чтобы оно решает, интегрироваться или отступать — просто происходит медленная эрозия качества тех благ и выгод, которые оно может предоставлять и предоставляет.

Оборотная сторона медали — это преобладающее среди граждан многих развитых стран чувство, что, когда приходит час предоставлять обещанное, государство просто не выполняет своих обязательств и расплачивается (если вообще расплачивается) фальшивой монетой. И поэтому, чтобы защитить свое будущее и будущее своих детей, им не остается иного выбора, кроме как позаботиться о себе самим, причем такими способами, которые никак не зависят от воли государства и, возможно, осуществляются даже против его воли.

По мере того как современное государство оставляет командные высоты, которых оно достигло между 1945 и 1975 гг.,

некоторые из его наиболее характерных институтов с большой вероятностью приходят в упадок. К их числу относятся, что довольно естественно, находящиеся в государственной собственности хозяйственные предприятия (которые от Китая до Британии либо ликвидируются, либо распродаются); системы социального страхования (чья доля в ВНП падает повсеместно) [1029]; система правосудия (в некоторых странах частное правосудие, так же известное как «аренда судьи», начинает одерживать верх, поскольку работает быстрее и дешевле, чем та, которую предоставляет государство); тюремная система (все развитые страны, от Австралии и Британии до США, в отчаянии ищут более дешевой альтернативы тюремному заключению и экспериментируют с частными тюрьмами)[1030]; вооруженные силы (многие из которых, сильно сокращенные после окончания «холодной войны», до сих пор стремятся найти себе новые задачи, от поисково-спасательных работ до ведения войны с наркотиками); полиция (которая дополняется, а часто заменяется частными службами безопасности); государственные школы (которые превращаются в учебные заведения для детей низших классов, поскольку состоятельные родители либо посылают своих детей в частные школы, либо обращаются к домашнему обучению); государственные средства массовой информации (которые, помимо того, что требуют значительных субсидий, зачастую являются прекрасной иллюстрацией словосочетания «тоска зеленая»); и статистический аппарат (который в той мере, в какой он оперирует в терминах отдельных государств, становится все более бессмысленным). Так или иначе, но все эти и другие государственные службы сокращаются по всему миру.

По мере того как другие организации занимают место отступающего государства, они, без сомнений, будут стремиться играть его роль во многих из этих аспектов. В отличие от нынешних членов международного сообщества, каждый из которых является сувереном, большинство из них, вероятно, не сможет осуществлять исключительный контроль над той или иной определенной территорией, и вместо этого они вынуждены будут делить этот контроль с другими организациями. Вместо того, чтобы быть хотя бы формально равными, каковыми являются государства, некоторые из них, несомненно, будут выше, а другие — ниже. Иными словами, мы говорим о мире, где правовая структура будет находиться в большей гармонии с теми политическими реалиями, которые уже сложились, а во многих местах никогда не исчезали.

Организации, которые в будущем будут выполнять функции правительства, будут более фрагментированными, более

интегрированными друг с другом, чем те, к которым мы привыкли за последние примерно 300 лет. В отличие от государств, которые, хотя бы теоретически, являются равными по статусу, новые структуры, скорее всего, сформируют иерархические отношения друг с другом. Иногда суверенитет будет разделен, как это может со временем произойти на Святой Земле. Иерархическая структура, по которой одни политические образования «более равны», чем другие, так же означает, что они будут действовать, отделенные несколькими уровнями от своего населения. Это несет в себе опасность того, что они будут в меньшей степени представлять население и, следовательно, менее демократическими, чем большинство современных государств — подобно тому, как уже сегодня высшие «еврократы» (чиновники ЕС) и генеральные секретари ООН назначаются или выбираются правительствами, а не народами соответственно Европейского союза и мира.

Как и до 1648 г., все эти организации будут взаимодействовать и вести торг друг с другом. Несомненно, иногда они также будут использовать либо собственные вооруженные силы, либо, что кажется все более и более вероятным, привлекаемые на договорной основе, для осуществления насильственных действий друг против друга. В то время как подобная ситуация не будет чем-то новым для жителей большей части «третьего мира» — для которого ничто так не характерно, как тот факт, что государство так никогда и не смогло установить эффективную монополию на насилие — во многих развитых странах влияние на безопасность повседневной жизни почти наверняка будет отрицательным. Люди и организации, которые привыкли мирно покоиться на груди государства, будут вынуждены в большей степени защищать себя сами (что они уже и делают) например, покупая различные виды специального оборудования, укрепляя территории, где они живут и работают, ставя собственную охрану, в униформе или без нее, и, возможно, даже создавая собственные вооруженные силы под соответствующим командованием (несомненно, состоящим из отставных офицеров и сержантов).

В сравнении с тем, что мы наблюдали в 1914—1945 гг., акты насилия в основном будут носить локальный, спорадический характер и будут невелики по масштабам. Нет сомнений, что в будущем нас ждут многочисленные конфликты, такие как в Боснии, Шри-Ланке или Руанде; террористы и партизаны не только будут по-прежнему постоянно напоминать о себе во многих странах, но нельзя исключать и возможности применения ими химического, биологического и ядерного оружия[1031].

Однако вопреки страхам многих и надеждам немногих, Третьей мировой войны (которая означает широкомасштабное столкновение между супердержавами, каждая из которых правит значительной частью континента или полушария) почти наверняка не будет. Но если она все же *произойдет* и ядерное оружие *будет* использовано в значительных количествах, то в результате мы вернемся не просто в довес-тфальский период, но в каменный век.

Для людей и организаций, которые ограничены рамками отдельных государств и зависят от них в плане защиты, средств к существованию, образования и других услуг, такая ситуация означает плохие новости. Для столь разных групп, как правительственные служащие и получатели социальных выплат (особенно те, которые надеются получать пособия в будущем) — это означает «мене мене текел упарсин», зловещее предзнаменование. Либо они начнут подыскивать себе экономический статус, а иногда и физическую защиту, в другом месте, либо, вероятнее всего, у них нет будущего. Как было и в предшествующие периоды, когда распадались империи и появлялись феодальные структуры, зачастую этот «поиск в другом месте» означает потерю свободы через превращение в клиентов более сильных и богатых, будь то отдельные люди или, что является более вероятным вариантом для большинства, корпорации разных видов. Весьма возможно появление нового низшего класса, лишенного политических и гражданских прав, подобного тому, что существовал даже в самых «передовых» странах вплоть до Великой Французской революции и даже позже. Некоторые могут сказать, что от Калифорнии до Италии этот класс уже существует в виде незаконных иммигрантов, гастарбайтеров и так называемых экономических граждан[1032], т.е. людей, которые, хотя и платят налоги и имеют по крайней мере ограниченный доступ к системе правосудия и социальным услугам, предоставляемых принимающей страной, тем не менее лишены политических прав.

И наоборот, организации и люди, чьи богатство и статус не зависят от государства, которые ориентированы на международные связи и готовы использовать возможности, открывающиеся перед ними во всех областях, от глобальных коммуникаций и торговли до частного образования, окажутся в выигрыше и, как утверждают некоторые аналитики[1033], уже получают выгоду за счет всех остальных. С ослаблением государства многие из них, безусловно, обнаружат, что легче и целесообразнее трансформировать все свои преимущества в прямую политическую власть. Вместо обычного лоббирования и

подкупа, как это происходит сегодня, они будут править — по крайней мере, выполняя некоторые функции правительства, в отношении лишь некоторых людей и только до известной степени.

Будут ли наступающие изменения приобретением или потерей для каждого конкретного человека, зависит от пола, семейных отношений, экономического положения, социального статуса, рода деятельности, членства в организациях и так далее. Превыше всего это вопрос нашего желания отставить устоявшиеся представления и прийти к соглашению с ожидающим нас «дивным новым миром». В некоторых местах изменения произойдут мирно. Результатом станет беспрецедентное процветание по мере того, как национальные границы будут терять свое значение, технологии продолжат движение вперед, откроются новые экономические возможности, а системы транспорта и связи позволят разным культурам обогащать друг друга. Региональные и локальные организации переживут новый приток жизненных сил, как это уже происходит, *inter alia*[1034], в Испании (Каталония), Британии (Шотландия и Уэльс), Бельгии (фламандские и валлонские регионы) и Австралии (многие штаты, из которых она состоит, в настоящее время имеют собственных представителей за рубежом). Наконец, те, кто захочет избежать хотя бы некоторых видов назойливого вмешательства государства в свои дела, смогут добиться этого, либо перебравшись в другое место, либо связываясь друг с другом посредством Интернета.

В других местах отступление государства будет иметь менее благоприятные последствия. В лучшем случае восстановление «рынка» вместо административного управления и системы социальных пособий будет означать уменьшение уверенности в завтрашнем дне и зачастую довольно сильное нарастание социального хаоса. В худшем случае может наступить полный крах, и люди могут оказаться под властью и управлением более авторитарных и безответственных организаций. Смогут ли последние поддерживать мир, как между собой, так и с тем, что останется от старых государств, будет зависеть от конкретных обстоятельств; если не смогут, то в этом случае публичная власть может рухнуть, вспыхнет насилие, прольются реки крови комбатантов и некомба-тантов, и по крайней мере на некоторое время произойдет возврат к более примитивным формам жизни. Наконец, могут оставаться регионы и страны, которые продолжать прозябать, как это было всегда, не следуя по пути ускоряющегося развития, но и не впадая в еще больший хаос, на что можно лишь надеяться[1035].

В итоге баланс опасностей и открывающихся возможностей, вероятно, окажется примерно равным. Об отступлении государства не стоит жалеть, но и завтрашний мир не будет много лучше или хуже того, который на наших глазах отходит в мир теней. Мао Цзедун, которого однажды спросили о том, на что будет похоже будущее, ответил характерными стихами:

Солнце по-прежнему будет всходить,
деревья по-прежнему будут расти,
а женщины по-прежнему будут рожать детей.

notes

Примечания

1

Между прочим (лат.). — *Прим. пер.*

2

Проводя разделение на племена без правителей и вождества, я следую работе: M. Forte, E.E. Evans-Pritchard, eds., *African Political Systems* (Oxford: Oxford University Press, 1940). Другие классификации племенных сообществ см. в работах: E.R. Service, *Origins of the State and Civilization* (New York: Norton, 1975); T.C. Llewellen, *Political Anthropology: An Introduction* (South Hadley, MA: Bergin and Garvey, 1983).

3

Эванс-Притчард Э.Э. Нуэры. М.: Наука, 1985. Это, возможно, самое полное и благожелательное описание племени без правителей.

4

E.E. Evans-Pritchard, *Kinship and Marriage Among the Nuer* (Oxford: Clarendon Press, 1951), p. 180-189.

5

Ранние германские племена описывали такие взаимоотношения довольно точным словом, называя тех, кто подчинялся вождю, его *de-folgschaft* (буквально: «последовательство»). См.: H. Mitteis, *The Statein the Middle Ages* (Amsterdam: Elsevier, 1974), p. 11.

6

См. в качестве примера Y. Murphy and R.P. Murphy, *Women of the Forest* (New York: Columbia University Press, 1974), p. 92—95.

7

Информацию о системах возрастных групп см. в работе: B. Bernhardi, *Age- Class Systems: Social Institutions and Politics Based on Age* (Lon -don: Cambridge University Press, 1985).

Смысл, разумное основание *(франц.). —Прим. пер.*

9

Гражданское правонарушение *(лат.). — Прим. ред.*

10

Интереснейшее обсуждение этого вопроса см. в работе: H.I. Hogbin, *Law and Order in Polynesia: A Study of Primitive Legal Institutions* (London: Christopher's, 1934), особенно в главе 4; L.K. Popisil, *Ka-pauku Papuans and Their Law* (New Haven, CT: Yale University Press, 1958).

11

См.: Малиновский Б. Преступление и обычай в обществе дикарей/ / Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М.: РОССПЭН. 2004. С. 211-334.

12

L. Holy, *Neighbors and Kinsmen: A Study of the Berti People ofDarfur* (London: Hurst, 1974), p. 121.

13

Классический разбор предсказаний и ритуала см. в работе: E.E. Evans -Pritchard, *Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande* (Oxford: Clarendon Press, 1976).

14

Лучшая работа по этой теме: H. Turney-High, *Primitive War: Its Theory and Concepts* (Columbia: University of South Carolina Press, 1937).

15

О том, как этот принцип работал в одном крайне воинственном обществе, и о его значении для человечества в целом см.: N. Chagnon *Yanomano: The Fierce People* (New York: Holt, Rineheart and Winston, 1983 edn.).

16

О подобных военных организациях см.: P. Clastres, *Society Against theState* (Oxford: Blackwell, 1977), p. 177-180, P. Brown, *Highland People of New Guinea* (London: Cambridge University Press, 1978), J.G. Jorgensen, *Western Indians: Comparative Environments, Languages, and Culture of 172 Western American Indian Tribes* (San Francisco: Freeman, 1980).

17

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 19.

18

См.: L. Mair, *Primitive Government* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1962), p. 63 f.; E.E. Evans-Pritchard, *The Divine Kingdom of the Shilluk of the Nilotic Sudan* (Manchester: Manchester University Press, 1972), p. xviiii.

19

Цит. по: M. Gluckman, *The Allocation of Responsibility* (Manchester: Manchester University Press, 1972), p. xviiii.

20

Ibid.

21

1 Цар 8, 11-19.

22

Идея, что простейшие племена без правителей в действительности являются остатками деградировавших более сложных обществ, рассматривается в работе: E.E. Service, *Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective* (New York: Random House, 1964). См. также: D.W. Lathrap, *The Upper Amazon* (London: Thames and Hudson, 1970); R.D. Alexander, *Darwinism and Human Affairs* (Seattle: University of Washington Press, 1979).

23

В истинном смысле слова *(лат.)*. — *Прим. научн. ред.*

R.D. White, "Rethinking Polygyny: Co-Wives, Codes and Cultural Systems," *Current Anthropology,* 29, 1989, p. 519-572.

25

О том, как это осуществлялось в южноафриканском племени банту, см.: I. Scapera, Government and Politics in Tribal Societies (London: Watts, 1956), p. 50ff. Похожая система была у Меровингов, см.: I. Wood, *The Merovingian Kingdoms 450 — 751* (London: Longman, 1994), p. 55ff.

26

Подробный рассказ об отделении скандинавских королей от общего столасм.: Струалсон С. Круг земной. М.: Наука, 1980. С. 465.

См.: A.I. Pershits, "TributeRelations?" inS.L. Seaton and H.J.M. Claes-sen, eds., *Political Anthropology: The State of the Art* (The Hague: Mouton, 1979), p. 149-156.

28

Описание системы дани там, где она еще существовала, см. в работе: W. Mariner, *Natives of the Tonga Islands* (New York: AMS Press, 1979 [1818]), vol. II, p. 230 ff.

29

См.: P. Einzig, *Primitive Money in Its Ethnological, Historical and Economic Aspects* (London: Eyre and Spottiswoode, 1949).

30

См.: E. Boserup, The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change Under Population Pressure (Chicago: Aldine, 1965). См. также: M. Harris, Cannibals and Kings: The Origins of Culture (New York: Vintage, 1977).

31

См.: S. Sherman, *Wessex in the Third Millennium BC,* доклад, представленный Симпозиуму Королевского антропологического института 19 февраля 1977 г.

32

О Шака и его окружении см. новейшее исследование: J. Taylor, *Sha-ka's Children: A History of the Zulu People* (London: HarperCollins, 1994), pt. I.

33

Мысль о том, что правительство обязано своим происхождением завоеваниям, была особо популярна на пороге XX в. См.: L. Gumplowicz, *The Outlines of Sociology* (Philadelphia: American Academy of Political and Social Sciences, 1899); F. Oppenheimer, *The State* (New York: Free Life, 1975 [1911]).

34

Слабые стороны африканских вождеств, существовавших в XIX в., лучше всего проанализирована в исследовании: M. Gluckman, *Politics, Law and Ritual in Tribal Society* (Oxford: Blackwell, 1965), p. 147 ff.

35

О том, что вождества часто «деградировали» до уровня племен без правителей, см.: M. Mann, *The Sources of Social Power* (London: Cambridge University Press, 1986), vol. I, p. 69—77.

См.: L. Mumford, *Tlie City in History* (Harmondsworth, UK: Pengwin Books, 1961), ch. 1&2.

37

То немногое, что известно о том, как управлялись города-государства на Ближнем Востоке, см.: T. Jacobsen, "Early Political Development in Mesopotamia," *Zeitschrift fiir Assyrologie und Vorderasiatische Archciologie,* 52, 1957, p. 91 — 140; N. Bailey, "Early Mesopotamian Constitutional Development," *American History Review,* 72, 4, 1967, p. 1211—1236. О Микенах см.: L.R. Palmer, *Myceneans and Minoans* (London: Faber and Faber, 1965), p. 97—107. Об Индии см.: B. Parsed, *Theory of Government in Ancient India* (Allahabad: India Press, 1926).

38

Об этом типе города и об устройстве его правительства см.: B. Sjoberg, *The Pre-Industrial City: Past and Present* (New York: Free Press, 1961), p. 108-144, 182-255.

39

Некоторые современные попытки объяснения см. в трудах: Y. Ferguson, "Chiefdom to City-States: The Greek Experience" in T. Earl, ed., *Chiefdoms: Power, Economy and Ideology* (London: Cambridge University Press, 1991), ch. 8; M. Stahl, *Aristokraten und Tyrannen im archaischenAthen* (Stuttgart: Steiner, 1987), esp. p. 140—144, 150—175.

Ситуация, описанная только что, привела к бесконечным спорам между учеными о том, существовала ли в этих обществах «частная собственность». См., напр.: A.M. Bailey and J.R. Llobera, eds., *The Asiatic Mode of Production* (London: Routledge, 1981).

Совместно (лат.). —*Прим.пер.*

См.: R. Drews, *Basileus: The Evidence for Kingship in Geometric Greece* (New Haven, CT: Yale University Press, 1983).

43

Самый лучший современный анализ общества, описанного Гомером, представлен в работе: M.I. Finley, *The World of Odysseus* (London: Penguin, 1979).

Гомер. Одиссея. М.: Наука, 2000. IV.314, III.82, XX.264-265.

45

В русском переводе В. А. Жуковского в соответствующем стихе использовано слово «гостиница», поэтому данный смысловой оттенок отсутствует. — *Прим. научн. ред.*

46

Надпись опубликована в издании: R. Meiggs and D. Lewis, eds., *A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century BC* (Oxford: Clarendon, 1975), № 2. Я благодарен своему коллеге, доктору Г. Герману, за то, что он привлек мое внимание к этой публикации.

47

Об отношениях между полисом и ойкосом см.: J. Ober, "The Poto as a Society: Aristotle, John Rawls and the Athenian Social Contract" in M.G. Hansen, ed., *The Ancient Greek City-State* (Copenhagen: Royal Danish Academy, 1993), p. 130-135.

См.: W.J. Boot, "Politics and the Household: A Commentary on Aristotle's *Politics* Book *I," History of Political Thought,* 2, 2, Summer 1981, p. 203-226

49

Лучшим кратким описанием институтов античного города-государства остается монография: V. Ehrenberg, *The Greek State* (New York: Norton, 1960 edn.).

См.: H. Mitchell, *Sparta* (Cambridge: Cambridge University Press, 1964), p. lOlff.

Путь почестей (лат.). — *Прим. научн. ред.*

Право принуждать (лат.). — *Прим. научн. ред.*

53

Хороший обзор взаимоотношений религии и политики в Риме см. в работе D. Potter, *Prophets and Emperors: Human and Divine Authority from Augustus to Theodosius* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), p. 147-158.

По должности; по положению *(лат.)*. — *Прим. научн. ред.*

55

Это случилось в 163 г. до н.э., см.: Цицерон. О природе богов. Книга вторая, (10) —(11)//Цицерон. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. С. 101-102.

56

О системе выборов присяжных см.: D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978), p. 34.

См.: R. Sealey, *The Justice of the Greeks* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), ch. 5.

См.: R.A. Bauman, *Political Trials in Ancient Greece* (London: Routledge, 1990), и R. Garner, *Law and Society in Classical Athens* (London: Croom Helm, 1987), p. 51ff.

59

О слабостях греческой и римской общественной администрации см.: M. Finley, *Politics in the Ancient World* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 18f.

О том, как это проходило в Афинах, см.: Aristotle, *The Athenian Con -stitution* (London: Heinemann, Loeb Classical Library, 1942), 49.

61

Корпоративный дух *(франц.) —Прим. пер.*

62

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1994. «Пелопид», 23.

63

Plato "Respublic" (London: Heinemann, Loeb Classical Library, 1949), Bk. II, 374.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2-хт. М.: Наука, 1994. «Фламиний», 3.

См.: Y. Garlan, *Etudes dans la poliocretique greque* (Athens: Ecole framais, 1974), esp. ch. 1.

См.: Livy, *The Histories* (London: Heinemann, Loeb Classical Library, 1929), XXIV, xviii, 13-14.

67

Примеры из Греции см. в: Pausanias, *Description of Greece* (London: Heinemann, Loeb Classical Library, 1967), 10, 9, 2; см. также: G. Gilula "A Career in the Navy," *Classical Quarterly,* 1989, p. 259-261. О Риме см.: Livy, *The Histories,* XXIV, xi, 7—9.

A. Fuks, "The Sharing of Property by the Rich with the Poor in Greek Theory and Practice," *Scripta Classica Israelica, 5,* 1979—1980, p. 46—63.

69

Тит Ливий. История Рима от основания города. М.: Наука, 1991. Т. 2. XII, 23, 8; Полибий. Всеобщая история. СПб.: Наука, 2005. XXI, 15.

О римском понимании свободы см.: C. Wirszubski, *Libertas as a Political Idea at Rome During the Late Republic and the Early Principate* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960).

Фукидид. История. Л.: Наука, 1981. С. 80.

О греческом полисе как сообществе людей, поклоняющемся предкам, см. прежде всего: Фюстель де Куланж Н. Гражданская община античного мира. М.: изд. К. Солдатенкова, 1867. Археологические свидетельства того, как сообщество немногих было, вероятно, преобразовано в сообщество многих см. в: I. Morris, *Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State* (London: Cambridge University Press, 1987).

73

H. Dessau, ed., *Inscriptiones Latinae Selectae* (Zurich: Weidmann, 1967), vol. I, p. 156, №694.

P. Brunt, *Italian Manpower* (Oxford: Clarendon, 1971), p. 44—90.

Lord Kinross, *The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire* (New York: Morrow Quill, 1977), p. 333.

Potter, *Prophets and Emperors,* p. 122,128—129.

L. Halperin, *Charlemagne and the Carolingian Empire* (Amsterdam: North Holland, 1977), p. 148-149.

Аппиан. Римская история. М.: Наука. 1998. С.238.

См.: W.T. de Bary, "Chinese Despotism and the Confucian Ideal: A Seventeenth-Century View," inJ.K. Fairbank, ed., *Chinese Thought and Institutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 163 — 200.

Об эллинистической и римской политической мысли см.: M. Hammond, *City-State and World State in Greek and Roman Political Theory Until Agustus* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951); M.L. Clarke, *The Roman Mind: Studies in History of Thought from Cicero to Marcus Aurelius* (London: Cohen and West, 1956).

81

Хорошее исследование политических настроений в период раннего христианства: A. Cunningham, *The Early Church and the State* (Philadelphia: Fortress Press, 1982).

82

K. Sethe, *Urkunden des agyptischen Altertuums* (Leipzig: Heinrichs, 1921), vol. IV, p. 608-610.

83

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Наука, 1993. Тиберий, 49, 1; Калигула, 38. См. также: P. Plass, *The Game of Death in Ancient Rome: Arena Sport and Political Suicide* (Madison: University of Wisconsin Press, 1995), p. 89ff.

Письма Плиния Младшего. М.: Наука, 1984; H. Clotton, "The Concept of Indulgentia Under Trajan," *Chiron,* 14, 1984, p. 245—266.

См., напр.: Dessau, *Inscriptiones,* vol. I, p. 168, № 754.

R.F. Townsend, *State and Cosmos in theArtofTenochtitlan* (Dumbarton Oaks Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology, № 20; Washington, DC: Dumbarton Oaks, 1979).

R. Foltz, *Le souvenir et la legende de Charlemagne dans I'empire germanique medieval* (Paris: Societe d'edition les belles letters, 1950), p. 8 Iff.

88

Иосиф Флавий. Иудейская война. М.—Иерусалим: Еврейский университет в Москве, 1993. III, I, 3.

89

Гнев и предубеждение (лат.). — от пословицы *sine ira et studio* (без гнева и предубеждения). — *Прим. пер.*

90

См. подробностив: I. Miyazaki, *China's Examination Hell* (New York: Weatherhill, 1976).

91

См. подробнее в: R. Huang, *Taxation and Government Finance in Sixteenth-Century Ming China* (London: Cambrige University Press, 1974), ch. 2.

См.: R. Hassig, *Trade, Tribute and Transportation: The Sixteenth-Century Political Economy of the Valley of Mexico* (Norman: University of Oklahoma Press, 1985), p. 225-228.

J.V. Murray, *The Economic Organization ofthelnca State* (Greenwich, CT:JAI Press, 1980).

T'ung-tsu Ch'u, *Han Social Structure* (Seattle: University of Washington Press, 1972), p. 92.

H. Tadmor, *The Inscriptions of Tiglat Pileser III, King of Assyria* (Jerusalem: Israel Academy, 1994), p. 69—70.

Золотой дом *(лат.). — Прим. пер.*

В силу самого факта *(лат.)*. — *Прим. пер.*

K. Brandi, *The Emperor Charles* V (London: Cape, 1967 edn.), p. 495.

99

Fiscus — учрежденная Августом, отдельно от общей государственной казны, частная императорская касса, КОТороq император мог распоряжаться совершенно самостоятельно. — *Прим. пер.*

100

Тацит. Анналы. М.: Наука. 1969. VI, 2. То же можно сказать о Византии. См.: W. Ennslin, "The Emperor and the Imperial Administration" inN.H. BainesandH.L.St. Moss, eds. *Byzantium: An Introduction to East Roman Civilization* (Oxford: Clarendon Press, 1948), p. 283.

101

Пример яростных нападок мандарина на правление евнухов см.: в De Bary, *Chinese Despotism and the Confucian Ideal,* p. 176—177.

G.W. Conrad and A.E. Demarest, *Religion and Empire: The Dynamics of Aztec and Inca Expansionism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), p. 136ff.

103

О роли храма как альтернативного центра накопления богатства и осуществления власти см.: M.V. Fox, ed., *The Temple in Society* (Winona Lake, MN: Eisenbach, 1988).

Tadmor, The lscriptions of Tiglat Pileser UI,?. 43.

105

О скорости римской императорской почтовой службы см.: R. Duncan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 15, 26-27.

106

Документ опубликован в: Archiv, 6, 1920, p. 220, № 1.

107

R. Runciman, Byzantine Civilization (New York: World Publishing, 1961),p. 81-83.

108

G. de la Vega, *Commentaries reales* (Buenos Aires: Plus Ultra, 1973 [1609]), p. 281-284.

109

Геродот. История. Наука, 1972. VII, 27-9.

110

C.B.Welles, *Royal Correspondence ofthe Hellenistic Period: A Study of Greek Epigraphy* (New Haven, CT: Yale University Press, 1934), № 30, p. 136.

F. Millar, *The Emperor in the Roman World, 31 EC-AD 337* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1977); Millar, "Emperors, Frontiers and Foreign Relations, 31 BC to AD 378," *Britannia,* 13, 1982, p. 1—23; R. Huang, *1587, a Year of No Significance* (New Haven, CT: Yale University Press, 1981).

Conrad and Demarest, *Religion and Empire,* p. 52, 97.

113

Ch'ien Mu, Traditional *Government in Imperial China: A Critical Analysis,* Chuntu Hsueh and G.T. Totten, trs. (Hong Kong: Chinese University Press, 1982), p. 23-26.

Барщина (франц.). — *Прим. пер.*

115

M. Rostovstzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World (Oxford: Clarendon Press, 1941), vol. I, p. 251.

116

Об обязанностях провинциальных инспекторов во II в. н.э. см. рассказ современника Ts'ai Chin, опубликованный в: Wang Yuch'uan, "An Outline of the Central Government of the Former Han Dynasty," Harvard Journal of Asiatic Studies, 12, 1949, p. 159-160.

Tadmor, The Inscription of Tiglat Pileser III.

118

Об ассирийцах см. библейскую книгу 4 Цар; об инках см.: M.A. Malpass, *Daily Life in the Inca Empire* (Westport, CT: Greenwood Press, 1996), p. 72.

119

M.Weber, Economy and Society: An Outline of Interpetative Sociology, G.Roth and C Wittich, ed (New York: Bedmingter? 1968), vol. Ill, ch. 12; O. Hintze, *Staat und Verfassung: gesammelte Abahandlungen zuralgemeinen Verfassungsgeschichte* (Gottingen: Vanderhoek, 1961), bd. I, p. 84-119.

Об истории феодализма в этих странах см.: R. Coulborn, ed., *Feudalism in History* (Hamden, CT: Archon Books, 1965).

121

См.: D. Bigongiari, ed., *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas* (New York: Hafner, 1981 edn.), в особенности введение.

Лучшие современные обзоры: Блок М. Феодальное общество. М.: Изд-во Сабашниковых, 2003; F.L. Ganshof, *Feudalism* (New York: Harper, 1961).

123

См.: M.D. Sahlins, *Tribesmen* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1968), ch. 4, 5; M.H. Fried, *The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology* (New York: Random House, 1967), ch. 4.

124

См. это обсуждение в: Aristotle, *Politics* (London: Heinemann, Loeb Classical Library, 1977), I, ii, 19—21. Этот взгляд находит отражение в 1 Цар, 17,8, где филистимлянин Голиаф называет израильтян «рабами» Саула.

125

См.: J.F. Niermeyer, *Medicea Latinitatis Lexicon Minus* (Leiden: Brill, 1976),vol. I, p. 353;J.H. Burns, "Fortescue and the Political Theory of Dominium," *Historical Journal,* 28, 4, 1985, p. 777-797.

126

См.: R.A. Knox, "'So Mischievous a Beaste?': The Athenian Demos and Its Treatment of Its Politicians," *Greece and Rome,* 32, 1985, p. 132— 161.

127

G. Herman, *Ritualized Frienship and the Greek City* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 71; H.H. Scullard, *Scipio Africanus, Soldier and Politician* (London: Thames and Hudson, 1970), p. 217ff.

128

Локк Дж. Два трактата о правлении//Локк Дж. Сочинения. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 379 и ел. Здесь я беру за основу идею Гоббса, что племена без правителей примерно соответствовали «естественному состоянию» конца XVII в.

129

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.-А.: СОЦЭКГИЗ, 1935. Т. 2. С. 39.

На душу населения *(лат.)*. — *Прим. пер.*

131

Я благодарен моей студентке, госпоже Талме Ауфт (Talma Luft), которая обратила мое внимание на этот факт.

132

J. Brewer, *AResidence at Constantinople in the Year 1827, with Notes to the Present Time* (New Haven, CT: Drurie and Peck, 1830), p. 126.

133

Более ранняя попытка использования печати была предпринята в 1727 г., но вскоре была оставлена. См.: Kinross, *The Ottoman Centuries,?.* 381-382.

О роли прав собственности в экономическом росте см.: D.C. North and R.P. Thomas, *The Rise of the Western World: A New Economic History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), ch. 1; в целом об экономических ограничениях догосударственных обществ см.: J.G.A. Pocock, "The Political Limits to Pre-Modern Economies," in J. Dunn ed., *The Economic Limits to Modern Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 121 — 141.

135

Об ограничениях в экономическом развитии классических городов-государств см.: M. Finley, *The Ancient Economy* (London: Cambridge University Press, 1975).

О роли этих факторов в римской экспансии см.: J.W. Harris, *War and Imperialism in Republican Rome, 327—70 BC* (Oxford: Oxford University Press, 1979), p. 58ff.

137

Об упадке городской жизни в III в. в Римесм.: R. MacMullen, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963), p. 38ff., 136ff.

138

Фукидид. История. VII, 77, 7; M.T. Cicero, *De Respublica* (London: Heinemann, Loeb Classical Library, 1928), I, 39.

139

См.: W. Ulmann, Law and Politics in the Middle Ages: An Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975), ch. 4.

U.K. Blumenthal, The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982), ch. 4.

141

О претензиях пап к светскому правительству см.: E. Lewis, Medieval Political Ideas (London: Routledge, 1954), vol. II; A.J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory (Edinburgh: Blackwood, 1928), vol. IV. Текст "Unam Sanctam" можно найти в книге: H. Bettenson, ed., Documents of the Christian Church (Oxford: Oxford University Press, 1967), p. 115-116.

142

О влиянии убийства Беккета на отношения между церковью и английской монархией см.: Z.N. Brooke, *The English Church and the Papacy from the Conquest to the Reign of John* (Cambridge: Cambridge University Press, 1952), p. 21 Iff.; C Duggan, "From the Conquest to the Death of John" in C.H. Lawrence, ed., *The English Church and the Papacy in the Middle Ages* (New York: Fordham University Press, 1965), p. 87-93.

143

См.: John of Paris, *De potestate regia et papali, J.* Leclercq, ed. (Paris: Vrin, 1942).

Подробности см. в: J. Favier, *Philippe le Bel* (Paris: Fayard, 1978), p. 373-376.

145

См.: M. Keen, *The Pelican History of Medieval Europe* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1969), p. 198-199; C.W. Previte-Orton, *The Shorter Cambridge Medieval History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1952), vol II, p. 961.

146

Современное изложение этих событий см. в: W. Ullmann, *The Origins of the Great Schism* (London: Burns, Oates and Washbourne, 1948).

147

См.: M. Wilks, *The Problem of Sovereignty in the later Middle Ages* (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), p. 479—523.

См. : H.A. Obermann, *Forerunners of the Re formation* (New York: Holt, 1961).

149

См.: H. Kaminsky, *A History of the Hussite Revolution* (Berkley: University of California Press, 1967),p. 97—161.

150

Споры о «Даре» пересказаны в: D. Maffei, *La Donazione di Constantino nei giuristi medievali* (Milan Giuffre, 1964).

151

«Посягательство на власть короля и его правительства» *(лат.). — Прим. пер.*

152

J.H. Denton, *Robert Winchelsey and the Crown 1294 — 1313* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) , p. 78—9, 297—301.

153

См.: P. Ourliac, "The Concordat of 1472: An Essay on the Relations Between Louis XIandSixtus IV" inP.S. Lewis,ed., *The Recovery of France in the Fifteenth Century* (New York: Harper, 1965), esp. p. 146ff.

Свершившийся факт *(франц.). —Прим. пер.*

155

Об изменениях, происходивших во Франции в этот период, см.: F. Laurent, *L'eglise et Vetat* (Paris: Libraire Internationale, 1866), об Англии см.: R. N. Swanson, *Church and Society in Late Medieval England* (Oxford: Blackwell, 1989), атакже: L.C. Gabel, *Benefits of Clergy in England in the Later Middle Ages* (Northampton, MA: Smith College Studies in History, № 14, 1928).

156

См. прежде всего его работу *Secular Authority: To What Extent Should It Be Obeyed?* (1523) inM. Luther, *Werke: kritische Gesamtsausgabe* (Weimar: Weimarer Ausgabe, 1883.), bd. XI, s. 245-280.

157

Список см. в: E. Cameron, *The European Reformation* (Oxford: Clarendon Press, 1991), p. 462, №32.

158

Подробнее см. в: M. Biskop, "The Secularization of the State of the Teutonic Order in Prussia in 1525: Its Genesis and Significance," *Polish-Western Affairs,* 22, 1-2, 1981, p. 2-23.

Да здравствует король! *(лат.). —Прим. пер.*

160

Об использовании Библии в целях усиления королевской власти в период его правления и впоследствии см.: G. Brennan "Patriotism, Language and Power: English Translations of the Bible", 1520 —1580, *History Workshop,* 27, 1989, p. 18-36.

161

См.: H. Tuechle "The Peace of Augsburg: A New Order or Lull in the Fighting?" in H.L. Cohn, ed., *Government in Reformation Europe 1520-1560* (London: Macmillan, 1971).

162

Цит. по: I. Clouas "Gregoire XIII et l'alienation des biens du clerge de France en 1574—1575," *Melanges d'Archeologie et d'Histoire: Ecole Frangaise de Rome,* 71 (1959), p. 381—404, цитата нар. 397.

163

J.H. Elliott, *Imperial Spain, 1469 — 1716* (London: Edward Arnold, 1963), p. 192-193.

L.H. Stone, "The Educational Revolution in England, 1560-1640," *Past andPresent,* 28, 1964, p. 41—80; P.M. Hahn, *Struktur undFunktion des brandenburgischen Adels im 16. Jahrhundert* (Berlin: Colloquium-Verlag, 1979),s.206ff.

165

Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Гл. XIII.

M. G. Smith, " Early French Advocates of Religious Freedom," *Sixteenth-Century Journal,* 25, 1, 1994, p. 29—51.

L.I. Taber, "Religious Dissent Within the Parliament of Paris in the Mid-Sixteenth Century," *French Historical Studies,* 16, 3, 1990, p. 648 — 699.

J.G. Russell, *Peacemaking in the Renaissance* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986), p. 68.

169

См.: G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy* (London: Jonathan Cape, 1955), p. 266ff.

A. Fox and J. Guy, *Reassessing theHenricianAge: Humanism, Politics and Reform 1500-1550* (Oxford: Blackwell, 1986), p. 15.

171

См. по Англии: S. Doran and C. Durton, *Princes, Pastors and People: The Church andReligion inEngland, 1529 — 1689* (London: Routledge, 1991),p. 100; по Франции: W. J. Stankiewicz, *Politics and Religion in Seventeenth-Century France* (Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1960),p. 164, 199; и по Испании: JJ. Elliott, "Power and Propaganda in Spain of Philip IV" inS. Wilentz, ed., *Rites of Power: Symbolism, Ritual and Politics Since the Middle Ages* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985), p. 149ff.

О папских финансах в этот период см.: J.A.F. Thomson, *Popes and Princes, 1487-1517* (London: Allen and Unwin, 1980), p. 86ff.; об оппозиции, которую встречала продажа индульгенций, см.: R. Kiermayer, "How Much Money Was Really in the Indulgence Chest?" *Sixteenth-Century Journal,* 17, 3, 1986, p. 303—318.

173

Об этом развитии см.: N.S. Davidson, "Temporal Power and the Vicar of Christ: The Papal State from 1450—1650," *Renaissance and Modern Studies,* 36, 1993, p. 1-14.

174

Speech of 30 April 1303: J.P. Pfeffinger, ed., *Corpus Juris Publicus* (Frankfurt am Main: Varrentrapp, 1734), vol. I, p. 377.

175

См.: R. Feenstra, "Jean de Blanot et la formule 'Rex Franciae in regno suo princes est'" in *Etudes d'histoire canonique dediees a Gabriel le Bras* (Paris: Sirey, 1965), p. 883-895.

«О монархии» (мотал.). —*Прим. пер.*

Главный труд *(лат.~). —Прим. научн. ред.*

Marsilius of Padua, *Defensor Pads*, A. Gewirth, tr. (New York: Harper, 1956); William of Ockham, *Dialogus* (London: Oxford University Press, 1925), pt. Ill.tr. Ii, lib. II, e. 7.

179

Такой инцидент имел место в 1416 г. и описан в: Juvenal des Ursin, *Histoirede Charles VI*(Paris: Panth. Litt. Edn., 1898), p. 530.

См. многочисленные примеры такого рода в: H. Durchardt, "Imperium und Regnaim Zeitalter Ludwigs XIV," *Historische Zeitschrift,* 23, 3, 1981, p. 555—581; B. Guennee, *States and Rulers in Later Medieval Europe* (Oxford: Blackwell, 1985), p. 8—9.

См.: Wilks "Problem of Sovereignty," p. 324—325.

См.: H.S. Offler "Aspects of Government in the Late Middle Ages" в J.R. Hale, et al., eds., *Europe in the Late Middle Ages* (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1956), p. 241ff; F. Hartung "Imperial Reform, 1485—1495: Its Course and Character," in G. Strauss, ed., *Pre-Reformation Germany* (London: Macmillan, 1972), p. 73 — 135.

183

См.: M. Mollatand, P.Wolff, *The Popular Revolutions of the Late Middle Ages* (London: Allen and Unwin, 1973), p. 76-83, 98-107, 142-61.

Полководцы *(итал.*). — Прим. пер.*

185

См.: F. Kampers, *Diedeutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage* (Munich: Aalen, 1969 edn.), p. 129ff.

Священную власть *(пат.)*. — *Прим. пер.*

Народа, избранного Христом (ла/и.). —*Прим. пер.*

Wilks, *Problem of Sovereignty,* p. 430; также см.: W.J. Bouwsma, *Concordia Mundi: The Career and Thought of Guillaume Postel (1510 — 1581)* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957), p. 216ff.

Cm. : F.A. Yates, *Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century* (London: Routledge, 1975), p. 20ff; D. Perry, "Catholicism Opus Imperiale Regiminis Mundi: An Early Sixteenth-Century Restatement of Empire," *History of Political Thought, 2,* 2, Summer, 1981, p. 227-252.

О плане Гаттинары см.: H.J. Koenig, *Monarchia Mundi und Res Publica Christiana* (Hamburg: Lildke, 1969), p. 58—85.

Живая картина *(франц.). —Прим. пер.*

См.: T.S. Foreman, "Doctors of Military Discipline: Technical Expertise and the Paradigm of the Spanish Soldier in the Early Modern Period," *Sixteenth-Century Journal,* 27, 1, Spring, 1996, p. 325—354.

193

Гамильтон (E.J. Hamilton, *American Treasure and the Price Revolution inSpain, 1501 — 1650* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934), p. 34) приводит таблицу количества золотых слитков, импортируемых в Испанию из Америки; Эллиот (Elliott, *Imperial Spain,* p. 200) подчеркивает значение Голландии в финансировании кампаний Карла V.

194

Процесс, в ходе которого империя потеряла свой международный характер, достиг кульминации в 1713 г., когда Карл VI, приняв «Прагматическую санкцию», отменил процедуру выборов. См.: К. Вгусе, *The Holy Roman Empire* (New York: Schocken, 1961 edn.), p. 267; F. Heer, *The Holy Roman Empire* (New York: Praeger, 1968), p. 168.

195

Этот эпизод см. в: R. Koebner, "The Imperial Crown of This Realm: Henry VIII, Constantine the Great and Polydore Vergil," *Bulletin of the Institute of Historical Research,* 26, 1953, p. 29-52.

H. Cortes, *Letters from Mexico,* A.R. Pagden, ed. (New Haven, CT: Yale University Press, 1968), p. 48; Heer, *The Holy Roman Empire,* p. 168

197

Пример испанского использования слова «империя» см. в письме Филиппа III к вице-королю в Индии от 28 ноября 1606 г., процитированного в: H. Grotius, *The Freedom of the Seas,* R. van Deman Magoffin, ed. (New York: Carnegie Endowment, 1916), p. 77. Пример английского использования можно найти в: F. Bacon, "An Essay upon the Origin and Nature of Government," Bacon, *Works* (London: Miller, 1720), vol. I, p. 103.

198

О проекте Сюлли см.: C. Pfister, "Les 'oeconomies royales' de Sully el le granddesseinde Henry IV," *Revue Historique,* 56, 1894, p. 307—330; A. Puharre, *Les projets a"organisation europeene a"apres le grand dessein d'Henry IVet de Sully* (Paris: Union federaliste interuniversitaire, 1954), p. 5 Iff; D. Heater *The Idea of European Unity* (Leicester: Leicester University Press, 1992), p. 30—38.

199

Текст договора см. в: K. Muller, ed. *Instrumenta Pacis Westphalica* (Bern: Lang, 1966).

Граница, за которой предполагается начало чего-либо *(лат.). — Прим. научн. ред.*

201

Булла *Zelo Domus Dei,* датированная 20 ноября 1648 г., цит. по: G.R. Cragg, *The Church in the Age of Reason 1648 — 1789* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1960), p. 9.

Безличного присутствия *(лат.)*. — *Прим. научн. ред.*

203

Контамин Ф. Война в Средние века. СПб.: Ювента, 2001. С. 322— 327.

См.: S. Carpenter, *The Rise of the Feudal Monarchies* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1951), p. 75ff.

См.: N. Fryde, *The Tyranny and Fall of Edward II1321 -1326* (New York: Cambridge University Press, 1979), p. 75ff.

206

См. сравнение двух противников в: E. Perroy, *The Hundred Years War* (New York: Capricorn, 1965 edn.), p. 34—60.

207

Об этих событиях см.: J.S. Roskell, *The Impeachment of Michael de la Pole Earle of Suffolk, in 1386* (Manchester: Manchester University Press, 1984); R.H. Jones, *The Royal Policy of Richard II: Absolutism in the Later Middle Ages* (Oxford: Blackwell, 1968), ch. 5.

Государственный переворот *(франц.). — Прим. пер.*

L. Stone, *The Crisis of the Aristocracy 1558 — 1641* (Oxford: Clarendon
Press, 1965), ch. 8.

Первый среди равных *(лат.)*. — *Прим. пер.*

P. Vinogradoff, *Roman Law in Medieval Europe* (Oxford: Clarendon Press, 1929), p. 29ff.

B.A. Poquet de Haut-Jusse, "Une idee politique de Louis XI: la subjection eclipse la vassalise," *Revue Historique,* 214, 1961, p. 383—398.

P.S. Lewis, "France in the Fifteenth Century: Society and Government" in Hale, et al., *Europe in the hate Middle Ages,* p. 276—300.

G. Zeller, "Gouverneurs des provinces au seizieme siecle," *Revue Historique,* 185, 1939, p. 225-256.

D. Bruisseret, *Henry /*V(London: Allen and Unwin, 1984), p. 125ff.

Для устрашения остальных *(франц.). — Прим.пер.*

Исследование дворянства (*франц.*). — *Прим. пер.*

J.M. Font y Ruis, "The Institutions of the Crown of Aragon in the First Half of the Fifteenth Century," in R. Highfield, ed. *Spain in the Fifteenth Century, 1369-1516* (New York: Harper, 1972), pp. 171-192.

219

Об этих событиях см.: T.N. Bisson, *The Medieval Crown of Aragon* (Oxford: Clarendon Press, 1986), p. 133-161.

Elliott, *Imperial Spain,* p. 1 lOff.; L. Fernandez Suarez, "The Kingdom of Castile in the Fifteenth Century," in Highfield, *Spain in the Fifteenth Century,* p. 95ff.

221

См.: J.R.L. Highfield, "The Catholic Kings and the Titled Nobility of Castile" in Hale, et.al., *Europe in the Later Middle Ages,* p. 358 — 387.

H. Kamen, *Spain 14* 69 — *1714: A Society ofConflict* (London: Longman, 1983), p. 20, 155. Даже большие цифры приводит BaUB3:J.V. Vives, "The Economy of Spain During Ferdinand and Isabella's Reign," in Highfield "Spain in the Fifteenth Century", p. 253—254.

J. Lynch, *Spain Under the Habsburgs* (New York: New York University Press, 1981), vol. I, p. 210-217.

Elliott, *Imperial Spain,* p. 279ff.

Правосудие (лат.). — *Прим. научн. ред.*

Об этих конституционных постановлениях см.: R.B. Merriman, *The Rise ofthe Spanish Empire* (NewYork: Cooper, 1962),vol. IV,p. 595— 599.

T.A. Brady, *Turning Swiss: Cities and Empire, 1450 — 1550* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

228

Цит. по: K.H. Roth von Schrekenstein, *Das Patriziat in den deuschen Stadten* (Tubingen: Laupp, 1856), s. 552.

Cm.:F.L. Carsten, *Princes and Parliaments in Gei"many* (Oxford: Clarendon Press, 1959), p. 357ff.

Carsten, *A History of the Prussian Junkers* (Aldershot: Scholar Press, 1989), p. 7-16.

231

См. краткий обзор развития Германии в: V.G. Kierman, *State and Society in Europe, 1550 — 1650* (New York: St. Martin's, 1980), ch. 9.

Отличия *(франц.). — Прим. научн. ред.*

233

Обсуждение французских marques de noblesse см., в частности: E. Schalk, From Valor to Pedigree: Ideas of Nobility in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Princeton: Princeton University Press, 1986), ch. 7.

F.R. Bairoch, etal., eds. *La population des villes europeennes* (Geneva: Droz, 1988), p. 253-254.

235

Недавний обзор средневековых городских институтов см. в: S. Reynolds, *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900 — 1300* (Oxford: Clarendon Press, 1984), ch. 6.

C.R. Young, *The English Borough and Royal Administration, 1130—1307* (Durham, NC: Duke University Press, 1961), p. 16, 155-161.

S. Reynolds, *An Introduction to the History of English Medieval Towns* (Oxford: Clarendon Press, 1977), p. 109-110.

238

С 1500 по 1700 г. не менее 160 английских поселений впервые получили городской статус: P. Clark and P. Slack, *English Towns in Transition 1500-1700* (New York: Oxford University Press, 1976), p. 128.

L. Stone, The Causes of the English Revolution, 1529 — 1642 (London: Routledge, 1972), p. 9Iff.

Об особенностях итальянских городов в этот период см.: G. Chittolini, "Cities, 'City-States', and Regional States in North-Central Italy," in C. Tilly and W.P. Blockmans, eds., *Cities and the Rise of States in Europe, AD 1000 to 1800* (Boulder: Westview Press, 1989),p. 28-44.

F. Bocchi, "Cittaecampagnanell'Italiacentrosettentrionale" (sec. XII— XIV), *Storia delta Citta,* 10, 1986, p. 101-104; M. Berengo "Citta e contado in Italia dal XV al XVII secolo", *Storia delta Citta,* 10, 1986, p. 107-111.

Заново (лат.). — *Прим. пер.*

243

См.: H. Stoob, Forschungen гит Stadtiuesen inEuropa (Cologne: Boehlau, 1979), vol. I.

О судьбе северных городов Германии см.: F.L. Carsten, *The Origins of Prussia* (Oxford: Clarendon, 1954), p. 109ff.

245

В 1500 г. самый большой город Германии, Аугсбург, насчитывал 50000 жителей против более 100 000 в Венеции и Милане. Некоторые цифры см. в: E. Ennen, *The Medieval Town* (Amsterdam: North Holland Publishing, 1979), p. 187-189.

О попытках реанимировать Ганзу и об ее окончательном упадке см.: P. Dollinger, *The German Hansa* (London: Macmillan, 1964), pt. III.

H. Patze and G. Streich "Die landesherrlichen Residenzen im spStmittelalterlichen Deutschen Reich," *Blatter fur Deutsche Landesgeschichte,* 118, 1982, p. 202-220.

Добрых городов (франц."). — *Прим. пер.*

249

См. общий обзорв: B. Chevalier, Les bonnes villes de France du XVe аи XVIe siecle (Paris: Aubier Montaigne, 1982).

R. Fedou, "A Popular Revolt in Lyons in the Fifteenth Century: The Rebeyne of 1436" in P.S. Lewis, ed., The Recovery of France in the Fifteenth Century (NewYork: Harper, 1971), p. 242-264.

B. Chevalier, "The Policy of Louis XI Toward the *Bonnes Villes:* TheCase of Tours," in Lewis, *Recovery of France,* p. 265—293.

Bruisseret, *Henry TV,* p. 164—166.

253

Историю того, как французские города потеряли независимость, см. в: R.A. Schneider, "Crown and Capitoulat: Municipal Government in Toulouse, 1500—1789," inR. Benedict, ed., *Cities and Social Change in Early Modern France* (London: Unwin Hyman, 1989), ch. 6.

См. об отношениях между короной и городами в этот период: P. Fernandez Albaladej o, " Cities and the State in Spain," in Tilly and Blockmans, *Cities and the Rise of States in Europe,* p. 170—173.

255

Об истории движения *комунерос* см.: S. Haliczer, *The Communeros of Castile: The Forming of a Revolution, 1475—1521* (Madison: University of Wisconsin Press, 1981); A.W. Lovett, *Early HabsburgSpain, 1517-1598* (Oxford: Oxford University Press, 1986), p. 30ff.

Общность, сообщество, корпорация (исп.). — *Прим. научн. ред.*

257

См. Данные в: R. Trevor Davies, *The Golden Century of Spain* (London: Macmillan, 1961), p. 180ff.

J.H. Elton, "The Decline of Spain, *"Past and Present,"* 20, 1961,p. 6 Iff; A.D. Ortiz, *The Golden Century of Spain* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1971), p. 184ff.

259

Цифры см. в: Fernandez Albaledejo, "Cities and the State in Spain," p. 177, таблица 8.1.

О достижениях швейцарцев см. M.V. Clarke, *The Medieval City-State* (Cambridge: Speculum, 1966 edn.), ch. 7.

«Искусство войны» *(итал.). —Прим. пер.*

H. Pirenne, "The Formation and Constitution of the Burgundian State," *American Historical Review,* 14, 1909, p. 477—502.

263

О политической системе Нидерландов см.: C. Wilson, *The Dutch Republic* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1968), ch. 3; M. 'T Hart "Intercity Rivalries and the Making of the Dutch State," in Tilly and Blockmans, *Cities and the Rise ofStates in Europe,* p. 199—203; а также более развернуто в: 'THart, *The Making of Bourgeois State: War, Politics and Finance During the Dutch Revolution* (Manchester: Manchester University Press, 1993).

См.: M. van Creveld, *Technology and War* (New York: Free Press, 1989), p. 27-28, 106.

См.: J. Anderson and S. Hall, "Absolutism and Other Ancestors" in J. Anderson, ed., *The Rise of the Modern State* (Brighton: Wheatsheaf, 1986), p. 31.

См., напр.: D. Parker, *The Making of French Absolutism* (London: Edward Arnold, 1983), p. 66-67.

Истинный, настоящий *(лат.)*. — *Прим. пер.*

См.: M. Van Creveld, *Command in War* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985), p. 52-55.

Erasmus, *The Education of a Christian Prince,* L.K. Born, ed. (New York: Norton, 1964), p. 208.

Король-солнце *(франц.). — Прим. пер.*

271

Цит. по: E. Le Roy Ladurie, *The Royal French State 1460-1610* (Oxford: Blackwell, 1994), p. 156.

Хёйзинга Й. Осень средневековья. М.: Наука, 1988. С. 44—47.

273

Цит. по: E. Lavisse, *Louis XIV* (Paris: Tallandier, 1978 [1905]), vol. VII, pt. I, p. 157.

См. анализ того, как были заложены эти дворцы, в: N. Elias, *The Court Society* (Oxford: Basil Blackwell, 1983), ch. 5.

См. A. Huon, "Le theme du prince dans les entrees parisiennes au XVe siecle," inj. Jacquot, ed. *Les fetes de la Renaissance* (Paris: Centre national de la recherche, 1956), vol. I, p. 21—30; R. Strong, *ArtandPower: Renaissance Festivals 1450 — 1650* (Woodbridge, Suffolk: Boydel, 1973) — детальный анализ того, как абсолютистская тематика стала господствующей.

Живые картины (*франц.) — Прим. пер.*

Театральный эффект *(франц.)*. — *Прим. пер.*

См.: C. Brown, *VanDyck* (Oxford: Phaedon, 1982), esp. ch. 4.

J. Pope-Hennessey, *Italian Renaissance Sculpture* (London: Phaedon, 1971), p. 52-59.

280

См. M. Bloch, *The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and France* (London: Routledge, 1973) [Русск. пер.: Блок М. Короли-чудотворцы. М.: Языки русской культуры, 1988.]

281

F. Guicciardini, *Ricordi* (Milan: Rizzoli, 1951 edn.), series 2, 64.

См.: N. Rubinstein, "Notes on the Word *Stato* in Florence Before Machiavelli," inR.G. Rose and W.K. Ferguson, eds. *Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson* (Toronto: University of Toronto Press, 1971), p. 313-326.

Эпическими поэмами (*франц.*). — *Прим. научн. ред.*

Макиавелли Н. Государь. Гл. 25.

285

«Шесть книг о политике или о гражданской доктрине» *(лат.).* — *Прим. пер.*

Memoires de Louis XP/t J. de Lognon, ed. (Paris: Tallandier, 1927), p. 280-281.

G. Oestreich, *Neostoicism and the Origins of the Modern State* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).

Устройство двора хорошо представлено в работе: P.G. Thiler, *Die Verwaltung des Ordenstaates Preussen, vornehmlich in 15. Jahrhundert* (Cologne: Boehlau, 1965), s. 31-120.

289

Описание карьеры одного рыцаря, который именно так и сделал, см. в: G. Duby, *Guillaume le Marichal* (Paris: Fayard, 1984).

Краткое изложение этих изменений см. в: G.R. Elton, *The Tudor Revolution in Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), p. 415ff.

Отец секретарей государства (*франц.*). — *Прим. пер.*

О его карьере см.: N.M. Sutherland, *The French Secretaries of State in the Age of Catherine de Medici* (London: Athlone Press, 1962).

Полетта — ежегодный денежный взнос, уплачивавшийся в казну чиновниками Франции XVII—XVIII вв., находившимися на административных и судебных должностях. — *Прим. науч. ред.*

R. Knecht, *Richelieu* (London: Longman, 1991), p. 27-29.

См.: H. Rosenberg, *Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience, 1660 — 1815* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953), p. 27-29.

Применительно к данному случаю *(лат.). — Прим. научн. ред.*

См.: D.E. Queller, *The Office of Ambassador During the Middle Ages* (Princeton: Princeton University Press, 1967).

D.B. Horn, *The British Diplomatic Service* (Oxford: Oxford University Press, 1961), p. 2.

299

Цифры из кн.: R. Mousnier , *Le conseilduroi de Louis XIIa la revolution* (Paris: Presses universitaires de France, 1971), ch. 1.

Генеральные уполномоченные представители *(нем.)*. — *Прим. пер.*

301

О развитии аппарата этих служащих см.: O. Hintze, "The Commissary and His Significance in General Administrative History" in *The Historical Essays of Otto Hintze,* F. Gilbert, ed. (New York: Oxford University Press, 1975), p. 267-302.

Об этом высказывании и его значении см.: E. Einstein, "The Advent of Printing and the Problem of the Renaissance," *Past and Present,* 44, 1969, p. 29ff.; о печати на службе государства см.: AJ. Slavin, "The Tudor Revolution and the Devil's Art: Bishop Bonner's Printed Forms" in D.J. GutchandJ.W. McKenna, eds. *Tudor Rule and Revolution* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), p. 3—24.

Образ действия (лат.). — *Прим. пер.*

Канцелярская волокита *(франц.). — Прим. пер.*

Корпоративный дух *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Невмешательство правительства в дела частных лиц (*франц).* — *Прим. пер.*

Baron Grimm and Diderot, correspondence litteraire, philosophique et critique, 1753-1769 (Paris: Caillot, 1813), vol. IV, p. 186.

Государственные служащие (*нем.*). — *Прим. пер.*

Королевские слуги (*нем.*). — *Прим. пер.*

310

Цит. по: J.H. Elliott, *Spain and Its World 1500-1700* (New Haven, CT: Yale University Press, 1969), p. 15, 142.

311

См.: J.A. Maravell, *La philosophie politique espagnole au XVIIIe siecle dansles rapports avec l'esprit dela contre-reforme (JPaxis:* Vrin, 1955), p. 241.

312

Цит. по: M. Antoine, *Les conseildu roisous le regne du Louis XV* (Paris: Droz, 1970), p. 9.

313

Цит. по: Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy, p. 197.

См. таблицы в кн.: M. Mann, The Sources of Social Power (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), vol. II, app. A.

315

Napoleon I, Correspondance (Paris: Plon, 1858—), vol. XIII, p. 368, № 11026, Bulletin # 9 of the Grande armee, 17 October 1806.

H.F.C. vonGagern, ed., Die Briefe des Freiherrn von Stein an den Freiherrn von Gagern, 1813-1831 (Stuttgart: Cotta, 1833), p. 90-92.

Общество рангов (франц.). — *Прим. научн. ред.*

Провинции, имеющие свой представительный орган, обладающие особым юридическим статусом и не подчиняющиеся прямому королевскому управлению *(франц.). — Прим. пер.*

Провинции, подчиняющиеся прямому королевскому управлению *(франц.). — Прим. пер.*

Государственный совет *(франц.). — Прим. пер.*

321

Департамент *(франц.)* — единица административно-территориального деления во Франции после Французской революции *(франц.)*. *— Прим. пер.*

Округ *(франц.) — Прим. пер.*

M. Broers, " Italy and the Modern State: The Experience of Napoleonic Rule " in F.Furet and M. Ozouf, eds., *The French Revolution and the Creation of Modern Culture* (Oxford: Pergamon, 1989), vol. Ill, p. 489—503.

J.P.A. Coopman, "Van Beleid van Politie naar Uitvoering en Bestuur, 1700—1840," *Bijdrage en Mededelingen betreffende de Geschiedenis derNederlanden,* 104, 1989, p. 579-591.

I. Mieck, "Napoleon etles reformes en Allemagne," *Francia,* 15, 1987, p. 473-491.

C. Mucoz de Bustilo, "Remarks on the Origins of Provincial Administration in Spain," *Parliaments, Estate and Representation,* 14, I, 1994, p.47-55.

327

Он знает все, он может все, он делает все *(франц.)*. — *Прим. пер.*

См., напр.: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998.

329

Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1992. С. 245-246.

Об этих реформах см.: E.W. Cohen, *The Growth of the British Civil Service, 1780-1939* (London: Allen and Unwin, 1941), ch. 5; E.T. Strokes, "Bureaucracy and Ideology: Britain and India in the Nineteenth Century," *Transactions of the Royal Historical Society,* 30, 1950, p. 131-156.

331

См.: M. von Boehm, *Frankreich im 18. Jahrhundert* (Berlin: Weidemann, n.d.), p. 67, — заметки о том, как кланы Роганов, Ноэлей и Монморанси покинули двор Людовика XVI.

Academie francaise, *Dictionaire de la langue francaise* (Paris: Bassagne and Maison, 1798 supplement); J.H. Campe, *Wortebuch* (Braunschweig: Bouvier, 1813), p. 161.

Странствующий император *(нем.). — Прим.. пер.*

См.: J. Marino, "Administrative Mapping in the Italian States," in D.Buisseret, ed., *Monarchs, Ministers and Maps: The Emergence of Cartography as a Tool of Government in Early Modern Europe* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), ch. 1.

G. Parker, *The Thirty Years War* (London: Cambridge University Press, 1984), p. 217.

G. Clark, *The Seventeenth Century* (London: Clarendon, 1966 edn.), p. 144.

j. Black, *The Rise of the European Powers, 1679-1793* (London: Edward Arnold, 1990), p. 194-196.

Об истории карт того времени см.: J. Vann, "Mapping Under the Austrian Habsburgs" в Buisseret, *Monarchs, Ministers and Maps,* p. 163ff.

Неизведанная земля *(лат.)*. — *Прим. пер.*

Уинстенли Дж. Закон свободы//Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 303-304.

341

См.: R. Blomfeld, *Sebastien le Prestre de Vauban, 1633-1707* (London: Methuen, 1938), ch. 10.

342

Voltaire, *The Age of Louis XIV* (New York: Twayne, 1963 [1751]), p. 143.

Об Исландии см.: T. Thorsteinsson, "The First Census Taken in Iceland in 1703" in *25th Session of the International Statistical Institute* (Washington, DC: International Statistical Institute, 1947), vol. Ill, p. 614—623; о Швеции см.: E. Arosneius, "The History and Organization of the Swedish Official Statistics" inj. Koren, ed., *The History of Statistics* (New York: Macmillan, 1918), p. 537ff.

О деятельности Лавуазье в этих сферах см.: D. McKie, *Antoine Lavoisier: Scientist, "Economist, Social Reformer* (London: Collier, 1980).

См.: K. Johanisson, "Society in Numbers: The Debate over Quantification in 18th Century Political Economy," in T. Fransmyr, et al., eds., *The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century* (Berkley: University of California Press, 1990), p. 349.

См.: D.V. Glass, *Numbering the People: The Great Demographic Controversy* (Farnborough: Saxon House, 1978), esp. p. 1 Iff.

Палата помощи *(франц.). — Прим. научн. ред.*

Ордонансовые роты (франц.). — Прим. научн. ред.

Более подробная информация в: M.S. Kimmel, *Absolutism and Its Discontents: State and Society in Seventeenth-Century France and England* (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1988), p. 58-59.

См.: E. Hobsbawm, "The General Crisis of the European Economy in the Seventeenth Century," *Past and Present*, 5, 1954, p. 33—59; 6, 1955, p. 45-65.

О Дании см.: G. Rystad, ed., *Europe and Scandinavia: Aspects of Integration in the Seventeenth Century* (Lund: Esselte Studium, 1983), p. 15; о Пруссии см.: K. Breysig, "Der brandemburgische Staatshaus-halt in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts," *Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung, und Volkswirtschaft in DeutschenReich,* 16, 1892, p. Iff., 449ff.

Об этих бунтах, их последствиях и результатах см.: Kimmel, *Absolutism and Its Discontents*.

Казначеи *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Заметки о финансах короля *(франц.). — Прим. пер.*

Старый порядок *(франц.)*. — *Прим. пер.*

M. Beik, *Absolutism and Society in Seventeenth-Century France* (London: Cambridge University Press, 1985), p. 260ff.

Более подробно см.: P.G.M. Dickson and J. Sterling, "War Finance, 1689—1714," inJ.S. Bromley, ed., *TheNew Cambridge Modern History,* vol. IV (London: Cambridge University Press, 1970), p. 284—315.

См.: J.B. Collins, *Fiscal Limits of Absolutism: Direct Taxation in Early Seventeenth-Century France* (Berkley: University of California, Press, 1988).

Генеральный сборщик налогов *(франц.). — Прим. пер.*

P. Mathias and P.O. O'Brien, "Taxation in Britain and France, 1715— 1810: Comparison of the Social and Economic Incidence of the Taxes Collected for the Central Government," *Journal of European Economic History, 5,* 1976, p. 601-650.

P. Deane, *The First Industrial Revolution* (Cambridge: Cambridge University Press, 1965), p. 262.

A. Zottman, *Die Wirtschaftspolitik Friedrichs des Grossen* (Leipzig: Deuticke, 1929), p. 21ff.

Барщина *(франц.). — Прим. пер.*

D. Stutzer, "Das preussischeHeerundseineFinanzierung 1740—1790," *MilitargeschichtlicheMitteilungen,* 2, 1979, p. 30.

См.: D.E. Brady, *Frederick William TV and the Prussian Monarch 1840-1861* (Oxford: Clarendon Press, 1995), p. 19.

Mann, *Sources of Social Power,* vol. II, приложение, таблицы A6, A7, A8.

Один из лучших кратких обзоров: M. Howard, *War in European History* (Oxford: Oxford University Press, 1976), ch. 2-5.

См.: J.R. Partington, *A History of Greek Fire and Gunpowder* (Cambridge: Heffer, 1960), ch. 3; J.F.C. Fuller, *Armaments and History* (New York: Scribner's, 1945), p. 78-81.

369

Jean Froissart, *Chronicles* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1968), p. 88 (n. 2), 121.

G. Quester, *Offense and Defense in the International System* (New York: Wiley, 1977), p. 45-55.

J.R. Hale, "The Development of the Bastion, 1440—1453," in Hale, et al., *Europe in the Late Middle Ages,* p. 446—94. См. также: S. Pepper and N. Adams, *Firearms and Fortifications* (Chicago: University of Chicago Press, 1986).

Итальянский след *(франц.). — Прим. пер.*

373

Об эволюции укреплений с 1500 г. до их расцвета около 1700 г. см.: I.V. Hogg, *Fortress: A History of Military Defense* (London: Macdonald, 1975), ch. 3-4.

См. об Англии: M. Prestwich, *War, Politics and Finance Under Edward I* (Totowa, NJ: Rowmanand Littlefield, 1972).

О том, как это происходило, см.: F. Redlich, *The German Military Entrepreneur and His Work Force* (Wiesbaden: Steiner, 1964).

Военные бунты, которые поднимали наемные войска, хорошо описаны в книге: G. Parker, *The Army of Flanders and the Spanish Road* (London: Cambridge University Press, 1972), ch. 8.

Постоянное ополчение *(лат.). — Прим. научн. ред.*

K.R. Andrews, Trade, Plunder and Settlement: Maritime Enterprise and the Genesis ofthe British Empire, 1480 — 1630 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), p. 14—15.

L.E. Traide, ed., Horace Walpole's Miscellany (New Haven, CT: Yale University Press, 1978), p. 77; C. de Montesquieu, Persian Letters (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1973), p. 177.

Маршал Франции *(франц.). — Прим. пер.*

381

В работе: J.G. von Hoyers, Geschichte der Kriegskunst (Gottingen: Rosenbusch, 1797), vol. II, p. 614—619, — приводится детальная таблица величины выкупа за пленного каждого звания.

О развитии *ius in helium* (военное право. — *Научн, ред.)* в XVII в. см.: G. Best, *Humanity in Warfare* (New York: Columbia University Press, 1980), p. 53-60.

383

См. по всей этой теме: A. Borg, *War Memorials from Antiquity to the Present* (London: Cooper, 1991).

Tadmor, *The Inscriptions of Tiglat Pileser III,* p. 49, 79.

J-W. Dower, War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War (New York: Pantheon, 1986), p. 64.

C Duffy, The Army of Frederick the Great (London: Purnell, 1971), p. 9. * Господин брат мой *(франц.). — Прим. пер.*

См.: A. Vagts, *A History ofMilitarism* (New York: Free Press, 1959), p. 52ff.

E. Vattel, *The Law of Nations* (Philadelphia: Johnson, 1857, edn. [1758]), p. 317-318.

389

По этим вопросам см.: A. Corvisier, *Armies and Societies in Europe, 1494 — 1789* (Bloomington: Indiana University Press, 1979), p. 100— 102.

О том, как это делалось, см.: L. Martines, *Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200—1500* (Berkley: University of California Press, 1972), p. 203ff, 315ff.

Коннополицейская стража *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Генерал-лейтенант полиции *(франц.). — Прим. пер.*

Начальники полиции *(франц.)*. — *Прим. пер.*

394

О происхождении австрийской полиции см.: H. Hoegel, *Freiheitsstrafe und Gefanfnisswessen in osterreich von der Theresiana biz zur Gegenwart* (Graz: Moser, 1916), p. 38-39.

Черный кабинет *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Комиссары полиции *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Информаторы *(франц.)*. — *Прим. пер.*

J. Ellul, Histoire des institutions (Paris: Presses universitaires de France, 1955), vol. II, p. 708—710, — хорошее описание системы, построенной Фуше. О подъеме полиции в целом см.: G.L. Mosse, ed., Police Forces in History (London: Fertig, 1975).

399

Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Наука, 1993. Кн. 2: Божественный Август, 65.

Эти действия описаны в работе: A.L. Zevaes, *Dantien le regicide* (Paris: Riviere, 1937), p. 201-214.

Самой важной работой Бентама на эту тему была *Theorie des peines et recompenses* (1811; английский перевод: *The Rationale of Punishment,* London: R. Heward, 1830). Работа Беккария — *Deidelittiedellepenne* (1764; англ. пер.: *Essay on Crime and Punishment,* London: Bone, 1801; русск. пер.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Фирма «Стеле», БИМПА, 1995).

См.: J. Bentham, *Panopticon: or the Inspection House* (London: Payne, 1974); и в более кратком изложении: J. Mill, "Prisons and Prison Discipline" in Mill, *Political Writings,* T. Ball, ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), p. 195-224.

403

J.A. Sharpe, *Crime in Early Modern England 1550 — 1750* (London: Longmans, 1984), p. 178-180.

P.W. Bamford, *Fighting Ships and Prisons* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1973) —лучший современный обзор этой системы.

Полицейские дома *(франц.). — Прим. пер.*

Арестные дома *(франц.). — Прим. пер.*

Исправительные дома *(франц.). — Прим. пер.*

Центральные дома *(франц.). — Прим. пер.*

Старый режим *(франц.). — Прим. пер.*

M. Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (London: Penguin Books, 1979), p. 116.

N. Finash, "Zur 'Oekonomie des Straffens': Geftngniswesen und Gefangnisreform in Roer-Department nach 1794," *Kheinische Vierteljahresberichte,* 4, 1989, p. 188-210.

Клаузевиц К. фон. Овойне. М.: ООО Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. Т. 1. Ч. 1. Гл. 1 и 2; Кревельд М. ван. Трансформация войны М.: ИРИСЭН, 2005. Гл. 2.

Работа делает свободным *(нем.). — Прим. научн. ред.*

Высшие чиновники эллинистических царей были известны как их *haeteriori* (компаньоны) или *philoi* (друзья); более подробно о них и об их дворах, можно узнать из работы: G. Herman, "The Courts Society of the Hellenistic Age" (неопубликованная рукопись, исторический факультет Еврейского университета, Иерусалим).

Напр.: 1 Цар 18, 19 («рабы» царя Давида); 2 Цар 2, 7, 6 («рабы» арамейского царя Хададезера); 3 Цар 5,15 («рабы» тирского царя Хирама) и многие другие места.

Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ed.., *DeutscheReichstagsakten* (Munich: Rieger, 1867—), os., vol. IV, no. 268.

Оскорбление величества *(франц.). — Прим. пер.*

A. Gardiner, *Egypt of the Pharaohs: An Introduction* (London: Oxford University Press, 1961), p. 51ff.

Подробный список таких работ см. в: Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя. М.: Мысль, 2001. С. 7—106

420

Макиавелли в письме к Франческо Веттори от 10 декабря 1513 в: *Lettere* (Milan: Feltrinelli, 1962), vol. V, p. 305.

421

О выражении *il nuovo principe* и его особом значении см.: S. de Grazia, *Machiavelli in Hell* (New York: Harvest Wheatsheaf, 1989), p.232ff.

Макиавелли Н. Государь. М.: Мысль, 1996. С. 42; Machiavelli, *The Prince,* p. 90.

Макиавелли. Указ. соч. С. 83, 86.

Государственные соображения *(франц.). — Прим. пер.*

425

См.: F. Meinecke, *Machiavellism: The Doctrine of Raison d'Etat and Its Place in Modern History* (London: Routledge, 1957), в частности p. 25-48.

Республика, сообщество *(франц.). — Прим. пер.*

J. Bodin, *Six Books of the Commonwealth,* M.J. Tooley, ed. (Oxford: Blackwell, 1967), p. 40-49.

Адвокат *(франц.). — Прим. пер.*

См.: E.H. Kantorowicz, *The King's Two Bodies: A Study of Medieval Political Theory* (Princeton: Princeton University Press, 1957), p. 128ff, 336ff, 401ff., 446-447, 501ff.

Король умер, да здравствует король! *(франц.) — Прим. пер.*

См.: C. Geertz, "Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power"; S. Wilentz, ed., *Rites of Power: Symbolism, Ritual and Politics Since the Middle Ages* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985), p. 56.

Цит. по: P. Kendall, *Louis XI* (London: Allen and Unwin, 1971), p. 320.

G. Botero, *The Reason of State* (London: Routledge, 1956), p. 3.

См.: R.E. Giesey et al., "Cardin le Bret and Luse Majeste," *Law and History Review,* 41, 1986, p. 23-54.

О природе суверенитета в понимании Бодена и Гоббса см.: P. King, *The Ideology of Order: A Comparative Analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes* (London: Allen and Unwin, 1974), p. 140-157, 237-243.

«О теле» *(лат.) — Прим. пер.*

Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 155.

Тем более *(лат.)*. — *Прим. пер.*

См.: H.C. Mansfield, Taming the Prince: The Ambivalence of Modern Executive Power (New York: Free Press, 1989), p. 161-164.

См. Локк Дж. Два трактата о правлении//Локк Дж. Соч. Т. 2. С. 291-306. М.: Мысль, 1988. С. 301-348.

См.: N. Hulliung, *Montesquieu and the Old Regime"* (Berkley: University of California Press, 1976), p. 15—33.

Монтескье III. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 23—24.

D. Hume, *Treatise on Human Nature* (L.: Longmans, 1874 [1739]), p. 484, 520, 526, 567. (См.: Юм. Д. Трактат о человеческой природе//Юм Д. Соч. В 2-х т. Т. I. М.: Мысль, 1996. С. 235-239.)

См.: N. Hampson, *Will and Circumstance: Montesquieu, Rousseau and the French Revolution* (London: Duckworth, 1983), p. 19ff.

Государство — это я *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Для пользования дофина *(лат.). — Прим. пер.*

Защитник веры *(лат.). — Прим .пер.*

Бог с нами *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Cm. J.C. English, "John Wesley and the Rights of Conscience," *Journal of Church and State,* 37, 7, 1995, p. 349-365.

Патриарх (лаж.). — *Прим. пер.*

R. Filmer *Patriarcha* (London: Chiswell, 1685). Эта работа была написана вскоре после публикации «Левиафана».

Leviathan, p. 80. В наше время политической корректности термин «племенной», употребленный в данном значении, иногда считается оскорбительным, и поэтому является табу.

В числе других *(лат.)*. — *Прим. пер.*

О начале использования слова «революция» в политическом контексте см.: I.B. Cohen, *Revolution in Science* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1985), p. 51ff.

О происхождении этого термина см.: R. Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* (London: Fontana, 1976).

Аристотель. Политика. V, ix, 2-5; Boden. Six Books of the Commonwealth, p. 63; Монтескье. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 65.

Общество рангов *(франц.). — Прим. пер.*

Христианнейший король *(франц.). — Прим. пер.*

См., напр.: B. Eccleston, "The State and Modernization in Japan" in Anderson, *The Rise of the Modern State*, p. 192—210.

Всех против всех *(лат.)*. — *Прим. пер.*

461

О взглядах *philosophes* на эти вопросы см.: E. Silberner, *La guerre dans la pensee economique du XVIe au XVIIe siucle* (Paris: Libraire de recueil Sirey, 1939), pt. 2.

Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. С. 120, 147.

For forms of government let fools contest
Whatever is best administered is best.

Данные о размерах вооруженных сил в период с XVTII в. до наших дней см.: bJ.A. Lynn, "The Pattern of Army Growth, 1445—1945," in Lynn, ed., *Tools of War* (Urbana: University of Illinois Press, 1990), p. 100-127.

465

О прусском налогообложении см. сноску 55 к главе 3 этой книги, о налогах в современных США см.: R.B. Reich, *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism* (New York: Vintage Books, 1991), p. 260.

См.: C. Duffy, *The Military Experience in the Age of Reason* (London: Routledge, 1987), p. 7-10.

Цит. по: C. E. Hobsbawm, *States and Nationalism Since 1780* (London: Cambridge University Press, 1990), p. 75. (См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998. С. 121.) .

Фридрих II, цит. по: J. Luvaas, ed. *Frederick the Great on the Art of War* (NewYork: Free Press, 1966),p. 100-111.

469

Вклад Руссо в развитие современного государства обсуждается в работе: J.L. Talmon, *The Origins of Totalitarian Democracy* (London: Mercury Books, 1961), ch. 3.

Отечество *(франц.). — Прим. пер.*

471

F.M. Voltaire, *Dictionaire philosphique* (Paris: Cluny, 1920 [1776]), p. 259.

J.-J. Rousseau "Patrie" в J. d'Alembert and D. Diderot, eds. "Encyclopedie" (Paris: Briasson, 1755-65), vol. XII, p. 178-181.

См.: J.H. Shennan, "The Rise of Patriotism in Eighteenth-Century Europe," *History of European Ideas,* 13, 6, 1991, p. 689—710.

Предмет особой ненависти *(франц.). — Прим. пер.*

C.J. Hayes, *The Historical Evolution of Modern Nationalism* (New York: Russeland Russel, 1968 [1931]), ch. 2.

J.G. Herder, *Werke,* E. Kiihnemann, ed. (Stutgart: Union deutsche Verlagsgesellschaft, 1889), bd. I, s. 402.

J.W. Goethe and F. Schiller, "Xenien," in *Schillers Werke,* J. Petersson andF. Beissner, eds. (Weimar: Nationalausgabe, 1943), p. 321.

О Фихте и истоках немецкого национализма в этот период см. прежде всего: H. Kohn, *The Mind of Germany* (NewYork: Scribner's, 1966), p. 68-98.

Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 283.

См.: S.B. Smith, "Hegel's Views on War, the State and International Relations," *American Political Science Review,* 7, 1983, p. 624—632.

О формах, которые национализм принимал в разных странах, см.: J. Breuilly, *Nationalism and the State* (New York: St. Martin's, 1982), esp. p. 43-118.

482

Цит. по J.M. Thompson, *The French Revolution* (Oxford: Blackwell, 1944), p. 121.

Лангдойль, язык северных районов Франции. — *Прим. пер.*

Жаргон *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Цит. по: M. de Certaue, et al., *La Revolution francaise et les patois: l'enquete de Gregoire* (Paris: Galimard, 1975), p. 295.

Праздник Федерации *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Говорящая архитектура *(франц.). — Прим. пер.*

Германия превыше всего *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Об истории и значении этих праздников см.: G. Mosse, *The Nationalization of the Masses* (NewYork: Fertig, 1975), p. 73—160.

490

Игра, в которой участники под музыку бегают по комнате вокруг стоящих в круг стульев, а когда музыка внезапно прекращается, все должны быстро сесть. Стульев на один меньше, чем людей. Тот, кому не хватило стула, выбывает из игры. — *Прим. пер.*

491

Прекрасный анализ эффекта отчуждения в современном индустриальном обществе одними из первых представили К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии».

О связях национализма и промышленной революции см.: E. Gellner, *Nations and Nationalism* (Oxford: Blackwell, 1983), esp. ch. 3.

A. Krieger, "Sieg Heil to the Most Glorious Era of German Sport: Continuity and Change in the Modern German Sports Movement," *International Journal of the History of Sport,* 4, 1, 1987, p. 5—20; J. Tollener, "Formation pour la vie et formation pour l'armee: la Federation nationale des societes catholiques de gymnastique et d'armes de Belgique, 1892 — 1914," *Stadion,* 17, 1, 1991, p. 101-120; L.W. Burgener, "Sport et politique dans un etat neuter: l'instraction preliminaire en Suisse, 1918— (1947," *Information Historique,* 48, 1, 1986, p. 23-29; M. Spivak, "Un concept mythologique de la Troisieme Republique: le renforcement du capital humain de la France", *Information Historique,* 4, 2, 1987, p. 155-176.

L.A. Bertoni, "Construir la nacionalidad: heroes, estatuas fiestas patrias 1887—1891", Boletin del Instituto de Historia Argentin*a y Americana, 5,* 1992, p. 77-111; M.A. Civera, "Origeny desarrollo de la fiesta de la Hispanidad," *Historia y Vida,* 25, 295, 1992, p. 92-101.

495

См.: J.P. Bois "L'armee et la fete nationale, 1789-1919", *Histoire, Economie et Societe,* 10, 4, 1991, p. 505—527, — о том, как вооруженные силы стали главным действующим лицом, в частности в День взятия Бастилии.

Theodore Herzl, *The Complete Diaries of Theodore Herzl,* R. Patai, ed. (New York: Herzl Press, 1960), vol. I, p. 27, 33, 39, 43, 67.

497

О размышлениях Гитлера на эту тему см.: A. Speer, *Errinerungen* (Berlin: Propylaen Verlag, 1969), p. 67ff.

О взглядах Гегеля на гражданское общество см.: S. Avineri, *Hegel* (London: Cambridge University Press, 1972), p. 141-147, 161-175; H. Ottman, "Hegel's Philosophy of Right: Changing Paradigms for Its Interpretation," *Clio,* 13, 4, 1984, p. 315-330.

Унифицированы *(нем.)*. — *Прим. пер.*

500

Лучшим обзором тоталитарных режимов с точки зрения отношений между государством и гражданским обществом является работа: H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Meridian Books, 1951), в особенности ch. 12 «Тоталитаризму власти».

501

Отец семейства *(нем.). — Прим. пер.*

Итальянская энциклопедия *(итал.)*. — *Прим. пер.*

Французское действие *(франц.). — Прим. научн. ред.*

R.B. Haldane, "Hegel," *Contemporary Review,* 67, February 1895, p. 232; также см.: B. Bosquanet, *Philosophical Theory of the State* (London: Macmillan, 1899).

Оскорбление Величества *(франц.). — Прим. пер.*

Измена Родине *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Государственная измена *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Мелкаяизмена *(франц.). — Прим. пер.*

509

См.: M.E. Dogget, *Marriage, Wife Beating and the Law in Victorian England* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1992), p. 49.

См.: M. Ferro, *The Great War 1914-1918* (London: Routledge, 1969), ch. 1; A. Offner, "The Working Classes, British Naval Plans and the Coming of the Great War," *Past and Present,* 107, may 1985, p. 225-226.

Всеобщая мобилизация *(франц.). — Прим. пер.*

В числе других *(лат.)*. — *Прим. пер.*

Botero, *The Reason of State,* p. 83.

См.: C.B. McPherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke* (London: Oxford University Press, 1962), esp. p. 264-265, 197-221, 247-248.

515

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 426.

Данные взяты из работ: A. Luedtke, *Police and State in Prussia, 1815— 1850* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 41—42, 86; E. Glovka Spencer, *Police and the Social Order in German Cities* (DeKalb: Northern Illinois University Press, 1992), p. 166-167.

517

О происхождении русской полиции см.: P.S. Squire, *The Third Department; The Establishment and Practices of the Political Police in the Russia of Nicholas I* (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), p. 29ff.

W. Bruce Lincoln, *Nicholas I, Emperor and Autocrat of All the Russians* (DeKalb: Northern Illinois University Press, 1989), p. 89.

519

См.: J.F. Richardson, *The New York Police: Colonial Times to 1901* (New York: Oxford University Press, 1970), p. 82-123. Некоторые данные по численности британской муниципальной полиции того времени для сравнения см. в: F.C. Mather, *Public Order in the Age of the Chartists* (Manchester: Manchester University Press, 1959) p. 111-117.

Данные взяты из кн.: *Cambridge Social History of Britain* (London: Cambridge University Press, 1993), p. 290.

521

См.: A.R. Hands, Charities and Social Aid in Greece and Rome (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1959), p. 111 — 117.

J.-J. Rousseau, The Government of Poland (Indianapolis: Bobbs Merril, 1977), p. 14.

Политическая академия *(франц.). — Прим. пер.*

Школа инженеров путей сообщения *(франц.). — Прим. пер.*

G. Thuillier, "L'Academie politique de Torcy, 1712-1719," *Revue d'Histoire Diplomatique,* 97, 1-2, 1983, p. 54-74; F.B. Artz, *The Development of Technical Education in France* (Cleveland, OH: Society for the History of Technology, 1966), ch. 1.

О происхождении учебных заведений по подготовке офицеров см.: M. van Creveld, *The Training of Officers: From Professionalism to Irrelevance* (New York: Free Press, 1989), ch. 1.

Указ о сельских школах *(нем.). — Прим. научн. ред.*

M. Baer, *Westpreussen unter Friedrich dem Grossen* (Osnabriick: Zeller, 1965 [1909]), vol. I, p. 550.

Экзамен на аттестат зрелости *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Святая Бавария *(лат.)*. — *Прим. пер.*

Об этих реформах см.: K.A. Schleunes, *Schooling and Society: The Politics of Education in Prussia and Bavaria, 1750—1900* (Oxford: Berg, 1989), p.43—44; G. Zuber, "L'ecole primaire de la Prusse a la veille de la foundation du Reich," *Revue d'Allemagne,* 20, 3, 1988, p. 311-321.

532

Johann Suevren, цит. по: G. Giese, *Quellen zur deutschen Schulgeschichteseit 1800* (Gottingen: Musterschmidt, 1961), p. 92.

P. Flora, "Die Bildungsentwicklung im Prozess der Staaten und Nationenbildung," in P.C. Ludz, ed. *Soziologie und Sozialgeschichte* (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1972), p. 432.

О появлении государственного образования в Британии см.: E. Midwinter, *Nineteenth-Century Education* (London: Longman, 1970), p. 32ff.

Политехническая школа *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Высшая школа администрации *(франц.). — Прим. пер.*

Лицеи *(франц.). — Прим. пер.*

R. Rissman, *DeutschePddagogen des 19.JAhrhunderts* (Leipzig: Klinkhardt, 1910), p. 219.

Нормальная начальная школа *(франц.). — Прим. пер.*

«Департамент» — единица административно-территориального деления в Франции. — *Прим. пер.*

541

О национализации французских школ см.: J.F. Scott, *Patriots in the Making* (New York: Macmillan, 1916).

S.T. Greshman, "Good Workers and Good Soldiers: Attitude Formation in the Primary Schools of the French Third Republic, 1880—1914," *Proceedings and Papers of the Georgia Association of Historians,* 6, 1985, p. 32-42; M. Gamier, et al., "The Strong State, Social Class, and Controlled School Expansion in France, 1881 — 1975", *American Journal of Sociology,* 95, 2, 1989, p. 279-306.

A.M. Kazmias, *Politics, Society and Secondary Education in England* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1966), p. 107ff.

C. Newland, "La educacion elemental en Hispanoamerica: desde la independencia hasta a la centralizacion de los sistemas educativos nacionales," *Hispanic American Historical Review, 7, 2,* 1991, p. 335—364, — обзор этих изменений.

545

Цит. по: A. Trop, *The Schoolteachers* (London: Heinemann, 1957), p. 195.

Государственные служащие *(нем.)*. — *Прим. пер.*

World Almanac and Book of Facts, 1998 (Mahwah, NJ: K-III Reference Corporation, 1998), p. 234-238.

Борьба с католической церковью *(нем.)*. — *Прим. пер.*

549

Высказывания высокопоставленных должностных лиц трех стран, датируемые концом XIX — началом XX вв., приведении в работе: Schleunes, *Schooling and Society,* p. 172, 226 (Германия), 230 (Великобритания), 236 (США). О национализации образования, в частности, в отношении Британии, см. также: L. Simpson, "Imperialism, National Efficiency and History, 1900—1905", *Journal of Educational Administration and History,* 16, 1, 1984, p. 28—36.

550

Классическое описание жизни масс см.: Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии//Марк К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 231—517. Краткий современный обзор: H. Haerder, *Europe in the Nineteenth Century, 1830—1880* (London: Longman, 1966), ch. 6.

551

Идеи самых влиятельных «утопистов» XIX в. проанализированы в работе: M. Berneri *Voyage Through Utopia* (New York: Schocken Books, 1950), p. 207-292.

Кабе Э. Путешествие в Икарию. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948; E. Bellamy, *Looking Backward* (Boston: Ticknor, 1888). Созданная в XIX в. карикатура века на государство всеобщего благосостояния представлена в произведении: E. Richer, *Pictures of the Socialist Future* (London: Jarrolds, 1933 [1892]).

См.: L. Preller, *Sozialpolitik in der Weimarer Republik* (Dusseldorf: Atheneum , 1978 [1949]), p. 233-234, 282-285.

E. Barker, *The Development of Public Services in Western Europe* (London: Oxford University Press, 1945), p. 77.

P.H. Lindert, "The Rise of Social Spending, 1880-1930," *Explorations in Economic History,* 31, 1, 1994, p. 1—37.

E.D. Berkowitz and J. McQuaid, *Creating the Welfare State* (Lawrence: University of Kansas Press, 1988), p. 76.

См. подробнее: W.R. Brock, *Welfare, Democracy and the New Deal* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), ch. 5.

Чудесный год *(лат.). — Прим. пер.*

559

См. в первую очередь: E. Nolte, *Three Faces of Fascism* (New York: Holt, 1969).

О нацистской политике социального обеспечения см.: D. Schoenbaum, *Hitler's Social Revolution* (New York: Norton, 1966), p. 73—113; T.W. Mason, *Social Policy in the Third Reich* (Oxford: Berg, 1993), p. 151 — 178. О политике социального обеспечения в фашистской Италии см.: E.R. Tannenbaum, *Fascism in Italy* (London: Allan Lane, 1972), p. 214-230.

G. Cross, "Vacations for All: The Leisure Question in the Era of the Popular Front," *Journal of Contemporary History,* 24, 4, 1989, p. 599-562.

См.: D.A. Binchy, *Church and State in Fascist Italy* (Oxford: Oxford University Press, 1970), ch. 1.

См.: P. Grierson, *The Origins of Money* (London: Athlone Press, 1977), ch. 1.

Об инфляции в Риме см.: A. Cailleux "L'allure hyperbolique des devaluatons monetaires," *Revue de Synthuse,* 101, 99-100, 1980, p. 251ff.

Marco Polo, *Travels* (Harmondsworth, UK: PenguinBooks, 1972), ch. 22. Современный обзор китайских экспериментов: F.T. Lui, "Cagan's Hypothesis and the First Nationwide Inflation of Paper Money in World History," *Journal of'Political Economy,* 91, 1983, p. 1067-1774.

См.: V. Barbour, *Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961), ch. 2.

См.: S. Piron, "Monnaie et majeste royale dans la France du XlVe siecle," *Annales, Histoire, Sciences Sociales,* 51, 2, March-April 1996, p. 325-354.

См.: C. Read, *Mr. Secretary Cecil and Queen Elizabeth* (New York: Knopf, 1955), ch. 9.

G. Davies, *A History of Money* (Cardiff: University of Wales Press, 1994), p. 150-151.

Об учреждении Банка Англии и его результатах см.: E. Lipson, *The Economic History of England* (London: Black, 1931), vol. Ill, p. 240ff.

571

C Oman, *The Coinage of England* (London: Pordes, 1967 [1931]), p. 352

Государственные облигации *(франц.). — Прим. пер.*

J.P. duVerney, *Examinedulivreintitule "Reflexionssurles financeset lecommerce"* (Paris: n.p., 1754), vol. I, p. 225.

О происхождении бумажных денег в России см.: W.M. Pinter, *Russia's Economic Policy Under Nicholas I* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967), p. 207-209.

Касса учета векселей *(франц.)*. — *Прим. пер.*

О *caisse d' escompte* и ее крахе во время Французской революции см.: J.F. Bosher, *French Finances, 1770 — 1795* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), особенно p. 231—275.

Бёрк Э. Размышления ореволюции во Франции. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1992. С 205.

Сегодня мы бы говорили о неконвертируемой валюте. Ранее, однако, валюты привязывались не друг к другу, а к золоту. « Принудительные » деньги не были связаны с золотом, так что людей надо было «принуждать» принимать их к оплате.

Известное, знаменитое дело *(франц.). — Прим. пер.*

Первый среди равных *(лат.)*. — *Прим. пер.*

581

Достижения федерального правительства в области материально-технического обеспечения описаны в работе: J.C. Huston, *The Sinews of War* (Washington, DC: OCMH, 1966), p. 159-239.

582

Данные из следующих источников: R.F. Bensel, *Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in America, 1859—1877* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 169; US Bureau of Census, *Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970* (Washington, DC: US Government Printing Office, 1975), pt. 2, p. 1106.

E. Foner, *Reconstruction: America's Unfinished Revolution 1863—1877* (New York: Harper and Row, 1988), p. 469-470.

Данные о добыче и относительной ценности двух металлов см. вработе: K. Helfferich, *Money* (NewYork: Kelley, 1969 [1927]), p. 109-111.

Принудительный курс *(итал.). — Прим. пер.*

Подробности см. в работе: M. de Cecco, Money *and Empire: The International Gold Standard, 1890—1914* (Totowa, NJ: Rowman and Littlefield, 1975).

G. Cassell, *The Downfall of the Gold Standard* (Oxford: Oxford University Press, 1936), p. 15—19.

Данные из: H. See, "Histoire dconomique de la France," in F.H. Capie, ed., *Major Inflations in History* (Aldershot: Elgar, 1991), p. 11.

589

См.: C. Goodhart, *The Evolution of Central Banks* (Cambridge, MA: MIT Press, 1988), p. 1 —12; и гораздо подробнее: Смит В. Происхождение центральных банков. М.: ИНМЭ, 1990 [1936].

590

О том, как Банк Англии стал контролировать остальные, см.: W. Bagehot, *Lombard Street* (London: Murray, 1927[1873]), p. 280-282.

591

Эти и другие данные см. в: C. Gilbert, *American Financing of World War* (Westport, CT: Greenwood Press, 1977), таблицы 16 (федеральные затраты), 20 (недолговыепоступления), 41 (правительственныезаймы), 62 (денежные запасы) и 76 (индекс прожиточного минимума).

Данные см. в: U.K. Hicks, *British Public Finances, Their Structure and Development, 1880 — 1952* (London: Oxford University Press 1954) p. 12-13.

593

Данные см. в: Hicks, *The Finance of British Government, 1920 — 1936* (Oxford: Clarendon Press, 1970 [1936]), p. 380, table 2.

G.K. Fry, *The Growth of Government* (London: Cass, 1979), p. 193; US Bureau of Census, *Statistics,* pt. 2, p. 1110.

J.K.G. Galbraith, *Money: Whence It Came, Where It Went* (Boston: Houghton Mifflin, 1975), p. 164—182, — этот автор описывает возврат к золотому стандарту под заголовком «ранение, нанесенное самому себе».

См.: E. Cassell, *The Downfall of the Gold Standard* (London: Cass, 1969 [1936]), p. 112-135.

597

Данные взяты из: *Economic Report to the President, 1974* (Washington, DC: Government Printing Office, 1974), p. 324. Аналогичные числовые данные по другим странам можно найти в работе: G. Findlay Shirras, *Federal Finance in Peace and War* (London: Macmillan, 1944), p. 77 (Канада), 149-150 (Австралия), 171-172 (ЮжнаяАфрика) M217ff. (Индия).

Данные по ценам в США можно найти в: *Economic Report to the President, 1975* (Washington, DC: Government Printing Office, 1975).

См.: R.S. Sayers, *Financial Policy, 1939—1945* (London: Longmans, 1956).

См.: A. Milward, *War, Economy and Society, 1939 — 1945* (Berkley: University of California Press, 1977), p. 99ff.

601

Немецкая мобилизация в Первой мировой войне описывается в книге: M. Feldman, *Army, Industry and Labor in Germany, 1914 — 1918* (Providence, RI: Berg, 1993). О Британии см.: S.J. Hurwitz, *Statelntervention in Great Britain: A Study of Economic and Social Response 1914-1919* (London: Columbia University Press, 1949), и о США см.: R.D. Cuff, The *War Industries Board: Business-Government Relations During World War I* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973).

602

См.: N. Stone, *The Eastern Front 1914 — 1917* (London: Hodder and Stoughton, 1975), p. 144-164, 194-211.

603

Анализ коммунистического государства, аналогичный приводимому здесь, см.: Джилас М. Новый класс/ /Джилас М. Лицо тоталитаризма. М.: Новости,1992. С. 159-360.

G. Seldes, Sawdust Caesar: The Untold Story of Mussolini and Fascism (London: Barker, 1936), p. 46.

Немецкий трудовой фронт *(нем.)*. — *Прим. пер.*

О немецком четырехлетнем плане см.: Militargeschichtliches Forschungsamt, ed., *Germany and the Second World War* (Oxford: Clarendon Press, 1990), p. 273—315; обИталиисм.: V. Castronovo, "La strategie du conglomerate: l'6tat banquier et entrepreneur en Italie," *Entrepriseset Historie,* 1, 1992, p. 13—25; L. CevaandA. Curio, "Industrie de guerre et l'etat dans l'imperialisme fasciste des annees 30," *Guerres Mondialeset Conflicts Contemporaines",* 41, 61, 1991, p. 31—50.

607

Меры, предпринятые для поддерживания боевого духа у немецких рабочих, описываются в статье: S. Salter, "Structures of Consensus and Coercion: Workers' Morale and the Maintenance of Work Discipline, 1939—1945," in D. Welch, ed., *Nazi Propaganda* (London: Croom Helm, 1983), p. 88-116.

Оруэлл Дж. 1984//Оруэлл Дж. Избранное. М.: Мир, 1989. С. 51.

M. Roberts, *The Military Revolution* (Belfast: Belfast University Press, 1956); J.S. Levy, *War in the Modern Great Power System* (Lexington, MA: Lexington Books, 1983).

Некоторые цифры, характеризующие размеры европейских армий в последние годы *ancient regime,* см. в работе: Duffy, *The Military Experience in the Age of Reason,* p. 17.

611

Лучшей работой о войне на море в XVIII в. остается книга: Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660—1783. СПб.: АСТ, Terra Fantastica, 2002.

C.L. Saint-Germain, *Memoires de M. le Comte de Saint-Germain* (Amsterdam: Libraries associes, 1799), p. 200; также см. высказывание генерала Джеймса Вольфа, цит. по: J.A. Houlding, *Fit for Service: The Training of the British Army, 1715—1798* (Oxford: Clarendon, 1981), p. 268.

613

О логистике армий XVIII в. см.: M. van Creveld, *Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton* (London: Cambridge University Press, 1978), ch. 1; G. Perjes, "Army Provisioning, Logistics and Strategy During the Second Half of the Seventeenth Century," *Ada Historica Academiae Scientiarum Hungaricae,* 16 (Budapest: Academy of Sciences, 1965).

Некоторые цифры см. в: D. Chandler, *The Art of Warfare in the Age of Marlborough* (London: Batsford, 1976), p. 302-307; Duffy, *The Military Experience in the Age of Reason,* p. 245ff.

615

См. высказывание военного писателя того времени Фридриха Вильгельма фон Цантира в кн.: M. Jahns, *Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland* (Munich: Vorein, 1889 —), bd. Ill, s. 296—297; также см.: M.S. Anderson, *The Rise of Modern Diplomacy, 1450-1919* (London: Longmans, 1993), p. 163-180.

616

Mallet du Pan, цит. по: Nickerson, *The Armed Horde* (New York: Putnam, 1942), p. 91.

Народное ополчение *(франц.). — Прим. пер.*

Английский перевод этого текста см. в кн.: J.F.C. Fuller, *The Conduct of War 1789-1961* (London: Eyre and Spottiswode, 1962), p. 32.

P. Paret, *Clausewitz and the State* (Princeton: Princeton University Press, 1976), p. 130.

I. Wolloch, "Napoleonic Conscription: State Power and Civil Sociey," *Past and Present,* 1986, p. 101-129.

Армейские корпуса *(франц.). — Прим. пер.*

Об этих изменениях и революции в области стратегии, которую они принесли, см.: M. van Creveld, *Command in War,* ch. 2; R. Epstein, *Napoleon 'sLast Victory and the Emergence of Modern War* (Lawrence: University of Kansas Press, 1994), ch. 2.

623

Сражения в сомкнутых боевых порядках *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Литература о преобразовании прусской армии обширна. См.: Гёрлиц В. Германский генеральный штаб. История и структура. 1667 — 1945. М.: Центрполиграф,2005. С. 19-54; D. Showalter, "Retaining Bellona: Prussia and the Institutionalization of the Napoleonic Legacy," *Military Affairs,* April 1980, p. 57-62.

Районы вербовки *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Лейтенант запаса *(нем.)*. — *Прим. пер.*

Военная академия *(нем.). — Прим. пер.*

Гёрлиц. Указ. соч. С. 63-64, 98-100 и др.

629

О битве при Лейпциге и потере Наполеоном управления см.: Vizthum von Echstadt, *Die Hauptquartiere im Herbstfeldzug 1813 aufdem deutschen Kriegsschauplatze* (Berlin: Mittler, 1910).

630

Сравните данные по битвам при Лейпциге (460 000 человек участников, 90 000 человек потерь), Сольферино (240 000 человек участников, 40 000 человек потерь) и Геттисберге (160 000 человек участников, 50 000 человек потерь). Данные из: *Harbottle's Dictionary of Battles* (New York: van Nostrand, 1981, 3rd edn.).

631

Об этих изменениях см.: G. Best, *War and Society in Revolutionary Europe 1789-1870* (London: Fontana, 1982), p. 191-309; J. Gooch, *Armies in Europe* (London: Routledge, 1980), p. 50—80.

По этому вопросу см.: J.M. Winter *War and Economic Progress* (London: Cambridge University Press, 1976).

633

Взаимоотношения между возникновением государства, регулярной армии и рывком в развитии военных технологий никогда не исследовались. Некоторые комментарии см. в: M. van Creveld, "The Rise and Fall of Military Technology," *Science in Context,* 7, 2, 1994, p. 329ff.

J.H. Plumb, The Origins of Political Stability: England 1675-1725 (Boston: Houghton Mifflin, 1967), p. 119.

L. Mumford, The Myth of the Machine (New York: Harcourt, 1970) p. 150-151.

Краткий обзор военно-технического прогресса XIX см.: B. Brodieand F. Brodie, *From Cross Bow to HBomb* (Bloomington: Indiana University Press, 1959), p. 124-171.

A.S. Field, "French Optical Telegraphy, 1793-1855: Hardware, Software, Administration," *Technology and Culture,* 35, 2, 1994, p. 315— 347.

A. Rumeude Armas, "La hmea telegrafica Madrid-Cadiz (1800), primera de Espacay segundade Europe," *Hispania,* 42, 152, 1982, p. 522— 563.

639

Подробное описание см. в работе: D. Showalter, Railroads and Rifles: The Influence of Technological Developments on German Military Thought and Practice, 1815—1865 (Hamden, CT: Archon Books, 1975).

По должности *(лат.). — Прим. научн. ред.*

641

О численности армий 1914 г. см.: H. Kuhl, Der deutsche Generalstab in Vorbereitung und Durchfuehrung der Weltkrieg (Berlin: Mittler, 1920), p. 16, 63, 87, 103.

642

Довоенные цифры взяты из книги: Oberste Heeresleitung, *Taschenbuch fur Offizier der Verkerhrstruppen* (Berlin: Oberste Heeresleitung, 1913), p. 84; данные за 1916 г. — из работы: A. Henniker, *Transportation on the Western Front, 1914-1918* (London: HMSO, 1937), p. 103.

643

См. ниже, глава 6, раздел «Отмирание большой войны», с. 413— 434.

Самая последняя работа, посвященная интеллектуальной биографии Лидделл-Гарта: A. Gat, "The Hidden Sources of Liddel Hart's Ideas," *WarinHistory,* 3, 3, July 1996, p. 293-308.

Молниеносная война *(нем.)*. — *Прим. пер.*

См.: B. Bond, *LiddellHart: A Study of His Military Thought* (London: Cassell, 1976), esp. p. 215ff.

См.: L. Kennet, *The First Air War 1914-1918* (New York: Free Press, 1991).

По преимуществу, типичный *(франц.). — Прим. пер.*

Дуэ Дж. Господство в воздухе. М.:Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003, в частности гл. 1. Хороший обзор межвоенных дискуссий о роли военно-воздушных сил представлен в работе: E. Warner, "Douhet, Mitchell, Seversky. Theories of Air Warfare" in E.M. Earle, eel., *Makers of Modern Strategy* (Princeton: Princeton University Press, 1943), p. 485-503.

E. Ludendorf, *The Nation at War* (London: Hutchinson, 1938), p. 11 — 85.

См.: M. van Creveld, *Airpower and Maneuver Warfare* (Maxwell AFB, AL: Air University Press, 1994), ch. 2.

K.L. Privatsky, "Mobility Versus Sustainability," *Military Review,* 67, 1, 1987, p. 48-61.

653

Самый последний вклад в дискуссию по данному вопросу представлен в статье: R. Overy "World War II: The Bombing of Germany", in A. Stephens, ed. *The Warin the Air 1941 — 1945* (Fairbairn: Air Power Studies Centre, 1995), p. 113-140.

См.: W.H. McNeill, *The Pursuit of Power: Technology, Armed Force and Society Since AD 1000* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1982), p. 170-174.

655

Подробности см. в работе: E. Angelucci, *The Rand McNally Encyclopaedia of Military Aircraft, 1914 to the Present*" (New York: Gallery Books, 1990), p. 185-186.

Лучший обзор Манхэттенского проекта: F. Rhodes, *The Making of the Atomic Bomb* (New York: Simon and Schuster, 1988).

См. рассказ из первых рук в книге: *Now It Can Be Told* (New York: Harper and Row, 1962). [150] Фраза взята из книги: H. de Balzac, *Bureaucracy* (Boston: Roberts, 1898; перевод "Les employees", 1863), p. 84.

Missed fntext

Speer, *Errinerungen,* p. 79.

О Харрингтоне см.: B.I. Cohen "Harrington and Harvey: A Theory of the State Based on the New Physiology," *Journal of the History of Ideas,* 55, 2, 1994, p. 187-210.

См.: R. Briggs, "TheAcademie royaledes sciences and the Pursuitof Utility" *Past and Present,* 131, 1991, p. 38—88; иобгций обзор: P. Carroll, "Science Power, Bodies: The Mobilization of Nature as State Formation," *Journal of Historical Sociology,* 9, 2, 1996, p. 139-167.

A.J. Rieber, "Politics and Technology in Eighteenth-Century Russia," *Science in Context,* 8, 2, 1995, p. 341-368.

M. Merger, "Les chemins de fer italiens: leur construction et leurs effets," *Histoire, EconomieetSociete,* 11, 1, 1992, p. 109-120; B. Mazlish, ed., *The Railroad and the Space Program: An Exploration in Historical Analogy* (Cambridge, MA: MIT Press, 1965), p. 29-30.

См. ниже, гл. 5, «Восточная Европа», с. 326—346.

665

Об истории железных дорог в России см.: V.Y. Larechev, "The Trend 'Towards State Monopoly in Pre-Revolutionary Russia's Railways," *Journal of Transport History,* 6, 2, 1985, p. 37—47; высказывание Ленина приведено по: J. N. Westwood, *A History of Russian Railways* (London: Allen and Unwin, 1964), p. 7.

P. Grisset, "L'etat et les telecommunications internationales au debut du XXe siHcle en France: un monopole sterile," *Histoire, Economie et Sorietd",* 6, 2, 1987, p. 187-207.

667

Данные см. в работе: G. A. Cranfield, *The Press and Society: From CaxIon to Northcliffe* (London: Longman, 1978), p. 139.

Reynolds "Autocratic Journalism: The Case of the St. Petersburg Telegraphic Agency" — *"SlavicReview"*,49, 1, 1990, p. 48—57.

M. Sewell, "'All the English Race is in Mourning': The Assassination of I 'resident Garfield and Anglo-American Relations," *Historical Journal,* 3-1,3, 1991, p. 665-686.

Как таковое *(лат.)*. — *Прим. пер.*

671

Лучший анализ российской патриархальности: R. Pipes, *Russia Underthe Old Regime* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1974), esp. p. 52—54, 69—70, 77—79. [Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. Особ. с. 70—79, а также гл. 2—3.]

Основные положения «Соборного уложения» см. в кн.: R.E.F. Smith, *The Enserfment of the Russian Peasantry* (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), p. 141-152.

Эти и другие данные касательно российского населения см. в: J.P. Le-Donne, *Absolutism and Ruling Class: The Formation of the Russian Political Order 1700-1825* (New York: Oxford University Press, 1991), <h. 2.

Краткий обзор этих реформ см. в: E. V. Anisimov, *The Reforms of Peter the Great: Progress Through Coercion in Russia* (Armonk, NY: Sharpe, 1993), p. 186-193.

675

О создании российской армии см.: R. Hellie, *Enserfment and Military Change in Muscovy* (Chicago: University of Chicago Press, 1971), p. 151ff.

См.: A. V. Muller, ed., *The Spiritual Regulation of Peter the Great* (Seattle: University of Washington Press, 1972). Реформы в целом обсуждаются в работе: J. Cracraft, *The Church Reform of Peter the Great* (London: Macmillan, 1971).

Cm. : G. Marker, *Publishing, Printing and the Origin of Intellectual Life inRussia 1700—1800* (Princeton: Princeton University Press, 1985), p. 77.

Подробнее о сословии купцов или *посадских* см.: J. Michael Hittle, *The Service City: Stateand Townsmen in Russia, 1600—1800* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), p. 97—167.

В силу самого факта *(лат.). — Прим. пер.*

См.: Пайпс. Россия при старом режиме. С. 369—370.

Корпоративный дух *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Великая армия *(франц.). — Прим. пер.*

Первый среди равных *(лат.)*. — *Прим. пер.*

О попытках Екатерины продвинуться в этом направлении см.: M.Raeff, The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change Through Law in the Germanies and Russia, 1600 —1800 (New Haven, CT: Yale University Press, 1983), p. 235ff.

См.: A.B. Ulam, *Russia's Failed Revolution: From the Decembrists to IheDissidents* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1981), p. 3—65.

В 1830-е годы в России на 1000 жителей приходилось 1,3 чиновника, it Великобритании — 4,1, во Франции — 4,8. S. Frederick Starr, *Decentralization and Self-Government in Russia, 1830 — 1870* (Princeton: Princeton University Press, 1972), p. 48.

Цит. по: Lincoln, *Nicholas I,* p. 52.

По должности *(лат.). — Прим. научн. ред.*

Адъютанты *(франц.). — Прим. пер.*

H. van der Wee, De economische ontwikkeling van Europa 950—1950 (Louvain: Acco, 1950), p. 133.

691

Подсчеты основаны на данных из работы: P. Kennedy, ТЪе Rise and Fall of the Great Powers (New York: Vintage Books, 1987), p. 171, табл. 9. Подробнее об экономической ситуации в России по сравнению с другими державами этого периода, см.: ibid., p. 149, табл. 6 и 7.

Подробнее см. в: J. Blackwell, *The Beginnings of Russian Industrialization* (Princeton: Princeton University Press, 1968).

См. подробнее: J.S. Curtis, *Russia's Crimean War* (Durham, NC: Duke University Press, 1979).

См.: J.G. Eisen and G.H. Markel, "The Question of Serfdom: Catherine II, the Russian Debate and the View from the Baltic Periphery," in R. Bartlett, ed., *Russia and the Enlightenment* (London: Macmillan, 1990), p. 125-142.

695

Об истоках реформ, которые привели к освобождению крепостных крестьян, см.: Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М.: Просвещение, 1968. С. 7—62.

Немецкое земельное право *(нем.). — Прим.. пер.*

Об этих и других аспектах правительственного произвола в России в этот период см.: R. Hinsley, The Russian Secret Police (New York: Hutchinson, 1970).

Данные взяты из книги: E.H. Carr, *The Russian Revolution* (New York: Grosset and Dunlap, 1965), vol. I, p. 15

699

О связи между государством и российской промышленностью в этот период см.: L. Kochan, *The Making of Modern Russia* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1965), p. 155-157.

О развитии интеллигенции см.: D. Mueller, *Intelligentcija: Untersuchungen zur Geschichte eines politisches Shlagwortes* (Frankfurt am Main: Roediger, 1971).

См.: A. Gleason, *European and Muscovite: Ivan Kireevskii and the Origins of Slavophilism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972), esp. ch. 9.

Цит. по: Ulam, Russia's Failed Revolutions, p. 123.

Краткую историю этих лет см. в работе: W. Bruce Lincoln, In War's Dark Shadow: Иге Russians Before the Great War (New York: Simon and Schuster, 1983).

О том, как это было достигнуто, см.: A. Wyczanski "The System of Power in Poland, 1370—1648," inA. Maczak, etal., eds. *East-Central Europe in Transition: From the Fourteenth to the Seventeenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 140—152.

Золотая свобода *(лат.). — Прим. пер.*

Никаких новшеств *(лат.)*. — *Прим. пер.*

Подробная история *liberum veto* см. в: *The Cambridge Medieval History* (New York: Macmillan, 1971.),vol. VIII, p. 566-567; *The Cambridge History of Poland* (New York: Octagon, 1971—), vol. I, p. 193.

708

Цит. по: C S. Leach, ed. *Memoirs of the Polish Baroque: The Writings of Jan Cryszostom Pasek, a Squire of the Commonwealth of Poland andLithuania* (Berkley: University of California Press, 1976), p. 213 — описание Сейма, созванного для выборов короля в 1609 г.

J. H. Elliott, *Europe Divided, 1559-1598* (London: Fontana, 1968), esp. p. 43—50.

Перевалочный пункт *(франц.)*. — *Прим. пер.*

См.: M. Bogucka "The Towns of East-Central Europe from the Fourteenth to the Seventeenth Century" in Maczak, et. al., *East Central Europe in Transition,* p. 97—108.

712

См. описание «поляков» в кн.: H.B. *ĭlemingDer vollkommene Deutche Soldat* (Leipzig: the author, 1726), vol. I, p. 41; E. Wimmer "L'infanterie polonaise aux XV—XVIII siecles," in W. Biegansky, et.al, eds. *Histoire militaire de Pologne: problemes choisis* (Warsaw: Edition du Ministre de la defense nationale, 1970).

713

Некоторые данные см. в работе: E. Fuegedi "The Demographic Landscape of East-Central Europe," in Maczac, et.al., *East-Central Europe in Transition,* p. 57.

В общей сложности *(лат.). — Прим. пер.*

715

Численные данные и цитата приводятся по работе: J. Lukowski, *Liberty's Folly: The Polish-Lithuanian Commonwealth in the Eighteenth Century 1697-1795* (London: Routledge, 1991), p. 34.

716

Об офицерской школе см.: E. Malicz, "Die Rolle des gebildeten Offiziers im Europa ds 18JAhrhunderts: die Polnische Ritterakademie in denjahren 1765-1794", *Zeitschrift fiir Ostforschung,* 38, 1, 1989, p. 82-94.

Обе цитаты см. в: Lukowsky, *Liberty's Folly,* p. 253.

Vinland Saga (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1965), p. 61 note 1.

Краткий обзор см. в работе: M. A. Jones, *American Migration* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), ch. 1.

Заново *(лат.). — Прим. пер.*

721

О военных претензиях американцев того времени см.: D. Higginbotham, "The Military Institutions of Colonial America: the Rhetoric and the Reality," in Lynn, *The Tools of War,* p. 131-154.

Из ничего *(лат.). — Прим. пер.*

723

См., напр.: Токвиль А. де. Демография в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 43-44, 52-53.

См.: Hamilton's Report on Public Credit, 9 January 1790, reprinted in G.R. Taylor, ed., Hamilton and the National Debt (Boston: Heath, 1950), p. 8-18.

Решения суда перепечатаны в книге: S .1. Kutler, ed., *John Marshall* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972), p. 54-61, 61-63, 84-88.

H. Mackinder, *The Scope and Method of Geography and the Geographical Pivot of History* (London: Royal Geographical Society, 1951 [1904]), p. 30ff.

R.W. Fogel, *Railroads and America's Economic Growth: An Econometric Inquiry* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1964).

R. W. Fogel and S. L. Engerman, *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery* (New York: Norton, 1974).

Данные из: *Encyclopaedia Britannica* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), vol. XXIX, p. 242, «United States».

Данные см. в статье: H.C. Hilman "Comparative Strength of the Great Powers" in A. Toynbee, ed., *The 'World in March 1939* (London: Royal Institute of International Affairs, 1952),p. 439.

Завершение экспансии на запад североамериканского континента. — *Прим.научн. ред.*

Хороший обзор идей Тернера см. прежде всего в кн.: R.A. Billington, *The Frontier Thesis* (Huntington, NY: Krieger, 1966).

Об отношении националистов к войне до 1914 см.: M. Howard, *The Causes of War* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), p. 23ff.

Хороший обзор возникновения американского империализма: Хофстедтер Р. Американская политическия традиция и ее создатели. М.: Наука, СП «Квадрат», 1992. Гл. 9.

См.: KJ. Hagan, *This People's Navy: A History ofAmerican Sea Power* (New York: Free Press, 1991), ch. 9.

О попытках расширить армию США в эти годы и об их провале см.: S. Skowronek, *Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877—1920* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), p. 85-120.

Данные по США взяты из работы: B. Porter, War and the Rise of the State: The Military Foundation of Modern Politics (New York: Free Press, 1993), p. 271; европейские данные: P. Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1915—1975 (Frankfurt am Main: Campus, 1983), vol. I, ch. 5.

Наравне *(лат.)*. — *Прим. пер.*

739

Об уроках, которые Британия извлекла из событий 1776—1783 гг., см.: A. L. Burt, *The British Empire and Commonwealth from the American Revolution* (Boston: Heath, 1956), p. 56ff.

Об образе жизни буров в эти годы см.: C.W. de Kiewit, *A History of South Africa, Social and Economic* (Oxford: Oxford University Press, 1941), p. 19ff.

См.: N.M. Stultz, Afrikaner Politics in South Africa, 1934 — 1948 (Berkley: University of California Press, 1974).

См.: B.R. Bunting, The Rise of the South African Reich (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1969).

Общие данные о народонаселении см. в: A. Rosenblat, La poblacion indigena de America dese 1492 hasta la actualidad" (Buenos Aires: Editorial Nova, 1954), а также: W. Borah, The Aboriginal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conques" (Berkley: University of California Press, 1963). Данные о соотношении белого и аборигенного населения в Мексике можно найти в: W. Borah, New Spain's Century of Depression (Berkley: University of California Press, 1951),p. 18.

Вместе, скопом *(лат.). — Прим. научн. ред.*

Командорство, владения командора, энкомьенда *(исп.)*. — *Прим. пер.*

О ранней истории encomienda см.: B. Simpson, The Encomienda in New Spain: The Beginning of Spanish Mexico (Berkley: University of California Press, 1966).

Совет по делам Вест-Индии *(исп.). — Прим. научн. ред.*

Повинность *(исп.). — Прим. пер.*

Свидетельство из первых рук об этой системе см. в: J. Juan and A. de Ulloa, *Discourse and Political Reflections on the Kingdoms of Peru* (Tulsa: University of Oklahoma Press, 1978), p. 77ff.

Поместья, фермы (глеи.). — *Прим. пер.*

См. краткий обзор основных институтов в: E.G. Bourne, *Spain in America, 1450-1580 (NewYork:* Barnes and Noble, 1962), p. 227ff.

Совет *(исп.)*. — *Прим. пер.*

753

Коррехидоры — администраторы и судьи в провинциях *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Поселения *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Суд *(исп.). — Прим. пер.*

Техидор, член муниципального совета *(исп.). — Прим. пер.*

U. Schmidel, *Derrotero y viaje Espaca y las Indias,* E. Warnicke, ed. (Asuncion, Paraguay Ediciones NAPA, 1983), p. 113.

Метис *(исп.). — Прим. пер.*

Два таких каталога см. в: M. Moerner, *Race Mixture in History of Latin America* (Boston: Little, Brown, 1967), p. 57—58.

Recopilacion de Leyes de los Reinos de las Indias (Madrid: Paredes, 1668), книга vi, раздел iii, статьи 21—23.

Кастовый режим *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Недавно прибывшие в страну *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Мулаты *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Идальго, дворянин *(исп.)*. — *Прим. пер.*

765

Субделегаты, заместители полномочных представителей *(исп.). — Прим. пер.*

A. von Humboldt, *Political Essay on the Kingdom of New Spain* (Norman: University of Oklahoma, 1988), vol. I, p. 198.

См.: V. Vives, ed., *Historia social y economica de Espaca y America* (Barcelona: Teide, 1957.), vol. V.

Договорная палата *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Значимые люди *(исп.)*. — *Прим. пер.*

Об этом эпизоде см.: Rosenblat, *La poblaci'n indigena,* vol. II, p. 155.

771

Обращение С. Боливара к Конгрессу Ангостуры, опубликованное в: *Selected Writings of Bolivar*. H. A. Bierck, ed. (New York: Colonial Press, 1951), vol. I, p. 175-176.

Табунщики, гаучо *(исп.). — Прим. ред.*

773

Оценка приводится по: S. J. Stanley and B. H. Stein, *The Colonial Heritage of Latin America* (New York: Oxford University Press, 1988) p. 32ff.

Обсуждение двух партий и их отличий см. в кн.: D. Bushell and N. Macaulay, *The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century* (New York: Oxford University Press, 1988), p. 32ff.

Об истоках чилийской политики см.: F.J. Moreno, *Legitimacy and Stability in Latin America: A Study of Chilean Political Culture* (New York: State University of New York Press, 1969), ch. 4; S. Collier, "From Independence go the War of the Pacific," in L. Tethell, ed. *Chile Since Independence* (London: Cambridge University Press, 1993), p. 1 — 32.

Краткую типологию *caudillos* см. в: G.I. Blankenstein, *Constitutions and Caudillos* "(Berkley: University of California Press, 1951), p. 34—37; и гораздо подробнее — J. Lynch, *Caudillos in Spanish America, 1800-1850* (Oxford: Clarendon, 1992)

777

Руководящие коллегиальные органы, хунты *(исп.)*. — *Прим.. ред.*

J.H. Parry, *The Spanish Seaborne Empire* (New York: Knopf, 1966), p. 307ff.

О появлении неоколониальной экономики см.: C. Furtado, *The Economic Development ofLatin America* (New York: Cambridge University Press, 1970); Stanley and Stein, *Colonial Heritage of Latin America,* ch. 5.

Власть каудильо, главаря *(исп.)*. — *Прим. пер.*

781

О развитии вооруженных сил в Латинской Америке в этот период см.: J. J. Johnson, *the Military and Society in Latin America* (New York: Praeger, 1976), ch. 3,4.

782

Данные приводятся по: *Britannica Book of the Year, 1993* (Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1993), p. 552, 571, 583, 670.

Типологию латиноамериканских военных переворотов см. в: E. Liuwen, *Arms and Politics in Latin America* (New York: Praeger, 1967), p. 132ff.

См. анализ рассматриваемого периода в кн.: T.E. Skidmore, *The Politics of Military Rule in Brazil* (New York: Oxford University Press, 1988).

Оптимистический взгляд на будущее Латинской Америки: L. Diamond, etal., eds. *Democracy in Developing Countries: Latin America,* vol. IV (Boulder: Rienner, 1989); O. Gonzalez Casanova *Latin America Today* (Tokyo: United Nations University, 1993).

Данные приводятся по: *Encyclopaedia Britannica* (London: Encyclopaedia Britannica, 1956); *Britannica Book of the Year,* 1993.

J. M. Schmitt and D.D. Burks, *Evolution or Chaos: Dynamics of Latin America Government and Politics* (New York: Praeger, 1963), p. 95ff.

Жалкие деревни *(исп.). — Прим. пер.*

Подсчеты проведены по данным, содержащимся в работе: B. Klein and M. Wasserman, *A History of Latin America* (Boston: Houghton Mifflin, 1988), app., tables 1 и 3.

См.: M. Edel and R.E. Hullman, eds. *Cities in Crisis: The Urban Challenge in the Americas* (New York: University of New York Press, 1989).

791

Цитата из заключительной главы кн.: E. Cardoso и A. Fishlow "Latin American Economic Development, 1950—1980," *Journal of Latin American Studies,* 24, 1992, app., p. 197—219.

См. данные в кн.: Economic Commission for Latin America and the Caribbean, *Yearbook for Latin America* (New York: United Nations, 1984). В начале 90-х годов в условиях бедности жило на 3% *больше* латиноамериканского населения, чем десять лет назад: A. F. Lowenthal, "Latin America: Ready for Partnership?" *Foreign Affairs,* 72, Winter 1992-1993, p. 85.

См. последнюю работу: G. B. Demarest, "The Overlap of Military and Police Representatives in Latin America," *Low Intensity Conflict and Law Enforcement,* 4, 2, Fall 1995, p. 237-253.

Selected Writings of Bolivar, vol. II, p. 724.

C. R. Boxer, *Four Centuries of Portuguese Expansion* (Johannesburg: Witwatersrand University Press, 1961), ch. 1.

C.R. Boxer, *The Dutch Seaborne Empire* (London: Hutchinson, 1965), p. 22ff.

См.: CM. Cipolla, Guns, Sails, and Empires: Technological Innovation in the Early Phases of European Expansion, 1400 — 1700 (New York: Pantheon, 1965).

798

Соглашение между Ост-Индской компанией и маратхами, цит. по: M. Edwards, *Asia in the European Age, 1498 —1955* (New York: Praeger, 1961), p. 34.

О роли, которую играли все эти технологии, см.: D.R. Headrick, *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century* (New York: Oxford University Press, 1981).

О бельгийской модели см.: C. Young, *Politics in the Congo* (Princeton: Princeton University Press, 1965).

801

Об установлении бельгийского правления в Конго см.: T. Pakenham, *The Scramble for Africa, 1876-1912* (New York: Random House, 1991), ch. 1, 14, 32, 37.

См.: "The Congo Report" in P. Singleton-Gates and M. Girodisas, eds., *The Black Diaries of Roger Casement(New* York: Grove Press, 1959), p. 118.

Тяжелая работа, повинность *(франц.)*. — *Прим. пер.*

Двойственный мандат в британской тропической Африке *(англ.). — Прим. пер.*

805

Типичный пример того, как это делалось: "Niger Company's blank treaty," in L. L. Snyder, ed. *The Imperialism Reader* (Princeton: van Nostrand, 1962), p. 61-62.

См. прежде всего: L. Pyenson, *Civilizing Mission, Exact Science and French Expansion, 1870—1940* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1993).

807

Цит. по: C.W. Dilke, *Greater Britain: A Record of Travel in English-Speaking Countries* (London: Macmillan, 1868), vol. II, p. 405; M.J. Bonn "Imperialism" in *Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: Macmillan, 1932), vol. IV, p. 610.

J. Smuts, The League of Nations: A Practical Proposal (New York: The Nation, 1918).

809

Дебаты по этому вопросу см. в: Ленин В.И. О праве наций на самоопределение/ /Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 255—320; W. Connor "The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy" (Princeton: Princeton University Press, 1984), p. 40ff.

810

По данному вопросу см. подробнее: R. Pipes, *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917—1923* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964), p. 41-49, 242-293.

Cm.:J. Gottmann, "Bugeaud, Gallieni,Lyautey:TheDevelopmentofFrench Colonial Warfare," in Earle, *Makers of Modern Strategy,* p. 249ff.

См.: R. F. Holland, *European Decolonization 1918 — 1981: An Introductory Survey* (NewYork: St. Martin's 1985), ch. 2.

О культурных традициях, стоящих за этим феноменом, см.: L.W. Pye, *Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority* (Cambridge, MA: Belknap, 1985), ch. 21-29.

Оптимистический взгляд на будущее Китая см. в: B.B. Conable, Jr. and D. M. Lampton, "China: The Coming Power", *Foreign Affairs,* 72, 5, Winter 1992—1993, p. 137—149; пессимистический взгляд см. в: G. Segal, "China's Changing Shape," *Foreign Affairs,* 73, 3, May-June 1994, p. 43-58.

815

Обсуждение этнических проблем в Африке представлено в частности в работе: B. Neuberger, *National Self-Determination in Postcolonial Africa* (Boulder: Rienner, 1986), p. 14-15, 25ff., 34-36, 55-56.

Economist World Atlas and Almanac (London: The Economist, 1989) p. 293.

K. Manogue, *Nationalism* (London: Batsford, 1967), p. 13.

818

P.J. Yearwood, "In a Casual Way with a Blue Pencil: British Policy and the Partition of Kamerun, 1918—1919," *Canadian Review of African Studies,* 27, 2, 1993, p. 214-218.

819

О попытках правительства решить эту проблему в эпоху апартеида см.: B. B. Brown, "Facing the 'Black Peril': The Politics of Population Control in South Africa," *Journal of South African Studies,* 13, 2, 1987, p. 256-273.

См.: N. Chazan, et al., *Politics and Society in Contemporary Africa* (Boulder: Rienner, 1992), p. 77-82, 94-97.

821

Cm.:J.M. Mbaku, "BureaucraticCorruptionandPolicyReforminAfrica," *Journal of Social, Political, and Economic Studies,* 19, 2, Summer 1994, p. 149-175.

Классический обзор: E. N. Luttwak, *Coup d'Etat: A Practical Handbook* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1969).

См.: S. Kaviraj, "The Crisis of the Nation State in India," *Political Studies,* 42, 1994, p. 115-129.

S. Peres, *The New Middle East* (New York: Holt, 1993).

О тяжелом положении в этих государствах см.: R. Kaplan, "The Coming Anarchy," *Atlantic Monthly*, February 1994, p. 44—76.

См.: R. Jackson, *Quasi-States* (London: Cambridge University Press, 1990); B. Davidson, *The Black Man's Burden: Africa and the Curseof the Nation State* (London: James Currey, 1992).

827

Об авторитарной традиции в японской политической культуре см. в частности: K. VanWolferen, *The Enigma of Japanese Power* (New York: Vintage Books, 1990).

828

По данным Всемирного банка в период с 1970 по 1990 г. разрыв по показателю дохода на душу населения между богатыми и бедными странами увеличился с 14,5:1 до 24:1 *(World Tables 1991* (Baltimore: World Bank, 1991), table 1).

829

Статистика неуспеха представлена в работе: M. Meranghiz and L. A. Mennerik, "World-Wide Education Expansion from 1950 to 1980: The Failure of Expansion of Schooling in Developing Countries," *Journal of Developing Areas,* 22, 3, p. 338—358.

Отца и сына *(франц.)*. — *Прим. пер.*

831

См.: M. Godfrey, "A Short Account of the Bank of England" (1695) in M. Collins, *Central Banking in History* (Aldershot: Elgar, 1993), vol. I, p. 3-10.

См.: Мартин ван Кревельд, *Трансформация войны,* гл. 6; J. Keegan, *A History of Warfare* (London: Hodder Stoughton, 1993), pt. 2. Недавний обзор многочисленных работ по этому вопросу: J. M. G. van der Dennen, *The Origin of War: The Evolution of a Male-Conditional Reproductive Strategy* (Groningen: Origin Press, 1995), 2 vols.

Смысл существования *(франц.). — Прим. пер.*

См. прежде всего: T. S. Schelling, *Arms and Influence* (New Haven, CT: Yale University Press, 1966), ch. 1.

B. Brodie, et al., *The Absolute Weapons* (New York: Columbia University Press, 1946), ch. 1; Brodie, "The Atom Bomb as Policy Maker," *Foreign Affairs,* 27, 1, October 1948, p. 1-16.

Лучшей историей ядерной «стратегии» остается работа: L. Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy* (New York: St. Martin's Press, 1981).

837

См., напр. :J.F.C. Fuller, *The Conduct of War* (London: Eyre and Spottiswod, 1961), p. 321 ff.

P.M.S. Blackett, *The Military and Political Consequences of Atomic Energy* (London: Turnstile Press, 1948), ch. 10.

839

Одно из недавних исследований, посвященных овладению СССР ядерным оружием: D. Holloway, *Stalin and the Bomb* (New Haven, CT: Yale University Press, 1994).

840

См. подсчеты в работе: A. Enthoven, *How Much Is Enough ?: Shaping the Defense Budget, 1961 — 1969* (New York: Harper and Row, 1971).

Об этих системах см.: P. Bracken, *The Command and Control of Nuclear Forces* (New Haven, CT: Yale University Press, 1983).

842

H.A. Kissenger. *Nuclear Weapons and Foreign Policy: The Need for Choice* (New York: Harper and Row, 1957), p. 174-183.

843

Об этих доктринах, которые ради краткости были сведены вместе, см., напр.: R. van Cleave and R.W. Barnett, "Strategic Adaptability," *Orbis,* 18, 3, Autumn 1974, p. 655—676; L. Etherige-Davis, *Limited Nuclear Options: Deterrence and the New American Doctrine* (Adelphi Paper № 121, Winter 1975—1976; London: International Institute for Strategic Studies, 1976).

C. S. Gray, "War Fighting for Deterrence ", *Journal of Strategic Studies,* 7, March 1984, p. 5-28.

См.: I.V.Clark, *Voices Prophesizing War* (Harmondsworth, UK: Penguin, 1963), ch. 5.

См. недавнее исследование: T. Rauf, "Disarmament and Non-Proliferation Treaties," in G.A. Wood and L.S. Lenland, Jr., eds., *State and Sovereignty: Is the State in Retreat?* (Dunedin: University of Otago Press, 1997), p. 142-188.

847

См., напр.: *Public Opinion Quarterly,* 14, Spring 1950, p. 182 (советская бомба); R. Ducci, "The World Order in the Sixties," *Foreign Affairs,* 43, 3, April 1964, p. 379—390 (китайская бомба); A. Myrdal, "The High Price of Nuclear Arms Monopoly," *Foreign Policy,* 18, Spring 1975, p. 30—43 (индийская бомба).

Более подробное обсуждение отмирания межгосударственной войны, начиная с 1945 г. см. в: M. van Creveld, *Nuclear Proliferation and the Future Conflict* (New York: Free Press, 1993), ch. 1; E. Luard, *The Blunted Sword: The Erosion of Military Power in Modern World Politics* (London: Tauris, 1988).

849

The International Institute of Military Studies в своей публикации *The Military Balance, 1994-1995* (London: IISS, 1995) дает обзор вооруженных сил, существующих в настоящий момент, по каждой стране.

850

Данные по Второй мировой войне взяты из кн.: R. Overy, *The Air War 1939-1945* (London: Europa, 1980), p. 308-309; данные на 1995 г. взяты из статьи: D.M. Snider, "The Coming Defense Train Wreck," *Washington Quarterly,* 19, 1, Winter 1996, p. 92.

851

Лучшим анализом ценовых тенденций остается кн.: F. Spinney, *Defense Facts of Life* (Boulder, Westview, 1986).

852

BBC World Service, телепередача от 25 февраля 1998 г.

До греческих календ; до скончания веков *(лат.)*. — *Прим. пер.*

Некоторые расчеты в этой области см. в: N. Brown, *The Future of Air Power* (New York: Holmes and Meier, 1986), p. 88; J.A. Warden, III, "Air Theory for the Twenty-First Century" in K.M. Magyar, ed., *Challenge and Response: Anticipating US Military Security Concerns* (Maxwell AFB, AL: Air University Press, 1994), p. 313, 328; D.T. Kuehl, "Airpower vs. Electricity: Electric Power as a Target for Strategic Air Operations," *Journal of Strategic Studies,* 18, 1, March 1995, p. 250-260.

Cm. M. van Creveld, *Technology and War: From 2000 BC to the Present* (New York: Free Press, 1988), ch. 9, 11.

О роли ядерного оружия в арабо-израильском конфликте см.: S. Aronson, *The Politics and Strategy of Nuclear Weapons in the Middle East* (Albany: State University of New York Press, 1992).

857

Об идущем конфликте на Сиачене см.: A.S. Wirsing "The Siachen Glacier Dispute," pt. 1— 3, *Strategic Studies,* 10, 1, Autumn 1987, p. 49— 66; 11,3, Spring 1988, p. 75-94; 12, 1, Autumn 1988, p. 38-54.

См., напр.: A.A. Sidorenko, *The Offensive* (United States Air Force translation, Washington, DC: Government Printing Office, n.d.). [Сидоренко А.А. Наступление. М.: Воениздат, 1970.].

859

B.H. Liddell Hart, *The Decisive Wars of History* (London: Faber and Faber, 1929), переиздано как *Strategy: The Indirect Approach* в 1946 и 1954 гг., как "Strategy" в 1967 и 1991 гг.

860

См. прежде всего: N. Browne, *Strategic Mobility* (London: Praeger, 1963); R. Simpkin, *Race to the Swift* (London: Pergamon Press, 1985).

Реванш *(франц.). — Прим. пер.*

862

O. von Bismarck, *Reflections and Reminiscences* (London: Smith, 1898), Vol. II, p. 252. [См.: Бисмарк О. фон. Мысли и воспоминания. М.: ОГИЗ, 1940.]

863

О дальнейшем см.: F. Przetacznik, "The Illegality of the Concept of Just War Under Contemporary International Law," *Revue de Droit International, des Sciences Diplomatiques et Politiques,* 70, 4, October-December 1993, p. 254-294.

Об этих и других попытках создания международной организации см.: A. Saita, "Un riformatore pacifista contemporaneo de Richelieu: E. Cruce," *Rivista Storica Italiana,* 64, 1951, p. 183-192; W. Penn, *An Essay Towards the Present and Future Peace of Europe* (Hidesheim: Olms, 1983 [1699]); Abbe de Saint Pierre, *A Scheme for Lasting Peace in Europe* (London: Peace Book, 1939 [1739]); O. Schreker "Leibnitz: sesidees surl'organisationderelations internationals," *Proceedings of the British Academy,* 23, 1937, p. 218—219; Кант И. К вечному миру//Кант И. Соч. В 6-и т. М.: Мысль, 1966. Т. 6.); J. Lorimer, *The Institutes of the Law of Nations* (Edinburgh: Blackwood, 1883— 1884), ch. 14; J.G. Bluntschli, *Gesammelte kleine Schriften* (Nordlingen: Beck'sche Buchhandlung, 1879-1881), vil. II, p. 293-295.

Об этом см.: Przetacznik, "Illegality of the Concept of Just War".

866

Г. Гроций, О праве войны и мира. М.: НИЦ «Ладомир», 1994. II, XXIII, XIII; I, III, I.

См. G. Best, *War and Law Since 1945* (Oxford: Clarendon Press, 1991),p. 181-182.

Здесь: основанным на придании закону обратной силы. — *Прим. научн. ред.*

869

О двух попытках решить этот вопрос см.: Y. Melzer, *Just War* (Leiden: Sijthoff, 1975), p. 83ff; I.D. de Lupis, *The Law of War* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 58ff.

Относящиеся к этому вопросу параграфы перепечатаны в книге: S.D. Bailey, *Prohibitions and Restraints on War* (London: Oxford University Press, 1972), app. l,p. 162.

Ранее существовавшее положение *(лат.)*. — *Прим. пер.*

H. Lauterpacht, *International Law: A Treatise* (London: Longmans, 1947).

См.: G. Picco, "The UN and the Use of Force," *Foreign Affairs,* 73, 5, September-October 1994, p. 14—18; и общий обзор: A. Roberts, "The United Nations: A System for Collective Internationa] Security?" in G.A.S.C. Wilson, ed., *British Security 2010* (Camberley Staff College: Strategic and Combat Studies Institute, 1996), p. 65—68.

См.: M. Kaldor, *New Wars for Old* (London: Pergamon, 1998), p. 13-30; раздел «Угроза внутреннему порядку» настоящей главы.

Цит. по: P. Wilensky, *Public Power and Public Administration* (Sydney: Hale and Ironmonger, 1986), p. 20.

Краткий экономический анализ факторов, стоящих за расширением влияния государства в период после 1945 г., см.: A. Peacock, *The Economic Analysis of Government and Related Themes* (Oxford: Robertson, 1979), p. 105-117.

877

См. о Великобритании: Хобсбаум Э. Век империи, 1875—1914. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 275.

О том, как и где проявилось влияние Кейнса, см.: P. WeirandT. Skocpol, " State Structures and the Possibilities for Keynesian Responses to the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States," in P.B. Evans, et al., eds., *Bringing the State back in* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 107-186.

879

Данные взяты из работы: H. van der Wee, *Prosperity and Upheaval* (New York: Viking), 1986, p. 307.

G.L. Reid and K. Allen, *Nationalized Industries* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1970), p. 14—15.

881

О французской национализации в этот период см.: A.H. Hanson, ed. *Public Enterprise: A Study of Its Organization and Management in Various Countries* (Brussels: International Institute of Administrative Sciences, 1955), p. 201—224; J.P. van Ouderhoven, "Privatization in Europe," in K.K. Finley, *Public Sector Privatization: Alternative Approaches to Service Delivery* (New York: Quorum Books, 1989), p. 168ff.

Дополнительные данные об экспансии государственного сектора экономики в Мексике см.: O. Humberto Vera Ferrer, "The Political Economy of Privatization in Mexico," in W. Glade, ed., *Privatization of Public Enterprise in Latin America* (SanFrancisco: ICS Press. 1991), p. 35—58.

US Embassy, Cairo, *Egyptian Economic Trends,* occasional publication, March 1989, p. 8.

См. в частности: J. K. Galbraith, *The Affluent Society* (Boston: Houghton Mifflin, 1959), а также: M. Harrington, *The Other America: Poverty in the United States* (New York: Collier, 1962).

885

Данные взяты из работ: G.K. Fry, *The Growth of Government* (London: Cass, 1979), p. 32; R. Higgs, *Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government* (New York: Oxford University Press, 1987), p. 22—23; R.A. Freeman, *The Growth of American Government: A Morphology of the Welfare State* (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1975), p. 35.

886

Данные взяты из работы: A. Milward, *The European Rescue of the Nation State* (London: Routledge, 1992), p. 35. Данные по другим странам см. в: P. Flora and A.J. Heidenheimer, eds., *The Development of Welfare States in Europe and America* (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1981), p. 319.

N. Gilbert, *Capitalism and the Welfare State* (New Haven, CT: Yale University Press, 1981), table 7.2.

Краткий обзор влияния «кризиса» на международную экономику см. в: W.M. Scammell, *The International Economy Since 1945* (London: Macmillan, 1983), p. 193ff.

889

Данные по Европе см. в: Milward, *The European Rescue of the National State,* p. 30; по США см.: *Monthly Labor Review,* 103, 2, February 1980, p. 75.

J. Logue, "The Welfare State: Victim of its Success," in S.R. Graubard, ed., *ΠeState* (New York: Norton, 1979), p. 69-88; M. Dogan, "The Social Security Crisis in the Richest Countries: Basic Analogies," *International Social Science Journal,* 37, 1, 1985, p. 47—61.

891

R. Tylewski and M. Opp de Hipt, *Die Bundesrepublik Deutschland in Zahlen 1945/49-1980* (Munich: Beck, 1987), p. 38; по Британии см. данные по тому же периоду в: A.F. Stiletto, *Britain in Figures: A Handbook of Social Statistics* (Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1971),p. 31.

Некоторые цифры см. в статье: C. W. Higgins, «American Health Care and the Economics of Change," in Finley, *Public Sector Privatization,* pp. 96ff.

893

Tylewski and Opp de Hipt, *Die Bundesrepublik in Zahlen,* p. 183 — 184.

Данные по США см. в: Freeman, *The Growth of American Government,* p. 11; данные по некоторым другим странам см. в: L. Bryson, *Welfare and the State: Who Benefits?* (London: Macmillan, 1992), p. 193.

J. Logue, "Will Success Spoilthe Welfare State?" *Dissent,* Winter 1985, p. 97.

Flora and Heidenheimer, *The Development of Welfare States,* p. 1,67.

Gilbert, *Capitalism and the Welfare State,* p. 52—54; J.L. Clayton, *On the Brink: Defense, Deficits and Welfare Spending* (New York: National Strategy Information Center, 1984), p. 101.

Данные по 1980 г. см. в: N. Ginsburg, *Divisions of Welfare* (London: Sage, 1992), p. 199.

D. Cameron, "On the Limits of the Public Economy," *Annals,* January 1982, p. 46.

900

Данные по инфляции в Швейцарии и других странах приводятся по

кн.: Scammell, *The International Economy Since 1945, p.* 216.

901

S.B. Seward, *The Future of Social Welfare Systems in Canada and the UK* (Halifax, Nova Scotia: Institute for Research on Public Policy, 1987), p. 63.

См.: W. Thorsell, Canada Counts the Cost," in *The World in 1996* (London: The Economist, 1996), p. 67.

903

Инаугурационные речи президентов США. М.: Издательский дом «Стратегия», 2001. С. 467.

E.E. Berkowitz and K. McQuaid, *Creating the Welfare State: The Political Economy of Twentieth-Century Reform* (Lawrence: University of Kansas Press, 1992), p. 207-208.

Cm. Flora and Heidenheimer, *The Development of Welfare States,* p. 202—204; M. Schnitzer, *Income Distribution: A Comparative Study of the United Stales, Sweden, West Germany, East Germany and the UK* (New York: Praeger, 1972); A.B. Atkinson, *Poverty and Social Security* (New York: Harvester Wheatsheaf, 1989), p. 48ff; J. A. Pechman, *Tire Rich, The Poor, and the Taxes They Pay* (Boulder: Westview Press 1986), p. 19-30.

Seward, The Future of Welfare Systems, p. 214, 218.

The Economist, 11 September 1993.

Congressional Budget Office, US House of Representatives, Ways and Means Committee "The Changing Distribution of Federal Taxes, 1977 — 1990," February 1987; "Tax Progressivity and Income Distribution", 26 March 1990.

См.: E.B. Kapstein "Workers and the World Economy," *Foreign Affairs,* 73, 3, May/June 1996, p. 16-17.

По Соединенным Штатам см.: R.B. Freeman and L.F. Katz, eds., *Differences and Changes in Wage Structures* (Chicago: University of Chicago Press, 1995); о подобных изменениях, проходивших в Германии как крупнейшей стране ЕС, см. *Der Spiegel,* 39, 1997, p. 96ff.

Доступное перечисление идей Хайека: C. Nishiyama and K.L. Leube, eds. *The Essence of Hayek* (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1984).

См. удобный краткий обзор в сб.: P.J. Miller, ed., *The Rational Expectations Revolutions* (Cambridge, MA: MIT Press, 1994). Я хочу поблагодарить профессора Х. Баркай экономического факультета Еврейского Университета за ключ к последним вывертам экономической теории.

913

См. напр.: R.L. Greenfield andL.B. Yeager, "A*LaissezFaire* Approach to Monetary Stability," *Journal of Money, Credit and Banking,* 15, 1983, p. 302-315; L.H. White, "The Relevance of Free Banking Today," in Collins, *Central Banking in History,* vol. I, p. 434—449; R. Vaubal, "The Government's Money Monopoly: Externalization of Natural Monopoly," *Kyklos,* 37, 1984,p. 27—58; и прежде всего: ХайекФ. Частные деньги. М.: ИНМЭ, 1996.

См.: R. Pryke, The Nationalized Industries: Policies and Performance Since 1968 (Oxford: Robertson, 1986), esp. p. 237-266.

915

Полный список полностью или частично проданных компаний, а также полученные суммы см. в: S. Chodak, The New State: Etatization of Western Societies (Boulder: Rienner, 1989), p. 147.

Детали см. в: R. Fraser, ed., Privatization: The UK Experience and International Trends (London: Longman, 1989).

C. Jones, "The Pacific Challenge: Confucian Welfare States" in Jones, ed. *New Perspectives on the Welfare State in Europe* (London: Routledge, 1993), p. 198-220.

См.: K.J. Fields, *Enterprise and the State in Korea and Taiwan* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995), esp. p. 238ff.

См.: D. Hale, "Test of the Tigers," *World Link,* September-October 1997,p. 17-38.

Данные см. в: Hillman, "Comparative Strength of the Great Powers," p. 146.

Статистику производства см. в кн.: R. Munting, *The Economic Development of the USSR* (London: St. Martin's, 1982).

922

См.: M.C. Kaser, ed. *The Economic History of Eastern Europe* (Oxford: Clarendon Press, 1986), vol. Ill, p. 9ff, 19, 52, 95, 152 — данные по коллективизации сельского хозяйства в этих странах, а также по общему экономическому росту.

923

I. Jeffries, "The DDR in Historical and International Perspective," in JeffresandM. Melzer, eds. *The East German Economy* (London: Methuen, 1987), p. 1-11.

924

Данные по советскому производству этих видов продукции на 1960 г. см. в: G.A. Hosking, *History of the Soviet Union* (London: Collins, 1985), app. C ("Selected Indices of Industrial and Agricultural Production"), p. 483ff.

См.: R.W. Judy and V.L. Clough, *The Information Age and Soviet Society* (Indianapolis: Bobbs Merrill, 1989), ch. 1.

См.: R.E. Ericson, "The Soviet Economic Predicament," in H.S. Rowen and C Wolf, JT., eds., *The Future of the Soviet Empire* (New York: St. Martin's 1987), p. 95-120; W. Moskoff, *Hard Times: The Soviet Union 1985-1991* (Armonk, NY: Sharpe, 1993).

К 1989 г. их количество составило почти четверть миллиона: J. P. Sterba "Long March," *Wall Street Journal,* 16 June 1989, p. A4.

Углубленное обсуждение этой проблемы см. в кн.: O. Shell, *Mandate of Heaven: The Legacy of Tiananmen Square and the Next Generation of China's Leaders* (New York: Simon and Schuster, 1994), esp. pt. V.

См.: R. Frydman, et al., *The Privatization Process in Central Europe* (New York: Oxford University Press, 1993).

По отдельным регионам см.: R.A. Ahene and B.S. Katz, eds., *Privatization and Investment in Sub-Saharan Africa* (New York: Praeger, 1992); I. Harick and D.J. Sullivan, eds., *Privatization and Liberalization in the Middle East* (Bloomington: Indiana University Press, 1992); краткий глобальный обзор см. в работе: P. Young "Privatization Around the World," inS.H. Hanke, ed., *Prospects for Privatization* (New York: AOS, 1987), p. 190-206.

931

Смысл существования, происхождение *(франц.)*. — *Прим. науч. ред.*

J. Sachs, "Recipe for Disaster," *World Link,* January-February 1998, p. 17.

933

Об использовании государством новых технологий для контроля за населением см.: M.K. Matsuda, "Doctor, Judge, Vagabond: Identity, Identification and Other Memories of the State," *History and Memory,* 6, 1, 1994, p. 73 — 94; B. Delmas "Revolution industrielle et mutation administrative: l'innovation de radministration francaise auxXIXe siecle," *Histoire, Economic et Societe,* 4, 2, 1985, p. 205—232; и подробнее в: J.R. Beniger, *The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986).

См. выше, с. 310—311.

См.: J. Vogler, "The Politics of the Global Environment," in C Bretherton andG. Ponton, eds. *Global Politics: An Introduction* (Oxford: Blackwell, 1996), p. 194—219; M.S. Soroos, *Beyond Sovereignty: The Challenge of Global Policy* (Columbia: University of South Carolina Press, 1986), ch. 8, 9.

См.: A.H. Kissinger, A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 1812 — 1822 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1957), ch. 11, 13.

F.S.L. Lyons, Internationalism in Europe 1815—1914 (Leiden: Sijhoff, 1963), p. 41.

О его истории см.; M.W. Zacher, *Governing Global Networks: International Regimes for Transportation and Communication* (London: Cambridge University Press, 1996), p. 182ff.

R.K. Schaeffer, "The Standardization of Time and Place," inE. Friedman, ed., *Ascent and Decline in the World System* (London: Sage, 1982), p. 71,79.

W.T. Stead, *The United States of Europe on the Eve of the Parliament of Peace* (New York: Garland, 1971 [1899]), p. 141.

D. Held, "Farwell Nation State," *Marxism Today,* December 1988, p. 15.

942

Данные взяты из: D.J. Puchala, "Western Europe," in R.H. Jackson and A. James, eds., *States in a Changing World: A Contemporary Analysis* (Oxford: Clarendon, 1993), p. 87, table 4-4.

Zacher, *Governing Global Networks,* p. 230.

Глас народа — глас божий *(лат.). — Прим. пер.*

WorldUnk, March-April 1994, p. 99.

Об истории успеха ООН см.: Report of the Commission on Global Governance, *Our Global Neighborhood* (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 227ff.,266ff.,3O5ff.

О ранней истории ЕЭС см.: A. S. Milward, *The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951* (London: Methuen, 1984); E.B. Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950 — 1957* (Stanford University Press, 1968).

См.: JJ. Servan-Schreiber, *The American Challenge* (London: Hamilton, 1968 [1967]), esp.ch. 1,2.

949

См.: P.M. Stirk, *A History of European Integration Since 1914* (London: Pinter, 1996), p. 169.

Краткий обзор этих дискуссий см. в работе: W. Wallace, "Rescue or Retreat?: The Nation State in Western Europe, 1945—1993," *Political Studies,* 42, 1994, p. 52-76.

Кроме Швейцарии. — *Прим. научн. ред.*

См.: M. Barnett "Sovereignty, Nationalism and Regional Order in the Arab States System," in TJ. Biersteker and C. Weber, eds. *State Sovereignty as a Social Construct* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 148-189.

Некоторые числовые данные о соотношении между внешней торговлей и экономическим ростом в отдельных странах см.: C. Mulhearn "Change and Development in the International Economy," in Bretherton and Ponton, *Global Politics, p.* 160—165.

World Bank, *World Development* (Baltimore: World Bank, 1992), p. 235.

См.: Scammel, *The International Economy Since 1945,* ch. 10.

См.: J.H. Dunning, *Multinational, Technology and Competitiveness* (London: UnwinHyman, 1988), esp. ch. 6.

957

См. раздел «Угроза внутреннему порядку» данной главы, с. 482 и ел.

Пример такого развития событий и его воздействия на две конкретные страны приведен в статье: V. Dela Sala "Capital Blight? The Regulation of Financial Institutions in Italy and Canada," *Governance,* 7, *3,* July 1994, p. 244-264.

959

Цит. по: *The Economist,.!* October 1995, p. 15. Лорд Хили разъяснил свои взгляды более подробно в лекции под названием "The New World Disorder" («Новый мировой беспорядок»), прочитанной им перед собранием Королевского географического общества 14 марта 1995 г.

Краткое описание этой системы и ее краха см. в: J. Agnew and S. Cobridge, *Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy* (London: Routledge, 1995), p. 171ff.

См., например: D. Brash, "New Zealand and International Markets: Have We Lost Control of Our Own Destiny? " in Wood and Leland, *State and Sovereignty,* p. 58.

См.: K. Mehta, "Risky Business?" *World Link* January-February 1998, p. 84-88.

S. Strange, *Casino Capitalism* (NewYork, Blackwell, 1986).

См.: W. Wriston, *The Twilight of Sovereignty: How the Information Revolution Is Transforming Our World* (New York: Scribner, 1992).

См.: W. Wriston, "The Twilight of Sovereignty," *Fletcher Forum of World Affairs,* 17, 2, Summer 1993, p. 117-130; J.F. Hodge, Jr., "Media Pervasiveness," *Foreign Affairs,* 73, 4, July-August, 1994, p. 136—145.

О попытке коммунистического блока контролировать информацию и ее провале см.: L.R. Sossman "Information Con troll as an International Issue," *Proceedings of the Academy of Political Science,* 34, 4, 1982, p. 176-188; W.R. Roberts and H. Engels, "The Global Information Revolution and the Communist World," *Washington Quarterly,* 9, 2, 1986, p. 95-96.

См.: W.R. Roberts "The Information Revolution I: A Breakdown in the East?" *The World Today,* 45, 6, 1989, p. 95-96.

См.:M. Svetlicic, "Challenges of Globalization and Regionalization in the World Economy," *Global Society,* 10, 2, May 1996, p. 207-223.

969

См. собственные замечания Гитлера па этой теме в: F. Haider, *Kriegstdbeguch* (Stuttgart: Kohlhammer, 1962), vol. II, p. 335—337, запись от 30 марта 1941 г.

Тревор-Ропер Х. Застольные беседы Гитлера. М.: Центрполиграф, 2005. С. 569, 609, записи от 8 и 29 августа 1942 г.

Жизненное пространство *(нем.)*. — *Прим.. пер.*

Подробное описание этих сражений см. в: M.F. Cancian "The Wehrmacht in Yugoslavia: Lessons of the Past? " *Parameters,* 21,3, Autumn 1993, p. 78.

См. недавнее исследование: K.-H. Frieser, *Blitzkrieg Legende: Der Westfeldzug 1940* (Munich: Oldenburg, 1995), которое показывает, что в 1940 г. немцы не дотягивали до союзников даже по количеству и качеству танков.

О ходе этого конфликта см.: J. Kenyatta, *Suffering Without Bitterness: The Founding of the Kenya Nation* (Nairobi: East African Publishing House, 1968).

Краткая история попыток англичан сохранить свою империю приведена в работе: L. James, *Imperial Rearguard* (London: Brassey's, 1988).

R.H. Spector, Advice and Support: The Early Years of the US Army in Vietnam, 1941-1960 (New York: Free Press, 1985).

CNN, *World Report,* 17 July 1996.

См.: G. Daeniker, *The Guardian Soldier: On the Nature and Use of Future Armed Conflict* (New York: United Nations Institute for Disarmament Research, 1995).

CNN, *World Report,* 16 March 1998.

980

Пугающий обзор технологических возможностей в области надзора и контроля и их растущего применения в стране, которая раньше была одной из самых свободных в мире, представлены в: S. Davies *Big Brother: Britain's Web of Surveillance and the New Technological Order* (London: Pan Books, 1996).

981

См.: L. Doswald-Beck, "The Value of the 1977 Geneva Protocols for the Protection of Civilians," in M.A. Meyer, ed., *Armed Conflict and the New Law* (London: British Institute of International and Comparative Law, 1989), p. 160ff.

См., например: P. Williams andS. Black, "TransnationalThreats: Drug Trafficking and Weapons Proliferation", *Contemporary Security Policy,* 15, 1, April 1994, p. 127-151.

983

Данные по Германии: B. Jean d'Heur, "Von der Gefahrenabwehr als staatlicher Angelegenheit zum Einstaz privater Sicherheitskrufte — einige Rechtpolitische und Verfassungsrechtliche Amnerkungen," *Archiv des offentlichen Rechts,* 119, 1, March 1994, p. 107-136; по Франции: F. Coqeteau "L'etat face au commerce de la securite", *L'Annie Sociologique,* 40, 1990, p. 97—124; по Италии: A.M. Ogliati-Vittorio, "La defesa armata privata in Italia," *Sociologia del Diritto,* 15, 3, 1988, p. 47-71.

Der Spiegel, № 46, 1996, p. 37.

N. *South, Policing for Profit: The Private Security Sector* (London: Sage, 1989).

J.S. Kakalik and S. Wildhorn, *The Private Police: Security and Danger* (New York: Crane Russak, 1977), p. 18, table 2.1.

987

Данные взяты из статьи: B. Jenkins, "Thoroughly Modern Sabotage," *WorldLink,* March-April 1995, p. 16.

О работе современной индустрии безопасности на воздушном транспорте см.: D. Phipps, *The Management of Aviation Security* (London: Pitman, 1991).

Herald, 27 June 1997, p. 1.

См.: R. Robert, "Policing in a Postmodern World," *Modern Law Review,* 55,6, November 1992, p. 761-781.

См.: j. Vardalis, "Privatization of Public Police," *Security Journal,* 3, 4, 1992, p. 210-214.

Например, в середине 80-х годов организация Абу-Нидаля предположительно распоряжалась суммами до 400 млн долл., лежащими в швейцарских банках: P. Seale, *Abu Nidal: A Gun for Hire* (New York: Random House, 1992), p. 204.

993

См. краткое обсуждение в книге: Wilson, *British Security 2010, p.* 59— 60, а также сообщения о различных частных армиях, которые якобы действовали в интересах британской короны в таких удаленных местах, как Африка, Южная Америка и Папуа Новая Гвинея, представленные в слегка параноидальной, но содержащей любопытные параллели публикации в: *Executive Intelligence Review,* 24, 34, August 1997.

См., напр.: N. Stephenson *Snow Crash* (New York: Bantam, 1992).

См.: R.W. Mansbach, Y.H. Ferguson and D.E. Lampert, *The Web of World Politics: Nonstate Actors in the Global System* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1976), p. 297.

Об этих методах см.: R. Naylor "The Insurgent Economy: Black Market Operations of Guerrilla Organizations," *Crime, Law and Social Change,* 20, 1, July 1993, p. 13—51; обсуждение данной ситуации см.: K. Maguire, "Fraud, Extortion and Racketeering: The Black Economy in Northern Ireland," *Crime, Law and Social Change,* 20, 4, ноябрь 1993, p. 273-292.

См.: C. Clapham, *Africa and theInternational System: The Politics of State Survival* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), esp. pt. 3.

CNN, *World Report,* 30 September 1997.

О США см.: J.I. Bayne and D.M. Freeman, "The Effect of Residence Enclaves on Civic Concern," *Social Science Journal,* 32, 4, 1995, p. 409— 421.

1000

Гегель Г. В. Ф. Философия права. §§ 202, 205, 294; O. Hintze *Der Beamtestand* (Leipzig: Thieme, 1913), p. 17; M.Weber, *Economy and Society* (London: Allen and Unwin, 1923), p. 249ff.

1001

Среди самых ранних критиков были: E. Strauss, *The Ruling Servants,* (London: Allen and Unwin, 1961); P. Blau, *Formal Organizations* (London: Routledge, 1963); M. Crozier, *The Bureaucratic Phenomenon* (London: Tavistock, 1964) и др.

1002

P. Rathe, "The Primacy of Politics in Classical Greece," *American Historical Review,* 89, 1984, p. 265-293.

1003

Например, атомная энергетика Франции: A. Rosenbaum, "The Grand Alliance," *World Link,* May-June 1996, p. 89.

См. подробнее в: *Business Week, 5* April 1993, p. 68—69.

1005

Statistical Census of the United States 1992 (Washington, DC: US Government Printing Office, 1992), p. 989.

The Economist, 4 September 1993, p. 29.

1007

D. Geddes, "The Return of Orthodoxy," *World Link,* May-June 1996, p. 84.

Ibid, p. 129.

1009

R.W. Thurston, "The Soviet Family During the Great Terror, 1935-1941," *Soviet Studies* 43, 3, 1991, p. 553-574.

1010

S.R. Furlong, "The 1992 Regulatory Moratorium: Did It Make a Difference?", *Public Administration Review,* 55, 3, May-Tune 1995 p. 254-262.

CNN, *World Report,* 22 April 1995.

1012

Herald Tribune International, 11 February 1998, p. 7.

H. Weiss, "Ideologic der Freizeit im Dritten Reich: die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude", *Archiv fur Sozialgeschichte,* 33, 1993, p. 289— 303; о подобном же развитии событий как минимум в одной демократической стране см.: S.G. Jones, "State Intervention in Sport and Leisure in Britain Between the Wars", *Journal of Contemporary History,* 22, 1, 1987, p. 163-182.

1014

См. пример, приведенный в работе: W.W. Kulski, "Can Russia Withdraw from Civilization?" *Foreign Affairs,* 28, 4, October 1950, p. 639.

CNN, *World Report,* 18 May 1996.

1016

Подобная попытка описывается в работе: C.C. Moskos, *A Call to Civic Service* (New York: Free Press, 1988).

См.: M.R. Gordon and E. Trainor, *The Generals' War: The Inside Story of the Conflict in the Gulf (Boston:* Little, Brown, 1995), p. 379-380.

1018

См.: M. van Creveld, "Conscription Warfare: The Israeli Experience," in R.G. Fu,rster, ed., *Die Wehrpflicht: Entstehung, Erscheinungs for men und politische-militarische Wirkung* (Munich: Oldenburg Verlag, 1994), p. 227-234.

1019

Интервью с подполковником доктором Р. Довратом, главой отдела Армии обороны Израиля, занимающимся исследованием поведения: *Yedi'ot Acharanot* (наиврите), 19 апреля 1996 г., с. 10—16; интервью с министром обороны Израиля И. Мордехаем, *Yedi' ot Acharanot* (наиврите), 7 августа 1996 г., с. 12.

См.: F. Parkinson, "Ethnicity and Independent Statehood," p. 322—345; R.H. Jackson, "Continuity and Change in the State System," p. 348 — обе статьи в сб.: Jackson and James, *States in Changing World.*

1021

О попытке использования СНГ для спасения того, что еще можно было спасти из советской экономики см.: R.E. Ericson, "Economics," in T.J. Colton and R. Levgold, eds., *After the Soviet Union: From Empire to Nations* (New York: Norton, 1992), p. 49-83.

См.: S.Peres, *The New Middle East* (London: Weidenfeld and Nicolson, 1996).

См.: S.M. Lipset, *The Confidence Gap* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987).

См.: M. Dogan, "The Decline of Nationalisms Within Western Europe," *Comparative Politics,* 26, 3, 1994, p. 281—305; также см.: E. Pond, "The Escape from History, *"World Link,* January-February 1998, pp. 64-70.

О Западной Европе см. прежде всего: W. Wallace, "Rescue or Retreat: The Nation State in Western Europe, 1945—1993," *Political Studies,* 42, 1994, pp. 52—76; о Восточной Европе см.: Y. Plasser-Fritz

"Politische SystemunterstUtzung und Institutionvertrauen in den OZE Staaten," *Oesterrreichische Zeitschrift fur Politikwissenschaften,* 23, 4, 1994, p. 365—379; подробное исследование одной развивающейся страны: A.N. Longha, "Citizenship, Identity and Questions of Supreme Loyalty: The Case of Kuwait," *Forum for Development Studies,* 2, 1995, p. 197-217.

1026

Одно из последних исследований: C. Tilly, "War Making and State Making as Organized Crime" in Evans, et al., *Bringing the State back in, p.* 169-191.

О форме, которую могут принимать такие организации, см.: K. Ohmae, "The Rise of the Region State," *Foreign Affairs,* 72, 2, Spring 1993, p. 78—87; и на другом конце спектра: G. Gottlieb, "Nations Without States," *Foreign Affairs,* 73, 3, May-June 1994, p. 100-112.

1028

J. Mathews "Power Shifts", "Foreign Affairs," 76, 1, January-February 1997, p. 50-66.

Одним из немногих исключений является Норвегия, которая, плавая в озере нефти, продолжает держать их на плаву, но только ценой деиндустриализации.

1030

О приватизации правосудия и особенно тюремных систем в Америке см.: R. Fitzgerald, *When Government Goes Private: Successful Alternatives to Public Services* (New York: Universe Books, 1988), ch. 3.

1031

В своем интервью «Панораме» 14 сентября 1997 г. генерал Лебедь заявил, что из 100 портативных ядерных устройств, произведенных для советских сил специального назначения, местонахождение двух третей неизвестно.

См.: S. Sassen, *Losing Control? Sovereignty in the Age of Globalization* (New York: Columbia University Press, 1996), ch. 2.

1033

См., напр.: A. TofflerandH. Toffler, *The Third Wave* (NewYork: Morrow, 1980); Reich, *The Work of Nations,* особенно Part 3.

Среди прочих *(лат.)*. — *Прим. пер.*

Об этих трех возможных исходах, которым даны названия «postmodern state», «premodern state» и «modern state», см.: H. H. Holm and G. Sorenson? "International Relations Theory in a World of Variation" in Holm and Sorenson, eds., *Whose World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War* (Boulder: Westview Press, 1995), p. 202ff.